МИХАЙЛО СТЕЛЬМАХ

5

МИХАЙЛО СТЕЛЬМАХ

Собрание сочинений

МИХАЙЛО СТЕЛЬМАХ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ПЯТИ ТОМАХ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1984

МИХАЙЛО СТЕЛЬМАХ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ПЯТИ ТОМАХ

◆

ТОМ ПЯТЫЙ

◆

ЧЕТЫРЕ БРОДА

РОМАН

Авторизованный перевод с украинского
Натальи Андриевской



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1984

С(Укр)2
С 79

Оформление художника
ЛЬВА ЧЕРНЫШЕВА

Стельмах М.

С 79 Собрание сочинений. В 5-ти т. Т. 5. Четыре брода: Роман / Авториз. пер. с укр. Н. Андриевской.— М.: Худож. лит., 1984. 608 с.

В пятый том Собрания сочинений выдающегося украинского советского писателя, Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской и Государственной премий Михайла Стельмаха (1912—1983) включен многоплановый, социально-психологический и философский роман «Четыре брода», в котором отражена жизнь украинского села в предвоенные годы и в первый период Великой Отечественной войны. В романе воспеваются красота и мудрость землепашца, его преданность родной земле, родине.

Роман «Четыре брода» удостоен Государственной премии УССР имени Т. Г. Шевченко.

С $\frac{4702590200-303}{028(01)-84}$ подписное

ББК 84Ук7
С (Укр) 2

ЧЕТЫРЕ БРОДА

РОМАН

МАКСИМУ ФАДЕЕВИЧУ РЫЛЬСКОМУ —
МОЕМУ ДОБРОМУ УЧИТЕЛЮ И СТАРШЕМУ ДРУГУ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Ой думáй, думáй,
Чи перепливеш Дунай.
Народ

I *

За татарским бродом кони топчут ярую мяту и туман. За татарским бродом из сизого жита, из алого мака рождается месяц, а на казачьем кургане, словно из поверья, как изваянный, встает старый ветряк.

А там, у татарского брода, глухо бормочут весла: древние, как седая старина, деды чуть слышно снуют на челнах-душегубках, и кто ведает, что вылавливают они — рыбку ли, прошлое ли?.. Ведь тут, над берегом, подсолнухи и те смыкаются, будто щиты червленые, и комар над водой звенит, как стрела ордынца, и волна все еще вымывает истлевший посев истлевших времен: чьи-то золотые дукаты, чьи-то выщербленные стрелы, чьи-то выщербленные кости...

О память и грусть Украины! Дано ли вам быть забытыми? Еще доныне седеет от печали жито над ханским и черным шляхами, еще доныне живы и татарский брод, и казачьи курганы. Это — прошлое, наше горькое, как полынь, прошлое, затерянное в старых книгах и все реже звучащее в думах слепых кобзарей. Но и по сей день в хатах-белянках, что, будто подснежники, взошли на ладонях лесов и степей, печалятся матери котовцев и червонных казаков, и по сей день в купанных солнцем и грозами полях глазами, полными слез, нет-нет да и поглядывают матери из-под серпа на мглистые пути-дороги, по которым пролетали и взлетали в жаркий вихрь истории кони, кони вороные...

О наши раньше времени поседевшие матери! В руках тяпка, на плече серп, а в глазах грусть и боль ожидания. Вы не кончали ни гимназий, ни высших, ни низших школ.

---

* Главы I—VI первой части и II главу второй части перевела Леся Сабадаш.

Вашей единственной школой и книгой были неутомимый труд на земле, зерно в земле, солнце над землей, дети у груди и дети у ног.

Золотое Возрождение оставило человечеству образы мадонн. А кто писал наших босоногих мадонн с тяпкой в руках либо с серпом на плече и младенцем у груди? И не мягкий шелк знали они, а лишь жесткость грубого холста. И поймут ли это те, грядущие, те, кто не узнает больше ни жесткости грубого холста, ни полынной, горькой скорби минувшего?.. И будут ли они всю жизнь не как тяжкую ношу, а как благодарность нести в душе праздник и тоску материнских очей, и сыновнюю верность отцам, саблями добывшим волюшку-волю на черных да ханских шляхах, чтоб остались черные эти дороги лишь горькой памятью прошлого, а не рубцами сегодняшнего бытия?..

Послушал бы эти раздумья циник вроде Магазанника, загоготал бы, как гусак: «Га-га-га, на кой мне этот чад романтики вокруг? Лучше целкаш в кармане да пол-литра на столе».

«Этому нечестивцу и тридцать сребреников не обременят ни кармана, ни совести... Да что это со мной — в такую ночь невесть что в голову лезет! Не иначе — нечистая сила дурманит. Сказано, болото!»

...С пшеничного поля Данило взглянул на болото, густо прораставшее туманом и тонувшее в нем. Этот гиблый кусок земли, будто колесом откатившийся далеко от татарского брода и казачьей долины, все еще не имел собственного имени, хоть люди не однажды находили здесь ненадежное пристанище от давних и недавних ордынцев: несчастье, бывает, гонит человека даже к гадам.

А посреди болота — плес, где вода такая темная, будто на черном камне настоянная, и месяц-белогривец не в силах просветить ее. Водится ли там рыба? Должно быть. Недаром же на кочках в зарослях телореза, а иногда и на воде гнездятся черные крачки.

Данило так ясно представил себе их, что даже услышал хриплые, простуженные голоса дружного хора пернатых, умеющих уберечь себя и от хищника, и от человека.

За татарским бродом поблизости от приселка голосисто отозвался молодой погоныш: «Крыйок-крок, крыйок-крок!» [1]

И он, еще птенец, покинув родное гнездо, уже делает свои первые шаги в жизни. Что же, не научившись еще

[1] Крок — шаг.

летать, ищет несмышленыш в этом мире и кому и для чего подает свой одинокий голос?

«Крыйок-крок...»

Вот так и он, Данило, не оперившись, остался без отца-матери. Отца на далекой Золотой Липе забрала война. Ему, Данилу, едва минуло тогда восемь, а мать еще несколько лет и на дорогах, и на торжищах, и у бродов все допытывалась: не встречал ли кто, не слыхал ли кто про мужа?.. И, не дождавшись его на этом свете, ушла на тот, словно колосок поседевшей ржи. И на земле не стало еще одной жницы, а в небе затеплилась еще одна звезда. И уже никто не воскресит ее голоса:

Розлилися води
На чотири броди,
Що в першому броді
Соловей співає,
Соловей співає —
Весну розвиває...

Это весной она пела, когда буйствовала и ярилась хмельная вода у брода. А летом, едва зазвонят косы на лугу, ему, малому, она пела другую: «Був собі журавель та журавка, накосили сінця повні ясельця».

Они даже снились ему — четыре брода, и соловей, и журавль с журавкой, что припасают сенцо. Только все невдомек было, как это соловей «весну розвиває»... А когда понял, удивился и обрадовался, будто руками коснулся таинства, родившего образ. Да мать в это время уже не пела.

Однажды синим-синим сентябрьским вечером Данило торопился к матери с рабфака. Вот и река с ее четырьмя пенистыми бродами, и притихшее село с шатрами тополей, и кряжистые ясени над потемневшим плетнем, и старенькие вдовьи воротца, что сиротливо стонут, словно чайка над водой, и под соломенной шапкой хата — из окон ее сеется лунная печаль. Коснись оконца рукой — и на ней останется лунная пыльца. Данило постучал в окошко, ожидая, что мать откроет ему двери, старался уловить звук ее шагов. Но не услышал он шагов матери и никто не отворил ему дверь.

Как страшно человеку, когда ему некому отворить дверь. И все равно до сих пор, возвращаясь домой, он стучит в окошко с его лунным маревом или клубками темени и чутко прислушивается: не ходит ли кто по хате? Если б мог он вернуть материнские шаги, материнские руки, что порой так мягко касались его головы, ее тихий, убаюки-

вающий, ручейком журчащий голос, что хранил его сон и выхватывал из сна:

— Данилко, уже скоро солнце взойдет!

Мать ни разу в жизни не проспала солнца. Ни разу! Будь он художником, написал бы ее с восходящим солнцем на плече. Но не солнце, а вишня и крест у нее в головах. Летом на кресте каплями крови рдеют вишни, осенью дрожит листва, зимой намерзает снег, а по весне монистом нанизываются слезинки капели... Были себе журавль да журавка. И не стало их. Заросла муравой журавлиная долина, только ранам сердца не зажить...

И всей-то родни остались у Данила бедовая тетка Марина в Копайгородке да двоюродная сестра Оксана в приселке. И вздыхает или стонет волна в татарском броде, а Оксана все дожидается брата с дороги. Встречает улыбкой, провожает печалью, и в погрустневших глазах стоят слезы, синие, как росы на расцветшем льне.

— Не горюй, сестра! — приголубит ее, тряхнув ржаным кудрявым чубом.

— Это не я, это доля моя печалится,— скажет так, что невольно оглянешься: не притаилась ли невдалеке горькая женская доля?..

Красивым судьба не спешит отпустить счастье. Не отпустила его и Оксане.

Еще совсем недавно, где б ни проходила она, людские глаза, словно удивленные звезды, сияли ей вослед. А девушка стыдливо, беспокойно и радостно опускала голову. Не одно молодое сердце приворожила ее красота, не один челн вечерами приставал к татарскому броду, да ни в один из них не торопилась сесть Оксана. Никак не хватало ей времени: приходилось справляться и с женской, и с мужской работой, потому — что другое, как не свои руки, принесет в ее сиротство и кусок хлеба, и сорочку белую, и сапожки с подковками звонкими, в которых можно и горе топтать, и на людях щеголять... Даже самые привередливые хозяйки, которым не угодит ни муж, ни батрак, ни сам черт, охотились за сиротскими руками. И только неряхи пялили глаза на дивчину: полоть и то она в чистой сорочке выходит!

— Да вода-то у нас не покупная! — отшучивалась Оксана и лебедушкой проплывала между тех жадин, кто, пот и грязь не отмывая, гнался за богатством.

— Это она так парубков завлекает,— шипели завист-

ницы, видя, что ни один из хлопцев не пропустит Оксану мимо, не проводив ее долгим взглядом.

Сама Оксана не обращала внимания ни на эти взгляды, ни на это шипение: ей надо было на кусок хлеба заработать, честь беречь!

А время шло: весной — сеятелем, летом — косарем, осенью — молотильщиком, зимой — мельником. Весна убирала девичьи головы венками, зима — повойниками. И на свадьбах подружек в душу Оксаны уже закрадывался предательский холодок: «Отчего ж я не думаю ни о ком?»

Это не любовь, а неясная тревога материнства приходила к ней прежде любви. Не раз эта тревога раньше времени толкает девушку к тому, что не стало любовью. Подсознательно чувствовала это и Оксана и все чаще по вечерам всматривалась в татарский брод, в дорогу за бродом и в Млечный Путь над миром.

Меж туманных звезд ветряки ловили ветер. Под туманными звездами лежала вся ее хлеборобская сторона, поседелая от древности, жита и полыни. И кто-то должен прийти оттуда, сказать несказанное, разбудить то, что уже, как дитя, несмело трепетало под сердцем. Юная любовь всегда начинается с ожидания. Еще не полюбив, девушка с непонятной тревогой ждет его, и чьи-то незнаемые очи являются ей из предвечерья, и чьи-то шаги слышатся ей, и кому-то на все четыре брода посылает она свой голос во тьму.

Кто придет на ее зов?

И он пришел.

Когда и в селах люди помаленьку потянулись к книге, к ученому слову, к науке, к ним из города приехал статный, со строгими бровями агроном. С его загорелого лица будто никогда не сходило лето, а из черных глаз — пытливость. Говорили, что он по целым дням приглядывался к крестьянским заросшим сорняками полоскам и все толковал с хлеборобами, как бы удвоить урожай. Легко сказать — удвоить! Как уродит, так уродит, а если нет, тогда что? Но Ярослав Хоролец верил, что и на бедняцком поле уродит не только золотая пшеница, но и лучшая доля, обращал в свою веру людей, и встречали его одни улыбкой, другие — шипением.

Впервые Оксана увидела Ярослава у своих соседей Гримичей, куда собрались на совет хлеборобы. То ли страстные слова, то ли смелые глаза его встревожили, смутили

девушку. Потихоньку зашла она к Гримичам, потихоньку и вышла от них, да не было уже тишины в сердце ее.

А как-то осенним предвечерьем пришел Ярослав и к ней вместе с плутоватым Семеном Магазанником. Тот явился собирать налог, Ярослав же, и двух слов не сказавши, оставил в заклад собственную душу — девичья краса ошеломила его.

В хате без умолку трещал Семен Магазанник, набивал себе языком цену и набивался на вишневку, а Ярослав, исподволь посматривая на девушку, хмурился, словно туча грозовая. Нет, не для него расцвела эта краса. Поди нарисуй эту сдержанную гибкость стана, ее бархатистые, с изломом брови, таящие в себе и нежность, и решительность, этот доверчивый, со скифской неразгаданностью взгляд... Вот и назовут ее, красу эту, любовью или надеждой, и, глядя на нее, самому захочется стать лучше и добрее. А глаза ей подарил татарский брод, голубые, с просинью — с неожиданным отблеском осеннего неба. И чиста она, как рассветный час. А он пришел с этим плутом Магазанником взыскивать налог! Налог на красоту?.. Да как можно! Тоскливо и сумеречно стало на душе у Ярослава, и смолкло его слово, подстреленное ее красотой.

— Не скупись, Оксана, ставь магарыч! Знаю, какие чары и в лице твоем, и в бочонке ведерном,— пустословил приземистый, как тугим узлом завязанный, Магазанник с его похожим на жернов лицом и носом-грушею.— А вы что, товарищ агроном, в молчанку играете, язык прикусили? Почему не куете, не мелете? У нас не любят крепко сурьезных. У нас от гостя требуется языком вовсю ворочать, чтоб тебе и кумерция, и какая-никакая политика имелась. Это, дорогая Оксана, хе-хе-хе, такой человек, что всю науку хлеборобскую назубок знает и все, что возле нее веретенится. Вот, к примеру, у Шевчука крысы поганющие до пчел добрались, изничтожают — и все тут. А товарищ агроном возьми и присоветуй: обведи, мол, ульи красным цветом, и хочешь — верь, хочешь — не верь, а только нечисть эту как корова языком слизала.

— А красного все крысы боятся,— чуть улыбаясь, уронил Ярослав.

Магазанник и бровью не повел, только пристально поглядел на цветущую головку подсолнуха, что красовался в кувшине с водой, и вроде сам себе сказал:

— Это за разум подсолнуху голову отняли,— а потом уже без всякого подвоха обратился к Оксане: — А еще,

красавица, гость твой собирается для мужика плугом счастье добыть!

— В самом деле? — удивились ресницы и надломленные брови, а в синей кручине очей притаились недоверие, улыбка и еще что-то.

— Истинная правда, Оксана.— На хмуром лице агронома ожил смуглый румянец.

— Да, да, не дивись!.. Видишь, какого я пахаря тебе привел, а ты что в подпечье не заглянешь и к печи ни шагу? Не варила, что ли, не пекла? — молол свое сборщик, а его веселый жульнический глаз так и прицеливался то к печи, то к полке с посудой и насмешливо измерял расстояние между чубом Ярослава и косами Оксаны.

Девушка не сводила с агронома удивленного взгляда.

«Что она думает обо всем этом и... обо мне? Нужен я Оксане как прошлогодний снег».

— Так много говорят о счастье, а его так мало на свете,— вздохнула девушка.— Каким же вы плугом думаете землю под счастье вспахать? Золотым?

— Где там! Не золотым и не серебряным, а гуртовым! — с издевкой захохотал Магазанник.

— Это что, так смешно, дядько? — сдвинул стрельчатые брови Ярослав и стал еще краше в молодом своем гневе.

— А как же не смешно? Ей-богу, смешно, если приноровить вашу, как пишут в толстых книжках, романтику да к мужицкой практике.— Магазанник не столько для агронома, сколько для Оксаны приукрасил свою речь ученым словцом и уже совсем другим взглядом измерил расстояние между чубом и косами.— Вот расскажу я вам на этот случай притчу-сказочку... Давным-давно, еще при царе Горохе, пахал поле один умник-разумник и нашел горшок с золотыми побрякушками, насилу его на воз втащил — такой увесистый. Прикрыл соломой, привез домой и все одно счастье не нашел: повадились к нему всякие ложкохваты, и от золота остался один только надтреснутый горшок. А вы хотите, чтоб вся наша голь перекатная в люди выбилась! Да на всех и солнце светить не хочет: тоже свое понятие, реализм и политику имеет... Ну, мечи, Оксана, из печи хоть не ужин, так какую ни на есть бурду, надо не только языку, а и брюху дать работу.

— Ох, вы и скажете...— поморщилась Оксана.

— А вы, товарищ агроном, с каких позиций смотрите на ужин?

— Спасибо, я не голоден.

— Напрасно отказываетесь, ей-богу, прогадаете! — не унимался Магазанник.— Оксана хоть и сирота, а хозяйка что надо. У нее овсяный корж и тот, как месяц, сияет. Я к ней давно по-соседски присматриваюсь,— и так подмигнул своими зелеными с песчаником глазами, что девушка сникла.— А из каких исходя принципов смотрите вы на стаканчик-другой хотя бы маломощной медовухи? У нашей невесты и это есть.

— Я не пью.

— Нисколечко? — не поверил Магазанник.

— Пока бог миловал.

— Уж больно вы идейные.— На грубом лице Магазанника мелькнуло недовольство, резче обозначились глубокие морщины на тяжелом лбу.— С такой идейностью, натурально, можно и с копыт долой.

— Вам этого бояться нечего,— осуждающе бросил Ярослав,— вы своими копытами из подземелья все выбьете.

— Не глубоко ли вы, ученые, копаете? — вскипел Магазанник.

— Уж как умеем.— Терзая себя, растревоженный девичьей красой, Ярослав поспешно вышел из хаты, омрачившей свет его молодой души.

По старинному обычаю девушка должна была проводить хлопца до порога или до крыльца. Колеблясь, Оксана вышла за Ярославом в сени. На них плотно налегла темень, охватил запах висевшей на перекладине привядшей калины, окутала тишина, и в ней было слышно, как брод подает голос броду.

— Может, и правда поужинаете? — смущенно спросила девушка.

Он ощущал ее дыхание, чувствовал нежную, трепетную молодость, калиновый хмель ее волос и не знал, что с ним делается и что ему делать...

— Спасибо, Оксана,— сказал сдавленным голосом, дернул дверь, и его обдало росистым дыханием вишенника.

На пороге помолчали, неумело попрощались, и Оксана со страхом почувствовала, что встретила свою судьбу. Вот так и приходит *оно* — на радость или на горе — и склоняет к себе доверчивое девичье сердце.

За порогом густой синью курились берега, за порогом волновалась осенняя вода, подмывая звездный небосклон. Он пошел к этой неспокойной воде, где глухо стонали привязанные челны и где с чьего-то весла стекали капли воды, отсчитывая минуты вечности.

В думах о нем Оксану потянуло к броду.

„.Гей, броде татарский, яворы и калина на бережках да челны у самых звезд, а счастья так мало...

— Кого поджидаешь? — вышел из хаты Магазанник, осторожно положил руку на девичье плечо.— Хе-хе-хе, и тепло, и силу чуешь!

Оксана брезгливо сбросила его руку и в сердцах отрезала:

— Если ваш язык покоя не знает, так хотя бы рукам воли не давайте.

Магазанник не обиделся, а вздохнул.

— Нет хуже на свете, чем быть вдовцом. Только сунься приласкать кого — сразу по рукам! А когда был я парубком, так и меня по вечерам искали чьи-то очи, чьи-то руки...

— Тогда, видать, дядько, и глаза ваши, и руки искали чью-то ласку.

— А что ж они теперь ищут?

— Целковый! — словно нож, всадила слово и скользнула мимо, обдав его дуновением чего-то непознанного, недосягаемого, перед чем стали в тупик его изворотливость и наглость.

— Вот оно что, тихая ты, да не очень,— пробормотал уже ей в спину и почему-то положил на двери руки, посмотрел на эти темные ковши, стиснул их и почувствовал, как в душе отозвалась тоскливая тяжесть прожитых лет. «Разве я такой уж старый? В Польше куда более старых называют кавалерами. Вот только Степочка у меня...— впервые с неприязнью подумал про свое хитроватое чадо.— Не будь его, может, тогда и Оксана не въедалась бы с этим «дядько». Да, бесовская это порода, женщины, а мы все равно стоим перед ними попрошайками...»

Ярослав больше не заглядывал в ее хату. Оксана еще несколько раз видела его в селе, но он, здороваясь, мрачнел, отводил от нее потемневший взгляд и сразу куда-то исчезал: почему-то у агрономов никогда не бывает времени.

И щемило девичье сердце, и куда-то пряталось то, что, как дитя, робко шевелилось в груди.

А время шло: то стекало с рыбачьего весла, то поскрипывало в крыльях ветряка, то отлетало вдаль птичьей стаей.

Миновала осень, отбушевала вьюжная, метельная зима, настала тревожная пора ряста — пора цветения и отцвета-

ния. И тогда снова же от Семена Магазанника Оксана узнала, что Ярослав собирается уезжать из села.

— Как это уезжать? — невольно вырвалось у нее.

Магазанник насторожился, над его тяжелым лбом нависла тень.

— Натурально как: в район — на возу, в округ — балагулою [1], а дальше поездом. Наговорил, растревожил, разбередил сердце, посулил два колоска вместо одного, а сам подальше от мужика. Оно и понятно — книгу легче листать, чем землю пахать... А у тебя сердчишко не ёкнуло, не затряслось, как заячий хвост? А?

— Помолчите, дядько.

— И помолчал бы, да любо мне с тобой словом перекинуться... Что ж ты меня на пороге держишь?

— Я уже налог заплатила...

— Боишься, что мои глаза попасутся на твоем личике? Не бойся. А ты не приметила, промежду прочим, что я хоть и вдовец, а добро имею не копеечное и хозяюшку мне искать надо?

— Вот и ищите вдову с хозяйством. Будете вдвоем копеечку к копеечке в рубли складывать!

Магазанника вдруг свело судорогой, и в зеленоватых щелках глаз его резче обозначились серые песчинки.

— А я подожду, пока ты вдовой станешь, у меня еще время есть,— пробормотал под конец.

Но до Оксаны не дошел смысл его зловещих слов, испуг пришиб, ошеломил девушку. Как удержать, приворожить Ярослава? Неужто он позабудет ее? Хоть бы еще разок пришел... налог, что ли, требовать. Ведь ей же нельзя прийти к нему! Она пересилила б, переломила б свою гордость, но кроме гордости есть еще девичий стыд, от матери унаследованный, от вековых обычаев, от песни, от калины в лугах и приворотного зелья в лесах... Все это так, да на душе не легче.

И тогда Оксана вспомнила полузабытое предание, услышанное от деда Корния. Однажды вечером старый звонарь рассказывал, что некогда девчата колоколами привораживали сердца парубков... Почему б и ей не попытать счастья! Хоть и не слишком верит она в ворожбу, да хуже, верно, не будет. Не пережить ей разлуки с Ярославом...

Когда затих приселок и когда, казалось, выше стали деревья, удлинились тени от них, девушка черпнула из криницы ковшик чистой воды, завернула его в платок и,

[1] Балагула — крытая повозка.

крадучись непроторенной тропкой, пошла в село. Так надеялась никого не встретить... Да не убереглась: из корчеватого ольшаника с бреднем на плече вышел кряжистый Стах Артеменко, самый сильный парубок в селе. С шести лет он, словно перекати-поле, катится с места на место, чтоб заработать на кусок хлеба. Гнули его чужие холодные десятины, чужие горячие плети, чужая скотина, черная злоба да безжалостная скаредность, что из детской слезы может выжать медный грош. Но наперекор всему Стах набирался силы, как дуб в поле, только в больших глазах его затаилась полынная печаль степей. Узнав Оксану, удивился, обрадовался, и грусть всколыхнулась в его подобревших глазах.

— Куда это ты, Оксана, на ночь глядя?

— В село...

— Ужин кому-то несешь? — кивнул на узелок.

Оксана молча опустила голову.

— Есть же счастливые люди на свете! — из самой груди вырвался вздох у хлопца.

— Это о ком ты, Сташек?

— О том, кому ты ужин собрала.— Прикоснулся рукой к ее узелку, поправил бредень на плече и с той же неутоленной тоской во взгляде свернул к татарскому броду.

И Оксана, жалея его, оглянулась и вспомнила, что куда б она ни шла, Стах издали украдкой всегда следил за ней, и тоже вздохнула с жалостью к нему, с жалостью к себе.

Над тихим миром разливалась-курилась звездная мгла. За татарским бродом, на болотах, бродил низом туман. Утонув в нем по грудь, там паслись уставшие за день в борозде кони, пахнувшие молодой мятой и пахотой. Знакомый мир то замыкался, то распахивался перед ней, обдавал то страхом, то надеждой. Полная неясных чувств, Оксана дошла до высокой громобойной колокольни, молчавшей все эти дни страстной недели, как молчали когда-то в эту пору апостолы. Внизу, в звоннице, хранилось зерно и были заперты образа святых с лицами запорожцев и при оружии. По велению владыки они были выдраны в свое время из старинного иконостаса.

Вверху, близ колоколов, притаились весенние ветры. Оксана плечом налегла на дубовые двери. Они заскрипели, вспугнули эхо, а оно — летучую мышь. Сгустком темени она метнулась над головой, испугала Оксану, и вода из ковшика плеснулась на землю. Недобрая примета. Идти или не идти к этим поднебесным колоколам? Оксана

в раздумье прислонилась к дверному косяку и, преодолевая страх, стала с опаской подниматься на колокольню. Снизу, из подпола, пахнуло прелым зерном, старыми хоругвями, залежалым воском, а сверху донеслось перешептывание пересохших досок.

По скрипучим ступеням Оксана добралась до самого верха. Колокола чутко отозвались на ее шаги, будто собрались заговорить с ней. Самый большой из них чем-то походил на деда Корния, когда тот в потемневшем соломенном брыле выходил из степного предвечерья.

С вышины Оксана взглянула на землю. Таинственная, словно недосказанная сказка, она поднимала ввысь синеющие, в зоряной россыпи, хаты, подпирала небо сильными руками яворов. У самого леса, точно цвет папоротника, расцвел одинокий огонек, потускнел на миг и вновь раскрыл встревоженные лепестки. Кто там у одинокого огня греет руки или душу, а быть может, кличет любовь? И, может, в самом деле любовь, таясь, спешит навстречу любви, чтоб испытать ее пьянящий хмель в ночи и жалость расставания на рассвете — все то, что испытали сестры ее.

Подумав об этом, о счастье своих подруг, Оксана сникла, и ворожба показалась ей суеверием. Ну и что с того, что она сбрызнет колокол водою и взмолится:

«Колокол мой певучий, колокол голосистый! Как бьется твое сердце, так пусть забьется сердце Ярослава, как все слышат тебя издалека, так пусть услышит меня Ярослав, как ты завораживаешь, призываешь к себе людей, так заворожи, призови ко мне Ярослава...»

Но разве может мертвая медь призвать любовь, если не призвало ее даже сердце?

Не судьба, видать. Не судьба...

Оксана снова с мукой посмотрела на землю — теперь она куда-то плыла, и с нею вместе плыли синеющие, в зоряной россыпи, хаты, выбеленные туманом дороги, развесистые купы деревьев, и в безвестность плыла звонница со смолкшими ветрами, со смолкшими колоколами, ждущими пасхального дня. Девушка, прощаясь, как к живому, припала к большому колоколу, и он что-то зашептал ей. Вот только что́? Ведь колокола хранят в себе и праздничные, и погребальные голоса. Постояв еще с минуту в этом медном окружении, Оксана, как в забытьи, стала спускаться вниз. Пред нею шевелилась темень, вокруг нее сновал цепкий страх. Вот бы теперь повстречался ей Стах — все было бы спокойнее. И вдруг за речкой зацвел золотой куст костра. Не Стах ли это освещает ей дорожку?

За ветряком, видневшимся на кургане, всходила поздняя луна. Рассеивая росу, она раскачивала тени и заговорщически посматривала на землю. Скрестив на груди руки, Оксана умоляюще обратилась к луне, и та ласково улыбнулась ей. Этого было достаточно, чтобы девушке повеселеть и уже примиренно остаться наедине со своим одиночеством.

Неподалеку от татарского брода, где вставал на цыпочки низинный туман, показалась фигура человека. Доброго или злого? Оксана замерла и не поверила собственным глазам: навстречу по нехоженой тропинке шел Ярослав. От неожиданности он в изумлении остановился, нахмурился, но в девичьих глазах светилась не вина, а сама любовь. Значит, так хорошо было Оксане коротать с кем-то ночку, что даже тень смущения не легла на ее лицо! Кому же светят эти очи-зори?

— Разве можно, Оксана, ходить так поздно? — сказал с укором.— Уже скоро первые петухи запоют!

— Я люблю, когда петухи поют, они людям зарю выпевают,— доверчиво поглядела на хлопца и безотчетно потянулась к нему.

— Вот это так! — оторопел Ярослав, а потом грубо, чтобы смутить ее и приглушить свою боль, спросил: — А еще кого ты любишь?

— А вам разве не все равно? — улыбнулась она грустно.

Ярослав в душе выбранил себя за грубость.

— Не все равно, Оксана, да ведь ты не признаешься.

— И не сказала б, а должна.

— Как так?

— А что поделаешь? Ведь вы, говорят, уезжаете от нас,— и с тоской смотрит на Ярослава и на туман, что стоит за ним.

— Ну, так что же, Оксана? — У Ярослава дрогнул голос, и теперь уже он безотчетно потянулся к ней.

— А вправду едете?

— Еду...

— Ох!..

Черные птицы рванули ее за плечи, за грудь. Не с той ли колокольни, где она напрасно надеялась приворожить к себе Ярослава, прилетели они? Борясь со слезами, Оксана отвела взгляд от брода, где бежала-играла вода — догоняй не догонишь...

— Ну, так что же, Оксана? — Несмелая надежда зародилась в его душе.

Подавляя боль и стыд, она потупила взгляд:

— Вы уедете, а я буду сохнуть по вас.

— Ты что говоришь! — едва не вскрикнул Ярослав.— Не может этого быть!

— Почему ж не может? — обронила, точно в сновидении.

— Да ведь ты красавица писаная!

— И что с того?

Ярослав посмотрел ей в глаза: не прячется ли там насмешка? Но они смотрели открыто и прямо.

— В самом деле будешь сохнуть по мне?

Оксана оглянулась вокруг, на травы, дремавшие в ночном мерцании, на голубовато-серебристый сон, который луна навевала на землю.

— Целый свет видит, что вы первый, перед кем я открылась!

— Оксана, Оксанка, Оксаночка!..— склонились над ней его удивленные и радостные глаза, а большие руки несмело взлетели, застыв над ней, словно крылья ветряка.

Девушка испугалась, что руки эти могут улететь от нее, а он страшился, что она отшатнется от них. Потом руки его, будто само счастье, скрестились на ее плечах, охватили ее, подняли вверх, и в слезы ее смущения брызнуло лунное марево. Неужели это правда? Неужели не сон? И словно сквозь сон услышала шепот:

— Оксана, Оксанка, ты ли это?

— А разве я с кем-нибудь другим схожа? — уже радостно лукавил ее голос, и смущался, и дивился, что умеет лукавить.

На шелковые травы упали ее косы. Ярослав одной рукой держал ее, а другой перебирал и рассыпал эти тяжелые косы и пьянел от их пахучего хмеля, от ночной росы, обрызгавшей их, от волны, бившейся в татарском броде...

Ой, брод татарский, яворы да калина на твоих берегах да любовь, не знающая берегов...

II

За шесть лет она родила ему двоих голубоглазых сыновей. Когда в клубе отмечали рождение их первенца, председатель сельсовета Геннадий Шевчук очень хотел, чтобы ребенка назвали Карлом — в честь человека, давшего миру «Капитал». Но Оксанина тетка Марина умоляюще протянула к сельчанам свои испятнанные разноцветными красками руки:

— Люди добрые, нет у нас капиталу, и не надо нам его, и не хочу я, чтоб племянника моего родного так звали. Разве он к нам от шведов прибился?

— Ты мне, старая, не путай шведских Карлов с международным коммунизмом! Ты еще английских Генрихов вспомнишь нам! — свирепо взглянул на нее Шевчук.— И разве ж я про тот капитал говорил, что в мошне лежит? Я про тот, что к науке принадлежит! А сына можно назвать и Владимиром. Что на это мама скажет?

Шесть лет как один благословенный день прожили Ярослав с Оксаной. Было у него счастье и в широком поле, и в своей опрятной хате, где во всякую пору года пахло зерном и калиной. А на седьмом году, когда он в грозу подплывал к дому, в татарском броде его настигла вражья пуля, прошила насквозь и ушла под воду. Ярослав сперва услышал ее всхлип, а уже потом почувствовал боль. Не понимая, что с ним, оперся руками о весло, поднялся в лодке во весь рост и вошел головой в небо. Оно легло на плечи, он придержал его, узнавая и уже не узнавая движения света, земли, воды.

Вздохнула волна, и вздохнул Ярослав, и перед ним встал вечер, когда он встретился с Оксаной, когда перебирал ее упавшие в туман косы. А теперь почему-то все туманится перед ним, и во мраке развеваются косы Оксаны.

Неужто вот так приходит небытие?.. Еще ж не нажился он на свете, не нажился...

Блеснула молния, в ее призрачном свете качнулось поле красной пшеницы, над которой бился несколько лет... Если он может думать о пшенице, то это еще не смерть. Вот только сердцу стало тесно в груди и яркий цвет пшеницы режет глаза. Хотелось пить. Он лег на дно лодки и почувствовал, как вода относит куда-то то ли чуб его, то ли жизнь...

На челне и принесли Ярослава к Оксане. Из челна лилась вода, из человека вытекала кровь.

Падая на колени, припадая к рукам Ярослава — из них уже ушло тепло,— так заголосила, затужила, сердешная, что душа человеческая еще на миг задержалась в хате. Ярослав едва разомкнул отяжелевшие веки и увидел черные слезы на глазах Оксаны. Почему ж они черные, а не синие, как цвет льна?.. И косы ее черными стали. Почему не играет на них солнце?.. И почему все отходит, удаляется от него — и глаза, и слезы, и косы? Неужто так прощаются с миром, где есть любовь, дети, красная пшеница, и челны, и солнце?.. Гром покачивает затененную хату, хату,

не кинувшую тень ни на единого человека! Ни на одного!.. И хата его будто оказалась на реке, поплыла, как челн, а слезы Оксаны пролились росой... Прощайте, очи, прощайте, косы, прощайте, сыны! Как же доведется вам без отца на белом свете, на черной земле?..

И уже не наяву, а в неясном видении представилось все Ярославу, и не голос, а словно сама душа звучала в его словах, обращенных к жене:

— Не плачь, Оксана, не надо. Пусть не истекают твои звезды слезами. Слышишь? Нагнись ко мне, сам я уже не могу. Я любил тебя на этом свете, буду любить и на том. Только ты не вдовствуй, выходи замуж, дети ведь... Мое время прошло.

И время остановилось в его глазах, и она стала вдовой.

Хватаясь за стены, за двери, ничего не видя от горя и слез, она еле выбралась из хаты, за которой глухо стонала волна. Все, что открылось перед ней, показалось бескрайней пустыней. Земля уходила из-под ног. Оксана потянулась к небу, простерла к нему руки. Туча, повиснув над бродом, погрозила ей огненной розгой, а потом заплакала на весь свет: она тоже поняла — не стало человека.

Из хаты выбежал ее старшенький, прижался к маминым коленям, охватил их ручонками.

— Мам, а почему папа наш все молчит? — спросил испуганно, еще не ведая, что такое смерть и что такое людская злоба...

В селе кто-то пустил слух, что Ярослава подкараулил Семен Магазанник, или, как прозвали его в селе, Черт со свечечкой. Но сразу же нашлись свидетели, удостоверившие, что, дескать, в ночь убийства они вместе с Семеном были в округе, где он сбывал самодельные шерстяные покрывала, которые ткала его пугливая, как огонек свечки, покойница жена.

Всю жизнь Семен Магазанник в будни рвался к богатству, в праздники — к святости. С богатством у него из-за большевиков не вытанцовывалось, а со святостью — переборщил. Раньше куда бы Семен ни шел, он брал с собой свечу, ставил ее не только перед богом, а и перед нечистью. Вот и прилипло к нему прозвище Черт со свечечкой.

Правда, когда и тугодумы взяли в толк, что загранице со всеми скоропадскими, деникиными и врангелями не одолеть молодую державу, пронырливый Семен успел перестроиться. Он сбросил личину святости, втихомолку рас-

продал лошадей и волов, большое хозяйство свернул до маленького, разницу обратил в николаевские золотые и перелицевался из богатеев в маломощного середняка. Строя из себя активиста, он хитростью втерся в доверие, горлом и нахрапом добывая себе всяческие выгоды.

— Сейчас нейтралом жить нельзя, потому — эпоха! — просвещал он при жизни свою вконец забитую им покорную жену.— Сейчас главное — идеи и пропорции: кое-кого надо гробить, кой-кому насолить, а кой-кому надо и «ура» кричать. Вот тогда до чего-нибудь и докричишься. Ну, и еще одно помнить надо: где нельзя перепрыгнуть, там услужи, превознеси, поклонись — от поклонов горба не наживешь. Политика дело хитрое и тонкое, все равно как золотая нитка. Политика кого угодно может через решето просеять. Что ж ты молчишь? — наливалось злостью его похожее на жернов лицо.

Жена из шелковистой льняной кудели или из шерсти тянула бесконечную нитку, прислушиваясь к гуденью сада, где уже бродил сок в деревьях, и тоскливо думала о своей горькой судьбе: почему не повстречался ей хороший человек, без кротовьих тайников в голове, без злой искры в груди, с честной перед богом и людьми душой? С какой любовью встречала бы она его, когда б он возвращался с поля или луга! Как бы жалела, как оберегала бы его, повиликой вилась вокруг! С какой бы нежностью баюкала у груди тугие узелочки, приносящие сперва радость, а потом старость! Да не выпало ей это простое бабье счастье. Магазаннику нужен был только один ребенок. При своем хитроумном муже она сделалась не хозяйкой в доме, а лишь скорбной в нем тенью, без слов, без песни. Когда Магазанник бывал навеселе, он долго приставал к ней: почему с ее ангельским голосом она не поет ни ему дома, ни перед образами в церкви?

— Когда-нибудь запою,— отвечала она угрюмо, отводя погасшие глаза, сдерживая наплывающие слезы.

— Дура баба! — злился Магазанник.— И богу известно, что слезы — это вода. Говорю, лучше спой!..

Запела она уже перед смертью, да так запела, что и у Магазанника пробудились совесть, жалость и страх: беспрестанно думая о своей золотой нити, он оборвал нить ее жизни.

Вскоре эта его золотая нить политиканства стала приносить Семену выгоду, и люди начали побаиваться новоиспеченного «активиста». Прячась за крикливыми лозунгами, он мог проучить и прижать любого не слишком изворотли-

вого односельчанина. На это у Магазанника хватало и ловкости, и наглости, и жестокости.

Долго присматривался к этому плутовству старый Мирон Магазанник. Отделив сына, он переселился на хуторок и не мог нарадоваться пасеке, саду, небольшому пруду, где напевно журчала вода и плескались утки да чирки. Вечерами, когда затихали пчелы, он в неизменном своем кожухе подходил к воде, садился напротив кладки, настланной поверх изъезженных колес, и прислушивался, как молодицы в подоткнутых юбках, торопясь, стирали и полоскали белье.

Над водой гулко раздавались голоса, сочно хлопали вальки и красиво вырисовывались женские фигуры в грубых полотняных сорочках. Время от времени какая-нибудь молодица проворно бросалась к берегу, поднимала с травы беленький узелок, агукая или напевая, прижимала его к себе, и младенец, причмокивая губками, вбирал материнское молоко и лунную дрему.

Вот нарисуй такой вечер — и мать, и дитя, и грудь, вымытую, обрызганную росою и лунным полусном,— и призадумаешься, что такое быстротекущая жизнь и как надо ее ценить. Однако за мелким плутовством человек теряет великое в себе и перестает быть человеком. На глазах терял человеческий облик и его сын. Насмотревшись и наслушавшись всякой всячины о Семене, старик больше не заходил к нему в село — стыдился людей. А сын приезжал на хутор только для того, чтобы набрать для тайной продажи сушеных фруктов, меду. Ох, жадность и эта хитрость! Не приведут они к добру!

Как-то в сочельник, когда отец был еще жив, подвыпивший Семен привез ему ужин: узвар, кутью и связку вяленых, будто потемневшее золото, лещей. Открыв скрипучие двери, он сразу нырнул в густой праздничный полумрак, где все жило таинственной жизнью: и мерцающий свет лампады, и разомлевший трепет восковых свечей, и притаившийся огонь в печи, и строгость исхудавших святых в божнице, и в красном углу шорох ржаного снопа, которому снилась свежая борозда, и он тихо стекал зерном на пол.

Все это сразу напомнило Семену те далекие годы, когда он был ребенком и ждал, словно счастья, первой звезды в сочельник: как только затеплится она, из хаты выходила тихая, с глазами-васильками мать и, улыбаясь, кланялась, приглашала мужа и сына ужинать. Господи, какая же у него была мать, а он при жизни ничем не порадовал ее.

Горечь, ощущение чего-то невозвратимого, навеки утраченного сжали сердце, боль коснулась отяжелевших век, и Семен почувствовал, как от него начали отслаиваться наросты и нечисти. Сколько ее накопилось за годы! Он хотел посмеяться над собой, но из этого ничего не вышло, не насмешливая, а растерянная улыбка скривила губы. Что же так растревожило его? Далекая праздничная вечерняя звезда или воспоминание о матери? Она так ждала от своего дитяти только хорошего... Но дитя растеряло все материнские надежды и вряд ли соберет их.

Из боковушки вышел нарядно одетый отец, в руке он держал пучок какого-то сушеного зелья — то ли для горилки, то ли для чая, так как ни того, ни другого питья старик не чурался. Годы пригнули его плечи, а на голову пала зима. И Семен, прогнав минутную слабость, чувство жалости, степенно поздоровался, учтиво подал ужин, а вдохнув запахи хаты, удивился: на свежевымытом дубовом столе стояло двенадцать постных блюд, вбирая в себя колеблющийся отсвет полутьмы.

— Даже саламаха. Кто это вам так ладно все приготовил?

— Василина. Такая молоденькая, а уже овдовела.

— Не надо было замуж выходить за бандита! — сразу смел с души смягчение, ибо для чего оно? А сам вспомнил круглолицую, полногрудую вдову, что-то прикинул в уме.

Отец уловил тайную греховную мысль, и на высоком его лбу резко обозначились морщины.

— Разве она могла знать в той метели, что муж ее станет бандитом?

— Надо было знать! — в голосе Семена зазвенело жесткое равнодушие.

Старик нахохлился, словно птица в непогоду.

— До черта умными вы стали! А я разве знал, что ты будешь разбойничать у немецкого блюдолиза Скоропадского?

На лице Семена проступили яркие пятна румянца.

— Как у вас, батько, язык поворачивается такое говорить, да еще в сочельник?

— Не я святой вечер сделал грешным,— ответил отец и разлил в граненые чарки настоянную на травах водку.

Сын одним духом опустошил чарку, хекнул, вытаращился на богов — они ожили, заморгали пересохшими ресницами — и запихнул в рот кусок свежеиспеченного коржа. Потом, заливая то ли тревогу, то ли совесть, опустошил вторую.

— Чего вы, батько, сегодня такой нетерпимый? — исподлобья глянул на отца, сидевшего в красном углу, у снопа ржи. Седые колоски дремотно спадали на седую голову, на свежую полотняную сорочку, но старику, видно, было приятно чувствовать эту добрую тяжесть.

— Чего? — переспросил, а мысли его витали где-то далеко.— Давно хотел как на духу поговорить с тобой. Непонятным, чужим становишься ты. Для чего тебе грехоплутствовать, обманом жить? Кто тебя неволит топить и свое хозяйство, и людей? Только не петляй, правду говори хоть теперь, когда я уже по дороге к богу.

— Это почему же? Вы как дуб-долгожитель,— выжал Семен слова сквозь обиду и снова потянулся за водкой.

— Не хватит ли?

— Думаете, горилка неверная девка? — Прищурился на старика и, морщась, выпил чертово зелье.— Ху!.. Значит, вам очень хочется знать правду?

— Только правду. Смотрю я иногда, как ты пакостишь вокруг, и сомневаться начинаю: мой ли ты сын?

— Я, батько, ваш сын,— ответил тихо и опустил голову.— А грешным меня делают предательская судьба и страх.

— Какой у тебя страх?

— Страх гетманщины — раз и новой власти — два. Это вы мудро сделали, что своевременно отделили меня. А то несколько десятин и отхватили бы у нас.

У отца тоской наполнился взгляд, беспокойно забились густые ресницы, что и до сих пор не поседели.

— Лучше бы у меня не было этих нескольких десятин, а был бы сын, ты ведь у меня один остался... Для чего надо было изводить скотину, которая мне, а потом тебе работала бы на хлеб?

— Так надо, батька, чтобы не дразнить завистников. Бедность никогда не понимает богатства. А разве я не дотянулся бы до него при другой власти, уважающей рубль и прибыль? Пристало ли мне хозяйничать на считанных десятинах? Я бы и с сотнями управился. У меня земля не отлеживалась бы, а работала, как батрачка.

Сумерки легли на иссушенное лицо Мирона.

— Не гонись за богатством — искалечишь жизнь или превратишь ее в бумажки, а они не принесут ни здоровья, ни радости.

— Будто вы не гнались за ним?

— Потому и остерегаю тебя. Смолоду и меня, глупого, один черт впихнул в пакость — это когда я начал чумако-

вать,— и уже не соль, а деньги стали слепить глаза. Вот и научил меня безрогий, как мошенничать деньгами, ибо цены тогда на золото и кредитки у нас и на юге до какого-то времени были разные, значит, разницу можно было положить в карман. Наверное, так оно всегда бывает: бумажки имеют цену до времени, а над золотом и время бессильно. Торговля могла бы продырявить мою душу, да спасли меня несчастье и счастье.

— Как это — несчастье и счастье? — недоверчиво шевельнул Семен бровями и усами.

— Ты же знаешь, как судьба забросила меня в Болгарию, воевать с Осман-пашой. Тяжелые это были бои и трудные дни. На Шипке я и Георгия заслужил — самое большое свое богатство, там и свинца такую порцию получил, что хватило бы и на последнюю вечерю. Не одну ночь в госпитале чувствовал, как *она* с косой подходила ко мне. Вот тогда, когда находился между жизнью и смертью, было время подумать, что такое суета сует. А потом, уже дома, битого, продырявленного, встретило меня на пасеке счастье — та девушка, которая стала твоей матерью. Это она любовью своей и боли мои утолила, и от торговли отвадила, и наказала держаться только земли и жита — ведь без хлеба мы ничего не стоим. С нею мне везло в поле, везло и в лесу, и со скотиной, и с пчелами.

Правда, хозяйничать не пришлось на голом месте: оставил твой дед и волов, и десять десятин. Другим, падким на торг, целковый весь век спать не давал. А я спал спокойно, и чаще всего снились мне жито и волы. Отходит их время, отходит и мое... Да хватит об этом. Говори о страхе.

Семен провел рукой по лбу, разгладил морщины недоверия, хотя и позавидовал спокойным снам отца. Где их только прикупить?

— Да что о нем? Службу свою у гетмана прикрываю, как могу, активничаю, прижимаю людей, чтобы самому не пойти на дно.

С болью заглянул в молодые годы. Они приблизили к нему те виселицы, у которых и он гарцевал на коне, когда вешали других. Давно уже пропал тот конь, погибли и люди, а страх не покидал его. И по сей день встают перед глазами погибшие, и по сей день, будто живой, видится красавец командир с редкой фамилией — Човняр. Как убивалась по нему молодая жена, как плакало у ее груди дитя, словно и оно что-то понимало, как без слов стонал, поднимал руки к небу, седой отец. Смерть и горе людское столкнулись у виселиц, и неизвестно, что было сильнее... А ве-

чером, выискивая добычу, Семен нежданно-негаданно приплелся во двор старого Човняра. У тына лежало несколько занесенных снегом челнов и срубленные ивы, что пойдут на челны.

В хате молча сидели убитые горем люди, а на столе лежало шесть с восковыми свечами буханок хлеба — столько было сегодня повешенных. От его шагов вздрогнули огоньки свечек и всхлипнуло дитя на руках овдовевшей сегодня молодицы. «Баюшки-баю»,— прошептала она сквозь слезы, и дитя потянулось к груди. И тут жизнь и смерть стояли рядом.

Суеверный страх охватил Магазанника, он отвел взгляд в сторону и быстро направился к дверям.

— Хлеба святого возьми на дорогу.

Он оглянулся. Старый Човняр поднялся из-за стола, подал ему буханку, с нее то ли воском, то ли самой печалью стекала свеча. Десятки молчаливых глаз взглянули на пришельца. Взглянула и жена командира. Магазанник почувствовал, что она узнала его. Торопливо выхватил хлеб из рук старика, а горячий воск ожег не только пальцы, но и будущее. Держа хлеб перед собой, Семен выскочил во двор, где мерзли занесенные снегом челны. На них уже не поплывет молодой Човняр, разве что когда-нибудь, через годы, дитя его поднимется в далекие рассветы по дороге отцов своих. Вечер сразу же погасил свечу, как день погасил жизнь...

Неужели все это было?

Сейчас Семен боялся смотреть даже на своего отца: чем-то он напоминал старого Човняра... Грехи наши тяжкие, когда-то их можно было отнести в церковь, получить всепрощение. А перед кем теперь откроешься, и станет ли легче после исповеди? Поэтому и вертишь жизнью, как цыган солнцем, да этого не понимает даже родной отец, ничего не понимает, он все еще радуется пчелам, скотине, земле.

Долго смотрел старик на сына, а потом с осуждением сказал:

— Очень хитро надумал ты вертеться и изворачиваться! Рано или поздно придется расплачиваться за страх и содеянное зло. Сначала страх точит чью-то кровь, а потом доберется до твоей!

— Авось перемелется. Все теперь изворачиваются как могут, и дворянин, и крестьянин.

— Изворачивайся тогда в торговле, а людей не тронь. К чему тебе их слезы? Не зря говорят: кто варит лихо, тот

будет хлебать беду. Я в свое время под Плевной с турками воевал. Чего ж ты со своими воюешь?

— О ком вы?

— Об агрономе Ярославе. Это человек!

— Слишком далеко зашло у нас с этим человеком.

— Пойди к нему, повинись, может, и поладите.

— Поздно, батько.— Тяжело поднялся из-за стола, поклонился образам, торопливо перекрестился.

— Так и получился у нас святой вечер грешным. Неужели и в моей хате между нами палачом стоит страх?

— Да, батько. И никуда нельзя скрыться от его безжалостных, тяжких жерновов.— Семен, насупившись, стоял перед отцом и проклинал судьбу, что забросила его к гетману Скоропадскому. Потом пожалел: зачем было доверяться старику? Хорошо ему говорить! Ведь он был в Болгарии гренадером, а ты на своей земле карателем.

Отец набросил на плечи кожух — после ранений вечный холод морозил его — и уже на пороге остановил сына:

— Одно тебе могу сказать — опустошишься, как трухлявое дупло, если не перестанешь обижать людей. И не жни, чего не сеял.

«И не жни, чего не сеял»,— лишь губами повторил Семен, вздрогнул, ибо снова всколыхнулись призраки прошлых или позапрошлых дней.

— Это ваши слова?

— Нет, партизана Михайла Чигирина.— Старик показал рукой на сноп в красном углу: — Неужели у тебя уже нет любви к житу, к красному маку в нем?

Семен посмотрел на колоски, а за ними встало лето.

— Нет, жита я люблю, особенно когда они созревают.— Семен и в самом деле любил те сизо-серебристые всплески, что бежали-колыхались до самого горизонта, наколыхивая молодое зерно.

— Вот и держись плуга, а не болтай языком, а то как сползешь с земли, не за что будет держаться. Слыхал, что ты из жизни делаешь бестолочь да слишком распускаешь язык и осуждаешь людей. Разве забыл, что слово есть бог, а не суд?

Семен запомнил это, а отцу ответил:

— Легко вам такое говорить, когда живете в стороне от людей, а ближе к пчелам.

— Сам кошевой Иван Сирко на старости лет недалеко от Сечи был пасечником и не журился. А тебе надо зажуриться.

— Почему?! — снова вспыхнул Семен.

Глядя мимо него, отец ответил:

— Вижу, что на тебе, догадываюсь, что в тебе, а что останется после тебя? Подумай и над этим: всем нам не миновать своего последнего пристанища.

Не по себе стало Семену в этот странный святой вечер. Он отчетливо увидел кладбище с яблонями и вишнями, где и ему придется лежать. И ясно ощутил, как что-то повернулось в его душе, стараясь оторваться от тех хитростей и мерзостей, в которых потопил свои последние годы, на минуту заколебался. Может, и переборол бы он себя и пошел по новой тропинке или дороге, если бы не глупая гордость и глупая злоба против отцовских речей: все умники, когда смерть не за горами.

Будто коня, осадил вздыбленную душу. Едва зашевелилась пробудившаяся вспышка добра, как Семен тут же погасил ее, засыпая проклятыми семенами гонора.

Отец не понял, что творится с сыном, и начал еще донимать его святым писанием:

— Ты заглядываешь в старые книги, в Библию? Вспомни, что пишется в первой книге Моисея: «И сказал Господь Каину: почему ты огорчился? и отчего поникло лице твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех ляжет; он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним».

Семен ничего не ответил, лишь свысока глянул на старика и молча, словно мешок, вывалился из хаты, тяжело упал в сани, стегнул лошадей, и они тронулись рысью, высекая снежную пыль.

«Дождался праздничка!» — ругал отца, но и корил себя за то, что и вправду распустил язык больше, чем следовало. Если что и вынес он из тяжелого разговора, так это слово о деньгах: бумажки имеют цену до времени, а над золотом и время не властно. Вот и теперь золото, серебро и бумажки в одной цене. А как дальше будет?.. Он тряхнул вожжами, кони побежали по заснеженной вырубке, на которой торчали молоденькие березки, а мысли устремились к Василине, к ее сочным губам, к ее дородности. Вот где можно найти человеку отдых и усладу! Сейчас подъедет к приземистой вдовьей хатке, внесет бочонок меда и скажет, что приморозил на холоде душу. Может, она и отогреет ее. Так бог и карает нас, грешных.

Старый Мирон с порога наблюдал, как удирает сын, и снова вспомнил святое писание: «Бродягой и беглецом будешь на земле». Потом взял увесистую пешню и пошел на пруд долбить продушины, ибо святой вечер радует не толь-

ко человека, а и скотину, и зверя в лесу, и пчелу в улье, и рыбу в воде.

Благословенная тишина и звездные титлы стояли над синим заснеженным миром. Неужели и в такой вечер в чьих-то головах, в голове его сына может рождаться подлость? Если это так, тогда для чего живете вы на свете, гнусные оборотни?!

Мирон ударил пешней, лед ойкнул, покатил свист и стон под камыш, который еще совсем недавно раскачивали дикие утки. Семен хотел пострелять их из дробовика, но Мирон не позволил. Что ж это за пруд, коли нет в нем рыбы, а над ним птицы?

В продушину боком начали всплывать плотва и красноперка, потом появились щуки. Их можно было ловить руками и бросать на лед, но в такой вечер не хотелось обижать даже рыбу. Пусть подышит, прихватит месяц на плавники — да и снова в притихшие воды. А тихие же они теперь, тихие... Даже струя, что перечищает их, спокойно дремлет.

Он долгим взглядом прощания обвел сине-серебряную даль, сад, что никогда уже не порадует его цветом, камыш, что никогда больше не зашелестит ему, и понял, что вряд ли увидит, как из него весною будут выплывать чирки и утята. И жаль ему стало этот бог знает кем созданный мир и еще не пробудившийся яблоневый цвет, что, убаюканный, спал на морозе, и птиц, которые никогда уже не прилетят к нему, и сына... Откатился он от него, так и не поняв, что такое человеческая жизнь. А когда поймет, поздно будет. Подрубишь душу — погубишь все. Тянется он за нечестивым рублем, и невдомек ему, что все это суета сует.

Как розовые птицы, зашумели, запели кудрявые камыши в изморози, и пух их полетел в праздничную даль, где слегка поскрипывал мороз или земля и в тихий сон погружалось село. А месяцу все хотелось играть в жмурки с ним, и он, прищурясь, то забрасывал его в самое небо, то внезапно так стряхивал на скатерть снегов, что даже кособочились хаты. А может, это не месяц, а злыдни кособочили их? Ибо щедрая кутья остается щедрой, но для кого-то она голодная. Вот уже и большевики стали наседать на сельскую нищету, только что выйдет из этого, если дядьки все еще дрожат над прадедовским трехпольем?

Стоит под месяцем в заброшенном мире человек, который уже будто живет и не живет, вспоминает что-то очень давнее и недавнее, перетряхивает годы, и печали, и просветы, утешается всем добрым, что приходило к нему, что

сам сделал, а плохое отбрасывает и в мыслях, и рукой, что уже, наверное, в последний раз этой осенью сеяла жито. Господи, как хорошо сеять!.. А еще лучше жать. В жатву он выезжал в поле с женой, по-девичьи стройной, с девичьими косами. Весной они пахли жасмином, а в жатву — цветом повилики и молодой, еще не затвердевшей ржи.

«Зеленое жито, зеленое жито, а еще зеленее овес». Это уже вечером, улыбнувшись ему, запоет Докия, да так запоет, что даже перепелка умолкнет во ржи.

«Это ж надо»,— только головой покачает он и поведет коней в долину, на туман, а его все будет догонять ее голос.

Когда возвратится с долины, Докия уже будет спать под полукопной, положив голову на сноп, только не будут спать ее ресницы — то ветерок всколыхнет их, то роса, то зернышко прогретого жита.

И почему так быстро миновало все? Поседело твое жито, улетела твоя перепелка, и в очи печально заглянула ночь. Вот будто и немногого хотелось бы еще: чтобы сын его стал человеком, чтобы еще выйти в поле сеятелем да хотя бы краешком ока увидеть тот день, когда у всех людей будет хлеб на столе... Не увидит он этого дня, ох, не увидит — его время прошло.

И склонил старик отяжелевшую голову, но вдруг встрепенулся: кто-то невдалеке подал ему серебристый голос, раз и второй. Да это ж подо льдом проснулся ручеек, что очищает воды его пруда. Чего не спится тебе? Сретенье или весну почуял?

На снегу со стороны хутора послышались чьи-то шаги. Старик глянул на утоптанную тропинку. К нему, покачиваясь, не то шла, не то плыла Василина. Даже мешковатый кожух не скрадывал ее дородности. Вот кому бы детей носить у груди, да носит она в груди только боль и горечь.

— Дядько Мирон, я пришла к вам вечерять,— грустно улыбается вишневыми устами, а в глазах сошлись в одно жажда любви, печали и загадочность.

— Вот и хорошо, что пришла. У своих не захотела праздновать?

— Побыла я немного в приселке, посмотрела на счастье своей сестры, на детишек и зарыдала неутешными слезами. Потому и прибежала к вам. Вас печалит старость, а меня моя бесталанная молодость, потому что после замужества душа опустела.

— Твоя душа еще найдет свое место, а моя — только могилу. Да не будем об этом в праздник. Зови деда Корния, и отпразднуем сочельник!

— А он уже стоит возле хаты с ружьем: хочет в мороз выстрелить,— усмехнулась Василина.

— Вот и вспомним, как мы под Плевной с турками воевали.— И тихонько запел: — «А за нами татари, як ті чорні хмари, а за нами турки, як із неба кульки...»

— У вас еще голос есть! — удивилась Василина.

— А как же! Ведь вокруг степь, и лес, и небо. Жаль только, что года мои уже подкатились под небо.

Не зная, чем утешить старика, Василина подала ему несколько промерзших пучков калины:

— Это вам от Оксаны.

Старик приложил подарок к лицу.

— И калину жаль... Как там Оксана?

— Красивая, словно маков цвет. Только о муже беспокоится. Ваш Семен все придирается к нему, выжить хочет,— сказала она, понизив голос.

— Тупоумный он. Вырос, а ума не вынес. Тяжко бывает человеку дорасти до человека.

Они вошли в садок, где между тенями деревьев голубовато дымились и поблескивали промерзшие лунные полянки. Там их увидел дед Корний, крикнул: «Гей-гей!» Поднял вверх янычарку и выстрелил в мороз, чтобы он не морозил ни жита, ни пшеницы, ни цвета в садах. Когда испуганный мороз убежал, дед Корний пошел навстречу Мирону и Василине.

— С праздником, гренадер!

— С праздником, звонарь! Что-то я сегодня твоих колоколов не слыхал.

На продолговатом лице Корния ожили старые морщины.

— Потому что придурковатый батюшка прогнал меня со службы.

— Шутишь? — не поверил Мирон.

— Правду говорю.

— Чем же ты не угодил ему?

Старый звонарь приветливо улыбнулся в пышные усы, на которых поблескивала изморозь.

— Под Новый год, когда люди собирались на собрание, я и ударил во все колокола «Интернационал». Говорят, славно вышло, а попа чуть было кондрашка не хватил. Захотел, чтобы попросил у него прощения, а я заупрямился, и в колокола теперь звонит Милентий, которому медведь на ухо наступил.

Мирон засмеялся, поцеловал Корния, потрогал его задубевшую на холоде кирею и вдруг насторожился:

— Еще чья-то добрая душа прибивается к нам.

Из лунного марева синевы, словно из сказки, летел гривастый конь, под его копытами мягко гудела и взрывалась голубоватыми кустами дорога.

— Кто же это может быть? — сам себя спросил Корний, приглядываясь и к коню, и к крылатым санкам.

Да вот они поравнялись с воротами, из них проворно выскочил невысокий, коренастый человек, чем-то он напомнил гриб боровик.

— Михайло! Михайло Чигирин! — удивленно воскликнул дед Корний. «И с чего бы это бывшему партизану, что живет на краю района, в такой вечер прибиться к нам?»

— Узнали? — словно удивился Чигирин и поздоровался со всеми.

— Тебя да не узнать! Куда же ты на ночь глядя собрался?

— К вам, дед Корний.

Старик засмеялся.

— Веди возок, а мы послушаем.

— Вправду к вам,— и начал стирать изморозь с усов и бородки.

Теперь встревожился дед Корний, ибо не раз его брали в другие села звонить за упокой.

— Что-нибудь случилось у вас?

— Да, случилось,— белозубо усмехнулся Чигирин.— Под Новый год иду я с женой к своему другу партизану и вдруг слышу далекие колокола. Остановился и сам себе не верю — так они славно вызванивали «Интернационал»! Скинул я шапку, а душу заливает торжественность. Думал, это какие-то артисты приехали и зазвонили. Только потом дознался, что это вы, дед Корний. Вот и примите от меня подарочек.— Он вынул из кармана кожушка шерстяные рукавицы и протянул старику.— Это чтобы руки возле колоколов не мерзли.

— Спасибо, Михайло,— смутился дед Корний.— Вот и получил первый подарок от партийного человека.

— Пойдем в хату,— коснулся Мирон руки Чигирина.

— Спасибо. Я сейчас же и домой. На этом слове — будьте здоровы.— Чигирин поклонился всем, вскочил на санки, и конь сразу же понес его в синецветный полумрак.

— Дивно,— только и сказал дед Корний, а затем, когда конь и сани начали исчезать за холмом, взмахнул отяжелевшими руками и запел:

Ой там за горою, та за кам'яною...

Василина сразу подхватила:

Ой там виходило та три товариші.
Що перший товариш — ясне сонце,
А другий товариш — ясен місяць.

И вдруг Мирон увидел на глазах у притихшего Корния слезы.

— Чего ты? — заволновался Мирон.— Молодость, Шипку вспомнил?

— Да...— скривился старый звонарь.

— Говори, Корний.

— Что говорить? — затуманились глаза старого.— Уже и песни не могу петь, годы отобрали голос.

— Так вы по голосу горюете? — удивилась Василина.— Никогда бы не подумала.

— В молодости о многом не думают. Какой голос у Миронова сына, только не поет он им, а поедом ест людей. А сейчас и за агронома взялся...

С молодым агрономом Семен никак не мог поладить и тайком начал копать ему яму. Но неожиданно коса нашла на камень, а кроме того, Ярослав прослышал, как показал себя Магазанник в гражданскую войну на службе в державной варте, у его светлости гетмана Скоропадского. Теперь, гляди, гром грянет уже не над Ярославом, а над головой Магазанника. От такого грома тогда не спасут и леса, куда после тридцатого года забрался Семен, чтобы вволю поорудовать топором в чаще, плугом на вырубках, косой на полянках. За уворованное добро он и сцепился с Ярославом, надеясь выжить того из села. Да не удалось! Вот и пришлось что-то другое придумывать. Разве знает человек, где жизнь столкнет его со смертью?

Как оно дальше обернулось, об этом ведает только ночь грозовая. Но она еще не представала свидетелем на суде...

Годы никогда не возвращаются к человеку, но человек возвращается к прожитым годам, и прошлое так подступило к Данилу, что казалось, протяни руку — тотчас коснешься его и запечатлеешь на бумаге то, о чем не раз думал.

«Крыйок-крок, крыйок-крок!» — снова подал голос погоныш, а из дальнего болота еле слышно донесся клич журавля.

Были себе журавль да журавка...

III

Миновал год, как не стало Ярослава. Ох, каким долгим был этот год для Оксаны и... Семена Магазанника. Вдову подтачивало горе, лесника — страх. Кто знает, чем обернется недобрая людская молва: долго ли скинуть лесника? Что он будет делать без своих угодий, без припрятанной в лесах скотины, без пасеки? Хоть убей, он сейчас не скажет, сколько у него свиней: как подались весной в дебри, так только после первого снега с приплодом объявятся. Пусть там кто-то переживает трудности роста, он обойдется без них. В лесах привольно и всякой живности, и ему. Только как нужна для этих достатков толковая, проворная хозяйка! И мысли Магазанника все чаще и чаще обращались к Оксане, к ее спорым рукам. Такая шутя с любой работой управится, да и красоту ее горе не смыло, только глаза притемнило. Бороздою прошло горе через сердце и запечатлелось в глазах. Свадьбой, весельем, любовными утехами надо прогнать тоску, иначе весь век уйдет у тебя за водой и слезой.

Только дети и работа давали Оксане забвенье и отраду. И вдова чернела, иссушала себя работой с раннего утра до глубокой ночи.

— Надорвешься, оглашенная! — шумела на нее тетка Марина, забегавшая порой в своем поношенном платке с выцветшими красками. Должно быть, от этих красок и глаза у тетки Марины разные.

— Ничего, осилю,— вдова поднимала осенние ресницы, обращая глаза к татарскому броду, где высматривала уже не мужа, а сына: он полоскался в той самой лодке, в которой пуля скосила Ярослава.

Лодка эта долго лежала без дела. В расщелинах ее успела вырасти, умереть и снова зазеленеть трава. Весной Владимир попросил мать:

— Столкнем лодку на воду?

— Для чего? — спросила его с болью, осматривая челн. Она помнила еще ту иву, из которой его выдолбили. И, верно, невыплаканные слезы той ивы втихомолку выплакивает она, Оксана.

— Сколько лодке пропадать попусту? Пора кому-то и на рыбалку ездить. А я ведь старший у тебя! — рассудительно ответил сын.

И так он вымолвил это «старший», что все ее запреты отпали.

— А ты хоть умеешь грести?

— А почему ж нет? — повеселел мальчик и благодарно взглянул на мать.— Я и Миколку возьму!

— Ой нет, сначала один!

Колеблясь, открыла ворота, посмотрела на брод, где сейчас по шею, по пояс, по колено в воде стояли вербы в желтых огоньках цветенья. Цвела и та верба, под которой они не раз встречались с Ярославом. Она еще больше постарела, в дупле ее бурлит вода, а на верхушке радугой играет сизоворонка.

«Синяя птица счастья» — называл ее Ярослав.

«Только где ж оно, это счастье? Разве что в детях?» — задумчиво взглянула на Владимира (ему не терпелось сесть в лодку).

А вот и Миколка бежит, придерживает шлейку на штанишках и смеется от радости — догадался, что мать разрешила покататься.

— Вот здорово, Володя, что мы поедем!

— Кто поедет, а кто на берегу останется,— хмыкнул старший.

— Как же это? — встревожился Миколка, переводя взгляд с матери на Владимира.

— Тебя не пустят.

— Мам! — просит мальчик.

— Мал еще! — прикрикнула на сына, хоть и жаль его было.— Видишь, играют воды, как Дунай...

Обида и детское упрямство отразились на лице Миколки.

— Не пустите на наш челн, на чужой сяду.

— Ты что болтаешь?! — рассердилась Оксана.

— Будто мы с Владимиром не катались на чужих челнах. Пустите, мам...

— Ладно, неслухи, что с вами делать!

И они втроем медленно столкнули лодку в брод.

— Ты же смотри, сыночек, осторожно, вода ярится,— наказала Владимиру.— Может, я с вами поеду?

— Не надо, ребята засмеют,— и оттолкнулся веслом от берега. И хоть весло было слишком тяжелым для него, в глазах мальчика светилась бездонная радость... Почему же так мало радостей у взрослого?! Ох, дети, дети, хоть бы вам улыбнулось счастье...

Прислонившись к вербе с подмытыми корнями, она долго тогда не уходила от татарского брода. Перед ее мысленным взором на воде покачивалась не только лодка с детьми — перед ней проходили виденья недавнего и незапамятная старина ордынских времен. О них не раз читала

и слышала от старых людей и от Ярослава. Время давило на нее, теснило душу, затмевало все вокруг. Это она убегала от ордынцев в гиблые болота за татарским бродом, это над ней свистел аркан, это ее гнали людоловы в неволю по колючей стерне, как гнали связанный прокисшими сыромятными ремнями ясырь пленников:

А жерниця ноги коле,
Чорну кровцю проливає,
Чорний ворон залітає,
Тую кровцю попиває.

Это ж все было, было!.. И все еще, сдается, не растопился лед дикой злобы, все еще на сердцах и державах нарастает дикое мясо.

— О, наконец голос твой услыхала! — подошла к ней тетка Марина.— Только зачем ты про ворона черного? Ну его! А я вот вырвалась на часок — хочу хату твою разрисовать,— и махнула узелком, в котором лежали неизменные порошки друшпана [1].

— Рисуйте, тетушка... И откуда только цветы эти у вас берутся?

— Из головы, Оксана. Там и хорошая думка цветет, и гадина снует. Какая у кого голова... Давай я тебе стену с улицы подсолнухами разрисую?

— Да нет, они живые меня по всему огороду высматривают.

— А ко мне в Копайгородок Магазанник ни с того ни с сего приперся.— Марина что-то вспомнила, рассмеялась.— Во все праздничное вырядился, а чеботы волчьим жиром намазал.

— Это еще для чего?

— Чтоб собаки по закоулкам попрятались. Не с пустыми руками — связку сушеных грибов в подарок привез. Все про тебя допытывался да нахва-аливал! Просил, чтоб хату ему разрисовала. А дома у себя вовсю старался: белки от желтков сам отделял и опять про тебя расспрашивал.

— Пусть его нечистый расспрашивает!

— Да нечистый его стороной обходит. Семен в лесничестве припеваючи живет. У него ведь так: державе — каплю, себе — кварту. А ты ж как? Чахнешь с детьми? Хату подпорками, вижу, подпираешь?

— Надо будет, и плечом подопру, не поленюсь, а ни-

[1] Друшпан — собирательное название красок.

куда не пойду,— ответила на то, чего недосказала тетка Марина.

Стояла тихая, ласковая пора. Приветливый июль скопнил сено и уже подумывал собирать с будущей недели жито в полукопны. Думала об этом и Оксана, возвращаясь с младшеньким домой. Миколка перебирал стебли пшеницы, лепетал, что Владимир сплетет ему из них брыль, и по-детски радовался всему. Не торопясь они пришли домой, под золотое сияние подсолнухов, которые так любил Ярослав. С татарского брода доносились детские голоса и крики куликов. Оксана раз-другой кликнула Владимира, и он тут же примчался, повис на воротах, черный, как галчонок. И как только глаза у него не почернели?

— Чего, мам?

— Ужинать время.

— Я еще немножко побуду с ребятами.

— Не надоело за целый день?

— Да не-ет.

— Смотри, не долго.

— Я скоро, мама.— И только ворота за ним заскрипели, а он уже бегом к броду — к посвисту куликов, к смеху своих товарищей, воевавших с камышами и водой.

А в калитку, побрякивая ключами, бочком пролезает Семен Магазанник. Идет, раскачиваясь, в праздничной слежавшейся одежде, с праздничным лицом и шельмоватыми глазами:

— Добрый день, красавица, добрый день! — подкашивает своей узловатой тенью ее ноги.

Оксана вздрогнула, спряталась от чужой тени под защиту подсолнухов: они, как два солнца, легли на ее плечи, осветив опечаленную красоту вдовы.

— Здравствуйте, дядько.

— Какой я тебе дядько? — Магазанник заморгал, усы его встопорщились, а бугристое лицо выразило недовольство.— Если мужчина старше женщины на какой-то десяток с хвостиком лет, так он еще не дядько... А я только вот старшенького твоего в лодке видел!

Оксана положила руку на подсолнух, что наклонялся под тяжестью своих деток.

— В той самой, в которой убили Ярослава...

Теперь вздрогнул лесник, но тут же богобоязненность смиренно обмакнул в елей сочувствия.

— Не надо, Оксана, не надо. Мертвым — покой, живым — жизнь, какая она ни на есть. Ох и красивые у тебя

подсолнухи, такие большущие! — прицениватся то к подсолнухам, то к ресницам чародейки, что гасят и не могут погасить синюю печаль лет.

— Это для Ярослава подсолнухи. Для него сажаю...

Глаза Магазанника заволокла мглистая завеса.

— И опять же напрасно. Ему в раю святые всякое зелье сажают, хоть и не верил он в рай.— Лесник наклонился, сделал пальцами «козу» Миколке, но ребенок не засмеялся, а нахмурился и попятился от чужого дядьки.— Тяжело небось одной с двумя?.. И не говори, не говори, сам знаю: ко всему можно привыкнуть, только не к беде. Это ж надо вспахать, и посеять, и норму выполнить, и со своим огородом управиться! А еще ж и сварить, и спечь, и обшить, и обстирать, и хату прибрать, и за коровой присмотреть, ну, и детям дать толк. За такими хлопотами и лета, и брови увянут.

— С каких это пор вы, дядько, таким жалостливым стали?

— Вот опять «дядько». От этого может затянуть облаками и загреметь на душе.— Висевшие у него на черном поясе ключи от кладовой зазвенели.— А мне б так хотелось,— напомнил давнишние слова Ярослава,— чтоб и в твоих глазах проснулись зори!

— Как же им проснуться? — вскрикнула вдова, и давний предвечерний туман, простершийся над татарским бродом, окутал ее.

— Да ты не горлань,— боязливо огляделся он: не услышал ли кто с улицы? — Давай пойдем в хату, сядем рядком и потолкуем ладком.

— Нет у меня времени на посиделки!

— А ты оставь гордыню, зайди,— понизил голос Магазанник,— не раскаешься.— И снова раздалось звяканье ключей.— Я тебя по-добрососедски учу: живой должен думать о живом. У тебя двое детей, у меня один Степочка. Ты с лица красивая, а у меня есть царь в голове,— чем не пара! Я тебе, как княгинюшке, угождать буду, если ты ко мне со всем уважением. За этим и пришел... Долго я ждал, пока ты станешь вдовою...

На Оксану, будто темная метелица, обрушилась та давняя ночь девичьей любви и этот предзакатный день вдовьей печали. То давнее было несказанным в своем чуде, а это предзакатное — омерзительным.

— Дядько, и не стыдно вам этакую срамотищу городить?!

— Какая ж это срамотища! — повел тот округлыми

плечами.— Я же не подбиваю тебя на подговор, а на дело житейское. Вместе надо одолевать беду, ибо порознь ее и гром не убьет. Неужто тебе не опостылела одинокая хата, одинокая постель?

— У вас на голове уже белый цвет гуляет, а вы — жениться! — Оксана прижала к себе младшенького.— От ваших слов и вашего притворства святые подсолнухи станут грешными. Уйдите с глаз!

Отказ возмутил Магазанника, и голос его понизился:

— Ну чего ты гонишь меня, я ж не пришел твои подсолнухи красть! Я пришел вдовью нужду убрать, а ты — в крик. А чего? Ждешь, чтоб кто-нибудь принес тебе лихо в торбе? Лучше раскинь умом, загляни в завтрашний день, разве не видишь — ведь теперь с хлебом и то трудно.

— Говорю, уходите!

Зеленые щелки глаз Магазанника налились злобой, еще заметней стали в них серые песчинки.

— Что ты уцепилась за это «уходите», как за кнут? Чем я тебя обидел? Своей любовью?

— Хватит, дядько! Какая там у вас любовь, когда вы каждую юбку встречаете и провожаете бесстыжими глазами!

— Ох, и ведьмочка ты! Уста как бутон, а из уст камни швыряешь.— Семен чуть не выругался, но сдержал себя — выдержка пригодится больше ругани. Сегодня, значит, не вышло по его. Ну да есть еще у бога дни: не вышло теперь — выйдет в четверг. А если и в четверг не выйдет, все одно из этого сватовства какую ни на есть пользу заполучит: раз он посватался к Оксане, она уж никак не заподозрит его в убийстве Ярослава. Вот оно как! Старого волка за хвост не поймаешь!

И двинулся к себе в леса — к своим свиньям, к своим коровам, к своим пчелам. Они несли ему на певучих крыльях достаток и почет: лучшего меда не было во всей округе. Об этом и нужное начальство высказывалось. А лесник не скупился одарить кого нужно духмяным медом в свеженьких ведерных липовках. Все у него чин чином ладится, только нет хозяйки в доме. Что с тех поденщиц! Много ли от них проку! А Оксана и красотой своей хату его осветила б, и со всеми делами управилась бы! И с чего это она заартачилась при такой бедности? Хочет, как в молодости, чтоб ей на ушко ворковали про любовь? Так для чего тратить на это время людям, которые уже давно знают, что такое муж и жена? Не склонил он ее

сегодня, склонит завтра. Землю не обманешь, а человека можно.

У татарского брода Магазанник встретился с могучим Стахом, покосился на его мускулы, которые так и перекатывались под кожей.

— С такой бы силой пни корчевать! Идем, горемыка, ко мне работать. Не пожалеешь!

— Погожу, дядько.

— Думаешь, в моих лесах заработок меньше, чем на смолокурне?

— Да нет, видно, больше.

— Так бери плату годовую и сермягу — да и на мои вырубки и залежи.

— Боюсь такого благодетеля.

— Хоть скажи: почему?

— У вас, дядько, не серчайте, я наймитом стану подъяремным, а мне хочется человеком быть! Потому и записался в соз. Там и начну прокладывать свою борозду.

— Ох, и умники все! Лишней сорочки нету, а туда же — норов показывает. А зачем так в приселок торопишься?

— К Оксане.

— Это чего ж ради? — удивился и забеспокоился лесник.— Свататься, что ли?

— Да вы что?! — В больших серых глазах парня проснулась печаль.— В сельсовет ее вызывают.

— За долги?

Стах пренебрежительно махнул рукой:

— У вас только долги да проценты на уме.

— Какие проценты? — насторожился Магазанник.

— Думаете, село не знает, как вы наживаетесь? — ожег его Стах неприязнью и пошел в приселок.

Лесник перевел растревоженный взгляд на татарский брод, где купалась и сновала в челнах детвора.

— Эй, кто перевезет? Конфету заработает.

— А я и даром перевезу,— отозвался с лодки сын Оксаны Владимир.

Магазанник покосился на лодку и отрицательно покачал головой.

— Э, нет, на твоей посудине ни в жизнь не поеду.

— Боитесь, дядько? — засмеялся кто-то из ребят.

— Что греха таить, боюсь садиться в твою душегубку.— И сжал губы: зачем он болтнул такое о челне?..

Когда густой летний вечер и обманчивые лунные невода упали на леса, хмурый Магазанник добрался до своего глухого жилища и удивился: у высоких ворот стояла дородная Василина Голубь. До самой смерти Мирона она ухаживала за ним, и старик, умирая, вопреки воле сына, завещал ей пару быков, годовалого телка и лодку — вдова очень любила вечерами кататься на ней. Чудак был его отец! Есть ли у старого гренадера на том свете волы, озеро да лодка?

Не раз, приезжая на отцовский хутор, Семен пробовал приволокнуться за Василиной, но из его попыток ничего не выходило. От одного прикосновения к ней вдова вспыхивала и беспощадно била ухажера по рукам. А сила у нее была как у доброго косаря. И почему при таком здоровье дремала тогда ее женственность?

Улыбаясь полными, жаждущими ласки устами, Василина поклонилась ему, и Магазанник похотливым взглядом оценил пышную грудь, которой тесно было под расшитой яркими цветами сорочкой. Чего бы только не дал он за то, чтобы побыть рядом с Василиной хоть одну ночку! Хмель ударил в голову. Магазанник забыл даже об Оксане. Пропадает наш брат из-за баб и сладких любовных утех. Если бы не прогнал бог Еву из рая, спокойнее было бы на земле.

— Чего тебе, Василина? — Магазанник взял ее тяжелую руку.

— На поклон к вам пришла,— в голосе зазвучали и та насмешка, и то милое превосходство, и та женская загадочность, в которых до сих пор не в силах разобраться мужчины.

— Спасибо. Не часто красота кланяется мне,— вдохнул он запах ее осенних кос, от них веяло не осенью, а ромашкой и неспелым житом.

— Какая там красота... Лишь бы здоровье, чтобы земля не пустовала,— смутилась вдова. Немало ей пришлось потрудиться на чужих полях, и теперь она так радовалась подаренным быкам, что разговаривала с ними, будто с людьми.— Хата моя прохудилась, не разживусь ли у вас на балки и стропила?

— Собираешься примака взять? — сказал Семен, лишь бы что-нибудь сказать, пытаясь скрыть волнение.

Василина зарделась, доверчиво глянула широко открытыми глазами и призналась:

— Угадали,— и, как бы оправдываясь, добавила: —

Тяжело нынче женщине без мужа, всякий, кому не лень, обидит.

Тоскливо стало Магазаннику. Он не смог смириться с мыслью, что кто-то другой будет любоваться ее дородной фигурой, кто-то другой будет слушать ее бархатный, призывный клекот-смех. Губы и горло внезапно пересохли.

— Кто тебя сватает? — спросил он хриплым голосом.

— Да...— потупила голову.

— Говори, чего скрытничаешь? Может, на свадьбу подарю тебе кое-что за черные брови. Хоть бы во сне приснились они мне.

— Тоже скажете...

— Так кто все-таки?

— Влас Кундрик из соседнего села, знаете его?

— Влас Кундрик?! Лавочник?! — зловеще обрадовался и выпучил на Василину глаза Магазанник.— Совсем свихнулась! За такого оборотня выходить?

— Почему же он оборотень? — испуганно спросила вдова.

— Этот обольститель забил тебе голову сладкими речами, а ты развесила уши, поверила ему.

— Как же не верить, никто прежде так ласково не называл меня,— в голосе Василины дрожали слезы.— Что вы знаете о нем?

— Пойдем ко мне, я тебе расскажу про этого тварюгу, который только и знает считать чужие деньги и грехи.

В хате Магазанник зажег огарок свечи, встал напротив взволнованной Василины, которая то бледнела, то краснела.

— Слушай теперь. Хорошо, что ты вовремя наведалась ко мне, а то выскочила бы замуж очертя голову. Кундрик еще не выманил у тебя быков?

— Собирался продать их на ярмарке.

— Вот видишь! Главное в его любви — выдурить чужую копейку. А потом ищи и быков, и Кундрика. Он сразу трем несчастным голову крутит, а теперь и тебя, четвертую, обхаживает. Не ты, быки твои нужны ему! Что он глазами увидит, то из рук не выпустит.

— Откуда вы знаете?

— Твой Кундрик навеки испакостился: его и хлебом не корми, только дай повод похвастать. Недавно торочил про всех своих полюбовниц. А он не из стыдливых, слов не выбирал и в выражениях не стеснялся.

— Боже мой, за что такое надругательство?! — Щеки Василины запылали от гнева. Она закрыла их руками и заплакала.

Магазанник подошел к ней, начал вытирать слезы, что текли между пальцами, и, слегка привлекая Василину, сочувственно заворковал на ухо:

— Ну, перестань, успокойся, горемычная ты моя, горемычная...

И случилось невероятное: вдова не вырывалась из его объятий, не била по рукам, не сопротивлялась, когда он начал ее целовать. Забылась или ей стало все безразлично.

Треснул, вздохнул и погас огарок. Магазанник теснее прижал к себе Василину, поцеловал ее брови. Они тоже пахли ромашкой и житом. Вдова — ни слова. Тогда, веря и не веря в свое мужское счастье, он осторожно подвел ее к постели. Непонятная, желанная Василина молча легла, и он головою припал к груди, что так ждала ребенка, а дождалась любовника.

Семен не помнил, как провалился в жаркий, дурманящий сон, а очнулся от неутешного плача.

— Что с тобой, Василинка? — спросил он испуганно и потянулся к ней.

— Пропала моя головушка, ой, пропала...— голосила она, стоя у кровати.

— Отчего пропала? — успокаивал ее ласками и поцелуями.

— Теперь я уже не женщина, а полюбовница. Будьте вы прокляты, ненасытные!

— Разве полюбовницы не женщины? Их и цари, и короли почитали,— не нашел лучшего ответа, обнял Василину, а она со злостью ударила его по руке.

— Вот этого уж и не надо,— усмехнулся ей, ибо не чувствовал Семен боли, а только волны услады и усталости.

— И правда, не надо,— согласилась она и положила его руку на мокрую от слез грудь.

Он, снова хмелея, потянулся к ней:

— Ложись, Василинка. Еще не светает...

— Теперь мне все равно,— вздохнула она, сожалея о чем-то безвозвратно утраченном.

А из леса неожиданно долетел чей-то голос любви:

Та мала нічка-петрівочка,
Не виспалась наша дівочка...

IV

Еще для кого-то год жизни остался позади, а для кого-то жизнь отсчитала последние часы, и поседевшая мать-земля, ежась под метелями, уже думала о весне.

На Подолии в день Петра Вериги почти никогда не трогается лед. У нас лед вскрывается в дни голубого марта. Сначала гонец весны привольно гуляет по лесам, добывает из-под снега еще не распустившиеся подснежники, потом размораживает сок в березе и, когда она блеснет счастливой слезой, отправляется на реки и озера. Под его шагами на плесах просыпается ледоход. Поведет своим серебряным смычком — и уж только прислушивайся: над берегами и в заберегах вздыбливается будоражащий перезвон, а в берегах бьются, грохочут, беснуются льдины, и радостно вздыхает освобожденная волна. Как любо ей после зимнего мрака заиграть под солнцем и ударить в бубны причаленных челнов, чтобы взметнулись они вверх, разорвали свои оковы, вспомнили волюшку-волю, и купальские вечера, и сиянье глаз в предвечерье.

С подснежником на шапке март прошелся над татарским бродом, и под его поступью взломались льдины,— они сослепу налетают одна на другую, на корневища яворов, на влажный, поросший красноталом берег. Закипел он, вспенился, взлохматился от прядей вырванного аира, нежно пахнущего прошлогодним летом. А к гомону реки прибавляется детский гомон: ледоход — праздник для детей и тревога для матерей. Сколько ни говори, сколько ни грози, а все равно какой-нибудь сорвиголова захочет — вынь да положь! — прокатиться на льдине. Вот и сейчас отыскался такой сорванец: оседлав льдину, широко расставив ноги, под восхищенными взорами ребят кружит-плывет в мартовские весенние миры, в это фиалковое трепещущее над деревьями марево, что манит и безудержно притягивает. Ну разве, взглянув на такого отчаянного смельчака, не придет охота забраться на лед еще какому-нибудь проказнику? Вот уже и Владимир сбивает шапку набекрень и наклоняется к брату:

— Миколка, ты ж будь мне молодцом!

Миколка сразу настораживается, из-под заячьей шапки растерянно блестят синевой глаза. Он давно знает: когда ему наказывают быть молодцом, значит, доведется оставаться одному.

— А ты куда, Володя? — малыш подавленно смотрит на старшего брата, но держит себя геройски.

— А я сюда-туда, аж вон куда! — беспечно машет тот в сторону брода увесистой ивовой палкой.

— На льдину? — ужасается Миколка.

— Ага.

— Не надо, Володя. Я боюсь! — У малыша жалко кривятся губы, и он забывает, что ему полагается быть молодцом.

— Плакса ты, плакса и есть! Вечно у тебя глаза на мокром месте,— насупился старший и недовольно отвернулся от брата.

Это действует безотказно: Миколка никогда не был ревой и очень не любит, когда Владимир на него сердится.

— Володя, а что, если мама узнает? — косит он синими глазами на дом.— Ох, и достанется нам на орехи!

— Да откуда она узнает? Ты ж не скажешь?

— Я-то не скажу-у,— с тоской тянет Миколка, не зная, как удержать брата.— Только не надо на лед, а то еще водой сапоги промочишь...

— Так я же сегодня смазал их березовым дегтем. Вот видишь?

— Ага,— но смотрит не на сапоги, а на яростные льдины.

— Ты не бойся,— успокаивает малыша Владимир.— Когда подрастешь, тоже поплывешь на льдине.

— Я сейчас хочу, с тобой.

— Сейчас нельзя, подрасти надо.

— Тогда и ты не плыви.

— Я только самую капельку, у самого берега...

Миколка молчит, думает. И подрасти ему не терпится, и за брата боязно, и самому на лед хочется. Оно б и ничего — проплыть от брода к броду, лишь бы чего-нибудь не случилось и мама не узнала, а то будет одной рукой хвататься за веник, а другой за сердце.

— Так я пойду за тобой вдоль берега.

— Вот и хорошо! — скалит Владимир зубы.

Теперь страхи окончательно покидают Миколку, он, воспрянув духом, чуть набекрень сбивает шапку, чтобы побольше походить на брата, и даже видит себя на льдине — чем он хуже других?

А Владимир со своей ивовой палкой в руках уже входит во вспененную воду и так присматривается к льдинам, словно что-то читает в них. Вот эта, верно, слишком мала, эта вроде с трещиной, а вот эта в самый раз! Опираясь обеими руками на палку, он взлетает вверх и проворно опускается на льдину. Она кренится, мальчик пугается,

но тут же успокаивается: льдина выравнивается, и ее движение сладко отзывается под ногами весенним клекотом.

— Вот здорово! — радостно восклицает Миколка. До чего жалко, что он еще маленький!

Владимир показывает брату кончик языка, машет палкой и горделиво поглядывает на берег, а он все удаляется и удаляется.

— Володя, ты ж держись поближе! — кричит Миколка и, раздвигая краснотал, мчится берегом, чтобы не потерять из виду брата.

— Вот некому выпороть сорванца! — слышит Миколка, как осуждают брата, хочет вступиться за него, но в эту минуту, зацепившись за корневище, падает на краснотал, на серебристые котики.

Когда Миколка вскакивает на ноги, он видит брата уже посреди брода, где льдины трутся одна о другую, как рыба в нерест.

— Володя! — отчаянно кричит Миколка, срывает с головы своего зайца и машет им. Ветер поднимает пшеничный вихор — он тоже призывает Владимира на заросший ивняком и вербами берег.

Но старший, видно, уже не слышит Миколку: у него теперь одна забота — отталкиваться и отталкиваться от настырных льдин, что так и норовят сбить его с ног. И сбивают! Миколка цепенеет от страха, а Владимир, перескочив со своей накренившейся льдины на другую, поскользнулся, упал на одно колено, но сразу же поднялся.

Теперь к реке сбегаются все, словно на ярмарку, машут руками, кричат, подсказывают, как выпутаться из беды. Только Миколка стоит неподвижно, не замечая, что его заячья шапка упала с головы, и не сводит взгляда с Владимира. И вдруг случилось что-то ужасное: какая-то невидимая льдина снизу ударила в льдину Володи, расколола ее пополам, и мальчик камнем ушел под воду. Только ивовая палка и заячий треух всплывают наверх.

— Утонул! — истошно вскрикивает кто-то, а Миколка плачет во весь голос.

Но это был не конец: в полынье появляется голова, а с берега кто-то бросается в воду и призывно кричит:

— Держись, Владимир! Держись!

И мальчик держится. Вцепившись пальцами в лед, он отчаянно пробует выбраться на льдину, но она встает торчмя, и Владимир уже захлебывается.

— Держись, малой! — подбадривает его пловец, расталкивая льдины и ловко скользя между ними.

— Я держусь, дядько Стах,— уже не чувствуя пальцев, насилу выдавливает из себя мальчик.

— Ты ж у меня казак! — прибавляет ему мужества и голосом, и взглядом Стах Артеменко. Через какую-то минуту он уже выхватывает ребенка из воды и как нельзя серьезней спрашивает: — Вымок?

Вот так всегда эти взрослые! Ни в тын, ни в ворота сморозят что-нибудь младшим, а потому Владимир в лад ему отвечает:

— Вымок, но в сапоги воды не набрал!

— Ох и врунишка ты! — улыбается посиневшими губами Стах и гребет на берег, такой теперь заманчивый и желанный... «Как здорово выбраться наконец из воды,— мечтает Владимир,— вбежать в хату — да на печь! И чтоб мама ничегошеньки не узнала. Да, верно, люди добрые расскажут ей все до капельки, а уж тогда без причитаний и слез не обойтись...»

— Ой, дядько Стах, у вас кровь с лица течет!

— Да это я об льдину зацепился, ерунда! — еще бережней защищает Стах своим телом ребенка.

Они выбираются из воды, к ним первым бросается заплаканный Миколка, а от приселка уже бежит Оксана. Ноги у нее подкашиваются, запыхавшись, она на миг останавливается и, не вытирая слез, бежит дальше. И теперь Владимиру не жаль себя, жаль только маму. Бледная, постаревшая, она замирает подле них троих и опять же, как только одни взрослые могут, спрашивает не голосом, а воплощенным отчаянием:

— Живой?

Ну кому не видно, что он живой! А вот же спрашивает про такое...

Не дождавшись ответа, мать обхватывает его руками, прижимает к себе и тискает так, что на нем чавкает мокрая одежда.

— Мама, вы не плачьте, а то и я сейчас заплачу,— вздрагивают губы у мальчика.— Это меня дядько Стах вытащил, а сам об лед порезался!

— Ой, Сташек...— клонится головой к хлопцу, а он неловко поддерживает ее.

— Правда, не плачь, Оксана. Вот обманем кашель, все и минется.

— Это не я, это доля моя плачет,— с благодарностью глядит на Стаха полными слез глазами, а у сына спрашивает: — Что бы я, оголец, делала без тебя? Скажи, что?

— Разве я знаю? — беспомощно отвечает Владимир. («И всегда мама найдет такие слова, чтобы разжалобить...»)

— Ой, живей, живей домой! — опомнившись, руками вытирая слезы, торопится Оксана.— И сразу мне на печь!

— А я, мам, со страху есть захотел,— шепчет Владимир, зная, чем задобрить мать.

— Горюшко ты мое,— понемногу отходит Оксана, крепко целует сынишку, с неутихшей болью и неугасшими воспоминаниями спешит прочь от немилосердного татарского брода.

Дома Оксана загоняет сына и Стаха на просторную печь, сует сухое белье, поит горячим чаем с малиной и земляникой, досыта кормит и, уложив Миколку, отжимает мокрую одежду.

— А это что? — спрашивает удивленно, разглядывая кое-как схваченный нитками лоскут рыбацкой сети.

— Сорочка нижняя,— улыбается Стах.— Я ее из бредня сшил.

— Для чего она тебе?

— Чтоб рыбой и нашими бродами пахло.

— Чудеса,— пожимает плечами Оксана и принимается за стирку.

Стах молча следит за вдовой, молча палит едкий самосад да иногда хмыкает что-то под нос, отвечая своим мыслям.

— Стах, не пора ли спать?

— Ушел мой сон на броды... А ты слышишь, как ваша хата гудит?

— Сухое дерево, вот и ловит все ветры и даже волну с брода. Как там хлопец? — подходит к сыну, поправляет ряднину.— Вроде не горит огнем.

— Это я горю огнем,— вырывается у Стаха.

— Правда? — пугается вдова.

Стах невесело усмехается.

— Да нет, это я от табака, что ты взяла у Гримичей. Ну и забористый! О, слышишь, вроде гром раздался.

— Это лед на броде. Скоро весна. Само счастье послало тебя,— снова со страхом возвращается к нынешнему происшествию.— И как ты, Сташек, не побоялся в воду кинуться?

— Надо ж было хлопца спасать.

— Чем только я тебя отблагодарю!

— Спасибо, Оксаночка.

— Не называй меня так,— вздрогнула она.

— Почему?

— Только мама и Ярослав так меня звали.

В хате надолго водворяется молчание. Стах, накурившись, как будто заснул. Оксана погасила свет и прилегла возле Миколки. Он улыбался во сне. И каким тяжелым ни был сегодняшний день, Оксана сразу, словно в воду, прогрузилась в сон. Проснувшись, она растерялась: недалеко от нее, примостившись у окна, сидел уже одетый Стах.

— Ты что? — спросила пугливо.

— Ничего. Месяц взошел у твоего окна, вот и гляжу.— Он посмотрел на нее с той безнадежностью, в которой, запрятанные далеко вглубь, таились искорки надежды.

Она отвела глаза и спросила, лишь бы спросить:

— Почему не спишь?

— Я ведь говорил: ушел мой сон на броды. Слышишь, как звонит в свои колокола?

— Весна... Как Владимир?

— Ни разу не кашлянул.

— А сердце у меня что-то так болит...

Стах тряхнул взъерошенным чубом и сказал не то Оксане, не то обращаясь к кому-то еще:

— А сердце и должно болеть — и за себя, и за других, если ты человек, а не жадная утроба, которая и не знает уже, что еще пихать в себя, вот как Магазанник пихает...

— Ох, Сташек, у меня и в мыслях не было, что ты такой.— Теперь она с удивлением стала искать его глаза, прикрытые тенью.— Ты это вычитал где-то?

Стах, должно быть, обиделся и ответил не скоро:

— Вычитал, Оксана, вычитал в той большой книге, которую я пашу, которую засеваю и жну, только пока на хлеб себе досыта не заработаю. Еще очень бедны мы, но честны — и делами, и сердцем, и вами, женщинами. А теперь доброй тебе ночи, Оксаночка...

На этот раз вдова не возразила, когда Стах снова назвал ее этим именем. В добром удивлении она и в сон взяла слова Стаха о сердце, которое должно болеть за других, о честности, помнила его взгляд, который и в безнадежности таил надежду...

Когда Оксана снова проснулась и забралась на лежанку, чтобы взглянуть на сына, Стаха на печи не оказалось. Подошла к окну, прислушалась. Немного погодя, полураздетая, обеспокоенная, вышла во двор. Никого. Только полумесяц пробивался из-за туч, а внизу тревожился татарский брод.

Вдруг мучительная метель догадок, отзвуки прошлого и водоворот настоящего (и тот вечер, когда Стах на лугу встретил ее, и высказанные им слова, и невысказанная боль, и звонница, и вчерашняя беда) ворвались в душу. Охваченная непонятным страхом, Оксана, наспех одевшись, нащупала в сенях весло и бегом кинулась к татарскому броду. На волнах все еще перешептывались, позванивали льдины, и каждая несла вдаль подхваченный лунный свет. Оксана отвязала от комля лодку, спустила ее на воду и, огибая льдины с отраженными в них лунными всплесками, поплыла к другому берегу.

Шелест птичьих крыльев всполошил ее: из-под самых ног с шумом взлетел одинокий селезень и, заслоняя месяц, взвился в небо.

А может, это не селезень, а душа умершего?.. Забытые, дремавшие суеверия проснулись в ней, и, казня себя, она раскаивалась: почему хоть сегодня не нашла для Стаха ласкового слова, улыбки или взгляда, которых он, наверно, так ждал от нее? Разве только счастливый человек приносит облегчение другому? Счастье может принести и неудачница. Только как? Хотя бы тем, как, пересиливая страдания, ты даришь отраду своим детям. До чего поздно, до чего поздно начала она догадываться, как много может женское сердце!

Одолеваемая тяжелыми думами и боязнью пересудов, Оксана вошла в село. На околице, спускавшейся в ложбину, она услышала голоса влюбленных и замерла в испуге. Да нет же, это журчит на леваде ручей, перенявший когда-то у людей шепот любви и всхлип младенца. Вот это, наверно, и есть жизнь: шепот любви, младенческий всхлип и покачивание земли на серебряных лунных нитях. Только почему так покачивает ее? Ох Сташек, Сташек...

Уже дойдя до самой звонницы, Оксана неожиданно услышала печальный, стиснувший ей сердце голос — голос, который стал умерять ее боль:

Світи, світи, місяцю,
Ще й ясна зоря,
Просвіти доріжку
Аж на край села.
Просвіти доріжку
Аж на край села,
Аж до того двору,
Де живе вдова.

Но Стах не приближался, а удалялся от вдовьего двора. Вот уже пропал за вербами, за хатами, вот и стихла его песня, и вдове полегчало, и она уже казнит себя за

глупые мысли. Обессиленная, хочет присесть хоть посреди улицы. Но тут ее могут увидеть, и Оксана подходит к церковной ограде, отворяет калитку и останавливается то ли перед старой звонницей, то ли перед своими молодыми летами. И не верилось ей, что были у нее те молодые года, пока вверху, в колоколах, не зашумели притаившиеся ветры...

Сама не зная для чего, открыла двери звонницы и скрипучими ступенями начала подниматься к тем ветрам и к тем колоколам, которым вот уже столько лет откликалась ее душа.

Опять перед ней потянулись в неизведанное выбеленные месяцем дороги, опять поднимались ввысь осыпанные звездами хаты и окрестные хутора. И снова в сердце не было покоя.

«А как там Владимир?» — встрепенулась и сразу же вспомнила древнюю мудрость: «Дитя спит, а доля его растет». Что же судилось ее детям?

Молчит звонница, молчат колокола, молчит земля...

На рассвете, приготовив детям завтрак и выпроводив их из хаты, Оксана неожиданно увидела чудную сорочку, сшитую из рыбачьей сети. Сорочка и в самом деле пахла рыбой и волной, а в ее ячеях запуталась крохотка татарского зелья.

«Надо же...» — и вдова усмехнулась, грустно покачала головой и начала доставать из сундука холсты — скоро надо белить их. Оксана очень любила расстилать холсты на ровном берегу неподалеку от девичьего брода, там, где она когда-то пускала с девчатами купальские венки. Ох, когда это было...

Оксана оделась и пошла к девичьему броду. Знакомая дорога воскрешала в памяти молодые годы. Вокруг на лугу голубели проворные трясогузки, а за вербами и красноталом шуршала, всхлипывала и позванивала серебром река. Луговиной Оксана дошла до живой изгороди краснотала, что ласкала сережками лицо и руки, глянула на воду и обомлела: впереди, недалеко от берега, на льдине стоял ее упрямый Миколка. Широко расставив ноги, он крепко держался за вогнанный в льдину шпинь. Мало ему было вчера материнских слез. Она едва не вскрикнула, но побоялась испугать ребенка, а Миколка уже увидел мать и аж пригнулся. Страх пронизал ее с головы до ног.

— Правь к берегу, Миколка,— сказала она строго.

Малыш выхватил шпинь и начал грести им, как веслом, подгоняя льдину к берегу. И когда он научился так

орудовать? Вот льдина острым краем резанула берег, а Миколка, не выпуская шпинь из рук, выскочил на луговину и с виноватым видом встал перед матерью.

Некоторое время они молчат.

— Ну, что ты скажешь? — наконец спрашивает Оксана укоризненно, но не сердится и не ругает его.

Миколка поднял голову и тоже спросил мать:

— А разве я хуже других?

И слезы окропили ее душу. Она подошла к Миколке, обняла его, поцеловала.

— Не хуже, сынок, не хуже, только о матери подумал бы...

V

Скудный был урожай в этом году, да и того не стало. А когда из последнего выполнили план, прокурор Прокоп Ступач раскричался вовсю, что мягкими культурами, мол, не отделаться, и наказал вымести все подчистую, вплоть до семян на посев.

— Чем сеять будем? — выходили из себя мужики, голосили бабы.

— Хоть слезами! — грозно ответствовал страж порядка, сверля гневным взором самых неугомонных.

Он был уверен, что крестьянскую стихию можно и надо придушить только угрозами. За различными делами и судебными заботами он успел забыть о насущных потребностях человека, о теплом слове для его сердца и теплом хлебе на столе. И на картошке проживет стихия...

Правда, с посевным зерном Ступач перестарался — и рожь, и пшеницу все же привезли на посев: нашлась еще работа и людям, и государству. Отсеялось село, да и начало ложиться и вставать с печалью...

Затужила и Оксана: как же ей перебиться с детьми? Сколько ни делила свои убогие запасы, все выходило одно: не перезимовать ей. Снова и снова считала каждый початок кукурузы, каждый снопик фасоли, каждую маковку и вся холодела: ведь не было главного — хлеба. Кабы знала, посеяла бы в прошлом году жито на огороде. Только горе вперед знака не подает. Теперь дети встречали у нее больше ласки, да видели меньше хлеба.

— Мам, а почему у нас хлебушка все нету и нету? — без конца допытывался Миколка. Своей светлой головкой он так походил на золоточубый подсолнух...

— Не уродило нынче, сынок,— гладила она родную головку и отводила глаза.

— А почему у дядька Форчака уродило?

— Дядько Форчак — он кладовщик,— вразумительно объяснил старший.— Вот я рыбки наловлю, и мама опять ухи наварит.

Но Миколка тихо вздыхал:

— Воду сколько ни вари, она водой и останется. Вот если б краюху хлеба к ней!..

От этих слов хотелось заголосить, а надо было сдерживаться, утешать детей да нахваливать то печеный картофель, то лепешку кукурузную, то пустую похлебку. Да хоть бы этого было вдосталь. Что же зимой их ждет? И, страшась зимы, Оксана реже выходила на работу, чаще брела со своими тяжелыми предчувствиями в лес — по грибы, кислицу, желуди.

Как-то уже после первых заморозков встретила на вырубке Магазанника. Откормленный, грузный, он неторопливо шагал с ружьем на крепком плече, а на широком поясе у него сиротливо болтался подстреленный заяц. Достаток и самодовольство отпечатались на лоснящемся лице, и сытость дремала в глубоких подглазьях, в складках двойного подбородка лесника.

— Кого я вижу в своих дебрях! — удивленно поднял уголки бровей, плотно погрузив забрызганные заячьей кровью сапоги в побуревший вереск. И куда только подевалась его недавняя сонливость! — Вот живет-живет человек и нежданно-негаданно встретился со своим счастьем! — засматривает он в хмурые вдовьи глаза.

— Вечно плетете несусветное,— сказала она с досадой.

— Самое заветное говорю, потому как звездочкой ты передо мной сияешь,— заиграли глаза под редкими ресницами. Помолчав, лесник покосился на Оксанино лукошко: — Последние опята подбираешь?

— А куда денешься? Приходится...

— Небогато нынче грибков, небогато. Они тоже время чуют,— уронил многозначительно, скользнув взглядом по низеньким пенькам. Близ них зацветали горячим изжелта-красным цветом поганки.— От первых утренников пожухли было, а теперь понемногу отходят... Как живешь-можешь?

— Вода есть, еще бы к ней хлебца на добавку, можно б и жить...— горько усмехнулась Оксана.

— Беда,— Магазанник сочувственно собрал в складки переносье.— Твои хлопцы любят грибы?

— А что им остается!..

Магазанник заглянул в лукошко.

— Может, ты мне супцу с опятами наварила б да зайчатину с чесночком стушила? — и махнул в сторону своего жилья.— Вот поднял зайца в молодняке, а к нему ведь женские руки надобны.

— А что у вас, хозяйничать некому?

— А вот и некому. Так мне обрыдли поденщицы эти!.. Ну как?

— Ничего, для вас они расстараются!

В зеленоватых Семеновых глазах поскучнели серые песчинки.

— И чем я тебе не по нраву? Так уж лицом не вышел?

«Душой не вышел»,— хотела ответить, но промолчала.

— А я тебе только добра желаю. Звезду с неба и ту бы достал! — и поднял вверх руки, но поймал не звезду, а лишь шелковую ниточку «бабьего лета».

— Ох, не верится, дядько, что вы такой добренький!

Магазанник сердито насупился, смял в пальцах тонкую паутинку.

— И когда ты этого «дядька́» забудешь? Для меня твой «дядько» хуже занозы... Хочешь, покажу местечко, где есть белые грибы?

— Белые? После заморозков? — не поверила Оксана.

— Да, после заморозков вылезли. Незавидные, правда, искореженные, будто грешники в аду, а все же таки белые.

В дубняке что-то зашуршало. Оксана от неожиданности вздрогнула, а лесник засмеялся.

— Не бойся, это мой вывод поросячий на желудях и гнилушках сальце нагуливает. Как выгнал со двора после первого грома, так сейчас только с приплодом объявились. Двух кабанчиков,— заметил он озабоченно,— надо будет для откорма отобрать. Люблю ту пору, когда во дворе пахнет морозцем, ржаной соломой и палениной, а в хате узваром и кутьей. Тогда и душа, как в раю, отдыхает, и время останавливается...

С вырубки они вошли в густую чащу и всполошили свиней. Юркие поросята и подсвинки так бросились врассыпную, что в глазах зарябило, а старые встревоженно уставились заплывшими глазками на хозяина.

— Паць-паць-паць! — ласково позвал лесник, и откормленная, гороподобная хавронья, узнав его, благодушно захрюкала. Семен подошел поближе, почесал у нее за уша-

ми, потрогал сапогом отвисшее брюхо и удивленно сказал сам себе: — Смотри-ка, опять с приплодом! Ну прямо не свинья, а крольчиха, поросится и поросится, да все рябенькими рукавичками. Хоть и дурная у нее голова, зато брюхо разумное,— и хозяйская рачительность расплылась по лицу Магазанника. У ног его невозмутимо похрюкивала хавронья, стряхивая блох на хозяйские сапоги.— А теперь двинули за грибами.

По дороге он украдкой пожирал глазами лицо и грудь Оксаны и будто невзначай изредка касался то ее плеча, то руки. Господи, и откуда берется среди грешных такая неземная красота? Ее бы со святыми рядом поставить! Семен остановился.

— Вот здесь я наткнулся позавчера на десяток белых грибов.— И показал на холмистую поляну, где тесно сгрудились молодые дубки, листву которых уже тронула осень.— Поищи хорошенько под листьями, там их еще найдешь,— и, раскачивая своей добычей, быстро зашагал к себе.

А вскоре вернулся, переодетый во все чистое, и полушутя низко поклонился вдове:

— Уважь, Оксана, освети мою келью, зайди на минуту-другую...

— Чего я там не видела? — нахмурилась Оксана.

— Не обижай! Ты ж любовь моя недоступная! Дозволь угостить-попотчевать гостью дорогую. Не взыщи, разносолов всяких не имею, сластей тоже не припас, а вот колбаской из вепрятины могу хоть кого удивить: на угольях из черешневых веток томил — пахнет так, что за полверсты почуешь.

— Так уж и за полверсты? — удивилась Оксана, а у самой мучительно засосало под ложечкой.

— Не меньше,— угодливо глянул на нее лесник.— Пошли помаленьку.

Он таки упросил ее зайти в свое приземистое, с тяжелыми ставнями жилье. В нем стоял затхлый дух сушеных груш, сала, лежалой одежды, кислого кваса и едкого дегтя. К этому примешивался тленный запах старых книг, забивших пузатый, красного дерева шкаф.

— Книжками или шкафом интересуешься? — перехватив ее взгляд, игриво подмигнул Магазанник.— Книги здесь редкие, даже про любовниц французских королей имеются. И опять же шкафом полюбуйся, панский он, из красного да розового дерева. Видишь, как переливается!

Лесник повесил на колышек берданку, перекрестил ее, зажег самодельную свечу, прилепив на угол стола, и многозначительно посмотрел на Оксану: имей понятие — перед твоей красой, мол, даже днем святой воск жгу. Потом проворно метнулся к посуднику, к печи, в кладовую.

«Черт со свечечкой»,— вспомнила Оксана прозвище Семена, подойдя к столу с горевшей на нем свечой, и погасила колеблющийся огонек,— он уже подкрадывался к торчавшему из воска пчелиному крылышку.

— Ты что? — недовольно спросил лесник.

— Негоже воску плакать днем.

— Перед красотой и люди плачут.

— Помолчите, дядько.

Магазанник неодобрительно покачал головой, вздохнул, но ничего не сказал и принялся сновать по хате. Вскоре старый, тоже панский стол был весь уставлен угощением. Чего тут только не было! Свежее подчеревье, аппетитный круг пахучей колбасы, полная миска вареников, соты, истекающие медом, пирожки с горохом и к ним тертый чеснок, капуста с тмином и бутыль водки.

— Вот и есть у нас кое-какой полдник. Горошниками я тебя не порадую, они такие, что и гром не разобьет,— не хозяйка лепила их.— И хоть не хотел, а вспомнил глаза, полные истомы, в которых тесно было пламени и чаду желанья.— Ох, грехи наши, грехи... А вот колбаской из вепрятины не грех и в столице похвалиться. Попробуй! — Магазанник разломил пополам сочное коричневатое кольцо и придвинул Оксане.

Колбаса и вправду была на славу, от нее исходил дразнящий, пряный запах, и она просто таяла во рту. Магазанник на все лады упрашивал Оксану хоть пригубить чарку — не за него, так за детей — и все-таки добился своего. Сам же выпил и за детей, и за Оксану, и за ее красу, и за то, чтобы грома не бояться: всякое нынче случается. Уже сейчас в предзимье фунт хлеба стоит три рубля. У зимы ж рот и вовсе ненасытный. Не всякий, кто живет в этом году, переступит следующий.

От этих слов у вдовы навернулись слезы. Лесник захлопотал возле нее, назвал себя дурнем и снова принялся потчевать дорогую гостью.

Но Оксана сказала, что ей некогда, и поднялась из-за стола. Магазанник своей рукой-ковшом осторожно коснулся ее исхудалого плеча.

— Посиди еще часок, осчастливь мою хату.

— У вас счастья и без того полный короб, добро сторицей родит.

— Добро у меня водится, а вот счастье стороной обходит,— вздохнул лесник, незаметно приглядываясь к гостье: у уголков ее глаз нужда уже проложила первые морщинки.— Ты видишь мое житье, а я как свои пять пальцев знаю твои достатки. Не вытянуть тебе нынче. Выходи за меня, я тебе дело говорю, если не по любви, так из-за беды. А там, глядишь, и любовь придет. Недаром говорится: стерпится — слюбится. Об этом и в книгах мудрые головы толкуют,— и он ткнул толстым пальцем в господский шкаф.

Дрожь прошла по телу Оксаны.

— Не говорите мне, дядько, про любовь.

— А чего ж не говорить про любовь, когда постареешь, уже поздно будет.

— Вспомните свою жинку, все знают, какая была у вас к ней любовь...

— Так то к ней, а то к тебе. Разные у человека годы, по-разному он и любовь ценит. Тогда я заглядывался на десятины, теперь на красоту. Ты про детей подумай. Может, я твоя доля!

В ней вспыхнул гнев:

— Не быть вам моей долей!

Но Магазанник пропустил ее слова мимо ушей.

— Ударим, Оксана, по рукам, скажи свое последнее слово.

— Мы ведь не на ярмарке, дядько. Это там торгуются да рядятся.— В глазах Оксаны появилось упрямство.

— Так я тебе противен?

— Я этого не говорила. Бывайте здоровы.

— И знать меня не хочешь?

— Думайте как хотите...

Частые морщины пересекли лоб лесника, а на перекошенном от злобы лице проступили капли пота.

— Дурная и неразумная ты еси! Почему вместо житейских радостей ставишь крест на себе? Для кого и для чего бережешь себя? И королевы так высоко себя не ставили! Ну, скажи, кому это нужно? Гляди, чтоб потом в лихолетье со всей своей святостью не стала моей полюбовницей...

На минуту Оксана окаменела. Потом в глазах ее блеснули молнии.

— Пусть гробовая доска станет тебе полюбовницей!

Она еще успела увидеть, как помертвело, вытянулось,

словно дыня, лицо Магазанника, и опрометью кинулась из хаты — в сонное похрюкивание свиней, в сонные вздохи кринок, что выгревались на плетне, в сонный свет солнца, лившийся с деревьев. Тут в самом деле остановилось или умирало время.

Магазанник не попытался догнать ее. Он не мог опомниться и растерянно застыл посреди хаты. Не мог взять в толк: откуда в ней это упрямство, да еще перед лицом такой нужды?! И как с этих нежных уст могут срываться столь неистовые речи? Ох уж эти мне бабы! Все одним миром мазаны, все пошли от конотопской ведьмы! Магазанник приник к окну. Но со двора в лес убегало не отродье ведьмы, а сама разгневанная красота, а из ее лукошка сыпались наземь грибы.

«Рассыпай, рассыпай! Только что ты зимой будешь делать?»

Гнев так же внезапно отпустил Магазанника, как и охватил. А на смену пришли чувство горечи, сожаление о том недосягаемом, что жило совсем рядом, но сторонилось и боялось его. Неужели так и не познает он того дива, что приносит истинная краса? Неужели вместо святости любви его ждут лишь греховные утехи?

Падал и не падал первый снег, курилась и не курилась земля, напоминая спутанную дымчатую пряжу осеннего вечера. И дальние деревья казались лоскутьями осеннего вечернего неба.

У татарского брода по-детски причмокивала, посасывая берег, волна. Это напомнило Оксане то радостное время, когда она кормила детей. Вдова выпрямилась на мостике, окончив полоскать белье, и с горечью почувствовалала, что грудь ее увяла — недоедание делало свое. А кто-то ведь объедается сытной колбаской, томленной на черешневом угольке... Выбрось из головы пустые бредни. Вот детей надо накормить пусть какой ни есть затирухой. Как они только перезимуют?

Куда девать, куда прогнать эти мысли, эту муку и одиночество, вселившиеся в душу? В тяжелом раздумье Оксана уложила выстиранное белье на коромысло, поудобнее пристроила его на плече и, покачиваясь под тяжестью ноши, заспешила домой. Вдогонку ей, по-детски всхлипывая, посасывала берег невеселая волна.

Заслышав материнские шаги, дети бросились ей навстречу, и Оксану пригвоздило к месту привычное:

— Мам, а что у нас на ужин?

Притворилась веселой, приласкала золотистую и темную головки.

— Что-нибудь да будет.

— А что, что? Затируха?

— Вот и не угадал. Казацкий кулеш.

— Казацкий? — удивляется Микола. Обыкновенный ему хорошо знаком, а про казацкий слышать не приходилось.— Какой же это?

— Со шкварками и дымом.

— Со шкварками?! Ох и здорово! — Лицо мальчугана расплылось в радостной улыбке.— А где вы сала достали?

— Тетка Марина принесла.

— Она колола кабана?

— Опять не угадал. За свои цветы заработала.

— А я у тетки Марины видел цветы, на стене нарисованные, все равно как живые,— вспомнил Владимир.— И для чего ей цветы осенью?

— Чтоб напоминали лето, когда все родит,— вздохнула Оксана.

Уже допревал кулеш и шипела заправка, уже дети от нетерпения барабанили деревянными ложками по миске, когда Оксана услыхала во дворе чьи-то шаги. Щелкнула щеколда, вторая, и в хату с мешком на спине вошел Стах Артеменко. Сбросил на пол свою ношу, и от нее повеяло запахами ветряка и лета. Натруженной рукой Стах вытер вспотевшее лицо и смущенно посмотрел на Оксану.

— Вечер добрый! Не прогоните примака?

Это «примак» испугало вдову и напомнило ту тревожную ночь, когда после несчастья с Владимиром ей померещилось невесть что и она бросилась искать Стаха, как, быть может, теперь он ищет ее. Женское чутье подсказывало, что Стах любит ее. Раньше Оксана не боялась этого, а после той ночи стала бояться и его, и... себя.

Владимир сразу же подбежал к своему спасителю, радостно поздоровался, как взрослый, пригласил к столу, достал четвертую ложку.

— Сейчас, дядько Стах, вечерять будем, казацкий кулеш поспевает.

— Не знаю, как мать,— с надеждой он покосился на Оксану, что пылала то ли от огня печи, то ли от жара в голове.

Она понимала не досказанное им, но ответила с приветливым спокойствием:

— Мать — как дети. Гостю всегда рады. Кулеша хватит, а за хлеб не взыщи, не то что муки, а и обмет весь давно выскребла.

Стах показал на свой мешок:

— Может, Оксана, пресный корж испечешь? Муку я принес...

— Как это принес?! — встрепенулась Оксана и с ухватом в руке стремительно повернулась к Стаху.

— Так вот и принес. Про детей подумал, про крестника своего,— и притянул к себе Владимира. Тот крепче прижался к нему. Миколке даже завидно стало.

— Что ты выдумал, Стах? — посмотрела укоризненно.— У тебя что, от муки закрома ломятся?

— Почитай, это все,— ответил, переминаясь с ноги на ногу.— На один замес, думаю, наберется...

— Разве ж так можно?

— Нужно, Оксана,— сказал твердо, поднимаясь из-за стола, чтобы глаза смотрели в глаза.— Хоть немного помогу вам.

— А сам как же?

— Унесу свои руки и одиночество аж на Кавказ. Там, говорят, и работа есть, и недорода не было.

— Дядько Стах, не уезжайте,— вмешался Владимир,— оставайтесь с нами. Будем вместе рыбу и вьюна ловить. Оставайтесь...

— Вот кто меня жалеет,— дрогнул голос Стаха. Он смотрел на Оксану с невыразимой мукой. Молча ждал ее слова и страшился его. Страшилась его и Оксана. К чему все это? Опустив голову, она уже прислушивалась не к голосу минувшего, уплывшего, как вешняя вода, догоняй — не догонишь, а лишь к сумятице чувств, нахлынувших на нее.

— Мама, скажите вы, чтоб дядько Стах остался.— Владимир умоляюще посмотрел на мать.

Вдова печально подняла голову.

Темнея лицом, уже без всякой надежды Стах искал ее глаза, ждал приговора. Ничего не видя перед собой, он подошел к ней.

Оксана провела рукой по глазам, грустно взглянула на Стаха.

«Жду твоего слова, Оксана...» — сказал не пересохшими губами, а взглядом.

«Для чего?» — спросила немо.

— Не могу без тебя...

— Время ли думать об этом,— сказала она, жалея его, жалея и осуждая себя.

— А может, лучшего и не будет?.. Говори, Оксана...

Борясь с неуверенностью, с мучительными сомнениями, Оксана едва прошептала:

— Что ж, если хочешь, оставайся. Дети ведь, невзгоды, вдовьи лета... Не раскаешься ли?

Стах не поверил своему счастью. Неужто Оксана станет его женой?! Он хотел поверить ей самое сокровенное, но не осмелился — на них смотрели притихшие дети, они тоже почувствовали что-то необычное. У Стаха лишь вырвалось:

— Оксана, Оксанка, Оксаночка...

Это не порадовало, а ножом полоснуло: зачем, зачем возвратил он ей слова Ярослава?! Она застыла, словно во сне, неподвижно, подавленно.

— Мама, а кулеш выкипает,— оторвал ее от воспоминаний Миколка.

Оксана выхватила горшок из печи, а Стах, веря и не веря себе, все еще искал ее взгляда.

Вот и одарила она его тем взглядом, которого он ждал столько лет!

Оксана чувствовала, как нужен ему этот взгляд, и нашла его в себе. А какое смятенье поднялось в ее душе, одним вдовам понять под силу.

Поздним вечером, когда уснули дети и в хату проникло дыханье татарского брода, Стах неумело обнял ее, подвел к окну, откуда струилась лунная дремота.

— Какая ты красивая, Оксаночка!

— Уж и не чаяла услышать такое...

— Я тебе об этом всю жизнь говорить буду.

— Много ли ее осталось нам...

— Ты про что?

— Разве сам не знаешь? — пригорюнилась она.

Подошла к детям, поправила на них рядно. Она сама ее выпряла, выткала, выбелила в голубой весенней воде. Чего только не умеют ее руки, а в нынешнем году ненужными они стали.

Стах снова обнял ее, и она, колеблясь и борясь с собой, скорей из жалости, чем от любви, несмело положила ему голову на грудь и неслышно молвила:

— И сама не знаю, как оно вышло...

— Это все мои годы, любовь моя умолила тебя. Как я мучался, думая о тебе... Как-то весной прилетел к моей

скворечнице одинокий скворец, да и начал и пением, и свистом, и взмахами крыльев звать к себе пару! А ее нет и нет. Так, поверь, в песне птицы задрожали слезы.

— А потом что?

— Недели две тосковала птица, как человек, и дождалась своей пары скорее, чем человек, и тогда на радостях запела соловьем.

— Вправду так было?

— Вправду.

— Так ты думал... о моих детях?

— Не переставал думать и о тебе, и о детях... Да про безрассудство наше думал.

Оксане стало страшно.

— Про наше? Твое и мое?

— Нет, про тех ступачей, что и семена выметают из села. Где они жили, где росли, на каких дорогах человечность растеряли?.. Оксаночка, не найдется ли у тебя чего-нибудь выпить? Я ведь не знал, какое счастье мне привалит.

— Вишневка прошлогодняя.

— Вот и хорошо!

Она зажгла лампу, принесла из кладовой бутылку, достала глиняные чарки, на которых пели рисованные петухи.

— Закусить-то нечем...

— Сегодня обойдется и так.— Стах наполнил чарки, погасил свет.

— Зачем это?

— При луне и при ее отсветах лучше. За тебя, Оксаночка, за нас, за наших детей и за нашего единственного свидетеля — луну. Ты любишь ее?

— Очень.

— А я тебя.

— Ой, лукавый!

— Не лукавый, а завистливый.

— Кому ж ты завидуешь?

— Сам себе,— и коснулся ее уст, что пахли вишняком и душицей...

Весной, когда цена за фунт хлеба подскочила до шести рублей, в хате у Оксаны неумолимо поселился голод. Оксана, слабея, еще кое-как держалась, а дети совсем обессилели, глаза у них ввалились и горели лихорадочным блеском. Сдал и Стах, но он, как мог, поддерживал всех. Сна-

чала посулил первую крапиву, погодя пообещал скорый первоцвет, за ним недолго до щавеля и липового листа, а там вот-вот и ранняя черешня поспеет. Он, мол, знает в лесу дерево, которое ягодами прямо как гроздьями обсыпано и черешни вкусные-превкусные. Вот когда наш Миколка полакомится!

— А вы меня подсадите на эту черешню? — допытывается повеселевший Миколка.

— А как же! Разве мне самому неохота с таким казаком да в лес махнуть!

И на исхудавшем, пожелтевшем личике «казака» просыпалась жизнь.

— Так махнем?

— Как пить дать. А сейчас я на речку — вдруг какую-нибудь поживу подкинет.

Как-то Стаху повезло — в вершу попалось несколько славных линьков. Он вытряхнул рыбу в торбу и подался к Магазаннику: тот тайком и только «надежным», что умеют держать язык за зубами, продавал зерно и печеный хлеб. За пуд ржи или пшеницы брал по двести пятьдесят рублей, а за фунт хлеба — шесть.

Хата лесника была заперта изнутри. Стах постучал раз, другой. Кто-то осторожно вышел в сени и столь же осторожно спросил:

— Кто там?

— Это я, Степочка,— Стах узнал Семеново чадо.

— Что надобно?

— Хлеба купить.

— Где у нас тот хлеб? — будто удивился Степочка.— Вы слыхали звон, да не знаете, где он.

— Так люди же говорили...

— Чего только не наболтают. А теперь будьте здоровы.

— Пусти его,— отозвался откуда-то из недр дома сам Магазанник.

Степочка загромыхал деревянным засовом, зазвенел цепью, звякнул крюком, просунул в двери нечесаную голову и придирчиво осмотрел пришедшего цепким, оценивающим взглядом.

— Заходите, коль пришли,— и снова захлопотал с засовами.

— Вот и примак Оксанин прибился к нам,— насмешливо встретил Стаха лесник.

Он сидел за большим дубовым столом, на нем исходил паром свежеиспеченный хлеб, стояли весы и миска с во-

дой. К столу сиротливо жались две согнутые женские фигуры. Женщины были так измождены, что казалось, дунь ветер — и они свалятся.

Магазанник смочил нож водой, ловко раскроил пополам буханку, бросил дымящуюся половину на весы.

— Пятнадцать рубликов, точно, как в аптеке!

Одна из женщин, вздохнув, вынула из-за пазухи завязанные в платок деньги. Магазанник тем временем бесстыдно засматривал в вырез ее сорочки. Молодица взяла хлеб, понюхала, отщипнула корочку.

— Вкусно? — спросил лесник.

— И не разберу, уже отвыкла,— слезы заблестели в запавших глазах молодицы.

— А вот это уже лишнее,— наставительно произнес Семен.— Не за горами зелень всякая, а там и новый хлеб. Пшеничка да жито так славно перезимовали!

Молодица вытерла слезы.

— Хоть бы дожить, хоть бы дожить...

— Ну что, примак, как живешь-можешь? — и вперил пытливый взгляд в Стаха.— Слыхал, из шкур холодец варил?

— Было дело.

От удивления Магазанник вышел из-за стола. Низкорослый, сытый, он походил сейчас на осеннего барсука.

— И что, Оксана ела?

Стаха передернуло. Едва сдерживая себя, он опустил глаза, чтобы лесник не увидел ненависти в них. А тот продолжал упиваться своей властью.

— Что ж ты молчишь? — не унимался лесник.— Оксана хоть попробовала твое варево?

— А вам какое дело? — не стерпел Стах.

— Ишь ты, какой занозливый! Можешь не говорить, сам знаю. И здесь норов свой показала. Ну, а ко мне с чем пожаловал?

— Рыбку принес на обмен, линьков.

— А ну, покажь! — оживился Магазанник. Он запустил обе руки в торбу. Но вдруг какая-то потаенная мысль промелькнула у него на лице, и оно стало выражать еще большее злорадство.— Нет, Стах, рыбки у тебя не возьму.

— Да вы поглядите, какая рыба, живая еще, бьется...

Магазанник помолчал, подыскивая слова для ответа.

— Знаешь, как люди говорят: грушка — минушка, сливка — слюнка, рыба — вода, хлеб — всему голова. Нынче нет мне расчету хлеб задарма на воду переводить. Были б у тебя денежки, тогда другое дело, бери, сколько

душа просит. Видишь, какой хлебушек свеженький да ноздреватый — ни закала, ни остюков.

— Вот кому бы лавочником при старом режиме быть,— озлился Стах и пошел прочь из хаты.

— Я тебе припомню этого лавочника! А болтнешь лишнее, так и Оксаны не увидишь! — зашипел Магазанник; стоявший на страже Степочка заиграл всеми мускулами и тут же закрыл за Стахом двери, привычно загромыхав запорами.

Слабость и щемящие весенние запахи леса дурманили Стаха. Поблизости из чащи донеслось знакомое: кап-кап-кап. Стах сделал несколько шагов. Перед ним из надсеченных стволов берез стекал в ведерки первый, еще мутный сок. Когда-то его мать заправляла березовый сок сушеными яблоками. Он настаивался, набирал крепости и становился лакомством для детворы! Где детские эти годы и где могила матери?..

У него самого мог уже быть ребенок, если б не лихой нынешний год. Хоть бы уберечь Оксану с детьми! Руки свои отдал бы за хлеб, да кому они сейчас нужны, его руки...

«Кап-кап-кап» — тихо выговаривал сок, и Стаху снова вспомнились те года, когда мама летом вдовьей сапой, а зимой пряслицем или ткацким станком старалась ему то на сорочку, то на сапожки. Нет уже ни того пряслица, ни верстака, ни того полотна и рушников, которые ткались на нем. Хотелось застонать от болей своих, от беспомощности своей.

Стах утолил жажду живительным соком, до дна испил горькую чашу воспоминаний и побрел между деревьев.

Закатывалось солнце. Для кого-то до завтра. Для кого-то навсегда.

Уже в мглистых сумерках Стах добрел до опушки, обрывающейся у перекрестка по-весеннему влажных дорог.

Где-то невдалеке зарокотали машины. Они шли вдоль самой опушки, а с того места, где он стоял, повернут, должно быть, в лес. Что же они везут? И вдруг в ноздрях защекотало не от едкого запаха бензина, не от разгоряченного дыхания моторов, а от кружащего голову пахучего зерна. Через минуту Стах уже безошибочно определил — везут ячмень. И не удивился, когда на показавшихся машинах разглядел туго набитые мешки. На перекрестке грузовики, сворачивая в лес, замедлили ход. Отчаянная мысль обожгла воспаленный мозг. Раз нельзя иначе, пусть будет так.

Пусть будет так... Пусть будет так...

Он неслышно добрался до обочины, приник к росшему у самой опушки столетнему дубу, слился с ним воедино. На повороте появилась еще одна машина и также сбавила скорость. Уже не размышляя, Стах в одно мгновение подкрался к ней, вцепился в борт и забрался на мешки. На него пахнуло крепким духом ячменя. Справившись с первым страхом, приноровившись к движению, Стах развязал мешок, наклонил его к своей торбе, и в нее посыпалось зерно, покрывая непроданных линей.

Свершилось непоправимое. Впервые в жизни совершал он кражу, перед ним разверзлась безысходность. Если бы Магазанник купил рыбу, этого бы не случилось. Этого бы не случилось. Этого бы не случилось... Мысль, словно стреноженный конь, билась и билась на одном месте, а ведь надо еще завязать мешок, чтобы не просыпалось зерно. Надо еще спрыгнуть с машины.

Он отобрал ячменя так мало, что никто и не заметит. Никто и не заметит... Никто и не заметит...

Сначала надо было выбросить торбу, а потом выбраться самому. Стах побоялся, что в темноте не найдет ее, и, крепко прижав свое сокровище, соскочил на обочину. Соскочил неловко, упал, ударился лицом о корни и почувствовал, что пошла кровь. Он бессознательно прижал к ранке край мешковины, а потом испугался: ведь кровь может просочиться внутрь. «Это ж кровь перейдет на зерно»,— снова забилась мысль...

Уставший, с окровавленной щекой, Стах кое-как добрался до своего нового дома. Положив зерно на завалинку, набрал из колодца воды, пообмылся, вытерся полой пиджака и неслышно толкнул двери. Но Оксана услышала, бросилась навстречу и, будто предчувствуя беду, с болью спросила:

— Стах, ты?

— Я, Оксана,— остановился посреди хаты, не решаясь подойти к жене.

— Где так долго пропадал?

— Замешкался малость.

Она нашарила спички, зажгла свет и ахнула:

— Что с тобой? Откуда кровь?

— Не бойся, обойдется.

— Кто это тебя?

— Упал я. Дай мне какую-нибудь тряпицу.

Оксана подумала, что ему надо вытереть лицо, и подала полотенце. Стах разложил его на полу, принес торбу,

распорол ее там, где темнело, и ответил на немой вопрос жены:

— Тут кровь... я выберу зерно, чтоб детям не попало, и посею на огороде.

— Ой, Стах, пропали мы, пропали!

Оксана обхватила руками плечи и вся сжалась в комочек. Больше она ни о чем не спрашивала, села возле дверей и, сжавшись, просидела до восхода солнца.

Зерно с запекшейся на нем кровью Стах посеял уже при луне, но впервые в жизни он не испытал привычной радости сеятеля. Застыв у свежей грядки, он не знал, что делать: идти ли в хату или переждать ночь на завалинке? Не знать бы никому таких ночей!..

А утром со стороны татарского брода к ним поднялись милиционер Гривко и Магазанник. Широко, по-хозяйски расставив ноги, лесник зловеще встал в дверях, устремил свои злые щелки на окаменевшую Оксану.

— Признавайся во всем! Не отнекивайся! Я сам видел, как вчера твой на машину залез. Нечего сказать, хорошего себе примака взяла!

В углу, чуя несчастье, заплакали дети. Милиционер Гривко, которого еще с гражданской как огня боялись бандиты всей округи, поглядев на детей, изменился в лице. В это время навестить свою двоюродную сестру зашел Данило, да так и замер на пороге.

— Сознавайся, сознавайся, меньше будет спрос. Бандит твой ничего не скажет! — наседал Магазанник.

У Стаха вся кровь отхлынула от лица, резче обозначились оспинки.

Оксана пробудилась от своего оцепенения:

— Какой он тебе бандит?! Бандит, живодер — это ты! Мешочек ячменя для детей муж набрал! Сколько его там было — от силы фунтов пятнадцать. А ты таскаешь сотни пудов, прорву свою никак не заткнешь!.. За фунт хлеба дерешь из последнего.

— Да откуда ты, полоумная, сотни пудов взяла? — окрысился Магазанник. Он уже был не рад, что сгоряча ввязался в эту историю. Вчерашняя злость на Стаха помрачила голову и погнала его, дурня, сюда. А теперь, смотри, после таких слов Оксаны еще и милиция что-то прикинет.— Где ты взяла эти сотни?

— А про десятинки, в лесу припрятанные, забыл? А о том украденном, что на заготовки кое-кто не довез, забыл?

— Вот видишь, в какое мы логово попали? — Семен криво усмехнулся милиционеру.— Эта как ударит в колокола на рождество, так и до пасхи звонить не перестанет.

Гривко — он всякое повидал на своем веку — поднял с пола распоротую торбу, вытряхнул из нее несколько зерен ячменя, заметил высохшее пятно крови, еще раз взглянул на ребятишек и негромко сказала Магазаннику:

— Зачем нам к этому горю горькому еще новую беду приплетать? Вы же видите, дети тают, словно восковые свечи...

— А закон? — затвердели безжалостные Магазанниковы глаза.— Как на это закон посмотрит?

— По закону тебя надо на крутое тесто перемесить, чтоб знал, как с людьми обращаться! — сказал Гривко в самое ухо леснику.

— Вот до чего мы дожили! — уставился на него Магазанник.— Обо всем защитнику нашему товарищу Ступачу расскажу. Пусть он рассудит нас!

Упоминание о прокуроре вконец пришибло милиционера, ибо знал его жестокую решительность.

— Для чего это вам, дядько? Ведь надо же детей спасать! — с укоризной молвил Данило Бондаренко.

Но Магазанник уже закусил удила.

— И такие слова я слышу от народного учителя?! И это учитель покрывает расхитителей державного добра?! Для чего же тогда он свои техникумы-институты кончал?! Читал я, читал, как ты за правду в газетке распинаешься. Так то, значит, в газетке, а в жизни пусть Магазанник за правду борется?!

— Не юродствуйте, дядько. Нечего зря стараться, отольются вам еще детские слезы!

— А я такую веру имею, что теперь кое-кто сверху тобой заинтересуется,— отрубил Магазанник и многозначительно обратился к милиционеру: — Так идти мне к товарищу Ступачу?

Гривко только голову понурил и, вздохнув, сказал Стаху:

— Собирайся, человече добрый. Жаль мне тебя, да что поделаешь... Перемену белья захвати.

Как в дурном сне, не помня себя, вынимала Оксана белье из шашелем источенного сундука.

Стах подошел к Оксане, положил руку ей на плечо.

— Достань мне ту сорочку, что из бредня сшил. Пусть и в дальнем краю мне пахнет нашими бродами.

Оксана отыскала сорочку, слезы брызнули у нее из глаз, и что-то как оборвалось внутри. А Стах так взглянул на нее, будто обнял взглядом всю их жизнь.

— Жди меня, Оксана, жди...

— Я не слышу, ничего не слышу,— и вся потянулась к мужу. Она с ужасом поняла, что от отчаяния потеряла слух.

Лишь много позднее до нее дошел смысл слов, сказанных тогда Стахом...

VI

За татарским бродом кони топчут ярую мяту и седой туман. За татарским бродом, на казачьем, из алого мака и сизого жита выплыл полный месяц, а на кургане, неспешно вращаясь вокруг своей оси, заскрипел старый ветряк. Нынче вдоволь будет ему работы, намашется он крыльями, нагрохочется жерновами, приветливо встречая хлеборобов. Данило вдруг отчетливо ощутил запах свежемолотой муки и первого хлеба. Старые люди и теперь еще не режут первый хлеб ножом, а благоговейно разламывают его руками.

Как он любил преджатвенную и страдную пору, когда после всех тревог тихая мистерия полей становилась радостью души, когда, глядя на склонившийся колос, яснели людские думы и что-то доброе шептали уста.

...Над полями разлилась разомлевшая теплынь. Данило Бондаренко бредет по степи, а вокруг сизое жито и красная пшеница поют и поют свою колыбельную. И вся росная земля кажется ему сейчас колыбелью, колыбелью жизни и надежд. И не беда, что будни каждодневно обрушивают на него большие и малые заботы, неумолимо сталкивают с глазу на глаз не только с правдой, но и с кривдой. Душа его полна неизбывной веры, а глаза светятся тем, что одни зовут наивностью, а другие — поэзией. И в самом деле, разве этот наливной колос, эта красная пшеница, это кудрявое просо не поэзия?! Не только тот поэт, кто исписывает бумагу стихами, но и тот, кто думает неотступно думу о хлебе, чья душа живет всеми радостями и тревогами человеческими...

«Этак, чего доброго, недолго и к чужой славе примазаться! — посмеялся над собой Данило и вдруг услышал со стороны татарского брода чьи-то размеренные шаги.— Видать, еще кому-то не спится перед жатвой, еще кто-то

болеет за урожай, радуется новому хлебу,— подумал Данило.— Да нет, этот только на хитростях да на целковом выезжает. Надо же в такую ночь испортить себе настроение!»

— О, это вы, Данило Максимович! — весь замирает от напускной радости лесник и уважительно сдергивает широкий, как решето, картуз, отбрасывает за плечи берданку.

— Да, это я,— не скрывая насмешки, подражает Данило высокопарному тону Магазанника.

Лесник нахлобучивает картуз и обиженно разводит руками.

— Эх, Данило Максимович, ну, случилось нам когда-то побить горшки, так неужто до сих пор веры в меня не имеете?

— Откуда ж ей взяться?

— И совсем даже напрасно,— вздыхает лесник.— Давно мне охота потолковать с вами по душам, а вы коситесь на меня, как на лешего. И с чего бы это?! Разве не одинаковые пчелы в наших ульях роятся? — и он постучал пальцем по лбу.

— Ой, боюсь, в вашей голове не пчелы, а шершни гудят,— невольно рассмеялся Данило.

Лесник опять деланно вздохнул и заговорил с чувством превосходства:

— Эх, молодо-зелено... Все мы смолоду горячие да несговорчивые: жизнь-то еще не обтесала, в железных тисках не обмяла. Вот и носимся очертя голову со всякими идеями да сердечностями да справедливостями. А как завертит-закружит житейская суета, как увидишь, что люди вон как научились хитрить, так от идей ничего не останется. Вот и приходится плыть по течению, а иначе ведь недолго и на дно угодить! А как нужда вдруг прищучит, так и вовсе улиткой в раковину свою заползешь. Идеи, известно, цветочки, а ягодки ой какими горькими бывают! Вот женитесь, детишки, даст бог, пойдут, да как один закричит: «Хлебца», другой: «Молочка», а жена: «Денег нет», так сразу станет меньше романтики. Тогда и меня перестанете судить судом тех праведников, которым достаточно в голове идей, а на плечах пальтеца на рыбьем меху.

Данило с удивлением прислушивался к разглагольствованиям лесника.

— В вашей-то голове идей шаром покати, зато в закромах запасов хоть отбавляй: полсела может прожить да еще останется...

— Из чужой криницы легче воду черпать, чем свою выкопать,— нахмурился Магазанник.— Неужели нам места на земле не хватает? Или все старое забыть не хотите?

— Не могу...

— И опять же напрасно. Это я за старое зуб на вас иметь должен. А я ж махнул рукой на свои тысячи кровные да на обиды, что изгрызли, доняли меня до печенок, и иду с вами на мировую! Вы что, забыли разве, как на обе лопатки меня положили?!

— А вы забыли, за что?!

— Знаю, но зачем вспоминать об этом? Чем попрекать человека его же добром да достатком, лучше подумайте, как ваш колхоз с моей легкой руки разбогатеть может...

— С вашей легкой руки?

— А то с чьей же еще! — горделиво расправил плечи лесник.— Одно ваше слово — и я кину свою глухомань, вступлю в колхоз и так вам пригожусь, как никто!.. Хотите послушать? — подобострастно спросил Магазанник.

— Что ж, говорите.

— Серчайте не серчайте, Данило Максимович, а я все ж таки скажу! Не умеем, ох, не умеем хозяйничать на земле! Никакой у нас рациональности, как по-ученому говорят. И откуда ж ей взяться, этой рациональности, когда не умеем живую копейку за хвост ухватить? Подумать только, как мы торгуем... Есть готовенькое — продаем. Нет — сидим на мели и в ус не дуем. А жалованьице-то идет... А деньги-то под ногами валяются! Вот, к примеру, такое, с позволения сказать, дерево, как осина. Что с нее возьмешь — ни огня, ни тепла. Недаром бабы говорят: не дерево, а трясучка, шипит, пенится, а толку никакого. А в хозяйских руках из этой трясучки не пена, золотой дождь потечет! — И Магазанник подставил пригоршни под этот воображаемый дождь.— Из чего самый лучший гонт? Из осины! Гонтом и помещики не гнушались крыши крыть. А у нас и гонтари начисто перевелись! И это еще не все: мало вам гонта, возьмитесь за стружку. Какие из осиновой стружки цветы мастерят!..

— Кому ж нужны мертвые цветы?!

— Богам и людям. Присмотритесь как следует. Сколько этих цветов и в церквах, и на кладбищах, да и по хатам... Нету зимой живого цветка, сгодится и осиновый. По-вашему, это копейка? Не-ет, тут миллионами пахнет!

— Вот так размахнулись!

— А я вам говорю — чистый верняк! Переработайте на широкую стружку всего одну машину доброго, без сучков,

осинового торца — и в кармане тысяч пятнадцать — двадцать прибыли! А сколько хлеба надо продать, чтоб такие деньжищи заиметь?! И тысячами пудов не откупитесь... Знаю, знаю, что скажете: спекуляция, мол. А вот и нет. Спекулянт всеми правдами и неправдами лес крадет, губит его. Фуганщиков нанимает, с бабами, которые цветы мастерят, коммерцию ведет. Так не лучше разве, чтоб денежки эти в колхозный карман потекли?! Не хотите со стружкой возиться — другое можно придумать. Почем в нашей глуши ведро яблок? Копеек пятьдесят — шестьдесят от силы. Груши самый первый сорт — и те больше рубля не потянут. Ну, а падалица и вовсе задаром. Черви у нас больше яблок пожирают, чем люди съедают. А если из сока падалицы да вино гнать! Денежки как с неба свалятся. Бог из воды вино делал, а мы и на дармовщинку не хотим... Сколько хошь стихов про то, как сады цветут, а ни строчки про то, как осыпаются!.. А еще неплохо мужичкам, которые побашковитей, в Сибирь податься. Там как яблочко, так рублик, как головка чеснока, так второй! Чем не заработок? За год не скажу, а за два вполне колхоз в миллионеры выйдет!

— А вы?

— Дело понятное: и себя не обижу, что-нибудь да отщипну. Другие ведь не щипать, а рвать зубами не стесняются. Время ангелов и святых прошло! — И без тени стыда захохотал.— Так оно уж ведется: гривенник вложил — целковый добыл! Пораскиньте мозгами над ценой времени, внакладе не останетесь! — И, довольный тем, что ввернул мудреное словцо,— и мы, мол, не лыком шиты,— Магазанник испытующе поглядел на собеседника.

Данило, не скрывая своего отвращения, смерил взглядом самодовольную физиономию лесника.

— И откуда что берется! Тут тебе и мертвые цветы, и живая копейка, и святые ангелы! Целая наука, как на чужом горбу денежки наживать, чужими руками жар загребать. Да только мы не плутнями, а честным хлеборобским старанием к достатку придем.

— Жди, когда это будет! Столько еще трудностей в вашем сельском раю...— донял Магазанник до живого да еще сверху соли насыпал: — Почему вы об этом молчите?

Данило вспыхнул:

— Потому, что о них больше трубят те, что в стороне стоят. Мы из кожи вон лезем, чтоб выпутаться из этих сетей, а кое-кто на этих трудностях славу праведников да

деньги в придачу наживает. Вижу, сам дьявол наживы начинил жадностью вашу душу.

— Опять, видно, прошлое вспомнили,— не понял или сделал вид, что не понял страшного приговора.— Хватит вам попрекать меня жадностью. Целые державы на том сотни лет стоят! И не жадность оно, а коммерция.

И, доказав свой «государственный ум», с досадой ударяя прикладом берданки по спелым колосьям, Магазанник заторопился в лес...

А Данилу вспомнилось то «прошлое» — первый год его работы учителем. Как-то августовским вечером он явился с назначением к заведующему школы крестьянской молодежи. Максим Петрович Диденко, вконец замотанный всякими хозяйственными хлопотами — ремонтом, севом, уборкой урожая на школьном участке,— устало поднял на него карие с теплой искоркой глаза и предложил переночевать в бывшей церквушке, «в окружении ликов святых и грешных», как он выразился, ибо другого места пока не нашлось.

Оказалось, под школу приспособили старый барский дом со множеством покоев и даже с домашней церковью, расписанной талантливым местным умельцем. Натурой ему служили свои же крестьяне. И одевал он их соответственно — в казацкие жупаны, в сапоги и постолы.

Барин, дальняя родня прославленного художника Рокотова, что родом был с Литинщины, ходил в либералах, весьма сим гордился и с удовольствием показывал гостям творения доморощенного живописца. Зато батюшка предал анафеме и барина, и живописца, потому как последний увековечил бренную плоть священнослужителя в непотребном виде, сиречь в срамной наготе, да еще среди грешников в пекле!

Узревши этакое диво, село несколько дней хохотало до упаду. Да если б тем обошлось! А то нет-нет даже в церкви, как вспомнят прихожане своего батюшку нагишом в пекле, так в смех! Начнется со сдавленного хихиканья какого-нибудь отпетого богохульника, а за ним пустятся во все тяжкие остальные, и в богослужение ворвется такой гогот, что хоть святых выноси,— свечи и те гасли!

Так и выжили попа из прихода: не вынес он осмеяния. Дрожки уже за село выехали, а поп все кулаками грозился басурманам нераскаянным: бога, насмешники, не убоялись!..

— Такой ночлег вам, пожалуй, больше не представится,— добродушно улыбнулся Максим Петрович, и вокруг рта у него полумесяцами обозначились веселые морщинки.— Вот и решайтесь для интереса. Вы ж, полагаю, не робкого десятка? А то физику нашему привиделась гоголевская панночка, так он чуть богу душу не отдал, по примеру философа Хомы Брута. Вот как бы и вам не приснилась панночка да еще Вий в придачу!

— С меня хватит и одной панночки,— отшутился Данило, так и не разобрав, всерьез ли говорит директор.

— А панночка пакостная, несносная, между прочим, у нас и наяву найдется. Прислали тут одну: до города не доросла, а село, видите ли, переросла. Не по душе ей, хоть ты что!.. Ох, и канитель мне с нею... Анитой себя окрестила: не Ганна, не Ганнуся, а подавайте ей Аниту! И личиком недурна, и глазки благостные, с поволокой, и кудри золотые, а язычок — не приведи бог, да еще и нрав как у самой злющей ведьмы... Если не окрутит когонибудь из новеньких, так на капусту изрубит. Вот уж кому на том свете доведется в кипящей смоле корчиться!

— А она, должно быть, не только новеньких в оборот берет?

— И мне, грешному, достается,— не утаил Максим Петрович.— За одну только церковь сколько доносов в область настрочила: заштукатурь ей богов — и все тут!

— Уж не приходится ли ей родней тот поп, которого богомаз в пекло упек?

— А ведь это мысль! — засмеялся Максим Петрович.— Очень даже похоже!.. Вы сейчас отдыхать?

— Нет, пойду раньше поля ваши поглядеть.

— Пойдем вместе.

Они вышли в сад. Там стояло десятка два ульев. Неподалеку в закатной дымке угасавшего дня замер старый конь. Пучки седины в гриве, усталость прожитых лет в потухших глазах. Распухшая передняя нога его то осторожно касалась земли, то бессильно повисала в воздухе.

Максим Петрович перехватил немой вопрос Данила:

— У нас в школе бывший червонный казак работает — Терентий Шульга. Его это конь. Про таких скакунов в старых песнях поют: «А я скочив, Дунай перескочив». Не раз спасал он жизнь казаку, не раз и сам ранен бывал, а теперь здесь век свой доживает.

Миновав ограду, Данило невольно остановился перед открывшейся его глазам картиной. Впереди, рожденные

могучим дыханием земли, круглились холмы, смыкаясь с зубчатым, неровным гребнем синеющих лесов.

— Вот где чувствуешь первородное материнство земли,— тихо обронил Максим Петрович.

Он всматривался в даль, и глаза его подернулись влагой и задумчивостью.

Над августовскими молчаливыми полями из предзакатного зарева вставал тот задумчивый час, когда день уже погас, а вечер еще не настал, но уже готовился в путь, окутывая тьмой хаты. В такую пору между человеком и природой возникает трепетное единство. Природа, погрузившись в тишину, оберегает ночной покой человека. А человек, забыв на время о заботах завтрашнего дня, погружается в дарованный ему покой.

Присматриваясь к Максиму Петровичу, Данило снова ждал от него поэтического слова, навеянного полыханьем заката, а услышал неожиданно прозаическое:

— На этих вот горбах земотдел нарезал нашей школе шестьдесят гектаров земли.

— Почему же на такой неудоби?

— Больше негде было. Бог, наверно, на этих взгорках не землю пахал, а на санях катался.

Данило так ясно представил себе снежную зиму и древнего бога, который, оседлав сани, с опаской спускается с горы, что, не выдержав, рассмеялся.

— А гумус отсюда вода не вымывает?

— Раньше вымывала, а теперь многолетние травы нас выручают, особенно люцерна. Они почву помогают укреплять и культивировать. Люцерна дает за лето четыре укоса сена. И на этих гиблых горбах ученики наши, на удивленье людям, выращивают по двадцать — двадцать пять центнеров «украинки».

— А по Украине урожай всего двенадцать с хвостиком центнеров...

— Такова дань бедности, дань отсталости! С 1913 года урожайность пшеницы выросла всего на каких-нибудь два пуда. Понимаете — на два! Сами видите, как нужно помогать земле, чтоб она благодарно откликалась и помогала нам. Теперь уже те хлопцы, которые в скором будущем окончат нашу школу, будут бороться с этим отставанием. Ученики наши — истые дети земли, все больше батраки вчерашние. Поэтому не удивляйтесь, если в пятом-шестом классах увидите усатых парубков!

В уступчатые, глубоко врезанные подножия холмов волнами затекала густая синь. Край неба спустился на

лес, темной мглой накрыл его и крадучись поплыл по самой земле. Из этой мглистой синевы возник вдруг всадник. Что-то эпически величавое и гордое было во всей его стати, в том, как из вечернего сумрака, словно выбираясь из реки, вырисовывался конь.

Максим Петрович пристально следил за всадником, и словно сами собой у него вдруг вырвались слова старинной думы:

Ой полем, полем килиїмським,
То шляхом битим Гординським,
Ой там гуляв козак Голота,
Не боїться ні огня, ні меча, ні третього болота...

— А и вправду есть в нем что-то от казака Голоты! — сказал Данило.

В его душе нарастало тревожное чувство: где-то он уже встречал этого всадника, что видением вставал перед ним то ли из сумеречного предвечерья, то ли из далекого прошлого...

— Начинал повстанцем, потом в казачестве червонном воевал — так и пролетела его молодость. Четырежды расстреливали его. Четырежды!.. Да не одолела костлявая червонного казака! Только правую ногу довелось сменить на вербовую. Вот и прибился к нам — жито-пшеницу сеять, за пчелами ходить да сад растить...

Туго обтянутое кожей, дочерна прокаленное солнцем, с печатью глубоких раздумий лицо возникло перед Данилом. Гулкой медью прозвучал низкий голос:

— Добрый вечер добрым людям!

«И голос как будто знакомый»,— приглядывается Данило к всаднику.

— Вечер добрый, Терентий Иванович! — сердечно поздоровался Диденко.— Откуда путь держите?

— Из лесу. Там август в листве шумит, а с лесных яблонь падают и падают плоды...

Откуда же, из какой давности, вернулся к нему этот голос? Он уже слышал его, но где и когда?..

— Вы собирали яблоки на семена?

— Нет, передумал, и знаете почему? Набрел, понимаете, на старинные записки одного монаха-садовода. Любопытно пишет. Доказывает, что нельзя культивировать яблони на дичках — у них плохо разветвляется корневая система. Не под силу ей питать крону культурного дерева.

— Интересно!.. Знакомьтесь, наш новый учитель — Данило Максимович Бондаренко.

— Бондаренко? — переспросил Терентий Иванович, и какая-то тень прошла по его внезапно помрачневшему лицу.

Данило вглядывался в человека, четырежды видевшего смерть в глаза. Почему он вдруг помрачнел?

— Вы не из Тарнорудов ли, часом?

— Оттуда. А что? — удивился Данило.

Но Терентий Иванович, ничего не ответив, слегка тронул коня ногой и уехал прочь.

— Что с ним сегодня? — пожал плечами Диденко.

После голубых полей мрачная церквушка показалась темницей. Дремотные тени святых и грешных неразличимо слились воедино. Но когда Терентий Иванович внес горящую лампу, сразу отчетливо проступили лики святых. Мужественная красота, одежда, оружие — все отличало их. Но ведь это же не иноки, а чубатые запорожцы, неведомо как, при саблях и пистолях, заполонившие церковь!

— Где нашел ваш богомаз такую красоту? — невольно замер Данило.

— В прошлом...

— Каком прошлом? — И снова ожили неясные воспоминания: где он слышал этот голос?

Шульга поднес лампу к образу, напоминавшему кошевого. В пытливом взоре, глядевшем, казалось, сквозь века, читались отголоски отгремевших битв, вспыхивали отблески догоравших пожарищ...

— Из того далекого прошлого, когда мирское переходило в церковное — не столько для молитвы, сколько для раздумий, для памяти, чтоб не забывали потомки, как жили их деды и прадеды. Было ж у нас преславное Запорожье, и жили там не только воины-храбрецы, а и щедрого дара художники-творцы. Ведь и в тарнорудской церкви было несколько ликов запорожцев с оружием в руках и с чубами на головах. Да как увидел их владыка — рассвирепел! Озлился так, что аж вышитые на его ризе апостолы задрожали. Повелел святой отец сжечь нечестивые образа, истребить крамолу!

— Сжечь образа?!

— И образа, и божницы, и грамоты, чтоб гайдамацким духом, мол, и не пахло! Такой-то был у нас преосвященный, ему одни монастырские пивницы по душе были. Ну, а тогдашний церковный ктитор, не будь дурак, спрятал

все в подвалах звонницы. Там на них и набрел наш Марко, кое-что перерисовал... Сказать жинке, чтоб принесла вам повечерять? Кислое молоко у нас есть. Мария и хлеб из пайковой муки может испечь, если нужно... Опять чего-то тех, что на службе, перевели на паек, а о хлеборобах забыли... Дождь собирается: нога моя что-то потяжелела,— он стукнул по деревяшке,— она хоть и вербовая, а погоду враз чует...

— Где это вас?

Терентий Иванович помолчал: сказать ли? Но потом открыто посмотрел в глаза парубку.

— На Золотой Липе, откуда батько твой домой не возвратился...

— Так вы знали его? — дрогнуло и остановилось больно раненное сердце.

— Знал, сынок, знал,— низко склонилась до времени поседевшая голова.— В одном эскадроне служили, из одного котелка ели, одной иголкой обшивались, а вот рубали кого след не одной — двумя саблями!.. Очень ты с отцом схож — и глаза, и губы, чуб и тот такой же ржаной да кудрявый.

— Отчего ж ни разу не пришли, не рассказали? — с болью вымолвил Данило, в душе назвав Терентия Ивановича бессердечным.

Еще ниже опустил голову.

— Боялся...

— Чего?

— Слез вдовьих да сиротских. Горе ведь принес бы в хату. Пережила бы мать?

— Нашла бы силы!

— Того никто, опричь сердца, не ведает...

— Так ни разу и не подумали про нас?

— И думал, и заходил к вам как-то — на рождество и перед Новым годом. Яблоки приносил, вроде от деда-мороза, ты еще малый был, пешком под стол ходил.

— То-то голос ваш мне знаком... Так и словечком не обмолвились?

— Говорю тебе — страх одолел! Мать бы сразу в расспросы: где да где могила дорогая, где муж голову сложил?.. А что ответишь, коль не пришлось схоронить Максима? Возле той Золотой Липы надумал он вражью батарею захватить. Мы его Энеем прозвали — все возил в седле «Энеиду». Чуть не всю на память знал... Еще возил твой батько буденовку для тебя и пучок душистой травы, которую называл «евшан-зельем» — зельем любви к род-

ной земле. Вот и все его сокровище. А тут неожиданно для всех ка-ак перемахнет наш Эней через колючую французскую проволоку, что генерал Вейган из-за границы привез,— и прямиком к вражьей батарее: очень бы нам она пригодилась... А тут снаряд прямым попаданием в коня. Охватило огнем и коня, и всадника — и не стало Максиму ни солнца на небе, ни Золотой Липы на земле... Только сломанную саблю нашли. Ее хоронили, а не Максима. Вот как, сынку, воевали мы за школу твою, за учеников твоих...

Долгая настала тишина. Теперь и Данило глядел сквозь даль времени. Словно наяву вставала перед ним Золотая Липа, накатывалась волнами боль.

— Так-то, сынку...— Терентию Ивановичу не хватало слов. Он беспомощно огляделся и повел плечами, словно стряхивая с них бремя горя.

— Терентий, где ты? — послышался из-за дверей певучий женский голос.

— Моя зовет... Так я скажу Марии, чтоб кислого молока принесла и какую-нибудь лепешку, а на хлеб не богаты, ты уж не серчай. Я хоть и на деревянной ноге, а семьей бог не обидел: растут хлопцы, как на дрожжах! Не знаю, на каких еще Золотых Липах доведется им отделять правду от кривды...

— Вы думаете, что придется?

— Сам видишь, как вокруг нас мутится злоба.

Ночью Данило беспокойно ворочался с боку на бок, не мог найти себе места. Перед глазами неотступно стоял отец. Говорят, похож он на него лицом. А похож ли волей и душой?..

Данило впервые почувствовал на себе бремя лет и за одну ночь постарел под этим бременем.

После третьих петухов он вышел во двор и побрел наугад в притаившуюся тишину летней ночи. В полутьме близкого рассвета светились разбросанные по взгоркам и низинам хаты. Спало село, спали и людские заботы. Отдыхали и небесные сеятели, засеявшие землю росами, а небо пшеницей... И не болит ли еще у кого-нибудь сердце по тому сеятелю, что полег на далекой Золотой Липе, где из его праха проросла трава или волшебное евшан-зелье, чтоб мы навечно жили безмерностью любви к родной земле?

Рядом не от ветра, а от старости или от нахлынувших дум качнулся, вздохнув, колодезный замшелый журавль, к одному концу которого навечно была привязана колода,

а к другому — бадья с водой, что ловила золотую звездную россыпь.

А в долине вкрадчиво ворковала река, размывая берег, будила ночь, и тихо скрипело остановленное мельничное колесо. Гляди на все это, лови чутким ухом, как сбегает вода, как сбегает время, и думай о своем часе, о своем евшан-зелье...

С затуманенной головой вернулся Данило в школу, погасил лампу и лег. К окну враз приникли звезды, зашепталась тьма, и он, как в глубокую воду, погрузился в сон. Нет, его не поглотила фантасмагория гоголевских видений. Ему привиделась неведомая Золотая Липа. Только из реки она превратилась в осеннее дерево, не ведавшее, где рассеять свое печальное золото. И это дерево выросло близ их старенькой калитки, что скрипит и тужит, словно чайка над водой... А потом привиделась мать. Она вынула из сундука смушковую шапку, тяжело вздохнула:

— Отцовская еще, примерь...

Данило проснулся спозаранку. Потянулся за одеждой, сверху лежала смушковая шапка. Отец носил ее смолоду, и это было все, что осталось от него на белом свете и на далекой черной земле, да еще из его праха пробилась зеленая трава...

В дверь постучали.

— Входите.

Вошел Максим Петрович. Вчерашняя усталость сошла с его лица и задержалась лишь в морщинках у висков.

— Да вы изменились за одну ночь! — не скрыл своего удивления Диденко.

— Так заметно? — спросил Данило только из вежливости, и снова мыслями его завладел отец.

— Хорошо ли спалось среди святых и грешных душ?

— Вы хотите сказать, что не только во сне подстерегают человека святые и грешные?

— Слышу речь литератора, но хочу видеть еще и хлебороба, и агронома — очень они нам нужны. Очень!..

— Постараюсь быть и учителем, и учеником.

— Это серьезно? — с недоверием и надеждой спросил директор.

— А как же! Я ведь сын черной земли. Ее тревоги — мои тревоги!

— Вот спасибо! Если вы из одержимых, как меня тут прозвали, так и агрономом станете. Над каждым колоском ворожить надо, чтобы поставить крест на бесхлебье!

Данило уважительно посмотрел на Максима Петровича: в такое трудное время, когда вокруг столько невзгод, думать о будущем, жить им сумеет не каждый.

— Я и мечтал стать агрономом, да не вышло.

— У нас выйдет! — заверил Максим Петрович.— Лишь бы землю, как душу, любили. Земле руки любящие нужны, а не разбой! — И доверительно, вполголоса, сказал: — А вы знаете, сколько дают наши делянки? По двести с лишком пудов пшенички! Только до чего ж она привередлива! Посеешь на десять — пятнадцать дней позже — и все, половины урожая как не бывало! Да ржавчина точит хлеб, как железо. Новые, новые нужны сорта, чтоб двести пудов стали нормой среднего урожая! Настала пора колдовать над низкорослыми сортами, а то в стебельчатых соки земли достаются не столько зерну, сколько соломе. Еще во времена Хмельницкого сын антиохийского патриарха Макария Павел Алеппский, путешествуя по Украине, любовался тем, что у нас в хлебах мог спрятаться всадник! А вот о зерне ничего не написал — тут, видно, мало было радости. Нет этой радости и теперь, ибо, например, ржаной двухметровый стебель не в силах выдержать и полграмма зерна — падает. А надо, чтоб выдерживал вес в три раза больший. Поедем на поле или в село квартиру искать?

— Нет, давайте на поля... Чем вы теперь заняты?

— Рожь сеем с подсевом клевера. Картошку копаем, капусту рубим, огурцы и помидоры солим. Мы ж сами себя кормим...

На заросшем спорышом дворе возле колодца нетерпеливо били копытами, прядали ушами запряженные кони. Сытые, ухоженные, с раздувавшимися ноздрями. Возле них, широко расставив ноги, и здоровую, и вербовую, стоял Терентий Шульга и ждал глазами солнца.

Вот занялось оно, и рассветные тени стали перебегать ему дорогу.

Каким-то удивительным было это утро... Проехали мимо придорожной раскидистой вербы, и Данилу показалось, что Терентий Иванович как-то особенно вглядывался в нее. Нога-то у него вербовая, и немудрящее это дерево стало вроде родным ему, как всегда в беде становится человеку родней и ближе природа. Только б лучше не было этих бед...

Так думалось, так виделось, и сквозь все видения к Данилу приближалась Золотая Липа и с нею являлся отец. Он забыл отцовское лицо, звук его голоса, но чувствовал

руку, что когда-то легла перед походом на ребячью головку...

О руки наших отцов! Почему отлетаете вы, словно голуби, раньше времени становитесь землею, травой, росою?!

— Видать, далеко улетели в мыслях,— заметил Максим Петрович.

— Правда ваша. «В праосень золотую и синюю!..» — вспомнились чьи-то слова.

— Все же что-то есть в этом образе! — глянул Максим Петрович в даль, затканную паутиной «бабьего лета», и с улыбкой или насмешкой перехватил мысль Данила: — Посмотрите, как на ладонях лета дрожит последнее тепло, как цепко держится за него август! А звучит и дышит все уже по-осеннему...

Данило изумился:

— Да вы поэт!

— Как многие, я люблю лирику, но на всю жизнь впрягся в будни хлеба насущного. Тут не знают сна ни мои думы, ни моя душа... Вы ведь не забыли, как еще недавно «ухаживали» мы за землей: вспахали как придется, посеяли чем бог послал, помолились на солнце, чтоб принесло погоду,— и роди, боже, на работящего и лежащего! И земля-кормилица давала, что могла,— то зерно, то кровь свою. Чиновников от земли и теперь хватает, нет у них охоты поработать с душой. Одно на уме: как бы поскорее выжать из земли все соки, выполнить план на сегодня, не заглядывая в завтрашний день! А там — хоть трава не расти!..

Они выехали на обсаженный липами шлях. Начались в осеннем убранстве готовые отгореть деревья, кроны которых сверху пылали золотом угасания, а снизу, в дуплах, отдавалось чуткое эхо ветров. И это снова напомнило Золотую Липу, и того всадника, что через колючую французскую проволоку бросился на вражескую батарею, и тот вражеский снаряд, что взметнул коня и всадника в небо. Неужели это был его отец?!

Так начался первый школьный день сельского учителя Данила Бондаренко, простого, доверчивого, чуткого к людскому горю, непримиримого ко всякому злу. Еще много лет рядом с ним будет шагать скрипучая верба и тут же отзываться Золотая Липа — не река, а дерево, что выросло у родного порога и, раскачиваясь, отзывалось жалобным стоном чайки, врезавшимся в память с раннего детства...

VII

А потом наступили иные дни, со своими хлопотами, тревогами, со своими тенями и просветами, с душевным словом и мелочностью доносов на той же бумаге, на которой можно написать и несравненный образ, и жало змеи. В такие недобрые дни Данило вспоминал своего отца на вздыбленном коне, вспоминал и круг святых и грешных в старой церквушке и, превозмогая свои боли, еще упорнее постигал мудрость книг, изучал законы убывающего и возрастающего плодородия земли, силу сортов или шел в заснеженную дубраву или в маленькую теплицу Максима Петровича: у того всегда была какая-нибудь новость, какое-то увлечение, какая-то необычная мысль, необычное слово, хотя бы о влюбленности подсолнухов в солнце или о сне листьев. В теплице стояло лето, на дворе же покряхтывал мороз, вьюжила метелица, и теперь самый обыкновенный ржаной колос, что думал о цвете, наклонялся к тебе сказкой или праздником.

— Из колосочка будет горсточка, а из снопика — мерка? — вспоминал колядку.

— Дождемся и такого времени, когда будем не потребителями, а творцами. Сколько люди в печали и нужде посылают всевышнему молитв, чтобы дал нам хлеб насущный! И как мало мы прислушиваемся к языку колоса и полей. Встречаю как-то своего друга молодости, тоже агронома по образованию, здороваемся, стискиваем, как парубки, друг друга ручищами, вспоминаем зеленые годы, а потом спрашиваю:

«Как тебе сеется жито-пшеница?»

И погрустнел мой друг:

«Хочешь верь, хочешь не верь, а я уже забыл, как шелестит ржаной и пшеничный колос, он если и находит меня, то только во сне».

«Это как же понять?!»

«Потому что подшиваю да расшиваю бумаги, составляю да рассылаю инструкции, сею циркуляры, а пожинаю одну неудовлетворенность. За все последние годы только раз был на ржаном поле: когда заболели почки, посоветовали мне лечить их ржаным цветом. Как вор, крадучись, срывал его, но не уберегся и заработал от разгневанной крестьянки «паразита». И до сих пор, как вспомню об этом, жгут ее слова».— «Так почему же ты не бросишь свое мертвое дело канцеляриста?» — «Потому, что получаю за

него свежую копейку». Вот и подумайте после этого, как мизерная копейка из агронома, из творца делает потребителя. Разве не страшно, когда крестьянское дитя уже не думает о достатке хлеба для людей, когда оно забыло, как шелестит или истекает слезой рожь? Это я грустную завел. А вот послушайте, о каком чуде узнал у ленинградского ученого! — яснели бездонные очи, лучилось сухое, с полумесяцами морщинок лицо Максима Петровича.

— Неужели чудо? — Данило сделал вид, что сомневается.

— Самое настоящее! — загорелся Диденко.— Мы, живя зерном, еще так по-варварски относимся к нему, так мало знаем его историю, жизнь и прямо-таки взрывную силу. Только подумайте, что может сделать лишь одна предпосевная обработка семян! В журнале Санкт-Петербургской академии наук «Собрание новостей» за ноябрь 1775 года сообщалось, как один крестьянин обрабатывал посевное зерно в известковом и питательном растворах. Результаты были разительны! Представляете, каждая зернина ржи и ячменя выгоняла по тридцать — сорок могучих колосков, а в каждом колоске было свыше ста зерен. С одного зернышка выходила почти четверть фунта урожая. При таком посеве расходуется на гектар семян в четыре раза меньше, чем расходуем мы. Так это же на одном посеве, а если взять в государственном масштабе, можно сэкономить миллиард пудов! Что вы на это скажете?

— Если бы это так было! И почему же мы не знали об этом чуде?

— Сон лет или равнодушие усыпили его! — разгневался на кого-то Диденко.— Какая это страшная болезнь — равнодушие! Она поражает аппарат мышления, сердечный аппарат, оставляя только механический.

— Вы уже прикидываете, как применить у себя такой посев?

— А как же! Только подумайте, какое облегчение смогут получить люди и государство!.. А вы чего-то загрустили?

— Теперь уже нет: вы развеяли мою печаль.

— Чем? — чистосердечно удивился Максим Петрович.

— Самопожертвованием для земли.

— Не говорите таких высоких слов,— нахмурился Диденко.— Я не стою их.

— А кто же тогда стоит?

— Есть такие люди, которые заглядывают в непознанный мир,— опустил на руки тяжелую голову Диденко.

— О чем вы, Максим Петрович?

— Да об одном знакомом своем, похожем на Сократа.

— Тоже философе?

— Нет, враче, очень талантливом враче, которого не ослепила погоня за призрачной славой. А мог бы уже быть и профессором. Да, к сожалению, остался он в тени, в бесславии и варварском подозрении. Познакомился я с ним в свое трагическое время: тяжело заболела моя любовь, моя верная жена. Положили ее под нож, потом зашили и уже мне по секрету передали, чтобы я ждал самого худшего, потому что медицина пока еще бессильна. В безнадежности куда только не кидался я, и недоля или доля привели меня в селение недалеко от Днепра, где над травами колдовал молодой, но уже седоглавый врач Величко. Осмотрел он мою жену, перечитал все ее медицинские бумажки и хорошо-хорошо улыбнулся: «Когда у вас, добрая женщина, появится ребенок, то непременно пригласите меня кумом. Очень люблю кумовать...» Что же еще сказать? Вылечил он своими травами мою жену, вылечил и десятки обреченных людей, а завистники все время подрезают ему крылья, и до сих пор ходит он в шарлатанах от медицины, в знахарях, колдунах, хотя вся его жизнь — это травы и больные, больные и травы. И главное — не ропщет он на судьбу, только иногда скажет, что жаль будет, если его опыт и травы скосит коса равнодушия и зависти... О, слышите голос чечетки? «Че-чет! Пи-ю-пи... Чи-чи-чи...»

Ранней весной Данило прослышал, что Магазанник по шкуродерным ценам продает хлеб, сразу же вскипел ненавистью к торгашу и решил найти его тайник. После уроков он кружил по тем лесам, где таился со своими сокровищами лесник. Однако не так легко было его подстеречь. Зерно и хлеб Магазанник продавал осторожно и в розницу, то опасаясь сто двадцать седьмой статьи за спекуляцию, то боясь, что продешевит. Надеялся и на то, что цена поднимется на самый высокий уровень и тогда он сбудет зерно тем купцам, которых знал не один год. Поторопился только с картофелем, побаиваясь, что он прорастет, сморщится и потеряет в весе.

Шестьсот пудов он продал оптом винницким спекулян-

там-шкуродерам за шестьдесят тысяч рублей, вложил их в железный сундучок и на рассвете, когда Степочка еще отлеживал в постели бока, крадучись пошел к лесной ложбинке, где издавна поселились барсуки. Тут их никто не тревожил, никто не бил их на жир, они спокойно и размножались. Вон какие норы насверлили, а возле них понасыпали заметные холмики земли.

Магазанник долго прислушивался и присматривался к лесу, проросшему негустым туманом, потом сбросил обшитую кожей свитку, завернул в нее сундучок и осторожно-осторожно начал копать яму. Затем снова огляделся вокруг. Кто-то, кажется, крадется между деревьями? Магазанник застыл на месте и не сразу понял, что это на лежалый прошлогодний лист капал тот нетерпеливый березовый сок, который сам разрывает кору деревьев.

За столетними дубами блеснуло солнце. А вот и первая пчела в поисках поживы золотым желудком упала на мать-и-мачеху, прожужжала ей утреннюю песню и начала набирать пыльцу в свои кошелочки. Жаль, что их только две у нее, а ног-то шесть. Придет же такое в голову...

Лесник освободил из свитки сундучок, дрожащими пальцами опустил в яму и затаив дыхание начал ее засыпать. Кучку земли над ямой он разровнял точно так, как это делают барсуки. Вдруг впереди послышался шорох. Страх охватил с ног до головы, ежом зашевелился в чубе. Магазанник скосил испуганные глаза в ту сторону, откуда послышался шорох, и удивился, облегченно вздохнул: возле крайней норы возилась с детенышем барсучиха. Только что вытянув из-под земли белесого потомка, она заботливо уложила его на солнце, тряхнула головой и снова полезла в нору.

И неожиданно лесника прожгла ненужная мысль: «Даже барсук из темноты выносит на солнце свое дитя, а ты и себя, и свое чадо толкаешь в темноту. Тьфу, нашел время каяться...»

Чертыхнувшись, он, пригибаясь, пошел к своему жилью, которое глохло от весенних шумов. Когда крутнул задвижку калитки, из высокой клуни выглянул Степочка, с его лица еще не сошел сон, а желтые ресницы, как и всегда, трепетали мельничками, под ними проглядывали глаза цвета разведенной синьки. Увидев отца, Степочка подозрительно скривил губы:

— Куда это вы, татуня, уже спозаранку потащились?

— Служба, Степочка, служба: государственный лес

стерегу. Государственный! — И вспомнил барсучиху с детенышем на солнце.

У Степочки недоверие стерло с лица остатки сна.

— Почему же вы стережете государственный лес не с шомполкой, а с лопатой? А?

— Все будешь знать — скоро состаришься, а тебе еще жениться надо,— ответил, усмехаясь и лютуя в душе: уже и он, недоросль, вахлак, следит за отцом, нажил соглядатая, а не сына.— Перестань хлопать глазами. Лучше послушай, что святой апостол Павел писал римлянам: «Ночь минула, а день приблизился, потому отбросим деяния тьмы и облачимся в оружие света». Воистину ночь минула, и надо думать о новом дне.

Степочка немного просветлел, и даже мельнички его ресниц замедлили свое трепыхание.

— А я уже подумал, что вы где-то тайком окаянные закапывали.

— Какие окаянные?! Что это тебе примерещилось?! И когда только прояснится в твоей голове?! — люто глянул на сына, да не испугал его.

— Вы, татуня, не сверлите меня оком, ибо не очень прогневал вас. Разве я ничего не вижу, ничего не знаю? А если надо закопать, то и меня берите с собой, потому что все может случиться. И пойдет мое наследство червям на поживу.

Магазанник молча швырнул лопату на дровяник.

— Чего вы все злитесь, когда заговоришь о копейке? — снова проснулось подозрение у Степочки, что отец, скряжничая, прячет в лесах деньги.

— Не злюсь, дурень, а думаю: откуда ты взялся такой?

— Из ваших достатков да с вашего скупердяйства, татуня,— не полез Степочка за словом в карман и неожиданно развеселил этим отца.

— Э, да на твоем языке больше ума, чем в голове: вишь, какое выдал! — засмеялся Магазанник, потом взглянул на леса, что играли с ветром.— Как ты думаешь, сын, не пора ли нам раскопать подземелье под скитком?

Степочка скривился, лениво поиграл мускулами рук.

— Это же снова я как проклятый буду одну ночь выгребать землю, другую — грузить да разгружать мешки, а вы мне за это ткнете в зубы какую-нибудь паршивую тридцатку, да и все. А что мне от того и от этого?

Магазанник поучительно ответил сыну:

— Сергей Радонежский еще младенцем отказался в постные дни сосать материнское молоко, а ты, чадо недостойное, и в постные, и в скоромные дни хочешь тянуть и транжирить отцовские деньги. Помни: кто не дорожит копейкой, сам гроша не стоит, так что поменьше помышляй о моих деньгах.

— О чем же остается думать Степочке?

— Вошел ты в лета, входи и в ум. Земли ты, вижу, не удержишь, так подумай о другом прожитке — о службе в городе, о каком-то выдвижении, ведь теперь эпоха!

— Так пристройте меня в какую-нибудь контору или к какой-нибудь коммерции. Я и сам не хочу в лесу трубить с волками да грызться с родным отцом.

— И пристрою. Все будет чин чином, ибо есть у меня рука в районе. Может, хоть там из тебя что-то получится. А зерно из скитка все равно должны вывезти...

Старый, облупленный скиток. В нем еще до двадцать второго года проживало несколько отшельников, давая приют то бандитам, то дезертирам. Не раз навещал скиток и атаман Яков Гальчевский, что именовал себя Орлом, скрывалась тут и его жена Мария. А потом эти орлы, как совы, сбежали в панскую Польшу, чтобы уже не обрезом, а отравленным словом стрелять в молодую советскую державу.

Со временем монахи покинули леса, на какое-то время остался было один, да и тот погодя подался в село портняжничать. Ненастье же сорвало кровлю со скитка, обвалившиеся стены его неожиданно изнутри проросли рябиной. Вросшие в камень деревца весной цвели пушистым цветом, а осенью краснели гроздьями ягод.

Память людская забыла и монахов, и Гальчевского, и скиток, и только в тридцать втором году о нем вспомнил Семен Магазанник: ведь под скитком было подземелье, где монахи держали зерно и продукты. Так зачем ему копать в лесах яму, если можно в подземелье запрятать зерно — и добытое мошенничеством, и собранное на лесных полянах и вырубках? Ровно сто мешков ржи, пшеницы и проса заложил Магазанник в монашеское подземелье, а дверцы к нему засыпал землей, гнильем и штукатуркой. Если даже оптом продать это зерно спекулянтам, то получишь сто тысяч, а можно же и по пудику, по полпудика сбывать людям, тогда еще набежит несколько тысяч. Надо хватать их, потому что второго такого года уже не будет.

Может, после него поехать на Кавказ или в Крым, купить дом и спокойно, в тепле да добре, доживать век возле синего моря? Правда, там не будет такой роскоши, как в этих лесах, зато будет покой для сердца. А то разве далеко Винница от Полтавы? Может, кто-то и выжил из тех смертников, что когда-то попали в лапы гетманской стражи. Может, кто-то из друзей Човняра прибьется к нему — покупать хлеб, а возьмет жизнь?

Судьба не говорит человеку о своих путях. Почему-то он сейчас трусливым стал. Или это уже старость усаживается на плечи, или голод тревожит большим, да сомнительным рублем и сомнительным покупателем? Нет, надо все-таки сбыть хлеб оптовикам, да и пробираться к синему морю. Там он затеряется в людской суете, как иголка в сене. Да вдруг у него защемило внутри, и сквозь поля, и сквозь леса пробился голубой блеск Оксаниных очей. Надолго же укоренилась ты в сердце, как вот та рябина на камне скитка...

«Не ты носишь корни, а корни тебя»,— снова пришло на память священное писание. «А может, еще раз сходить к ней? Наконец-то, должны же лишения если не сломить, то надломить женщину, надломить ее честь. Прижмет нужда тело — и нечисть в душу забредет. Вот тогда и дознаешься, чего она стоит и все ли покупается-продается».

С такими мыслями он зашел в жилище, положил в карман свежую пампушку, снял с колышка ружье, проверил, заряжено ли, да и подался в дорогу за своей любовью или, может, за позором.

— Куда вы, тато? — остановил его Степочка. И теперь в его взгляде проскальзывало подозрение.

— В приселок должен пойти.

— А кто же две выпечки хлеба продаст?

— Продавай, Степочка, ты, а деньги себе на гулянки возьмешь,— расщедрился отец, в душе задабривая перед дорогой судьбу.

— Все?! — обрадовалось чадо, и подозрения в глазах как не бывало.

— Все.

— Хорошая будет у меня вербная неделя!

У Степочки от радости и удивления даже остановились мельнички ресниц: это же сразу четыреста рублей положит в карман! И радостно осклабился, прижимая к зубам губы в улыбке.

«Даже усмехнуться по-умному не умеет».

Магазанник грустно посмотрел на свое занозистое, падкое на копейку чадо, покачал головой. Нет у него настоящего наследника, а есть недоумок. Когда корень греховный, то и ветки греховные. На службу, только на службу надо его, шального, определить, а то если натолкнется на запрятанные деньги, то и клад заберет, и век твой укоротит. Ох, Оксана, Оксана...

Черноголовая, исхудавшая за зиму синичка, поворачиваясь то хвостиком, то головкой к нему, негромко, монотонно затвердила одно:

«Че-е-ло-век, че-е-ело-век, че-е-ло-век».

Не ошибаешься ли ты, пташка? Нет тут человека, а есть купцы-продавцы. Вот как растревожил неожиданный взгляд Оксаны. У нее он хочет найти для себя душевный затишек, да вряд ли его душа где-нибудь найдет покой.

На татарском броде он увидел в лодке Оксаниного Владимира. Мальчуган внимательно смотрел на поплавок и зябко кутался в куртку, которая казалась чересчур большой на его плечах. А лодка та же самая! Почему же он и до сих пор боится ее, как боится грозы? Время уже рвать суеверную пуповину. Время!

— Эй, хлопче, перевези!

Владимир поднял тяжеловатую теперь для его шеи голову, потом медленно смотал удочку, ударил веслом по зеленой волне. Молча причалил к берегу, молча оттолкнулся от него, только весло печально говорило: хов-хов, хов-хов, словно собиралось хоронить кого-то.

— Мама дома?

— Дома.

— Чего она делает?

— Болеет.

— И отчего?

Хлопец с укором, не по-детски, поглядел на него, покачал головой.

«Какой же он макоцветный»,— выругал мысленно себя лесник.

Лодка, зашипев, уткнулась в берег, который так и высвечивал настоящим серебром вербовых котиков. Магазанник поднялся, вынул из кармана пампушку, подал мальчугану:

— Это тебе за перевоз.

Владимир сначала растерялся, потом обеими ручонками схватил белое тельце хлеба, а затем крикнул:

— Миколка, Миколка!

Недалеко от берега, с пастбища, поднялся Миколка. Брат показал ему пампушку, и малый, словно подбитый птенец, заторопился к хлебу. Они тут же, на берегу, разломали пампушку, сразу съели ее, а потом вспомнили о матери.

— Я ей щавелька нарву,— оправдываясь, сказал Миколка и снова подбитым птенцом засеменил на луг, а Владимир сел в лодку, забросил удочку, надеясь на рыбацкое счастье.

Магазанник дошел до Оксаниного двора, увидел за плетнем почерневшие, с открученными головками подсолнухи, увидел полуоткрытую дверь сеней, голубоватые, как Оксанины глаза, окна, куст калины возле них и почему-то по-глупому заколебался, не смог даже зайти на подворье, а оперся обеими руками на ворота. Они заскрипели под его тяжестью и насторожили длинноногого аиста на хате, что должен был принести, да не принес счастья в жилище.

Аист взмахнул крыльями и взлетел во влажные, меняющиеся шелка неба, которое не знало, что ему делать: сеять мелкий, без грома, дождь или поискать заблудившееся солнце.

У неба свои хлопоты, а у человека свои. Вот, как и мечталось, он в лесах нажил богатство, пусть потаенное, но все же богатство: золото, серебро, бриллианты, цену которым узнал еще в гражданскую войну. Опять-таки чертов Безбородько научил его ценить и выдирать эти каменные слезы — вспомнил своего страшного начальника по державной страже... Богатство! Сколько оно манило, и манит, и ослепляет людей. Выше его не поднималась тревожная мысль сребролюбца...

Но почему же он, богач, стоит, словно нищий, возле старенъких, хрупких воротец, которые открывают и закрывают женские руки?.. Может, и нет любви, но что-то такое все же есть, что волнует душу и немного очищает ее от житейской скверны. И хоть столько горечи принесла ему Оксана, да он знает одно: не будет таких верных Оксан — измельчает жизнь людская, приблизится к скотской.

Из сеней тихо вышла Оксана, сняла с плетня детское белье и, прижимая его к груди, словно спросонья, пошла к хате. Теперь ему стало жаль ее, жаль преждевременных морщин, которые посновало не время, а бесхлебье, и тут же затеплилась надежда. Сейчас, может, женщину легче будет укротить или склонить к себе, а что будет дальше — покажет время.

— Оксана,— позвал одной болью. Даже не знал, что она может получиться у него такой искренней.

Женщина остановилась, печально поглядела на ворота, покачнулась от неожиданности, гордо выпрямилась, и он заметил под ее глазами синие полосы от истощения. Ничего, через неделю-другую его достатки смоют их.

— Чего вам, неотвязчивый?.. Как вы посмели?

— Опять гневаешься. И зачем, и для чего это? Сама видишь, какая ты сегодня: легкая, словно обмолоченный сноп, совсем истощала, даже смотреть больно... Приходи ко мне. Как хочешь приходи — или женой, или кухаркой, или так... в гости.

Оксана лишь гневом полоснула его.

— Пусть к вам в гости лихо с бедой приходят! — и пошла к хате, хватаясь руками за детскую одежду или, может, за свое сердце, а на хату опустился аист. Принесет ли он счастье кому-нибудь в этом жилище?

Как нищий пришел и как нищий поплелся Семен Магазанник обратно в леса. Не суждено ему привести в свой дом красу, не суждено. Наверное, придется сначала одному, без Оксаны, без Степочки, ехать к синему морю, на его берега, где отдыхают, где больше торговли и больше доступных женщин.

А сегодня он пойдет к Василине, упьется своей горилкой и хмельными чарами, да и заснет на ее груди, с которой, верно, смывалась не одна скоропроходящая любовь. Когда нет настоящей любви, то находи хотя бы скоропроходящую, ибо, как писал протопоп Аввакум, вода во всех женских криницах одинакова. Тоже, верно, досадило ему ведьмовское зелье.

Злой на себя, на все женское отродье и на Василину, с которой должен провести ночь, он даже не замечает дня, где-то потерявшего солнце.

Леса встретили его тревожным шумом, да еще он, как суеверный человек, зачерпнул тревогу с Оксаниного двора, и она бродила по его телу злым предчувствием. Крадучись добрел он до барсучьих нор, околесил их, нашел первые после зимней спячки следы зверей, нашел уже подсохший холмик земли на своем кладе, немного подровнял его хворостинкой и направился к дому, ибо любовь — любовью, а обед — обедом. Да и Василине надо что-то приготовить. Есть на свете святая красота, но есть и грешный соблазн, так хотя бы им заглушит свои неудачи.

Подходя к лесничеству, он вдруг остановился на стежке: почему-то вспомнил встречу с Данилом Бондаренко,

который не первый день любовался его лесом. Нашел диковину! Что-то очень идейный он, таким и Ярослав Хоролец был. Нет, тревога не даст спокойно и ложку борща съесть. Вот уже и думай не о Василине, а о Даниле. Что ему тут надо?

Лесник взял влево и пошел к тому месту, где стоял скиток, из когда-то расписанной утробы которого росли перекошенные деревца рябины. Скорее надо из этого подземелья выхватить зерно. Легко сказать — пятьсот пудов! Сразу все село можно спасти! Но даже мысль об этом испугала его. Одно дело — подарить нужному человеку ведерную липовку меда или запечатанные соты, а другое — зерно. Теперь вон оно какое богатство! Это же пристанище его — синее, как Оксанин взгляд, море. Да не сошелся свет клином на ее чарах, найдутся и другие, а пока что пусть пройдет день и настанет вечер.

Вот уже и скиток сереет между деревьями, вот уже со стен его проглянула рябина, что пробилась из голов и плеч рисованных святых. А неплохо придумал: спрятать святое зерно в святом месте. Продавать же можно и в грешном. Магазанник обходит скиток, чтобы хоть издали взглянуть на заваленные землей и штукатуркой двери. И вдруг его ноги, все его тело на мгновение окаменели, а старое строение с молодой рябиной стало расползаться на глазах: не дьявольское ли наваждение, или и вправду возле стен он видит свежие кучи земли?

Магазанник, веря и не веря себе, приник к старой березе, на глаза ему наплывает потревоженная, перекопанная земля, а ухо слышит, как на ржавых петлях поскрипывают кованые двери подземелья. Вот и зазияло оно, страшное, будто не к сокровищам, а в самое пекло шло, и болью и холодом сжимает все внутри. Кто же так внезапно ограбил его среди бела дня? И что теперь делать ему? Наверное, лучше всего — бросить свое добро да и втихую запрятаться в дом. Пусть кто-то давится его зерном, его богатством, лишь бы не схватить сто двадцать седьмой статьи... А может, там Степочка тайком старается, пока отец ищет любви? Нет, у Степочки на это не хватит смелости. Скорее, скорее назад от заклятого клада! Но ноги не слушаются, и не испуг — жадность ведет его дальше! Вот и накликала Оксана своим словом напасть...

Снова заскрипели ржавые петли. Даже сердце разрывается от этого скрипа. Магазанник остановился. Идти или не идти? Идти или не идти? Теперь вся земля стала для

него шаткими мостками, а он нищим стоит на них перед своей недолей. Не гневи ее, не гневи. Тихонько иди по россыпям подснежников домой, кусай там локти или заливай свои терзания казенной горилкой да стряхни с себя лихо, а не то тут же лицом к лицу встретишься с бедой. Да нет сил отвернуться от богатства, хотя на нем и сидит его лихо. Это в гражданскую войну он однажды бросил в глотку своему лиху одноглазому кошелек с червонцами и драгоценными камнями. Но для этого нужна была решительность, а теперь ее нет... Идти или не идти?

А тем временем из подземелья поднимается его лиходей. Как и думал, это был он, Данило Бондаренко. Идейный! Пока не видит, может, подальше от греха? Но вдруг все взбунтовалось против такого позорного бегства, а кровь так ударила в голову, что даже загудела она. Магазанник люто срывает с плеча ружье, наводит мушку на сердце Данила и — пан или пропал — хрипит каким-то незнакомым, надтреснутым голосом:

— Стой! Стрелять буду!

Данило вздрогнул, потом удивленно поднял голову, встретился глазами с лесником и не испугался шомполки, а искренне захохотал.

— Это вы, дядько Семен, шутите с перепоя или в самом деле бабахнете из своей пушки? Вот будут и мне, и вам печали.

— Стой! — услыхал уже свой обычный голос, и откуда-то донесся похоронный звон. Это отозвалось колоколами прошлое, когда он вот так же держал в руках, но не шомполку, а трехлинейку.— Застрелю.

Данило, будто от страха, пригнулся, еще раз смешливо взглянул на Магазанника и весело крикнул в дверь подземелья:

— Хлопцы, прячьтесь по всем закуткам, а то Магазанник собирается войной на нас! — и снова беззаботно засмеялся, а подземелье эхом откликнулось ему.

«Выходит, привел, дьявол, целую бригаду. Еще с утра подземелье было кладом, а теперь становится судом. И почему я не отошел от своего лиха?» Дрожащими руками лесник опускает ружье, потом кое-как забрасывает его на плечо и медленно подходит к Данилу.

— Что вы тут делаете? — спрашивает как можно спокойнее.

— А вы, дядько, не знаете? — даже заиграли бесики в серо-голубых глазах.— Ну и перепугали же вы меня — сердце и до сих пор дрожит, словно осиновый лист.

— Тогда извини. Так чего же вы тут копаетесь? Старину какую-то или сокровища ищете в скитке? Было тут когда-то много всякой всячины, даже икона от Богдана Хмельницкого. Не за ней ли гоняетесь?

— Ох, дядько, дядько, ну и хитрая же вы лиса! — покачивает чубом Данило и неожиданно, взмахнув, как птица, руками, срывает с плеча лесника ружье.

— А это что? — возмущенно вскрикивает Магазанник, не поняв, что оно и к чему.

— Смерть отбираю у вас, дядько, а то зачем вам такой союзник? — насмехается Бондаренко.

И только теперь лесник сообразил, как его обвел этот желторотый: в подземелье же, кроме эха, никого нет. Никогошеньки! Он чувствует, как злоба полосами разливается на щеках, и изо всех сил бьет Данила ногой в пах. Но парень своевременно отскакивает, потом, словно молотом, ударяет лесника кулаком в грудь, и тот навзничь падает на землю, набухая шумом крови и леса. От обиды, от бессильной злобы хотелось заплакать, завыть. Как же его обманули, провели! И кто? А он, дурень, стоял возле скитка словно подмененный. Хоть голову спасти теперь. И, скрючившись, обхватывает ее обеими руками. Да хлопец не бьет его, а добивает словом:

— Как оно, дядько? Прогрелся грунт под вами?

«Чтоб тебя черти в аду прогрели».

— Данило, что ты сделаешь со мной? — спросил Магазанник, неловко, на карачках, вставая с влажной земли, где поднимались и не поднимались примятые им подснежники.

— Пока еще ничего, но сейчас под этой игрушкой,— качнул ружьем,— поведу кого-то в село. Там вы немного поостынете, а мы тем временем заберем из подземелья, что надо забрать.

— В село ты меня не поведешь, ибо не пойду, а стрелять ведь не будешь. И зачем тебе мое бесчестье? — сказал уныло.— Лучше пойдем на мировую. Так и мне со Степочкой, и тебе будет лучше.

Данило понял, что Магазанник никуда не пойдет из леса. И ружье не напугает его. Что же делать теперь? Пойдешь сам в село, так, смотри, пока вернешься, зерна и след простынет. Вот незадача... Он покосился на лесника:

— Как же вы хотите мириться? Хитростями да мудрствованиями?

Магазанник оглянулся.

— Считай, по-королевски, ей-богу,— и снова оглянулся.— Пойдем к моему жилью, и я тебе из рук в руки положу десять тысяч рублей — столько, сколько ты не заработаешь и за пять лет своего учительствования. Оно идеи идеями, а есть что-то надо. Так по рукам?

Данило не то поморщился, не то усмехнулся, покачал головой:

— Маловато, дядько, маловато. За идеи больше платят.

Магазанник удивился, насупился.

— Это же дармовые деньги тебе плывут, а ты говоришь, маловато,— с укором посмотрел на хлопца.— Но торг есть торг. Давай свою ладонь.

— А вы отхватите ее с плечом, я же знаю вас,— скалит зубы Данило и нисколечко не унывает. Что это за человек?

Лесник вперил глаза в землю, в измятые им подснежники, и вполголоса пробормотал:

— Тогда бери, парень, пятнадцать тысяч и не морочь больше голову. Чего еще тебе надо? Это ж десять лет твоей работы!

— И на всю жизнь бесчестье,— внезапно отрезал Данило, и золотистые колосья его бровей взлетели вверх.— Неужели вы думаете, что и совесть покупается-продается?

— Так зачем же тогда ты торгуешься со мной! — возмущается Магазанник.

— Хотел посмотреть, какой вы в торге. Может, это и мне пригодится,— наполняется язвительностью каждое его слово.

— А если я тебе двадцать тысяч дам?

— Даже миллионы, дядько, не помогут, ни ваши, ни чьи-то. Вот так-то...

И Магазанник понял, что он ничем не соблазнит этого чудака, у которого только и имущества, что ботинки на ногах да выношенное пальтишко на хребте. Ох, эти идейные! Не было из-за вас жизни в революции, нет и теперь. Испуг сковывает его нутро, и он, понурившись, едва выдавил:

— Что же ты хочешь делать со мной? Зерно, если пофортунит, может, и вывезешь. Может! А со мной начнешь судиться?

— Наверное, придется.

— А ты подумай хорошенько — и не судись,— уже не просьба, а скрытая угроза прозвучала в голосе лесника.

— Это ж почему?

— Потому, что мало будет радости во всех судопроизводствах и судах и тебе, и мне. Ты, скажем, начнешь топить меня, а я упрусь на своем: не мое просо, не мои и

воробьи. Свидетелей у тебя нет, а за меня кто-то может и заступиться, еще и тень на кого-то бросит.

— Какую тень? — и удивляется, и возмущается Данило.

— Хотя бы, к примеру, такую: почему ты, а не кто другой нашел это зерно? Может, ты с кем-то в сговоре по этому делу. Оно ведь так в мире: над одним гремит, а другого молния убивает. Кто-то мудро придумал: осторожно иди по земле, а то провалишься.

Данило только головой покачал и коснулся пальцем лба.

— Сколько же хитрых ходов в вашем кротовище. Так вот: судиться я не буду — возьму грех на свою душу, если вы поможете перевезти зерно в село. Не думайте, что вашего коварства побоялся, о зерне думаю.

— Спасибо и на этом,— хмуро поблагодарил лесник.

— Пошли за лошадьми.

— Пойдем,— выдавил из себя Магазанник и поплелся впереди учителя. Возле конюшни, где почему-то тревожились кони, остановился, вперил глаза в учителя.— Еще раз, долей своего сына, спрашиваю: не будешь топить меня?

— Я уже все сказал. Выводите коней...

Как не своими ногами подошел лесник к дверям конюшни и на какую-то минуту прильнул к ним, а в боли его, от которой пухла голова, уже начинал пробиваться завтрашний день, завтрашнее следствие. Подозрение — оно все-таки падет на него! А как бы его подбросить кому-то? Было же раньше зерно и в колокольне, и в скитке. Монахи разбрелись по свету, а старые запасы остались... Старые запасы! Да и прокурор Ступач не должен очень наседать, так как никогда без меда не уезжал от него... С ума сойти можно от этого желторотого — бросил ненавистный взгляд на своего врага, который сейчас забавлялся его шомполкой...

В тот же день Данило Бондаренко, председатель колхоза и председатель сельсовета составили списки семей, которым безотлагательно нужна была помощь, и до ночи раздали людям зерно, лишь два мешка оставили на всякий случай.

А на другой день в школу на бричке примчался прокурор Прокоп Ступач. Он постучал в двери класса, где вел урок Данилс. В широком полувоенном костюме, встал в дверях, красивый, злой, непримиримый, на его лице отражались гордость и самоуверенность. Только какая это самоуверенность: та, что выросла на преувеличении своей

значимости, или та, которая прикрывает отсутствие значимости?

— Вы Данило Бондаренко? — поднял припухшие веки, обрамленные темно-фиалковыми ресницами, что подошли бы и пылкой красавице.

— Да.

— Я прокурор вашего района.

— Очень приятно,— ответил машинально и почувствовал, как на губах застыла тревожная улыбка. «С чего бы?..»

— Прошу за мной!

— Но только что прозвенел звонок...

— Что?! — от неожиданности и удивления брови Ступача ершами взлетели на лоб, а рот скривило презрение.— Думаете, школьный звонок значит больше прокурорского? — Он повернулся и круто начал вдавливать в пол скрип новеньких хромовых сапог, на которых подскакивали измельченные кресты окон.

В учительской Ступач бросил на стол пухлый портфель и, округляя характерные глаза цвета угасающей сирени, вдруг гневом и язвительностью ударил Данила:

— Вы по своим убеждениям анархист?

— Нет, коммунист,— коротко ответил Данило и тоже набычился.

— Коммунист?! — то ли удивился, то ли задохнулся от неожиданности Ступач, а потом по оледеневшим губам из угла в угол перекатил недоверие.— Чем вы докажете это? Чем?

Такой вопрос разозлил Данила.

— Неужели свои убеждения надо доказывать свидетелями или справками?

— Непременно! — выкрикнул Ступач и вонзил жесткий взгляд в учителя.— Кто ваш первый свидетель?

— Сейчас мой первый свидетель — боль сердца! — с горечью ответил Данило.

— Что-что?! — удивился, не понял Ступач, и от удивления резче очертились его фасолеобразные ноздри.— Вы будто защищаетесь медициной, терапией?

— Нет, я защищаюсь самой обычной человечностью. Как коммунист я убежден, что у каждого порядочного человека должно болеть сердце за людей.

Ступач снова язвительностью и непримиримостью ударил Данила:

— Это демагогия на данном этапе?

— Это убеждения на всю жизнь.

— Вы человечностью хотите прикрыть разбазаривание зерна и спасти свою шкуру? Кто вам дал право транжирить хлеб?

— Время.

— Какое время? — не понял Ступач.

— Нелегкое.

— Вы мне бросьте эти штучки — теорию нелегкого времени! Я вам из нелегкого времени выкрою тесное время! Слыхали о таком?

Данило уже еле сдерживал взрыв гнева:

— Слыхал! Я тоже интересовался философией, думал, что это наука гуманитарная!

— Это намек на мою профессию? — Ступач уже рассекал его перекошенными глазами, в которых буйствовал колер отцветающей сирени.

— Нет, это намек на ваш характер да на ваши окрики.

— Как вы говорите, мальчишка?! Понимаете ли, перед кем стоите? — и Ступач ударил кулаком по столу.

Теперь Данило как можно спокойнее сказал:

— Не бейте кулаком ни мертвую, ни живую материю, научитесь уважать ее.

Ступач задохнулся от негодования:

— Я надеялся, мальчишка, что вы покаетесь, признаете свои ошибки, но раз так, поговорим с вами в другом месте, хотя мне и жаль вашей гордой молодости. Гордых время быстро гнет в бараний рог! — Он выскочил из-за стола, схватил портфель, хлопнул дверью и подался через школьное подворье на улицу, где стояла его бричка.

И теперь противный холод ударил Данила под сердце, уселся на плечах, пригнул их своей тяжестью. Хлопец тряхнул ими, сбрасывая эту тяжесть, приложил руку к сердцу. Чего ты испугалось? Не бойся, не мельчай. Слышишь?

Немного успокоившись, он снова возвратился в класс, к притихшим детям, нашел в себе силы улыбнуться им и спокойно закончить урок, а потом пошел бродить по лугам, которые держали уже на своих ладонях зелень и первые кисти первоцвета. Кому он, разомкнув веки, завтра посмотрит в глаза? И снова холод перекатывался по плечам и спине. Да пусть будет что будет, а он, не бросая на весы осторожность, как-то помог людям! Но есть и другая мудрость: осторожно ходи по земле. Такое хождение и ползанием может стать...

Возле райкома Ступач пружинисто соскочил с брички, небрежно махнул рукой вознице и, покосившись на свой полувоенный костюм, быстро направился к приемной. С порога он коротко спросил секретаршу:

— Есть? — и бросил свой характерный взгляд на дверь.

— Пожалуйста, пожалуйста, Прокоп Иванович,— сразу засуетилась и покраснела девушка, которая, хотя неведомо почему, побаивалась профессии Ступача, но не пугалась его византийских глаз. Секретарша много читала и все неразгаданное, таинственное называла византийщиной.

Ступач приветливо посмотрел на девушку, совсем сбив ее с панталыку, и исчез за дверью.

— А надымили... Хоть саблю вешай! — театрально остановился посреди просторного кабинета. В пословице он топор заменил саблей, так как перед ним сидели бывшие червонные казаки — секретарь райкома Виктор Мусульбас и военный комиссар Зиновий Сагайдак.

— Да, надымили,— согласился Мусульбас и положил трубку возле чернильницы. На горбоносом лице его после болезни еще оставался неровный румянец.

«Словно материки на немой карте»,— подумал Ступач, который недолюбливал и побаивался секретаря, так как тот и до сих пор не может забыть его левых заскоков. Но ведь миновали они, миновали! Да и разве он теперь на работе не лезет из кожи вон?

— Садитесь, рассказывайте, если есть о чем рассказывать,— тряхнул черными кудрями смуглолицый Сагайдак.

— Я и постою, хотя в ногах, говорят, нет правды,— снова обратился к народному творчеству Ступач.— О чем же вам? Был я и у Магазанника, и в скитке, и у Бондаренко. Зерно, по-моему, осталось еще от монахов, которые умели все же хозяйничать,— в подземелье и до сих пор сухо, хоть перец держи. А вот Бондаренко надо покарать!

— Так уж и покарать? — сомнение и словно недовольство тенями промелькнули в орехово-карих глазах Мусульбаса.

— Непременно! Чтобы свой своего боялся! — и Ступач так рубанул рукой, будто и он был в червонном казачестве.— Думаете, Бондаренко покаялся? Не тут-то было! Я ему одно, а он мне другое. Я ему другое, а он мне третье...

— Вы ему третье, а он вам четвертое,— насмешливо продолжал Сагайдак.— У вас до сотого не дошло?

Ступач обиделся:

— Поговорите еще вы с ним, то и до сотого дойдете.

— Да поговорим,— загадочно пообещал Сагайдак.

— Вот он и покажет свой норов, как мне показал.

— А как вы с ним говорили? — пристально посмотрел Мусульбас.— Случайно не угрожали?

— Не обошлось и без этого.

— А для чего это вам?

— Как для чего? — и Ступач даже усмехнулся.— Надо же иметь выгоду и от страха.

— Что-что? — даже поднялся Мусульбас, и поднялись его материки.

— Говорю: в нашей профессии можно и даже надо иметь выгоду от страха.

Мусульбас переглянулся с Сагайдаком и, не садясь, тихо спросил Ступача:

— Вы не догадываетесь, какие из этой выгоды могут быть утраты?

— Для меня?

— К сожалению, для нас! Вы не слыхали такого: страх может и черта выплодить?

Ступач пожал плечами:

— Разве ж вам не известно, что в нашей профессии посредством страха можно добраться и до корней, и до семян?

— Не доберитесь до несчастья,— вздохнул Мусульбас.— Вы не думали, что страх из человека делает уже не человека, а орудие? Если не думали, подумайте, если не соглашаетесь с этим, меняйте скорее профессию. Еще не поздно.

— Но и не рано,— хмуро ответил Ступач...

Уже дремало предвечерье, когда Данило увидел на лугу Терентия Ивановича. Увязая вербовой ногой в луговине, человек подошел к нему какой-то просветленный и словно помолодевший. С чего бы это?

— Смеркается,— взглянул на небо.

— И на дворе, и в душе,— буркнул Данило.

— Не рано ли — в душе? — засомневался Терентий Иванович.

— Ступач говорил, не рано.

— Так время идет не по часам Ступача. А вас снова разыскивают.

— Те же гости в ту же хату? — сразу ощетинился Данило.— Тогда не пойду!

— Не угадали. Секретарь райкома и военный комиссар приехали.

— Ого! — невольно вырвалось у Данила, и в уголках уст пробилась горькая улыбка.— Какой чести удостоился...

— А может, и чести,— рассудительно сказал Шульга, выдернул деревянную ногу из луговины, и вдавленный ею след стал наполняться водой. Вот так идет человек по земле и оставляет за собой роднички...— Ты уж не очень переживай, ведь сердце у тебя одно и такое, что кому-нибудь и понадобится,— и добрая улыбка с губ перебросилась на его вьющиеся усы.

— Ступачу уже понадобилось.

— Что Ступач? Это однодневка. Правда, не одному эта однодневка поранит душу, но и это надо пережить.

— А кто же те, что приехали сейчас? Что они за люди?

— Когда были в червонных казаках, тогда хорошая слава ходила за ними, а теперь не знаю, потому что не так давно появились у нас. Фамилия же у секретаря чудная — Мусульбас, а у комиссара запорожская — Сагайдак, хлопцы звали его Сагайдачным. И вот, поверишь, Мусульбас узнал меня, хотя виделись мы в гражданскую лишь раза три. Посмотрел на меня, на мою вербочку, снова на меня, обнял и заплакал. Вот и подумалось тогда: если будет у нас настоящая душевность, то все нам будет под силу...

В учительской Данило застал Диденко, белявого, бритоголового, с печальными глазами секретаря райкома, и статного, с красивым цыганским лицом комиссара. Робея, сжимаясь в комочек, остановился у порога.

— Вы Бондаренко? — без прелюдии спросил секретарь, поднялся, шагнул к Данилу и подал руку, на которой белело рубцеватое скрещение шрамов.

— Бондаренко.

— Славная фамилия! Историей пахнет,— пристально всматривается в него Мусульбас.— Бондарничать умеете или растеряли отцовское наследство?

— Немного умею.

— А если сделаете бочку под огурцы, рассол будет вытекать или нет? — неожиданно спросил стрельчатобровый Сагайдак.

Данила удивил такой вопрос: насмешка или что? И он тоже ответил по-крестьянски:

— Если бочку буду делать для доброго человека, то рассол не вытечет, а для плохого, то и огурцы не удержатся.

— Данило Максимович у нас молодец! — вмешался в разговор Максим Петрович и взглядом подбодрил своего учителя.— Прошу прощения, мне надо еще на вечерний урок,— и вышел из учительской.

— Шапка отцовская? — взглянул секретарь на смушковую шапку, которую Данило держал в руках.

— Отцовская.

— И характер такой же горячий, как у отца был? — прищурился Сагайдак.

— Не знаю.

— Знаешь! Так раздал, хлопец, хлеб? — перешел на «ты» Мусульбас.

— Раздал.— Что-то как льдиной кольнуло внутри, он собрал на переносице упрямые морщины и совсем не к месту вспомнил излюбленную пословицу Богдана Хмельницкого: «Что будет, то будет, а будет — как бог даст». Что будет, а стоять буду на своем.

— И не каешься?

— Раздавать добро не грех, прятаться с ним — грех.

Сагайдак, усмехаясь, переглянулся с Мусульбасом.

— Ступача испугался? — спросил тот.

— Не очень, но радости от его крика и угроз не имел. Кажется, он принадлежит к наследникам князя Изяслава, который еще в двенадцатом веке глаголел: «Дал бы бог здоровья, а месть будет». Не дай бог такому крикуну достичь большой власти.

Мусульбас долго изучающе смотрел на Данила, потом правой рукой провел по голове, с которой тиф еще в гражданскую снял кудри.

— Далеко ты заглянул. И, к сожалению, что-то существенное подметил в характере некоторых нетерпеливых. Наверное, натерпимся мы еще с ними. А теперь о тебе: правильно поступил, что раздал хлеб, потому что прежде всего надо спасать людей.

— Спасибо,— ожил Данило.

— Не спеши благодарить. Послушай старшего годами. Раздать зерно не такая уж большая мудрость, только бы оно было,— и погрустнел человек.— Мудрее — вырастить хлеб. Ты умеешь ухаживать за землей?

— Будто умею.

— А ты мне без «будто». Знаешь хотя бы о том, что делает ваша школа?

— Этот курс науки, кажется, прошел.

— А это правда, что хотел быть агрономом? — спросил Сагайдак.

— Правда. Да по разверстке губернского комитета бедноты меня послали на рабфак при пединституте.

— Это хорошо, что тебя послало село. Выходит, верило тебе. А доверие людей надо оправдывать,— уже поучительно сказал Мусульбас.

— Постараюсь, разумеется,— не нашел ничего лучшего ответить Данило.

— Так вот, Данило, я не буду тебя стращать, как Ступач. Стращай сам себя. Мы сегодня после Ступачова наскока говорили о тебе, вспомнили и твоего отца, а тут я кое о чем расспросил Максима Петровича. И мнение наше таково: пошлем тебя в твое село председателем колхоза.

— Меня?! — оторопел Данило. «Из-под суда да на должность...»

— Тебя!.. Испугался?

— Да уж не обрадовался.

— Одним тебя утешить могу: не святые горшки обжигают.

Сколько раз слыхал эту пословицу Данило, но, кажется, только теперь понял ее смысл. Путаясь в круговороте мыслей, спросил:

— А школа как же?

— Вот земля и люди будут тебе новой школой... Нам очень нужны те, кто бы сейчас любой ценой спасал село. Помоги людям дождаться нового хлеба,— поднял на Данила печаль и боль орехово-карих глаз секретарь.— Понимаешь, хлопче, какую тяжесть кладем на твои еще не окрепшие плечи?

— Понимаю,— кивком благодарил неожиданных гостей за доверие и в то же время тревожился за свой завтрашний день.

— Сердце у тебя доброе, пусть трудности не надорвут его, пусть недалекие людишки не озлобят его. Так по рукам?

— А вы сразу же в жатву не навалите на меня непосильный план?

— Э, это уже торг,— погрозил пальцем Сагайдак.

— Если тебе говорят «по рукам», то надо и торговаться.

— Поймал на слове,— Мусульбас покачал лысой головой с отблесками лампы на ней.— Непосильного плана тебе не дадим, но помни, что хлеб должны иметь и люди, и государство. И чем больше, тем лучше. Вот теперь и ломай голову над этим, думай, как поется в песне: «Ой, ду́май, дума́й, чи перепливеш Дунай». Теперь твое село — твой

Дунай. Выбивайся, хлопец, а то нам сейчас очень трудно. Очень!

— На какие-нибудь фонды для людей можно надеяться?

— Нет таких фондов,— вздохнул Мусульбас.— Одни огорчения есть. Ими, злорадствуя, воспользуются наши враги. Да с ними нам детей не крестить. Нам любой ценой надо спасать своих людей. Так вот, повторяю: выбивайся.

— А вы хоть один глаз закроете, когда как-то буду выбиваться?

— Не имею права закрывать глаза, но и за чуб тебя сразу не буду хватать. Что тебя еще беспокоит?

— Сверхранний сев. Запретите его. Это же глупость!

Мусульбас вздохнул:

— И глупость не всегда запретишь... Сей, когда надо сеять, и спасай людей. А сейчас мы тебя подбросим в твое село.

— В темноте? — удивился Данило.

— Что для нас ночь, когда должно взойти казацкое солнце? — заиграл стрелами бровей Сагайдак.

— А как переберемся теперь через броды?

— Если проскочим казацкий, тогда, возвращаясь, проскочим и татарский, броды — не печаль! — И что-то свое вспомнил Сагайдак.— А вот есть иные у человека броды: голубой, как рассвет,— детства, потом, словно сон,—хмельной брод любви, затем — безмерного труда и забот и, наконец,— внуков и прощания. Мой дед, бывало, говорил: по четырем бродам текут воды жизни, а назад не возвращаются...

— Людей надо спасать,— прервал Сагайдака Мусульбас.

— Так по коням!

И они при луне проскакивали хмельные воды, несколько раз вспугивали на лугах сонных уток, а когда остановились перед домом правления, Мусульбас вынул из кармана то ли торбочку, то ли кисет и подал Данилу:

— Вот тебе власть в руки — печать, только больше орудуй головой, а не печатью.— Он протянул Данилу руку.— Вот и бывай.

— Куда же вы? Может, у меня переночуете?

— Считай, проходит ночка, надо утро встречать,— ответил Сагайдак. А когда Мусульбас пошел к коням, тихо спросил Данила: — Ты слыхал, как в прудах Сахаротреста всплескивала рыба?

— Слыхал.

— И о чем подумал?

— Ночью забрести в пруд, а утром хоть детям наварить ухи.

— Догадливый ты,— прищурился Сагайдак...— На твоем месте и я сделал бы так. Вот и не откладывай этого дела.

«И что он за человек? Подсмеивается, насмехается или вправду хочет как-то помочь?»

Сагайдак, верно, понял, о чем думает Данило, и шепнул ему:

— А хочешь, я тебе помогу?

— Это ж как? — оторопел еще не избранный председатель.

— Завтра после собрания мы с тобой переберемся на самый большой пруд, где полупудовые карпы выгуливаются. Там хозяйничает мой добрый знакомый, мы и подкатим к нему с возом и мешками. А послезавтра вари уху и детям и пахарям.

— Сбиваешь хлопца с пути? — неожиданно откликнулся от брички Мусульбас.

На это Сагайдак невинно ответил:

— Да нет. Это мы, как рыбаки, о королевской ухе говорили.

— Королевской или цыганской? — спросил без осуждения.

Вот так неожиданно и открылась новая нелегкая страница его жизни. И первое, с чего он начал председательствование,— обошел все хаты села, заглянул в глаза и старым и малым, вобрал из них печали на года.

Не больше ли всего поразила его тогда вдова Галина Пастушенко и ее детки.

Пятеро златоглавых кудрявеньких малышей, держась за юбку матери, так посмотрели на него, что уже не надо и спрашивать, есть ли в хате какая-нибудь еда.

— Садитесь, Данило Максимович,— тихо-тихо сказала молодая мать; с продолговатого ее лица и голод не смыл красы, только уста исказил двумя глубокими серпиками да не жалея сыпнул мглистой печали в глубокие глаза.

— Ели что-нибудь? — грустно посмотрел на детей.

— Коржики из хрена... Что это за еда? — вдова мигнула выцветшими ресницами, и на них повисли две капли.

— Сейчас же приходите ко мне, возьмете что-нибудь из моего учительского пайка, спечете какого-нибудь коржа.

Женщина не отнекивалась, лишь вздохнула и еще тише сказала:

— Спасибо, только чем отдавать буду?

— Хоть этим не морочьте себе голову, там пайка-то того с две пригоршни осталось...

Слушаясь, покрываясь пятнами, она взяла ту убогую муку и удрученная вышла в сени. Данило бросил вдогонку:

— Вечером я еще, наверное, загляну к вам.

У вдовы вздрогнули плечи, она обернулась, одной болью взглянула на него. Хотела что-то сказать, но не сказала, только голову склонила на грудь.

— Вы ж на всякий случай огонь в печи не гасите.

— Почему? — и укор и отчаяние пробились из-под ресниц, и вдова словно не своими ногами вышла из хаты.

К вечеру он зашел в коровник. Его сразу кругом обступили молодые доярки.

— Девчатки,— печально улыбнулся им,— не гостинца, а списочек принес вам. На всех вас возлагаю надежду, что поможете малышам, ибо и у самих будут дети. Вот тут написано, кому сколько надо выдавать молока. Это пока у нас нет детсадика,— и протянул бумагу заведующей фермой, которой еще и двадцати не было.

— Данило Максимович,— певуче спросила она,— а кто же за этот списочек отвечать будет?

— Да придется мне, так как ты еще молоденькая и, наверное, влюблена.

Девчата засмеялись, подтвердили, что по их начальству сохнет тракторист из соседнего села, и пошли к коровам, а начальство пожелало, чтобы председатель под списочком расписался и поставил дату, ибо слово словом, а бумажки должны быть в порядке, еще и присказку к этому нашла:

— Если есть бумага, то есть и отвага.

— Откуда у тебя такая... мудрость? — удивился Данило.

— Опыт и практика,— ответила девушка.

Уже при луне он дошел до одного из самых больших ставков Сахаротреста, что вокруг был обсажен деревьями. Из-под вербы или из вербы отделилась небольшая согнутая фигура старика с ружьем на плече. Из седой охапки волос как-то будто неохотно проглядывало лицо.

«Месяц, да и только»,— подумал Данило и почему-то вспомнил старого Гримича.

— Добрый вечер, дедусь.

— Ага,— после молчания ответил старик.— А ты кто же есть? Рыболов, раколов или контроль?

— И не то, и не другое, и не третье. Я ваш сосед — Бондаренко Данило.

— Ага, ага,— оживился старик,— слыхал уже про тебя.

— Кто же вам говорил обо мне? — удивился Данило.

— Зиновий Васильевич Сагайдак,— как-то торжественно сказал старик.— А он — человек! — И понизил голос: — Так когда приедешь рыбу ловить?

— Если можно, то завтра.

— Пусть будет и завтра. Только попозже собирайся, когда луна врастет в землю.

— Дедусь, а сегодня хоть несколькими рыбинами не разживусь?

— Начальство приедет? — оскалил глаз старик.

— Да нет, одной вдове надо помочь, у нее аж пятеро детей сохнут, словно листья.

— Эта вдова тебе какая-то родня?

— Тоже нет. Очень малышей жаль.

— Ты и внутри такой же добрый или только снаружи? — шмелем загудел сторож и покачал головой.— Что ж, вытяну вершу на детское счастье. Какую-нибудь торбочку прихватил?

— Не торбочку, а торбу.

— Проворный, проворный.— И только теперь на заросшем лице пробилась улыбка.— Так подожди молча возле вербы, чтобы какое-нибудь злое око не заметило тебя.

Данило прижался к старой с выжженной душой вербе, а дедусь медленно побрел влажным берегом, дошел до лодки, зачем-то перекрестил ее, что-то сказал воде и через минуту, стоя, направил лодку к воротцам обсаженного зарогу. Оттуда послышался треск и свист утиных крыльев, а потом какой-то выкрик старика. Вскоре он вернулся, вытащил лодку на песок и крикнул:

— Ты прирос к вербе или заснул?

— Да пока еще нет.— Данило подошел к старику, а тот довольно загудел:

— На долю деткам поймал с десяток карпиков и два хороших линя, держи свою торбу.

— Чем отблагодарить вас, дедусь?

Старик начал вынимать рыбу из челна и только потом ответил:

— Сагайдака благодари. Он еще в двадцатом спас сына моего от чужого копья. Вот зверское было оружие — насквозь пронизывало. Когда-то им святой Юрий змия убивал, а потом вся погибель на людей перешла. Так до зав-

тра, только ж осторожненько подъезжай — и глазом смотри, и ухом слушай. Правда, завтра, может, и Сагайдак приедет, если какой-нибудь черт не помешает.

Данило обнял старика, прикоснулся щекой к его мягкой охапке волос.

— Да хватит тебе. Вот лучше деду Корнию передай привет.

— А от кого?

— Фамилия у меня простая и сухая: Корж. Если нет хлеба, то и корж становится хлебом.— Хотя бы он был на столе. Так иди, куда велит душа, пусть не съедят ее ложкохваты...

В хате вдовы еще теплился убогий свет. Данило открыл сенные двери, постучал в хатние.

— Заходите.

Возле сундука окаменело стояла вдова, на лице ее шевелился испуг, а глаза были затенены ресницами.

— Так вы пришли? — и взгляда не отводит.

— Пришел — рыбу принес.— И смутился Данило, присматриваясь к вдове.— Разделайте, жарьте ее, да и детей разбудите. Как они?

— Два раза понемногу давала им затирухи,— начала приходить в себя женщина. Почему она испугалась его?

— Найдите какую-нибудь миску или макитру.

Вдова пошла к посуднику, достала большую цветастую миску, на которой алели обливные цветы, и Данило наклонил над ней торбу, только три рыбины оставил для Оксаны.

— Еще дышат,— не знает, что сказать, женщина, влажным туманом и скорбью смотрит на Данила.

— Разделайте и жарьте,— приказывает он.

— Да не на чем...

— Тогда уху сварите и сегодня же накормите малышей.

На полатях, завешенных ряднами, зашевелился кто-то, потом на пол соскочил взлохмаченный хлопчик и, протирая крохотными кулачками глаза, подошел к матери, а потом радостно воскликнул:

— Рыбка! Мама, где вы достали рыбок?

— Это, Петрик, нам дядя Данило принес. Вот мы сейчас ухи наварим.

Петрик пристально посмотрел на Данила, потом на рыбу, а затем наклонился к маминым ногам и тихо спросил:

— Мама, а этот дядя не наш тато?..

...На другой день, отправив в поле пахарей, Данило пошел на сепараторный пункт, где хозяйничал его друг Василь Гарматюк, веселый чернявый красавец, который недавно возвратился домой с далекой пограничной заставы. Друзья обнялись, более сильный Василь легко приподнял Данила.

— Василь, не отрывай меня от земли, на это дело найдутся другие.

— Бедный ты, Данило, ох, и бедный,— загрустили серые, необычные на смуглом лице глаза.

— Будешь и ты со мной бедным,— пообещал Данило.

— Это ж как?

— Садись, послушай. Нам надо спасать жизнь прежде всего детей. Завтра же для них откроем детсад. А что у нас есть для него? Только два мешка зерна, да ложка молока из колхоза... Ни крупинки, ни пшенички. Вот и помоги нам.

— Чем же я могу помочь? — удивился и насторожился Гарматюк.

— Тем молоком, что приносят тебе на пункт. Отчитываешься ты раз в месяц?

— Раз.

— Так пока твое начальство разберется, что к чему, ты отдавай мне какую-то часть масла. За него я наторгую все необходимое детям. А из снятого молока будем делать обезжиренный творог. Его выйдет, как я подсчитал, по триста граммов на человека. А это уже что-то значит.

— Быстро, по-воровски ты подсчитал,— неодобрительно покачал головой Гарматюк.

— Должен подсчитывать. Не я — сама беда подсчитала. Завтра же рыбаков отправлю на речку, и с улова будем варить в поле уху для всех. Еще счастье, что есть речка и лес.

Смуглое лицо Гарматюка побледнело.

— Данило, это же через месяц нас судить будут...

У Данила задрожали губы, он обнял друга:

— Зато людям спасение. Искал бы иного выхода, так нет. Понимаешь, нет!

И Василь с грустью едва слышно сказал:

— Ой, ду́май, дума́й, чи перепливеш Дунай.

— Не надо, Василь, такую грустную. Не всякое преступление есть преступление. Поверь, люди поймут нас.

— Когда? — потупился Василь.

— Если не теперь, то в четверг...

Как это недавно и как давно это было. Что ж, и он наделал ошибок, да были и оправдания у него: для людей он не жалел ни своего времени, ни своего сердца...

«Крыйок-крок, крыйок-крок»,— уже ближе, как судьба его, отозвался молодой погоныш, и Данило по вытоптанной траве начал спускаться к татарскому броду.

Гей, броде татарский, яворы и калина бережками да челны у самых звезд, а счастья так мало...

VIII

В разлогой чаше долины, что до самых краев налилась солнцем, колобродит, бурлит ярмарка. Над пестрой людской толпой отдается эхом нестройный шум голосов, рев скота, звон кос, гудение гончарных изделий, жалобные переливы свирели, дремотный стон лиры и еще десятки звуков, присущих ярмарочной круговерти. А над всем этим, вверху, по обе стороны покатой дороги стоят два ветряка и крестами крыльев перелопачивают голубые шелка неба.

Семен Магазанник любил и торжища, и гульбища после них, хотя и не раз приходилось везти с ярмарки домой уже не голову, а дупло с осами. И под каким бы хмелем он ни ехал, всегда, проезжая мимо скитка, с раздражением отворачивал от него голову: до сих пор не мог забыть ни зерна в нем, ни той стычки, что вспыхнула из-за него. А скиток хотя и разрушался, но на его стенах все равно росла рябина, которая и в лютые морозы краснела гроздьями ягод и сзывала в гости лесных птиц.

Сегодня лесник приехал не столько покупать, сколько прицениться к цибуле и фруктам и договориться с продавцами, что они предложат ему ранней осенью,— долго ли до нее? Выпьешь за косовицу, отпразднуешь зажинки, да и думай о кожухе и дороге в Сибирь. От одного упоминания об этом Магазанник ощущал холод в межплечье и свежий рубль возле сердца.

Журавлистый, неторопливый, будто ясный день, Лаврин Гримич, который на всю округу славился как лучший скирдоправ, сразу же ошарашил лесника:

— Тебе, Семен, я смогу дать цибули или чеснока только на закуску,— и поднял горячее золото ресниц на такие чесночины, каких и на выставке не увидишь. За это добро в Сибири сразу отхватишь торбу денег. И ходи кумом королю.

— Это почему же только на закуску? — встревожилось жерновообразное лицо Магазанника, скривились перестоявшие пучки усов. «Вишь, рыжий, словно шершень, а еще кочевряжится».

Да Лаврину даже ответить лень, он отворачивается от Магазанника, бросает взгляд на ярмарочное скопище и невозмутимо думает о своем. Вот уж характер у него! Две войны выбивали из его тела кровь, уносили жизнь, однако не в силах были унести доброго степного покоя и доброй ухмылки или пересмешки. Чего ни случается в житейской кутерьме, как, бывало, ни шумит его Олена, а мужу и громы не громы — только бубны. Посмотрит-посмотрит, как какая-то невзгода лихорадит его жену, неторопливо поведет золотым усом, под которым таится ласковая улыбка, и скажет:

— Олена, еще и завтра день будет,— угомонись на сегодня.

Думала молодица хоть раз на своем веку поссориться с мужем, однако ничего не вышло из ее намерения, вот и сохраняет за собой женское превосходство над ним, а он — покой в мире. А уж в работе Лаврин — огонь: попробуй догони его, неторопливого, на лугу ли с косарями или в поле со жнецами. И недаром о нем говорят в селе: этот из тех, кто делает хлеб. Правда, есть у человека и свое давнишнее чудачество — искать клады в древних степных курганах.

— Лаврин, может, у тебя не уродило? — не отстает лесник.

— У меня всегда родит,— даже не смотрит на него Гримич.

— Так какая тебя муха укусила, что портишь мне базар? — нахмурился Магазанник, к которому сегодня Лаврин отнесся не с уважением, а с пренебрежением.— Хочешь магарыч? Сейчас же поставлю бешеной! Хочешь дармового топлива? Приезжай ко мне втихую вечером! Хочешь меда? Зашпунтую липовку или две.

— Хороший мед в этом году? — на огнистых Лавриновых щеках ожили грозди веснушек.

— Не мед — одно здоровье! А захочешь, даже шмелиного для глаз привезу!

— У меня пока еще глаза не болят.

— Так могут заболеть от лука и чеснока,— посмеивается лесник.

На это он получил спокойный ответ:

— Не пошел бы ты к черту рыжему?

— Возле одного уже стою.

Теперь и Лаврин, улыбаясь, начинает играть своим добром на щеках, а уродило ж его, уродило! Но ни его, ни его дородную горячеокую жену не смущает изобилие рыжего колера и веснушек.

— И чего ты, Лаврин, заупрямился с луком и чесноком? Не обеднеет ли твой карман?

— Лучше иметь бедный карман, чем бедную голову,— щурится Лаврин и смежает свое горячее золото ресниц.— Сделай так, чтобы я тебя не видел нынче.— И горделиво отходит от растерянного лесника туда, где возле горы кринок, горшков, мисок и макитр играет румянцами и лентами чернобровая дивчина, а возле нее увивается статный обожатель с любовью и юношеской беззаботностью в глазах.

— Прочь отсюда, Петро,— будто сердится девушка и поправляет в волосах веточку жасмина.— Дай мне хоть миску выбрать.

— Зачем тебе ее выбирать? Давай закупим все до одной, да и поедем в мою хату.

— О, уже и поедем! Какой нетерпеливый,— смущается девушка и обеими руками отталкивает настырного ухажера, да погодя смягчается: — А что же мы со всеми мисками делать будем?

— Расставим в два ряда от ворот до дверей, чтобы никто не заблудился по дороге к нам,— недолго думая сморозил влюбленный, и оба начинают смеяться.

Пускает улыбку в усы и Лаврин, не сводя взгляда с юноши.

— А у тебя хватит денег на все миски? — шутливо спрашивает девушка Петра.

— Пожалуй, нет,— не унывает парубок.

И тогда в разговор вмешивается Лаврин:

— А ты хлопче, на ярмарку пешком пришел или подводой приехал?

— А что? — удивляется парубок.

— Не «а что», а говори, когда старшие спрашивают.

— Подводой,— переглядывается парень с девушкой и пожимает плечами.

— Так подгони сюда воз, я вам на новое хозяйство уложу и мисок, и горшков, и кринок, и макитр. Принимай, человече, задаток.— И Лаврин бросает гончару кошелек.

— Вот диво! — растерялся парубок.— Кто же вы, дядько, будете?

— Старый друг твоего отца. Он тебе случайно не рассказывал о пулеметчике Лаврине?

— Так это вы Лаврин Гримич, что моего отца в гражданскую спасли?! — вскрикнул хлопец.

— Собственной персоной,— посмеивается Лаврин, а парубок бросается ему в объятия.

— Ой, дядько Лаврин, почему же вы так долго у нас не были?

— А ты разве теперь бываешь дома по вечерам? — смеется Лаврин и глядит на дивчину, что зарделась, как калина. И откуда она, эта краса, берется?

А тем временем, обойдя щетинников, Магазанник останавливается возле Олены и похотливым взглядом ловит ее темно-вишневые полные губы, которые, наверное, хорошо знают вкус поцелуев. Есть же у чертова Лаврина такая роскошь! Женщина, наверное, угадывает Магазанниковы мысли, но не сердится, а насмешливо оценивает его лицо.

— Олена, чего это твой золотистый так хорохорится да ерепенится, будто сам сребро-злато производит? Что, он с тобой еще до ярмарки поссорился, или у него деньги дармовые?

Олена оглядывает лесника бархатом очей и презрительно отмахивается от него красивым, отороченным вышивкой рукавом:

— Зачем вам все знать?

Да Магазанник не отстает и язвительно спрашивает:

— А может, Лаврин раскопал в кургане клад?

— Отгадали: наконец-таки раскопал,— неожиданно отвечает Олена.

— Это где же? — оторопел Магазанник.

— В степи, возле казацкого брода.

— Возле казацкого брода? — переспрашивает, тревожась, Магазанник.— И что же там было? Глиняные черепки? Или и золото блеснуло?

— Были и золотые украшения,— лукаво играет бровями и ресницами женщина.

— Ты смотри! И что вы с ними сделали? — переходит на полушепот лесник.

Олена так взглянула на Магазанника, будто он с луны свалился:

— Что же нам делать с ними? Полюбовалась со всех сторон, я даже к шее примерила их, а потом завернула в тряпочку и... спрятала в сундук.

У Магазанника даже дух перехватило. Он туда-сюда бросил вороватый взгляд и снова полушепотом спросил:

— Олена, а вы по сходной цене не продадите мне то золото?

Женщина хотела тоже перейти на шепот, но не выдержала игры, засмеялась.

— Ты чего? — непонимающе глянул на нее Магазанник.— А?

— Да нет никакого золота у нас,— отмахивалась рукой от лесника.— Отнесли его в музей. Уж радости там было! А вам бы сразу покупать-продавать,— и на полных губах молодицы, что так и влекли к себе усачей, появляется насмешка.

— Выходит, для музея накопали добра? — растерялся лесник: вишь как высмеяли его! И кто? Погодя он уже спокойно спрашивает: — А ты не знаешь, почему это Лаврин передо мной на дыбы встает? Разве он не пользовался моей подмогой в лесу? Или мои пчелы обленились и худший взяток дают? Может, ты уймешь его?

— И не подумаю.

— Почему же?

— Лаврин не суется к моим курам, а я к его чесноку и табаку. Пусть делает, как сам знает. Он у меня всему голова.

Магазанник удивленно поглядел на женщину, на свежую голубизну вышивки, под которой покоем лета, покоем материнства дышала высокая грудь.

— Потворствуешь ты ему, потворствуешь. За ним по пятам надо ходить, а то на другую засмотрится.

— А у него глаз не злой, пусть и посмотрит на когонибудь,— нисколечко не унывает Олена.

— Кадки и кадушки — покупайте, молодушки,— подал голос старый бондарь, у которого чуприна, усы и борода закрыли все лицо.

— Бабы кохани, продавайте онучи драни! — затараторил франтоватый, вертлявый тряпичник, у которого было сальное и в глазах, и в присказках...

— Так вот без мороки и сбыли бы всю вашу цибулю и чеснок...— не отстает Магазанник.

— И вы бы повезли в Сибирь? — перебила женщина.

— А что ж в этом плохого? Надо же помогать людям.

— Помогать, но не обдирать. Идите уж лучше к другим.— Олена гонит прочь от себя лесника и поднимает глаза на ветряки.

Так что ты скажешь на это? Уже и у Лавриновой жены прорезывается идейность! Магазаннику, оставшемуся ни

с чем, надо было бы насупиться, но он делает вид, что не заметил насмешки, и даже кривит на губах улыбку:

— Видать, Лаврин немало нарыл в курганах кладов, что такими богатыми стали. Обыскать вас надо, обыскать.— Расталкивая плечами ярмарчан, быстро отходит от женщины, а вокруг него бурлят ярмарочные волны.

— Да покупайте, пусть не плесневеют ваши деньги...

— У вас торгу на копейку, крика на рубль...

— Вечером же, возле вербы! Чего же ты молчишь?..

— Люди вон слышат.

— А разве они не стояли возле своих верб?

Неужели и он стоял когда-то возле своей вербы, возле своей любви, нашептывал ей были, небылицы да разные дурницы?.. Хоть бы не сговорились цибульники против него, как Лавринова пара.

— Сапожник-живодер, сколько за конские просишь?

— Все деньги...

— А за хромовые?

— Половину.

— Так меняемся, меняла?

— Кто меняет, тот без сорочки гуляет.

— А что я говорю: суетный мир, суетные люди.

— И излил бог чашу своего гнева на нас...

— Позолоти ручку, красавец,— кидаю карты на жизнь...

— Бублички с маком, сами во рту тают!..

Неподалеку от бубличниц и паляничниц застонала лира, и глуховатый голос лирника почему-то тревожно отозвался в душе Магазанника.

Ой коли кінець світа іскончається,
Ой тоді Страшный суд наближається...

Прямо на земле сидел крутолобый нищий, у которого на широких плечах была не голова, а словно охапка слежавшейся шерсти, а из шерсти торчал хрящеватый носище; возле нищего лежали большие засаленные торбы и глиняная мисочка, куда изредка капало мелкое серебро и медяки. Магазанника не так удивили печальный кант и патлы лирника, как его сила, которая чувствовалась под истрепанной, грязной одеждой. Это дюжий мужик, а не хилый нищий. Вот серебряная монетка упала не в мисочку, а на землю, и лохматый потянулся к ней ржавой лопатистой рукой, потом посмотрел на своих слушателей и неожиданно остановил желтые, как у птицы змееяда, глаза

на леснике. И снова какое-то дурное предчувствие шевельнулось в душе Магазанника. Кажется, никогда и не видел этого лохматого, а внутри даже все колотится. Он вынул кошелек, неосторожно выронил из него царский десятирублевый червонец, торопливо спрятал его, а нищему бросил гривенник.

Какой-то захмелевший усач поднес лирнику чумацкую роговую чарку:

— Выпей, божий человек, за грешные души наши.

— Спаси, господи, люди твоя.— Лирник левой рукой обхватил чарку, перекрестил, и она затерялась в зарослях его взлохмаченных волос. И уже потом глянул на усача.— Помолимся со слезами, чтоб наш создатель грехи отпустил.

— Тату, а вы чего тут прикипели? — удивленно спросил у отца Степочка.— Вы же раньше на всех нищих и лирников собак напускали.

— Лета, Степочка, лета,— неопределенно ответил Магазанник и пошел между возами, все еще чувствуя на себе тяжелый взгляд лирника. И чего он уставился на него? Прямо какое-то дьявольское наваждение. А его догоняют обрывки псалма:

А минуло п'ять тисяч літ від початку світа,
як у полі цвіт зацвів та й згас — так минают літа...

— Как у вас, тату, с цибульниками? — почему-то радостно играет ресницами и синькой глаз Степочка.— Хорошо поярмарковали?

— Плоховато. А ты ж отчего, бездельник, развеселился? Малость где-то хлебнул?

— Угадали! Но никогда не угадаете, с кем,— засмеялось чадо.

— Говори уж.

— С будищанским батюшкой.

— С будищанским попом?! — не поверил лесник.— Да что ты мелешь? Или уже в голове как в мельнице?

— Истинную правду говорю,— самодовольно отвечает Степочка.— Слоняюсь я этак по ярмарке, к тому-сему прицениваюсь и вижу перед собой новенький подрясник отца Вениамина. И сразу же вспомнил будищанское кладбище. Вы же знаете, что оно все сплошь засажено яблонями, и не какими-то там дичками, а больше всего зимним ранетом. Вот поздоровался с батюшкой, да и спрашиваю, хорошо ли уродили на кладбище яблони? «Уже ветки гнутся,— говорит батюшка.— А зачем это тебе, чадо?» Отве-

чаю: «Да прикинул себе, нельзя ли у вас втихую взять кладбище в аренду?»

И не поверите — батюшка чуть было не подскочил от радости. Уже за чаркой я сообразил, что у него нет денег на ремонт церкви. По всему видать, обедняли будищанские прихожане, значит, недорого батюшка за кладбищенские яблоки запросит.

— О, ты, Степочка, прозорливым становишься! — расчувствовался отец.— А я и не додумался арендовать кладбище. Кладбищенское-то яблоко небось в полцены обойдется.

— Да известно, в полцены, а вы говорите, что у меня голова набита капустой.

— Чего не скажешь в гневе,— налег на крепкое плечо сына.— Спасибо, угодил. И жаль, что ты сразу не сторговал все кладбище. Приучайся к делу и копейке.

От поучений отца Степочка скривился. Нужно же так сказать: «Сторговал все кладбище»! Для чего ему кресты, могилы и вообче?

Нежданно-негаданно Магазанник увидел перед собой большеглазую, с тонким станом девушку, у которой на плечах лежал целый сноп пышных пшеничных волос. Степочка, поглядев на незнакомку, растерянно заиграл мельничками ресниц и потерял дар речи, да и сам лесник удивился: с какого же поля попало такое диво в ярмарочную суетню?

— Простите, вы не товарищ Магазанник? — пристально, словно читая его года, девушка всматривается фиалковыми глазами, в которых слились и доверие, и сполох, и вечерние чары.

— Ты угадала,— Магазанник пристально вглядывается в девичье личико, в нежно очерченный подбородок, длинные ресницы, только не может угадать, что таится за их просветами — целомудрие или тот соблазн, который топит мужчин: вот так, не спрашивая броду, да бултых в воду.— Тебе чего-то надо от меня? Может, леса на новую хату? — и многозначительно покосился на Степочку.

— Ой, нет,— смутилась девушка, и потемнела глубина ее очей. Кто постигнет ее и кто утонет в ней? — Мне надо ехать в Тарноруды, на работу.

— Ага, на работу,— закивал головой Магазанник, и так и сяк оглядывая девичью фигуру с головы до ног.— Мы тебя довезем до своего лесничества, а там уже рукой подать до Тарнорудов. Учительствовать едешь?

— Нет, агрономом,— со скрытой гордостью и даже с

удивлением сказала девушка. И для нее еще новостью звучало это слово.

— Агрономом?! — вытаращил на нее зеленовато-песчанистые глаза лесник.— Ты окончила техникум?

— Нет, институт.

— Аж институт!..— сначала не поверил, а потом даже вздохнул и глянул на Степочку, который стоял как столб.— Это так хорошо, с одной стороны, а с другой — никак не завидую тебе.

— Почему же? — удивилась девушка, качнулась, и качнулась на плечах ее пахучая пшеница.

— Об этом и говорить не хочется.— И на лицо Магазанника находит тень притворного сочувствия.

— Говорите! — тихо велела девушка, и даже в этом единственом слове угадывался характер.

Лесник оглянулся, наклонил голову к девушке:

— Тогда скажу по секрету: у нас не председатель колхоза, а какой-то аспид. Он, дьявол, не то что людей, сам себя закабалил работой. Вот навалит на девичьи плечи воловью ношу, и увянет твоя красота.

На доверчивое лицо девушки сразу легла тень, а в глазах появилась грусть.

— Но вы не очень унывайте,— наконец заговорил Степочка.— Хотя председатель у нас хлопотный, да люди не обидят вас, и вообче.— И так поглядел на отца, что тот сразу понял свое чадо.

— Что правда, то правда,— согласился Магазанник.— Да и село наше помаленьку выбивается в люди, за хлебом и к хлебу не едут теперь на базар. А как тебя звать-величать?

— Мирославой Григорьевной Сердюк.

— Так вот, Мирослава Григорьевна, долгие раздумья оставь на осенние ночи, а сейчас бери свои вещи да и поедем. Может, и наш хлеб не хуже вашего.

Мирослава притихла, качнула станом, потом решительно сказала:

— А может, казак не без доли, а девушка не без счастья? Я сейчас же приду. Где вы будете?

— Вон, видишь воз, крытый желтым лубом? Он медом пахнет. Это наш.

Девушка глянула на воз, на коней и метнулась от Магазанников, на ее плечах зашелестел сноп волос.

— Хоть серпом жни, как пшеницу,— сказал лесник и лукаво повел одной бровью.— Аргономша — это не учительница! Как она тебе?

— Славная. Вы же мне дайте немного денег,— и покосился на отца: что этот сквалыга наскребет ему?

— Деньги, красивая женщина да добрые кони — это смерть,— в раздумье сказал Магазанник, полез рукой в карман и глянул на ветряки, которые будто на цыпочки приподнимались, порываясь к небу. И в это время он плечами почувствовал на себе чей-то взгляд. Оглянувшись, увидел верзилу лирника, что уносил из ярмарочного столпотворения свои патлы и засаленные, крест-накрест повязанные торбы, в которых неволился святой хлеб. За облысевшими веками нищего клеймами круглились настороженные зенки.

«Чего тебе, здоровила? Чего ты высматриваешь своими буркалами — чью-то копейку или душу?» — и Магазанник повернулся спиной к лирнику.

А вот из ярмарочной толпы и девчонка появляется со свой ношей. И на каких дождях, и под какими звездами она росла, и, кому он повезет на своем возу эту синеокую судьбу? Эх, лета, лета, почему вы не возвращаетесь назад?.. Если бы в макитре Степочки было немного больше мозгов, то он мог бы вскружить голову агрономше, да, кажется, у него на ум недород. Правда, есть у хлопца и сила, и хитроватая изворотливость, но теперь всюду больше ума спрашивают, ибо... эпоха.

— Ты ж только не очень болтай при ней, больше глазами да ресницами пряди — эта работа всем девчатам нравится,— тихонько шепнул сыну, что уже позвякивал возле воза упряжью.

Степочка что-то буркнул и вперил взгляд в Мирославу.

— Вот и я,— доверчиво улыбнулась девушка.

— Садись назад, да не сломай насад [1],— пошутил лесник и хотел помочь ей взобраться на воз.

— Я сама,— мотнула легким платьицем и вмиг очутилась на возу, еще и ножки спустила с грядок — что значит крестьянское дитя!

Из ярмарочной сутолоки и разброда мимо ветряков выехали в розовое предвечернее солнечное марево, которое мягко дрожало над отяжелевшими нивами, что с пригорка на пригорок поднимали и поднимали полусон ржаных и пшеничных хоругвей. Вокруг стояла такая тишина, что слышен был золотой звон преджнивья.

Только тут, в степи, от Магазанника отвязались чужие глаза, и он с облегчением сказал себе:

---

[1] Насад — часть телеги.

— Поле ж как тихое море! — и подобрели его глаза, что тоже понимали не только силу, но и красоту нивы.

Да вот сзади послышался топот коней. Отец и сын одновременно повернули головы.

— Кажется, сам товарищ Ступач тянется рысцой? — и Магазанник придержал коней.

— Он и есть,— подтвердил Степочка, на его и на отцовском лицах сразу же заиграли сначала хитроватые, а потом и угодливые улыбки.

Это насторожило Мирославу: перед кем они так рассыпаются?

Бричка поравнялась с возом. Магазанники предупредительно подняли вверх картузы.

— Доброго здоровья, Прокоп Иванович! Доброго здоровья!

На самоуверенном лице Ступача шевельнулась доброжелательная улыбка.

— Что, купцы из Бара,— ни денег, ни товара?

— Вот и не угадали, Прокоп Иванович! — Лесник весело взглянул на Мирославу.— Видите, какой красный товар везем с базара?! Одна коса стоит вола, а бровям и цены нет! Агрономом будет у нас. А вы ж, если не секрет, куда? В Тарноруды?

— В Тарноруды.

Магазанник сочувственно вздохнул:

— Ох, и не сладко вам с нашим правителем, с Бондаренко, значит.

Ступач сразу помрачнел, а лесник мягко-мягко заговорил:

— Может, Прокоп Иванович, по дороге завернете и до нашей хаты? Она вас уже с весны ждет. А теперь как раз время поужинать. Прямо в березнячке сядем, где сейчас молоденьких бабочек — хоть пруд пруди.

— Что ж кроме бабочек ждет нас в березняке? — заколебался Ступач.

— Да найдем чем попотчевать дорогого гостя, голодным и трезвым от нас не уедете. В печи стоят душеники и чумацкая, с грибами да с мятой, каша.

— Каша с грибами и мятой? — удивился Ступач.— О приправе такой даже не слыхал.

— А у нас и попробуете. Да и к каше что-нибудь найдется натуральное, лесное, какого в ресторациях и за чистое золото не получите. И печеной совой я вас еще не угощал.

— Совой? — удивленно скривился Ступач.

— Вы не кривитесь: такой вкуснятиной когда-то английские лорды не брезговали. Так приезжайте послезавтра — не пожалеете.

— Соблазняете вы меня.

— Не соблазняем, Прокоп Иванович, а уважаем как неутомимого деятеля, справедливца и человека. Осчастливьте наше жилище. Может, и мы умнее станем.

— Ох, и льстец вы, Семен, прямо лиса корсак! [1] — подобрел Ступач.

Магазанник не обиделся, пустил угодливую улыбку по усам.

— Если такое говорите даже вы, то я молчу, ибо вам виднее. Так вы на бричке — вперед-вперед, а мы возом — за вами да за вами, да под вашим руководством. Правда, девонька? — повел бровью на Мирославу, и у той погасла настороженность к сладкоречивой лисе: шутит же человек.

А человек, еще не скрыв улыбки, уже прикидывает, что он поставит на стол, какого ежа против Бондаренко подкатит за столом, да что положит в бричку, чтобы этого не видел, но все-таки увидел Ступач, ибо жизнь — эта та лестница, по которой можно и вверх до ворот рая вскарабкаться, но можно со ступенек слететь и в тартарары. Вот сковырнет Ступач Данила, тогда и увидим, кто вынырнет на председателя! Как его руке, что сейчас кнутом стегает лошадей, нужна печатка! Правда, он и теперь живет как у бога за пазухой, но с печаткой была бы иная коммерция.

На какую-то минуту Магазанник погрузился в марево надежд, да неожиданно глянули на него зенки ярмарочного нищего, и под сердце коварно подступил холод. Что же это?.. Ага, это из небытия прорвалась, словно открылась рана, тревога прошлых лет. Откуда взялась она и на какие ярмарки податься с нею?..

Лесник невольно вздохнул, чем немало удивил Степочку, который и так и этак играл мельничками ресниц перед девушкой, а она только присматривалась к предвечерним нивам, что с пригорка на пригорок поднимали полусон ржаных и пшеничных хоругвей. Ох, не под этими хоругвями испакостил он свою молодость! Теперь втихую езжай с ярмарки и не рассчитывай на те времена, что не для тебя приходят. Из них можешь ты урвать червонец, да вряд ли вырвешь что-то большее.

Над дальним полем взошла вечерняя звезда.

---

[1] Лиса корсак — степная лисица.

«Как золотая печатка»,— грустно подумал Магазанник и упустил ее из виду, а вместо нее снова увидел зловещие клейма лирника. И почему-то страшным стал для него этот вечер, и он сам себе показался согбенным призраком, что в сумерках возвращается с ярмарки.

Тьфу! Зачем, на кой черт, как ворон, накликает на себя беду? Вот доедет домой и сразу же утопит тревогу в чарке, а потом возьмет лопату и пойдет на тот курган, где Лаврин раскопал золотые украшения. Не только же гробовщика могила кормит. Он уже и сейчас бы отправился на поиски золота, даже пожалел, что пригласил Ступача на кашу с грибами.

Воспоминание о грибах неожиданно пронзило мозг: почему-то вдруг всплыл в памяти дурной полугрех, что едва не стал грехом. Лет десять тому назад, когда бумажные деньги шли наравне с золотыми, его бессовестно обжулил продавец Влас Кундрик. И тогда Магазанник приготовил ему красных паутинников — тех потаенных осенних грибов, которые убивают человека не сразу, а на десятый — двенадцатый день. Уже на столе стояло адское угощение, да в последнюю минуту передумал лесник травить продавца. Когда это было, а и сейчас жутко становится. Ох, уж эта осенняя воронья стая воспоминаний! Видно, жизнь его пошла с ярмарки, если все чаще под сердцем ёкает и давит страх...

IX

Пестрые вечерние краски легли на приселок, и в лунном сне притихли обезлюдевшие сенокосы, нивы и белые облака за нивами. А Оксана, словно лунатичка, все бродила то по огороду, то по двору. Что-то беспокоило ее нынче, почему-то щемила печаль в душе, а думы все роились и роились в голове. Вот снова, неизвестно зачем, бредет на огород, останавливается перед клочком росистого ячменя, пламенеющего огоньками красного мака. Это ж из того ячменя, что в давнюю страшную ночь принес со своей кровью Стах. Она потянулась рукой к лепесткам мака, но испуганно отшатнулась: почему-то ей померещилось — это не мак, а Стахова кровь, что стала маком. Глупая же она, глупая...

А где теперь Стах, что так любил ее? И вызывал этой любовью только сочувствие и печаль, потому что в такое время пришел к ней. И где те леса, и где те дороги, по

которым придет он? И когда бы ни пришел, и каким бы ни пришел, она будет его ждать, она будет сеять его ячмень, в нем будет видеть Стаха, в подсолнечниках — Ярослава. Вот такая женская судьба. Еще девушкой, а потом молодицей думалось, что всю жизнь, как один день, проживет со своим суженым. Ей страшно было даже подумать о тех вертихвостках, которые разменивались, бросали взгляды еще на кого-нибудь, кроме мужа, которые растранжиривали любовь на разные соблазны и заигрывания. Она и за жен их не считала, обходила десятой дорогой, чтобы не замараться бесчестьем...

На татарском броде неожиданно послышался всплеск весла, потом отозвался счастливый девичий смех: наверное, влюбленные молодята встречают свою ночку, как и она когда-то с Ярославом встречала. И что эта любовь? Сон, или полусон, или сон-вода? И уходит она быстро, как вешние воды.

Над бродом тихонько-тихонько встрепенулась песня:

Ой чи цвіт, чи не цвіт
Калиноньку ломить,
Ой чи сон, чи не сон
Головоньку клонить.

И она когда-то во сне или не во сне склоняла голову суженому на грудь, а Стаху уже склоняла из жалости к нему, да он, наверное, не догадывался об этом. А как к нему потянулись дети! Вот только жаль, что не повел их к той черешне, которая родит гроздья ягод. Миколка и до сих пор вспоминает о ней.

Снова всплеснуло весло, и аистиха на хате всхлипнула сквозь сон, как всхлипывает дитя. Всхлипывание подруги, верно, разбудило и аиста, который, укладываясь спать, всегда прячет голову под крыло. «Это он боится насморка»,— подсмеивался Владимир.

Вот аист потянулся, заклекотал — что-то забеспокоило его.

Оксана тропинкой подошла к воротцам, которые вели из огорода в садочек. Эти воротца не будут открываться до самой осени, потому что по ним поползли плети тыкв: появилась над землей завязь, так не надо тревожить ее.

Аист снова заклекотал и встрепенул крыльями. Кого же он увидел? Вдруг тихонько-тихонько скрипнули ворота с улицы и кто-то вошел на ее подворье. Злой человек? Но что у нее красть? Разве что одну душу? Так и ее успели разворовать. А неизвестный вошел в тень, потом появился

перед дверью, поднял руку, чтобы постучать, но не постучал, вдоль завалинки дошел до бокового окна, сел на завалинку и провел ладонью по лбу, как это делают люди после тяжелой работы. Что-то скорбное было и в движениях и во всей фигуре неизвестного.

«Да это же он! Он! — вскрикнула в душе, застыла и почувствовала в себе такую слабость, что должна была ухватиться за воротца, за плети, чтобы не упасть.— Почему же он так устало сидит на завалинке? Почему не идет в хату? А может, это и не Стах?» Все так же держась за воротца и шершавые прохладные плети тыкв, она то ли спросила, то ли позвала:

— Сташе?!

Человек вздрогнул от неожиданности, поднялся, пошел, а затем побежал, отбрасывая от лица шелест вишен и лунную дремоту на них. Вот и приближается он из синей ночи, из лунной дремоты, или из метели, или из прошлого, приближается его изумление, его печаль, его радость.

— Оксана... Оксаночка!

— Сташе... Пришел?

— Пришел,— и через воротца обхватил ее руками.— Оксана!

И она впервые увидела его слезы. Их не выжал из него даже приговор, а выжала любовь к ней. Теперь Оксана почувствовала, что в ней заговорила не только женская жалость.

— Пришел? Милый...— впервые сказала ему это слово.

— Спасибо, Оксаночка,— у Стаха задрожали губы. Выходит, он догадался, что сейчас происходит с ней, выходит, он знал, что раньше у нее не было любви к нему.— А я думал, ты уже забыла меня.

— Что ты, Сташе! — и она, как могла, через воротца обвилась вокруг него.

Стах легко поднял Оксану над воротцами, прижал ее, целуя брови, губы, глаза.

— Сташе, разве так можно? — забилась на его сильных руках.

— Почему же нельзя?

— Еще кто-нибудь увидит.

— И пусть видят.

— А если сглазит? — уже лукавит от радости и удивляется своему лукавству: разве оно было еще какую-то минуту тому назад?

Стах осторожно опускает ее на землю.

— Как же ты, Оксаночка? Как дети?

— Все мы очень соскучились по тебе. Все! А Миколка и сегодня вспоминал тебя и твою черешню.

— Завтра же пойдем к ней.

— И ты, Сташе, насовсем? — прорвалась тревога у нее.

— Насовсем,— успокаивающе положил ей большие руки на плечи.— Ты ведь знаешь, я семижильный. Работал в тех лесах за троих. Да и вина моя не такая уж, как Ступач расписал. Пересмотрели дело и отпустили к тебе, к детям. Вот и снова мы встретимся со Ступачом,— злость погасила радость на лице человека.

— Сташе, не думай о нем!

— А почему же я не должен думать о тех, которые плодят нам горе? Разве его для этого учили по институтам и держат на должности?

— Брось о нем! — прижалась она к мужу.

— Бросаю.— Стах полез правой рукой во внутренний карман пиджака.— Вот тебе коралловые бусы, не очень дорогие, да и не дешевые,— обвил шею подарком.— Думал, если забыла меня, брошу их в татарский брод.

— Ой, дурной ты, Сташе,— засмеялась и притихла, ощущая на себе его подарок, его руки, его ожидание, любовь.

Потом, впитывая одеждой запахи купальского огорода, они подошли к клочку ячменя, который просвечивался нежными огоньками мака.

— Вот тут изо дня в день вспоминала тебя.

— Неужели каждый день? — не поверил Стах, а глаза аж засияли.

— Вспоминала и звала.

— Вот я и возвратился на твой зов.— Погрузил руки в ячмень, а тот сладко защекотал их зрелым усом.— Говори же, Оксана, говори.

— Что же тебе говорить?

— Что хочешь, лишь бы голос твой слышать,— и наклонился к ее плечу.— Соскучилась хоть немножко?

— Ох, и неразумный ты,— вплела руку в его чуб, тронутый за эти годы вечной изморозью.

— Какой уж есть. Говори что-нибудь, Оксанка,— касается руками ее косы, плеч, стана.

— Устал с дороги? Есть хочешь?

— И не спрашивай.

— Я сейчас нарою картофеля, ты же сорви свежих огурцов, а соленые в хате есть. Только плети не вытопчи...

Стах радостно засмеялся, поцеловал ее.

— Хозяюшка моя...

Оксана нагнулась и прямо пальцами стала подкапывать для него картофель. Стах сверху смотрел на жену, на ее пальцы, что начали чернеть от влажной земли, на картофель, который и при луне краснел, и ощутил радостную взволнованность в сердце — оно освобождалось и освобождалось от разной мути и копоти. «Когда у мужа есть верная жена, то это уже вон какое счастье». Оксана собрала картофель в подол юбки, и теперь босые ноги женщины до колен увлажнились росой.

— Какие у тебя красивые ножки...

— Иди лучше нарви огурцов.

Стах на ощупь нашел огурец, оторвал от плети, понюхал его и потянулся глазами к Оксане, к клочку ячменя за ее спиной, к конопле, к подсолнухам и к выбеленным луной облакам, что прижимались к земле.

— Хорошо же у нас. И только такой дурень, как Ступач, мог подумать, что я люблю эту землю меньше, чем он.

— Он и людей, и землю судит да все ищет кому-нибудь беды, пока себе не найдет,— вздохнула Оксана.— Пойдем же в хату.

В комнатушке, где летом было прохладнее, спали дети. Стах склонился над ними, потрогал большой рукой, от которой и до сих пор пахло лесами.

— Как выросли они! А Миколка в кудри целую охапку солнца захватил.— И прикоснулся губами к младшему, потом к старшему.

А Оксана и улыбнулась, и вздохнула.

— Слушаются ли тебя?

— Слушаются, помогают. Пойдем. Надо мужу вечерю готовить.

В хате Стах обнял жену, привлек ее к себе.

— Даже не верится, что я с тобой! — склонился к груди, к ее сну и ожиданию.

— Со мной, муженек,— и Оксана подняла на него ресницы, освещенные поздней луной.

И только теперь Стах поверил, что он дома... что его ждали... В немой благодарности он положил голову на плечо жены и замер, прислушиваясь к какому-то диву, прислушиваясь к ней и ко всему миру, и казалось, что, покачиваясь, куда-то плыл с двумя своими детьми.

На другой день Стах с Миколкой и Владимиром пошли в лес. Там они нашли ту черешню, где ягоды гроздьями усеяли ветви. Стах усадил на них детей, а сам лег на спи-

ну, головой в шапку чебреца. Целительное зелье пощипывало ему затылок, обдавало густыми душистыми волнами. Белым облаком, солнечным лучом и переливами иволги текло здесь время, и добрый покой входил в каждую кровинку человека. Но на другой день он расплескал его.

Затемно, когда Оксана еще отдыхала, он вышел во двор, прошел огородом к своим красным макам в ячмене, а потом собрался на рыбалку. Недалеко от берега вспугнул хохлатенькую чайку, она взлетела с купины и зафурчала крыльями. Это характерное фурчанье отозвалось в сердце Стаха далеким детством. Он долго-долго следил за неровным, волнистым летом птицы, прислушивался к фурчанию ее крыльев и печальному стону: «Чьи вы? Чьи вы?»

«Своей матери дети»,— ответил мысленно, а когда чайка упала в траву, стащил с берега лодку, нашел свое старое место на воде, что проросло зелеными сердцевидными листьями кувшинок, стал на якорь да и прикипел к двум поплавкам, но видел не так их, как Оксану. Вдруг через какое-то время он услыхал ненавистный голос:

— Доброе утро, Сташе.— На берегу с ружьем за плечами стоял Семен Магазанник и простодушно улыбался.

— Доброе утро,— тихо ответил Стах.

— Клюет?

— Понемногу клюет.

— И что поймал?

— С полдесятка линьков.

— Линьков? Это рыба! Может, продашь?

— А почему же, могу и продать,— не поднимал глаз от воды, на которую легла тень лесника.— Подъезжайте.

Магазанник нашел непривязанную лодку, положил в нее ружье и руками начал грести к Стаху. Вот и коснулись лодки друг друга.

— А ты не изменился, Сташе! — слащаво-приветливо улыбается Магазанник, и все его лицо источает радость: — Приятно, что человек возвратился с дальних дорог. Где же твои линьки?

— Линьки? Сейчас покажу.— Стах поднял свою мускулистую руку, но протянул ее не к торбе с рыбой, а к груди Магазанника.

— Что ты делаешь?! — вскрикнул лесник.

Стах сжал сорочку на его груди, рванул к себе лесника и силой окунул в воду, а потом снова подтянул к себе.

— Утопишь, ирод! — отчаянно закричал Магазанник.

— Не утоплю,— успокоил его Стах.— Это ты меня топил, а я тебя купаю.

X

Стемнело. Заснула волна над бродом, заснул и приселок у брода. А к нему никак не дотянет своей пряжи мохнатый, так напоминающий детство сон: перед жатвой он всегда только крадется за Данилом, а если и прихватит его, то лишь на какой-то часок. Преджнивье!

Это та пора, когда в сердце крестьянина сходятся радости и тревоги хлеба, а между ними снуют и снуют древние, верно еще с языческого века прихваченные, хлеборобские печали. Жаль было сизого и золотого колоса, что накачался, нашелестелся, напелся за лето в поле и уже завтра, вздыхая, упадет на землю, поедет к добрым людям, ляжет теплым хлебом на стол.

Перед колосом, перед царь-колосом, Данило испытывал постоянный трепет души, ждал встречи с ним еще тогда, когда он только угадывался в зеленых весенних пеленках, любовался, как на его по-девичьи нежных ресницах тихо дрожали цвет и роса, радовался, когда он набирал силу и в тиховейном раздумье склонял голову. И сколько Данило ни смотрел на это чудо, что из года в год будто повторялось,— насмотреться не мог, и даже синие васильки, казалось ему, росли потому, что столько глаз любовалось колосом.

А теперь, в эту лунную ночь, он прощался с ним, потому что иначе не мог. И была грусть, и была радость от этого прощания. Вот и перелистало время еще один год. Как прожит он среди людей и с людьми? Нелегко: в разумных и пустых хлопотах, в неусыпном труде, в исканиях, в надеждах да в спорах с некоторыми, что научились примитивизмом вытаптывать и хлеб, и человеческое достоинство, да еще и прикрывать это вытаптывание пустозвонством и однодневными идеями. Спасибо газетчикам, что защитили его урожай и его самого. Но эта защита породила и зависть.

— Что-то много о тебе в газете начали писать,— уел его Ступач.

— Не так обо мне, как о земле, об урожае, который вырастили люди вопреки тому графику, что доводил вас до судороги.

Ступач тогда сразу вскипел:

— Побыл бы ты, умник, на моем месте, и тебя бы свели судороги!

— Тогда лучше вы побудьте на моем, более спокойном месте.

Но на его место Ступач никогда не позарится: он свое честолюбие не наклонит к земле, а пронесет через все служебные ступеньки, чтобы подняться, взлететь вверх. Ступач понимал, что Данило раскусил его, и потому еще больше невзлюбил норовистого председателя. Но Данило равнодушен к его нелюбви, только не равнодушен к его канцелярской ретивости и самоуверенности: есть же такие счастливые люди, что никогда не сомневаются в себе. Да, это счастливые люди для себя, но — несчастье для других...

Данило тихо входит в накупанный и убаюканный луной приселок, что словно сошел с картины или вышел из синего сна или из татарского брода. То град Китеж погрузился в воду, а наш приселок вышел из воды, да и купает в ней тени хат и аистов. И не колокола звонят над ним, а луна пригоршнями рассеивает свое зерно... Как хорошо, что и мы теперь будем с хлебом: уродило же в этом году. Уродило! А на следующий год уродит еще больше, потому что люди уже не слепо верят в силу зерна, поднимают его не только заботой души, но и разумом науки. Вскоре и агронома должны к ним прислать. Лишь бы он походил на Максима Диденко, неутомимого практика, мечтающего вывести такую пшеницу, которая не будет бояться ни мороза, ни полегания, ни болезней.

Давно он, Данило, не видел ни Максима Петровича, ни Терентия Ивановича с его вербой, мимо которой никогда спокойно не пройдешь. После жатвы непременно поедет к ним.

На Оксаниной хате его шаги услыхал аист, вытянулся и клацнул своими кастаньетами. Это самый чуткий и спокойный аист в приселке, он дружит с Оксаниными детьми и пастухами, даже иногда заглядывает в их торбочки: а что там вкусного?

— Лелеко, лелеко, до осени далеко? — всегда радостно спрашивают аиста мальчуганы.

Аист важно шагнет на своих ходулях и закивает клювом: мол, недалеко.

Уже выходя из теней и света приселка, Данило неожиданно услыхал:

— Добрый вечер, Данилко!

Он оглянулся. Опираясь обеими руками на ворота, ему дружески улыбалась Олена Гримич, которая теперь всегда ворожит возле подсолнухов и пахнет ими.

— Доброго здоровья, Олена Петровна.— Данило подошел к воротам, над которыми кронами сошлись черешни.

Со двора резко потянуло маттиолой, этим неприметным зельем, в котором есть то ли вдовья, то ли предосенняя грусть.— Почему не отдыхаете?

— Да жду и Яринку, и хлопцев, и своего непутевого с луга,— улыбнулась Олена Петровна, и даже в шутливом «непутевом» звучала любовь.— Уже и вечеря перестояла, а их нет: Яринка, видать, на драмкружок побежала, хлопцы — на гулянку или в ночное, а старик где-то последнюю скирду вывершивает. Они же у него такие красивые выходят,— улыбнулась и вздохнула: — Боюсь я за свою Яринку, ох, как боюсь.

— И почему? — удивился Данило.— Она же у вас красивая, как весна, а отчаянная, как метелица.

— Вот и боюсь за эту метелицу, чтобы не очень завихрилось у нее в голове. А у кого ж больше всего вихрится, как не у девчат на выданье? Это же, когда было у нас из Киева кино, заставили ее играть. И кого бы вы думали? Сельскую шинкарку. Подмалевали ее, сделали брови в четверть аршина, прицепили вот такие ресницы и сняли это безобразие. А теперь вот пришло письмо из кино, что снова хотят на какую-то роль взять. Наверное, не хватило у них шинкарки. Так как на это матери смотреть? А ты чего же не спишь?

— Такая пора — преджнивье.

— Что значит молодые лета. И мне когда-то не спалось, в девичьи годы, а еще как назвал меня мой непутевый самой красивой, то и совсем потеряла голову. Бывало, мать так уж следит за мной, да все равно увернешься и до самого рассвета туманишься со своим туманом.— Женщина прищурилась, поглядела вдаль, туда, куда ушли молодые годы или откуда должен прийти муж. И от всей ее фигуры, прислонившейся к воротам, от ее уст, на которых была улыбка, от ее чистой сорочки с барвинком на груди веяло той женской прелестью, без которой оскудел бы этот мир и душевность в нем.

От брода послышался конский топот: кто-то стремглав мчался по приселку, поднимая над ним тучу пыли.

— Посторонись, Данилко! Это мои оглашенные летят.

Тетка Олена быстро метнулась от ворот под защиту черешни, а на улице появились два всадника. Вот они повернули коней, и те — один за другим — птицами перелетели ворота, промчали двором да и свернули к дверям жилища.

— Шальные! — прикрикнула на детей тетка Олена.— Хату развалите!

«Шальные» весело рассмеялись, соскочили на землю, подбежали к матери, один поцеловал ее в одну щеку, другой в другую.

— Вот мы и здесь.— И снова смеются.

— Вишь как задабривают,— глянула женщина на Данила.

— О, Данило Максимович! — одновременно вытянулись статные веселогубые близнецы и, здороваясь, тряхнули огнистыми чубами.— А мы и не видели вас.

— Где уж увидеть кого вертопрахам, когда непременно надо им или через речку, или через ворота перескочить. А то бывает и так: вечеряем со стариком, а они подкрадутся, и один конь всовывает голову в одно окно, а второй — в другое.

Близнецы захохотали:

— Разве у вас был урон от этого?

— Только один раз Воронец опрокинул кувшин с молоком.

— Еще и гогочут! — И Олена обратилась к Данилу: — Все им то червонное казачество, то партизанская тачанка снятся. Идите уж вечерять.

— Так мы сейчас! — и, поклонившись Данилу, близнецы метнулись к хате.

— Как вы их отличаете друг от друга? — удивляется Данило.— Я никак не могу угадать, где Василь, а где Роман.

— Я-то отличаю, а вот Лаврин иногда ошибается. Да чего же они походят друг на друга и красой, и характером! — Тут конь подошел к женщине, подергал за рукав губами.— Вишь какой доверчивый. Это тот, что молоко разлил. А уж глаза умные, будто у человека. О, войско идет, хоругви развеваются! — Тетка Олена руками и всем телом потянулась к улице, голос ее стал глубже, а под ресницами встрепенулись и загадочность, и женское превосходство. Вот и разберись, что оно и к чему.

Посреди улицы появилась журавлиная фигура с длинными вилами и граблями за плечами. Это снаряжение теперь и в самом деле чем-то напоминает Данилу хоругвь.

— Что это ты, муженек, так припозднился? — деланно выговаривает Олена.

— Хотел, чтобы кто-то выглядывал меня у ворот, вот и медлил,— весело говорит дядько Лаврин. На его тонком загорелом лице свисают продолговатые перчины усов, которые за полверсты пахнут свирепым табаком: как только его терпит жена? — Здравствуйте, Данило Максимович!

— Я его Данилкой зову, а ты...

— Вам, женщинам, больше дано воли на нашего брата,— насмешливо отвечает муж, снимает с плеча свое снаряжение и ставит по другую сторону ворот.— Дети уже, вижу, дома?

— Примчались на минуту. Как оглашенные. Ладные стога сметал?

— Славные. Вот и миновала косовица, наступает жатва. А сено в этом году пахучее, словно приворотное зелье, дыши не надышишься. Людям перепадет что-нибудь? — поворачивает обветренное лицо к председателю.

— Людям будет отава.

— Вся? — не поверил наилучший стогометатель.

— Считайте, вся, кроме Кругликова урочища.

Лаврин улыбнулся, и на щеках его зашевелились гроздья веснушек.

— А что на это скажет товарищ Ступач? Он же боится, как бы хлебороб не разжился хлебом, ложкой молока или копейкой. Вот кто был бы у пана старательным экономом.

— Только бы это,— вздохнула Олена Петровна и ответила на немой вопрос мужа: — Страшно, когда человек ждет чьей-то ошибки, как ворон крови, и наконец сам становится вороном.

— Вот это влепила характеристику,— удивился и погрустнел дядько Лаврин.

Погрустнел и Данило, потому что и вправду Ступач нетерпеливо выжидал его ошибок, да и без них клевал, словно ястреб. Что-то и в фигуре его напоминало хищную птицу.

— Не будем против ночи вспоминать Ступача, а то еще во сне приснится, будь он неладен,— наконец откликнулась Олена Петровна.— Лучше пойдемте в хату, повечеряем.

— И жена может путное слово сказать. Что у тебя есть?

— Свежая картошечка с сомом и подосиновиками.

Данило удивился:

— Так рано подосиновики появились?

— После дождя. И где? Не в осиннике, а под грабами. Такие краснюки! А сома ночью мой Лаврин поймал на целого рака. Муж мой нюхом чует, где есть рыба. А вот охотник из него никудышный. Или порох теперь не тот?

— Начала свое,— Лаврин виновато пустил улыбку в золотые усы.

— И начну, и докажу,— не успокаивается жена: так ей хочется подкинуть колкое словцо.— Как-то в сердцах бросила ему: «Хоть бы ты одного зайца убил». А мой идол и отвечает: «Так я одного сонного ушастого до смерти напугал не выстрелом, а голосом».

— Хорошо спал себе зайчик,— снова усмехнулся Лаврин.

— Так пойдемте в хату.

— Спасибо, Олена Петровна! Я уже вечерял на ветряке.

— От сома и подосиновиков грех отказываться,— стал настаивать дядько Лаврин.

А когда Данило начал отнекиваться, тетка Олена остановила мужа:

— И не проси, муженек. Разве ж не видно, что Данилку кто-то так выглядывает в ночи, как я тебя когда-то выглядывала.

Дядько Лаврин пренебрежительно махнул рукой:

— У женщин всегда в голове крутится то колесо, что из одних выглядываний, встреч да любви... Вот и моя — за подсолнухами присматривает, а сама все в романы про любовь глядит. Иногда, ожидая меня, даже при луне листает их.

Лукавство появилось на устах Олены Петровны.

— Теперь так мало пишут про любовь, что уже и не знаешь, кто ее забыл, люди или писатели.

— Уже и до писателей добралась! — засмеялся муж, открыл калитку и плечом к плечу с женой пошел по просторному подворью, которое наполняли всплески татарского брода и вдовье смятение маттиолы. Вот кто за все годы даже не покосились друг на друга!

Из приселка Данило выходит в хлеба, которые завтра должны упасть к ногам людей, и снова печаль жита заползает в душу. Наверное, всю жизнь в нем будет и радость хлебов, и та печаль жита, которая перешла в него, может, от пращуров-полян. Суеверие это или ограниченность? Нет, не суеверие, не ограниченность, а святая привязанность к тому доброму злаку, к тому зерну, что дает людям силу и жизнь.

Уже медово загустело лунное марево, в ложбинке заученно отозвался коростель, и тишина над миром такая, что даже слышно, как ржаной колос говорит с колосом, как поводит скрипучим усом ячмень. Благословенна эта

тишина дозревания земли, дозревания надежд хлебороба. А ему так хотелось не зря прожить среди людей и для людей. Познав, что такое добро, он хотел его творить, не жалея себя. Есть кусок хлеба, кружка молока, кое-какая одежонка — и с него довольно. Вот только бы землю по-настоящему понять да не обидеть понапрасну человека. И все-таки Ступач олух. Как-то в перебранке насел на него: «Ты мне, парень, без юношеских фантазий и разного романтизма. Это в гражданскую войну было время романтики, когда полками и дивизиями командовали двадцатилетние смельчаки, а теперь настало время реализма, которое за фантазии обламывает крылья».

Конечно же бескрылый не родит крылатого, а укротить кого-нибудь может. Этот своей мелкотравчатостью обеднит и свою, и чью-то жизнь, пока не сгорбится да не уйдет на пенсию. Тьфу, снова всякая погань лезет в голову!

Неожиданно на узенькой дорожке, там, где сходились рожь с пшеницей, Данило увидел фигуру девушки. В лунном разливе она шла впереди, вот остановилась, нагнулась к колосьям, что-то поворожила и снова неторопливо пошла, покачивая тонким станом и волосами, покрывшими плечи.

Кто бы это мог быть? Полевая царевна, которую встретил когда-то Чипка[1] весной? Но прошло время полевых царевен. Вот снова остановилась, перебирает руками житечко. И не боязно одной ночью? Пошла потихоньку. И что-то привлекательное, прекрасное было в том, как она несла в лунном разливе тонкий стан и волосы. Уродились же они у нее.

Данило пошел быстрее, его шаги услыхала незнакомка, сторожко обернулась, остановилась, касаясь станом колосков. Настоящая полевая царевна с мягким сиянием в волосах, с настороженностью в межбровье и в глазах, над которыми дрожат длинные ресницы, отбрасывая на лицо тень. Такие же ресницы были и у его матери. Да мы както не замечаем этого, пока наши матери не покинут нас.

— Добрый вечер, дивчина. Ты не заблудилась в наших полях?

— Нет,— коротко ответила девушка и еще немного подалась к колосьям.

— Откуда же ты?

---

[1] Чипка — герой романа П. Мирного «Потерянная сила».

— Издалека,— пристально смотрит на него и гасит ресницами влажное лунное сияние.

— И это ответ,— Данило насмешливо кивнул головой.— Что же ты делаешь тут в потемках?

— Смотрю на ваши земли.

— Это уже интересно. И что же ты заметила?

— Очень хорошие у вас нивы, а луга уже похуже: и кротовые норы есть, и конский щавель разросся. Верно, соня ваш луговод или лентяй, не знаю, как вы его называете.

Данило удивился:

— Ты даже луга осматривала?

— Ага.

— Для чего же тебе эти смотрины?

Девушка помолчала, потом доверчиво взглянула на Данила:

— Прикидывала себе, оставаться здесь или ехать дальше. А вы кто будете?

— Я?.. Учитель.

— Вот хорошо,— почему-то обрадовалась девушка.— А вы не скажете, какой у вас председатель колхоза?

— Председатель как председатель,— неопределенно ответил Данило.

— Говорят, что он очень злой?

Данило смутился:

— Кто же сказал такое тебе?

— Люди.

— Те, что в поле работали?

— Нет, в дороге. Так очень он злой?

— Не очень, но рыба не без кости, а человек не без злости. Кто же ты будешь, что нашими полями заинтересовалась?

— Агроном. Я только окончила институт, и меня послали к вам. Но услыхала в дороге о злом председателе, и отпала охота оставаться тут. Я с детства боюсь злых людей.— И на лице девушки появилась та трогательная беспомощность, которую всегда мужчины хотят взять под защиту.— Что вы скажете на это?

Данило улыбнулся: ему понравилась девичья непосредственность, ее тревога, да и личиком, и станом девушка была как на картине. А какой сноп волос у нее! И вправду настоящая полевая царевна!

— Что же мне сказать молодому агроному? — наморщил лоб.— Ты сегодня вечером начала знакомиться с по-

лем, с лугом, завтра же познакомься с людьми, с председателем, так, может, послезавтра и прояснится в голове.

Девушка подумала, а потом оживилась:

— А и вправду, может, прояснится.

— Где же твои вещи?

— В лесу.

— В лесу? — не поверил Данило.

— Ага, у вашего лесника. Он меня подвозил из района.

«Так вон какие «люди» сделали меня очень злым».

— Наш лесник показался тебе добрым?

— Вроде ничего. Он все время заботился обо мне. Теперь мне надо идти туда на ночлег, но уже так поздно, не заметила, как и стемнело.

Данило подумал, что девушка, видно, из тех, которые увлекаются работой, и сказал:

— Ночлег тебе найдем в приселке, потому что в лес в такую пору небезопасно идти: еще волк встретится, и останемся мы без агрономии.

— А у вас есть волки?! — Тень испуга пробежала по девичьему лицу.

— И волки, и лисицы, и кабаны, и барсуки, и козочки, похожие на тебя. Как тебя зовут?

— Мирослава.

— Какое славное и необычное для нас имя. Я его только в произведениях Ивана Франко встречал, а теперь — на своем поле. Ну, как, Мирослава, в лес или в приселок?

— Наверное, в приселок. Он так хорошо и таинственно затерялся посреди ночи, и луна сверху, и вода снизу убаюкивают и убаюкивают его.

— Ты стихов не писала?

— Слушала, как музыку. А вы?

— Тоже люблю, словно музыку. Так пошли, а то люди всю ночь по кускам разберут.

— Так и моя мама когда-то говорила,— улыбнулась и сразу же помрачнела девушка.

«Наверное, сирота»,— подумал Данило, и ему захотелось чем-то помочь этой доверчивости, что только начинает раскрывать книгу жизни. «Чем она ляжет на ее хрупкие плечи?»

Они молча дошли до подворья Лаврина Гримича, Данило открыл калитку, пропустил вперед девушку, кивнул головой на хату:

— Тут вот и переночуешь.

— Неудобно так поздно беспокоить людей,— смутилась Мирослава.

— Они еще не спят, только подворье спит,— звякнул щеколдой Данило.

Вскоре из сеней отозвалась хозяйка:

— Кто там?

— Это я вам, Олена Петровна, привел гостью на грибы и сома. Не все съели?

— Найдется и для гостьи, и для тебя,— повеселел женский голос. Тут же тетка Олена встала на пороге, внимательно посмотрела на Мирославу, всплеснула полными руками.— Какую же хорошенькую высмотрел дивчину! Вот к кому ты спешил на ночь глядя.

— Да нет, я впервые вижу ее.

— Так я и поверю тебе!

— Правду говорю, тетушка. Это к нам прислали с такими косами агронома.

— Такая молоденькая — и уже агроном?! — снова всплеснула руками Олена Петровна.— Ты ж хоть этими пальчиками умеешь в земле копаться?

— Умею,— стыдливо улыбнулась девушка.— Я из хлеборобского рода.

— Тогда совсем хорошо. А жить, если захочешь, можешь у нас — занимай вторую половину хаты и живи, одна или с моей Яринкой. Все городские говорят, что у нас, над бродом, и красиво, и тихо. Картошка, хлеб и молоко есть, рыбы наловим, сала нажарим, а на разные там городские выдумки да марципаны не рассчитывай.

— Спасибо вам, Олена Петровна,— поблагодарил Данило и начал прощаться с Мирославой.— Не беспокойтесь, товарищ агроном, здесь о вас позаботятся как о своей.— Да и пошел, а из головы не выходили ее доверчивый взгляд, ее луной или солнцем накупанные волосы и то покачивание стана, что так хорошо вписывалось в эту ночь.

Идя за Оленой Петровной на другую половину хаты, Мирослава сказала:

— Видать, душевный у вас учитель.

— Какой учитель? — удивилась женщина.

— Вот этот, который привел меня к вам.

— Бог с тобой, девушка! Какой же это учитель, когда он председатель нашего колхоза? — удивилась, а потом рассмеялась Олена Петровна.

— Председатель?! — ошеломленно переспросила Мирослава и почувствовала, как на щеках вспыхнул румянец.— Вот это да!

— Выходит, пошутил?

— Бессовестный!..— невольно вырвалось у Мирославы.

Олена Петровна, скрестив руки на груди, покачала головой:

— Да нет, девушка, он очень совестливый, справедливый и к людям, и к хлебу святому. За это некоторые не любят его. Вот те уж бессовестные.

— Как пахнет у вас маттиола,— с путаницей в мыслях подошла к окну.

— А возле нее витает дух татарского зелья — это уже с брода. Тебе положить городской матрац или на лесном сене будешь спать? Никогда не будет так пахнуть сено, как пахнет в молодости.

— И в детстве тоже,— вздохнула девушка, прислушиваясь к броду.

На следующее утро смущенная Мирослава пришла к председателю в кабинет и стала на пороге.

«Словно судьба! — подумал Данило.— С какого ты поля, с каких ты чар?..»

— Оставайся, Мирослава, у нас,— попросил Данило.— Люди у нас добрые, и председатель не очень злой.

«Бессовестный»,— про себя, уже без осуждения, сказала девушка и подняла длинные неровные ресницы на «бессовестного».

Он дружелюбно посмотрел на нее и подумал: «Полевая царевна!» И снова увидел ее в полях.

А «полевая царевна», покачиваясь топольком, подошла к нему:

— Вам сейчас отдать документы?

— Зачем мне эти хлопоты, держи их при себе. А теперь можно поехать к леснику.

— Я бы сейчас лучше пошла на поля.— Мирослава бросила взгляд на невидимые еще поля и ласково улыбнулась им.

«Славная. Землю, верно, любит. А волосы пахнут маттиолой, зельецем грусти».

— Тогда я дам тебе, как в песне поется, сивого коня да черную бричку — и езжай на смотрины.

— А конь норовистый?

— Спокойный. Только не подставляй ему волосы — подумает, что пшеница.

Мирослава сжала припухшие губы, не зная, как ей быть: смолчать или что-то сказать с перцем?..

На рассвете следующего дня, когда она босиком вы-

шла на подворье, к которому с брода подплыл туман, с улицы окликнул веселый голос:

— Не спится — хлеб снится?

— Ой! — вздрогнула, растерялась девушка и сразу же поправила еще примятые волосы.— Куда это так рано?

— Лучше спроси, откуда? — Усмехается, подходит к воротам Данило и трет щеку, в которую впилось пчелиное жало.

— Скажите.

— С пасеки, что вывезли на гречиху.

— Так меду захотелось? — уела за вчерашнюю «пшеницу».

— Я до меда не очень-то охоч. Но вот уже третью ночь возимся возле ульев — постепенно поворачиваем летками на север. Днем это делать нельзя.

— Почему же на север? — удивилась Мирослава.

— Потому что теперь жара и не надо ею утомлять пчелу. В леток, повернутый на север, хорошо падает и утренняя, и вечерняя заря, и это продлевает медосбор. А весной или осенью мы ставим ульи летками на юг — тогда надо ловить солнце.

— Сколько света, столько дива. И это непременно надо делать председателю?

— А как же! Я, как гоголевский Рудый Панько, люблю пасеку и меньше ее посетителей — медоедов,— усмехнулся лукаво.— У Гримичей тебе хорошо?

— Хорошо. Тут смех всегда кружит по хате.

— А ласточкино гнездо над своим окном видела? — бросил взгляд под стреху.

— Нет.

— Хм.

— Это гнездо — этнографическая редкость?

— Ласточки летают — летается...— сказал загадочно.— Бывай здорова! — И пошел.

«Поехал Фома в Харьков. Что он за человек? А об летках надо подумать. Вот сейчас пойду к пасечнику, проверю контрольный улей». Снова поправила волосы, глянула на потрескавшийся комочек ласточкиного гнезда и пошла двором к татарскому броду.

За огородом из-за пушистых ресниц вербняка глянула сонным глазом копанка. Тонконогие незабудки сгоряча соскочили по колено в нее и испугались: а может, здесь так глубоко, что и голубые платочки утонут? Вверху просвистели крыльями чирки, в броде вскинулась рыба, потом шлепнуло весло, и утро начало раздвигать туман.

XI

Семена Магазанника разбудило предгрозье. Его теперь будят предгрозья и грозы: на землю они приносят дождь, а в его душу тревогу. О грехи наши, грехи... Где рассеять, где закопать вас?

Соскочив с широкой, еще барской, кровати, что была украшена деревянными лохматыми головами и потемневшими бронзовыми лапами зверей, лесник перекрестился на угол, из которого сам же повыносил почерневшие от времени иконы, засветил громовую свечку, которая зажигается в доме во время грозы, прилепил ее на уголок стола и только тогда поглядел в раскрытое окно. За окном черной испуганной громадой шевелилась и на кого-то гневалась расшумевшая, взбудораженная душа чернолесья, а над нею аж стонал в туче темно-сизый ливень или град. Только бы не град!..

Высоко вспыхнула надломленная молния, и гром, обрушиваясь, вогнал ее в леса. Но не эта и не вторая, а только четвертая молния бросила в холодный пот лесника: она была такой же змеевидной, как и тогда над татарским бродом. Ох, тот брод и синий, глубинный, словно из другого неба выхваченный корень грозы! И время не стирает вас из памяти...

Магазанник отвернулся от окна, протянул руки к огоньку свечи, что трепетал, словно скорбь.

— Исцели меня, господи, ибо встревожились кости мои и душа встревожилась моя!

Да, тревога, как ей только хотелось, ходила в нем: так ходит ревматизм по больным костям.

За окном резко, простуженно каркнул старый ворон, которому долгий век изменил голос и покалечил ноги. Ворон кособоко, шматком черного разодранного платка поднялся вровень с чернолесьем. И он отчего-то тревожился в предгрозье, по-змеиному шипел крыльями, покинув в гнезде свою притихшую пару.

Даже у старого ворона есть хоть какая-то пара, а у него, считай, запустением веет от жилья: не пришла сюда Оксана, не пришла и другая, вдовица из Литинецких Майданов, у которой была осанка королевы и брови, дочерна опаленные тем карим сиянием, что вспыхивало в ее то святых, то греховных очах. Ох, эти очи! Она тоже назвала его дядьком и в гневе, когда он начал домогаться любви, влепила противное словцо: «Скользкоокий!». И на богатство его не польстилась женская красота. Вот и доволь-

ствуйся тем, что воровски выхватишь в лесах у тех поденщиц, у которых грех не перебродил в покаяние.

Снова на просвеченных облаках зазмеились молнии, их мертвенно-голубоватый отсвет до самого потолка залил хату, перенес Магазанника в страшную ночь на татарском броде и в то далекое обманчивое время, когда он с весны 1918 года служил на Полтавщине в державной страже его светлости гетмана Скоропадского, по-глупому надеясь тогда, что гетман нарежет верным слугам земельки. Но гетман, словно вор, ночью тайком бросил на произвол судьбы своих защитников, а сам удрал на чужие хлеба в Берлин. Сам фон Гинденбург пожаловал ему имение, пожаловал и пенсию. А вспоминает ли его светлость о своих слугах — «экспедиторах», что отделяли мужицкие души от тела и под наскоро сбитыми виселицами намыливали петли серым солдатским мылом?

Если что и было красивого при гетмане, так это форма: короткие красные кожушки и черные смушковые шапки, на которых ветер колыхал длинные красные шлыки. Он и до сих пор слышит это колыханье, только тогда оно шелестело, как бархат на плечах, а теперь при одном воспоминании шипит, как гадина... Ох, те петли, намыленные серым солдатским мылом, да вытянутые шеи под ними, да между небом и землей молодые с ветром чубы... Сгиньте, разлетитесь на четыре стороны! Он ведь сам никогда не вешал. К этому были способности и страсть у бывшего гласного губернской земской управы Оникия Безбородько, который кичился своими родовыми поместьями, знатным родом и горделивой осанкой.

При царе он мечтал о камергерских штанах и всюду ратовал за «единую неделимую». Во времена Центральной рады Безбородько вдруг перешерстился и уже венцом государственного устройства считал федерацию, отстаивал дробление Украины на самостийные края по образцу швейцарских кантонов, потому что так легче было ему самому стать видным правителем. А когда Берлин сделал гетманом Украины царского генерала Скоропадского, «строитель государства» Безбородько, не приходя в себя от радости, что наконец дождались гетманской хоругви, булавы и бунчука, начал писать гетманские законы на мужицких спинах и вешать бунтарей. «Смертоубийство при гетмане не грех, а честь»,— поучал отпрыск знатного рода. И даже перед виселицами он щеголял в кармазиновом жупане, который сверкал откидными рукавами, и с музейной саблей, украшенной серебром и фальшивым

золотом. Единственно, что тогда не нравилось Безбородько, так это официальный титул гетмана: для чего писать «его светлость», когда есть вековечное — «его ясновельможность»?.. Все же, верно, кто-то укусил гетмана: «Из такой персоны портной может выкроить что угодно, даже черта...»

«С чего это я о нем? — И передернул плечами, словно в них клеймами впивались буркалы ярмарочного нищего.— Сгиньте, паскудные».

По крыше нестерпимо, как выстрелы, застучала первая дробь града, но скоро он утих: туча подумала-подумала о чем-то, да и понесла свои торбы стороной, и в них стали замирать грозы. На подворье, шурша сохлым крылом, начал падать хромой ворон. Вот он коснулся земли и боком запетлял к корытцам, из которых ели куры. Когда-то он рвал на куски курятину, а теперь крадет куриные объедки.

Отгоняя призраки прошлого, Магазанник задул свечу и зашаркал постолами на другую половину хаты, где, разбросавшись, отлеживался его крепкотелый взлохмаченный волокита. Ох, и охочий он у него до девчат, а до работы ленивый, как церковные ворота. Из-за лени уже из второй конторы выгоняют лодыря, а он и за ухом не чешет: днем, бездельничая, лясы точит с поденщицами, а вечером бежит на село, к девчатам. И всю свою изворотливость убивает на ухаживания, а кто же должен думать о выдвижении? Правда, молодой хмель должен перебродить, но что из этого брожения получится?

Услыхав скрип дверей, Степочка с трудом продрал глаза, потом сделал кислое выражение лица и зашелестел желтыми мельничками ресниц. «Вот старый лунатик. И сам не спит, толчется, словно бес в лотоках, и другому не дает».

— Вставай, вставай, дремала. Хватит терять время: время делает деньги, а погода — сено.

— К чему такая спешка? — спросонья ворчит Степочка.— Еще и черти на кулачках не бились.

— А ты в пекле слонялся, что такое городишь? — не сердится отец.— Вставай, хватит в постели валяться, не улеживайся, как гнилушка.

— Кто лежит, тот не упадет.— Лентяй открывает под ресницами недовольную жидковатую синьку, пятерней поправляет взлохмаченный чуб.— Чего вам?

— Медосбор ждет нас. Будем из дуплянок соты подрезать.

— Снова придется пчел выкуривать серой? — чертом скривился Степочка и кашлянул, словно уже давился бесовским смрадом серы.

Но отец не рассердился, а спокойно сказал:

— Попробуем выгнать пчел в ройницы. Вот перекусим зайчатиной — да и к сладкой работе.

— Зайчатина с начинкой? — оживился Степочка, который никогда не жаловался на аппетит.

— Как всегда. Василина с вечера готовила, а она ведь так готовит — пальчики оближешь.

Чадо вспомнило пышнотелую вдовицу, которую женщины за глаза прозвали бесстыжей, чижиковато глянуло на отца, хмыкнуло что-то себе под нос и с неохотой начало выползать из складок широкого, чуть ли не задаром выменянного одеяла.

— Зайчатина так зайчатина.

И хватал же он эту зайчатину, как в мешок бросал.

— Смотри, брюхо набьешь, словно бочонок,— не выдержал отец.

— Не вашим ногам его носить,— небрежно отмахнулся рукой Степочка.

После завтрака, надев сетки, они уже возились у старых дуплянок, которые стояли на бездонках и насквозь пропахли медом, воском и лесными травами. Оно бы можно было перейти только на ульи, но неприхотливые дуплянки тоже давали прибыль и иногда переносили Магазанника в далекое детство, на пасеку отца, который зимой и летом ходил в кожухе, так как после ранений всегда зяб. Тогда в душе Семена не было ни теперешнего паскудства, ни тревоги, ни страха. Чего бы он только не дал, чтобы снова вернуть детство и неторопливые годы родителей, потому что в свои теперешние года и в те, что придут, ему нет и уже не будет утешения: он свой век как по кочкам проволок, да и осталась от него в душе одна пустота.

«Исцели меня, господи, ибо встревожились кости мои и душа встревожилась моя... Может, хоть певучее снование пчелы да ее пожива немного утихомирят ее». А поживу небесная скотинка приносила исправно, и научился он от отца присматривать за нею и весной, и летом, и осенью, а на зимовку оставлял только молодых сентябрьских пчел.

Не успел Магазанник вырезать ножом-колодачом соты до первых снозей — палочек, которые их поддерживают,— как от жилья послышался лязг цепи и неистовый

лай блохастой овчарки, что глушил пчелиное жужжанье лиры и голос лирника:

Мимо раю проходжу,
Гірко плачу і тужу,
Ой горе, горе нам превелике...

Со дворища, от сарая, где рассыхались старые возы и мажары, то ли приглядываясь, то ли принюхиваясь ко всему, шел на пасеку тот самый нищий, которого Магазанник увидел на ярмарке. Засаленный блин его картуза поджаривался на непокорных рыжевато-серых патлах, а заросшее волосами лицо, хрящеватый носище и желтоватые, мерцающие, словно у совы, глаза предвещали что-то недоброе.

«Такому больше подходит по ночам лошадей красть, чем лирой выманивать копейку».

Пришелец подошел к Магазанникам, еле-еле кивнул головой и, как столб, молча стал на краю задернелого сада, ожидая, пока на него обратят внимание.

— Чего тебе, божий человече? — неприязненно спросил лесник.— Видишь, люди работают? — и поднял куцеватые руки, с которых уже тягуче стекал мед с утонувшими пчелами и ячейками изломанных сотов.

— Я подожду людей, у меня есть время. Вот вставите донышко в дуплянку, тогда погомоним,— многозначительно, даже насмешливо молвил пришелец, опустил на глаза синеватые облысевшие мешки век, полез лопатистой, ржавой рукой в карман, вынул цигарку, бросил в рот и начал перекатывать ее из угла в угол.

Леснику показалось, что он где-то слышал этот голос, где-то видел такую же игру с цигаркой.

— Нам, старче, некогда точить лясы,— расшнуровывает губы Степочка и исподлобья оглядывает торбешника.— Хоть у нас залежалого хлеба нет, да какую-нибудь краюху вынесу, проведу от собаки, и идите себе с богом.

Теперь уже пришелец одной желчью посмотрел на Семенова отпрыска.

— Ты, вижу, не по годам остер на язык. Что ж, невежа, тебе, может, за похождениями да гульней и нет времени для меня, а отец, надеюсь, найдет! — Смачно затянулся, пустил дым над дуплянкой и начал забавляться пегой бородой.

Магазанник тревожно оглядел нахрапистого проходимца, который впивался в него тягучим взглядом и не просил, а приказывал идти на разговор. Внутри заныл страх. Вздохнув, лесник еще подержал над корытом растопырен-

ные пальцы, чтобы до конца стек мед, украдкой глянул на лирника и сказал сыну:

— Ты смотри, осторожненько впусти пчел в дуплянку, а мы с божьим человеком пойдем в хату.

— Было бы с кем идти.— Чадо никак не могло понять такой причуды отца и недовольно сжало губы и веки.

— Тебя, вертопрах, не покропили черти зловонной водой? — Нищий взглянул на Степочку, словно на полоумного, и у того от злости на лице появились пятна.

— Может, вы, божий человек, пошли бы с нашей пасеки ко всем чертям или под гром! Собирайте под заборами подаяния и не дурите нам голову.

— Вот у кого в голове еще и не пахано, а кичится, словно пасхальный поросенок. Когда-то батько забыл тебя хорошенько отдубасить и лозиной нагнать ума в голову,— насмешливо ответил лирник, повернулся к нему спиной и крутнул ручкой лиры, что тоже отозвалась насмешкой.

Переступив порог лесного жилища, непрошеный гость поднял руку, чтобы перекреститься, но тут же и опустил ее вниз, уставившись буркалами в хозяина:

— Ты, Семен, богохульником стал? У тебя старый бог с красного угла сошел, а нового не успел поставить?

— Кто ты, человече?! — вскрикнул с каким-то недобрым предчувствием Магазанник, наступая ногой на лохматую тень попрошайки.

В глазах нищего снова разлилось масло — хоть фитильки зажигай на нем.

Где он видел этот маслянистый взгляд, этот носище, что высунулся из чащи волос?

— Еще не узнал? — кривится лирник недоброй усмешкой.

— Нет.

— Вот как года выветривают память.— Нищий выпрямился, по-военному стукнул каблуками разбитых сапог и велеречиво изрек: — Так хорошенько потряси, просей года, милостивый государь и почтеннейший пан.

— Оникий! Оникий Безбородько,— с ужасом прошептал дрожащими устами лесник. Он почувствовал, как сразу потемнело в глазах, как изменилось лицо, как пересохло во рту.

Отведя от Оникия Безбородько невидящий взгляд, лесник бессмысленно пошарил по потемневшим окнам. Но за ними ничего не увидел: перед ним мертво расступи-

лось время и закачало петли, намыленные серым солдатским мылом, а возле них стояла скорбь обреченных и жестокая неумолимость Безбородько. Оникий был настоящим извергом, но всюду кичился тем, что его родословная идет еще от киевского полковника Александра Безбородько, который после смерти Екатерины II стал министром и доверенной особой царя Павла. И вот теперь этот шляхетный огарок былого царедворца под маской нищего свалился на его бедную голову. Да, не изгладился его след, и ни война, ни Чека, ни оперативные тройки не поймали этого выродка. Так пусть черт найдет тебя в пекле...

— Узнал наконец? — из задичалых, свалявшихся волос проглянули в кривой улыбке синеватые губы, словно полураскрытые створки ракушки.— Чего так замигал ресницами, чего так залихорадило тебя?

— От такого гостя и мертвого в гробу залихорадит,— сказал Магазанник упавшим голосом и зябко повел плечами, чтобы стряхнуть с них частицу холода и страха.

— Вот как ты заговорил! — медленно вспыхнуло масло в глазах Безбородько.— А когда-то в державной страже мы с тобой братались.

«Не братались, а приспешничали»,— подумал Магазанник, но вслух сказал:

— Садись, раз пришел.

Да Безбородько не торопился садиться за стол, а все поглядывал на окна.

— Хорошо ты тут, на отшибе, угнездился, хозяин!

— Угнездился как сумел: богатства не нажил, а коекакую малость держу в руках,— прибеднился Магазанник.— Вынырнул, выходит, через два десятилетия. Вот как оно бывает в жизни.

— Жизнь — это долгая нива, и чего только не родит она.

«И такого изувера, как ты»,— подумал лесник, так как у него было меньше грехов, чем у Безбородько.

— Что, вспомнил молодость? — снова Оникий насмешливо кривит синеватые ракушки губ.

— Должен был.

Оникий опять бросил взгляд на окна, заглянул в маленькую комнатку, в клетушку, где сушилась с запекшейся кровью шкура ягненка, и только тогда начал снимать с себя лиру, торбу, потрепанный пиджак и истлевшую сорочку, вышитую узором гетмана Полуботка.

— А борода у тебя не снимается?

В глазах Безбородько вспыхнул злой отблеск бешенства:

— Пока что не снимается. Пока что! Но когда наступит время новой власти, тогда сброшу и бороду, и усы и чьи-то шкуры от плеч донизу буду рвать, бубны вычиню из них и под их музыку отхвачу цыганскую халяндру. Я еще дождусь этого светопреставления! Не одному станет жарко!

От такой дикой оголтелости даже Магазаннику стало не по себе: не забылось, не истлело прошлое в душе сановного нищего. «Ему еще цыганской халяндры захотелось. Нищенствуй, если нищенствуется, да радуйся, что есть хоть выпрошенный хлеб. Ты ведь не хлебом, а свинцом да петлями кормил людей».

Безбородько почувствовал, что Магазаннику не понравилась его речь, презрительно повел хрящеватым носищем.

— Что-то не то в твоей умной голове засело. Может, уединившись в лесах, думаешь прожить мирным хлебом да медом славянства и уже не веришь в перемену власти?

Лесника возмутила чванливость Безбородько.

— Угадал-таки: не верю. Это в гражданскую войну были у нас какие-то иконы, а осталась от них одна труха... Тогда еще верилось, что немецкие шарабаны привезут нам и гетмана, и самостийность. Ох, какие это были шарабаны! Три года войны проездили — и не скрипели, а бубнами гудели!

— Подожди с шарабанами! — поморщился Безбородько.— Почему ты в перемену не веришь?

— А зачем мне верить? Где найдешь те дрожжи, на которых поднимается новая власть? Все, что когда-то пенилось голубой концепцией, или погибло, или подалось на бесплодье по всем заграницам, или навеки рассыпалось в сор-мусор.

— На старые дрожжи никакой надежды нет: все в них высохло, кроме злости,— согласился Оникий и нахмурился, вспомнил взрыв своей злобы.— А знаешь ли ты, Семен, что сейчас творится на Западе, в международностях?

— У меня об этих международностях голова не болит. Видел их в гражданскую: английские правители боятся, что французские захватят Черное море, а французы опасаются, как бы англичане и немцы не прибрали к рукам Балтику. Даже самую Америку лихорадило: опасались, что японцы обдурят ее. Пожив на свете, насмотрев-

шись на всякое плутовство, я поверил одному писателю: вся история людей — это история обмана.

— Ты смотри! — Безбородько вытаращил глаза на лесника.— Даже Магазанник кинулся в литературу! Диво дивное! Но кроме литературы есть политика. Что же тогда главное у тебя в мозгу? Думаешь, при большевиках ты долго проживешь хуторянином? Тогда давно не метено под твоим чубом.

— А у кого-то и не мыто под чубом,— огрызнулся Магазанник.

— Оставь свои глупые шутки, скоро будет не до них.

— Что ты меня пугаешь политикой и международностями?

— Потому что такое время на пороге стоит. Разве ты не слыхал о Гитлере?

— Так это ж людоед!

— Пусть и так,— неохотно согласился Безбородько.— Но история не обходится без жестоких кар! Не только история, даже идеи требуют жертв. А при нынешней истории, чтобы выкорчевать из нее корни и семена социалистического евангелия, нужна власть не какого-то слабовольного царя Николая, а именно Адольфа Кровавого. Он наведет порядки в Европе: как-никак посадил армию не на шарабаны, а в танки.

Хотя Магазанник разбирался в социализме как крот в звездах и, разумеется, никакой склонности не имел к нему, однако не разделил надежд Оникия.

— А что из того, если твой Гитлер пойдет войной на социализм? Закабалит он нашу землю, подожжет нашу хату, а если и принесет пользу, то своим гитлеровцам.

Оникий строго посмотрел на лесника:

— Ты еще не знаешь,— нам надо, чтобы стать хозяевами, пройти сквозь сито немецкой жизни.

— А на этом сите мы не оставим все? — Магазанник наотмашь бьет Безбородько и сам гордится этим ударом.— Нет, я свое хозяйствование и свою хату не сменяю на чужую.

— Теперь нечего думать о своей хате, надо думать о всемирной.

Магазанник скривился: этот крутила хоть кому забьет баки.

— Имея за плечами торбу, можно богатеть и такими думками. А я не хочу ни всемирной хаты, ни гитлеровской опустевшей, для меня вполне достаточно своего жилья и покоя в нем.

Безбородько подавил возмущение и заговорил с еще большей запальчивостью:

— О, затянул канон по усопшим душам! Или ты хитришь, или в твоей голове рассада увяла и думаешь прожить в тиши гречкосейством да пчеловодством? Но где же теперь есть покой на грешной земле? Нам с тобой может дать какое-то спокойствие только новая власть. Когда придет Гитлер, он сразу посадит на гетманство старого Скоропадского, ведь недаром же сам Геринг стал кредитором гетмана — выдает ему средства и на булаву, и на двор. О великой Украине с правителем Скоропадским и слыхал, и читал я.

— Выходит, народ погасил лучи на гетманской булаве, а фашизм зажжет их? — блеснул чужим словом Магазанник.

— Хотя бы и так. Разве тебе не хочется снова увидеть гетмана в соболиной шапке, при сабле? Разве не хочется услышать праздничные колокола Софии? А тогда, при гетманщине, и наши головы на что-то сгодятся, ибо как ты ни хитри, а мы два гриба в одном борще. Если бы ты только знал, как осточертело носить на себе это тряпье, эту бороду, эту лиру, прикидываться нищим и собирать в торбу чужие объедки. Это мне, у которого было своих полтысячи десятин пахотной земли...— В широко расставленных глазах Оникия застыла печаль.

Магазаннику стало жаль его или их молодости, о которой даже наедине страшно вспоминать. Промотал ее впустую. Да и прожил век в стороне от людей, как вор, и ничего доброго не вспомнишь о нем. А что такое гетманская соболиная шапка? Бредни и обман.

— Почему же, Оникий, если так надоело тебе нищенствовать, не пристроился где-нибудь на службу? Ты же учился где-то, да и голову тебе не заклинило.

— Такова моя лукавая судьба,— Безбородько снова посмотрел на окна.— Мне нельзя быть хоть сколько-нибудь на виду: прошлое не позволяет, да и лицо мое легко запомнить. Попробовал как-то в одном захолустье сукновалом, а потом салотопом поработать и чуть было в Сибирь не угодил. Вот и должен старческими патлами прикрывать свою рожу и то, что было в восемнадцатом.

— Дела...— не знает, что на это сказать, лесник.— А твое нищенство дает что-нибудь? Или перебиваешься с хлеба на воду?

Безбородько презрительно разлепил губы.

— Это только в больших городах, говорят, некоторые хитрые нищие достигли богатства, а в селах об этом никто испокон веку не слыхал. Однако прежде и у нас водилась какая-то копейка, а теперь, считай, заилило ее.

— Это ж почему? — удивился Магазанник.— Сейчас люди вроде щедрее и деньги у них водятся.

— Так-то оно так, но есть и другое: сдвинулся со своего старого места медлительный крестьянский ум. Ты же знаешь, что когда-то наш дядько болел больше за скотину, чем за себя. Молишься в его хате — он только отступное подает, а помолишься возле коровы или коня — иную плату получишь.

— И что ты говорил о скотине? — оживился Магазанник.

— Да всякое,— неохотно ответил Безбородько.— А больше всего такое: «Христе, боже наш, спасай и оберегай скотину вашу днем под солнцем, ночью под луной, под ясными зорями, и при позднем отходе ко сну, и при раннем пробуждении, и в предрассветные часы, где она росы поедает, где воды выпивает. Сохрани, боже, ее от зверя лютого, от языка клевещущего, и от гада ядовитого, и от человека лукавого, и ото всяческого зла, чтобы прибывало на скотине всего и с росы, и с воды, и с прекрасного цвета...» Прибыльное было такое слово. А теперь поумнело село и к скотине только зоотехника зовет. Да хватит об этом... Как у вас люди, устали выполнять и перевыполнять большевистские планы?

— У нас стараются друг перед другом, потому что у них не председатель, а какой-то одержимый, что ни в чем не отстанет. У него идеи, и хлеб, и надежды в одно слились. Этот, заботясь о людях, даже в праздник не досмотрит своего сна. А почему тебя людская усталость тревожит?

— Измотать, растревожить, перессорить людей — это большое дело для нас. Ну, а если твоего председателя господь покарал таким умом, то надо как-то хитро-мудро поубавить его, а то и столкнуть в воду — пусть ловит раков. От умных большевиков нам вся беда идет, а за глупцов или тех, кто топит душу в горилке, держись руками и ногами.

— Вон как,— пробормотал лесник.— Может, хватит уже нам политикой заниматься, надо и об угощении подумать. Яичницей не побрезгуешь?

— Можно и яичницу, только на сале, чтобы шипела сковородка, словно в аду для грешников.

— Сколько тебе бить яиц?

— Полдесятка хватит,— оживился Безбородько.— У меня, когда хорошо набью животище, душа как на подушке лежит. Роскошь у тебя в лесах,— вспомнил о чем-то Безбородько, помрачнел.— Роскошь приходит со смаком, а кончается с болью. Я не очень обижу тебя, если назову своим жертвователем?

— Это ты к чему?

— Не догадываешься? Прошу, раскошелься на какую-нибудь тысчонку.

Магазанник насупился:

— Где мне целую тысячу взять? Разве не знаешь, сколько получает лесник?

Безбородько засмеялся, погрозил грязным пальцем:

— Но я еще знаю и какой приварок имеет лесник.

— Не столько приварка, сколько людских разговоров. Никто из чужой торбы хлеба не жалеет.

Язвительность пронзила незваного гостя, откуда она и взялась, такая гадкая.

— Семен, не будь свиньей, когда тебя люди величают, и не ври в глаза, я не сегодня родился на свет. Знаю, что ты свою копейку не пропустишь сквозь горло, знаю твою ненасытность и знаю, сколько кто-то когда-то наторговал за хлеб и картофель. Вспомнил?! То-то же, не жалуйся на безденежье, а скорее клади тысячу на стол, а то могу передумать и захотеть больше.

— Захотеть! — нахмурился лесник.— А если я не дам тебе ни гроша?

— Дашь! Еще и поблагодаришь, что возьму! — играя синцами губ, нагло сказал Оникий.— Ты же знаешь, как ценят в последнее время оговоры и бумажечки? Бросишь в ящичек на кого-нибудь несколько слов, а они и вырвут из его жизни несколько лет.

На жерновообразном лице Магазанника выступили капли пота, он вытер его рукой.

— Как ты страшно шутишь в моей хате.

— С тобой только шучу, а кое-кто Сибирью расплатился за мои бумажечки и крючкотворию,— уже не глаза, а шершни нацелились на Магазанника.— Копейка же твоя очень нужна мне, потому что обеднел сейчас.

— Или дай, или вырву,— прогундосил лесник.

— Хотя бы и так,— не обиделся, а, насмехаясь, приоткрыл пожелтевшие, перезрелые бобы зубов.— Я тоже хочу пожить по-людски: не в соломе, а в чистой постели

поспать, смачную молодицу обнять, ведь старец я только по одежде, а не телом.

— Лишь бы здоровье было, а грехи заведутся,— вздохнул Магазанник.

— У тебя нет какой-нибудь крали с толстыми икрами да бедрами, что по сходной цене берет за любовь?

— В нашем селе нет гулящих и никто из женщин не требует денег за прелюбодеяние,— гордо сказал лесник. Хотя он не раз принуждал молодиц к любви, но никогда презренная копейка не омрачала ее.

— Наши женщины в этом деле слишком архаичны и прелюбодеяние считают самым большим грехом,— тряхнул патлами Оникий.— Они и до сих пор носят юбки до пят, разводят сантименты недотрог. И тут мы отстали от иностранщины. А из-за этого мужчины получают меньше радостей в жизни.

— Мужчины или развратное тело? — даже Магазанник не стерпел разглагольствований бабника.— Где же ты свою жену бросил?

Безбородько насупился, махнул на окно волосатой рукой.

— Это целая история, Семен... Вырвал когда-то и я кусок счастья. Такого, что за суматохой и грехами того времени уже и не снилось: склонил к себе красавицу учительницу, что только и мечтала о чужих детских головках и о правде на земле. Она была из тех, что и в огонь бы пошла, но не пошла бы на обольщение. Когда, глотая слезы, выходила замуж, потребовала одного: чтобы я оставил державную стражу и ступил бы на людской берег. Пришлось пообещать выполнить ее волю, да не выполнил, и она сразу отшатнулась от меня. Со временем, уже при красных, тайком пришел к ней, и моя красавица чуть было не упекла мою грешную душу за решетку. Едва унес тогда ноги из ее жилища. Теперь тоже учительствует, служит коммунистам и сама стала коммунисткой.

— Замуж не вышла?

— Не вышла и вряд ли выйдет: она очень идейная и больше одной любви не признает. Такую ничто не собьет...— Вдруг тени печалей прошлись по его глазам, и он уже с грустью глянул в окно или в далекие года.— А была по красоте как заря в ясную погоду.

— Как же к тебе прибилась такая красота? — Магазанник не очень деликатным взглядом смерил Безбородько.

— Чего только не учинит война. Слыхал, что она переехала учительствовать на Подольщину,— Оникий вздохнул тяжело и сразу же махнул лопатой руки, словно выгребая свои печали.— Ты не разгневаешься, если я у тебя останусь переночевать?

Магазанник полез рукой к затылку.

— Как хочешь. Но отдыхать придется отшельником в летнике или в сушилке, что стоит за оградой, а то в хате и возле хаты много толчется людей.

— Не иссушишь меня в ней?

Безбородько так блеснул своими скользкими зенками, что Магазаннику стало жутко. Но он сделал вид, что не понял намека.

— Если тебя нищенство не иссушило, то проживешь и в сушилке. Там даже стены пахнут сушеными фруктами.

В хату, сгибаясь, вошел Степочка, впереди себя он нес корытце с сотами, истекавшими душистым медом, в котором шевелились увязшие пчелы.

— Куда их, тато? Может, в бортницу?

— Ставь на стол. Пировать так пировать: бог послал нам... дорогого гостя.

Степочка понял, что лохмач, верно, был когда-то важной особой, и, уже приветливо улыбаясь ему, поставил корытце на стол, к которому была прилеплена свечка, да и снова ушел к дуплянкам. Магазанник зажег свечку.

— Перед богами, а не передо мной свети ее,— засмеялся Безбородько, прошелся по хате, и на каждый его шаг свечечка отвечала трепетом. Так, верно, и его, Магазанника, душа трепетала от шагов и слов этого жестокосердного проходимца.

Вскоре ноздреватая яичница пузырилась на черной, величиной с колесо, сковороде, которую Магазанник поставил прямо на стол, а возле нее появилась бутылка темноватой, уже по цвету соблазнительной «беззаботки», вишневый с белыми разводами и маслянистыми слезами окорок, пропахший приправами, чесноком, дымком, огромный кусок сала, разрезанный накрест, свежеотжатый, с сеткой клеточек от полотна, творог и кольцо залитой смальцем колбасы, которую хозяин выколупнул из нарядного новенького бочоночка.

«Надо же хорошими яствами ублаготворить этого дьявола, чтобы не затаил злобы под тем сердцем, которое не знало и, видать, не знает жалости».

Дьявол в самом деле распогодился, а когда одним ду-

хом опрокинул чарку, удивленно и радостно вытаращил глаза на хозяина:

— Эта такая бешеная, что только причмокнешь! Где ты ее, стобесовую, достаешь?

— Есть у меня один дед, болотный черт, который мокруху настаивает на восемнадцати полезных травах и кореньях. От всех хвороб, кроме сердечных, помогает.

— Поэтому ты и здоров, как гром?

— Да еще, слава богу, есть сыромять в теле,— взглянул на потрескавшиеся черпаки рук, что тоже не гуляли без дела.

— А как здоровье у этого деда? — все еще не мог отдышаться после адской настойки Безбородько.

— Наверное, ничего, если в семьдесят лет, из-за недосмотра, как он сам сказал, расстарался на ребенка.

— Вот так недосмотр! — повеселел, засмеялся Безбородько, снова потянулся к чарке, и она сразу исчезла в диких зарослях его волос, что, казалось, тоже сочились весельем.— Роскошь у тебя, Семен, роскошь! Живешь ты — как сыр в масле катаешься. Потому и не хочешь новой власти?

— Нет, не хочу совать свою голову в чужую кринку,— Магазанник чокнулся с Безбородько.— Новая власть — это журавль в небе, да еще тот журавль, который несет не весну, а войну.

— Выходит, ты сдружился с большевиками? — снова стало злым лицо Безбородько, злее стали и буркалы.

Насупился и Магазанник.

— Болтаешь несусветное. Как я могу подружиться с большевиками, если они вот так держат меня в кулаке? Ты говоришь, у меня роскошь в лесах. Да разве это роскошь, если каждый раз за малейшую прибыль должен дрожать: мол, и пасись, и стерегись! Я ведь только тогда выколупываю себе какой-то рубль, когда тайком проникну в здешний торг или махну куда-то. Но разве это коммерция, если постоянно от страха у тебя все валится из рук? Может, в моей голове сидит министр торговли, может, из моего котелка выроилось бы торговое золото и для державы, и для себя, а я должен ломать голову, как воровски раздобыть какой то вагон под овощи-фрукты и как его погнать в Сибирь. Так откуда же у меня возьмется любовь к такой власти, которая прижимает мои мозги ниже гриба, что сидит в земле? — Из жалости к своим придушенным талантам Магазанник опрокинул чарку и тоже вытаращил глаза на Безбородько.

Того растрогала речь лесника. «Пожалуй, эта жерновообразная морда могла бы дорасти до какого-нибудь Терещенко или его последыша».

— Тогда какой же ты хочешь власти?

— Какой? — подумал Магазанник, и вдруг в погрустневшей зелени его глаз по-разбойничьи заиграли серые песчинки.— Той, которая вряд ли вернется. Не знаю, как тебе жилось на твоих полтысячах десятин, а я только и думал о своем черноземе, тучном, словно жиром смазанном. Помнишь, о чем мечтал в пьесе «Сто тысяч» Герасим Калитка? Я когда-то на сельской сцене играл этого Калитку и его слов не забуду до самого Страшного суда: «Ох, земелька, святая земелька, божья ты доченька! Как радостно тебя собирать воедино, в одни руки. Скупал бы тебя без счету!.. Едешь день — чья земля? Калиткина! Едешь два — чья земля? Калиткина! Едешь три — чья земля? Калиткина!» На такой земле я с радостью, отдыхая да бога благодаря, распластался бы крестом и лег бы под крестом, зная, что это мое.

— Ого! — удивленно воскликнул Безбородько.— За столько лет и не убить в себе Калитку?

— Такое не убивается, ибо это рай моей души,— убежденно изрек Магазанник.

— Но к твоему хозяйственному раю еще надо присоединить и пекло политики: теперь без этого не проживешь! Даже самые богатые властители земли сейчас вымачивают свои чубы и головы в политике. Понимаешь, как и куда в современном мире течет вода?

— Не совсем,— признался Магазанник.

— Жаль,— покачал коловоротом волос Безбородько.— Ты не поверишь, что даже и к любви со всеми ее воздыханиями, со всеми соловейками теперь причастна политика.

— Это уже, Оникий, ты такое загнул, что дальше некуда,— засмеялся лесник.

— Подожди смеяться,— насупился Безбородько.— Вот я тебе сейчас нарисую кусочек современной сказки. Представь себе божественную ночь с луной, когда видно — хоть иголки собирай, да иную бутафорию для влюбленных. Вот кого ты поставишь в такую ночь где-нибудь возле вербы, пруда или полукопны?

— Хотя бы нашего председателя Данила Бондаренко.

— Которого надо убрать?

— Еще как надо, а то так насолил мне...

— Остановимся на нем. Вот он возле копны ждет свою

любовь. Крадучись приходит она, и уже влюбленные в своей любви не слышат, как на них осыпаются звезды, падает роса и тому подобное, что бывает в романах... А где-то за морем в своем каменном доме сидит большой политик, сидит черный гений, перед которым уже дрожат европейские державы. И думает он ночь, и думает вторую, и третью, чтоб эти Данилы снопами легли возле снопов или согнулись рабами перед новыми правителями. И не только думает, но выплавляет для этого и свинец, и сталь, и золото-серебро. Это только произвольный пример, чтобы ты увидел, как все, даже любовь, теперь переплетается с политикой.

— Накручено, наверчено. Хотя все и пустозвонство, но страшная твоя сказка,— задумался Магазанник.

— А век добрых сказок уже миновал! Слышишь?!

— Да, слышу. Меня удивляет только одно: как ты, Оникий, при таком уме пошел в нищие? Почему не бежал в земли того черного гения?

— Бежал и туда,— вздохнул Безбородько.— Бежал...

В это время на подворье завизжала проволока и неистовым лаем залилась верная овчарка. Магазанник и Безбородько глянули в окно и окаменели: на дороге, между деревьями, показался на сером коне всадник.

— Кто это? — встревожился Безбородько.

— Лейтенант Василь Гарматюк, из органов,— непослушным языком ответил Магазанник.— Лучший друг нашего председателя.

— Вот и будет сушилка, а я еще и не насытился,— зашипел Безбородько, в один миг надел сорочку, пиджак и торопливо начал обвешивать себя причиндалами нищего, однако не забыл бросить в торбу буханку хлеба и кусок сала.— У тебя другой выход есть или через окно?..

— Через сени в лес,— сказал лесник, наскоро пряча дрожащими руками еду и выпивку.

Безбородько торопливо выскочил в сени, пригибаясь, открыл двери, которые вели в дубняк, обернулся к Магазаннику и даже выдавил своими створками синюю усмешку:

— Ну, бывай, пан и приятель... Я еще, когда стемнеет, загляну к тебе. Окорок не изведи.

— Беги скорее,— умоляюще зашептал лесник.— Что же мне лейтенанту врать?

— Да возьми себя в руки! — рассердился Оникий.— Чтобы не вляпаться, скажешь: был у тебя какой-то ста-

рец, выпил водички, съел хлеба-соли да и пошел на шлях.— Безбородько выскользнул из сеней и исчез за стволами дубков.

«Вот тебе и предгрозье, вот тебе и ворон. Хоть бы он счастья из хаты не вынес». Магазанник зашел в жилище и начал возиться возле меда, словно его больше ничего не интересовало в мире, а уши и сердце отсчитывали каждый шаг со двора.

В хату вошел Гарматюк, не здороваясь он озабоченно спросил:

— Дядько Семен, у вас гостей не было?

— Гостей? — прикинулся искренне удивленным Магазанник.— Сегодня же будни, а в будни я никогда никого не сзываю. Да и какие перед жатвой могут быть гости в наших лесах? Садись, Василь.

— И никакой бродяга не заходил к вам? — Гарматюк зашарил острым взглядом по его лицу и хате.

Магазанник недовольно махнул рукой.

— Да, заходил нищий пришелец, я как раз на пасеке возился, соты из дуплянок вырезал. Там он и пропел: «Мимо раю проходжу...»

— Давно был? — встрепенулся Гарматюк.

— Нет, недавно.

— Лира была на нем?

— Лира? Была.

— О чем-то говорил с вами?

— Какие могут быть разговоры между лесником и нищим? Он прогнусавил мне свой псалом, я бросил ему в торбу хлеба, да и бывай здоров.

— Куда же он подался?

— Вот чего не знаю, того не знаю. Вышел из хаты, пошел будто на шлях, а куда повернул, один бог ведает. А зачем тебе этот старый хрыч?

Но Гарматюк не ответил, мигом выбежал из хаты, вскочил на коня и помчался на шлях. Может, господь и пронес тучу над лесным жильем.

В дверь осторожненько протиснулся Степочка, под желтыми мельничками ресниц у него испуганно прищуривались бегающие глазки.

— Чего это Гарматюк приезжал? Не пронюхал ли что-нибудь о нас?

— Нет, о нищем допытывался.

— О нищем? Кому понадобилось это чучело?

— Выходит, нужно. Может, он не только псалмы, а и контрреволюцию поет. Есть ведь такие.

За подворьем затарахтел воз. Сын и отец испуганно уставились в окно.

— Да это ж запоздалые гости — Мирослава Григорьевна, агрономша, приехала за своими пожитками,— с облегчением вздохнул Магазанник.— Степочка, мигом принарядись — и к девушке. Только выковыряй для нее какое-нибудь умное, завлекательное словцо.

Степочка стрелой вылетел в другую половину жилища и затанцевал по ней, сбрасывая будничное и надевая праздничное. Вскоре он улыбаясь вышел на порог и похлопал в ладоши, чем немало удивил девушку.

— А мы вас, Мирослава Григорьевна, еще вчера ждали, вечером. Даже на дорогу для интереса выходили.

— Для какого же это интереса?

— У вас одна бровь стоит вола...— выковырнул Степочка «умное словцо».

— Вы и ваш отец все сравниваете с волами?

— Пожили бы в наших лесах, научились бы ценить и брови, и косы, и очи, и вообче. У нас живешь как во сне, а девчат только в грибное время видишь.

— А грибы у вас есть?

— Хоть пруд пруди, если знаешь места. Я охотно вам покажу их, будете жарить, и солить, и мариновать. Вы умеете мариновать?

— Умею.

— Пойдемте же в хату, мы вас свеженьким сотовым медом угостим. Это не мед — одно здоровье, от него еще краше станете.

— Спасибо, Степан Семенович, мне сейчас же надо ехать.

— Называйте меня по-простому — Степочкой. Вам еще не наскучило в нашем селе?

— Нет.

— Так наскучит, ибо нет в нем для души интеллигентности. Вот у нас в конторе хватало ее.

Мирослава сдержала усмешку, а Степочка умолк, чтобы снова придумать какое-нибудь культурное словцо, потому что такая девушка стоила самых лучших слов и волов.

XII

В село на легкокрылой бричке приехал Ступач. Красивый, угрюмый, он, как идол, сидел позади кучера и кого-то осуждал недоверчивым, твердым взглядом и на-

супленным лицом. Все сегодня не нравилось Ступачу: и жаркое, в мареве утро, и пыльная дорога, и тряская бричка, и задумчивый, хмурый кучер. Он не гнал с ветерком коней: они и без того измотаны работой и разъездами по судам, поглядите только на их потрескавшиеся копыта...

На копыта Ступач не смотрел, а из-под копыт вдоволь наглотался пыли. А какую еще пыль ему пустит в глаза Бондаренко? И кто он, наконец: упрямый фантазер, своевольник или замаскированный враг? На врага вроде не похож, но две бумажечки пришли! Чего бы им зря приходить? А ты и тревожься, чтобы не прозевать под самым носом вражеской агентуры. Ох, это село! Кого только не плодит оно? Цепами надо вымолачивать и на решетах и густых ситах просеивать его... Тогда на самом дне, смотри, и вынырнет какой-нибудь Бондаренко. Только почему за него тянет руку Мусульбас? Снова узелок? Да, жизнь понавязала разных узелков, а развязывать приходится ему.

И Ступач хмурится и морщит лицо, и гоняет мысли, словно гончих на охоте... Но пусть и не враг Бондаренко, а какая радость от него? Ты ему говоришь: «Начинай жатву», а он тебя и подкусит: «Я молочко[1] не буду жать, у меня коровы дают молочко». И летит график черту в зубы. Могли бы вырваться в передовые по району — не вырвались, а в сводке примостились поближе к хвосту. Да, видишь, не председатель, а прокурор тревожится об этом. Правда, он тоже не хуже, чем Бондаренко, понимает, что не надо косить зеленое, но указание есть указание, и кому хочется краснеть на различных совещаниях?.. Или как вышло с коровами? Втихую выбраковал непородистых, тайком сплавил, накупил симменталок и еще каких-то, сразу же сократил поголовье колхоза на четвертую часть, еще и не признает своей вины: мол, людям нужны не рога и хвосты, а молоко. И снова, своевольник, залихорадил сводку всего района. И что после этого? Схватил выговор — и не журится!.. А может, все-таки враг? Попал в какую-нибудь экономическую или политическую группировку да и ждет своего времени. Ох, это село!

И Ступач по привычке, словно подсудимых, ощупывает взглядом хаты-белянки, что отгораживаются от него то вишняками, то вербами, то мальвами и пересмеиваются с самим солнцем. Родившись в местечке, он не знал да и не хотел знать села, но имел свое суждение о нем, пото-

---

[1] Молочко — зерно молочной спелости.

му что еще в двадцатых годах безрассудное, безжалостное левачество скособочило его мозги, нашпиговало их подозрением, а в душе выжгло то, что там должно быть,— душевность.

— О боже,— вздохнула из-за плетня тетка Олена и опустила на глаза белый, с пыльцой подсолнухов, платок,— такой уж красивый, а сколько недоброжелательства на лице.

Ступач услыхал шепот ее слов, обернулся, и на миг ему показалось, что увидел свою мать, которая очень любила ходить в белых, чуть голубоватых от синьки платочках. Он положил руку на плечо кучера, чтобы тот придержал коней.

— Вы что-то мне, тетушка, сказали? — и улыбнулся белозубо женщине.

— О боже! — оторопела Олена, не зная, что ему ответить.

Среди подсолнухов, что золотыми решетами просеивали солнце, стояла спокойная, как само лето, женщина, а под ресницами ее трепетала материнская печаль.

— Вы что-то, женщина добрая, имеете ко мне? — уже сочувственно спросил Ступач.

— Нет, ничего к вам не имею,— махнула загрубевшей рукой.

— И все же?

— Глупое подумала про себя.— Олена Петровна стерла подсолнуховую пыльцу с лица, доверчиво собрала морщины вокруг полных губ.— Я, простите, даже не ожидала, что вы умеете так хорошо улыбаться человеку.

— Что это вас с самого утра на смех потянуло? — сразу рассердился Ступач.— Ранний смех на поздние слезы поворачивает.

— Вот и поговорили,— грустно кивнула головой женщина и исчезла за солнцами подсолнухов.

«Язычница! Залезла в подсолнухи и вытряхивает глупые насмешки. И все такие в селе. Тут на землю смотри, а под землю заглядывай».

Кони, выгибая шеи, остановились возле конторы колхоза. Из дома вышел седоголовый Ярослав Гримич, в одной руке он держал серп, в другой — замок.

— Дед, председатель в конторе? —с брички спросил Ступач.

— Еще чего! Наш председатель в пору жатвы начинает день в поле, а не в конторе!

— А вы куда собрались?

Старик поднял серп, завернутый в белую тряпочку:

— В степь, на жатву.

Ступач насмешливо хмыкнул:

— Сколько же вы нажнете в ваши лета?

— До вечера на полкопну потихоньку расстараюсь. И то какая-то помощь людям. Грех теперь живому человеку не жать.

— Кто же вместо вас будет сидеть в конторе?

— А зачем теперь кому-то рассиживаться по конторам? Телефон стеречь? Так он порычит-порычит, словно старая собака, да и перестанет.

— Непорядок,— неодобрительно покачал головой Ступач.— Вот что, дед, идите в поле и разыщите мне председателя, а я уж вместо вас посижу тут.

Старик смерил Ступача удивленным взглядом, потом пожал плечами:

— Что ж, сидите, коли есть охота, только боюсь, что очень долго придется сидеть.

— Это ж почему?

— Данило Максимович заглянет сюда только вечером. Разве ж вы не знаете его?

— Да знаю,— насупился Ступач.— Тогда садитесь — и айда в степь.

— Давно бы так! — тряхнул сединой старик и начал взбираться на бричку.— Чего это вы приехали? Для разноса? — И осекся, ибо вспомнил, какое прозвище влепили колхозники Ступачу: Разнос.

Но прокурор этого еще не знал, а разносить он умел — и в городе, и в деревне.

За селом они догнали старого Корния, который тяжело шагал с серпом в руке. Гримич коснулся плеча возницы, и тот остановил коней.

— Садитесь, Корний Иванович, подвезем.

Старик остановил взгляд на Ступаче, покачал головой:

— Нет, с этим судьей мне не по пути.

— Это ж почему?! — сразу вспыхнул Ступач.

— Раньше у нас судьей был бог, а что будет, если судья станет богом? Езжайте...

Гримич прыснул, Ступач выругался, а кучер насмешливо прикрикнул на лошадей...

Чтобы как-то рассеять неприятное впечатление, Ступач спросил старика:

— А наш первенец комбайн исправно работает у вас?

— Не работает,— невесело ответил Гримич.

— Как это не работает?! Поломали?! — и лицо сразу стало таким, словно он вдоволь нахватался злости.

— Не поломали — в соседнее село перебросили, так как мы, мол, и без него вовремя уберем хлеб.

— А...— привяла злость, и привял неспокойный румянец. Ступач сам себя упрекнул за горячность. Да что поделаешь — характер! А его не выплеснешь, как воду из кружки. «Продукт» — за глаза называет его Мусульбас. И что только за этим словом кроется?

Данила Бондаренко застали на косьбе: он как раз косил с косарями жито, и, видно, это доставляло ему немалое удовольствие, хотя белая вышитая сорочка уже дымилась паром на плечах. Ступач долго-долго присматривался к косарю, перебирал тени на лице и мысли в голове. «Кто же он? Кто?» Потом, осторожно наступая на стерню, чтобы не поцарапать хромовых сапог, подошел к нему, глухо поздоровался, бросил подозрительный взгляд на косу и тихо спросил:

— Что, в народники или в хуторянство записался?

— Люблю косить,— грустно улыбнулся Данило и печально поглядел на косу, затем положил ее так, чтобы вошла она под покос, и пошел за молчаливым Ступачом, а тот, жалея обувь, не отрывал глаз от стерни.

Они вышли на полевую дорогу, что терялась в сплетении вьюнка, деревея, пижмы и где по-девичьи доверчиво смотрели на мир голубые глаза цикория. Высоко в небе печально простонал коршун, а над мягким золотом ширококрылых нив неровно, как у чаек, поднимались-опускались крылья косилок, и до самого неба пестро цвели фигуры жниц и вязальщиц, возле них на глазах вырастали аккуратные чубатые полукопны. Это даже Ступачу понравилось — порядок! Хотя председатель и своевольник или, может, что-то и похуже, а в поле порядок... А если и это вражеская маскировка? Имеешь тогда уравнение со многими неизвестными. И даже вздохнул от жалости к себе. Он тяжело поднял настороженные зеницы и начал ими сверлить Бондаренко.

— Не смотрите так грозно, а то перепугаюсь,— улыбнулся Данило, хотя на душе защемила тоска: как ему надоели глупые ступачовские подозрения, неумное вмешательство, нотации, нагоняи и диктаты, за которые должны расплачиваться хлебороб и земля; виновных же из этих краснобаев шаблонщиков, кажется, не так часто брали за ушко да на солнышко.

— Неуместные шутки,— сказал Ступач, но прикрыл глаза отяжелевшими веками, посреди которых ровно пролегли черточки еще молодого жирка.— Твоему своеволию, председатель, уже нет предела.

— О каком своеволии суд речет? — Данило шуткой пытается отбиться от Ступача.

— А ты, бедненький, и не знаешь?

— Таки не знаю.

— Ты же не будешь отказываться, что тайком от меня позавчера начал выдавать людям хлеб? Говори!

— Говорю: выдавал позавчера, вчера, выдаю и сегодня.

— И сегодня?! — ужаснулся и вытаращился на Бондаренко Ступач.— Ты, председатель, в полном уме или у тебя большой недород на него?

— Так зато есть урожай в поле.

— Ты, наверное, не знаешь, что делаешь с хлебом?

— Знаю! — твердо ответил Данило.— Укрепляю веру крестьянина в наш общий труд. Уверен, что самое большое преступление — подрывать веру человека.

— Брось эти высокие слова и единоличные потребительские тенденции! — уже молнии взметнулись под ресницами Ступача.— Думаешь, ты самый умный из нас?

— Я пока что не задумывался над этим очень важным для вас вопросом,— начал горячиться и Данило.

— Так вот, своим безрассудством ты не столько укрепляешь веру крестьян своего села, сколько подрываешь авторитет большинства председателей своего района! Понял?

— Это уже что-то новое в теории! — и, как ни горько было ему, Данило засмеялся.

— Он еще и смеется! — Ступач ударил сапогом по кустику цикория, и тот испуганно затрепетал синими огоньками.— А что, глядя на вас, скажут колхозники других сел? Чтобы и им сейчас же выдавали зерно? И начнется там анархия с выполнением плана, как уже тут началась. Вон и ветряк мелет у тебя! — показал рукой на ту деревянную птицу, которая всегда радует человека, когда машет крыльями.— Сейчас же прекрати выдачу зерна и забей ветряк!

Данилу страшно стало от этих слов, ибо ветряк для него всегда был живым, как человек, а тут — забить гвоздями! Как далеко надо стоять от хлеба насущного, как очерстветь, чтобы такое пришло в голову!

— У нас ветряк никогда не заколачивали гвоздями! Окна заколачивали, а ветряк — нет!

— А теперь заколоти. Для тебя, для твоего же хребта будет лучше.— Ступач понизил голос.— А то сломаем твою глупую гордость и твой хребет.

Данило вскипел:

— Хребет сможете, а гордость вряд ли! Не старайтесь быть тем, что ломает хребет.

Ступач спохватился, полупримирительно поднял руку:

— Не обижайся на острое слово — за ним стоит правда.

— Не правда, а кривда ломает хребты.

Ступач поморщился:

— Как-то у нас с тобой никогда не получается разговора. Ты думаешь, я меньше переживаю за проведение кампаний?

Данило вздохнул.

— Может, и так, может, за кампании вы больше переживаете, только за кампаниями вы забыли тех, кто проводит их. Еще с зимы вы спрашиваете меня, вывезен ли навоз, отремонтирован ли инвентарь, очищены ли семена, в каком состоянии скот, и никогда не спросите, а в каком же состоянии люди, чем они живут, чем должны жить... Не приходило ли вам в голову, что мы должны прежде всего заботиться о человеке, о его дне сегодняшнем и завтрашнем, о хлебе насущном на столе и радости в душе? Я, например, никогда не ощущал вашей душевности в степи, в селе, может, вы оставляете ее в своем кабинете?

Ступач возмущенно хмыкнул: что же стоит за этими словами — человек или хитромудрая тень его?..

— Душевность — это сантименты, особенно в селе, где у каждого из нутра так и прет мелкий собственник.

— Так о чем же и беспокоится наше государство? Чтобы из вчерашнего мелкого собственника вырос новый хозяин земли — щедрый в деяниях, в красе и душевности человек.

Ступач саркастически взглянул на Данила.

— Сколько романтического тумана накопилось в твоем котелке. Из-за своей крестьянской душевности и разных архаизмов загремишь под гром! Хотел бы я увидеть, как ты тогда заговоришь о спокойствии, обивая пороги разных инстанций. Так вот, пока не поздно, впрягайся в график и тяни его, как черный вол: то есть немедленно сдавай хлеб!

— Вот и вся музыка,— вздохнул Данило.

— О какой еще музыке говоришь?

— О вашей, о вашем бубне, о ваших тревогах одного дня или одной кампании. У сельского хозяйства сотни вопросов, а вы их сводите только к одному. И принижаете этим людей и святой хлеб — гениальное открытие человека.

Под скулами Ступача задвигались два клубочка, но он сдержал себя.

— Заговорил, философ. А я твою философию снова должен бить практикой: немедленно вывози зерно, стремглав гони на ссыпной пункт все машины, всех коней и даже волов.

— Вот там бы пригодились ваши громы!

— На ссыпном пункте? Это с чего бы? — непонимающе пожал плечами.

— Потому что там, как у врат рая, стоят люди в длиннющей очереди перед одними весами. Но самое худшее не это, а то, что наш район вынужден сбрасывать в бурты даже влажное зерно и с болью смотреть, как оно начинает куриться дымом.

— Почему же куриться? — растерялся Ступач.

— Потому что есть такое страшное слово — самонагревание — и оно до тех пор будет пожирать наш труд, гноить хлеб, пока хлебоприемные пункты будут стоять под открытым небом. Подумайте над этим!

— А это уже не наша забота,— махнул рукой Ступач.— Пусть у них болит голова за свое, а у нас за свое. Что я должен доложить о выполнении плана?

— Повторите, что план будет выполнен и перевыполнен, что у людей уже есть черный хлеб и седая паляница.

Ступач хмыкнул:

— Седая паляница! Смотри, чтобы за эту паляницу голова не поседела. Вот закончил ты институт, а так и остался с одними хлеборобскими заботами.

— По-хлеборобски люблю родину.

— Вот тут вся твоя ограниченность как на ладони.

— Это слова не мои, а великого писателя.

Ступач скривился, пренебрежительно махнул рукой:

— Писатели тоже хоть кому забьют баки... Как будет с ветряком?

— Ветряк будет молоть, как и надлежит ему.

— Так, наконец, он же отрывает рабочие руки от жатвы!

— Нет, он дает в руки ту радость, которая так необходима и для жатвы, и для людей, и для политики.

— Даже для политики?! — удивился, но и смягчился Ступач.

— А как же! Не вам говорить, что душа нашего крестьянина еще не освободилась от страха перед природой, от страха за завтрашний день, и потому хлебороб сегодня еще сеет рожь в огороде. Хорошим общественным хозяйствованием, подходящей оплатой, сердечностью мы должны завтра освободить его от копеечных забот, от страха, должны сделать из него мыслителя, героя, творца. Это сам народ, мечтая о будущем, сказал: «И хлеба надо, и неба надо!» Вот об этом, о насущном и высоком, должны теперь думать!

— Вон куда мы залетели! Аж до неба! — улыбнулся Ступач.— Ну, крестьянский философ, может, в чем-то ты и прав, только не знаю, что скажут где-то о твоих художествах. Я категорически против них! Но, знаю, что ты слов на ветер не бросаешь, я в одном спокоен — план будет выполнен.

— И перевыполнен. А дождемся сентября, так еще, надеюсь, сдадим какую-нибудь тысячу сверх всякого плана.

— Почему же в сентябре? — недоверчиво встрепенулся Ступач.

— Потому что сегодня после озимых сеем горох и гречиху.

— А мне хотя бы слово сказал! — отразилось недовольство в уголках рта Ступача.— Что ж, это вы хорошо придумали.

— То-то и оно, хочется думать не об одном дне кампании, а смотреть немного дальше, не забывать о сложной жизни человека, о его радостях на земле и от земли, не забывать и о душевности.

— Опять то же самое! Это ты словно дятел долбишь. Не забыл, как у нас о дятле говорят? Днем он долбит и долбит, а ночью стонет, потому что от того долбежа голова болит. Смотри, чтобы и у тебя от той душевности голова не заболела. И чтобы ты знал — от душевности распускается народ и требует большего, чем имеет,— уже не сердясь, поучающе говорил Ступач, а про себя решил: из этого анархиста можно и два плана выбить. Обойдется без седой паляницы. Пусть попрыгает-поскачет, а мы будем на виду. Он подал Данилу тяжеловатую руку и пошел к бричке, возле которой стоял угрюмый кучер. Что-то и он имеет против него, верно, и ему надо душевности? Да откуда же ее возьмешь на всех? И это тогда, когда всюду столько врагов? Сказал было как-то об этом Бондаренко,

а тот будто с луны свалился: «Побойтесь людей и бога! Неужели мы только и делали, что выращивали врагов?..» Нет, надо все-таки укротить его норов. Своей самостоятельностью он взбунтует немало горячих голов. Недаром просил в райкоме: «Разрешите мне так похозяйствовать, как люди хотят, для эксперимента позвольте, ведь нельзя одному хозяйству заниматься тридцатью культурами — от жита и пшеницы, турецких бобов, мака и до петрушки и пастернака»... Вишь, даже рифму нашел, чтобы откреститься от мака. Так и сядешь маком с таким хозяином, тоже мне, экспериментатор нашелся! Хотя и умная голова, да к какому берегу прибьется или уже прибился этот ум? Теперь нам возле земли не мыслители, а исполнители нужны. Может, в дальнейшем и мыслители потребуются, но когда это будет...

Ступач обернулся, поглядел на ветряк, который весело открещивался от него, на упрямую фигуру Данила, что спешил к ветряку.

«Этот не в ветряк, а в тебя забьет гвозди произвола, а еще о душевности говорит. Будешь иметь, Прокоп, душевность, когда за розданное зерно кто-то начнет снимать с тебя стружку». Страх растопыренной пятерней вцепился в самую душу Ступача, и он теперь смотрел на ветряк и на горячее марево, дрожавшее за ним, как на своих врагов. «Ничего, вот как накинем селу удвоенный план, так ветряк и опустит крылья».

— Поедем,— подошел к кучеру, поставил ногу на подножку и носовым платком начал вытирать пыль с сапога.

— Можно и поехать. Ведь я вас, Прокоп Иванович, сегодня последний раз везу.

— Как это — последний?

— Теперь уродило, люди хорошо обживаются, вот и я вернусь к житу, к пшенице, к земле, потому как землю сам бог пахал.

— Это где же ты видел бога за плугом? — глумливо спросил Ступач.

— Не видел, а слыхал в песнях.

— Корчевать эти песни, этот архаизм и эту этнографию надо! Корчевать!

— Зачем же корчевать, когда там и об урожае, который нам уродит земля, так поется: «Из колосочка будет горсточка, а из снопика — мера». И в старину, видать, об агротехнике думали.

Ступач даже присвистнул от такой неожиданной «философии», а потом сокрушенно покачал головой:

— Темная ты ночь, темное село.

Кучер наершился:

— Хоть и темный я, а больше ваш зад возить не буду...

Выезжая на шлях, Ступач встретился с военкомом Зиновием Сагайдаком, который верхом ехал по укороченным теням лип.

— К своему любимчику, что ближе к житу-пшенице? — с насмешкой спросил Ступач.

— Да, вы юридический ясновидец,— не остался в долгу Сагайдак.— В нашем районе один живет ближе к житу-пшенице, а другой — к пирогу.

Ступач сразу скис:

— Это шутка или намек?

— Понимайте как хотите,— невинно смотрит на него Сагайдак.— Вольному — воля, а спасенному — рай. Как там Бондаренко?

— В добром здравии и в добром настроении. Но сегодня придется испортить ему настроение.

— Это ж почему?

Кого-то копируя, Ступач однообразно прогнусавил:

— Есть принципиальное мнение содрать с него удвоенный план. Он его вытянет, будет кряхтеть, но вытянет.

— Шутите? — насторожился Сагайдак.

— Правду говорю.

Военком нахмурился, соскочил с коня, кивнул головой, и Ступач неохотно слез с брички. Взвинченные, они подошли к липам, которые стояли в золотой дреме солнца, цвета и пчелиного звона.

— Прокоп Иванович, вы не первый год вертитесь возле сельского хозяйства, знаете, какие у нас большие трудности с селом, с хлебом, с трудоднем, с крестьянской долей. Знаете и то, как мы радуемся, когда тот или иной колхоз честно, без копеечных хитростей выбивается в передовые. Почему же вы хотите то хозяйство, что уже сегодня тянет бо́льшую ношу, чем другие, подорвать и сделать слабосильным?

— А крестьянство вообще надо ограбить,— холодно ответил Ступач.— Не бойтесь согнуть его перед алтарем индустриализации.

Смуглое красивое лицо Сагайдака вспыхнуло румянцем.

— Не поднимайте руку на жизнь! А вообще вы левак и невежда. Вас и на пушечный выстрел нельзя подпускать к селу, иначе мы превратимся в нищих.

У Ступача отвисла нижняя челюсть.

— Вы... вы крестьянский идеолог! — выкрикнул он.

— Не психуйте. Идеология у нас одна, а вот головы разные! Смените навар в своей.— И Сагайдак быстро пошел к коню, вскочил в седло и помчался не к Бондаренко, а в райком.

Ступач сразу догадался, к кому поехал военком, и бросился к бричке.

— Перегоняй его! — крикнул вознице.

А тот только одним усом ухмыльнулся:

— Да что с вами? Где уж клешне рака состязаться с конским копытом...

«Это он так сказал или на что-то еще намекает? Ох, это село...»

За водоворотом мыслей, что так и распирали голову, чуть не прозевал Михайла Чигирина, который пытался незаметно проскочить мимо него.

— А куда это так бочком, даже не поздоровавшись, собрался прошмыгнуть хваленый председатель?

Чигирин остановил живописных, с туманцем и серебром, коней, а на лицо натянул маску преувеличенной покорности. Тоже «продукт»!

— Я же вам махнул рукой, а вы не повели и ногой. Если меня обходят, то и я объеду.

Ступач подозрительно взглянул на председателя.

— Когда язык гуляет, то нижеспинная часть отвечает.

Чигирин охотно закивал бородой, в которую уже забиралась осень.

— Конечно, конечно, когда нет в языке ума, то его ищут ниже спины,— и краешком ока посмотрел на Ступача.

«Какие только черти не носятся в этих глазах! Если бы не твое бывшее партизанство, ты бы так не разговаривал со мною».

— Почему же это председатель не на жатве, а дорогу меряет?

Чигирин охотно ответил:

— Да вот ездил в район выбивать запчасти.

— В дни жатвы?! — даже залихорадило Ступача.

— Так это ж не лучшая ли пора: все на жатве, никто не обивает пороги инстанций, а ты ловишь момент,— снова

Чигирин говорит так, что уже и Ступач не понимает — это насмешка на языке или недород в голове.

— Какое же вы имеете право вырывать запчасти, когда надо жать, молотить и вывозить хлеб?! Это же государственное преступление!

Вот теперь маска покорности сходит со смуглого лица Чигирина, и оно становится упрямым.

— Почему это вы сразу ухватились за преступление?

— А кто же из председателей позволит себе такую роскошь, чтобы отлучаться теперь?

— Мало кто,— согласился Чигирин.— И я, став председателем, в четыре утра бежал на поле, а в двенадцать ночи падал на постель: все мне необходимо было проверить — и как закладывают корм скоту, и как доят коров, и как пашут-боронуют, и как стригут овец, и как сеют петрушку. За все хватался — на все не хватало времени, даже в газеты редко заглядывал. Тогда и крику у меня было много, а толку меньше. А теперь, когда организовал людей, поверив им, мы так работаем, что и в театр есть время поехать. Поезжайте хоть раз с нами. Билет бесплатный!

Этот «бесплатный билет» почему-то так возмутил Ступача, что все в нем задрожало: и внутри, и щеки, и веки, и ресницы. И хоть знал он, что завзятого противника страхом не возьмешь, невольно перешел на запугивание:

— Чигирин, вы кто мне? Председатель или?..

— Председатель, председатель, а не что-нибудь другое,— бесцеремонно перебил его Чигирин.— А вот кто вы мне — спрашивается в задачке? И в вашу голову, хотя бы в бессонницу, не залетала мысль, что вам никак нельзя быть у власти?

Чигирин попал в самое уязвимое место Ступача, который не представлял своей жизни без высокой власти. Хотя он сегодня в районе, а кто знает, что завтра уготовит фортуна? Недаром же он мотается повсюду, недаром то пишет бумаги, то нашептывает в разных инстанциях. И на этого черта донесет — смерил ненавистным взглядом Чигирина, а тот тронул коней, и они, играя, понесли бричку по теням липового шляха.

XIII

В луговой криничке, над которой верба держит молодой венец, купаются звезды, а месяц еще не забрел к ним. Он залезает сюда, будто обросший сединой дед забредает с са-

ком в ставок, что расположился по соседству с криничкой. И хотя сравнение месяца с дедом слишком вольное, Данило усмехается своим мыслям: «И взбредет же такое в голову!» Он подходит к окаймленному камышом, кугой и вербами ставочку и вправду видит, как из камыша полной луной выплывает седая голова деда Ярослава. Дед, кажется, не идет, а плывет по зелени, держа на плече плохонький расшатанный сак.

В далеком поле месяц рассеивает серебро и сон, отовсюду выходят копны и копенки. Старик поворачивает голову на восток и говорит, ни к кому не обращаясь:

— Вот и казацкое солнце взошло, а потом роса начнет выпадать. Какой же ты хороший, белый свет, да надо будет покидать тебя.— И нет сейчас на лице деда и тени горечи, а есть только одно спокойствие и грусть.

Данило подходит к ставку по осоке, что попискивает под ногами, пережидает, пока старик поговорит сам с собою, присматривается к камышинке, которой коснулась рыба, прислушивается к лепету ручья, что никак не уляжется на ночь, и от всего этого с него сходят накопившиеся за день усталость и зной.

— Дед, а что-нибудь стóящее есть в этой воде?

— А сейчас увидим, есть что-нибудь тут или, может, девчата поразгоняли все живое по камышам. Вечером тут купаются девчата с поля и звезды с неба, а ночью — одни русалки.— Старик поднимает выбеленную голову, хорошенько приглядывается к небу: что оно принесет завтра? И что-то родное, привычное и вечное есть в этом чтении небесного письма.

— Так как, к погоде или к ненастью? — подсмеивается Данило.

— К погоде! — убежденно и даже торжественно говорит старик и, весь в белом, выходит из камышей.— Хорошее в этом году лето, и зерном, и погодой хорошее. Жаль только, что в мои косточки забирается осень.

— Так зачем же вам бродить по воде?

Рыбак вздохнул:

— Если я в мои лета стану думать только о старости, то это уже не жизнь, а синяя тоска. Будешь купаться?

— Подожду, пока не поймаете свою золотую рыбку,— щурится Данило.

— Золотую уже не поймаю — не те года. Вот карася или линька наверняка добуду! А когда же мы с тобой поймаем полупудового карпа?

— Даже полупудового? Такого надо подождать. Двухсотграммовый уже есть.

— Люблю, когда вода пахнет рыбой, а не пиявкой.— Старик осторожно погружает сак в ставок, подводит ближе к берегу, нажимает ладонью на дужку, а ногой с топкого дна начинает загонять рыбу, потом проворно вынимает свою снасть, выходит с нею на берег и вытряхивает все, что есть в ней, на траву.— Теперь смотри!

В роголистнике блеснули, часто затрепыхались два карася величиной с ладонь.

— Не густо, но и не пусто,— говорит старик.— А было же когда-то здесь и воды, и рыбы! Ставочки один за другим, как монисто, блестели. Да поменьшало зверя в лесу, птицы в небе, рыбы в воде, а пчелы под ногой уже и совсем не найдешь.

— Вот обеспечим людей хлебом, тогда и за пчел да ставки возьмемся, не все сразу,— рассудительно отвечает Данило.

— Пока у бабы спекутся кныши[1], у деда не станет души. Вот за этим ставочком и другими ставочками когда-то я присматривал. Тогда чирки и утки к моим ногам подплывали, а сейчас, как очумелые, летят от человека. Теперь птицы ко мне только во снах подплывают. И почему мы такими немилосердными стали к птице или к тому же зайцу? Детям о нем сказки рассказываем, а сами истребляем его дочиста. Завтра придешь ко мне на рыбку?

— Вряд ли, дед. Жатва!

— Тогда я тебе на поле принесу. Все у вас нету времени. А вот у нас было и времени больше и нервов меньше. Иной раз смотришь: такое молодое, такое еще зеленое, а у него и это болит, и то болит, там хромает, а там жмет, еще и нервы треплет себе и другому. Мы что-то об этих нервах и не слыхивали.

— Вы так говорите, дед, будто у вас ничего не болело.

Старик задумался, что-то вспоминая.

— Да, болело, сыну, однажды и у меня. Поперек живота схватило.

— И отчего та боль взялась?

— Барский жеребец ударил копытом. А у него ж, проклятого, копыто было как ведерко.

Данило рассмеялся:

— Дед, это вы правду говорите или выдумываете?

— Сущую правду. Когда-то был я здоров, как гром, а

---

[1] Кныши — калачи.

вот теперь осень забирается в кости, в глаза — уже и нитку не вдену в иголку. Года, года...— Да и снова медленно, степенно, во всем полотняном, побрел в воду, нагнулся над саком, что-то прошептал ему, или камышу, или рыбе...

Мягкой луговой тропинкой Данило вышел на степную дорогу и направился не в село, а к ветряку, который так хорошо вписывался в окружающий мир. Там, под грохот жерновов, поскрипыванье снасти и теплый шорох муки, и захватит его короткий степной сон. Есть же блаженство на свете! Только надо понимать его. А разве не блаженство, когда между крыльями ветряка поднимается месяц и снова, пробиваясь из темноты, таинственно оживает, дымится степь?

По висячим ступенькам, которые скрипом пересчитывают каждый шаг, Данило поднимается на маленькое крылечко под двухскатной крышей и заходит в ветряк. От деревянного короба оборачивается старый, согнувшийся мельник, чуб его, взлохмаченные шмели бровей, усы и даже морщины на лице присыпаны душистыми пылинками свежей муки.

— Где же, Микола Константинович, люди?

— А люди отдыхают себе, потому что коротка ночка-петровочка,— всеми морщинками усмехается мельник, и с них осыпается мука.

— И вы сами засыпаете, сами и мелете?

— А как же! Это мое время — жатва! — Старик теплым взглядом обвел мешки, что, словно ночлежники, улеглись вокруг мучника.— Заночуешь у меня?

— Заночую, если не наскучил.

— И не говори такое,— погрустнел мельник.— Сыновья мои разъехались по морям-океанам, и им уже не до старого ветряка, не до старого батька. Даже письма ленятся писать, все бьют телеграммы. А я почему-то этих телеграмм и до сих пор боюсь, кто знает, что они могут принести. Ты же слыхал, что мой старшенький уже пароход водит?

— Слыхал, Микола Константинович.

— На том пароходе, пишет, может уместиться все наше село, даже с хуторами и приселками. Просил приехать к нему на море, да я никак не могу оставить свой ветряк: врос в него телом и душой, да и конец. У меня есть дыня-кочанка, может, попробуешь? Медом пахнет. Что значит летушко! — Старик подошел к ящику для зерна, взял оттуда дыню, полоснул по ней ножом, и запах меда сразу перебил запах муки.— Летушко! — снова повторил мель-

ник, поставил вверх дном ящик, положил на него дыню.— Это не то что зимняя луковица.— Потом выгреб муку из мучника, завязал морским узлом мешок и похлопал его, как любовно похлопывают рукою детей.

Так и живет человек на свете возле крыльев — в работе, в любви к хлебу насущному, к человеку, к слову человечному, и есть что-то святое в его руках, когда он по ступенькам поднимается к коробу и засыпает зерно или когда прислушивается к теплому шепоту муки да лёту крыльев.

Возле ветряка загромыхали колеса, потом послышался веселый девичий смех. Мельник повернул седую от старости и муки голову к раскрытой двери:

— Еще кто-то молоть подъехал. И ночи не доспал.

Вскоре на пороге, пересмеиваясь, появились Ярина и Мирослава.

— Добрый вечер, дедусь! Вы прямо как с кино сошли! Как у вас дела? Не простудились на всех сквозняках? — сразу же затараторила Ярина.

— Не знаю, кто мотается на всех сквозняках,— ласково смотрит старость на молодость.

— Смелете мне?

— Если на свадебный каравай, то не только смелю, но и спеклюю.

— О, такое вы, дедусь, скажете! Мне надо на галушки смолоть.

— А когда, Яринка, на каравай? Дуришь-дуришь хлопцам головы, а свадьбу все откладываешь. Уже, пожалуй, и под венец пора.

Ярина зарделась, потом лукаво повела бровями, поднялась на цыпочки, что-то прошептала старику на ухо, и оба расхохотались. А Мирослава, удивляясь, заметила Данила:

— И вы тут?

— И я тут, товарищ агроном.

— Данило Максимович очень любит ветряк и его хозяина,— защебетала Яринка, уже неся зерно к коробу над жерновами.— Они, отчуравшись на все лето от своей хаты, даже ночуют здесь: бросят на топчан сена и не унывают.

— В самом деле? — не поверила Мирослава. Она, покачиваясь, стояла в дверях ветряка и собирала на волосы еще ранние лунные лучи.— Как же в таком грохоте можно уснуть?

Данило дружелюбно поглядел на девушку:

— Этот шум я полюбил с детства. Так славно было,

еще с мамой, прийти на ветряк, обшарить все его закутки, прижаться ухом к королю или стать возле самих крыльев, чтобы они поднимали твой чуб вверх, а мысли до неба.

Улыбка легла на девичьи уста.

— Вы так это сказали, что и мне хочется прижаться к королю.— Она руками и станом припала к этому диво-дереву, которое держало на себе весь ветряк.

— Как оно?

— Гудит, как беспокойная судьба.

— А нам время не дало тихой судьбы.

Мирослава удивленно подняла ресницы, а ухом еще крепче прижалась к королю.

— Гудит! Будто сердится на меня.

— На добрых людей никогда не сердится душа ветряка,— отозвался сверху Микола Константинович.— Это я знаю, потому что свековал возле крыльев.

— Может, пойдем к крыльям, возле которых шарят ветры?

Мирослава вопросительно посмотрела на Данила: не подсмеивается ли над ее доверчивостью?

— Пойдем!

Девушка осторожно, словно в холодную воду, спускалась по скрипучим ступенькам, а месяц и тени играли на ее лице, на волосах и легоньком платье, которое успело пропитаться духмяными запахами ветряка. Данилу показалось, что он уже давно-давно знает Мирославу, ее лунные волосы, ее легкую девичью походку, таящую в себе что-то неразгаданное, женственное. Когда подошли к крыльям, ветер снизу подхватил девичьи волосы, и они поднялись золотым снопом вверх.

— Ой! — сначала испугалась Мирослава, схватилась обеими руками за волосы, чтобы не унесло их куда-то, потом засмеялась и отступила от ветряка, который наматывал и наматывал на свои крылья лунную ткань.

— Неужели, Данило Максимович, можно век прожить возле крыльев ветряка?

— Было бы счастьем: прожить век возле крыльев!

Мирослава пристально взглянула на Данила:

— Это уже литература?

— Нет, убеждения. Разве плохо свековал наш мельник? Без суетни, без шума, без житейских дрязг. Он всю жизнь старается дать людям теплый, как душа, хлеб, и все чувствуют к старику только любовь. И когда вы где-нибудь прочтете о библейских пророках, то вспомните доброго седого мельника возле поседевших крыльев.

— Это, может, и так. Но уже скоро не будет ветряков и таких, похожих на пророков, мельников.

— Тогда, наверное, более грустными станут наши степи,— задумался Данило.— Не везде должен брать верх практицизм, особенно тот, который выматывает из нас душевность. И все равно на каждой работе мы должны думать о крыльях, иначе серенько, осенним туманцем, пройдет наша жизнь. Как тебе? Не скучно у нас?

— Возле чернозема да возле зерна не заскучаешь,— искренне сказала Мирослава и снова ухватилась руками за свой сноп, которому не было покоя от крыльев.

Данило усмехнулся:

— Много же у тебя кудели.

— У моей матери было еще больше,— и грустные воспоминания сковали глаза Мирославы.— Вы тоже без матери?

— У меня только вишня на кладбище вместо матери.— И Данило повернул голову к невидимому кладбищу.— Откуда бы и когда бы ни приходил я, она всегда открывала мне двери. А теперь некому их открывать.

Они еще молча постояли возле ветряка, что гудел внутри, стараясь дать людям доброго хлеба, а снаружи рвался и рвался вверх, наматывая на крылья ветер и ночь. Неожиданно возле них низко прогудел шмель и упал в клевер, росший возле ветряка.

— Видишь, какой работящий! — Данило опустил глаза к клеверу.

— А вы слыхали, что шмели даже в заморозки, когда пчелы уже давно отдыхают, собирают мед?

— Нет, об этом не слыхал,— и потянулся к девичьим глазам, к ее снопу волос, к тоненькой фигурке, которая и теперь, возле неспокойного шума крыльев, чуть-чуть покачивалась, и было в том покачивании что-то пленительное и манящее.

— Шмелей надо беречь,— сказала крыльям, что так и норовили поиграть девичьими волосами.

«И тебя, русалка, тоже надо беречь»,— подумал Данило немного с сочувствием, немного с доброй насмешкой: ему вспомнился тот ставочек, где вечером купаются девчата и звезды, а ночью — одни русалки.

А ночь и дальше брела убаюканной степью, сверху осыпала ее росой, а снизу трещала стотысячным стрекотаньем кузнечиков. За клевером белым половодьем стояла гречиха, над ней во вдовьем одиночестве грустила груша-дичок,

а возле нее перепелка отчаянным голосом сзывала своих деток, которых растеряла на сжатом поле.

Такова жизнь: то мать растеряет детей, то дети остаются без матерей. И все равно кто-то нам должен открывать двери. Но кто? Не эта ли рука, что под крыльями придерживает волосы? Что же в тебе, девушка? Доверие наполовину с тревогой и влажные глаза, пересохшие губы, что боятся любви, что жаждут любви, и неуемная страсть к своему делу... А больше всего ей хочется сеять. Вот сейчас взялась за люцерну. Уже и подсчитала ему, сколько пожнивный укос даст им травы. Такая, верно, и на полюсе начнет что-нибудь сеять или сажать.

Теплая волна подкатилась к сердцу Данила, и хорошо стало ему с этим старым ветряком, с мельником в нем, с людьми, что вечером приезжают сюда, а днем — на жатве, и с этим златокосым комочком крестьянской судьбы, Мирославой, у которой руки, когда она хватается за волосы, становятся похожими на голубей. Куда же они залетят, эти голуби, и кто их будет лелеять или обижать?

— А знаете, славно! — вдруг отозвалась Мирослава.

— Что славно?

— Эта степь, этот ветряк, эти крылья, что так просятся в музыку, в душу! Почему я раньше не понимала их?

Из ветряка вышла Ярина, на плечах у нее лежал мешок, на груди — коса.

— Мне уже пора домой,— сказала Мирослава.

Данило подошел к Ярине, снял с ее плеч мешок.

— Надорвешься. Не можешь подводы подождать?

— Так я хочу еще сегодня наварить вам галушек,— слукавила девушка.

— И не поленишься варить ночью?

— Чары всегда варят ночью,— взглянула одним глазом на Данила, другим — на Мирославу.

Что ты скажешь такой беззаботной? Данило помолчал, еще поглядел на ветряк, который наматывал на крылья кудель месяца и время. Что только он говорит нам?..

Вдруг где-то на самых дальних дорогах, что спускались к старому лесу, красиво взметнулась песня парней:

Ой у полі криниченька,
Там холодна водиченька,
Там холодна ще й погожа,
Там дівчина так, як рожа.

Ярина остановилась посреди дороги, положила руку на плечо Мирославы:

— Это наши Роман и Василь песню выводят. Едут на конях да и поют всем степям и бродам. Такие они удалые у нас!

— Как славно летит песня над степью,— заслушалась Мирослава.

А Ярина приложила ладони ко рту и изо всех сил крикнула в степь:

— Роман! Василь! Ау!

Песня оборвалась, вмиг стрельнули конские копыта, и вскоре из полуночного марева вылетели два всадника. Данило, Ярина и Мирослава сошли с дороги, а всадники, долетев до них, вздыбили одномастных коней и засмеялись.

— Опришки! Ветрогоны! — прикрикнула на них сестра.

— Ярмночка, не сердись, а то сердитые быстро стареют. Добрый вечер, Данило Максимович! А чья это девушка? — делают вид, что не узнали Мирославы.— Не из нашей ли песни вышла: такая пригожая, словно цветок?

— Заболтали, зашумели,—гневается или делает вид, что гневается на братьев, Ярина.— Вот лучше муку возьмите.

— Да мы и вас можем взять на коней.— Роман, пригнувшись, подхватил Ярину, та завизжала и вырвалась из рук брата.

— Шальной! Недаром вас даже мама так называет.

— Это же любя, Яринка. Мама и тата обзывает то усачом, то ошалелым, а сама и до сих пор сохнет по нему. Правда же, девушка милая? — горбоносые красавцы тряхнули буйными чубами и поглядели на Мирославу.

— Опришки! — улыбнулась им девушка.— Спойте лучше.

— А какую? — соскочили хлопцы с коней.— У нас больше всего любят про любовь. Вы вот эту знаете? — Роман прижался плечом к плечу брата и задушевным, сердечным голосом спросил у далей:

Червоная калинонька,
А біле деревце,
Чом не ходиш, не говориш,
Мое любе серце?..

И притихло все в степи перед чарами голоса, перед болью чьего-то сердца.

Когда Роман оборвал песню, Ярина деланно вздохнула, глянула на брата и прошептала одно слово:

— Артист.

— Замолчи, болтливая! — Роман грозно вытаращился на сестру, а Василь усмехнулся, поднял бровь, точно так, как отец.

Мирослава догадалась, что Яринка намекнула на какую-то комическую историю, одну из тех, которые, кажется, никогда не переводились в жилище Гримичей.

— Что это вы скрываете, Роман?

— Эге, так он и скажет,— прыснула Ярина.— Кому хочется свою персону выставлять на посмешище.

— Так тогда же Роман еще ребенком был,— примирительно сказал Василь.— Расскажи, брат.

— Наверное, придется,— смягчился парень и глянул на сестру.— А то если не расскажешь сам, так это зельечко приврет, словно цыганка на ярмарке...

— Эге ж, эге ж,— будто согласилась Ярина и подперла ладонью щеку.— Говори уж, если язык не присох к зубам.

— Так вот, лет восемь тому назад наш драмкружок ставил агитку: «Урожай при царях и при власти рабочих и крестьян». Чтобы всем было ясно, как родилось при царях и как родится теперь, каждую культуру мужского рода обозначали мальчик и парень, а женского рода — девочка и девушка, мелюзгу втискивали в мешочек, взрослых — в мешки, которые завязывали под самым горлом, а в чубы и косы всовывали колосья ржи, пшеницы и других злаков. На мою долю выпало играть роль дореволюционного ячменя. Завязали меня в мешочек, поставили рядом с дебелым Владимиром Клименко и приказали молчать до конца спектакля. Стою я, стоят завязанные дореволюционные и теперешние культуры, а руководитель драмкружка тычет в нас палочкой и какие надо цифры называет. Надоело мне стоять под этими цифрами и все терпеть, как бы не рассмеяться: ведь с переднего ряда то мать любуется мною, то отец усом подмаргивает, то школяры тычут пальцами в тебя, словно ты с луны свалился. Переминаюсь я с ноги на ногу, вдруг вижу: Клименко задремал в своем мешке. От этого дива я и засмеялся тихонько, а тут, как на грех, именно в это мгновение замолчал руководитель, и все услыхали, как я оконфузился. Вот и пошел гулять по рядам смех. А как уж отец с матерью хохотали, то и не спрашивайте. После спектакля собрались мы в хате, сели за стол, а тато так дружелюбно смотрит на меня и говорит:

«Не ожидал, сыну, что у тебя такие способности к игре на сцене».

«Какие там способности,— отнекиваюсь я, а в душе что-то и ёкнуло.— Мне же и слова не дали сказать».

«Что там слова, если ты стоял лучше всех и в самом деле был похож на ячмень».

«Да кто же меня видел в том мешке?» — верю и не верю я.

«Все видели! Вот пусть наша мама скажет».

«А как же, а как же!» — ласково отзывается от печки мама, и только Ярина кривит и зажимает рукой рот.

«А как уж ты засмеялся, так всех развеселил,— продолжает отец,— сказано — талант!»

«Ой тату...» — еще отнекиваюсь, а в голове на радостях мотыльки кружатся.

«Вот сам подумай: кто-нибудь хоть раз засмеялся, когда твой руководитель все слова говорил и во всех тыкал палочкой? Тебе же достаточно было прыснуть — и всех развеселил. А если бы еще запел? У тебя же вон какой голос! Так что, сын, прямая тебе дорога в артисты».

И тем словом отец доконал меня, ибо нам всем мамина колыбель и степь голоса набаюкали.

После вечери тато со мной пошел спать на сено, и там, наедине, я отважился спросить:

«А что надо, чтобы стать артистом?»

Отец недолго думая ответил:

«Поехать в Киев к нашему дядьке Миколе, который в театре играет комедии, он тебя и определит в артисты».

«Как же, тато, доехать до того Киева?»

«Вот чего не знаю, того не знаю, да у нас сейчас и денег не густо»,— сказал тато и погрузился в сон.

Мне же из-за этого театра не спалось до третьих петухов. Через несколько дней решил я зайцем проехать к дядьке Миколе. Только в Виннице на станции отец перехватил меня. А эта языкастая,— погрозил взглядом Ярин-ке,— и до сих пор дразнит меня артистом...

— И очень ругал вас тато? — улыбнулась Мирослава.

— Да нет. Обнял меня и говорит: «Разве ж можно, сыну, ехать босиком в артисты? Да и Киев не село, там ноги по камням протрешь. Как разживемся тебе на хромовые со скрипом сапоги, чтобы все даже по сапогам слышали тебя, тогда что-нибудь придумаем».

— Такой уж у нас батько добрый, что и в мире не найдешь,— с чувством сказала Ярина.— Даже меня никогда не ругал.

— А жаль,— уколол ее Роман.— Вот по ком березовый веник плачет.

Близнецы вскочили на коней, поехали, и вскоре над степью зазвучали два голоса, изливая тоску по тем двум голубям, «що пили воду біля млина, біля броду».

— Чем не красавцы! — неожиданно вырвалось у Ярины, которая провожала взглядом братьев.

— Как же хорошо на свете! — и Мирослава прижалась к Ярине.

XIV

Земля отдала людям, что могла отдать, и то ли из жалости к себе, то ли из жалости к людям заплакала осенней слезой и неспокойно погрузилась в зимний сон. Ох, как люто, на бешеных круговертях ветров, наступал этот сон. Сначала ветровеям и метелице хотелось приподнять, сорвать с насиженных мест перепуганные хаты, разметать золото скирд и ударить в набат певучей медью колоколов. А потом они утихомирились, поскатывались, притаились в яругах, и теперь люди бредут по колено в снегу, что рассыпает по вечерам крошки серебра и покачивает голубые дымы и васильковое цветение.

Как хорошо сейчас вокруг! Нарядные, в белых свитках, хаты притихли, словно девчата перед свадебным танцем. Вот ударит бубен луны, хлестнет смычком ветерок, и они поведут свой хоровод зачарованными долинками, левадами, садами — все выше да выше — и выведут его аж на тот шлях, по которому минувший век проскрипел чумацкими мажарами, а век нынешний, как молниями, блеснул казацкими саблями Котовского и Примакова.

А что теперь делает червонный казак Терентий Иванович Шульга? И Данило, вспомнив недавнюю бывальщину, невольно остановился у придорожной вербы, погладил рукой обмерзший ствол. А тот сверху стряхнул на него дым изморози, а снизу отозвался гудением — это ветерок проснулся в дупле и снова задремал как дитя. А вон кто-то между вербами виднеется, поскрипывает чеботками и роняет на снег обрывки песни. Чья же это, такая поздняя?

И долгое ожидание, надежда или предчувствие отозвалось в нем, и откуда-то, то ли из изморози, то ли из ночи, затрепетали те ресницы, за которыми таился синий вечер. В дупле снова шелохнулся ветерок, а на шляху утихла песня. Где же та девушка, что как будто шла навстречу? Данило пошел дальше по дороге, да на ней уже не было

ни девичьей фигуры, ни песни. Вот так оно и бывает на твоем пути...

И вдруг внизу, на крохотной левадке, что подбежала к самой дороге, он услыхал характерное шипение, взглянул и не поверил своим глазам: на накатанной полоске льда, что словно полыхала холодным сиянием, одиноко в кожушке нараспашку каталась знакомая фигурка. Вот она пошатнулась, чуть было не упала, выпрямилась почти у самой земли, засмеялась и, изгибаясь тонким станом и играя разведенными руками, легко заскользила по ледяной дорожке, извлекая из нее шуршание и нежный посвист; за плечами девушки покачивался залитый лунным светом сноп пшеничных волос, который так напоминал ему запахи прошлого лета.

Данило, прижавшись к сгорбленной вербе, с восхищением следил за девушкой: ишь что выделывает, будто маленькая. А он-то думал, что она не по-девичьи серьезна: то ли от институтской науки, то ли о́троду. Не раз пытался объясниться с ней, да девушка в такие минуты сразу становилась будто натянутая струна и пугливо сторонилась его. А когда он хотел проводить ее после праздника урожая, то увидел, как вдруг на ее лицо набежала тень, она замкнулась, а на пересохших, сжатых губах ее прочитал: «Бессовестный». Это тогда ошеломило его: отчего она такая? Верно, первая любовь или увлечение обожгло ее, и потому избегает любого взгляда, любой привязанности. А вот тут, на безлюдье, в зимнем сне, на какое-то мгновение она стала сама собой.

Вот девушка вылетела со льда на снег, ойкнула, упала, лежа оправила юбчонку, засмеялась, потом вскочила на ноги и начала весело отряхивать одежду и волосы. Сколько же в ней детской и девичьей пленительности! Вот тебе и строгий товарищ агроном, который все почему-то придирался к нему и даже бросался такими словами, как «хуторянство», «консерватизм», «топтание агромысли»! А какие мысли теперь играют под этим пшеничным снопом, что так и искрится под луной? И пойдет он в чье-то жилище солнечным утром, а фиалковые очи засветятся добрым доверием... Данило ловит себя на том, что будет жалеть, если это синеокое утро минует его душу, его хату. Что это?.. Зимняя сказка... или судьба? И так славно вспомнился тот вечер возле ветряка и те крылья, которые поднимали вверх ее волосы. Чем они пахнут теперь? Тогда от них шли запахи ветряка и грусть маттиолы. А как бы он хотел, чтобы от них повеяло чернобривцами его заброшенного двора,

чернобривцами его матери, которую он встречает только в воспоминаниях и снах.

Данило, держась за вербу, осторожно по ее голубоватой тени спускается с дороги на левадку, а Мирослава снова шуршит чеботками по ледяной дорожке, собирая и стряхивая со своего пшеничного снопа лунные чары. Вот ей не только кататься, но и танцевать вздумалось. Напевая «Метелицу», она закружилась на снегу, а потом по-мальчишески, на подковках, вылетела на лед и снова закружилась, раскачивая колоколом юбчонку.

— И что это наш товарищ агроном вытворяет ночью?

— Ой, мамо! Ой! — испуганно зазвенел голос девушки, она оборвала танец, обернулась к нему, и стыдливость окрасила румянцем ее лицо.

— Так что ты вытворяешь, девушка? — Данило подходит к ней, а она закрывает лицо руками и вздыхает.— Ты не молчи мне, а что-нибудь отвечай, если старшие спрашивают. Не протерла на льду чеботки?

— Пока не протерла,— наконец выпускает из-под рук слово.

Данило осторожно кладет свои ладони на ее, отводит их от лица и, пораженный, застывает: теперь не смущение, не стыдливость, а одно лукавство засветилось бесенятами в ее глазах. И пропало. И откуда оно? А лукавство снова вернулось к ней, еще и зазвучало насмешкой:

— А вы, товарищ председатель, не хотите покататься под луной? Это так славно...

— И когда падаешь, тоже славно?

— Тоже хорошо, потому что тогда искры и звезды кружатся в глазах.

— Ты уже докружилась до того, что и руки окоченели. Где твои рукавички?

— Рукавички?.. В дороге,— ответила неуверенно и почему-то посмотрела на шлях.

Он снял свои:

— Может, эти согреют?

Мирослава прыснула.

— В такую рукавицу ягненок влезет. Кто это вам связал их?

— Дед Гримич. Он все на вырост делает.— Неумело начал надевать ей свои рукавицы, и удивительно — девушка не упиралась, а притихла, только дрожь прошла по ее телу.

— Ты же совсем замерзла.

— А для чего тогда зима?

— Да уж не для того, чтобы после катания каплять на печке. Сейчас же пойдем ко мне, хоть чаем тебя напою.

— Вы даже чай умеете готовить? — снова с лукавством смерила его взглядом.

Данило удивленно повел бровями:

— Где ты вместо слов шершней нахваталась? Или это только для меня?

— Ой, нет,— качнула Мирослава головой и своим снопом, подняла руки и усмехнулась рукавицам.— Торчат, как кувшины на кольях.

— Так пошли.

— А если кто-нибудь увидит? — вдруг вся игра слетела с девичьего лица, и теперь на нем отразились растерянность и беспокойство.

— Если кто-нибудь и увидит, то только позавидует мне,— вырвалось у него.— Хоть на мою хату посмотришь. Она у меня весь год чернобривцами пахнет.

— Это... память любви? — неожиданно спросила Мирослава.

— Память любви к матери. Как рученьки? Отошли немного?

— Еще нет.

— Пошли?

— Мне боязно,— доверчиво взглянула, встревожила и порадовала его.

— Почему же тебе боязно?

— Это вам лучше знать... Так же нельзя.

— Почему нельзя? Ты ведь не первый день знаешь меня.

— Лучше пойдем к татарскому броду, к Гримичам.

— Нет, ко мне. Я не хочу завтра гнать коней за врачом.

И девушка обожгла его:

— Так уж коней жалко?

— И тебя немного,— он положил руки на девичьи плечи, повернул ее к луне.— Вон там и стоит моя хата, а ворота возле нее стонут чайкой.

Мирослава из-за плеча пристально взглянула на него.

— А чья-нибудь девичья доля из-за вас не стонала чайкой?

Он понял ее опасения.

— Такого, девушка, не было. И если есть у тебя ко мне доверие, не называй на «вы»,— он взял ее присмиревшую руку, и они с левады повернули на ту улочку, где плетеные тыны и вербы-подростки возле них вели к полузабытому жилью. Шел и любовался девушкой, снопом волос,

походкой, легкой и красивой. Откуда же ты взялась? С какого поля, из какой песни? И казалось, что у него уже был такой вечер надежд и притихшая от испуга девушка возле него, которая не знает, за что держаться рукой — за нежные, в изморози, вербы или за сердце.

Вот и его ворота. Мирослава, опережая Данила, открыла их, и они действительно застонали чайкой.

— Как в сказке,— удивилась и чему-то обрадовалась девушка.

Подойдя к окну, на котором комочками дремали лунные блики, навевая сон, Данило постучал.

— У вас кто-нибудь живет? — испуг пробежал по лицу Мирославы.

— Нет.

— А зачем же вы стучите?

— Вспоминаю свою маму. Она всегда на стук открывала мне двери. А теперь некому.

— И это тяжело, Данило? — сама не заметила, как назвала его по имени.

— Тяжело, Мирослава. А ключ у меня всегда лежит на завалинке под вербовой дощечкой, под той, о которой девчата весной поют: «Вербовая дощечка, дощечка, там ходила Настечка, Настечка...» — И Данило снова вспомнил не вербовую дощечку, а вербовую ногу Шульги: «Надо наведаться к нему и Диденко, какого-нибудь гостинца отвезти».

Данило открыл двери дома. Мирослава, все еще с опаской, вошла в темноту хаты.

— Вправду, тут сентябрем и чернобривцами пахнет. Вы любите их?

— Очень. И люблю, когда девичьи косы пахнут чернобривцами.— И Данило незаметно коснулся ее волос.— Представляешь — снег и чернобривцы!

Он зажег свет, и гостья сразу же подошла к фотографии матери, перед которой светился сноп жита.

— Это ваша мама?

— Мама.

Мирослава погрустнела:

— И у моей были такие добрые глаза. И называла она меня почему-то Журавкой.

— А моя часто пела о журавке... Что-то необычное было в ее характере. Она уже с рождества высматривала весну, любовалась первым подснежником, прислушивалась к пению зерна, к шепоту маковок, ко всей земле. И к колосу, и к траве, и к деревцу у нее была своя излюблен-

ная речь, своя песня. Больше всего пела на лугах, где столько пернатых находило приют и в траве, и на берегу, и на воде. Бывало, глянет на какую-нибудь хохлатенькую чаечку или на выводок диких утят, что плывут за уткой, и вздохнет: «Боже, как это славно, когда есть крылья», да и запоет тихонько траве или копенкам:

А журавка ходить
Та пір'ячко ронить...

А ты, малый, сразу и увидишь и журавля на журавлином броде, и журавочку, и двух ее длинноногих деток. Мать не раз, утешая меня, говорила, что в мою подушку зашила журавлиные перья. Это чтобы в сон приходили пернатые, травка, поля, а не всякая погань.

— Добрая и тихая мать,— вздохнула Мирослава.

— Что добрая, то добрая, а вот что тихая — не знаю. Однажды она удивила всех односельчан. Это случилось в двадцатом году. Возле самого села партизаны саблями врубились в банду Гальчевского. Это была до зубов вооруженная свора, верховодил в ней ученый жестокосердный главарь, который грозился вырезать большевиков до седьмого колена. Когда помчались огородами и улицами кони без всадников, я с мамой вышел во двор. А к нам на взмыленном коне подлетает разгоряченный в битве партизан Михайло Чигирин,— ты знаешь его: он теперь в нашем районе председатель колхоза,—и еще с улицы кричит матери: «Ганна, помоги раненым — вынеси полотна перевязать раны!» И соскакивает со своего вороного, ведет его на подворье. А конь даже шатается от усталости.

«Где же я тебе полотна возьму? — сразу опечалилась мать.— Все отдала то за пахоту, то за хлеб».

«А может, где-нибудь завалялось? Беда хлопцам — лежат на белой гречихе, а гречиха уже красной стала».

В хате мать бросилась к сундуку, да разве найдешь то, чего нет?

«Что ж, такое дело...— склонил голову Чигирин.— Придется богатеев обыскать! А так не хочется, чтобы на таком полотне была чужая брань да нарекания».

«Подожди, Михайло»,— вдруг спохватилась мать, застыла на какое-то мгновение, а потом метнулась к образам, встала на скамью и начала снимать рушники с икон.

«Ты что, добрая женщина?» — удивился, не поверил Чигирин.

«Ничего-ничего,— успокоила его мать.— На этом полотне не будет ни брани, ни нареканий — оно святых обвивало...»

— Вот это да...— широко раскрыла глаза Мирослава: в них входили далекие видения.— И что же дальше было?

Данило вздохнул:

— А дальше она все ждала батька, ждала даже после того, как дошли слухи, что он убит. И голос ее с каждым годом грустнел и грустнел. Незадолго до смерти она как-то попросила меня: «Данилку, спой мне песню о журавке, что «ходить та пір'ячко ронить», я уж почему-то нынче не могу...»

Последний путь матери люди от хаты и до кладбища устлали цветами. А над ее крестом всегда висит рушник, и зимой, и летом машет своими крыльями...

— Вот и думай себе, что такое жизнь...— зажурилась девушка.— А зачем вы перед фотографией матери поставили жито?

Данило грустно поглядел на Мирославу.

— Потому что вся жизнь моей матери прошла в жите или возле жита, возле черного хлеба и на бесхлебье. Так вот, наверное, возле житечка, на вспашке, на севе, на жатве пройдут и мои, и твои года, если конторы или замужество не уведут тебя от нивы и перепелки в ней.

— Надеюсь, не уведут! — убежденно сказала девушка и испытующе посмотрела на Данила.— А для вас главное в жизни — жито, перепелка в нем да жаворонок над ним?

— Крестьянская доля! — задумчиво ответил Данило и на вопрошающий взгляд Мирославы невесело улыбнулся.— Это может показаться нудным или недалеким, как определил большой знаток параграфов и планов судеец Ступач.

— Расскажите! — шепотом велела Мирослава и стала ближе к снопу.

— С чего только начать? Мне и поныне кажется, и, наверное, всегда будет казаться, что сквозь мою душу, сквозь мои очи, сквозь мои боли и надежды прошла история крестьянской судьбы и печаль житечка, которое и до сих пор не может накормить людей. Это, верно, потому, что не успел загрубеть, хотя и немало видел грубого, даже жестокого в селе. Так вот, о крестьянской доле, о крестьянских надеждах: убогими, страдающими, придавленными были они. Каждый день сердце хлебороба охватывал страх и перед податями, и перед нищетой, и перед силами природы. И только в песнях пробивался не такой уж и большой свет надежды, что у самого бога можно выпросить счастье: жита на хлеб, пшеницы на паляницы, а еще — гречки на вареники. Как видишь, не так-то и много просили кре-

стьяне у бога. А теперь мы сами должны стать теми богами, которые вершат крестьянскую судьбу, выводят хлебороба в мир большого урожая, в мир больших надежд и душевности. Ты не раз, верно, грустила, слушая песню о бедной вдове, которая засеяла свое поле, заборонoвала и слезами полила. Так разве не стоит посвятить свой век тому, чтобы ни слезы, ни нужда, ни бесхлебье не сгибали ни вдову, ни сироту, ни всю крестьянскую судьбу? Так я понимаю неписаный указ нашей державы, так я понимаю и свой незаметный, но ревностный труд.— Данило беспокойно взглянул на девушку: не подумает ли, что он какой-то болтун? — И, уже посмеиваясь над собой, закончил: — Поэтому, если учесть вышесказанное, не придется мне грубые крестьянские сапоги менять на модельную обувь.

— Хорошо сказали вы обо всем, кроме модельной обуви. О чем-то таком думала и я. Только все ли поймут вас, романтику вашу? Недоверчивый еще наш крестьянин, ох, какой недоверчивый.

— Не все, Мирослава, сразу приходит. Будет правда — придет и вера! Лишь бы только ложь не взяла нас за горло. Кто бы из крестьян еще несколько лет назад поверил, что их дети прямо в полотняной одежде, в лаптях, а то и босиком пойдут в высокую науку? Будь моя воля, я из чистого золота поставил бы памятник тем людям, то есть большевикам, которые догадались по разверстке комитетов крестьянской бедноты посылать учиться малограмотную молодежь на рабфаки, а потом и в институты. Там как целину пахали — тяжело давалась нам наука, но мужицким упорством, бессонницей одолевали все и выходили в люди. Такого ни в каких кембриджах и оксфордах не бывало. Ты же не можешь представить себе, чтобы порог Оксфордского университета переступил парень в отцовской киреe и лаптях!

Мирослава бросила взгляд куда-то вдаль, засмеялась.

— Тоже хорошо! А сами вы получаете радость от своей каждодневной работы? Или тянете ее, потому что привыкли тянуть?

— Спрашиваешь, не черный ли я вол, что тянет свое ярмо? Эта мерка не для меня, потому что чувствую в руках жажду труда, кажется, понимаю и радость поля и радость хлеба, но не хуторянскую, где все, даже бессмертное зерно, охраняется полупудовыми замками и собаками, а ту, от которой яснеют людские глаза и ширятся надежды. Ты, конечно, слыхала старинную легенду о евшан-зелье, о безграничной любви к своей земле. Так оно во мне есть, это

евшан-зелье. Такая любовь, от которой крылья на плечах рубашку рвут! А ты про подъяремного вола подумала,— и искренне, по-мальчишески, засмеялся.

Засмеялась и Мирослава.

— Говорите, говорите, Данило.

— О чем же тебе еще?.. И кроме очень больших есть меньшие, только свои радости: это когда тиховейно сеется зерно и пробиваются всходы, когда маленькими корабликами плывет по полям молодой горох, когда звенит цветом и музыкой гречиха, когда девичьей рукой зовут кого-то к себе метелки проса и когда стоит тихий звон созревшей нивы. Каждый день в широком поле чем-то меня волнует, радует, потому что сросся, сроднился с ним. Я недавно услыхал крылатые слова нашего большого ученого об ученых: «Мы должны стоять на глобусе». Вот и крестьянство наше тоже должно стоять на глобусе, обсеивая мир зерном жизни. Так ты, верно, догадываешься, что у меня есть чем жить. И романтике тоже есть чем жить, хотя и ее, и крестьянство не милуют демагогия и недоверие мелкотравчатых деятелей,— и нахмурился, вспомнив что-то свое, умолк.

Нахмурилась и гостья, приложила руку ко лбу и тихо, не обращаясь ни к кому, спросила:

— Почему так часто мелочность, угроза или нашептывание подавляют великое? Мы земле, хлебу весь труд, всю душу отдаем, а еще должны оберегать душу от тех, которые не любят ни земли, ни хлебороба, только с подозрением приезжают и с подозрением уезжают. Ученые говорят: в сердце человека есть два предсердия и два желудочка. Но еще не перевелись и такие экземпляры, у которых есть по четыре желудочка, вот они и съедают ими что могут и кого могут. Вы не боитесь, что нашу высокую романтику может задушить чересчур ретивый бюрократ? Для этого он и хозяйственными расчетами козырнет, и соответственными цитатами блеснет, и правдоподобием прикроется.

Данило невесело удивился, невесело усмехнулся:

— Философ ты мой с золотыми косами...

Мирослава не растерялась:

— Если вы меня так велеречиво окрестили, то ответьте на один приземленный вопрос.

Хлопец поклонился и шутливо, как испанские гранды в пьесах, провел рукой у самого пола.

— Охотно, сеньорита!

— Тогда скажите, многоуважаемый товарищ председатель, к которому прилетают гости даже из области: почему

в вашей хате до сих пор нет пола? Любовь к старине, патриархальщине?

— К убожеству не может быть любви.

— Это не ответ, а отписка.

— А теперь — ответ,— уже серьезно сказал Данило: — Я тогда настелю пахучей, с живицею, пол, с прожилками, с гнездышками от сучков, что так хорошо смотрят на тебя, когда в селе не останется ни одного земляного пола. Ни одного!

— Вот как! — насмешливо хмыкнула Мирослава.— Тогда продолжайте свою мысль и про хату.

— И продолжу. Ты знаешь вдову Галину Пастушенко?

— Ту, у которой пятеро детей?

— Да.

— Какая красивая женщина! — Мирослава погрустнела, и вся игра сошла с ее лица.

— Вот когда у этой красивой женщины и у всех наших вдов уже будут новые настоящие жилища, тогда я и подумаю о своей хате.

— Долго вам, наверное, придется ждать.

— Я терпеливый, дождусь.

— Не только терпеливый, но и упрямый.— Под ресницами девушки встрепенулась улыбка.— А спите вы на гвоздях?

— Нет, на сене,— засмеялся Данило.— Сено же застилаю рядном, полосатым или под цвет гречечки.

— И это уже хорошо.— Девушка взглянула на полосатое рядно, подошла к стене, возле которой стоял старый сундук с выжженными цветами.

— Что это за девочка? — глянула на фотографию, с которой внимательно смотрел на нее миловидный ребенок.

На лицо Данила легла печаль.

— Это Оленка...

— Ваша родня?

— Если и родня, то, наверное, далекая-далекая.

Мирослава пристально поглядела на Данила.

— Почему же «наверное»?

— Как тебе сказать...— заколебался он.

— Говорите как есть! — уже не терпелось девушке, и в голосе ее зазвучало подозрение.

— Не хочется, чтобы ты слушала о грехах или греховности жизни.

— Какой греховности? — насторожилась Мирослава и почувствовала, что в душе что-то обрывается... С чего бы это?

— Тогда слушай... Несколько лет тому назад шел я вечером к своей двоюродной сестре Оксане. Тишина, тени и лунная игра пестрили и луга, и татарский брод. Вдруг с берега эту тишину раскололо такое неутешное всхлипыванье, что мне жутко стало. Бегом бросился к броду и над стремниной, в кустах ивняка, увидел девушку, которая отбрела от берега и, очевидно, прощалась с жизнью. Выхватил несчастную из воды, вынес на берег, узнал и как мог стал утешать. Стоит она передо мною и роняет молчаливые слезы на прибрежный песок. Вижу, не успокою Марию — так звали эту девушку. Тогда посадил ее в лодку, переехал брод — и к Оксане. Та уж как-то отходила ее.

— Что ж это за история была? — загрустила Мирослава.

Данило вдруг, обозлившись на кого-то, сказал:

— Вот та самая, извечная для слишком доверчивых девчат. Совратил Магазанник поденщицу, которая работала в лесах, а когда у нее под сердцем забилась жизнь, погнал к знахарке. Благодаря Оксане оно как-то обошлось, и у Марии появилась доченька, а у меня вот эта фотография,— улыбнулся и ребенку, и Мирославе.

— А Мария где же? — глухо спросила Мирослава.

— Вышла замуж за хорошего человека и переехала в соседний район. Изредка пишет Оксане и мне... Ты чарочку кизиловой выпьешь, чтоб согреться?

— Нет,— грустно покачала головой Мирослава и почему-то сняла шапочку.

— А терновки?

— Разве сегодня праздник?

Он заглянул под ее неровные ресницы, где смущалась та пленительность, которая уже давно очаровала его.

— Для меня — праздник.

— Это правда? — спросила Мирослава, едва шевеля губами.

— Истинная правда,— ответил он полушепотом и увидел в ее волосах несколько зерен пшеницы.— А откуда взялись эти зернышки?

— Разве вы забыли, что я сегодня ездила к селекционерам?

— И как они?

Мирослава деланно вздохнула:

— Только мои горькие слезы разжалобили их — насыпали своего волшебного зерна в шапочку. Я тогда сняла рукавицы, чтобы и в них сыпанули, да не вышло по-моему.

— Там, у селекционеров, и оставила рукавички?

— Ага.

Данило засмеялся.

— И там они будут расти?

— Такие, как у вас, не вырастут.

— Как твои рученьки?

— Отходят.

— Иди к печке, она еще теплая. И чего только не умеют эти рученята...— Приложил их к кафелю цвета весенней зелени и пошел в каморку собрать что-нибудь на ужин.

Только теперь страх охватил девушку. Зачем же она пошла в чужую хату? Разве можно ей тут быть, ужинать? Может, не одна уже приходила сюда, может, потому и ворота стонут чайкой? Может, не раз у него был праздник. А как чувствовал себя кто-то после праздника? Она в смятении отошла от печки и снова встретилась со взглядом матери. Он немного успокоил девушку.

А в это время возбужденный от радости Данило уже вошел с тарелками и удивился:

— Ты отчего, Мирослава, стала такой?

— Какой?

Он подыскал слова:

— Будто только что очнулась от плохого сна.

И девушка призналась:

— Мне страшно.

— Почему?

— Так девчата не делают.

— Как?

— Чтобы самим идти в хату к парню.

Он подошел к ней.

— Так ты представь, что эта хата — твоя.

— Как же это представить? — не знает она — грустить или улыбаться. Выдумает же такое!

— Хорошо, я тебе ее сегодня продаю!.. Считай, что хата уже твоя и я пришел к тебе в гости. Теперь берись за работу и готовь ужин гостю, председателю, значит.

— Бессовестный,— сказала не голосом, а одним движением губ и почувствовала, как понемногу начали исчезать сомнения.

— Не бессовестный, а влюбленный...— тихо успокоил ее тревогу.— Правда, влюбленный.

— Когда же это случилось? — не нашлась Мирослава.

— В ту ночь, когда ветряк играл снопом твоих волос,— и положил руки на ее плечи.

Мирослава шагнула в сторону, не зная, что ей делать — радоваться или печалиться...

И в этот момент кто-то легонько постучал в двери сеней.

— Кто бы это? — в испуге беззвучно спросила Мирослава.

— Не знаю,— удивляясь, пожал плечами Данило и пошел открывать.

На пороге в задубевшей от мороза, широкой, как колокол, кирее топтался дед Корний, а возле ворот стояли заиндевевшие кони.

— Так ты дома?

— Дома. Добрый вечер вам. Может, что-то случилось?

— Да ничего такого и не случилось,— с облегчением вздохнул дед и протянул Данилу узловатую руку.

— Вам что-нибудь надо?

— А чего мне надо от тебя? — удивляется или хитрит старик.— Разве нельзя постучать к человеку без всякой надобности?

— Да можно. Заходите в хату.

— Так снегу нанесу. Лучше поеду себе в конюшню, а то кони притомились,— прохрипел давней простудой старик.

— И все-таки что у вас?

Старик снова вздохнул, замигал ресницами, на которых поблескивала изморозь.

— И не хотелось бы на ночь глядя говорить черт знает что, но, наверное, надо. Понимаешь, возвращаемся мы с Ярославом Гримичем из Каменца и встречаем на дороге какого-то верзилу с торбами, похожего на разбойника. Носище у него вот такой, а глаза, как у совы, горят. Попросил этот головорез, чтобы его немного подвезли. Подвезти так подвезти, ведь зима же. Сел носач в сани, словно леший, начал лясы точить, а когда разузнал, откуда мы, неожиданно вдруг и спросил:

«А вашего хваленого председателя за рога еще не взяли?»

«За что же его должны взять за рога?» — остолбенели мы.

«Чтобы не был таким умным,— захохотал тот леший.— Чтобы смотрел не только на передние, но и на задние колеса».

«Ты не из пекла родом?» — спросили его, да и столкнули с саней в снег, а сами как можно скорее сюда.

В селе дознались, что тут все хорошо, тогда Ярослав пошел домой, а я вот заглянул к тебе, а то этот аспид нагнал холода и страха в мою душу. И откуда берутся такие выродки? А ты не обращай внимания на это: волк воет, а

месяц светит. Будь здоров, сыну, пусть тебя судьба и бог берегут,— он повернулся, пошел к воротам, и они теперь отозвались Данилу не стоном чайки, а одной болью.

Что же это — неумная шутка лихого человека или в самом деле над его судьбой закружилась недоля? Растерянным взглядом он посмотрел на заснеженных коней, увозивших его покой и радость. Зачем-то полез рукой в карман и вынул оттуда согретый росточек жита. Это сегодня, разгребая снег, приглядывался он, как зимуется житечку. А как перезимуешь ты?..

К его плечу тихо прикоснулась рука Мирославы.

— Данилко, у тебя что-то недоброе? — так спросила, что он почувствовал, как тревожно бьется девичье сердце.

Парень обернулся, увидел на ее лице сочувствие.

— Нет-нет, все хорошо,— благодарно улыбнулся и привлек к себе Мирославу — этот трепет, это недоверие, эту пленительность, что зовется девичьей надеждой.

Мирослава выскользнула из объятий и бросилась к воротам, к которым снова вернулся печальный стон чайки.

— Мирослава, куда же ты?!

— За татарский брод! — откликнулась уже со двора и исчезла в мареве зимнего вечера.

Данило бросился в хату, погасил свет, потом на задвижку закрыл двери и выбежал со двора на занесенную снегом улицу, а с улицы — на шлях, высматривая девичью фигуру. Но нигде никого, только месяц в небе да мороз крадется под плетнями. Вот так! Куда же она затерялась меж снегами и месяцем? Он свернул в узкий переулок, где за изгородью стояли в белых свитках вербы, пологою тропинкой побежал между сугробами и вскоре вдали увидел одинокую девичью фигуру. Но почему она идет не к татарскому, а к девичьему броду, что всегда зарастал высоким камышом, давая зимой приют и зайцам, и лисам?

Из переулка девушка вышла на луг, где стояли стога отавы, и исчезла в стене камыша. Почему же она не выходит на речку? Не попала ли в промоину? Обеспокоенный Данило тоже вошел в камыши, пробил их плечом, вышел на занесенный брод, огляделся. И тут его поразила удивительная, неправдоподобная красота зимней ночи, что легкими облачками наплывала на затененный месяц, что голубыми нитями соединяла небо с землей, что сполохами взрывалась вокруг заснеженных верб и стогов. Такое волшебство смог бы нарисовать только Куинджи... Но где Мирослава?.. И совсем неожиданно увидел ее у самой стены камыша. Пригнувшись, она склонила голову к пучку

камышин, словно прислушиваясь к ним. И что тут услышишь, моя забота чернобровая?

— Ты что делаешь?

— Ой! — испуганно вскрикнула девушка, потом смущенно улыбнулась.— Вот нагнитесь, послушайте, как зима гудит в камышовую дудку. Я так люблю ее слушать.

Он нагнулся и вправду услыхал гудение камышовой дудки и неизведанное смятение чувств в себе.

— А еще что ты любишь? — спросил он, лишь бы спросить.

— Еще люблю весеннее пение ежа.

— Ежа?! — не поверил Данило.

— Да-да, его пение похоже на песню дрозда. И люблю наблюдать барсука за работой, когда он собирает листья на зимовку: соберет кучку, обхватит ее лапами, прижмет головой и движется к норе...

— Сколько света, столько и дива.

— А что вы любите? Жито-пшеницу...

— И теплый, как душа, хлеб на столе у людей, и песню над миром, и калиновый ветер в мире.

— Как хорошо: калиновый ветер в мире — ветер добра, красы, девичьих надежд...

Мирослава еще ниже пригнулась к камышу, с ее головы упала шапочка, и Данило снова увидел в девичьих волосах зернышко пшеницы. Он чуть слышно прикоснулся губами к ее волосам, которые пахли зерном и грустью маттиолы. Почему же маттиолы?

Данило и не догадывался, что для него девушка мыла голову маттиолой, когда дозналась, что он любит этот вечерний цветок.

Уже подкрадывалась предполуночная пора, когда Данило в радостном возбуждении возвращался из приселка в село. Всю дорогу ему сияли вечерние глаза, над которыми так хорошо трепетали неровные, вспугнутые ресницы. «Откуда вы взялись на мою голову?» Удивлялся и радовался встрече с тем дивом, с тем праздником, которого ждал годами то из грустных чар веснянок, то из вечерового тумана надежд, то из тех предчувствий, которые только молодость навевает в душу.

«Ох, и девушка!» — не раз говорил он себе, покачивая головой, и снова удивлялся. Вот только проводила его не очень хорошо. Довел ее до подворья Гримичей, а она подала руку и опрометью побежала в теплое жилье. Так и при-

шлось торчать у ворот, подобно Степочке Магазаннику. «Но как она посмотрела из-под ресниц! «Подивилась ясно — заспівали скрипки...» А тут даже снега поют. Наваждение, да и только». Данило спиной прислонился к дикой груше, что держала на себе корону из чистого серебра, снова смотрит на приселок и снова улыбается. Верно, все влюбленные такие ошалелые.

На искристой, подсиненной равнине ожил какой-то клубок и, поднимая снежную пыль, покатился и покатился к селу. Вот он замер, подрос, вытянулся — и стал зайцем.

«Проголодался, ушастый?» — усмехнулся зайцу Данило, еще и обрывок какой-то детской сказки вспомнил. Зверек повел ушами, будто услыхал мысли человека, стукнул одной обмерзшей лапкой о другую, потом утопил их в снег так, словно поклонился кому-то, прыгнул и снова стал движущимся клубком. Вот и катись к скирдам, что ведут золотой разговор с месяцем и ветерком. Но невдалеке от поживы остановился, снова вытянулся, прислушиваясь к той музыке, которая притихшими волнами доносилась сюда от села, и побежал не к скирдам, а к музыке. Диво, да и только!

Когда Данило вышел на шлях, между вербами неожиданно возникла какая-то высокая лохматая фигура. Она что-то несла или ее несло? Да это же нищий с перекрестными торбами. Откуда ты взялся такой поздний? А идет, верно, издалека: изморозь проросла на всех его патлах, усах и бороде, из которых выглядывали только носище да глаза.

— Добрый вечер, дед,— удивленно поглядывает на позднего бродягу Данило.

— А добрый... да холодный,— неприветливо отозвался старик, устало хекнул, остановился у вербы и положил на засаленные торбы руки; в черных рукавицах они лежали, словно притихшие кроты.

— Куда это вы, на ночь глядя?

Старик покачал охапкой волос.

— Где-то пристанище надо искать — или на ночь, или... последнее. Насилу доплелся до вашего села.

— Да и торба ваша слишком тяжела.

— Тяжела торба полная, а еще тяжелее порожняя,— буркнул нищий.

— И нет у вас здесь знакомых?

— Если бы были.

— Тогда пойдемте ко мне на ночлег.

— К тебе? — будто заколебался нищий, присматриваясь к Данилу совиными глазами.— Вот спасибо, парубче, что не придется чужих собак дразнить. А ты меня, голодного и холодного, сначала к председателю сельсовета или колхоза не поведешь?

— Нет, не поведу.

— Это ж почему?

— Я сам председатель колхоза.

— Ты?! — почему-то удивился и вытаращился старик, а потом спохватился, спокойнее забормотал: — Такой молодой — и уже председатель. Видимо, стараешься и для себя, и для общества? — и что-то неприятное, отталкивающее проскользнуло в этом «стараешься».

— Стараюсь. Так потопали!

Не очень приглядываясь к нищему, Данило пошел впереди, повернул в переулок, где вербы неторопливо натрушивали изморозь на решета теней. По дороге почти не думал о неожиданном госте, ибо снова все мысли вертелись вокруг Мирославы. А когда обернулся, старика уже не было.

«Что за наваждение?!» Данило оглянулся вокруг, крикнул несколько раз: «Дед!», но никто не откликнулся, только где-то на шляху шаркали сапожища или полозья.

«Диво!» — сам себе сказал человек, пожал плечами, а в памяти ожил рассказ деда Корния. Не с этим ли старцем встретился он? И почему-то тревога охватила парубка, словно он приоткрыл завесу, за которой притаилось что-то зловещее. И стало страшно не за себя, а за Мирославу. Что это — суеверие, предчувствие?

Недолго думая он круто повернул и быстро пошел, а затем побежал к приселку. А зачем? И сам не знал. И снова ему светили вечерние глаза, только не было покоя ни в них, ни в нем.

Вот и приселок, что врос в волнистую скатерть снегов. Вот и скрипучая печаль деревянных журавлей, и забытье заснеженных вербовых челнов на подворьях, и одинокий огонек в окне Мирославы. Крадучись, Данило зашел на подворье и за обмерзшими стеклами окна увидел мелькавшую тень — Мирослава расчесывала волосы, тот пшеничный сноп, что уродился на его счастье. На его ли только? Вишь как шмыгнула от него! Но и как улыбнулась!

И вдруг все недобрые предчувствия, все мелочное отлетело от него, а пришли радость и благодарность неведомо кому, пусть даже тому окошечку, за которым колебалась и колебалась девичья тень. Так как же — стучать в

это оконце или податься домой? Данило послонялся по подворью, сел на нос заснеженного челна. «Сядем да подумаем,— посмеялся над собой,— а то как говорит старый Гримич? Сначала думай, а потом делай!»

А девичья тень колышется...

Пора бы и домой возвращаться, но прикипели глаза к окну, вросли ноги в снег, хотя возле сердца изредка и проскакивает холодок: как бы кто-нибудь из насмешливых Гримичей не подвернулся — вот будет радости и им, и ему. Может, заранее притаиться в тени, что сгорбилась возле клуни, на которой и теперь еще вздрагивает пучок самосейной ржи. Летом в ней даже видел васильки, они смотрели на мир девичьими глазами и не унывали. Пока он думал об укрытии, из хаты вполголоса полилась песня, в ней, верно, выразилась веками настоянная грусть:

Та нема гірш нікому,
Як тій сиротині:
Ніхто не пригорне
При лихій годині.

Та не пригорне батько,
Не пригорне мати,
Тільки той пригорне,
Що думає взяти.

Та налетіли гуси
З далекого краю,
Замутили воду
В тихому Дунаї.

По-новому пораженный тоской чьей-то осиротевшей души, и голосом Мирославы, и щемящей болью, что въелась в сердце, он вспомнил свое сиротство и в мыслях обещал себе, что никогда-никогда не обидит ее, если, наконец, назовет своей. Вот сейчас и пойдет с этим в хату, сорвет на пороге шапку с головы и скажет недосказанное... Что же он скажет? «Ты самая лучшая на свете». Может, лучше: «Ты моя судьба!» А она и ошеломит: «Моя судьба не из этого села». Ох, этот вечер, и луна над ним, и глупая голова под ним! Да разве у влюбленных она бывает умной? А разве спроста Мирослава так посмотрела на него?

Отбрасывая холод сомнений, Данило коснулся рукой шапки и все-таки пошел к окну, уже намереваясь постучать в разрисованное морозом стекло, но именно в этот момент услыхал топот коней. Наверное, шальные близнецы срывают ветры? Тоже нашли подходящее время! Пригнувшись, выглянул на улицу, что в лунном полусне была похожа на сказочный мост. С двух ее концов бешено лете-

ли всадники. Вот блеснули выхваченные из ножен сабли, на полном скаку сблизились кони, а над головами бесшабашных звякнула, зазвенела сталь, высекая искры.

— Шальные! Изрубите друг друга! — крикнул Данило, когда расцепились сабли и кони.

На его голос Роман и Василь повернули гривастых к воротам, на ходу вбросили сабли в ножны, переглянулись, выразив на лице преувеличенную смиренность.

— Добрый вечер вам, Данило Максимович! Вот кого не ожидали встретить здесь в такую пору, так не ожидали. Это вы к нам или к товарищу агроному? — Хитрецы бросили взгляд на освещенное окно и, будто спохватившись, прикусили язык и остались собой довольны.

«Тоже мне артисты!» — подумал Данило.

Из хаты в кожушке внакидку выбежала с распущенными волосами Мирослава, увидев с близнецами Данила, от неожиданности ойкнула и, растерянная, остановилась посреди двора.

— Что вы тут делаете?

— Звезды считаем,— невинно ответил Василь.— Столько их насеяно сегодня, что никак не успешь.

— Снова на саблях дрались?

— А почему бы и нет?..

— Тогда на этом слове и будьте здоровы,— сердечно, без иронии, поклонился Роман Мирославе и Данилу.— Нам еще надо коней поставить.

Близнецы вздыбили златогривых, вздыбили снежную пыль и в ней галопом понеслись вдоль улицы.

— Как вы тут снова очутились? — пожимает плечами Мирослава. И уже нет насмешки, а есть недовольство и в бровях, и вокруг уст.

— Кто-то меня сегодня уже и на «ты» называл,— забубнил Данило.— Вот кожушок по-людски надень. За этим и пришел.

— А я так напугалась, услыхав... чей-то крик. Сама себе не поверила. Надо ж такое.

— Наверное, надо,— подошел ближе.— А поверишь, если я скажу что-то?..

Девушка сжалась, прикрыла глаза напуганными ресницами и прошептала:

— Не надо.

— Почему же? — тоже перешел на шепот Данило.

— Потому что не надо.

«Вот и признался! Сорвал шапку с головы!» И вместо «чего-то» он кое-как пробормотал:

— Так я хоть в кожушок одену философа с золотыми волосами,— наклонился к ее пшеничному снопу, в котором играл месяц, и снова услыхал запах маттиолы — зельечка смятения и грусти.

Мирослава умоляюще взглянула на него:

— Иди же, Данило, а то скоро близнецы прибегут. Испортят они мне завтрашний день своими подтруниваниями.

— Может, тебя поблагодарить, что гонишь?

— Как хочешь.

— Не хочу.

На повети захлопали крылья, послышался простуженный голос петуха, а на него сразу ответил забияка с Оксаниного двора.

— Уже первые петухи поют,— не знает, что говорить, что делается с ее ресницами, с ее сердцем.

— А знаешь, о чем они поют?

— Нет.

— Они говорят, что от первых петухов непременно надо постоять до третьих.

— Я никогда и до первых не стояла.

— Тогда я уже начинаю гордиться,— вместо чего-то путного он несет несусветное.

— Иди. Уже новый день наступил!..

— И выделил из теней синеву.

— Все же заговорил поэт,— повела взглядом по снегам.— А и вправду потемнели тени. Что сегодня будешь делать?

— Прежде всего на рассвете пойду по хатам, где есть сироты, и чем смогу — пособлю. Это все твоя песня о сиротине наделала.

— В самом деле? — изумленно спросила Мирослава.

— Да.

— Тогда пойдем вместе!

— Хоть сейчас, если вместе.

— Товарищ председатель, идите домой и не дурите после первых петухов чью-то голову.— Наконец усмехнулась, подошла к калитке, открыла ее и поклонилась: — Прошу вас!

— Если так просят, то пойду,— тоже усмехнулся... И положил руки на девичьи плечи.

— Только без рук! — Мирослава выскользнула, побежала в хату, а на пороге оглянулась.

Данило спиной закрыл калитку.

— Я тут до рассвета простою.

— Один уже похвалялся до утра подпирать ворота.

— Кто это?! — сразу возмутился Данило.

— Я же говорила: Степочка Магазанник,— как нить мониста, рассыпала смех и исчезла, словно видение.

Любит ли хоть немного, или все это марево лунной ночи? «Налетіли гуси з далекого краю, замутили воду в тихому Дунаї». И неожиданно в смятение мыслей и воспоминаний ворвался нищий бродяга с торбами. Откуда ты взялся, бесов гусак?!

XV

Тем временем нищий, не жалея ни ног, ни сапог, изо всех сил спешил в леса, что забрели чуть не в самое небо. Тряслись его волосы, тряслась шапка, на которую пошло несколько зайцев, тряслись торбы с примороженным хлебом и одеждой, лихорадило и нутро бродяги.

— Вот мог бы попасться! Да еще как попасться! — пускал слова в бороду и так бил сапожищами дорогу, словно забивал сваи. Одолевал пот, давили отяжелевшие одежда и хлеб. Он с готовностью выбросил бы где-нибудь торбу, но тогда хлеб мог бы стать его судьей. От этой неожиданной мысли его даже передернуло. Безбородько сторожко оглянулся вокруг, снял шапку, что пахла уже не зайцем, а чертом, вытер рукавом лоб и на всякий случай свернул с дороги к лесу, да сразу же передумал: в дубраве следы его сапожищ и слепой увидит. Потому колоти дорогу да поглядывай и вперед, и назад. Вздумалось же ему, дурню, снова возвратиться на старое место. И зачем?

Наконец показалось долгожданное подворье Магазанника, дохнуло стогами лесного сена, встретило неумолчным лаем собаки, потом — испуганным хрюканьем свиней, тех, что от весны и до зимы выгуливаются в лесах по соседству с дикими сородичами. Хотя бы лишних глаз не было у лесника.

Старец сначала остановился возле телятника, под стеной которого замерзает рисованный ангел. Это из скитка Магазанник вырвал дверь со святым изображением и прислонил к грешной постройке. А пес бесится от злости и так орудует лапами, что даже плетень ходуном ходит, а со столбиков слетают белые шапочки. Почему же так долго молчит жилье? Не перебрался ли Магазанник в село? Ведь и там у него есть хата.

Внутри жилья забился огонек, погас и снова ожил. Потом звякнули дверные засовы, и на пороге с ружьем в ру-

ках встал полуодетый Магазанник. Нищий сразу побежал к воротам.

— Кто там и ночью толчется? — неласково спросил лесник.

— Это я, Семен,— налег на ворота Безбородько и отшатнулся, ибо пес уже хватал его за полу.

— Кто «я»?!

— Оникий.

— Оникий? — Магазанника даже передернуло. Он молча постоял какую-то минуту, затем крикнул на пса и, держа ружье наперевес, пошел к воротам.— Таки Оникий!.. Тебя, видать, и ночью не прихватывает сон?

— Всякое бывает,— невнятно ответил Безбородько.— У тебя никого нет?

Лесник помолчал, думая, что сказать: если соврешь, не хуже ли будет?

— Только Василина. Она иногда возится по дому, присматривает за хозяйством. А ты ко мне?

— Выходит, так.

— Тогда пошли,— и бросил ружье на плечо, а Безбородько открыл и закрыл ворота.

— Что это ты такой насупленный? Не рад, что притащился к тебе?

— Это еще сон вылеживается во мне.

Переступив порог хаты, Безбородько так и впился своими буркалами в пышнотелую женщину, на лице которой еще не отцвел густой румянец и своеобразная грубоватая краса. Хоть на плакат перерисовывай! А на висках ее нежно взошел пушок — такими ворсинками по весне покрывается подбел мать-и-мачехи.

Увидев такого гостя, молодица в испуге скривила полные, чувственные губы, прикрыла рукой вырез сорочки и метнулась в боковушку, а на ее плечах зашелестела волна осенних волос.

— Приготовь нам что-нибудь, Василина,— бросил вдогонку Магазанник и обратился к Безбородько: — Снимай свою ношу, снимай убранство, перекусим что-нибудь, да и забирайся в сон на другой половине хаты.

— Степочка там?

— Нет, в городе,— вздохнул Магазанник.— Так же, как ты, не может нагреть себе места. Холодную зайчатину будешь есть? Или подогреть? Сегодня свеженького подстрелил.

— Подогрей чем-нибудь другим... лучше настоянной на корнях. Не перевелась она у тебя? — Безбородько не так

прислушивается к леснику, как к шорохам в боковушке, а раздевшись, чуть не влезает в зеркало, поправляя свои патлы.

Вскоре Василина, раскачивая падетыми лесенкой юбками, поставила на стол и хлеб, и зайчатину, и тушеную капусту, и чарки, а Магазанник налил в них из граненой бутылки какой-то крепкой темноокой настойки.

— Садись, молодица, с нами,— пригласил Безбородько хозяйку к столу.

— Спасибо, вечеряйте сами,— слегка поклонилась, лукаво покосилась на гостя и понесла свою дородную фигуру в боковушку, еще и двери закрыла за собой.

И сразу глаза Оникия помрачнели.

За вечерей Магазанник напустился на непрошеного гостя:

— Ты чего снова накликаешь беду и на себя, и на меня? Неужели из твоего котелка все предосторожности вылетели? Забылось прошлогоднее?

— Не забылось ни прошлогоднее, ни то, что было, считай, двадцать лет тому.

— Вспомнила баба деверя — что в молодости делала? — криво усмехнулся лесник.

— Наверное, так. Я тебе в прошлом году рассказывал о своей жене?

— Что она по красоте как заря в ясную погоду? — вспомнил Магазанник.

— Вот поверь: красивей, чем она, нигде не встречал, хотя со всякими были и встречи и расставания. А теперь узнал, что она учительствует в вашем районе. Окажи, Семен, услугу — разузнай завтра, в каком она селе и не вышла ли замуж. Или осталась соломенной вдовой. Вовек этого не забуду!

— И зачем это, и к чему это? — возмутился лесник.— Ты же сам говорил, что она такая идейная...

— Идеи — одно, а красивое тело — другое,— вздохнул Безбородько.— Может, как-то смирится, когда переменится жизнь.

— Жди этих перемен! — буркнул Магазанник и опрокинул чарку.— Как же ты мог снова нищим появиться? Хотя бы прикинулся каким-нибудь дьяконом или попом.

— Времени не хватило: только вчера прослышал о ней. Так поедешь?

Магазанник вилкой вынул сердце зайца.

— Не поеду. Вот только-только ожеребились мои кобылы, так нужен хозяйский присмотр.

— Не твои, а общественные,— помрачнел Безбородько.— Выходит, для тебя конский хвост дороже наших прошлых лет? Может, подумаешь — и поедешь?

Лесник скривился, словно дьявол, и крякнул:

— Пожалуй-таки придется поехать. Буду теперь расспрашивать, где Крым, а где попова груша, а все из-за твоих дуростей.

— Пусть будет и так. Спасибо, Семен. Теперь и по последней на сегодня,— и, опрокинув питье, пошел на другую, более холодную половину хаты, где стояли порожние бочки для зерна и кадки с медом, салом, творогом, мукой, маком и всякой всячиной.— Не замерзну я тут?

— Степочкиной периной укроешься. И не поленись протопить печку. Дрова сухие, как перец.— Хозяин зевнул, перекрестил рот и пошел к дверям, а гость позавидовал ему: «Вишь какая у него краля. С такой и леса покажутся раем».

Лесник на рассвете поехал в город, а Безбородько долго с ножницами вертелся перед зеркалом, укорачивал свои патлы, суживал брови и прислушивался, как на подворье гоготали гуси и хрюкали свиньи, самые дикие из них норовили поживиться птичьим крылом.

Словно князь укоренился тут Магазанник и недаром до сих пор думает о земле Герасима Калитки — он бы с ней тоже справился. А как сбросить свои нищенские отрепья и где перебыть время до желанных смен в мире. Поневоле загрустишь, присматриваясь к изворотливости и достаткам лесника. Одни грибы только чего стоят! Безбородько подергал роскошные связки белых грибов, что висели у печи, от них ему повеяло и сентябрем, и сочельником. Надо хоть одну вязку забросить в торбу. Дожился, можно сказать, дворянин! Что ж, воздай хвалу богородице — и до завтрака.

Когда он, причесанный, вымытый и даже надушенный, зашел на другую половину, там проворно орудовала Василина, а на столе дымился завтрак и стояла вчерашняя бутылка с ядухой, той же, что Магазаннику на восемнадцати травах и кореньях настаивает семидесятилетний болотный черт. «А может, он на самом деле болотный черт? — отозвалось суеверие.— И у этой лесовички очи тоже из какого-то колдовства. Возле них, если бы не политика, то свековать можно. И чего это Ницше так ненавидел женщин? Верно, безнадежно больной желудок убил вкус к женскому соблазну».

Василина удивленно смерила нескладную в нищенском

облачении фигуру гостя, покрутила носом, загадочно усмехнулась.

— Я уже хотела звать вас. Садитесь, а то картошка остынет.

— Спасибо. Садись и ты,— и похлопал хозяйку по плечу, которое сразу же вздрогнуло.

— Я уже позавтракала,— ответила Василина спокойно, а Безбородько снова позавидовал Магазаннику.

— Тогда хоть так садись — все же веселее будет,— пялил глаза то на женское лицо, то на грудь. И невольно вздохнул.

— Чего вы? — удивилась, повела бровями Василина.

— Ох, и хороша же ты, бабенка.

— Тоже нашли красоту...— презрительно махнула рукой и погрустнела.

— Нелегко тебе у Семена?

— И не спрашивайте.— Василина помолчала, а потом смело поглядела на гостя.— А почему вы, такой молодой, сильный, в нищие записались? Вам бы больше подошло стать примаком, а не попрошайкой! Или работать лень?

Что ты скажешь этой простоте? Безбородько сокрушенно покачал головой.

— Видишь, я работой себе внутри повредил, а внутри — такое дело...

— Что-то не похоже на это.

— Почему так думаешь? — даже встревожился Безбородько: не заметила ли чего-нибудь чертова соблазнительница?

— Потому что вы и едите, да и поглядываете не так, как те, у которых попорчены внутренности, и фигура у вас как у борца, а не у нищего,— еще и усмехнулась так, словно на цедилке перецеживала его выдумки.

— Как же мне глядеть на тебя, если ты одно обольщение?! — шутя наклонил к ней свои патлы, а она отодвинулась от них, и это еще больше взбудоражило его.

После чарки он потянулся к руке Василины, но та отвела ее и покачала головой.

— Оказывается, и старую печку черти топят?

— Таки топят, Василина. Жизнь есть жизнь! Вот подари мне поцелуй, а я для тебя даже золотой игрушки не пожалею. Не раскаешься.

— Золотой? — то ли удивленно, то ли насмешливо спросила Василина, вскинув брови на лоб.

— Золотой, мое золотко. Вот увидишь! — и он обнял женщину, да неожиданно получил такую затрещину, что чуть было не слетел на пол. Вот это сила! Аж темная метелица перед глазами закружилась!

— А теперь, бродяга, вставай, чтобы не прирос к скамье! — гневно приказала Василина.— И в один миг выметайся отсюда! Золото же при себе держи!

Она подхватила Безбородькину свитку и торбу с одеждой, вынесла из хаты и бросила далеко за порог, поближе к свиньям...

Взбешенный Безбородько вскочил со скамьи, загородил в сенях дорогу женщине и всверлил в нее глаза змееяда.

— Ты, вертихвостка, придержи свой норов для других, а то если я подниму руку, то кое у кого отвалится голова. А ну-ка, сейчас же принеси мне торбу и свитку!

— Пусть, тряпичник, тебе черти из пекла приносят твои шмотки! Чего вытаращил свои буркалы?! — зашипела Василина, плечом оттолкнула нищего, вбежала в хату, мигом оделась, еще и сердитым оком глянула в зеркальце и так махнула на подворье, что даже юбки зашуршали злостью; среди заснеженных деревьев ее красный кожушок зацветал и гаснул, словно костер.

«Вот это характер! Есть же у Магазанника и рай, и пекло по совместительству». Безбородько почувствовал, как злоба начала сползать с души, хотя щеку все еще жгло. Он, оглядевшись по сторонам, собрал в охапку свое добро, направился к неприкрытым дверям, потом в жилище, закрыл на засов входные, сенные двери, с других дверей, что выходили в лес, снял запор, а затем стал мерить шагами хату и вглядываться во все разрисованные морозом окна.

И не заметил, когда в его нутро убийцы и нищего заглянули те темно-серые, с грозой и поволокой глаза, которые до сих пор тревожат, хотя не одни глаза целовал, не к одной женской груди приникал разомлевшей от любви головой. А может, постарели те глаза, согнулся или раздался тополиный стан? И увидишь ты не красоту, а жалкие остатки ее?

Считай, почти двадцать лет миновало с тех пор, когда он убегал от нее, непримиримой и все равно прекрасной в вспышках гнева. Не истлели ли за это время и гнев, и краса? Эх, гетман, ясновельможный гетман, только из-за тебя твой верный слуга лишился всего. Не лучше ли было бы втихую забраться в медвежий угол, в какое-нибудь полесское лесничество, и щелкать на счетах дебеты-кре-

диты? На это подбивала его жена, надеясь, что он честным трудом хоть немного сможет искупить свои грехи. Да вряд ли шпалерами цифр закрыл бы он страшные единицы виселиц. Но и это кто-то должен делать, и к этому еще вернется он, когда наступит благоприятное время. А оно должно наступить.

На дворе мела разгулявшаяся метелица, и душа леса стонала, словно человек. Вот так, смотри, прямо из вьюги и вынырнут непрошеные гости. Наклонившись к окну, Безбородько вынул из кармана пистолет, постучал дулом по ладони, бросил взгляд на тельца патронов, что выглядывали из чрева оружия, и замер, а потом облегченно вздохнул: на подворье въехал заснеженный Магазанник. Какую новость привез ему? Как долго он возится возле коней, как надолго исчезает в конюшне, где стоят ожеребившиеся кобылы, как долго очищает сапоги от снега, как долго валандается у дверей. Что же ты несешь, хитромудрая бестия?

Наконец Магазанник с продуктовой торбочкой в руке входит в хату, снимает смушковую шапку, прямо со снегом бросает на скамью.

— Вьюжит.— А взгляд у него какой-то чудной, растерянный.— Василина дома?

— Пошла в село... Узнал что-нибудь?

— Не только узнал, но и видел,— он даже вздохнул почему-то.

— Не может быть! — в тревоге и надежде округлил выцветшие глаза Оникий.

— Выходит, может,— сбрасывает лесник задубевший кожушок, берет его за воротник, чтобы стряхнуть снег, и теперь он становится похожим на обезглавленного человека.

— Говори же! Не тяни!

— Скажу.— Лесник повесил одежду на колышек, подошел к шкафу, налил в чарки горилки, одну подал Безбородько.— Замерз.— И сразу опрокинул питье в рот.

— Говори же, наконец.

— А что говорить? Видел я в своей жизни одну красавицу белявую,— и снова вздохнул,— а здесь увидел чернявую. И вправду красивая, как заря в ясную погоду.

— Не выветрилась краса?

— Выходит, не выветрилась.

— Где же ты ее увидел?

— В райнаробразе. Пришел к заведующему, чтобы он, мол, вывозил с моей делянки дрова, а тут с какой-то учи-

тельницей подвернулась твоя Ольга Сергеевна. Ольга! Выпьем за ее красу...— и еще больше помрачнел.

Уже за ужином Магазанник спросил:

— Скажи, Оникий, как ты смог привернуть к себе такую княгиню или королеву?

— Не княгиню и не королеву, а дочь вдовы,— забарабанил тот пальцами по столу и потянулся к бутылке.

— Дочь вдовы! Княжна Ольга! Не могла она за тебя спроста выйти. Не могла! А в чары, особенно твои, не поверю.

— Какие там чары, когда у меня носище как лапоть.

— Расскажи. Хоть погрустим, что была и в твоих сетях золотая рыбка.

— В самом деле, помогла мне сеть войны,— Оникий опрокинул чарку.— Летом 1918-го гуляла наша карательная экспедиция на Полтавщине, а как гуляла, ты сам знаешь. И вот однажды, когда я в своем кабинете просматривал судебные дела, на пороге встала девушка, да такая девушка, что даже мои убийцы при дверях без единого слова дали ей дорогу. Невольно поднялся и я из-за стола.

«Что вам, панночка?»

«Брата моего арестовали»,— глянула она такими глазами, что не забываются.

«Садитесь, панночка... А как фамилия вашего брата?» — ищу не так свои списки, как ее глаза.

«Иван Дорошенко!»

«Иван Дорошенко!..— покачал я головой.— И фамилия хорошая, и хлопец он хороший, только бунтарь, мятежник, на чужую собственность и землю посягнул. А у нас, панночка, власть не большевиков, а ясновельможного гетмана да хлеборобов-демократов».

«Помогите освободить его».

«Не могу, панночка. Хотел бы, да не могу».

«Почему же?»

«Он уже не в моем распоряжении, а под властью уездного старосты».

«И что же грозит брату?»

«Виселица, панночка».

Она расплакалась, а я глазами прогнал своих душегубов и начал ее утешать. А потом было почти так, как бывает в каком-нибудь романе или опере: я устроил ей свидание с братом и пообещал, что добьюсь его освобождения, если она выйдет за меня. Поплакала панночка учительница и над братом, и над своей судьбой, да и дала

мне согласие, потребовав только одного: чтобы я сразу же оставил державную стражу. Так оно и бывает в жизненной суете.

— И что же далее?

— А далее я не оставил державной стражи, и Ольга ушла от меня: не могла ее правдивость соединиться с убийством.

— Ох, и дурень же ты! За такую красу я не только задрипанную державную стражу, но и великое княжество покинул бы!

— Потому что у тебя не было или навеки уснул голос идей! — сразу разозлился Безбородько.— Ты лишь исполнитель в жизни!

Вспыхнул и Магазанник.

— А с твоими идеями только к свиньям ходить, а не к людям.

XVI

Вот и настал тот трагедийный год, когда неутешными вдовами пошли по земле наша печаль и прощание. Что-то непонятное, страшное творилось на свете, отчего и умные головы становились неумными или потерявшими рассудок, а кое-кто из подколодных радовался нашему горю.

Село никак не могло понять, откуда могло взяться столько врагов, и сторонилось, словно зачумленного, Семена Магазанника, который теперь черным вороном налетал со своей шомполкой на людскую беспомощность. Правда, он старался только при Ступаче, когда тот приезжал делать разнос, а без Ступача и Магазанник притихал, еще и Степочке наказывал не очень расшнуровывать свой рот, потому что каждое время имеет свои весы. Уже и так за те выступления, которых требовал от него Ступач, люди перестают здороваться с ним, а старик Ярослав Гримич при встречах язвительно допытывается: когда он успел из простого Черта со свечечкой перешерститься в пособника самого дьявола?

Тогда жерновообразное лицо лесника сразу набухает кровью и гневом.

— Не пустословьте, дед! Вы знаете, какие теперь международности и внутренности?!

— Где уж нам знать те внутренности, коли ты и в них залез, как крыса в муку,— издевался старик.— Я знаю только одно: кто дьяволу служит, тот с чертом дружит. А что, неправду говорю?

— Это я служу дьяволу?! — приходил в бешенство Магазанник и хватался за шомполку.

— И служил и служишь! Не сегодня парша начала разъедать твою душу,— на что-то намекал Гримич.

От этого «что-то» холодело нутро лесника. Что знает о нем старик? И снова его растревоженную память бичами истязали намыленные серым солдатским мылом петли, а между небом и землей качались на ветру молодые чубы. Это прошлое не сотрешь и теперешней сверхбдительностью.

А когда Гримич видел Магазанника со Степочкой, то презрительно бормотал:

— Какой бес печеный, такой и вареный.

И диво дивное: как Магазанник ни становился на дыбы против старика, однако не подкинул на него ни одного доноса, чем немало удивлял Степочку.

— Вы же слыхали, тато, что он болтает о нас: «Какой бес печеный, такой и вареный». Так до каких же пор можно ему спускать? Не пора ли прихлопнуть, и вообче?..

Магазанник, вздыхая, втягивал голову в плечи, изображал на лице глубокомыслие:

— Не будем подыскивать зацепку в чьей-то старости, она и так скоро отделится от мира гробовыми досками. А вот товарищу Ступачу надо помочь — еще подпустить шепота о Даниле.

Степочка глубокомысленно лезет пятерней к бараньим кудрям.

— Мне же у него характеристику придется брать, ибо снова думаю добиваться службы.

— Так одно другому не помешает. Он уже, считай, в мешке, только завязать нужно...

— Завяжем!..

Сегодня предпраздничный день. Бондаренко еще с утра уехал в район получать выговор, потому что уже нет такой защиты, которую прежде имел. А теперь снимают с него стружку ступачи. Жаль парня, но что поделаешь?

— Вот беда,— вздыхает в кабинете председателя мельник Микола Константинович, что пришел потужить к Ярославу Гримичу. Еще на рассвете Ступач забил гвоздями двери ветряка, и теперь у мельника предостаточно нудного и ненужного времени.

Старики сидят себе возле стола, прислушиваются к улице, к ветру, который меняет и меняет белые взлохмаченные облака и погоду.

— Так гвоздями и забил дверь? — печально переспрашивает Гримич.

— Забил, как гроб. Вбивает он гвозди в дерево, а мне кажется, что в меня! Опустился на ступеньки, посидел и уже не своими ногами начал обходить ветряк. Подошел к крыльям, а они плачут. Пока крутились, не видел их слез.

— Вот так и человек: останови его труд — невольно заплачет.

— И откуда этот бесов ненавистник взялся? И как он думает жить среди людей?..

— Вот уже и летушко пришло, а внутри холодина.

— Года.

— А года и печаль даже без дождя растут.

По улице со своей шомполкой идет Семен Магазанник, увидев стариков, он отворачивает от них непроницаемое лицо.

Мельник тычет ему в затылок пальцем:

— Вот как ни живет, а гроба не минует.

— Может, и без гроба зароют. Вишь, до чего договорился оборотень: политика не считается с сердцем. А с чем же она считается?

— Наверное, с печенкой. Этот дьявол напустит мрака на мир... Пойду-ка я к ветряку.

— Так он же заколочен.

— Хоть возле крыльев посижу, хоть их скрип послушаю. А может, Данило еще освободит ветряк? Ты скажи ему.

— Скажу, если не доконает его Ступач.

— Не дай бог... Как тяжко на душе, когда крылья молчат,— печально говорит мельник, безнадежно машет рукой и прощается с Ярославом. Ведь кто знает, что будет завтра. Что-то оно не то... И все равно надо идти к крыльям, которые, наработавшись, стали сизыми от времени и непогоды.

На колокольне тревожно загудел колокол. Это старый звонарь Корний звонит по чьей-то душе. А Ступач и по ветряку справил похоронный звон.

Есть ли у него сердце, или вместо него шевелится там жаба?

Оставшись один, Ярослав Гримич достал из-под скамьи вербовую корзинку с душистыми купальскими травами, понюхал их и начал раструшивать по полу. Эти травы, или дух их, или та земля, где росли они, навевают ему

разные мысли, и их становится столько, что начинают проситься на язык:

— И чего только не придумает природа! И татарскую траву, и чебрец, и мяту, и лисохвост, и шилохвост, и дурня заодно.

Погрузившись в думы, старик уже не замечает, что на подоконник опирается Василь Гарматюк, а за ним прядет ушами верный конь.

— Да, и дурня заодно. Но в старину дурень не умел ни читать, ни писать и отсиживался на печке. А теперешний дурень ох как научился и читать, и писать, и кого-то пинать под бок или под печенку. Это когда-то придурковатый кричал себе, как хотел, но никто и ухом не вел. Теперь же он за крик получает зарплату — раз, командировочные — два, суточные — три, премиальные — пять. Поднялся дурень в цене. Вот если бы ликвидировать грамотность дурней — и снова их с должностей на печку! Подумать — какую бы экономию имело государство!

— Вы, дед, даже теперь не держите язык за зубами,— уныло покачал головой Гарматюк.

— Если свяжешь слово, свяжешь сердце, четвероногим станешь,— не полез в карман за ответом старик.— Ты к нашему Данилу приехал?

— Заскочил по дороге. Как он?

— Плохо ему, ой, плохо стало с тех пор, как уехал из района товарищ Мусульбас. Теперь Ступач поедом ест нашего Данила.

— А он молчит?

— Если бы молчал! Он как врежет правду без недомолвок, так не знаешь, под какой гром попадет. После этого у Ступача есть дело — подавать сигналы. А у Данила одна работа — поле да мы,— «неукрощенная стихия». Это так вот Ступач говорит. Теоретик! Ты еще не выскочил в такие теоретики?

— Пока что нет. Где же ваша Яринка?

— На лугу со сгребальщиками. Это не девушка, а пучок огня. Что только с нею будет, когда придет любовь?

Василь отвел лицо от старика.

— Дед, а что такое, по-вашему, любовь?

— Любовь — это тот сладостный дар, из которого люди делают горечь.

— Вот так сказали! — грустно улыбнулся Гарматюк.— Данилу передадите привет. Да и будьте здоровы! — Вскочил на коня, и тот галопом помчал на дорогу.

А Гримич снова начал говорить сам с собой и о зелье, и о времени, а затем снял со стены почерневшую от времени кобзу, провел высохшей рукой по струнам и заиграл свою любимую:

Ой Морозе, Морозенку,
Ти славний козаче,
За тобою, Морозенку,
Вся Вкраïна плаче.

И в седине веков старик видел Морозенко, у которого враги живьем вырвали сердце, видел гордое войско, что как мак цвело, и грустил о прошлом, и беспокоился о настоящем. Он не заметил, как в кабинет вошел Данило и тихонько встал у дверей, слушая песню. Вот и отгрустила она, и на Данила взглянули печальные очи старика. Он положил натруженную руку на струны.

— Ну как, сыну, снимали с тебя стружку?

— Стружку столяр снимает, а меня по-плотницки обтесывали.

— Ступач больше всех старался?

— Он.

— И ветряк вспоминал?

— И ветряк, и хлеб, и сено, и слово.

— А кто ж ему напомнит, как он на рассвете заколотил дверь ветряка тремя гвоздями?

Данило сразу озлился:

— Забил-таки! Сейчас же пойду повырываю гвозди!

— Разве тебе мало досталось?

— Наверное, мало.

— Не доливай себе лиха.

И в это время кто-то осторожненько постучал в дверь.

— Войдите! — крикнул Данило.

На пороге, почтительно улыбаясь, появился в праздничной одежде Степочка Магазанник.

— Здравствуйте вам. Я не помешал, и вообче?

У Данила возле губ морщинами пробилась гадливость.

— Чего тебе? Какую-нибудь бумажку на торговлю?

Степочка заиграл мельничками ресниц, подошел ближе к столу.

— Да нет. Какой теперь, летом, торг? Это осень свое возьмет. Характеристичку мне исправную надо, а то уже, по сути, помаленьку перебрался на службу в район.

Бондаренко нахмурился:

— Пока я буду председателем, для тебя пером не поведу.

Степочка не очень расстроился ответом, а деловито расстегнул внутренний карман пиджака, сначала отколол английскую булавку, а затем вынул сложенный вчетверо лист бумаги:

— Тогда, может, подпишете? Я сам написал, не преувеличивая, но и не преуменьшая своей роли и заслуг.

— И не подпишу, и не дам!

Только теперь молодой Магазанник наершился и невольно сжал кулаки.

— Интересное выходит кино. Это ж по какому праву, почему и как вы не дадите мне справочку?

— Вот так.

Степочка разозлился, вытянулся, угроза брызнула из глаз.

— Теперь, Данило Максимович, дадите! Еще и обрадуетесь, что дадите, потому как такое время!

— Ты всем торговал, но не торгуй временем: оно еще отомстит за себя.

— Это мы увидим, кому оно отомстит! Так никак не дадите?

— Нет!

— Тогда наше вам! — Даже коснулся рукой фуражки и попятился к порогу.— Ох на свою голову пренебрегли мною. Вы еще не раз вспомните этот час! Я вырву себе свой завтрашний день, но не знаю, где окажется ваше завтра! — и Степочка хлопнул дверью.

Данило взглянул на старика:

— Видали такого рвача? И как этого хорька могла полюбить Катруся?

Старик покачал головой:

— Любовь сначала любит, а разглядывает позднее. Ты куда же?

— К житу, к пшенице, к звездам, к ветряку.

— Эх, и судьба у тебя...

— Ничего, дед, нашу судьбу, хоть и нелегко ей теперь, никто не заколотит гвоздями!

XVII

На синих ладонях вечера темной печалью горбился старый ветряк и в мольбе протягивал застывшие руки то ли к небу, то ли к людям: привыкнув к работе, к помольщикам, он безмолвно терзался в одиночестве, и тихие слезы капали с его крыльев, вобравших в себя запах муки,

запах степи, душицы, всех четырех бродов и четырех ветров. Сколько приходило и сколько уходило людей от этих крыльев?! А как славно под ними поднимались и вихрились пшеничные волосы Мирославы!

Вспомнив тот вечер из вечеров и те волосы, что собирали еще ранние лунные лучи, и влажные, с доверчивостью, с тревогой и ожиданием очи, и того шмеля, который зазвучал им на долгие годы, Данило подобрел и от крыльев пошел к подвесному крыльцу ветряка. Вот сейчас он освободит заколоченные гвоздями двери, сбросит тормоза, засыплет зерном короб и хоть на какой-то часок станет мельником,— хорошо, что знает и любит все те работы, которые начинаются с зерна и заканчиваются зерном. Наверное, ему для души надо было стать мельником. Да кроме своей души есть обязанность перед людьми, перед землей и перед тем, что называется временем. И как бы тебе ни было горько сейчас, не ропщи на свою беспокойную жизнь, так как время не дало нам спокойной судьбы.

На ступеньках крыльца темнело несколько мешков: видно, привезли хлеборобы зерно, покружили возле молчаливого ветряка, да и в надежде, что разум перевесит глупость, оставили свой труд на скрипучих ступеньках. Еще, кажется, так недавно по этим ступенькам он, малый, поднимался с матерью, что несла на плечах свою вдовью ношу. С солнцем на плече нарисовать бы ее. С солнцем, а не с вдовьей ношей... «Были себе журавль да журавка». И не стало их. А тебе досталась иная ноша. Только бы не согнуться, не упасть под нею.

Неожиданно у самых дверей ветряка что-то зашевелилось, а потом поднялась фигура человека, и по-старчески заскрипело, на что-то жалуясь, дерево крыльца.

— Микола Константинович, это вы? — изумленно спросил Данило.

— А кто же еще может тут торчать? — грустью поскрипывает голос старого мельника.— Вот на крыльце, среди мешков, и ночевать собрался.

— Почему же не дома?

— Надо же кому-то быть и здесь — возле хлеба, возле людского труда. Да и не могу я без ветряка, никак не могу! Он мне во всех снах машет крыльями. Я, слышишь, даже рая не хочу без ветряка.

— Ой, дядько Микола! — Данило взбежал на крыльцо, обнял старика, и тот прижался к нему, безмолвно моля о защите.— Крепко заколотил дверь Ступач?

— Да нет,— мельник на ощупь отыскал ладонью те гнездышки, которые пробили гвозди,— дерево-то хрупкое, старое, как мои косточки. Потянешь к себе — так и выскочит железо.

— А вы уже дергали дверь? — улыбнулся Данило.

— Понемногу дергал, а посильнее не решился, потому как нет в руках власти,— уже лукавит мельник и искоса поглядывает на Данила.

— Хитрите или подсмеиваетесь?

— Да нет, больше журюсь,— вздохнул старик.— Давно никто не орал на меня, уважая мой труд и старость. А сегодня Ступач обрушил на меня и громы и молнии и все пугал, что я отрываю от дела рабочие руки. А знает ли этот невежда, сколько он, когда остановится ветряк, озлобит рук на жерновах? Если у человека нечем думать, то думает он задом, завистью и злобой.

Слушая мельника, Данило засунул пальцы обеих рук в щель между обшивкой и дверьми, потянул их на себя раз и второй — шершавое дерево впилось в тело, выгнулось, отскочило от обшивки, и в темноте ветряка завиднелся стародавний король.

— Вот и имеем радость или параграф,— снова вздохнул мельник.— Жизнь! Так что теперь, постоим перед порогом или пойдем к крыльям?

— К крыльям!..

И щемящая боль и беспокойство сменяются радостью или подобием ее: потихоньку, еще веря и не веря себе, заскрипели крылья, заскрипел король, зазвенело зерно по стенкам короба и зашелестел несмелый теплый ручеек муки, на котором держится хлеборобская доля. Мельник подставил под него руку и сам себе сказал:

— Жизнь!

«Жизнь, какая она ни на есть»,— мысленно ответил ему Данило.

Но не успел мельник взяться за деревянную лопаточку, как снизу по ступенькам крыльца быстро забухали чьи-то нетерпеливые шаги, и вскоре в синем проеме дверей черным крестом распялся запыхавшийся Ступач. Верно, от возмущения на нем шевелились торбы галифе. Отдышавшись, он вытаращился на мельника:

— Дед, как вы посмели? Под суд захотелось? Кто позволил пускать ветряк? Кто? Чего молчите?

— А если я не хочу говорить с тобой! — неожиданно отрезал кроткий мельник.— И что ты для меня и людей? Одно немилосердие и суд. Ты уж скоро не только с людь-

ми, но и с богом будешь судиться и все, даже землю, на бесплодье обречешь.

Ступач остолбенел, и в сумраке было видно, как осенней водой наливались его глаза. А Данило вдруг услыхал в ветряке печальное жужжание пчелы. То ли она заблудилась здесь, то ли, отработав свое, забилась на последний отдых?

— Дед, еще раз спрашиваю: кто позволил тебе молоть? — уже зловещим шипением спросил Ступач.

— Хозяин.

— Какой хозяин, если я приказал?!

— Это я позволил,— спокойно отозвался от короба Данило и начал спускаться вниз.

— Ты?! — Ступач на мгновение оторопел.— Зачем?

— Чтобы кое-кому напомнить: ветряк имеет крылья, человек тоже.

— Снова за свое? — немного притих Ступач.— Залезть бы рукой в твою душу.

— Залезать в чью-то душу — это такое же преступление, как и залезать в чужой амбар.

— Тебе еще мало было в районе?! Тебя еще мало учили уму-разуму за эти дни?

— Что-то я не заметил ума у одного из своих учителей.

— Так скоро заметишь! — вскипел Ступач.— Хватит уже нянчиться с тобой, ты уж больно зарвался. В печенках сидят твои подозрительные действия!

— Пахать, сеять, жать — это подозрительные действия?! — не выдержал тона Данило, безрассудство прорвалось в его словах, и он как ножом полоснул по живому: — А как понять действия тех, кто ест наш хлеб и топчет наши души?

У Ступача задрожали губы и тяжелый подбородок.

— Конкретно: это обо мне?!

— Угадали.

— Чем же я топчу их? Чем?!

— Своей абсурдной подозрительностью и примитивизмом исполнителя. Для земли же исполнительства маловато, а для крестьянина — слишком много.

— Вот как!..— на какое-то мгновенье Ступач растерялся, глянул на мельника, потом на Данила.— Выйдем отсюда.

Кипятясь оба, они вышли из ветряка, и синяя чаша вечерней степи обступила их запахами лета и шумом крыльев. Крылья ли это ветряка или недосягаемые птичьи

крылья, что пролетают над нашим веком? Помолчать бы в этот тихий час, подумать бы о жизни...

— Так я, по-твоему, только исполнитель?! — клокоча от возмущения, спросил Ступач.

Ну что бы Данилу в это мгновение прикусить, проглотить язык или как-то схитрить на слове? Да, вишь, нет у него ни хитрости, ни осторожности.

— Не просто исполнитель, а еще и хуже.— Бондаренко через голову Ступача взглянул на небосклон, который как раз извлекал из-под земли первый ломоть месяца.

— Еще и хуже?! — «Вот когда враг заговорил».— Какое у меня преступление? — спросил будто глумливо, хотя всего его так и трясло от обиды и злости.

— Одно из самых больших: вы своей подозрительностью четвертуете веру в человеке. Еще в первые дни революции великий поэт сказал, что он хочет слушать музыку революции. А вы все думаете не о жизни, не о музыке, а о похоронном звоне по человеку.

— Ему еще веры и музыки захотелось! — и в груди Ступача перехватило дыхание.— Вот это ты и скажешь на своем суде! — продохнул наконец он.

— Даже на страшном.

— А он и будет страшным! — ошалев, выкрикнул Ступач угрозу.— Мы тебя, умник, накормим кровью!

— Хлебом, хлебом надо кормить людей, изувер! — повернулся Данило и пошел в луга.

Ступач спохватился: «Что я сказал? Что?! Неужели это ослепление ума?.. А если не враг он? Но почему так много бумажек на него и почему он сам такой? Верно, и черт не разберется в этом круговороте».

И в это время кто-то осторожненько коснулся его рукава.

— Степочка?!

— Ага, Прокоп Иванович, это я. За вами пришла машина из района, так я и мотнулся искать вас... Вот, слыхали, что вам Бондаренко сказал в глаза! А знали бы, какое за глаза говорит: что ваша должность выше вашего ума. Ох, как я боюсь ситуации: если не вы его, то он вас... А как я останусь без вас?

— Степочка, ты клевещешь на Бондаренко? — и Ступач схватил доносчика за грудки.

— Вот так так! — обиженно покачал головой Степочка, обиженно захлопал глазами.— Он меня тоже и обхаживал, и хватал за грудки, когда я приходил за характеристикой. Все хотел, чтобы я подал голос против вас.

— Это правда?

— А какой Степочке интерес говорить неправду? Разве ж я не ваш пособник? Проявляйте, Прокоп Иванович, инициативу сегодня, а то кто-нибудь проявит ее завтра, вот и опоздаете на свой поезд!

Ступач вздрогнул и не прощаясь быстро пошел к селу.

«Как ошпаренный петух побежал,— пожал плечами Степочка и задумался.— А почему он сам так поздно бродит по лугам да полям? Это на всякий случай тоже надо взять на заметочку, а то что будет, если не он Бондаренко, а Бондаренко его сковырнет? И хороший человек, а все может быть...» — и Степочка полез в карман за записной книжкой.

«Разве ж ты человек? Изувер, да и только,— в который уж раз мысленно повторяет Данило.— Да не один молчит, и гнется перед тобой, и угождает тебе, словно лихой болячке. Но не всякий может наплевать себе в душу. Если уж снимать шапку, то снимать перед богами, да и то по своей охоте... Хорошо так рассуждать, а в это время твоя душа, наверное, просеивается на бумажках этого самодура». Безысходная тоска охватила Данила, он склонил голову и словно стал ниже.

— Вечер добрый, Данило Максимович! — тихонько от луговых верб пропел девичий голосок.— Почему в приселок не идете? — Перед ним с граблями за плечами остановилась смуглолицая Катря Лебеденко, месяц мягко играл в ее глазах, на влажных доверчивых губах и косе.

— Еще успею, девушка.

— Успеете? А кто-то кого-то ждет — дождаться не может,— напевно, ручейком, лепечет девичий голосок, да в этом напеве слышится грусть.

— Может, и тебя кто-то не может дождаться,— дружелюбно, с улыбкой взглянул на ладную фигурку, словно выхваченную из вечерней пахучей мглы.

— Меня уже не ждет,— вздрогнула девушка, и месяц погас в ее очах.

— Почему, Катря? — насторожился Данило.— Говори, что-то случилось у тебя?

Девушка понурилась, махнула рукой, под косыми стрелками бровок залегла печаль.

— Нет, лучше не надо.

— Почему ж не надо? Может, чем-то пособлю.

— Тут, считай, помощи негде искать,— тополькем задрожала девушка.

— Говори, Катря! — уже приказывает Данило.

— Вы же знаете, на этих днях случилась беда с моим родным дядей,— с болью и доверием поглядела на него.

— Ну и что из того?

— А Степочка после этого сразу и отшатнулся от меня... Ведь он теперь в район выдвинулся... Думает еще и выше пойти, а я, выходит, родственница «элемента», и это, говорит, ему на характеристику повлияет.

— А на сердце ему ничего не повлияет? — пролегла злая складка в межбровье Данилы.

— О сердце в характеристике не пишут, там только данные нужны.

— Тогда, Катря, хорошо, что он заранее отшатнулся от тебя. Не запаршивевший хорек, а настоящий орел найдет свою Катрю. Но если еще придет Степочка к тебе, гони его чем попало — палкой, кочергой, скалкой, что под руку подвернется! Ты же у нас как звездочка, а он каплун косноязычный, и вообче...— передразнил Степочку.

Катря с удивлением и признательностью взглянула на председателя.

— А мы каплуном Ступача прозвали.

— Ступача? И за что же его так прозвали? — даже повеселел Данило.

— За неумолчный крик. Только вы, Данило Максимович, не задирайте его: недобрый он человек. Это такой, что злобу и в могилу заберет. Не рубите ему все сплеча, а то не с его, а с вашего плеча кровушка потечет. А вы очень нужны нам. Так все говорят в селе и боятся за вас.

— Спасибо, серденько,— обеими руками Данило придержал девичью руку.— Как ты красиво луной подвела свои губы.

— Ой, такое скажете,— Катря стыдливо усмехнулась, потом сжала губы и исчезла в серебристо-зеленоватой синеве вечера.

«Чем тебе не царевна?!» — подумал Данило и, миновав копны, подался в поля.

Над притомленной, завороженной степью стояла такая тишина, что было слышно, как снизу дышит колос, а сверху падают росы и лунное марево. Из настоя увлажненной

полыни и ржи волнами пробивался запах уснувшего вьюнка, в его медовую нежность вплеталась пряная горечь глухих полей.

Данило остановился на полевой дороге, где сходились седина ржи и первая, тускнеющая при луне золотистость пшеницы, оторвал от колоса отвисший цветок вьюнка. На ладони его скрученное, в розовой одежонке, тельце исходило слезами, и такая неутешность была в каждой его складке, что снова подумалось о людском горе.

Зашевелились проклятые вопросы, проклятые мысли и боли: они отовсюду лезли в голову, справляли там и похороны, и поминки. И уже глаза и сердце не тешили ни детский шепот колоса, ни тихая звездная пыль, ни лунное марево. А оно сеялось и сеялось на серебристо-дымчатые поля, на далекие хаты, усыпляло людей, которым не спалось, успокаивало землю, когда мучилась она.

Во ржи что-то зашуршало, и вскоре на дорогу выкатился еж. На его усыпанных росой иголках дробились лунные блестки. На миг он остановился возле людской тени, засопел, принюхался, обогнул ее и исчез в пшенице.

«Ты, еж, имеешь сотни иголок от гадюки, а как спасаться человеку от своей гадины? Даже когда случится со мной беда, о ней заговорят, озираясь по сторонам. Осторожность! Сколько теперь голов заползло под ее неверное прикрытие, а сколько глаз застлал проклятый страх. Только деда Корния будто не коснулся он. Попытался Ступач как-то напугать звонаря, вызвал его в сельсовет, поставил перед собой, а сам сидя начал допрос. Старик слушал-слушал, кивал головой, а потом и сам заговорил, словно судья: «Почему ты, слышишь, расселся перед моими годами, перед моей печалью и сединой? Разве для этого тебя ученые учили, а государство на должности держит? И где ты такой непочтительности к людям нахватался? Думаешь, все начинается с тебя, с твоего скудоумия, которое ты хочешь выше ума поставить? Со скудоумием и неучтивостью можно идти в свинарник, а не к человеку... Что? Не нравится мое слово? А кому же твое, угрозами начиненное, нравится? И почему оно оплачивается нашими деньгами и слезами? Но это до поры до времени, до недалекого времени... Ну что я в колокола звоню — это не радость, а горе мое. Когда слышишь, что у какой-то души нету никакого чувства, то пусть над нею

черт с ведьмой в заслонку бьют. А я печалюсь и плачу по праведным душам».

Вспомнил об этом Данило и обхватил голову руками.

На развилке, где заканчивались земли его села, зачернел старый крест, поставленный еще в двадцатом году, когда тиф перетаскивал людскую жизнь на кладбище. И сразу же за крестом, в долинке, тихо-тихо, лепетала-замирала степная криничка. Ее тоже в двадцатом году, сразу после боя, выкопал Михайло Чигирин. Сколько об его удальстве было сложено былей и небылиц, даже таких, будто он знался с нечистой силой и потому был заговорен от вражеской пули и сабли.

Веселоокого Чигирина не очень смущали такие выдумки, и, когда сомневавшиеся спрашивали его об этом, он покачивал головой и лишь иногда, с таинственным видом, нехотя бросал:

— На нечистых и надо нечистого напускать — свой своего пуще боится.

Добравшись до живого ключа, Михайло Чигирин подождал, пока очистится вода, набрал ее в брезентовое ведро, подхватил его пикой, вскочил на коня и гордо поехал полями к ветряку, где после жаркой битвы под крыльями отдыхали его побратимы...

Теперь постаревший Чигирин исправно председательствует в соседнем селе, иногда, хитро прищурив глаз, сетует на Данила за ненужную вспыльчивость и прямолинейность, учит, что порой надо пожалеть умный лоб, чтобы не отвечало за него глупое место, что пониже спины.

Это поучение так убедительно звучало у него, что Данило, забыв свои беды, начинал успокаиваться, и они вместе ехали в поле или к партизанской криничке, за которой теперь понемногу присматривает дед Корний. Он задернил ее, вырастил над нею плакучую иву, возле нее приладил на двух столбиках скамью, по бокам которой вниз головой свисали деревянные черпаки. Отрадно было старику смотреть, как бьется сердце ключа, как неровно дышит вся криничка и напевно перечищает воды. Тогда приходили на память разные годы, даже такие, что были или не были, и горы Болгарии, на которых он проливал кровь, и его Меланка, что отошла от него.

«Жизнь...»

Данило подошел к забытому кресту. Давно уже на нем ничего не было, кроме серых печатей лишайника. А теперь на нем Данило заметил рушник. Чья измученная душа

принесла свою жертву и мольбу на перекресток глухих дорог?..

Не перед крестом, не перед богом, а перед чьим-то страданием снимает Данило картуз, и лунный дождь падает в его печальные глаза. Колыхнулся рушник, и колыхнулись на нем кроткие голуби любви. Где он видел их? И кому они ворковали о верной и чистой любви? И что теперь, кроме горя, осталось от той любви?

Под голубями свежими комочками земли чернели старые замысловатые буквы, какими теперь не пишут. Данило приподнялся на цыпочки, прикоснулся руками к рушнику и нашел на нем четыре слова мольбы: «Боже, спаси раба Ивана».

Рушник встрепенулся, и голуби отлетели от человека. Но Данило уже знал, кто принес свое горе на перекресток глухих дорог. Это тетка София, ничего не вымолив у людей, пришла с поклоном к богу и своего отчаянного Ивана нарекла рабом божьим. Как бы он кипятился и чертыхался, если бы узнал об этом. Да вряд ли узнает, вряд ли! Голуби любви снова бессильно припали к кресту, что смотрел в мир мертвыми глазами лишайников.

— Не спится, сыну? — послышался позади глухой, с табачным хрипом и застарелой простудой, голос. Посреди дороги стоял весь в белой полотняной одежде дед Корний, от него пахло ульями, самосадом и застарелым деревом. Он подал председателю оплетенную жилами и до блеска натертую деревянными ручками плуга и веревками колоколов руку.

— Не спится,— поклонился старику.

Дед Корний одной печалью глянул на Данила.

— Откуда же, дитя, такая зловещность пала на нас? Ты не думал над этим? Или из-за планов выполнения да перевыполнения и не было времени думать?

— Ох, думал, деду, уже мысли в голове не вмещаются.

— А кто-то, верно, не очень болея и думая, ухватился за черные бумажки, за крик, за метлу железную, да и зарабатывает на этом выдвижение. А дурость на выдвижении наделает нам больших бед: одних людей придушит, других повернет к богу, третьих — к злобе, умным пригасит разум, и они замолчат в горе, а нахальным умножит нахальство, и они пойдут красоваться, как мухоморы. Так придет ли, сыну, через такие трудности настоящая мудрость к нам?

— Непременно придет, дед Корний, непременно! Ина-

че не может быть,— с верой и мукой глянул Данило на старика.— Вот увидите!

Дед грустно покачал головой.

— Может, и так, может, и так, вам, молодым, виднее. Это мне и Михайло Чигирин говорил. А я, слышишь, уже духом пал — человек есмь, старый человек. Думаю и журюсь: почему же то добро должно идти по нашим печалям?

И на это Данило ничего не смог ответить. Невольно потянулся к старику, обнял его и, боясь предательской слезы, быстро пошел к своей Мирославе.

А старик еще долго, покачивая головой, смотрел ему вслед, потом взглянул на рушник, перекрестился на голубей любви, да и начал думать и о житейском, и о том, что уже заглядывало ему в притомленные мудрые глаза, звало в последний путь.

«И натрудились, и назвонились вы за свой век,— поглядел на свои годами подсушенные ладони.— Время, чтобы и над вами кто-то зазвонил. Только кто? Не всякий понимает печальную душу колоколов. Не пора ли сходить к вербивскому звонарю? Наверное, пора...»

Далекие миры, и звезды, и луна, и движущиеся поля, и сенокосы с копенками сена, и колокольня подступили к старику. Прислушиваясь к неровному дыханию земли, в думах, в тревогах, в горьких надеждах медленно пошел мерить свой последний путь дед Корний.

Вот он узенькой тропинкой вошел в безмолвие червонной пшеницы, стебли которой держали на себе и вбирали в себя мглистость петровчанского сна. «Это святой Юрий полями ходит, хлеб-жито родит»...

К старику отовсюду потянулись золотые сережки увлажненного колоса, потянулась и дремота, а в тело медленно-медленно начала впитываться пряжа далеких-далеких лет. Даже оглянулся вокруг: не увидит ли их? Да увидел только тени, которые крадучись переходили с поля на поле.

Разве ж не этими полями в жатвенную пору он возвращался домой со своей проворной чернобровой женой, на руках которой то плакал, то агукал, то спокойным снопиком засыпал беленький узелок? И тогда не надо ему было ни маминой груди, ни маминой колыбельной, так как ее нашептывали колосья, шептал белочубый сон, шептали четыре брода, и привязанные, и непривязанные челны на них, и вербы над ними.

— Ты только погляди, как он спит! — счастливо обо-

рачивалась к нему жена, и они оба наклонялись над сном ребенка.

— Хороший будет пахарь, если найдется для него земелька.

Шестерых словно в солнце выкупанных красавцев пахарей народила ему жена то в полях, то в лугах возле бродов, то в хате, в окна которой всегда заглядывали или подсолнухи, или солнце. Войны унесли половину их сыновей, а печаль унесла жену на кладбище, и самым большим утешением стали в старости ему колокола да внуки.

«Хорошо, что хоть у них, пока маленькие, меньше хлопот, чем у сыновей».

И то ли далекие годы, то ли колос, то ли хата отозвались ему:

Ой колишу колисочку,
Ой колишу колисочку
Яворову,
Щоб у нїй росла,
Щоб у нїй росла
Дитина здорова.

Он протянул руку над полем так, будто в ней было зерно, и сказал далям: «Растите, дети, здоровые, растите красивые, растите работящие и добрые».

Нивы вбирали в себя тихие слова старика, как вбирали когда-то его посев, и вбирали посев месяца и голос перепелки, что кому-то советовала заснуть на ночь, а ему навсегда. Да разве это страшно, если ты честно прожил свой век?

Через хлеба старик вышел к татарскому броду, что спал и не спал под всплесками волны и рыбы. Вот тут когда-то ордынцы гнали ясырь в Крым и все до единого погибли от войска Ивана Сирка, как должно гибнуть все жестокое на свете. И до сих пор в непогоду стонут эти берега, ибо тяжелое время ходило по ним и впечатало свои следы в память земли.

От татарского брода Корний добрел до девичьего, где на лугу то ли недвижно стояли, то ли чуть-чуть шевелились нарядные копны сена. А на плесе, словно деды, сивели и плыли по течению клочья тумана. Вот в этом броде под Новый год он встретил свою судьбу — свою Меланку, что возвращалась от родни из приселка. От неожиданности она вскрикнула, потом засмеялась, будто серебро рассыпала на подсиненном снегу.

— Ты чего смеешься? — не нашел ничего лучшего спросить он, а в душе что-то ёкнуло и остановилось.

— Потому что тебя увидела,— и такой улыбкой озарила его, будто весна встала рядом с нею.

— Такой я красивый?

— Как месяц молодой.

— Умеешь ты сказать,— забормотал растерянно и взял ее за рученьки. Они вздрогнули, рванулись, а потом притихли в доверии, в ожидании.— Озябли?

— Озябли, Корний.

— Тогда я в шапке погрею их,— снял свою высокую смушковую шапку.

Девушка начала отнекиваться, да он втиснул ее руки в шапку, и пошли они по льду к берегу. А на берегу, возле заснеженных вербочек, Меланка так славно запела ему:

Ой учора ізвечора
Пасла Меланка два качура.
Ой пасла, пасла — загубила,
Пішла шукати — заблудила.
Ой вийшла у чистеє поле,
А в полі Корній плужком оре.
Ой оре він, оре ще й сіє,
А за ним рілля зеленіє...

Напахался и насеялся он за свой век. И чернела, и зеленела, и сивела перед ним и за ним пашня, а теперь уже и он посивел, как долгий век: старость хоть кого одолеет. Вот и пора прощаться со светом. И взглядом прощальным посмотрел на те старые, с истлевшими сердцевинами вербы, что были вербочками, когда возле них стояла его Меланка.

«Спать пойдем, спать пойдем...»

С шорохом нивы, с шорохом старых верб, с пением перепелки он дошел до села и направился к колокольне, в которой и теперь дремали и праздничные, и скорбные голоса его колоколов. Корний открыл двери колокольни, и вдруг такая слабость охватила его, что должен был, держась за дверной косяк, опуститься на ступеньки. Неужели это пришло о н о?

Лунный свет падал ему на седую голову и отражался в глазах. На леваде застрекотал коростель, а над головой не звонили, а шелестели колокола, да все равно их голоса начали входить в тело, и все оно отозвалось гудением. Тогда скорее, скорее к внукам, а то и попрощаться не успеешь.

Утомленный, вспотевший Корний едва доплелся до своего двора, а со двора до садочка, где, разбросавшись,

спали белочубые внучата, как когда-то спали его сыновья. Наглядевшись на то, что называлось жизнью, он наклонился к детям, коснулся их губами, а колокола, что заполняли его тело, начали поднимать его вверх. Он вытянулся, рукой, словно землю, благословил внуков:

— Растите, дети, здоровые, растите хорошие, растите красивые и добрые.

Проснулась его самая младшая невестка, с тревогой взглянула на него.

— Ой, таточку, что с вами?! — Дремотность слетела с ее лица, продолговатых глаз и длинных ресниц, а руки крестом легли на грудь.

— Ничего, ничего, не тревожься, доченька. Это мой последний час за дверью стоит,— и оглянулся, словно мог его увидеть.— Не буди детей. Может, до утра доживу возле них...

Да колокола, что были в нем, застонали и начали опускать крылья...

XVIII

За татарским бродом ранняя ночь затемняла и высвечивала приселок. Уткнувшись в тепло холмов и долинки, он спросонья покачивал подсиненные жилища, черные тополя и сизые от времени колодезные журавли. Возле приселка колосилась яровая пшеница, молодая и высокая, а гордые подсолнухи стояли, как славянские воители,— щитами на восток. На плесе шевелились затонувшие тени хат, на них вниз головой дремали длинноногие аисты. Где-то под густыми тенями сада ворковали молодята: любовь, как и преступление, ищет темноты.

У Шляховых тихонько скрипнула калитка, насмешливо прозвучал девичий голос, и в ответ ему живо откликнулся надтреснутый тенорок:

— Наше вам! И ты, того, всяких наговоров на меня не слушай... Степочка не подведет, Степочка всю культуру понимает...— Показав руками, шеей и взглядом, как он понимает всю культуру, Степочка лихо вскочил на велосипед, для форса звякнул звоночком и горделиво выехал на улицу.

Увидев Данила, он сначала по-заячьи пригнулся к рулю, бросил косой взгляд, а потом поднял руку и помахал ею, кивая головой, как начальник его конторы:

— Наше вам, Данило Максимович!

И хоть невесело было на душе у Бондаренко, он остановил недалекого, но прыткого хлыща:

— Ты, Степочка, не заблудился случайно?

— Я? Хи-хи... А чего мне? Вроде дороги знаю.— Опустил одну ногу на землю, повел по сторонам чижиковато-хитренькими глазами.

— Ты ж будто топтал стежку к Катерине Лебеденко?

Степочка через плечо, украдкой, взглянул на калитку Шляховых, приложил палец к губам и перешел на шепот:

— Видите, с Катериной, тое, неувязочка вышла. Она, Данило Максимович, конечно, с какой стороны ни посмотришь — девушка на уровне и насчет симпатичности, и вообче. Но вы сами, как деловое руководство, понимаете — она может бросить тень на анкетку. А на данном этапе анкетка нешуточное дело для меня, ибо Степочка прикинул в уме кое-что и идейным становится.

— Уже прикинул, значит! — и Данило недобрым взглядом посмотрел на округлое, сочившееся наигранным оптимизмом лицо Степочки. «Этот навозник самую святую идею испоганит. И чем только мог он вскружить голову Катре — ни кожи ни рожи!»

— Вы не сомневайтесь, я правильно прикинул,— доверительно успокаивает Степочка.

— Тогда не буду сомневаться,— прищурился Данило.— Ну, а Шляховы, думаешь, не бросят на твою анкетку тень?

— Нет, тут все проверено! — видно, с чьего-то голоса пропел Степочка.

— Может, и так, а может, и нет. А ты случайно не слыхал, как Шляховых по-уличному зовут-величают?

— По-уличному? Цари! А что? — У Степочки от какой-то мысли с лица сразу слетела хитроватость, оно стало растерянным.— А что? — уже испуганно повторил он.

— Да ничего, в общем. Но пошел слух, что это связано с династией Романовых.

— Неужели есть такой слушок? — обалдело спросил Степочка и уже с недоверием и страхом взглянул на калитку, оттащил немного дальше от нее велосипед.

— Гляди, а то еще в царьки попадешь, порадуешь всю заграницу. Ей таких кандидатов только подавай.

Степочка скривился, полез рукой к затылку, а Данило не выдержал, расхохотался.

— Я так и знал, что вы шутите,— ожил, угодливо хихикнул Степочка.— Наше вам!

И поехал к татарскому броду, раздумывая, как и чем поддеть насмешника. О, мысленно Степочка так мог ответить своим противникам, что им и не снилось. Да и написать куда следует сможет: жизнь на данном этапе — это борьба, а не глупые насмешки. Степочка кичливо напыжился, губы его от злости вытянулись и стали тонкими.

На подворье Мирославы дремотно стояли стожки сена. Возле перелаза с черных черешен свисали тяжелые капли росы, и земля откликалась на их перестук. Скрипнула дверь, на пороге застыла гибкая девичья фигура с волосами русалки.

— Данилко, почему так поздно? — обиженно и радостно прошептала она, покачиваясь на пороге, и на ее плечах тоже покачивались распущенные волосы.

— Будто соскучилась?

— Бессовестный! — Надула губы, отвернула голову к косяку дверей.

— Вправду бессовестный?

— Соскучилась по тебе, так соскучилась,— с доверчивостью потянулась к нему.

И то ли от пережитого за эти дни или от чего-то другого к сердцу Данила подкатила такая волна благодарности к девушке, к ее вере, к ее любви... Неужели не понимает, что черная тень ложится, а то уже и легла на их любовь?.. Чем это только кончится?.. И смотрел на девушку, как на утреннюю звезду, а затем, словно ища защиты, так обнял ее, что Мирослава перепугалась:

— Данило, родной, что с тобой? Так перед смертью обнимают... Ой, что я, глупая, сказала? Напугал ты меня.

— Все мы теперь напуганы, и где? На своей земле, и кем? Своими же, своими ступачами.— Он задумчиво поглядел в ночную даль и с трудом сдержал вздох.

— Не говори об этом, ибо никто не знает, что теперь происходит. Ты вечерял? — Мирослава успокаивающе положила ему голову на грудь, а он вплел руку в ее волосы.

— Вечерял с косарями.

— И снова галушки?

— Галушки.

Они зашли в хату, ее пол курился лунной пылью. Данило легко поднял девушку на руки, бережно положил на кровать, застланную полосатым рядном, и склонился над ней.

— Как хорошо, когда ты есть, такой сильный, такой славный,— улыбнулась и вздохнула Мирослава.

Он прикоснулся к ней рукой. А в это время послышалось гудение машины. Почему оно так насторожило его? Гудение нарастало, в окна ударил свет, и крестовины рам в его лучах испуганно метнулись по стенам к столу.

— Ты чего забеспокоился? — спросила Мирослава.

— Ничего, ничего...— Данило взглянул на окна, в которых дребезжали стекла от гула машины. «Остановится или нет? Пошла дальше. Что со мной?» Он снова склонился над Мирославой, заглянул в ее полузакрытые глаза.— Как хорошо, что ты есть на свете. Самая лучшая!

— Так уж и самая лучшая? — От счастья в ее голосе прорвались те низкие звуки, которые так волновали его.— Только без этого! — отвела его руку.

— Можно и без этого,— пробормотал Данило, привлекая ее к себе и задыхаясь от запаха ее волос.— Чем они пахнут у тебя?

— Степью, любимый.

— Евшан-зельем тоже?

— Наверное. А у тебя чуб словно вытоптанная рожь.

— Если бы только вытоптанный чуб...

— Поспи хоть немного.

Он положил руку на ее грудь, и она не отбросила ее, а снова повторила:

— Засни, любимый.— В ее голосе прозвучала не любовь, а материнская забота...

Сон как-то незаметно отдалил его от девушки, перебросил в притемненную степь, в цветение подсолнухов и в луга со свежими копенками сена. А Мирослава долго-долго смотрела и насмотреться не могла на своего Данила, который даже во сне сердился и на свою судьбу, и на тех, кто выкручивал ей руки... С такими грустными думами и она погрузилась в сон.

И не успели забыться, как на подворье мягко затопали чьи-то шаги, как зашумели росами испуганные черешни, как зашипела земля. Сказка любви, молодости и ночи усыпила обоих: сейчас на белом свете, на черной земле было их только двое.

Но вот на окно, как ночная птица, опускается чья-то рука, тревожно зазвенело стекло.

— Ой, кто там? — соскочила на пол Мирослава. За ее спиной лунными бликами взметнулись волосы.

— У вас Данило Бондаренко? — слышит Данило зва-

комый голос и поначалу не понимает: зачем он теперь забрел сюда?..

«Выскочить в другое окно?» Данило поднял занавеску. Из окна лунная ночь надвигается на него, словно хочет войти в его глаза.

Рука настырно клюет стекло.

— Гражданка Сердюк, у вас Данило Бондаренко?

— Кто это? — испуганно смотрит на Данила.

— Наверное, из колхоза кто-нибудь,— обманывает ее.

— У меня, у меня,— с облегчением выдохнула Мирослава.

— Пусть выйдет во двор.

— Что ж это, Данилко? — тревога снова вцепилась в девичье сердце.

— Ничего, ничего...— как мог, успокаивал ее, а в голове стучала та же самая мысль: «Как же это?.. Неужели лучший друг арестует меня?»

— Не ходи, Данилко, я боюсь! — Мирослава обхватила его, когда он встал на пороге.

— Подожди, любимая... Успокойся, я сейчас. Какое-то дело есть ко мне.

Оторвал от себя девушку. Она, вздрагивая, бессильно прижалась к косяку, а он, чувствуя, как замирает его обескровленное сердце, вышел из хаты.

В тени возле порога настороженно стоял Гарматюк. Он, заскрипев новыми ремнями, сделал шаг вперед и чужим, одеревеневшим голосом пронзил его грудь:

— Данило, ты арестован.

Пошатнулось, взорвалось небо, и бешено закружилась перепуганная звездная метель, она с небом валилась на него, валились деревья, и стрехи, и тени. Данило хочет удержать их, но может показаться, что он поднимает руки вверх; он прикладывает руку к сердцу, которое словно оборвалось, и не ощущает его, только чувствует, что опустошенной стала его душа.

— За что? — спрашивает не голосом, а опустошенной душой, что, кажется, даже загудела...— За что?

— Есть санкция Ступача...

Этот удар и рассек, и собрал его волю. Печаль глухих степей и печаль его предков до боли поразили его душу.

— Неужели ты, ты можешь поверить, что я враг? — Он смотрел в глаза друга, как в свою душу: не воскресит ли в них пору былой юности, не воскресит ли чувство верности, что соединяло и поддерживало их? Но на глазах

Гарматюка, на его лбу, на его морщинах лежали и свои, и чужие тени.— Значит, и у тебя линяет душа, как шкура гадюки? — отрезал с болью и ненавистью.

— Не трогай сейчас моей души, без тебя достается ей,— еще больше нахмурился Гарматюк.

Настежь распахнулись двери, и Мирослава припала к Данилу:

— Скажи, почему пришли за тобой, почему?

Гарматюк отвернулся.

— Да успокойся, Мирослава. Надо в город поехать,— тихо сказал Данило, и даже как-то сумел улыбнуться ей, и коснулся рукой ее волос. Упадут ли они когда-нибудь на него пахучим дождем?

— Ночью ехать? — заглядывает ему в глаза Мирослава, и он прячет их от нее.

— Ночью. После Купала ночь перевешивает день. Ты не запирай двери — я скоро приеду. Слышишь: не запирай двери!

— Правда? — радость сразу высушила ее слезы.— А я так чего-то напугалась...— виновато улыбается ему и взглядом, и губами.— Так я буду ждать...

— Жди, любимая...— Взял ее за плечи и легонько толкнул в сени. На что он надеялся?

Когда за ней закрылась дверь, вздохнул и сквозь зубы сказал Гарматюку:

— Пошли.

Сразу же за хатой звенела и сладко пахла росой гречиха, за ней, щитами на восток, стояли подсолнухи, они ждали солнца, и Данило позавидовал им: он уже не видел перед собой солнца — оно было позади него.

Молча остановились на краю дороги. Данило потянулся рукой к подсолнуху. В его сердцевине отдыхал после работы шмель, с прозрачных крылышек стекала лунная роса.

— Где же твоя машина? — кусая губы, с болью и презрением взглянул на вчерашнего друга. Холодный пот выступил на лице Гарматюка, на виске дергалась и корчилась неспокойная жилка.

— Машина к твоей хате поехала.

— Меня там ищут?

— Ждут.

— Чего же ты?..

— А, не спрашивай... Разве так думалось... Данило, скажи, как на духу: ты не знаешь, не догадываешься, за что тебя...

— Во враги записали? — резко подсказал Данило.— Знаю, догадываюсь.

— Вправду? — еще больше нахмурился Гарматюк.— Ты можешь сказать?

— А для чего это тебе? Веди уж к тому, кто дожидается моей души.

Гарматюк вздохнул:

— Еще успеем, некуда спешить... Если б можно было на каком-нибудь рентгене просветить людскую душу... Так за что?

— За то, что я не захотел двурушничать ни перед крикливым Ступачом, ни перед молчаливой землей, за то, что я хочу, чтобы люди земли ели хлеб, а не пальцы грызли, за то, что не бросаю зерно в мерзлую могилу, а жду тепла и срываю график Ступача, потому что люди едят не график, а хлеб. Но для равнодушных сердец главное не суть человечности, а крикливая цифра. Ступачи же издеваются над землей, выдавая это издевательство за новаторство. Не подумай, я тоже за новаторство, но — ученых, а не выскочек, которые сумели на свое бесплодие и невежество натянуть тогу ортодоксальности и модных фраз. Такое левачество немало наделает нам беды, пока люди не увидят, что короли были голые. И от них я должен оберегать землю, ибо хочу, чтобы на земле хлеб рос без людских слез. Погляди на мое поле, тогда и увидишь мою душу. Разве такую пшеницу, такую рожь, такую гречиху, такие подсолнухи могла вырастить вражеская рука? Ты веришь в это? Ты же сам пахал землю! Веришь?

— Не верю, Данило,— тихо ответил Гарматюк. Он покачнулся, обнял своего друга, прижался щекой к его щеке, но не поцеловал.— А теперь иди, Данило. Иди куда глаза глядят, куда знаешь... Но если попадешься, должен говорить: не видел меня. Мы разминулись. Не подведешь?

— Да что ты? — растерялся Данило.— Разве я тебя когда подводил... разве что сейчас... А как же ты?

Гарматюк нахмурился, недобрый блеск промелькнул в его глазах.

— Может, выкручусь. Может... Пусть никогда между нами не будет братоубийства. Иди.

— Подумай — головой рискуешь!

Парень озлился:

— Эх, что теперь наши головы... В село не заходи. И к Оксане тоже. Иди, пора!.. Только куда же ты пойдешь?

— К Ступачу! — и сжал кулаки.

— Сумасшедший! — возмутился Гарматюк.

— Какой уж есть.

— И что ты будешь с ним делать?

— Вытряхну мерзкую душу!

— Хватайся за более умную мысль. Даешь честное слово, что не пойдешь к Ступачу?

— Должен дать,— склонил голову Данило.

Гарматюк обнял его и теперь поцеловал в щеку.

Веря и не веря в то, что случилось, Данило, пошатываясь, пошел к татарскому броду, в котором вниз головой повисли хаты и аисты на них. У берега оглянулся. Возле подсолнухов уже не было его друга.

Поздняя жатвенная пора; в степях затихают последние возы, а в небе месяц все ищет и ищет себе пару; не найдя ее в высоте, печальным подсолнухом опустится на землю,— может, хоть там пофортунит. Но не фортунит ни месяцу, ни ему. Как бросила его бывшая жена, так никто из Евиного отродья не завидует ни его красоте, ни его... чину, ибо пугает этот чин не только женщин. Верно, потому и потерял сон; вот и ходит, и ходит до полуночи по своему домашнему кабинету.

«Это не он, а нечистая совесть ходит»,— подслушал недавно, как его уела своя же кухарка, которая никогда не жалела ему кардамона, а теперь и язвительности не пожалела. И погнал бы ее, да где такую стряпуху найдешь? Еще подольским помещикам обеды готовила, а теперь, не ленясь, готовит ему. Даже приятно глядеть, как она, румянощекая, опрятная, по-домашнему тихая, без стука и грохота, колдует возле огня. Вот только язык у нее колючий.

«Это не он, а нечистая совесть ходит»,— уже в который раз вспоминает Ступач эти слова и гонит их от себя прочь, да так и не может пригасить ни своей душевной тревоги, ни своей подозрительности. Не было ее прежде, все начисто решалось-рубалось сплеча, а теперь кто-то подкинул такое ползучее зелье. Не предчувствие ли это страха? Ведь для его профессии, да еще в такой год, этот гость не диковина. Нет, нет, никакое смятение не подкосит его воли! Но вот откуда и когда вкралась эта интеллигентская подозрительность? Не со дня ли санкции на арест Бондаренко? После этого все знатные хлеборобы района не стали замечать его. Ох, эти хозяева! Они и сейчас уверены, что мы и до сих пор не научились ходить за землей, они и до сих пор верят в крестьянский рай и цепляются за свои приусадебные делянки, как за полы

судьбы. Отрезать бы их все, тогда лучше бы работали на общественной ниве. А как его за это осмеял Мусульбас, да к тому же еще обозвал бездуховным деятелем. Это ж надо такое паскудное слово подобрать!

Ступач остановился возле окна. Месяц, так и не найдя себе пару, уже опускается до самой земли, а под ним из степи идут две женские фигуры. Одну он сразу узнает — это его кухарка Мотря. А кто же с ней?

Верно, какая-нибудь родня: хватает у нее родни и в селах, и на хуторах.

Вскоре заскрипели двери, и он услыхал певучий голос Мотри:

— К вам можно или как?

— Заходите, не шебаршите.

В кабинет протискивается полноватая Мотря, становится у самого порога и испытующе оценивает его печальными степными глазами. Вишь, присматривается, какое у него настроение. Если плохое, то вздохнет, скажет, что не пора ли ночь пожалеть, да и пойдет к себе, не забыв заварить чай душицей или еще каким зельем.

— Вы не проголодались? Может, что-нибудь принести перекусить до завтрака? — и даже в этом ее «до завтрака» чувствуется язвительность.

— Не надо.

— Не надо — так не надо. К вам уже второй раз приходит панночка. Я еще утром говорила о ней.

— А я вам говорил, что панночек теперь нет.

— Для вас, может, и нет, а для меня есть,— внушительно говорит Мотря.— Так выслушаете ее дома? А то на службе теперь не дотолпишься до вас.

— Кто же она такая?

— Агрономша. А славная какая, хоть рисуй, только хмурая очень — видно, беда или горе бередит душу.— И вздохнула.— Теперь это не диво.

— Не спрашивали, как ее фамилия.

— Сердечная — Мирослава Сердюк. А волосы какие у нее! Такие только в степи возле пшеницы могут уродить.

— Эге ж, тут у кого волосы, а у кого язык буйствует,— буркнул Ступач.— Что ж, зовите. Видно, смелая ваша панночка.— И он многозначительно посмотрел на окно.

— Где там! Деликатная и нежная, словно былинка,— заступается за девушку и боком выходит из кабинета.

Вместо нее на пороге появилась поздняя гостья. Глянул на нее Ступач — поразился: давно не встречал такой

красы. Только и вправду очень печальная она. Не горе ли загнало ее ко мне?

— Прошу вас, садитесь,— показывает он рукой на громоздкое, обитое кожей кресло.

Но гостья не торопится сесть, а волнение не милует ее шершавые уста.

— Извините, что так поздно. Я уже не первый раз добиваюсь вас...

Ступач в небогатые регистры своего голоса вплетает доброжелательность: есть же для кого.

— Какое-то дело тревожит вас?

— Да, очень тревожит.— Мирослава непослушными пальцами раскрыла небольшой портфель, вынула оттуда вчетверо сложенные листы бумаги, протянула прокурору.— Вот тут изложена суть моего дела.— И снова задрожали ее уста.

Ступач нетерпеливо развернул страницы, из которых выпало несколько пшеничных зерен. Лишь за одну минуту, как-то наискось пробежал глазами по письму и удивленно посмотрел на девушку.

— Так вы хлопочете за гражданина Бондаренко?

— За товарища Бондаренко.

— И вам, извините, не страшно?

— Это большой грех — бояться правды.— И уверенность и страдание прозвучали не только в голосе, но и во всем ее существе.

Ступач неодобрительно покачал головой:

— Вы уверены, что защищаете правду?

— И не только я — все хлеборобы, кто знал Бондаренко.

— Это еще не факт! — вырвалось неудачное слово.

И эта нежная былинка тут же непримиримо подсекла его.

— А что по-вашему факт? Наговоры, анонимки?

Кому-то бы он за такие слова прищемил язык, да иначе должен говорить с красою.

— Вы не так поняли меня. Я хотел сказать: правда и кривда теперь в таком сплетении, что и мудрец не всегда поймет, что оно и к чему.

— А вы, оказывается, поняли.

Ого-го! Это уж не вопрос, а суд. Кто же она? Наивная девчонка? Наивная любовь? Чья-то чистая совесть? И снова даже в мозг ударили проклятые слова, только немного в иной редакции: «Это нечистая совесть ходит».

И даже ему показалось: на полу дьявольским клубком зашевелилась нечистая совесть. Это уж черт знает что! Какие-то параноические симптомы. Но что ответить этой печальной красе, которая не спускает с него осуждающих глаз? Откуда это? Откуда такое явное превосходство?

— Да, в данном случае, то есть в том, что интересует вас, мы все поняли, все взвесили, во всем разобрались: Бондаренко — враг. И не советую вам, вашей молодости, вашей красе брать его под защиту. Это повредит вашей биографии.

Мирослава с достоинством ответила:

— Такое я уже слыхала.

— От кого?

— От вашего почитателя Степочки Магазанника.

И снова наивность или святая правда судит его. Каким словом страха, каким окриком, каким красноречием осадить ее? Тут страх и окрик не помогут, не тот случай, а красноречие выветрилось из сбитой с толку головы. И пока он старался сосредоточиться и снова овладеть собой, своим красноречием, Мирослава, кусая губы, спрашивает:

— Неужели это ваше убеждение о товарище Бондаренко?

— Железно! — вместо красноречия срывается дурной паразитизм.

— Тогда не о чем больше говорить. А заявление мое все-таки рассмотрите.

— Оно повредит вам.

— Когда-нибудь ваша самоуверенность повредит и вам. Непременно повредит.

Девушка, покачиваясь, оборачивается, и вскоре он видит, как она с подворья направляется на дорогу и одиноко идет в разомлевшие степи. Чувствуя какую-то непонятную утрату, он хочет кинуться вслед за ней, но останавливается на пороге: догадывается, что гостья безжалостно прогонит его. Вишь, до чего лирика дошла: моя самоуверенность когда-нибудь повредит мне! Чистейшая нелепость! Хотя чего не бывает в подлунном мире. Это неуверенность овладевает им. Еще раз взглянув на месяц, он выходит из жилища и долго-долго смотрит на дорогу, на которой исчезает девичья фигура — печальный цветок степей. Ох, эти неразгаданные степи! Чего только не родят они! И почему среди них, среди хлеборобского племени ты чувствуешь себя изгнанником?..

Вот и нет уже никого на дороге, а на сердце легла горечь — не потому ли, что эта краса никогда не придет к тебе...

XIX

Никто не знает, где его судьба. Данило верил, что его судьба — в труде, в неусыпном труде, в любви к земле, к колосу, к человеку.

До этого страшного вечера у него была большая любовь: и к верным девичьим очам, что таили в себе привлекательность и чары, и к седой мудрости, в надбровье которой сходились два века, и к материнству, что несет возле груди не белые узелки, а наше будущее, и к тому далекому пахарю, что на горизонте шел за плугом, и к той жнице, что держала на руках снопы и лето, и к тем аистам, что с рассветом будили его или он будил их.

Данило любил смотреть, как, изгибаясь, волнуя душу, чуть не до самого неба летели нивы, и радовался, когда июнь набрасывал седину на рожь, а золотистость на пшеницу; он любил слушать на рассвете, как июль отбивал косы, как август целыми днями тиховейно сеял в спокойную землю зерно и надежды, а сентябрь приглушал полусонную песню шмеля; он любил слушать, как летние вечера звенели головками маковок, а осенние взрывались звездопадами; он любил запахи свежего хлеба и золотую задумчивость подсолнухов; доверчивый и впечатлительный, он тревожно прислушивался к чьей-то жизни, и к течению воды, что лепечет и играет в корнях прибрежных ив, и ко всей своей хлеборобской стороне, что издревле держится на седой ржи и добрых руках спокойных пахарей.

Вот и сейчас заиграла вода в корнях, но он не обрадовался— вздрогнул. Все это, что прежде было его,— уже не его, а и уже не хозяином он идет по своей земле, а испуганной тенью, которую пугает пение воды в корнях и всплеск весла на татарском броде. Гей, броде татарский... Два берега, два месяца тут, а жизнь одна, да и та не полная...

Большая обида, большая боль и первая усталость духа обессилили его тело, растравили сердце, затуманили мозг. Вот и ворвалась в твою молодость осенняя тоска, и не выбросишь ее, и не избавишься от нее.

Жаль было себя, жаль было дел и замыслов своих, жаль было света белого, на который еще и наглядеться не

успел. Знал только одно: за этот свет, за родную землю сумел бы достойно умереть. И на поле боя он был бы косарем. Так почему же и кто делает его врагом? То копыто, что привыкло вбивать примитивы в головы да гвозди в ветряки? Что бы там ни было, а он вовеки не станет глиной в таких руках... Но как же не станешь, если тебя вырвали из земли, словно стебель, что только-только начал цвести,— с нивы?

Скошенными от боли глазами, прощальным взглядом поглядел он на татарский брод, где зыбкая волна играла в жмурки с лунным сиянием, на долину, за которой туманилось болото; в давние времена люди прятались там от орды. Вот туда, верно, лежит его дорога; если и будет погоня, то вряд ли кто отважится сунуться в это гиблое место. А может, и в самом деле надо не хозяином быть, а поддакивать, тихо сидеть в своем дупле и все делать с чужого голоса и приказа, каким бы он ни был? Нет, он не виновен ни перед людьми, ни перед государством. Только это и может быть его оправданием. Но как мало этого для ступачей, которые забыли, что прошли времена бессловесного послушания. Что же в тебе, Ступач? Ложка подлости, ложка угодливости и ведро честолюбия! Так неужели эта мешанина должна обрекать кого-то на гибель?

Вихрь мыслей. Темный вихрь мыслей. Данило барахтался в них и выбраться не мог, он шел с ними, с болями и омерзительным ощущением холода и страха. А над ним, в ночном куполе неба, высвечивалась луна и серебряными веревочками подтягивала к себе и покачивала обезлюдевшую землю и ее тени, покачивала, как и тогда, когда Данило, падая от усталости, возвращался с матерью домой. Тогда луна садилась на плечо матери, где покоился серп, тогда руки матери пахли зрелой рожью и душицей, а на ее губах лежала вдовья печаль.

«Утомилось, дитя? Вот мы сейчас домой придем, вечерю приготовим...» — на минуту возвратился в свое детство, к материнской руке, увидел ее плечо, на которое садилась луна, услыхал ее песню, в которой жили журавль да журавка...

Неожиданно за подсолнухами, там, где стоял ячмень, Данило услышал шарканье косы, и это не порадовало, всполошило его. А он так любил косовицу и косарей! Когда видел белую вереницу косарей, ему казалось: она выходит из лона самой истории.

Данило остановился, прислушался. Кто ж это такой нетерпеливый первым вышел на жатву? По берегу он под-

нялся к подсолнухам, что собирали в золотые миски лунный сон, тропинкой вышел к ячменю и впереди себя увидел высокую фигуру косаря, который широко и красиво захватывал полосу покоса. Ячмень вспыхивал на грабках [1] и тут же, скошенный, гас, вспыхивал под луной и соломенный брыль косаря. Данило все отдал бы, чтобы только стать таким косарем, вести свой широкий покос себе на радость, людям на добро. Да, выходит, и этого простого счастья он не может иметь.

А косарь неторопливо, уверенно дошел до конца поля, подбросил косу, умостил ее на плече и направился вдоль покоса назад. Так это ж Лаврин Гримич. Данило межпольем пошел ему навстречу.

— Не спится, Лаврин Ярославович?— спросил косаря, а сам пристально оглядел его: знает ли, что случилось с ним? Нет, кажется, ни одна жилка не дрогнула на лице человека.

— Я никогда спокойно не сплю ни перед сенокосом, ни перед жатвой,— косарь смущенно улыбнулся.— Меня тогда луна волнует, словно беременную женщину. Природа! Какой славный ячмень у нас в этом году!

— Славный,— с болью посмотрел, как с ячменного уса стекало и стекало лунное марево. Неужели он в последний раз видит его? — Дайте мне косу.

— Хотите косить? — удивился Лаврин.— Зачем это вам... ночью?

— Пройду хоть один покос. Правда, я такой широкой полосы, как у вас, не захвачу.

— У каждого свой размах — один в руках, а другой в душе.— Лаврин снял с плеча косу, отдал председателю.

Данило подошел к подсолнухам, обернулся, они своими орошенными решетами задели его плечи, и ему стало приятно от прикосновения этого шершавого груза лета. Вот и вошла коса в ячмень, он зашипел, словно его подожгли снизу, а с длиннозубых грабков лег на стерню. И снова наступило какое-то облегчение, да его приглушила горькая мысль: неужели это моя последняя косьба?

— Ровно ведете, как по шнуру,— похвалил Лаврин и вздохнул.

«Что тебе-то вздыхать, человече? Я на твоем месте земли бы не чуял под собою. Почему мы не умеем ценить простых радостей жизни до первого грома, до первого несчастья!»

---

[1] Грабки — род длиннозубых граблей, прикрепленных к косе.

Данило дошел до дороги, и тогда Лаврин взял из его рук косу.

— Чего вы? Я пройду еще один покос.

Косарь отрицательно покачал головой.

— Не надо, Данило Максимович.

— Почему?

— Вам пора идти.

— Куда?

Лаврин опечаленно взглянул на него:

— В свет. А свет не без добрых людей. Не люди, а только Ступач с мелкой душонкой замахнулся своей косой на вас. Так идите. Через какое-то время, надеюсь, все перемелется, тогда мы и накосимся, и напашемся, и насеемся вволю. А сейчас вам надо идти...

«Мне ли такое говорят, или это только сон?»

— Какой же дорогой идти?

— Неприметной. До сегодняшнего дня вы шли очень приметной дорогой, и не все этому радовались: злобный да ленивый не порадуется труду работящего. А теперь, до какого-то времени, вы должны притихнуть. Берегите себя, ведь вы ой как нужны людям.— Лаврин вынул из кармана кисет.— Возьмите на дорогу.

— Я же не курю.

— Беда научит.

Он взял кисет, обнял косаря, а тот слегка сжал его своими могучими руками.

— Идите, а то кто-то, может, тоже не спит, разыскивая вас. Будьте счастливы.

— Какое уж там счастье.

— Что ж, и счастье не бывает без чьей-нибудь зависти. Идите.

— Сейчас побреду. А вас попрошу заглянуть в мою хату. Ключ на завалинке под дощечкой лежит, там откроете сундук, а сверху, в ящичке, найдете деньги. Занесите их вдове Пастушенко. Пусть моя копейка ее малым детям поможет...

Данило тоскливо огляделся вокруг, прощаясь мысленно с тем печальнооким младенцем, что когда-то, прижимаясь к ногам скорбной матери, так поразил его — не на день, не на два, а навек. Хотя какой уже у него век? Может, день, два, да и оборвется, словно нить в пряже. Из пригасших временем лет увидел свою мать возле кужеля и тяжелый починок[1], что жужжит в зимние ночи,

[1] Починок — веретено с пряжей.

увидел, как она, склонившись, до первых петухов обрывает полусонную нить. Где те первые петухи, и где та пряжа, и где та пряха? Если бы он был художником, то нарисовал бы ее с солнцем на плече...

— Иди, сыну,— из-под золотого брыля, из-под золотых бровей опечаленно останавливают свой взор добрые отцовские глаза.

Даже в такую годину косарь назвал его сыном. Это он тоже запомнит навек. Хотя какой уже у него век? Словно связанная барахтается одна лишь скорбь. Откуда ты взялась в нашем поле, в нашем сердце?

— Вот и бывайте,— не знает, что еще сказать.— Или прощайте...

И Данило, погрузив руку в ячмень, одиноко побрел низиной к тому гиблому куску земли, над которым нависли клочья туманна, а позади еще долго раздавалось шарканье косы: косарь делал свое.

На журавлином лугу Данило остановился, снова огляделся вокруг себя. Куда же он уходит?.. Нет, это от него уходило лето, уходила дремота колоса, уходила судьба. Догоняй — не догонишь, и все равно надо идти... Когда-то, в детстве, он верил, что на краю земли стоят золотые ворота, а за ними восходит солнце. А где же теперь его ворота и что — за ними? Наверное, все лихое, а не солнце. Ссутулившись, он потянул за собой сгорбленную тень, и казалось, что даже она сейчас имеет вес.

Вдали послышался приглушенный вскрик. Данило испуганно оглянулся. К нему неровно, как луговая чайка, бежала какая-то женщина.

Вот она остановилась возле одинокой вербы, умоляюще подняла руки. И на них, и в широкие рукава сорочки начали наплывать тени или небо.

«Кто бы это? Неужели Оксана? Так оно и есть».

С протянутыми руками Оксана добежала до него, всхлипывая, упала ему на грудь, накрыла незаплетенными со сна косами.

— Данилко, братик, за что же тебя? За что осиротили нас?..— и такая печаль, и такая вековечная тоска матерей была в ее голосе, что у него задрожали веки.

— Не плачь, сестра, не надо.

— Это не я, это моя доля плачет,— сказала давними словами.— Как же мне без тебя жить на свете? — и оглянулась на мир, что молча поднимал травы, раздвигал колос, дрожал лунной печалью и откликался скрипом коростеля.

— Детей, Оксаночка, береги, да хоть иногда вспоминай меня. Иди.

Он трижды поцеловал сестру, оторвал ее от себя и быстро пошел к болоту. Когда оглянулся, Оксана еще стояла на журавлином лугу, придерживая рукой сердце.

Там, где луг переходил в болото, ему на глаза попалась трилистная вахта, та целебная трава, что лечит человека и предупреждает: не ходи дальше — там уже начинаются гибельные места.

Весной вот здесь, в осоке, на кочках, он вспугнул выводок дупелей. Вылетели они из-под самых ног, и только тогда Данило заметил их гнезда. «Мы по гнездам ступаем ногами»,— пришли на память чьи-то слова, и он вздрогнул — нашел что вспомнить.

Прошел еще какое-то расстояние, и болото дохнуло на него тяжелым запахом тины, нитчатки и того зелья, которое колдуньи собирают для своей отравы. Под ногами начала мягко прогибаться прогнившая почва, которая неведомо что скрывала под собой и зачем-то прикрывала смертельные продушины безобидными незабудками. Днем эти окна можно обойти, а как ночью, в обманчивом свете луны? Поворачивай, человече, пока не поздно, назад. Но к кому, зачем? Что ты оставил там?.. Свой труд, свое лето, свой колос. Но они безмолвны, не могут защитить тебя... Нет. Назад возврата нет.

Болото, точно живое, хватало его за ноги, зловеще чавкало, вздыхало, затем начало хрипеть, словно в его глубинах проснулись голоса затянутых им людей.

Страх пополз по спине Данила. Казалось, знал же, как перейти это гиблое место, да вот сбился в темноте. Еще этого не хватало ему. И вырвется ли он из этого предсмертного хрипения или останется в нем навеки, будто и не было на свете человека?

Дурманящий сок, дурманящие травы вокруг, дурманящие мысли в тебе. А надо жить, надо же как-то жить! Не только ведь для себя, он еще и кому-то нужен. А может, и не нужен с сегодняшней ночи? Какую колдовскую силу имеет бумажка, когда на нее ляжет бездушная рука изверга...

Разрывая болото, утопая в нем, вырываясь из него, Данило выбивается из сил, страх и отупение охватывают его, ибо не знает, куда ему брести и как выбрести из страшной западни. И вдруг вместо предсмертного хрипения топи он слышит впереди чистое переливчатое серебро

птичьего голоса. Так это ж подала голос предрассветная журавлиная труба!

«Были себе журавль да журавка...» Вот и иди к ним: осторожные птицы хоть и живут на болотах, но гнезда вьют на сухом.

И, оживая, Данило пошел на тот журавлиный голос, что, словно судьба, окликнул его и замолк. Вот впереди затемнели кусты ольхи, он добрался до них, а за ними во тьме блеснул черный тяжелый плёс. Теперь можно и вздохнуть: тут не такое гибельное место. Он пробирается к воде, которая нацеливается на него копьями частухи и стрелолиста, вспугивает пару лысух, что ногами и крыльями бьют по плёсу и долго не могут оторваться от него. Выходит, и тут есть жизнь. Но где тот журавль, что спас его? И чем отблагодарить тебя, добрая птица нашего детства?..

В черной воде Данило умылся, вымыл сапоги, стоя передохнул и пошел по-над берегом. Он напал на едва заметный след человека, что петлял по болотам. Идти теперь было легче, хотя и увязал. Трясина уже не отзывалась голосами тех, кто остался в ней. Вот и вербы словно вышли из тумана, и неожиданно за ними он увидел спутанных волов. На роскошных полумесяцах их рогов крошилось лунное сияние, а в косых глазах стоял покой степи или далекого прошлого. И этот покой ножами полоснул Данила.

За болотом какой-то чародей сразу преобразил землю: волнами пошла она вверх, ближе к луне, и от такой радости бросила в золотой танец чубатые подсолнухи, а за подсолнухами засияли живая рожь, и пшеница, и овес, и ячмень, и замигал белыми и фиалковыми огоньками картофель и все то, что живет для человека и чем живет человек.

Праздничными нивами, заброшенными дорогами, полузабытыми тропинками он дошел до Копайгородка, что никогда не был городком, а только обычным селом, которое упоминалось еще в летописях тринадцатого века и входило в состав загадочной Болоховской земли.

Уже совсем побледнели месяц и звезды, когда он по-за огородами добрался до причудливых воротец своей тетки: они опирались не в деревянный столб, а в изъеденный камень плосколицей половецкой бабы, что стояла когда-то на подворье у Гордиенко. Века бросили тени на продолговатые глазницы, на обвисшие груди неразгаданного камня, которому поклонялись половцы-кипчаки. Где те полов-

цы, перед которыми трепетали даже печенеги, где их дикая сила, где их жажда разрушения? Все это кануло в небытие, истлело, сгнило в земле. А после них на земле остался только отголосок творения — этот загадочный камень с плоским лицом и плоской неприкрытой грудью.

Вот и подворье тетки Марины. Из-за дровника Данило взглянул на хату и оторопел: прямо из белой стены к нему потянулись жаркие подсолнухи. Какая-то чертовщина... Не умопомрачение ли нашло на него? Боясь за себя, еще сделал шаг к стене и наконец понял: это же рисованные цветы выходили из стены, чтобы дотянуться до живых. Вот какое диво могут сотворить руки его родной тетки. Как только она примет его? И стучаться к ней или не стучаться, чтобы не накликать беды на это доброе жилище, которое собрало краски со всей земли? Но куда же ему деваться теперь, если уже скоро и светать будет? Сейчас он боится утра. Только от одного этого можно лишиться сердца. Данило нерешительно постоял под защитой рисованных посолнухов, нерешительно постучал в окно и, сам испугавшись стука, глянул на улицу. В хате послышались шаги, как ему когда-то давно-давно слышались материнские шаги, потом зажегся свет и к окну припало встревоженное лицо тетки:

— Кто там?

— Это я, Данило.

— Ой, Данилко! Я сейчас!

Тетка отпрянула от окна, засуетилась, забегала по хате, видно ища одежду, потом подбежала к дверям, застучала засовами и упала в объятия Данила. В ее еще суженных ото сна глазах было столько искренней радости, что захотелось припасть к ней отяжелевшей головой, как когда-то ребенком припадал к матери!

— Какой ты молодец, что надумал проведать свою тетку! Пойдем в хату!

Он переступил порог и вошел в запахи раннего белого налива, свежего хлеба и свежих красок. На стене, недалеко от красного угла, в рамке из потемневшей осины красовался теткин рисунок: на лесной поляне высоко, поаистиному, поднялась копенка сена, а неподалеку от нее, на сенокосе, с косой и граблями стояли журавль и журавка. Древлянский наивный мир трогательно смотрел на человека вещими глазами птиц и покоем лета. «Были себе журавль да журавка...»

— Садись, Данилко. Я сейчас постель уберу, соберу завтрак,— веретеном закружилась тетка.

— А может, не надо? — Данило в изнеможении опустился на скамью.

— Почему ж это не надо? Разве я гостю не рада? — Марина, неся улыбку под ресницами, подошла к Данилу да сразу же встревожилась: — Ты что так осунулся? Не захворал ли случайно?

— Нет.— Данило подошел к лампе и погасил ее.

— Это зачем же?

— Чтоб не накликать на вас лиха.

— Что же случилось, Данилко?! — вскрикнула женщина и тревожно повела тонким станом.

— Так вот, тетушка, и я попал в беду — хотят меня арестовать.

— Тебя?! — застонала, не поверила женщина.— Не шути так страшно. Неужели это правда?

— Как слышите. Вот и пошел я из своего села, сам не зная куда.

— Хорошо сделал, что ко мне прибился. Только чем же я тебе помогу? — Она беспомощно припала головой к его груди, а руками отыскала его руки, причитаниями в беспамятстве заговорила с ними: — Ой, рученьки родные, сколько же вы дел переделали, сколько вы людям пособляли, сколько же вы житечка посеяли, а теперь и к вам пришло горе!..

Он увидел на поле свое жито с туманцем, с росою-слезою и почувствовал росинку у себя на ресницах.

— Не надо, тетя Марина, не надо,— касается рукой ее лица, ее волос, что пахнут летом и сном.

Женщина отклонилась, взглянула на него:

— Что ж мы, Данилко, будем делать? Я же собиралась осенью на твоей свадьбе погулять, а видишь, какой свадьбы дождалась... А Мирослава знает?

— Да уже, наверное, знает. Плохая весть не лежит.

— Только бы жить да радоваться вам. И какой лиходей убивает жизнь?

— Если можно, я день-два побуду у вас?

— Хоть и год. Днем, чтоб никто не видел, будешь сидеть в клуне, там уже сено есть, а ночью — тут. Это ж ты даже рисунков не увидишь! За их мне Киев премию дал... Ой, что я, глупая, говорю. Разве теперь до этого?..

Уже рассветало, когда он, словно вор, перешел в старую клуню, забрался на сенник, где его ждала немудреная постель — два рядна и подушка.

Этот день показался ему годом. И о чем только не передумалось и чего не вспомнилось, а спасения не было и

сна не было. Он долго наблюдал, как на перекладине раскормленный паук ткал паутину, как поблескивал крестом из потемневшего серебра. Потом с другой стороны, где лежала прошлогодняя солома, услыхал тихое попискивание и негромкое квохтанье курицы. И снова попискивание, и снова квохтанье. Из любопытства пробрался туда и в углу увидел обеспокоенную квочку, возле нее желтыми комочками неумело поднимались и падали влажные, только что вылупившиеся цыплята. В бусинках их глаз еще не было никакой тревоги. А вот на току шевельнулась земля и волнистой полоской начала подыматься: какой-то неведомый пахарь снизу вел свою борозду, а землю подымал вверх. Данило к краю пропаханной бороздки приложил руку, и невидимый пахарь больно царапнул ее: не мешай работать. Вот и получил урок даже от крота.

Вернувшись на свое место, Данило увидел, что из-под подушки торчит уголок какой-то книжки. Это были украинские «Думы». Он раскрыл их и с жадностью, как, кажется, никогда раньше, припал к трагедийному и героическому слову, к трагедийной и героической истории, и она начала заглушать его боли бóльшими болями и лечить надломленную ветку его духа. Он видел далекое килиимское поле, и казака Голоту в бою, и ту годину, когда из голубого вечера выезжал червонный казак Терентий.

Ой поле килиїмське!
Бодай же ти літо й зиму зеленіло,
Як ти мене при нещасливій годині сподобило!
Дай же, боже, щоб козаки пили та гуляли,
Хороші мислі мали
І неприятели під нозі топтали.
Слава не вмре, не поляже
Од нині до віка,
Даруй, боже, на многії літа!

«Нет, слава наша не умрет, не поляжет. Временное минует, а вечное останется. Но кто из нас не хочет и своими деяниями, и своими помыслами прикоснуться не только к скоропреходящему?»

Уже предвечерьем заголубел день, уже и сизые тени вползли в клуню, за селом пошел разноголосый рев коров, а улицы запахли пылью, лугами и молоком, когда дверцы клуни открыла и сразу же закрыла тетка Марина.

— Данилко, как ты там? — даже слышно, как бьется тревога не только в слове, но и в сердце женщины.

— Учу думы, может, когда-нибудь пригодится,— и что-то вроде улыбки выдавил на губах.

— Эту книжку мне тоже в столице подарили. А я тебе поесть принесла — первую молодую картошку с укропом. Ты любил ее когда-то, и твой отец любил,— сказала тетка Марина и метнулась в закуток, откуда вынесла бочонок, фартуком вытерла его, поставила на землю, перевернула вверх дном, умостила на днище горшок, из которого поднимался пар, кувшин с холодным кислым молоком, хлеб и огурцы — простую крестьянскую вечерю, напомнившую ему те годы, когда еще живы были его отец и мать.

— Может, вместе повечеряем?

— Да нет,— вздохнула женщина, сняла с его чуба засохшую травинку, а когда Данило начал вечерять, скорбно подперла рукой щеку. Вот так и его мать в тревожную годину стояла бы возле него.

Сквозь щели заглянул лунный свет, он еще больше подчеркнул тени женской печали, и Данило не знал, что ему сказать, как поблагодарить эту добрую душу, для которой чье-то горе всегда становилось ее горем.

— Спасибо, тетушка.

— Не за что,— снова вздохнула она.— А тебе, Данилко, где-то более безопасное место надо искать.

Он молча поглядел на женщину.

— Недавно как из пекла выскочил ублюдок Степочка Магазанник и рыскал вокруг хаты. В хату сунулся, о тебе допытывался. А потом, подпрыгивая, даже в хлев забежал — там двери были открыты. Я и спросила: «Может, и в клуню хватит совести залезть?» Сверкнул он глазами, словно волк, пробормотал о «таком времени» и «вообче», да и подался куда-то. Вот и выпадает тебе снова дорога.

Тетка Марина прижалась к его плечу. Данило ощутил ее трепет, ее боль.

— Не надо, тетушка.— Поцеловал женщину, поклонился ей.— Я сейчас и пойду.

— Еще рано. Пусть совсем стемнеет. Я тебе еще торбочку принесу: там хлеб, кусок сала, рушник... Пусть никто не собирает так родных в дорогу, как собираю я тебя,— провела пальцем по ресницам, пригнулась и, словно тень, вышла из клуни.

И снова ночь тревог, и полынной горечи, и неизвестности. Тетушкиным садочком осторожно выходит он к огородным воротцам и оторопело останавливается: ему показалось, что вдруг начала оживать половецкая баба. Чудится? Нет, в самом деле шевельнулся старинный камень, неожиданно раздвоился, и от него отделилась какая-то приникшая фигура.

— Степочка?! — невольно вырвалось у Данила.

— Эге ж, он! — злорадно отозвался Степочка, потом торопливо ринулся от половецкой бабы к дорожке, сжал увесистые кулаки.— Так вот, гражданин Бондаренко, вы не хотели мне ни написать, ни подписать характеристику. А сейчас я вам напишу свою характеристику! — со злорадством, победно становится против Данила.

— А разве ты до сих пор не писал на меня своих харатеристик-доносов?

— Писал! По доброй воле писал! И верно делал, потому как это мой актив! Только не вздумайте бежать, а то я криком подниму на ноги всю улицу и село.

— Или сам, негодяй, слетишь с ног!

Разъярился и со всей силы ударил кулаком Степочку. Тот пошатнулся, пригнулся и в грудь, под ложечку, ударил Данила, но от второго удара упал на землю, застонал.

Данило наклонился над ним.

— Не бейте... Я больше не буду.

Корчась, Степочка обхватил руками голову, а Данило поглядел на свой кулак. Впервые он бил человека... А может, изверга?

Степочка вскочил на ноги и так драпанул по стежке, что даже земля загудела.

За большим ясеневым столом, который, как и все в хате, смастерил Лаврин, печально сидела семья. Ни тебе пересмешек близнецов, ни задиристости Ярины, ни шуток или командования Олены. Только и слышались шелест огня в печи да шепот камышей и волны из брода.

«Давно печаль не ходила так по нашей хате. Да вот и у нас не завтрак, а поминки,— вздохнул Лаврин и снова вспомнил ночь, когда прощался с Данилом.— Где он теперь терзает душу кривдой?»

Муж первым положил ложку, поднялся и застыл, прислушиваясь: на подворье забухали чьи-то шаги. Чьи же? У соседей нет такой нетерпеливости в ногах.

И вот неожиданно, внося новые торбочки галифе в хату, порывисто входит Ступач. Кого-кого, а такого гостя никто не ждал. Десять глаз поднялось на него — и хотя бы тебе одно слово.

Ступач снимает картуз, бережно кладет его на ладонь и насмешливо нацеливается на хозяина, который почему-то меняется в лице: не страх ли заползает в него? А Ступач любил, когда от его взгляда страх заползал в чью-то душу.

— Не помешал?

— Пока нет,— мрачно говорит Лаврин. Оно бы полагалось пригласить гостя к столу, да пусть его рогатые в казаны приглашают.

— Дядько Лаврин, вы, говорят, ночью видели Бондаренко?

— Видел,— еще больше мрачнеет хозяин.

— Куда он бежал? — уже начинает в душе гневаться Ступач: даже сесть не предложили.

— Не бежал, а шел себе.

— Но куда шел? — еще грознее становится Ступач, и ерши его бровей вскакивают на лоб.

После этого Роман и Василь сразу поднимаются со скамьи.

— Куда он направлялся, я вам потом скажу.— Хозяин вышел из-за стола и решительно стал напротив Ступача, высокий, золотистый, как подсолнух.

— Когда же это потом?! — не терпится пришельцу.

Лаврин бросает на него взгляд, в котором нет страха, а есть упорство и непримиримость.

— Вот послушайте. Вы, даже не поздоровавшись, уже задали мне три вопроса. Задам и я вам хоть один.

— Задавайте,— пренебрежительно прищурился Ступач: что ему может сказать этот медлительный, как минувший век, дядько? Про сено-солому?

— Ведь вы же учились по школам, по институтам, сушили голову над книгами да науками, а хоть раз когда-нибудь подумали: как и для чего живете на свете?

— Это что?! — ошеломленно вскрикнул Ступач. Он увидел другого Лаврина, на лице которого уже выражалось презрение и гнев.— Что это?!

— Вопрос, и только один. Если не хотите отвечать, то я вам скажу. За весь свой век вы не стали ни пахарем, ни сеятелем в поле, ни советчиком в хате, а только тем гробокопателем, который копает ямы для живых. Почему же вы так стремительно бросились крошить нашу силу и нашу жизнь? Или у вас от злобы ум облысел?

— Молчи! — выкрикнул Ступач, сжав кулаки.

— А может, ты помолчишь предо мною, ведь это я тебя, нечестивца, хлебом, а не кладбищенской землей кормлю?!

— Тату! — вскрикнули близнецы. Они тоже не узнавали своего спокойного отца и стали подле него, готовые измолотить Ступача, как сноп.

Лаврин взглянул на них, утихомирил движением руки.

— Эге ж, сыны, я ваш тато. А спросите этого себялюбца: может ли он называться отцом своих детей?

Ступач хотел что-то сказать, но захлебнулся недосказанным и бросился к порогу.

— Думать надо,— вдогонку ему уже тихо сказал Лаврин.— А то чего стоит и служба, и ученость, и все года без хорошей мысли и настоящего дела?..

Как из огня выскочил Ступач на подворье, распугал кур и уток, и гуси, вытянув шеи, зашипели и двинулись на него. Еще, смотри, гусак, у которого почему-то лебединая, с венчиком, голова, и долбанет тебя, на радость новому твоему кучеру, что за воротами подпирает спиной бричку.

— Кыш, кыш, проклятые! — машет руками Ступач и поскорее уносит ноги на улицу.— Фу!

— Жарко? — весело кривит губы круглолицый кучер Лаврик, у которого всегда под ресницами ухмылка со слезой.

— Гони!

— Аллюр три креста? — прыскает кучер и заранее лезет рукой к глазам.

— Еще что-нибудь очень умное брякни!

— Молчу — воды не замучу,— сжимает тот непослушные губы, которым так хочется повеселиться, погулять на широком лице. Лаврик всю свою тяжесть погружает в бричку, дергает вожжи, и кони с белыми пятнами на лбах, разбрызгивая росу с кучерявого спорыша, трусят на середину улицы.— Ох, и хорошо же тут! А берег так и поет челнами. Махнем через брод?

— Погоняй к парому,— хмурится Ступач, не зная, как быть с Гримичем: или как-то ущемить его, или на все махнуть рукой? За своими мыслями он и не заметил, что сзади зацокали подковы.

Лаврик лениво скалится на солнце, поворачивает коней на перекресток, оглядывается и вдруг, съежившись, в испуге кричит Ступачу:

— Пригните голову!

— Чего тебе?

— Пригните скорее!

В это мгновение над головами Ступача и Лаврика взметнулось, пролетело что-то темное и тяжелое. Какой-то сумасшедший всадник перескочил через бричку и, поднимая пылищу, унесся вперед.

— Не бесов ли парубок?! — испуганно и восторженно вырвалось у Лаврика.— Как святой Юрий пролетел!

— Кто это? — оторопело спросил Ступач.

— Да Роман Гримич. Видите, ему не хватает дороги, так он напрямик махнул через нас. А вот брат его культурненько объезжает вашу бричку,— и кучер так начинает хохотать, что слезы сразу увлажняют его глаза, ресницы и морщины на щеках.

Ступач только теперь поднял руку к голове.

Василь догнал Романа уже в полях. И сразу напал на него:

— Ты ошалел, или впал в детство, или твой чугунок вверх дном перевернулся?!

Роман искренне рассмеялся, придержал коня, который тут же начал играть под ним.

— Почему ты, брат, так заговорил со мной, словно мы уже и не родня?

— Он еще и спрашивает! А если бы твой златогривый задел копытом голову Ступача?

— Так, может, тогда все клепки встали бы на свое место,— беззаботно ответил Роман и похвалился: — А здорово я перескочил через бричку и тех, кто сидел в ней?

— Только что будет нам за эти перескоки? — опечалился Василь.

— Да ничего не будет. Если Ступач захочет судиться со мной, то скажу: виноват норовистый конь. Пусть и судится с ним...

— Сегодня мы жнецы, а кем будем завтра из-за твоих проделок? — покачал головой Василь.— Думать надо всетаки головой, а не копытом.

— Оставь, брат, свои сетования, а то от них и день скиснет. А у нас еще столько дела сегодня! — Роман пустил коня рысью и, косясь на разгневанного брата, замурлыкал:

Катерина і Василь
Сварилися за кисіль.
Ой Василю, Василю,
Не їж мого киселю.

— А чтоб тебе, вертопрах. Это ж надо!..— махнул рукой Василь и засмеялся.

— Вот так бы и давно, брат.

Козаче, козаче,
Козаче Васильку,
Купи мени намистечко
На білую шийку.

— А уже пора и о монисте, и о белой шейке думать.

XX

Степочка Магазанник не очень-то забивал свою голову круговертью жизни — к ее далеким страницам он не присматривался, а к близким прицеливался только с одной мыслью: что можно урвать для себя. И урывал — и с леса, и с поля, и с реки, и с сада, даже с любви, ибо и в ней без обмана не обойдешься.

До чего же теперь пошли доверчивые девчата! Нафасонишься вечером, подкрутишь гвоздем или веретеном чуб — и чешешь на село, где луна выбеливает девичьи косы. Повертишься возле какой, шепнешь то да се в одно, в другое ухо, повздыхаешь, скажешь, что она самая красивая на свете, да и прибивайся потихоньку к вербе или в садочек, и снова ж не молчи — болтай языком, как помелом, но рукам поначалу воли не давай, а то обожжешься. Главное же в ухаживании — это втемяшить чернявой или белявой, что у нее самые красивые глаза или ножки и что ты по ней сохнешь, как трава на солнце. А остальное уже довершит ночка-сводница да хмель поцелуев.

Вот так Степочка и заводил любовь, а потом от нее улепетывал, как заяц, больше всего боясь девичьих слез. Откуда они только берутся у них?

Правда, и Степочку однажды охватило настоящее смятение или любовь — это когда он встретился с Мирославой. Встретился — и оторопел. Не одной врал, что она самая красивая, а это была такой красавицей, что ей и правду страшно было сказать. Где и на каких харчах выросло такое диво? И кто с ней отважится выйти вместе в лунную ночь, и кто ее сумеет укротить? Верно-таки говорит тато: красивое личико — сердцу беспокойство.

Повздыхал тогда Степочка день, повздыхал и второй, а на третий подался к татарскому броду, чтобы встретиться с Мирославой. И встретился, и, словно нищий, снял картуз перед ее красой, потом даже доплелся до подворья Гримичей, что сверху роняло росу с черешен, а снизу дышало маттиолой. Тут он вздохнул, как не раз это делал по вечерам, и растерянно заиграл мельничками ресниц.

— Чего вы, Степан Семенович, вздыхаете, будто последнее испекли? — засмеялась Мирослава.

Ее смех подбодрил Степочку: разве она не из того же самого теста, что и другие девчата? Разве и ей не терпится помлеть в чьих-то объятиях? Он снова вздохнул и, придав лицу то, что называется подобием правды, удрученно сказал:

— Вот верьте, Мирослава Григорьевна, или не верьте, а вы самая красивая на свете.

Но девушка не улыбнулась, даже не взглянула на него и язвительно заметила:

— Вы, Степан Семенович, многим девушкам вот так дурили голову?

— Нет, никому! — воскликнул Степочка.— Ей-богу, правду говорю, что вы самая красивая.

— Идите домой, проспитесь, а завтра у вас изменится думка. До свидания! — Мирослава тряхнула снопом волос и открыла калитку.

Степочка в отчаянии завопил:

— Мирослава Григорьевна, я целую ночь простою здесь, если вы еще не побудете со мной.

— Так уже делал один дурень,— безжалостно отрезала девушка.

— Кто же это?

— Мефистофель. Слыхали о таком?

— Нет... В нашем селе такого не было.

— Так почитайте. Для ухажеров вашего типа это может пригодиться,— и быстренько пошла к хате.

Степочка оперся на ворота, не зная, что ему делать — выстаивать ночь на чужом подворье или идти вечерять, ведь любовь любовью, а есть надо. В это время с поля возвращалась Олена Петровна, удивилась, а потом будто обрадовалась:

— Вот спасибо, Степочка, что ты пришел подпереть наши ворота, а то старик никак не найдет времени обладить их.

— О, это вы? — растерялся незадачливый ухажер, а ресницы у него заработали, словно в них проснулся ветер.

— О, это я! Не узнаешь? — даже подбоченилась Олена Петровна.— Или ты, может, Мирославу Григорьевну выманиваешь своими бараньими начесами? Тогда жаль твоего времени и крутежа.

— Какая вы, тетка, злоязычная,— насупился Степочка и поплелся от тех необлаженных ворот, которые тоже, казалось, скрипели насмешкой.

После того он еще несколько раз, словно ненароком, встречал Мирославу, да радости это ему не принесло, и он решил ухаживать за Катрей Лебеденко, а та сразу и поверила его лукавому слову. И даже лаская смуглолицую Катрю, целуя ее влажные несмелые уста, он не раз вместо ее лица видел другое. Так и проходили его вечера: обни-

мал одну или другую, а думал о Мирославе и глухо злился на то зелье, что зовется девчатами, и на Данила Бондаренко, который вскружил голову агрономше.

И вот сегодня утром ездовой из лесничества привозит им хлеб и новость о Бондаренко. Наконец свершилось!

— Это правда, дядько Дмитро?

— А зачем мне врать? — насупился ездовой.

Степочка на радостях сначала обалдело смотрит на ездового, затем, посмеиваясь, приглашает человека в дом и достает из посудника какую-то снедь и бутылку сливянки, а сам все видит Мирославу. Поняв, чему радуется Степочка, дядько Дмитро отворачивается от стола и выходит из хаты.

— Чего же вы, дядько? — удивляется Степочка.— Хоть одну чарочку пропустите.

— Не надо мне твоей отравы,— сердито отвечает ездовой и что-то неприязненно бормочет о тех гнидах, которые знают только одно — загрызать кого-нибудь.

Но Степочка не обращает внимания на это бормотание: радость и тревога скрещиваются в нем то как два меча, то как два луча, а на них высвечивается Мирослава. Теперь, когда беда постучала и в твое окно, не будешь такой горделивой, теперь Степочка встанет на твоем пороге, как само счастье.

Парень прежде всего бросается к зеркалу и так и сяк всматривается в себя, остается доволен и собой, и своими патлами, которые вчера укладывал для Марии Шляховой. Тоже мне счастьечко вербовое: сразу начала укорять Катрей Лебеденко... А куда же исчез их председатель? Наверняка у своих где-то скрывается! Вот так оно и выходит: когда кто-нибудь высоко взлетит, то непременно низко сядет. Главное в жизни — держаться середины, а если припечет, то можно немного податься в левую сторону, не забывая, что есть и правая. Был бы Степочка председателем колхоза, он бы все согласовывал и потихоньку продвигался вперед. Потихоньку! Он вперед батька в пекло не полезет. Степочка не какой-нибудь там слабак.

Вот так рассуждая, он проворненько несется к сундуку, украшенному железными коваными цветами, вынимает свою скомканную залежалую одежду, не зная, чем лучше завлечь Мирославу. Вот этот с искрой пиджак он выменял в голодовку у какого-то «антилигента» за двадцать фунтов ржи. «Антилигент» хотел двадцать пять, да вынужден был уступить. Теперь он и не глянул бы на Степочку... Эх, нашел о чем вспоминать!

Степочка чуть не влезает в зеркальце, врезанное в крышку сундука, да уже видит в нем не столько себя, сколько Мирославу. Агроном при тебе — это тоже неплохо! Вот что только надеть ему и как хитромудро говорить с нею? Тато все время напирает на то, что уже пора иметь ум в голове, а не знает: когда Степочка перейдет на свое хозяйство да будет при деньгах, тогда и ум уродит. Степочка еще покажет себя, и вообче.

И пока он раздумывает об этом, в хату входит отец. Увидев разбросанную на сундуке и кровати одежду, он вначале хмурится, так как любит во всем порядок, да, что-то прикинув, светлеет лицом, начинает с лукавинкой улыбаться. Старый гриб сразу смекнул, что и к чему, но Степочке ничего не говорит. Вырядившись в самое лучшее, сын, зашуршав одеждой, обернулся к отцу:

— Как мне?

— Снизу широко, вверху узко, а там, на чем сидят, тесно.

— Внизу так и должно быть — мода! А слышали о хваленом Бондаренко?

— А как же.

— И что скажете?

— Не знаю, враг ли он государству, а для меня был-таки врагом. Как он тогда подкосил нас в скитке! Давал ему и десять, и пятнадцать, и двадцать тысяч давал, но такой дурень, видать, и на миллион не позарится.

— Самый настоящий дурень! Вот пусть и идет теперь под гром.

И неожиданно услыхал от отца:

— Не кляни его так жестоко.

— Это ж почему?!

— Потому что никто не знает, где его гром ночует.

— И это правда,— согласился Степочка, тряхнув желтыми волосами.

«Они у тебя такие красивые, как весной рапс, когда цветет»,— лепетала ему Катря. Как это, кажется, давно было, хотя сколько того времени прошло? Вот что теперь ему скажет Мирослава? И с какой только стороны подступиться к ней? Не напасть ли сначала на Данила, который ввел ее в заблуждение, или подкатиться с сочувствием? Да на месте виднее будет.

— Я пошел, тато.— Закрыл сундук, а ключи положил в карман.

— Иди с богом, только не очень задерживайся, а то у нас работы до самой субботы.

— Если бы только до субботы,— хмыкнуло чадо.— Вот кто мне теперь характеристику даст? Я уже думал бить челом Бабенко.

— Не кланяйся лаптю, если можно поклониться сапогу,— поучающе изрек отец и понизил голос: — Если выйдет по-твоему, скажешь Мирославе, что у нас вдоволь картошки, а то очень уж она тощая, никак не может отойти после наук,— и засмеялся, а потом помрачнел: вряд ли что получится у чада, ибо к его голове бог не привязал ума.

Из лесов Степочка вышел в безбрежье притихших полей, в безбрежье склонившихся хлебов, что ждут не дождутся женецов и косарей. Опережая их, над нивами повис горячий полуденный суховей, высушивая стебель и колос.

«Ох, и хороший да чистый хлеб вокруг! — удивился Степочка, который обычно не очень приглядывался к колхозным нивам.— Это тоже частица Бондаренко. Какой только теперь у тебя самого будет хлеб!» — подумал со злостью и сразу же засиял: впереди него среди колосьев пшеницы тихо шла Мирослава.

Вправду, она была тоненькая, словно снопик конопли,— ведь мотается же по этим полям от зари до зари, а потом еще и над книжками засиживается. И зачем ей столько работать на одной зарплате?

Степочка догнал девушку, она обернулась на его шаги, и на лице ее он увидел печаль степного марева, что высушивает стебель, зерно, а то и душу. И даже пронырливому Степочке стало не по себе от этой печали, что резанула его, и даже у Степочки неожиданно проснулось сочувствие. Он снял картуз, поклонился Мирославе.

— Чего тебе, Степочка? — вздохом и грустью спросила она.

— У меня, Мирослава Григорьевна, аж душа заболела, когда я услыхал об этом...

— У тебя душа заболела?! — переспросила неживым голосом, а сама всматривалась в степи, словно что-то читала в них.

— Эге ж, Мирослава Григорьевна, очень заболела, потому как знаю, что теперь может быть.

— Что ж теперь может быть? — зябко повела худенькими плечами, на которых качнулась волна пшеничных волос.

— Как что?! — удивился Степочка.— Разве ж вы ничего не прикидывали себе в уме?

— Нет, не прикидывала.

— Так вот, сейчас начнутся шепоты, подшепоты и

разные да всякие разговоры, а потом еще и оргвыводы будут. Проучат вас. Это я достоверно знаю.

— Оргвыводы? Какие?

— Мне не хочется об этом говорить.

— Тогда не говори.— Мирослава обернулась и, покачивая снопом своих волос, вошла в жито, которое сразу сомкнулось за ней.

Степочка обогнал девушку, стал против нее.

— Не убегайте, Мирослава Григорьевна, ведь уже, верно, никуда вам не уйти от своей судьбы.

— И от оргвыводов? — что-то живое и язвительное прорвалось в ее голосе.

— Это уж как вы поведете себя. Скажите сразу, что вырвали его из сердца, так, может, и обойдется.

— Ты, Степочка, сказал бы так?

— Непременно! — даже вскрикнул Степочка.— А как же иначе, если он враг!

Марево в глазах Мирославы стало еще темнее.

— Выходит, он враг, а ты друг?

Степочка почувствовал в голосе Мирославы пренебрежение к себе и отрезал:

— Не выходит, а уже вышло! И не выражайте мне в глаза вашего пренебрежения. Вы, наверное, из-за переживаний еще не все взвесили.

— Дай мне, Степочка, покой. Взвешивай, если есть что взвешивать, на своих весах, только не лезь с ними в чью-то душу.

— Я ж, Мирослава Григорьевна, уважая вас, любя вас!

— Даже любя? — горько вздоргнули две черточки у ее пересохших губ.

«Вот у Катерины уста всегда влажные».

— Не даже, а именно любя! — заторопился Степочка.— Я люблю еще с того дня, как впервые увидел вас. Помните вечер, когда встретился с вами? Вы тогда насмешкой прогнали меня, да все равно я никогда вас не забывал!

— И Катерину Лебеденко, и Марию Шляхову тоже никогда не забывал?

— Так это ж не любовь, флирт! — воскликнул Степочка.— Вот чтобы поверили мне, я и пришел в это тяжелое время к вам: только одно слово — и я женюсь, возьму на себя всю ту дурную славу и позор, что могут потянуться за вами. Вот видите! Как вы на это?

Мирослава ответила не ему, а житу:

— Как же можешь говорить такое, если я люблю его?

— И что из этого? Эта любовь бросит на вас черную тень, вызовет пересуды и обкорнает молодые годы, а моя — защитит вас.

— Если бы ты, Степочка, знал или хотя бы догадывался, что такое любовь, не грешил бы криводушным словом,— сказала и пошла среди колосьев, поникшая, страдающая, но неприступная.

Степочка разгневался, сжал кулаки, снова забежал вперед.

— Еще подумайте, Мирослава Григорьевна! Подумайте, пока не поздно!

— Думать никогда не поздно, даже перед смертью.

— Пусть он думает перед своей смертью, а вы станьте со мной под венец!

— Прочь, негодяй! — не вскрикнула, а так прошептала Мирослава, что парень отскочил от нее.

— Я негодяй?! — У Степочки судорога свела лицо, а в разреженной синьке глаз проступила блеклость.— Тогда как назвать того, кто защищает врага?.. Вы еще, наверное, утешаете себя тем, что он уйдет от закона. Так не уйдет от меня!

— Что ты, мерзавец, хочешь делать? — застонала Мирослава.— Еще мало наподличал?

— Сейчас же кинусь перетряхивать его родню и соседей и все-таки вытряхну вашу любовь, если не скажете мне своего последнего слова!

— Дождешься и ты своего последнего слова. Иди ты к лешему! — И, чуть не дав тумака Степочке, девушка быстро пошла среди хлебов.

Степочка долго смотрел ей вслед, думая, что, может, это и к лучшему, ибо как он ни будет стараться сломить ее норов, она повернет все на свой лад. Такая маленькая, легковесная, а сколько характера! И в то же время боль сосала его нутро, как никогда раньше не сосала...

Как всегда, земля о многом говорила Мирославе, и когда она пробуждалась ото сна, и когда погружалась в него. Как часто она разговаривала с нею — и с яблоневым цветом, и с зеленой травой, и с синей волной, и со звоном колосьев. Это все вошло в девушку с самого детства, еще с тех пор, когда однажды взял ее, малую, отец на жатву, поднял в поле на руки и сказал:

— Посмотри, доченька, какая добрая крестьянская доля, когда вокруг есть колос. Так заботься же всегда о колосе.

Тот колос, земля и стали ее долей.

Да молчит теперь ее доля, не смотрит в глаза ни колосом, ни васильком, ни цветком мака, только мучительное марево щемит под ресницами. Огромен мир, но куда податься в нем человеку, если у него отняли веру? В какую пойти сторону, кому открыть душу?

Молчит земля, готовясь отдать людям весь урожай. А отдает ли человек человеку весь свой урожай, отделив от него плевелы?.. Оргвыводы! Любовь и оргвыводы!.. Какая добрая крестьянская доля, когда есть вокруг колос... Вот и колос нынче опечаленный, ибо не стало возле него еще одного хлебороба. Где же ты? Где?

Молчит земля, ох, как тяжко молчит земля. Упасть бы на ее грудь, зарыдать, заголосить, чтобы все услыхали боль людскую. Да не хватит голоса для этого, только вспугнешь им перепелку или жаворонка, что и теперь вьется над тобой.

До самого вечера проблуждала Мирослава в степи, побродив и по тем полям, где впервые увидел ее Данило, подошла и к ветряку, где зародилась их любовь. Почему же и ты молчишь, сивый ветряк? Вот привезут к тебе хлеб, и ты весело загомонишь, замашешь крыльями, а другой кто-то в молчании сложит свои крылья. Неужели это и зовется жизнью? Нет, жизнь — это крылья, поднятые вверх, как у той чайки, что летит ночевать на степное озерко. А Даниловы ворота стонут чайкой, и он любит их за это. А как ему страшно было, когда постучал в свое оконце и не услышал из хаты материнских шагов... Ей тоже страшно без его шагов. А может, оглянешься — и увидишь его?

Мирослава оглянулась и вправду увидела в поле мужскую фигуру с длинными вилами для метания сена и граблями за плечами. Это с лугов возвращался золотоусый дядько Лаврин, которого всегда так приветливо встречает тетка Олена: «О, войско идет, хоругви реют». Так реяли хоругви войсковые, реют и похоронные.

Дядько Лаврин тоже увидел Мирославу и журавлиными шагами пошел к ней, неся на лице золотистость лета и предосеннюю грусть. Вот он, вздыхая, кладет на краю стежки вилы и грабли, опускает руки на плечи Мирославы, пальцами перебирает сноп ее волос.

— Совсем извелась. Ты, дитя, журись, но и не убивайся так — побереги себя и для деток своих, чтоб они здоровыми были.

— Ой, что вы говорите, дядько Лаврин! — сдержала себя девушка, чтоб не расплакаться.

— Должен и об этом сказать. Матери-то нет, она бы тебе это лучше сказала.— Он обнял ее, поцеловал.— Так снова о том же прошу: не убивайся так. Вот пойдем домой, я тебе косарскую вечерю приготовлю.

— Спасибо, дядечка, я еще по полям пройдусь.

Уже в темноте, словно лунатик, Мирослава подошла к Даниловой хате. А может?.. Она отворяет воротца, и в них просыпается стон чайки. Как было бы хорошо, если бы за этими воротцами на подворье встретили ее мать и Данило. Но мать уже никогда не встретит. А он?..

Девушка, сжавшись, подходит к оконцу, что держит в себе лунную печаль, и стучит так, как всегда стучал Данило. Да некому ей открыть двери, как некому было открыть их и Данилу. Тогда она на завалинке находит старый деревянный ключ, вставляет его в темный глазок замка, и двери, словно ожидали ее, отскакивают от порога. Мирослава заходит в хату и тихо зовет Данила, а ей в ответ вздыхает хата, вздыхают снопы прошлогоднего урожая. Вот и пришла она сюда, но не хозяйкой, а страдалицей, не зная, чего у нее теперь больше: любви или горя?

Зажечь бы свет, да нельзя, потому что приползет еще Степочка и начет болтать о любви и оргвыводах. При лунном свете она находит фотографию Даниловой матери, снимает со стены, подходит к окну. К ней с улыбкой приглядываются добрые крестьянские очи, притомленные за долгие годы заботой о хлебе насущном.

«Разве ж вы, мама, могли породить злого человека?» — молча спрашивает у матери, которая не дождалась ее.

Улыбаются крестьянские очи, что таят в себе задумчивость степей, улыбаются для тебя и для детей наших, прощают нам наше несовершенство, надеются на лучшее будущее.

«Я буду вашей дочерью, если не разлюбит меня Данило»,— говорит не голосом, а слезами.

И вдруг она слышит тихий шепот:

— Мирослава, Мирослава...

«Откуда ж он?» — не может понять девушка и ставит фотографию на стол.

— Мирослава, ты тут?

— Кто это?

— Нашлась,— слышит вздох облегчения, осторожные шаги, и из сеней в хату входит Яринка.— Я всюду искала тебя.

— Зачем я тебе теперь?

— Такое скажешь! Ты так напугала меня, и маму, и тата. Только когда обежала все поля, я догадалась, что ты пошла к Данилу.

— А Данила нет,— сказала так, будто бы об этом не знала Ярина.

— Он вернется, непременно вернется!

— Ты веришь в это или успокаиваешь меня?

— Верю, Мирослава. Навалилось горе, да все переменится. Вот увидишь.

— Посмотри, какая красивая мать у Данилки.

Ярина внимательно глянула на подругу, взяла фотографию и тоже подошла к окну.

— Я немного знала ее.

— Знала? — не поверила Мирослава.— Какой же она была?

— Смуглолицей, не такой, как Данило. Он в отца пошел. И тихая, словно погожий летний день. А одевалась во все черное — носила траур по мужу.

— Расскажи, расскажи, Яринка.

Девушка беспомощно развела руками:

— А больше ничего не запомнила, маленькой была,— и прижалась к Мирославе.— Так ты его очень любишь?

— Больше себя! И не знаю теперь, куда деваться на белом свете.

Яринка еще сильнее прижалась к Мирославе и доверчиво сказала:

— Я тоже хочу или большей любви, или никакой. Вот завтра же погоню своих ухажеров и скажу им: хватит!

— Тогда погрустнеют вечера без твоего смеха.

— Ничего не случится ни с теми вечерами, ни с моими ухажерами. Пойдем уже домой.

— Побудем, а то кто знает, придется ли еще побывать здесь.

Они притихли перед неведомым, перед будущим, перед той лунной печалью, что когда-то была в очах Даниловой матери, что есть в наших очах, пока мы люди, пока мы болеем душой за людскую долю.

XXI

Лощинами да крутоярами Данило выбрался на заросший травой проселок. По обеим сторонам от него спала сизая рожь, тяжелый колос в последний раз глядел на бе-

лый свет, ибо завтра-послезавтра он упадет на стерню. Вот так бы и самому прилечь возле колоса и под шорох стебля заснуть до утренней зари или до того венца, которым солнце рассекает ночь. Но ему теперь придется прятаться от солнца, от утреннего колоса, от утреннего поля.

Ой поле килиїмське!
Бодай же ти літо й зиму зеленіло,
Як ти мене при нещасливій годині сподобило!

«Килиимское поле не забыло казака Голоту. А вспомнит ли наше поле меня? Поле, может, и вспомнит, а люди? Что скажут, что подумают они?» До этого времени он старался как можно меньше беспокоить их своими хлопотами и невзгодами — у каждого хватает своих собственных тревог и горя. А что же завтра делать?

Под ногами что-то жестко зашуршало. Данило сначала вздрогнул, потом наклонился, и его руку защекотал куст перекати-поля, который еще крепко держался земли. Вот и он, Данило, сейчас становится перекати-полем.

«Так куда же, куда деваться теперь?» — безмолвно спрашивает ниву и одинокий подсолнух, что каким-то чудом вырос во ржи. Но безмолвствует рожь, безмолвствует и подсолнух. У них свои молчаливые заботы: отдать людям весь, до зернышка, урожай, а уж как людям жить — это не их забота. А вот и стебли овса касаются друг друга своими звоночками и вздрагивают даже от голоса перепелки.

«Спать пойдем, спать пойдем»,— дремотно обманывает своим словом перепелка, так как думает-то она не о сне, а о любви.

А о чем думает теперь Мирослава? Оплакивает или проклинает свою любовь? Зачем он сказал, что поедет в город? Это же может вызвать подозрение, что и в самом деле он таился в чем-то от нее. Хотел как-то успокоить девушку, а сделал хуже.

«Спать пойдем, спать пойдем». Куда же ему сейчас пойти, куда унести себя, свое сердце, что томится и ноет? Может, заглянуть в школу, к тому человеку, который похож на казака Голоту,— к Шульге, а может, зайти к Максиму Диденко? Если не испугается, то что-то посоветует, ибо есть у него и ум, и понятливость в голове. Хотя какой теперь совет, если сам себя боишься?

На шляху заурчали машины. Какой груз они теперь везут людям — доброе или что-то дурное? Машины затихли, а вдали, навстречу Данилу, показался всадник. Как славно было раньше встретиться с всадником в поле, поговорить о том о сем, прислушаться к ночи, в которой бродят

сонные туманы. Да это было когда-то... И, подавляя свою гордость, Данило втягивает голову в плечи, согнувшись входит в рожь, подальше от человека, ближе к перепелке, припадает к земле. Никогда еще он не лежал во ржи, не вытаптывал ее, а теперь так позорно прячется. И от кого? От человека!

В поле гулко отдается топот копыт и слышится тихий напев:

Їде козак з України —
Мушкет за плечима,
За ним плаче дівчинонька
З чорними очима.

Недаром столько девичьих слез в украинских песнях. Недаром!

Отстукали копыта, стихла песня, и Данило поднялся с земли. Ржаные колосья бились о его грудь, о плечи и роняли росу или слезы на руки. И тут славное житечко вырастили люди, вот только он не будет жать с ними, не пройдется с косой, не свяжет тугой, нарядный сноп, не поставит полукопны, с которой днем будет стекать солнце, а ночью — луна. Был человек, а стал перекати-поле и даже что-то еще худшее. И все равно, как бы тебя не скрутила судьба, должен как-то действовать. Действовать! Данило осторожно перешел на другую дорогу, уже не прислушиваясь к шорохам нивы, к голосам перепелок, а лишь всматриваясь в залитую луной долину, которая в низинах поднимала кусты тумана.

«Ой тумане, мій латаний талане!»... Да, таков мой удел... Латаный со вчерашнего или позавчерашнего вечера. До этого же как улыбался ему и надеждами, и людскими очами! Неужели это все никогда не возвратится к нему? А может, пойти с повинной? Только с какой повинной? Разве он, а не Ступач, провинился перед людьми, перед государством? Нет, за Ступачову ошибку или злобу я не понесу свою жизнь на плаху, и так она наказана больше, чем надо. А стал бы Ступачовым подпевалой, так не терзали бы твою долю. Но ведь ты же сам как-то говорил: время не дало нам тихой доли... Делать что-то, делать надо! Только что? Как навязчиво роятся одни и те же мысли, даже голова пухнет от них...»

Он и не заметил, как из хлебов снова вынырнула фигура всадника. Ехал он не спеша, приглядываясь к ниве или к ночи, а медлительная лошадка его, опустив голову, подметала гривой дорогу и аппетитно пощипывала траву.

Снова прятаться? Да возмутилась уязвленная гордость,

и Данило, выпрямившись, пошел навстречу всаднику. Тот заслышав шаги, поводьями остановил лошадку, поднялся на стременах.

«Будто Михайло Чигирин кивает бородой? Конечно же он!» — узнал неутомимого председателя колхоза, вздумавшего на старости лет заочно учиться в институте: раньше крестьянин обходился молитвой, а теперь ему нужна наука.

И Чигирин узнал Данила, ловко соскочил на землю, нацелил на него небольшие глазки и сноп бороды, в которой уже гуляет белый цвет: еще в двадцатом году он прикрыл ею глубокий сабельный шрам.

— Неужели ты? — не то удивляясь, не то смущаясь, с улыбкой спросил Чигирин.

— Выходит, я,— не знает, что ответить, Данило.

— Дела...— трясет бородой Чигирин, протягивает небольшую узловатую руку. И весь он небольшой, коренастый, удивительно похожий на гриб боровик.— Как оно?

— Плохо, Михайло Иванович. Страх как плохо.

— Верю,— вдруг погрустнел человек, потом глянул вдаль.— Неумытая совесть у того Ступача. И когда только переведутся правители одного дня?.. Куда же ты теперь?

— Куда глаза глядят.

— Как раз жатву надо начинать, а хозяин должен идти куда глаза глядят,— еще больше опечалился Чигирин.— Да будем надеяться на правду. Ты писал куда-нибудь?

— Нет.

— И напрасно. Где-нибудь схоронись, пережди эти дни, а правды добивайся. Если же потребуется свидетель, то и на меня можешь сослаться. Скажу, что знаю тебя с колыбели.

У Данила задрожали губы:

— Кому теперь нужна наша колыбель?

— И не говори такое! Зловредному и гадюковатому, известно, ни колыбель, ни мать над нею, ни наш ревностный труд, ни наша судьба не нужны. Но им не затмить наш день и время!

— Куда же вы на ночь глядя собрались?

— Я люблю и вечернее, и полуночное время в хлебах. Вот и хочу наглядеться на колос, а то ведь завтра-послезавтра тут будет только стерня, а она уже осень напомнит.— Помолчав, Чигирин положил руку на плечо Данила и тихо пробормотал: — Вот есть у меня чудной вопрос. До сих пор ни к кому не обращался с ним, чтобы не обозвали дурнем.

— Спрашивайте.

— Еще два года тому назад убедился, что жито-пшеница лучше родит, если сеять ряды с востока на запад. То ли тогда солнце щедрее омывает их и в ранние, и в призакатные часы, или что-то иное здесь кроется? Сверил в прошлом году — та же самая картина. Ты случайно не замечал такого?

— Не замечал,— удивленно ответил Данило. «Вот тебе и гриб боровик!»

— Если захочешь, проверь у себя. Это может людям пригодиться.

— Будет ли этот праздник у меня?..

— Непременно будет. Широкие крылья у недоли, но сломаем и их. Может, потихоньку пойдем ко мне? Ты, видно, притомился с дороги? Моя старуха нас душениками угостит, погрустим, подумаем вместе. Как ты на это?

— Я дальше собрался.

— Тоже понимаю,— согласился Чигирин.— Бывай живым и здоровым.— Он крепко сжал Данила в объятиях и быстро пошел к своей косматоногой лошаденке, которой месяц серебрил гриву.

И снова пшеница да жито, белопенная гречиха да чубатые подсолнухи, и покачивание лунных неводов, и загадочность дали... А вот и дремотные вербы обозначают путь дремотной речечки, и кладка, что тоненько, как вьюн, попискивает, и дикие петушки, что так красиво подняли желтые свои светильники, и нарядные, в лохматеньких юбочках, копны, и привяленная грусть татарского зелья.

За речкой, возле пригасшего костра, спали косари, в их сон вплетался скрип коростеля. И Данило не выдержал, подошел к спящим, что привольно разметались на свежем сене. Над посивелым костром, на рогулях, висел задымленный казан, в котором стыла немудреная крестьянская еда — пшенный кулеш, от которого пахло не лавровым листом, а мятой. Взгляд Данила остановился на лице белочубого, с длинными ресницами парня, что неожиданно начал улыбаться во сне. Или, может, проснулся хлопец и из-под ресниц смотрит на него? Данило замер, а парень едва слышно спросил у своего сна:

— Это ты, Оксана?..

Было за полночь, когда Данило зашел на подворье той школы, в которой когда-то несколько дней прожил среди святых и грешников. Тогда он больше присматривался к святым, потому что художник передал им все лучшее, что было у людей. На окнах школы крошилась отсыревшая

луна, а вокруг стояла такая тишь, что было слышно, как из кирпичного желоба по капле стекала вода. Как же его примет теперь Терентий Иванович, который четыре раза встречал смерть? Что скажет мудрый Диденко? Ведь на рассвете придется тревожить их.

Данило сел на ступеньках, что вели в школу. Напротив стоял старый навес, под которым и теперь поблескивала сталь плугов, справа выгибал руки обильно усеянный плодами сад, а далее холмами раскинулась школьная земля, по которой и он вел плуг, сеял зерно. К нему отовсюду начали подступать воспоминания и усталость. Вспомнились и тетка Марина, и половецкая баба, и одинокий подсолнух в поле, и всадник среди ржи, и косари, и тот белочубый паренек, что во сне звал свою Оксану...

— Это ты, Мирослава? — спросил он...

— Данило Максимович, ты?.. Какими судьбами?

Данило встрепенулся и, пробуждаясь ото сна, быстро поднялся. Перед ним, удивленный, стоял Терентий Иванович. На его вислых усах угасал поздний месяц.

— Пришел к вам, в школу,— снова не знает, что сказать, Данило.

— В школу? — удивился Терентий Иванович. И уже после молчания: — И не побоялся?

— Как видите,— прямо глянул в глаза.— Я не виноват перед людьми.

— И мы это знаем...— осмотрелся вокруг Шульга.— Уже скоро и светать будет. Куда спрятать тебя от злого глаза?

— Может, в ту церквушку, к грешникам? По чьей-то вине и я стал грешником,— обхватил Данило голову руками.— Как это страшно, Терентий Иванович. Как это страшно!.. Шел к вам полями, а навстречу человек, и я вынужден был спрятаться от него во ржи.

— Когда-то и у меня было приключение во ржи,— вспомнил прошлое Терентий Иванович.— Столкнулись мы в восемнадцатом году с державной стражей Скоропадского. Ударили по ней! А когда к скоропадчикам подошла подмога, бросились в спелую рожь. Да осатаневшие «экспедиторы» недолго думая со всех сторон подожгли хлеб. Горит он, горим и мы и должны были, пылая, словно снопы, подняться с земли. Это наступала тогда моя третья смерть... И самыми страшными тогда были голубые огни, которыми стали наши побратимы. Голубые... Что же, Данилко, делать с тобой?

— В церквушку, к грешникам.

— И грешников, и святых замазали глиной, только кое-где пробиваются их глаза. Анита таки добилась своего, а теперь мажет дегтем людей. Недаром говорят: ученая ведьма всегда злее обыкновенной. Даже завивка у нее на голове как у ведьмы. Тьфу!

— Что же Максим Петрович на это?

— Разве ты не знаешь ничего?

— Нет.

— Максим Петрович уже с месяц работает директором совхоза в соседней области. Теперь он развернется на тысячах гектаров. Наверное, и я перейду к нему, а то не только душа, но и моя вербовая нога грустит по нему,— повел своей сухой вербочкой, что снизу была окована железом.— Раз как-то весной возле речки я срезал себе две ноги про запас, отесал снизу, а тут рыбаки едут на челнах, к себе приглашают. Воткнул я свои вербовые ноги в берег да и поехал на рыбалку. Наловили мы тогда и рыбы, и раков, наварили ухи, выпили по-христиански по чарочке и только утром вернулись домой. А тут как раз подоспели работы, завертелся я в извозе и вернулся на берег к своим ногам только дней через десять. Смотрю, а одна нога уже и листочки мелкие выбрасывает. Не тронул я ее. Вот и начала расти моя нога, вербочкой стала, шумит себе листьями, цветет, а роса у нее горькая. Жизнь!

— Неужели пробовали на вкус? — верит и не верит Данило рассказу или притче червонного казака.

— Пробовал,— правдиво смотрит на него Терентий Иванович.— При своих четырех смертях какого я только зелья не пробовал, и все равно верил, что буду жить. И ты, сыну, должен жить.— Он шагнул вербовой ногой, обнял Данила.— Где же ты переднюешь у меня? Может, в лесной смолокурне? Туда никто летом не заглядывает.

— Где скажете,— скорбно, душой, благодарил человека. И доверие казака, и его рассказ изумили Данила и запомнились на всю жизнь.

— Тогда ты немного подожди, а я запрягу своих ветрогонов — да и в леса.

— А может, не надо? — внезапно заколебался Данило.

— Почему не надо? — не понял, насупился Терентий Иванович.

— Еще беду накличете на себя.

— Если бы я не верил тебе, то иное дело. А пока у нас есть добрая вера, дотоле нас не сломит несчастье. Вот увидишь: все минется, а правда останется.— И, постукивая вербовой погой, он пошел к школьной конюшне.

Вскоре кони были запряжены, Данило вскочил на обшитую грядку нового воза, и колеса зашипели по росистому спорышу. Выехав со школьного двора, Терентий Иванович повернул не к селу, а к речке, у которой между деревьями уже мохнатился рассвет.

«Бегство от недоли»,— с горечью думал Данило. То раньше он, как мог, догонял крестьянскую долю, а теперь убегал от своей недоли. Разве это жизнь?

Терентий Иванович положил ему руку на плечо.

Данило встрепенулся, одновременно охватывая взором и плес, и вербы над рекой, и челны на берегу.

— Вон видишь раскидистую вербу у самой воды? Возле нее челн качается.

— Вижу.

— Так это она из моей ноги выросла... А потом какой-нибудь парнишка сделает из нее челн и повезет свою любимую. Только бы спокойно было в мире. Да, на беду, ухватился Гитлер за косу смерти...

Поздний жатвенный вечер, когда даже дороги пахнут рожью. А к этим степным запахам в селе примешиваются запахи цветущих подсолнухов, белого налива, молодого укропа и молодого картофеля, который, ожидая косарей и жнецов, варят не в хатах, а на подворьях. Вот над казанком, под которым дышит пламя, склонилась бабуся. Что-то шепча, она, словно зелье какое, сыплет в картошку соль, разгибается, огонь высвечивает на ее лице морщины. Услыхав шаги на улице, поворачивает голову к воротам и спрашивает:

— Это вы наконец?

— Нет, бабуся, это не те, кого вы ждете,— с сожалением отвечает Данило, завидуя в душе простому деревенскому обиходу.

Старуха выпрямляется, подходит к воротам.

— А кто же ты, дитя, откуда будешь?

— Я издалека.

— Тогда заходи к нам. Скоро придут мои дети, внуки, вот и повечеряешь с нами.— И такая доброта стоит в ее старческих очах, что хочется неведомо у кого выпросить ей еще более долгого века.

— Вы не знаете, где живет директор вашего совхоза?

— Почему ж, дитя, не знаю, где живет добрый человек? Это с плохим не хочется знаться. Вот перейдешь мостик через Сниводу и сразу же бери по левую руку к шко-

ле, а от нее — по правую руку, то прямо и дойдешь до панского дворца.

Вскоре Данило доходит до бывшего панского, с белыми колоннами, дома. Тут только в двух окнах горит свет. Он припадает к одному, полураскрытому, и сразу же видит склонившуюся над столом фигуру Максима Диденко. С карандашом в руке он хмурится над какой-то сводкой-скатертью и тихонько напевает ей:

Скатертино, скатертино,
Над тобою марно гину.

И хоть как тревожно на душе у Данила, но он не выдерживает:

— Максим Петрович, живите себе и нам на радость, не погибайте.

— Кто это?! — вскрикнул Диденко, подошел к окну, поднял вверх брови и шепотом спросил: — Ты?

— Я,— притих Данило, как перед судом.

Диденко невольно оглянулся.

— Так заходи скорее.

— Стоит ли?

— Заходи без лишних разговоров.

Данило зашел в просторный, обвешанный плакатами и грамотами кабинет, в углу которого стоял роскошный ржаной сноп нового урожая. Диденко положил руки на плечи Данила, поморщился, не зная, о чем расспрашивать, что говорить. Повисла неловкая тишина, в которой Данило слышал биение своего сердца. А в это время в окно, что выходило в сад, донеслись тихие голоса:

— Какие у тебя красивые очи.

— Разве их сейчас видно? — не верила девушка хлопцу.

— А я их всегда вижу перед собой.

— И в темноте?

— В темноте они мне светят, словно звезды.

— Ой! — с болью встрепенулась девушка.

— Ты чего?

— Мама говорила, что ей в молодости то же самое говорил отец. А когда женился, то начал пригашать те звезды.

— Так это при капитализме было. У нас такого никогда не будет.

— И не должно быть...

Диденко смущенно улыбнулся:

— Кому-то любовь, а кому бумажки... Так как же ты, Данило, ко мне попал?

— Пришел как к отцу. Посоветоваться пришел, что мне делать на этом свете... Вы уже все знаете обо мне?

— Знаю. Худая молва не лежит,— вздохнул Диденко.— Ступач тебя преследует?

— Ступач.

— Это безрассудный, жестокосердный человек. Когда-то он был батраком у такого дьяка-плута, которого даже попы называли сатаной. Наглотался там зла, да и начал лихом копать свое поле. Ох, эти недалекие, озлобленные копачи... Что же делать с тобой, с самым лучшим председателем в районе?

— Вы думаете, я знаю? Голова совсем кругом пошла. Легко было моей родне говорить: «Держись ума и плуга». Да иногда ум и плуг не держатся нас...

— К сожалению.— Диденко начал ходить по комнате.— Что же я тебе могу посоветовать, что могу сделать для тебя? Что? Ведь у меня тоже нет большой власти... Когда-то ты мне говорил: нам время не дало легкой доли. Помнишь?

— Помню,— понурился Данило.

— И это, очевидно, правда: пока время не дает легкой доли. И какая бы доля ни выпала тебе, какие бы испытания ни выпали бы на твои дни, ты должен быть Человеком. Даже в самую тяжелую минуту, когда уже все покинет нас, мы должны оставаться со своим евшан-зельем, с безграничной любовью к Отчизне. А она нас не забудет. Это говорю тебе как человек верящий — как большевик и твой друг, который, правда, не очень сумеет теперь защитить тебя. Понимаешь?

— Думаю.

— Вот и думай, что оно и к чему, казнись своими горестями, но оставайся человеком. Это если о великом и высоком думать. А теперь о будничном: подави свои печали как мужчина и пока что оставайся у меня садовником. Переходи в курень, что стоит посреди сада, да и орудуй. А далее будет видно. Я верю в это, ибо верю в разум людской, в разум времени. Согласен?

— Спасибо.— Данило с благодарностью глянул под утомленные, потемневшие веки, за которыми стояла большая печаль.— Не страшно вам с таким «элементом»?

— Не так страшно, как неудобно. По рукам? — и протянул темную от загара руку.

— Еще раз спасибо. Пасека есть в вашем саду? — спросил Данило, забывая и не забывая о своем.

— Стоит небольшая. Вот так-то, голубь сизый. Пусть наш сад убережет тебя от недоброго глаза. Работы же в нем ой как много.

— Разве меня когда-нибудь пугала работа?

— Это я знаю. Вечерял?

— Нет.

— Повечеряем холодной индюшатиной. И поведу тебя в курень. Там есть сено, одеяло, подушка.

— Не знаю, Максим Петрович, как и благодарить вас.

— Обойдемся без этого. Неужели ты думаешь, анонимка или нашептывание смогут сделать нас мелочными?.. Мы же советские люди. Советские! Слышишь?

— Слышу.

Вдалеке запели петухи, а в саду испуганно отозвалась девушка:

— Ой, уже петухи поют. Бегу, бегу!

— А, пропали бы они! Вот пакостная птица. Ну, еще капельку постой.

— Знаю я твою капельку. Прощай, бегу.

— Я тебя на руках донесу...

— Вот для чего нужны руки человеку,— подбадривая Данила, усмехнулся Диденко.

XXII

Над самым татарским бродом за какие-то две недели расцвела подснежником новая хата-белянка. Летом ей о чем-то дремотно шепчут обленившаяся волна и камыш, осенью испуганным звоном откликаются привязанные челны, а зимой в деревьях потрескивает или дедом покряхтывает мороз и в окна бьют крыльями ветровеи, стучат метелицы.

А когда же постучит Данило?.. Где он теперь, где его очи и где его большие добрые руки? Может, время взяло и их, и то, что считалось-звалось любовью?..

От такой мысли стон вырвался из груди девушки, как из той метелицы, что никак не может найти себе пристанища. Так теперь и душа Мирославы не находит пристанища: все бьется она в кручине, в отчаянии, все кружит в поисках той дороги или стежки, на которой лишь в снах появляется Данило. Только сны напоминают ей о нем. Только сны...

А вокруг так беснуется метель, что не поймешь, где небо, где земля, где речка, где приселок. Мирослава наугад, увязая в сугробах, бредет из амбара домой. Метель выбивает из нее дух зерна, выжимает и слезы. А сколько их вылилось в новой хате-белянке, в которой никогда не запираются двери?!

«Ты не запирай двери, я скоро вернусь...»

Это «скоро» обернулось месяцами. Да какими месяцами! Пусть бы их и через века никому не довелось пережить...

Кто из нас в тревожной молодости, хотя бы тайком, не мечтал о необычной любви: ты будешь так любить своего суженого и он тебя так, как никто не любил. Как никто! Вот и пришла к ней такая любовь, какая, верно, мало у кого была. Да только веет от нее сейчас полынной горечью. Тот день, когда она узнала обо всем, стал для нее роковым и мучительным. Даже седой тато, приехав как-то в гости к ней, еще больше опечалил Мирославу:

— Уже можно и не ждать. Видать, не судьба. Выходи, доченька, за другого. Ведь что такое девичья краса? Блеснёт, словно роса, и туманцем сойдет, как роса летом. А жизнь есть жизнь, и она требует своего: если не любви, то материнства.

Может, в этом тоже есть какая-то мудрость старости, но как любви смириться с нею?

И дочь напомнила отцу, как он к ней, еще ребенку, наклонил с нивы несколько сизых, со слезой, колосков.

— Тогда вы сказали: всегда заботься о колосе, о хлебе святом. А разве о человеке надо меньше заботиться?

Отец озабоченно покачал головой, что тоже испытала на веку всякое, посмотрел на свои большие руки, которые словно взвешивали что-то.

— Так где же он, тот человек? На земле или в земле? Наверное, беспощадной мачехой стала ему судьба.— И пошел запирать на ночь двери.

— Не запирайте, тато.

— Это ж почему? — удивленно соединил дуги седых бровей: не тронулась ли его дочь? — А если кто-нибудь заберется и обворует?

Одной скорбью посмотрела на него Мирослава:

— Самое дорогое уже украдено, а тряпок не жаль.

— Оно-то так, тряпок не жаль, а рода жаль.— Словно седой туман, зашатался у дверей старик.— Мне чуть ли не каждую ночь снятся внуки. Неужели я не дождусь их? Может, ты уехала бы из этого села, чтобы забыть все?

— Я ничего не хочу забывать! Ничего...

Да и вправду, как она могла забыть ту первую ночь в полях, и первые хлопоты жатвы под прищуренным взглядом Данила, и тот ветряк, который поднимал ее волосы, и те руки, что впервые поднимали ее, и те ворота, что стонали чайкой, и те уста, что искали ее уст? Увяли ее уста, и вся она стала словно иссушенный после жатвы стебель.

Хоть печаль сковала ее душу, да не смогла выжать любви ни к Данилу, ни к людям. Наверное, потому уважают и жалеют ее в селе. Даже эти горделивые парубки, что колдуют возле машин, не подшучивают над ней, как подшучивали прежде. Они же и подбили приселок сообща поставить ей хату: может, в новом жилище меньше станет печалей у молоденького товарища агронома. Да не угадали добросердечные парубки, которые назвали ее хату гнездом перепелки. Надо же такое выдумать!..

Вот и постаревшие прибрежные вербы да гибкий ивняк. Придерживаясь за его веточки, с которых свисали нерасцветшие сережки, Мирослава осторожно спустилась на лед, прошла несколько шагов и почувствовала туман от испарений, которого не могла одолеть и метель. Это, видно, рыбаки сделали проруби и до сумерек ловили вьюнов. Вот и обходи стороной, чтобы не бултыхнуться в воду.

Пошатываясь от порывистого ветра и изнеможения, она перешла брод и подошла к калитке, но не смогла ее открыть: столько намело со двора снега. Тогда взялась обеими руками за ворота, немного приоткрыла их, и они неожиданно отозвались тревожным стоном чайки. Даже вздрогнула: неужели дерево дереву может передать свой голос? Так почему же тогда Данило не подает своего голоса?

Отряхнувшись на пороге, Мирослава концом платка вытерла влажное лицо и тихо вошла в жилище, наполненное живительными запахами летнего поля и луга. Каких только снопов, снопиков, связок трав здесь нет! Увидел бы их Данило, взял бы ее руки в свои и сказал: «И чего только эти рученьки не умеют! Что-то колдовское есть в них».

«Ты и про глаза так говоришь...»

«И в глазах есть колдовство. Вот бросили вечер и луна в них чары — и уже сохнешь, как трава».

«Не мелите несусветного, товарищ председатель. И только без рук».

Где они, те руки, теперь?

Стукнула ставня, и Мирослава бросилась к окну. Но это лишь вьюга зацепилась за хату и понеслась дальше, к татарскому броду, и там застонали вербы, как вдовы. А кто же она? Ни жена, ни вдова. Неужели такая ее судьба?

Будто кто-то возится у порога. Вот хлопнули двери сеней, скрипнули — хаты, и в жилище влетела разгоряченная Яринка. Кое-как стряхнув с платка и кожушка снег, она повела задорным глазом на Мирославу и продекламировала:

— Не варила, не пекла и в сельклуб пошла... Как ты на это?

— В такую метелицу?

— Метелица, метелица, почему старый не женится?.. А что нам эта вьюга-метелица? Ноги же взаймы не брали и не покупали! Разве ты не любишь метель?

— Люблю. Она так хорошо укрыла озимые, что теперь и мороз не страшен им.

— И как в таком хрупком теле вместились все хлеборобские заботы? — засмеялась Яринка.— Так побежали?

— Ты же видишь, что делается на дворе. Хаты качает!

— Что нам непогода? Разве плохо бежать и разрывать петли метели?

— Ой, Ярина, Ярина, кому ты и красотой, и характером счастье принесешь?

Девушка вдруг задумалась, вздохнула.

— А может, не пойдем в клуб? Вместе будем грустить?.. Когда уж эта грусть отойдет от тебя? — Обняла подругу и снова вздохнула.— А к нам позавчера Степочка приезжал, о тебе почему-то спрашивал. Он в область собирается, «набил руку в районе». «Набью в области руку — и подамся выше»,— передразнила молодого Магазанника, засмеялась и начала поправлять снопики, что стояли на сундуке.— Запахи от них волнами идут. Эта пшеница с селекционной станции?

— Ага. В прошлом году мне ученые только одну шапочку семян дали, а в этом году у нас уже вот сколько и впрямь золотого зерна. Как бы этому радовался Данило!

— Я тебе хоть вечерю подам.— Ярина отодвинула печную заслонку, вынула миску с рыбой и грибами и, прислушиваясь, поставила на шесток.— Не гости ли к тебе? Кто бы это?

— Наверное, Геннадий Шевчук,— подумала о председателе колхоза.

— А если?.. — Ярина из-под ресниц глянула на подругу.

— Разве это может быть? — пугаясь, спросила сама Мирослава.

— А почему не может?.. Вот в какой-нибудь вечер постучит в двери, встанет на пороге, вот так, улыбаясь, как он умеет, и спросит: «Соскучилась?» А ты его назовешь бессовестным.

— Я бы его и совестью своей назвала, лишь бы только откликнулся.

Возле сеней затопали чьи-то шаги, затем кто-то постучал в дверь.

— Заходите! Заходите! — в один голос ответили Ярина и Мирослава.

И вот медленно открылась дверь, и на пороге появился Степочка в новом добротном кожушке и в сивой смушковой шапке. Он снял ее, рукой бережно поправил волосы, заиграл мельничками ресниц. За своими думами и не заметил, что за ним не закрылись двери.

— Здоровы, чернобровы! — с деланной веселостью поздоровался и начал расстегивать кожушок, чтобы увидели его новехонький, из синего сукна, френч.

— И чего тебе тут надо?! — возмутилась Мирослава.

— А чего вам сразу гневаться? — передернул плечами Степочка.— А-а-а! Вы все еще, Мирослава Григорьевна, сердитесь за давний выговор в переходный период? Пора бы уже и забыть. Каждый из нас, если поскрести душу, наберет на выговор, и вообче...

— Скреби свои руки и не лезь ими в людские души,— отрезала Ярина.

Степочка хитровато-примирительно усмехнулся ей, приложил шапку к сердцу.

— А почему мне, скажи, не лезть к людской душе, если я уже поэт?

— Ты — поэт?!

— А почему бы и нет? — Степочка вынул из внутреннего кармана френча вчетверо сложенную газету.— Вот, почитай, если не разучилась. Это ничего, что в райгазете. Набью руку в ней — и в областную, набью там руку — и в энциклопедию с портретом.

Девушка вспыхнула:

— Если бы тебя, плюгавый, с портретом — да в самую глубокую прорубь! Вот была бы радость и энциклопедии, и всему селу.

— Эх, сельская самодеятельность,— презрительно махнул шапкой Степочка.— Еще влепи какую-нибудь реплику.

— И влеплю: ты не замечаешь, что у тебя в глазах полпуда нахальства?

— А не врут ли твои весы?

— Степочка, сделай одолжение, удались туда, откуда пришел,— попросила Мирослава.

— Не могу! — покачал головой Степочка.— Это выше моих сердечных и интеллектуальных сил. Я, конечно, знаю, что у каждого человека есть сладкое время любви. Было это время, догадываюсь, и у вас, Мирослава Григорьевна, и вообче. Да сладкое время быстро проходит, а приходит реальность, от которой никуда не сбежишь, даже на коне не ускачешь. И вот, чтобы вы поверили в серьезность моих планов, я даже при Яринке, при свидетеле своей юности, значит, скажу, что есть у меня мечта и намерение жениться на вас...

Вдруг из сеней послышался знакомый голос:

— Я невольно становлюсь вторым свидетелем,— и в хату вошел запорошенный снегом Ступач.

— О, это вы подоспели? — словно растерялся, но в то же время и обрадовался Степочка. Поклонившись, снова приложил шапку к сердцу.— И как вы попали к нам?

— Метель загнала. Правда, она уже будто успокаивается. Так ты имеешь мечту и намерение жениться?

— Точно так, Прокоп Иванович. Это скажу и при вас, и при всем приселке, ибо уже и для Степочки наступила семейная пора.

Мирослава гневом опалила и жениха, и Ступача:

— Пусть он женится на рубле, на котором повисла его торгашеская душа и совесть!

Ступач смущенно глянул на Мирославу:

— Это вы, пожалуй, напрасно позорите Степана Семеновича. Правда, человек он скуповатый, но теперь не рубль, а поэзия руководит им.— Не то сочувствие, не то скрытая радость пробивается в голосе непрошеного гостя.

— Вы еще не раскусили его: он за рубль продаст и поэзию, и вас вместе с нею.

— Что она мелет, как элемент?! — вдруг налился свекольным соком Степочка.— Вот в чьей душе, видать, сидит враг. Она и до сих пор любит его, что вон на стене висит. С ней надо что-то делать.

Ступач махнул рукой:

— Это уже не наше дело.

— Как не наше, когда она отбрасывает принципиальную любовь во имя вражеской? Ее надо прорабатывать, громить, и вообче!..— расфыркался женишок.

— Ого, какой ты воинственный, Степочка. Ты забыл, что перед тобой девушка.— И что-то дрогнуло в голосе Ступача и вина мелькнула в глазах. Он обернулся к Мирославе: — Простите, что не вовремя зашел. Проси, Степочка, и ты извинения.

— Ну, если даже вы говорите, то куда мне деваться? Сдаюсь! Хотя на вашем бы месте...— Степочка поднял руки вверх и так вышел из хаты.

Ступач поклонился Мирославе и почему-то вздохнул. Почему бы?

— Еще раз извините. Будьте здоровы,— и пошел вслед за Степочкой, который что-то недовольно бормотал в сенях и повторял свое «вообче».

Яринка спровадила непрошеных гостей со двора, потом вбежала в хату, обняла Мирославу.

— Когда много красоты, то еще больше хлопот. Ох, и растревожил мерзостный греховодник! И все равно — лихое минует и ты будешь с Данилом, чует мое сердце! — Она снова подошла к печке.— После такого сватания и повечерять можно. С каких позиций ты смотришь на рыбу, грибы и вообче?..— передразнила Степочку.

— Ой, Яринка, Яринка... А где же твоя любовь?

— Чего нет, того нет. Да я могу еще подождать. А вот почему Роман и Василь до сего времени никого не нашли? Столько же есть красивых девчат...

— Что они пишут?

— Примерно служат на заставе. Соскучилась я по ним и их шуткам! Где они идут, там и смех раструшивают. О, да метель уже утихла. Прощай, сестра.— Она поцеловала Мирославу, выскользнула из хаты, и подковки ее чеботков звякнули на мельничном кругу у входной двери, который после жатвы Роман и Василь привезли Мирославе.

Мирослава походила по хате, зябко пожимая плечами, посмотрела в окно, за которым уже чувствовалось колдовство еще невидимого месяца, и подошла к фотографии Данила. Он доверчиво, чуть грустно улыбался ей или кому-то... Может, и вправду теперь улыбается кому-то, забыл ее,— чего не случается в жизни? С такими невеселыми думами она разделась и снова глянула на фотографию.

«Хоть во сне приди, если не можешь иначе. Слышишь?»

Поправив снопики, выключила свет и не легла, а упала на постель. Еще какую-то минуту слышала, как возле хаты, стихая, кружился и вздыхал ветер. Потом в окна

так хорошо врезались промерзшие звезды, в стекла постучал месяц, покачнулась земля, и она перенеслась в детство, когда с поля, бывало, ждала мать, у которой тоже был сноп золотых волос и с вечерней синевой глаза. Очень рано ушли они в землю и барвинковым цветом проглянули на могиле.

Теперь ветер всхлипнул, как дитя... А отец так хочет дождаться внуков...

И уже не слыхала, как слегка звякнула щеколда, скрипнула дверь и в хату крадучись вошел Данило. Он не закрыл за собой дверь, боясь ее скрипа, боясь себя, боясь лунного марева, в котором, словно жнецы в белом, стояли снопы. Захлебываясь настоем лета и тоски, так и застыл у порога человек или тень его. Как его теперь встретит Мирослава: проклятиями или печалью да слезой? Ведь ничего же не дал ей, кроме горя.

Когда немного угомонилось сердце, он услышал дыхание и тихонько подошел к кровати, склонился над нею, вглядываясь в лицо Мирославы, что было полузакрыто волной волос: они и дымились, и блестели в лунном свете.

Скорбь выступила на ее пересохших губах, между бровей, и во сне трогательно вздрагивали венчики ресниц и тени возле них. Прикоснуться бы к ним губами, почувствовать, как просыпаются они, как просыпаются глаза, испуг, а потом улыбка... И такое дорогое слово — «бессовестный».

Да имеешь ли ты право на это? Посмотри на свою любимую, словно на дорогую картину, и иди куда глаза глядят. Не терзай и не карай эту красу, эту нежность, эту печаль.

И, преодолевая себя, он шагнул назад, прощальным взглядом окинул Мирославу, ее ножки, что выбились из-под тонкого одеяла, вдохнул запах ее волос и повернулся к дверям — так, верно, лучше будет для нее. Он оставит ей свой подарок и пойдет в холодные снега, в безнадежность.

И тут, вопреки разуму, взбунтовалась любовь или сомнение: а может, только тебя, дурня, и ждала Мирослава, может, для тебя и ночью не запирала дверей?

Еще не зная, что делать дальше, он тихо-тихо прошелся по хате, постоял возле снопиков и неожиданно увидел в простенке свою фотографию. Где же она взяла ее? Такая была только в его хате... Вон оно что... Глубокая благодарность наполнила его душу, и он, неуверенно улыбаясь,

снова подошел к постели, смотрел и насмотреться не мог на свою любовь.

«Мирослава, любимая»,— звал ее в мыслях, а затем, незаметно для себя, позвал и вслух.

И вдруг Мирослава проснулась, положила руку на грудь, вздохнула. Данилу стало страшно, он отклонился в тень.

А девушка, откидывая волосы со лба, села в кровати.

— Так ясно услыхала его голос... Ой, что это?! — В голосе ее зазвучали испуг, удивление, слезы, а в настороженные глаза вошла луна. И только погодя спросила: — Сон?

— Сон, Мирослава.

— Данило! Данилко! Ты?!

— Я.

— Пришел?

— Пришел.

Мирослава со слезами бросилась к Данилу, потянула его к окну.

— Данилко, родной, это ж ты!.. Не может быть, ой, не может быть! — и упала ему на грудь, веря и не веря, что это он.— Не может быть...

— Выходит, может,— поцеловал ее волосы, что и теперь, как в давнее время, собирали лунные блики и грусть маттиолы.

Вдруг Мирослава испуганно отшатнулась от него.

— Ой, подожди, я же раздета...

Прикрыв рукой вырез сорочки, она метнулась к кровати, подняла руки к вешалке, зашелестела одеждой и через минуту, смущенно улыбаясь, терла пальцами ресницы. Затем подошла к нему, положила руки ему на плечи, потрогала: вправду ли это Данило?

— Почему же тебя так долго не было? Чего я только не передумала. Как ты, любимый?

Данило помрачнел:

— Как?.. Разве это жизнь? Будь она проклята вместе с теми, кто покалечил ее!

— Данило, ты озлобился?! — ужаснулась Мирослава, отстраняясь от него.

— От такой жизни и мертвый камень может озлобиться. Бьюсь словно рыба об лед и не могу придумать, как мне жить, что делать.

Мирослава сжалась в болезненный комочек и, не спуская взгляда с Данила, твердо сказала:

— Что хочешь делай, как хочешь делай, только не

озлобляйся. Тебя же не Родина, не люди осудили, а слепая ненависть Ступача.

— Вот как! — подобрел, разгладил морщины Данило, обнял Мирославу и не стал ей пояснять, что не озлобился он, а только у него большая душевная боль.— А для тебя кто я теперь?

— Ты для меня все: любовь, муки, надежда, муж, отец моего сына или дочки.

— Неужели это может быть? — не поверил ей, не поверил своему будущему.

— Это все будет, Данило. Увидишь: и я, и наши дети, и добрые люди будут еще гордиться тобой, если ты не озлобишься и не измельчаешь, как мельчают в злобе.

— Какой же ты стала!..— с удивлением глядел на нее и наглядеться не мог.

— Какой, Данилко? Постаревшей?

— Нет, мудрой... словно лето.

— Хотя и не было у нас весны,— загрустила Мирослава.— Вот у меня в разлуке и морщины появились.

— Это не морщины, это мудрость!..— Данило начал целовать тот сноп, что вобрал в себя солнечное утро, те очи, что подобны синеокому вечеру.

Мирослава льнула к нему, как никогда не льнула, не отстраняясь ни от его уст, ни от его рук.

Что-то бухнуло у завалинки, и они от испуга замерли.

— Это, наверное, груда снега свалилась с крыши,— подошла Мирослава к окну.—А еще возле хаты иногда зайцы прыгают. Я для них сноп овса положила. Вот, смотри!

Припав к стеклу, они увидели, как по золотисто-белой скатерти луга катился живой клубок, вот он вскочил на подворье — и прямо к снопу.

— Вот и есть у нас кусочек сказки,— горькая усмешка мелькнула на устах Данила.

Мирослава лицом прижалась к его плечу.

— Не забыл, как нам с поля или из леса родители приносили хлеб от зайца?

— Не забыл. Я тебе тоже что-то принес. Может, посмеешься с дурня.

— Не мели несусветное...— и запнулась, чуть было не сказала давнее: «Не мели несусветное, товарищ председатель».

Данило расстегнул портфель, вынул из него что-то завернутое в белую бумагу, бережно развернул ее.

— Вот тебе,— подал ей какие-то три стебелька.

— Что это? — удивилась Мирослава.

— Посмотри.

Она включила свет и увидела три молодых пшеничных колоска, что нежно-нежно набирали цвет.

— Это откуда же такое диво?

— Из теплицы Диденко. Новый надежный сорт выводит он, а я возле него верчусь.

— Спасибо, Данилко. Пусть этот колос будет для нас колосом надежды, счастья.

— Если бы оно так было,— помрачнел Данило, а потом достал из котомки большой тернового цвета платок.— Вот тебе мой первый, пусть будет не последним.

Мирослава, положив колоски, радуясь, погрузила руку в красные цветы платка.

— Значит, помнил?

— Не было и часа такого, чтобы не думал о тебе.

— А обо мне и не спрашивай,— и слезы появились в глазах и в голосе. Чтобы погасить их, сказала буднично: — Данилко, может, повечеряем?

Он глянул в окно, покачал головой звездам, что уже меняли ночные краски на предрассветные, вздохнул.

— Мне уже надо идти. Скоро рассвет. Я теперь боюсь рассвета.

Мирослава, наверное, не расслышала его последних слов.

— Какой ты хороший, Данилко.

— Я хуже стал в своей душе.

— Ты лучше стал в моем сердце.

— Мне пора...

— Нет-нет! Ты сейчас не пойдешь. Эта ночь будет нашей.

— Что ты, Мирослава! Я же вне закона.

Она пригнула его голову к себе, он чубом коснулся ее груди.

— Любовь не может быть вне закона.

— Это говоришь ты?

— Нет, моя любовь.

— Ты не боишься ее?

Мирослава одной искренностью заглянула ему под ресницы:

— Материнства не боятся — ждут...

Эта ночь была их первой ночью. Забыв обо всем, Данило и передневал у Мирославы, только она, идя в амбар очищать зерно на посев, впервые за эти месяцы заперла хату... И вторая ночь была их, и третья. С этих пор, ка-

жется, вся его жизнь стала ожиданием этих зимних лунных вечеров, из которых, словно сама любовь, приходила к нему Мирослава. Она приносила запахи мороза, встревоженного зерна и лучшую на свете улыбку. Кого благодарить, кому кланяться до земли, что ты, моя доля, есть на свете?..

А на четвертый вечер, когда Мирослава вернулась домой, возле их ворот блеснули фары машины...

«Кто бы это мог быть? Неужели снова по его душу?»

Зароились мрачные мысли, Данило побледнел, но ничего не сказал Мирославе, которая возилась возле печи. Кажется, само сердце отстукивало шаги неизвестного. Но почему он один? Данило не выдержал:

— Мирослава, к нам кто-то идет.

— Ой! Так я сейчас!..— отчаянно вскрикнула, заметалась, бросилась к дверям, закрыла их, хлопнула другими.

«Нет тебе счастья, моя забота чернобровая». И вдруг, словно с того света, услыхал:

— Добрый вечер!

«Кому-то, может, добрый, а кому-то...» Но в голосе прибывшего послышалось что-то знакомое. «Вот сейчас и узнаешь обо всем». И Данило так посмотрел на пшеничные колоски, словно искал защиты у них.

Вот открываются двери — и он не верит своим глазам: в хату вслед за Мирославой шагает улыбающийся Диденко, вносит с морозом свою широкую, будто колокол, кирею и несколько полумесяцев морщин вокруг уст.

— Максим Петрович!

— Узнал? — словно удивляется человек и не стирает улыбки с лица.

— Да вроде узнаю. Но, как говорят старые люди, каким ветром?

Диденко поздоровался с Данилом и подпер бровями высокий лоб. Своей широкой киреей он занял почти половину хаты.

— Чтоб не мучить тебя догадками, сразу все расскажу, но при одном только условии: на столе должно быть и жареное, и тушеное, и пареное, ибо по твоей милости голодный, как старый волк.

— Из-за меня? — не верит Данило.

— Конечно,— коротко отвечает Диденко и уже серьезно, даже как-то торжественно начинает говорить, словно читает грамоту: — Так вот, человече добрый, писал ты в инстанции письма о себе, а я тихонько писал о тебе. Замирая, ожидал ты ответа, тревожась, ждал и я. И вот сегод-

ня ко мне прилетела добрая весточка, как ласточка прилетает весной.

— Откуда? — побледнев, не голосом — душой спросил Данило и приложил руку к груди: голова это или весь свет пошел кругом...

— Из высокой инстанции! Спасибо ей, все напасти от тебя отброшены. Слышишь?

— Ой! — вскрикнула Мирослава, сделала шаг к Максиму Петровичу, да остановилась и посмотрела на Данила.

А тот в круговерти нахлынувших чувств онемел, потом встрепенулся, будто освобождаясь от некогда навалившегося на него горя и бездонной тоски; молча подошел к Диденко и молча, вздрагивая, крепко обнял его. Припала к гостю и Мирослава, не вытирая слез, что катились и катились по щекам.

— Да хватит, хватит! — с деланным неудовольствием начал отбиваться от них Диденко.— Кирея станет мокрой от слез.— А потом повел глазом на печку: — Вижу, самому придется варить картошку, ибо вам уже не до меня.

Мирослава и Данило улыбались, еще веря и не веря в то, что произошло.

— Подсмеиваются над стариком,— махнул рукой Диденко и только теперь увидел в вазочке на столе свои колоски и снова изломом бровей подпер лоб: — Воровство напоказ?

— Такой мне подарок привез. А я и сказала: пусть этот колос будет для нас колосом надежды, счастья,— защебетала Мирослава.— И сбылось загаданное.

— Пусть так и дальше будет! — снова торжественность пробилась в голосе Диденко.— По этому случаю прочту вам слова выдающегося польского писателя: «Вырастить на голой земле что-то такое таинственное, такое чудесное своим строением, своей жизнью и смертью, как колос пшеницы, разве это не значит стать сотворцом дива?»

— Хорошо сказано! Эти слова — как постижение разумом чуда! — наконец заговорил Данило. А его лицо до сих пор то бледнело, то лихорадилось огнем.

Максим Петрович пристально посмотрел на Данила:

— Знаю, ты уже у меня работать не будешь, так скажи, что думаешь делать?

И тот, коснувшись снопа, твердо ответил:

— Снова пахать, сеять, изучать мудрость земли, растить урожай, человечность и любовь.

— Растить урожай, человечность и любовь...— задумчиво повторил Диденко.— Для этого стоит жить и работать, даже до изнеможения...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

— Ты уже уходишь? — спрашивает, как спрашивали в те дни, не голосом, а жгучей болью.

— Иду, любимая,— хочет как-то успокоить свою любовь и не знает, как это сделать, ибо что наши слова в часы разлуки?

Горячие руки, молящие очи, уста ищут его. Беззащитностью, стоном, преданностью она обвивается вокруг него, не пускает к порогу, ибо кто знает, вернется ли он к этому порогу.

— Подожди еще, Данилко. Подожди!

— Пора уже.

— Пора, пора,— соглашается Мирослава.— Но ты подожди.

— Я ждал бы, да время не ждет,— отрывает и не может оторвать ее от тебя, а сам слышит за окнами знакомый скрип. Это коростель, как и прежде, открывает рассвету калитку.

У Мирославы задрожали губы, задрожали веки.

— Данилко, а как мы будем без тебя?

И хоть тяжко на душе, он грустно улыбается:

— Кто ж это — мы?

Она вскидывает на него слезой притуманенный взгляд, а голос ее звучит низко, по-матерински тревожно:

— Я... и ребенок наш. Ты не подумал о нем?

«Ребенок?!» И впервые — в ее первом предчувствии, в первом прикосновении к тайне материнства — ему слышится веяние того, для чего мы живем, того, что должно быть с нами и после нас.

— Любимая...— хочет что-то сказать и не знает — что, а сердце уже заполняет всю грудь.

Правда, как он не подумал, что у них может быть ребенок, которого, возможно, и не увидит он. Это уже судьба. А сейчас он с благодарностью склоняется к Мирославе, обнимает, целует ее губы, брови, глаза, в которых отблески синего вечера сменились потемневшей печалью черной ночи.

— Я всюду буду думать о тебе... о вас.— Он поднимает ее, словно ребенка, на руки, прижимается головой к ее груди, а на память из детских лет приходит мамин голос: «Были себе журавль да журавка, накосили сенца полны ясельца». Вот и прощай, журавка, прощай. Журавль идет навстречу войне или смерти...

Не жаль было себя и своей кривдой ущемленной молодости, а жаль было всего обиженного мира, и своей журавки, и рук своих, которые еще и до сих пор не наработались вдоволь. Так на войне наработаются, будь она проклята!

Верил: не подведет его глаз, посылая смерти смерть. Верил, что до последней капли крови будет биться с недолей, до последней, ибо разве он не сын своей земли? Хотя и хлебнул горькой несправедливости, однако никогда дурные помыслы не забредали в его голову. Никогда!

Он бережно ставит Мирославу на пол, устланный саблями татарской травы, вглядывается в окно, за которым утро размыкает ресницы и вода из брода подает голос, а молодая рожь раздвигает над собой сизый сон. И на рожь он не насмотрелся, не налюбовался ею, не наслушался ее шелеста. Да и наслушается ли когда-нибудь?

— Вот и прощай, мое сердце...

— Данилко, побудь еще немного с нами,— стоном отзывается такой родной и такой сейчас непривычный голос, и снова Мирослава обвивается вокруг него, не пуская от себя.

— Не могу, любимая.

— Почему ж ты не можешь? — словно спросонья спрашивает, о чем и спрашивать не надо, и смотрит, как никогда не смотрела: издалека или из прошлого.— Почему?..

— Потому что уже утро.

— Потому что ты уже там? — повела головой в ту сторону, где витала смерть. Стояла перед ним, беззащитная и печальная, словно стебелек в росе, а руки все искали и искали его и падали вниз.

— И там, и с тобой... Только ты, любимая, как бы оно уже ни было, не смотри на мир сквозь слезы. Слезами не защитишь ни себя, ни нашего ребенка, никого. Слышишь?

— Слышу, Данилко... Кого только умолять, чтобы ты возвратился?..

— Я приду к тебе, непременно приду.

— Придешь?..— зачем-то переспрашивает она.— Буду ждать тебя, как свою долю. Как долю...

Его будут ждать, как долю!.. Только из-за этого стоит жить, страдать и до последнего биться с черным вороном недоли.

Когда Данило по саблям татарского зелья дошел до порога, что стал порогом прощания, Мирослава встрепенулась, вскрикнула, зарыдала:

— Подожди, Данилко! Подожди! Я сейчас...

Взмахнув своим пшеничным снопом, она бросилась к одежде, зашелестела ею, потом рукой вытерла ресницы, пересохшие губы и через какую-то минуту, держась за его руку, как тень, шла и к Гримичам, и к Оксане, и к татарскому броду, за которым сизо мохнатилось утро и женской печалью горевали луговые чайки.

А где тот погоныч птах, что по ночам напевал: крыйок-крок, крыйок-крок? И где тот журавль, что спасал его на болотах? Теперь ты сам должен стать тем журавлем, что спасает жизнь...

Данило так поглядел вокруг — и на землю утреннюю, и на голубизну неба,— словно весь простор хотел вобрать в себя, еще раз обнял, обхватил узлом рук Мирославу и быстро, уже боясь себя, подошел к берегу, сорвал с привязи цепь, столкнул челн на воду и прыгнул в него. Качнулся челн, качнулся его зеленый мир, качнулось все, что годами укладывалось в душе.

— Прощай, любимая!

— Ой! — бросилась к нему Мирослава, да полоса воды с затопленными тенями верб, с затопленной печалью камышей уже пролегла между ними.

— Данило! Данило!..— с мольбой протянула руки к нему, к легкому вербовому челну, к неразгаданному.

Всплеснул вскрик, всплеснуло весло, оттолкнулся берег, с глаз капнула слеза, с весла — капелька времени. Еще и еще всплеснуло весло. И уже на этом берегу — она, а на том — он, а между ними влажное золото отмелей и заспанное или непроснувшееся солнце в броде.

Ой броде татарский, два берега, два солнца тут, а жизнь одна, да и та неполная...

В райвоенкомате Данило без всяких осложнений прошел мобилизационную комиссию и, облегченно вздохнув, вышел на просторное, поросшее спорышем подворье, которое теперь стало печальным пристанищем родных и близких, что прощались и проститься не могли, украдкой выпивали по чарке, а упивались горем.

Обходя группки и пары, обходя печали матерей, он пошел вдоль ограды, за которой неизвестно куда бежали сполохи ржи. Приглядываясь к ним и вбирая в себя беспокойство нивы, Данило склонился к плетню, а по ржи, оживая, пошли его года, добрые и недобрые, пошли его воспоминания, его тревоги, всплеснули волной родные броды, и послышался ее голос, ее шепот, ее слезы. Журавкой звала Мирославу мать... «Были себе журавль да журавка», и вот коса смерти замахнулась на них, замахнулась на все.

Неожиданно сбоку тихий вскрик:

— Данилко!

Он оторопел. К нему бежала она, бежали маки на ее платьице, бежали, перетряхивая те маки, ее ножки, бежал ветерок в ее волосах, от которых веяло степью и грустью маттиолы. «Откуда ж ты? С какого ты поля, из какой мечты?» Даже не верилось, что это его нареченная, что он обнимал, ласкал ее, что ее пшеничные волосы дозревали на его руке и что сквозь сон она доверчиво звала его: «Данилко».

Мирослава, грустя и улыбаясь, протягивает руки через плетень, крепко обхватывает шею Данила, крепко, как может, прижимается к нему.

— Данилко, родной...

— Пришла?

— Прибежала... Как ты?

— Как и люди.

— Вот я сейчас кинусь к часовым, упрошу, чтобы пропустили,— и тут же метнулась и вмиг прилетела к нему, уже держа руку возле сердца.— Ты не сердишься, что... мы пришли? — смотрит на него с надеждой.

И как сказано было это — мы!

Снова волна благодарности всколыхнула его сильное тело. Он обнял Мирославу, целует, глядит не наглядится на нее, удивляясь ее голосу, который сегодня уже с рассвета звучит тайной материнства. С какого ты поля, из какой мечты?

— Любимый... Самый лучший...

— Это ты самая лучшая.

— Будет ли время, когда мы хоть наглядимся на тебя?

— Будет, любимая.

— И на ранних, и на вечерних зорях буду молить судьбу, чтобы берегла тебя,— уже обращаясь к невидимым звездам, сказала так, как говорят наши седые матери.— Может, мы выйдем с этого двора вон к тому житечку?

— Нельзя, любимая, к житечку: часовые без пропуска не пустят.

— Пустят... Я говорила с ними.

Данило покачал головой.

— И что они?

— Сказали: «Если уж такая жена просит, то отпустим мужа. На два часа». Как ты?

— Еще два часа счастья...

— Когда же больше станет его?

— Еще придет наше доброе время.

— Тогда — «к житечку, чтобы нам было життячко»,— сказала, как заклинание.

— Тогда к житечку,— взглянул на нивы, что бежали да бежали к самому небосклону, просеивая солнце и тени.

И в это время чья-то рука нагло, тяжело опустилась ему на плечо. Данило обернулся. Против него, налившись злорадством, широко расставив ноги, стоял усмехающийся Степочка Магазанник, за его спиной ветерок шевелил сатиновый горб сорочки.

— Кого я только вижу и кого лицезрею?! Вот не думал, не гадал, и вообче!..

— Чего тебе, Степочка? — Данило хотел движением плеча сбросить руку, но она уже клещом впилась в него.

С лица Степочки слетела усмешка, и оно стало леденеть, а в окостеневших глазах появились злые искорки.

— Спрашиваешь, чего мне надо? — и процедил по складам: — Справоч-ку! Когда-то, припомни, как ты издевался надо мною: я прямо изгибался, вымаливая справочку. А теперь хоть из печенок вынь и покажи мне свою!

— Какую тебе справочку?! — бледнея, крикнула Мирослава.

Степочка одной желчью полоснул ее:

— А чего это вы, товарищ агроном, будто всполошились и даже перепугались? Видать, не все в порядке в вашей любви? Пусть мне ваш добродетель у самого военкома документально подтвердит, что он идет в армию при всех исправных бумагах. Как вы на это и вообче?

Данило разъяренно сбросил с плеча Степочкину руку.

— Я сейчас дам такую справочку, что и солнце потемнеет для тебя!

Степочка отскочил, испуг метнулся из-под его желтоватых ресниц, но он пересилил его, угрожающе поднял руку, резанул ею по воздуху.

— Он еще и ерепенится! Если не пойдешь со мной к военкому, сейчас же позову людей! Теперь каждая душа должна пройти проверку.

— А может, война проверит наши души?

Степочка оскалился неуверенной ухмылкой:

— Война еще где-то, а Степочка тут проявляет бдительность. Так пойдем или звать людей?

— Не играй, подлец, на чужом горе — со своим встретишься.

— Это мы еще посмотрим, кто с чем встретится. Вот так! Пойдем!

— Данилко, родной...— надламываясь, припала к нему Мирослава.

— Подожди меня. Я приду. Я непременно приду! — сказал, как и в минуту прощания, оторвал от себя ее руки и быстро пошел к зданию военкомата.

— Вот так, не иначе, хотя могло быть и иначе.— Степочка из-за плеча глянул на Мирославу, сжал губы и засеменил за Данилом, сам сомневаясь, надо ли ему было ввязываться в такое дело, когда неизвестно, что будет завтра. А? Да, может, проявив бдительность, он останется тут, в районе? Пусть другие рвутся на фронт, а голова Степочки и в районе пригодится.

Вот они остановились перед кабинетом военкома. Степочка постучал кулаком в дверь, пропустил вперед Данила, которого начала бить дрожь.

«Успокойся, успокойся же!» — приказывал себе Данило и до боли сжимал кулак.

Из-за стола поднялся майор Зиновий Сагайдак, против него сидел Стах Артеменко. Военком не раз встречался с Данилом, не раз защищал его на пленумах райкома от Ступача и не раз рассказывал в их селе о червонных казаках, ибо сам вышел из этого легендарного племени. Он кивнул Данилу черным, как ворон, чубом, невесело улыбнулся. Когда-то от него Данило услыхал, что у каждого человека есть четыре брода: голубой, как рассвет,— детства, потом, словно сон,— хмельной брод любви, затем — безмерного труда и забот и, наконец,— внуков и прощания. А тут хотя бы дожить до своего ребенка... Данило стоял, каменея от напряжения, и только слышал говор четырех бродов своей реки и слышал, как время проходило сквозь него и как в сердце боролись страдания и надежды. Поче-

му же он такой невезучий? Не потому ли, что и до сих пор не научился хитрить ни с людьми, ни с землей?

— Мы, товарищ военком, к вам,— выражает угодливость не только лицом, но и всей фигурой Степочка.

— Садитесь. Рассказывайте.— Сагайдак пристально смотрит не на Степочку, а на Данила, оценивая его лицо или душу, и снова грустная улыбка ложится на его темные уста. Какой же ты хороший, человече, да судьба тоже не жалела тебя, оставила свои шрамы на теле и на душе...— Рассказывайте!

— Но тут ведь есть свидетель,— глянул Степочка на Стаха.— А нам бы надо без свидетеля, ибо дело и вообче...

— Тогда мы, товарищ Артеменко, чуть позже потолкуем,— сухо сказал майор, а когда Стах вышел, насмешливо глянул на Степочку: — Рассказывайте без свидетелей.

Степочка, выказывая угодливость военкому и глубокое подозрение Данилу, быстро-быстро заговорил:

— Товарищ военком, я сейчас персонально и собственноручно чуть ли не волоком притащил к вам гражданина Бондаренко, хоть и упирался он.

Сагайдак тряхнул чубом, который упал на стрельчатые брови, насмешливо прищурился:

— Даже упирался? Почему же?

— О, тут дело по всем параграфам сомнительное, а может, и темное! — И Степочка так растопырил руки, словно хотел в кого-то вцепиться.— Вы хорошо знаете историю Бондаренко. Как-то, правдами или неправдами, он выскочил из нее, притих было немного, а затем при помощи непроверенных вынырнул на руководящую должность в колхозе и сразу же взялся все переворачивать на свой лад, подрывать экономику и вообче.

— Подрывать экономику? Факты! — бросил Сагайдак.

— Вот вам самый важный: этой весной он организовал на поле столовую и не брал у людей за обеды и ужины ни одной копейки. Так как же это понять, если взрослая душа не платит за пропитание? Разве это не есть экономдиверсия? Соответствующие органы уже имеют сигналы и возбудили дело. Не удирает ли Бондаренко от своего дела в армию?

Данило вздохнул, ибо такое дело и впрямь было начато против него, глянул на военкома, но тот перевел взгляд на Степочку и глухо спросил его:

— Товарищ Магазанник, вы помните, за что вас недавно сняли с работы?

— Да...— замялся Степочка.— Разве ж теперь, когда война, до этого?

— Скажите, почему вы нигде не найдете себе места?

Голос военкома приковал Данила к месту. Что же это?

А Степочка поморщился, махнул той рукой, которая недавно сжимала плечо Данила:

— Опорочили меня, товарищ военком. Оговорили подозрительные элементы, и вообче...

— Имейте хоть немного мужества! — резко сказал Сагайдак.— Не вас, а вы, где могли, оговаривали и поедом ели честных людей, как оговорили когда-то и теперь оговариваете товарища Бондаренко.

Данило оторопел: неужели не послышалось? А ты, дурень, уже и отчаяния глотнул...

На побледневших скулах Степочки вспухли раздвоенные желваки.

— Но ведь сам товарищ Ступач...

— Не прикрывайтесь чьей-то фамилией. Вы знаете, как вас прозвали в вашей конторе?

— Нет.

— Ничтожеством и дегтемазом! И небезосновательно. Идите!

Степочка напыжился и огрызнулся:

— Как же мне идти, если у меня есть подозрение...

И тогда Сагайдак рубанул его словом, как саблей:

— А твое сверхбдительное нутро никогда не подымалось выше подозрения. Никогда. И меня теперь можешь взять на заметочку, ибо и я из тех непроверенных, которые поддерживали Бондаренко. Иди!

— Я пойду, так как должен подчиниться и вообче, но проверьте, в порядке ли документы у Бондаренко! — завопил Степочка.

Военком презрительно ответил:

— Документы у него в порядке, и совесть тоже. Не рассудило вас мирное время, так, может, рассудит война.

— Что-то видится тут не то. Вот незадача,— растерялся Степочка.— Тогда позвольте мне на пару часов отлучиться в город.

— Не позволяю!

— Но почему?! — в отчаянии вскрикнул Степочка.

— Потому что из Жмеринки уже вышли за вами машины железнодорожного полка.

— И я буду вместе с ним? — содрогнулся от испуга Магазанник.

— Вместе.

— Вот тебе и нá... Попал из огня да в полымя...— подавил страх Степочка и, нахохлившись, бочком подался к дверям. Там он обернулся и на всякий случай кивнул головой военкому: — Наше вам...

— Иди.

Когда за Степочкой закрылись двери, Сагайдак крепко пожал Данилу руку:

— Вот так оно бывает, хлопче. Черт и жизнь делает дьявольской. Посидим перед дорогой, перед судьбой. Пусть оберегает тебя доля от всего лихого.

— Спасибо, Зиновий Васильевич, спасибо.

— Нашел за что благодарить! — И кивнул головой на дверь: — Дегтемаз и богов измажет дегтем. А нам теперь надо люто биться с врагом, может, до последнего вздоха биться. Знаю, каким ты был ревностным хлеборобом, а теперь в каждой жилке должен почувствовать кровь солдата! Так теперь надо Отчизне! Слышишь?

— Слышу, Зиновий Васильевич. Верьте мне.

— Я тебе всегда верил, ведь сам видел, какой ты в работе, какой среди людей. Мне на надо напоминать тебе: с людьми мы сильны, с народом — непобедимы. А кто отступится от этого, тот пропадет и для себя, и для всех... Что же напоследок сказать тебе, человеку, не нюхавшему пороха? Самое тяжелое, по себе знаю, будет перед первым боем и в первом бою. Не окаменей, когда услышишь, когда увидишь, как возле тебя станет орудовать смерть. Стреляй в нее, проклятую, громи ее, безжалостную, ибо, видать, такая наша доля: никто не сломит ей хребта, кроме нас, Иванов, Данил, всех сынов, что верностью своей земле живут. Вот и будь здоров. Посидели бы подольше, да время не ждет.

Они обнялись, прижавшись головами друг к другу. На пороге встали близнецы Гримичи и Стах Артеменко. Неужели и у них не в порядке документы?..

— Данило Максимович, и вы с нами?! — обрадовались близнецы, тряхнули буйными, с солнцем, чубами.

— У Данила Максимовича другая дорога,— строго посмотрел на хлопцев Сагайдак.

— А жаль,— разом погрустнели хлопцы. У них же так: начнет смеяться или грустить один, сейчас же засмеется или загрустит и другой.

II

Проводив Степочку в военкомат, Семен Магазанник уныло возвращался к себе в леса.

Один. Теперь совсем один...

По обе стороны обсаженной липами дороги взбегали с пригорка на пригорок хоругви молодого жита. Но нынче они не умиротворяли, а растравляли душу. Что ни говори, а хлеба́ Магазанник любил той извечной, беспокойной любовью, что входит в плоть и кровь крестьянина. Любил и трепетно-серебристые переливы теней. Но сейчас и переливчатые тени помрачнели, потеряли серебристый отблеск, потяжелели, потяжелело и само солнце в небе: война!..

Только беспросветный глупец и закоренелый преступник может радоваться войне — этому страшному одичанию, жатве свинца и мертвых костей. Магазанник на собственной шкуре испытал, что такое война, сам познал ее извилистые и смертельные пути, ибо она сначала поманила его обманным блеском шелковых гетманских шлыков, а потом толкнула на те загаженные дороги, о которых и поныне жутко вспомнить. Если б не война с ее ежечасной грязью, меньше пришлось бы изворачиваться, жульничать, увязать в смердящем болоте. И, может, не так безнадежно все естество его погрязло бы в грехах и плутнях. О грехи наши, грехи! Как вы затягиваете в свои сети и нечестивой копейкой, и злобой, и любовными утехами, опутываете всю жизнь, чтобы человек жил и умирал в страхе...

Если б вернуть годы детства, когда скромный цвет одуванчика казался чистым золотом, а каждая лужайка, лес, река и ветряк, будто вросший в небо, хранили в себе неведомые тайны!

Но миновала пора волшебных тайн, пришло время опустошения, хоть и не однажды добивался он манящих тайных ласк, хоть и накопил и надежно схоронил в укромном местечке и серебро, и чистое золото... «Исцели меня, господи, ибо встревожились кости мои и душа встревожилась моя...»

Едва ли не впервые за долгие годы Магазанник так остро ощутил и бремя своих прегрешений, и гнетущее бремя одиночества. Каков ни был Степочка, а все же сын, да еще единственный! Почему он так не хотел детей? Ох, как снова подешевеет жизнь человеческая и как вздорожают хлеб, соль и золото! Он уже ухитрился припасти два воза соли, как ни честили его бабы. Одним только утихомирил их:

— У меня ж целое лесничество на плечах, а вы что — индивидуальные рты!

А поспеет жито — все до зернышка надо припрятать подальше. Кто знает, на каких сатанинских весах станет взвешивать война хлеб насущный?!

Чуть слышно колышутся хоругви молодого жита, чуть слышно поскрипывают колеса, и когтит душу печаль, вороша думы о минувшем, донимая заботами дня нынешнего и всем тем отравляюще мелким и ничтожным, что никогда, верно, не уходило из его нутра. «Ну и что из того! Ведь не высокими материями да идеалами жив человек, да и что ни говори, а в человеке больше мелочей, чем великого»,— и снова он взглянул на разливы хлебов. Стало жаль их, будто уже покатилась по хлебам смертоносная колесница войны. А ведь не удержать ее, не удержать!.. Фашисты не в шарабаны, а в танки сели. Когда-то говорил ему об этом Оникий Бездородько. Говорил, и лихорадка трясла его от ненависти к большевикам.

Где-то он сейчас трясет своими засаленными лохмами и на ком ставит дьявольскую печать своей злобы?!

И снова из бездны прошедших лет перед ним вставали гетманские виселицы, да петли, намыленные серым солдатским мылом, да вытянутые шеи под ними, да между небом и землей молодые с ветром чубы.

Неужто это было?!

Неужто это будет?!

Непривычная тишина стояла повсюду в лесничестве. Ни человеческого голоса, ни звука косы, ни песни и шуток сгребальщиц! Словно в мертвое царство вступил.

Магазанник обходил свои владения — поляны, леса, вырубки, где среди осиротевших пней подсыхает нескошенная трава и млеет спелая земляника,— и нигде ни души. Только на пасеке пчелы расстилают дрожащее золото снованья. Для кого они так стараются и кому достанутся их труды — своим или чужим? А какие ульи у него! Все на восемнадцать и на двадцать четыре рамки! Пора отделить на главный медосбор маток от пчел, чтобы меньше было червы, а больше меду... Нашел время о чем беспокоиться.

Когда-то здесь, на пасеке, точно сама молодость, подошла к нему легкостанная Марийка с такими косами, что даже оттягивали ее голову. А на тех косах трепетала седая паутина «бабьего лета» и не знала, что ей делать — прильнуть к человеку или улететь в небо. Магазанник вырезал в это время соты из дуплянки и не сразу заметил де-

вушку. А увидев, застыл от ее взгляда, от ее улыбки. Боже, что это была за улыбка! Непорочность и греховность, робость и соблазн, опасение и доверие отражались в ней. А глаза! Зеленые, как весна, полные хмельной юности.

Не зная, куда девать руки, с которых тягуче стекал мед, он едва выжал из себя:

— Чего тебе, дивчина?

— Работы, дяденька, ищу, хотя бы поденщину какую,— вымолвила напевно и снова осветила его своим взглядом.

— А что ты умеешь?

Она посмотрела на свои сильные, натруженные руки.

— Все умею: шить, стирать, варить, полоть, жать, пахать, сеять, косить...

— Вот ты какая, даже косить!

— Мы без батьки рано остались,— сразу погрустнела девушка.

Магазанник травой вытер руки.

— Возьми тогда косу возле сарая и пройди покос, покажи свое уменье.— Не так косьба его интересовала, как хотелось подольше побыть с девушкой, полюбоваться ее улыбкой, слышать ее голос.

Мария стремглав метнулась к сараю, взяла косу, привычно взмахнула ею, а на плечах ее качнулись тяжелые косы с паутиной «бабьего лета».

Он любовался ее косами, девичьей фигуркой и загорелыми ногами, на которые осыпалась предосенняя роса. Для работы или для греховной услады родилась ты? Недаром же говорят: грех родился недалеко от красы.

С того дня лесника потянуло к Марии, что так манила и так стремительно убегала от него. От синего предосенья до белой зимы продолжалась эта игра. А когда опустились на землю метели — пришла девичья беда. И уже не радость, а слезы задрожали на ее испуганных ресницах. Да и у него было мало утешения от тех сладких и греховных дней. В холодный звездный вечер пришлось ему тайком спровадить Марию к бабке-знахарке: не хотел, чтобы у Степочки появился братик или сестричка. А теперь бы счастьем казался ему детский лепет. И некому теперь принести меду с пасеки, некому положить руку на головку, не от кого услышать слово «тато».

И вдруг Магазаннику стало жаль Марию, что куда-то исчезла со своим горем, жаль стало нерожденной жизни, да и себя жаль, что не стал при здравом уме человеком. Но

ведь не кто-то же обокрал тебя, а сам обокрал и растоптал свою душу.

Эх, где теперь те ветряки и червонцы одуванчиков твоего детства? Где тот душевный покой, что был у простого хлебороба возле его плуга и его семьи?

Магазанник подошел к улью, стоявшему на деревянном круге. Под ним он закопал часть своего золота. Да что за радость от припрятанного добра! И не видишь его вовсе! А он так надеялся, что будет любоваться своими сокровищами вместе с Оксаной!..

Ох, Оксана, Оксана! Если б не она, может, и не так сложилось бы все с Марией...

Между деревьями мелькнула чья-то высокая, вся в белом, фигура. Это был конюх Гордий. Летом он неизменно одевался только в домотканое. В теплый, солнечный полдень старик шел как посланник скорби.

— Эй, дедушка! — окликнул его Магазанник, радуясь, что хоть одна живая душа забрела к нему в лес.

Старик подошел к леснику, печально поздоровался.

— Ну как там? — спросил Магазанник Гордия, не зная, о чем говорить с ним.

— Внуков проводил вот на войну. Хлопцы как соколы, а вернутся ли? Видать, у треклятого Гитлера детей нету!

— И в самом деле нету... Идите к скотине, дед, и за моими лошадьми, и за приблудшими коровками присмотрите, а то сегодня на работу никто не вышел.

Старый конюх опустил голову.

— Кто ж придет, когда такое деется!

— Доведется, дед, теперь и вам ночевать в лесу.

— Да уж оно так. Все внуки ушли на войну. Один я со старухой дома. Опять земля на руках у старых да малых.

— Сколько ж у тебя внуков?

— Одних призывников двенадцать, как апостолов! И все словно на подбор! — Дед стянул с головы картуз и вытер им набежавшие слезы. Еще больше сгорбившись, он поплелся в лесничество.

Магазанник долго смотрел ему вслед, а потом напрямик углубился в чернолесье. Деревья стояли недвижно, разомлевшие на солнце. Там и сям рдели капли доспевающей черешни. На опушке, куда подступала еще не расцветшая гречиха, он увидел мальчика с девочкой: они собирали землянику, которая теперь напоминала ему капли крови. Услышав шаги, дети поднялись ему навстречу. И вдруг он увидел знакомые зеленые глаза и завитки во-

лос на шее. Его обдало холодом. Почудилось? Да нет... Стоит перед ним девчушка и тревожит зеленой задумчивостью взгляда. Пройдут года, и в ней вспыхнет жар и трепет расцветшей юности.

— Откуда вы? — спросил он, запинаясь, жаждая и страшась ответа.

— Я из Балина, а Оленка из другого района. Родичи мы, она в гости приехала,— охотно ответил мальчуган.

— Оленка, а как твою маму звать?

— Марией,— не глядя на него, ответила девчушка.

Боль тяжелой лапой стиснула сердце. Перед Семеном возникло давнее утро на пасеке, он услышал далекий звон косы, увидел загорелые ноги с упавшими на них росинками.

— Оленка, а отец у тебя есть?

— А как же! — удивленно и чуть испуганно ответила девочка.

— А как его звать?

— Дмитром,— опередил Оленку мальчик.

— Хорошее имя.

«Значит, вышла замуж Мария! И, выходит, есть у меня ребенок... И есть — и нет. А старость уже не за горами».

— А вы кто такой будете, дядько? — спросила Оленка.

— Пасечник,— усмехнулся неуверенно.— Пойдемте со мной к леснику, я вам меду вынесу.

— Туда мы не пойдем! — всполошилась девочка и отступила назад.— Мама наказывала и близко к хате лесниковой не подходить. Проклятое, говорит, место...

— Так и сказала? — вздрогнул Магазанник.

— Ага...

На миг его охватил суеверный страх. Он покосился вдаль, туда, где была его хата: а может, и вправду это проклятое место?!

Снова украдкой взглянул на Оленку. Она уже принялась собирать землянику и присела на корточки подле куста. С трудом отрывая от земли отяжелевшие ноги, Магазанник двинулся прочь. Оглянувшись, он уже не увидел детей. Но глаза Марии и Оленки неотступно преследовали его, а в ушах стоял звон косы.

Не отправиться ли искать Марию? Но чего только не наплетут тогда злые языки!.. О грехи наши, грехи! Не раз душа падала в вашу страшную купель, что не смывает с нее грязь дорог и времени.

Гнетущее одиночество и слова Оленки о проклятом месте погнали Магазанника не домой, а в село, где давно

уже пустовала его хата, когда-то пугавшая в непогоду боязливую покойницу жену и маленького Степочку.

Когда в восемнадцатом году гетман Скоропадский удрал к фон Гинденбургу, Магазанник дал тягу из гетманской стражи. Заметая следы, он обменял щегольской кожушок, синие шаровары, смушковую шапку со шлыком, сапоги с загнутыми кверху носами и кривую турецкую саблю в придачу на селянскую свитку и опорки. В таком виде и заявился к отцу.

Облобызались на пороге. Придирчивый старик, во всем любивший порядок, немедля спросил:

— С чем прибыл — с грошевóй или вошевóй?

— И с тем, и с другим,— засмеялся Семен.

— Тогда в хату не спеши,— брезгливо поморщился старик,— в сенцах разденься. Белье твое спалим, тебя отскребем, а потом можно и душу ублажить — самогонки хватит...

Весной отец, которого просто воротило от жадности сына, решил отделить его. Первым делом выбрали место для фундамента. Старик оглядел бревна, любовно потрогал их руками, а потом с хозяйской рачительностью сказал:

— Жаль дерева, не в землю, а на камень надо класть его — два века тогда простоит!

— А камень откуда взять? Карьеры-то в самой Виннице!

И тогда в разговор вмешался лавочник-пройдоха Влас Кундрик, который как раз приехал из соседнего села, чтобы купить или выцыганить у старика меду.

— Можно и ближе найти,— чего-то не договаривая, намекнул он.

— Так скажи, где думаешь взять?

— У пана Дашковского.— И Кундрик хитровато улыбнулся.

Семен вспомнил чудаковатого помещика, который больше всего любил всяческие древности и отовсюду свозил в усадьбу половецких и скифских каменных баб. Стоявшие под открытым небом неуклюжие бабы пугали детвору и женщин на сносях.

— Откуда же у пана камень взялся?

— А разве те бабы, что на могилах стояли, не камень? Пан-то удрал, вот и пользуйся этим добром!

На том и порешили. За одну ночь с помощью батрака несколькими подводами свезли каменных баб и опустили их в вырытые под фундамент рвы. Чтобы камень лег по

углам ровно, несколько фигур пришлось раздробить на части. Так и уложили их — где головы, где ноги, а где туловища. В то утро, когда собирались приладить заготовленные дубовые бревна, выпала обильная роса, и Семен с мастерами увидел слезы в глазах каменных баб.

— Не к добру плачет камень,— покачал головой старый мастер, не одну хату поставивший на своем веку.

— Выдумки! — пренебрежительно отмахнулся отец, хотя и ему не очень хотелось закапывать скифских баб.

— Не скажи! — возразил мастер, что смолоду работал у помещика, и осторожно вытер им глаза, чтоб не легли они в землю со слезами.

Магазанник долго не мог забыть плачущие каменные зеницы. Но не сбылось предсказание старого мастера: добро рекой лилось в новую хату, и причиняла она беспокойство лишь в непогоду, когда бесновались ветры и метели. В такую пору слышались стенания погребенных под землей каменных баб. До смерти пугаясь, не в силах вынести эти стенания, жена Магазанника хватала на руки Степочку и спасалась бегством к отцу или соседям.

В одиночестве даже Магазаннику становилось не по себе от вековой каменной скорби.

Люди, ясное дело, дознались об этом, и по селу поползли слухи, что Магазанник знается с нечистой силой. Кто-то видел, как из трубы его хаты в полнолунье вылетела на огненном помеле молодая ведьма с картами в руках. Заглядывая в черную масть, ведьма покружила-покружила над селом — да и шасть в хлев к Приходько! С той поры у бедняги на корову напала порча. Со временем слухи эти поутихли, но не стихал в ненастье камень. Может, утихомирился за эти годы, что Семен прожил в лесу?

Походив по огороду и просторному двору, лесник нехотя отомкнул хату. На него пахнуло духом запустения. Паутина заткала все углы, выцветшие фотографии, потемневшее от старости зеркало, божницу с дорогими, еще матерью купленными иконами.

«Ох, Одарка, Одарка, напрасно я тебе дрова задаром даю!» — подумал он про вдову-соседку, видя, как мало порядка в хате, которую она взялась прибирать.

Он настежь распахнул все окна, связал из чернобыльника веник и обмел паутину, а потом достал из шкафа бутылку водки, чарку и миску с отборными волошскими орехами от дерева, которое, прожив чуть ли не двести лет, все еще приносило плоды. Можно было бы кликнуть черно-

бровую Одарку, и она что-нибудь приготовит на ужин, но сегодня, наверно, и она встретит его только слезами.

Уже наполнив чарку, он снова подумал об Оленке и залил воспоминания водкой. Лесник быстро захмелел, скинул сапоги и не раздеваясь завалился в постель. Во сне ему привиделась то ли Оленка, то ли Мария. Услышал и посвист косы. Что же косит она — траву или жизнь?..

А потом отчетливо услышал плач и причитания. Они и разбудили его. Он подумал, что это голосят каменные бабы, погребенные в своей подземной темнице. Но почему же завывают они теперь, когда даже ветерок не шелохнется?! Одно беспокойство от этой хаты. Пора, видно, распроститься с ней. Ну чего ты воешь, скаженная?

С этими мыслями Магазанник вышел во двор и только тогда понял, что произошло,— голосили не камни, а матери на соседнем подворье, они проводили сегодня своих сыновей...

А над скорбью матерей, над их слезами, будто с того света, с завыванием летели пить кровь упыри двадцатого века — те бомбовозы, которые неведомо почему несли на себе кресты.

III

> «Братья и дружина! Бог никогда не отдавал Русской земли и русских сынов на поруганье; они всегда и повсюду отстаивали свою честь».
>
> *Галицко-Волынская летопись, 1425*

На опечаленных подольских нивах наступила преджатвенная пора, а немного дальше — на запад — шла неумолимо жестокая жатва.

Черными огнями до самого неба поднимались города, пылали белые, по-девичьи беззащитные села, горели растерзанные поля ржи, горела в самолетах и танках наша юность, и, поднятые огнем багряных взрывов снарядов, уходили в вечность артиллеристы.

Это было трагическое время не только для нас, но и для всей земли, хотя не все ее дети понимали и понимают это. Тогда на весы человечества жестоко были брошены жизнь и смерть, и, как казалось многим, перевешивала смерть. Своими слепыми глазницами и притемненными зелено-голубыми глазами современного василиска ей уже виделась тень свастики над всей планетой. С победоносным

видом становился в опереточные позы Адольф Гитлер — «вождь армий, которые победили судьбу». Так, пренебрегая историей разума, возвеличил он себя недалеким разумом самовлюбленного тирана. Веря в свою гениальность, веря в благосклонность к нему провидения и в гороскопы, веря в свое владычество над миром, он не верил, что конец всех тиранов одинаков, и терзал жизнь со всей сатанинской изобретательностью самого жестокого палача двадцатого века и всех веков.

Никогда еще земля не поглощала столько слез и крови...

Никогда воронье не выклевало столько глаз...

Никогда у дикой жестокости не было такой страшной жатвы...

Перед войной в какой-то зарубежной радиопередаче Данило слыхал, как диктор, говоря о «геополитике» фашизма, назвал Гитлера ангелом разрушения. Не нарочно ли ошибся ты, радиовещатель, перепутав ангела с ночным дьяволом? Ночной дьявол! Из какой страшной отравы, из каких сгустков мрака, из каких призраков средневековья вылупился ты?

Когда-то Данило в библиотеке Академии наук прочел разыскание о демонологии восточных славян. Каких только не было в древности страшилищ, которые пугали доверчивые души и сны наших предков! Но все эти даже вместе взятые страшилища не шли ни в какое сравнение с Гитлером и его дьявольским сонмом.

Что же тебя, зловещий могильщик, назвавшийся «лидером нации», сделало таким? Неужели только те две опухоли, которые называются безграничной властью и расовым превосходством?.. Как и всегда, рассыплется в прах тирания, как и всегда, превратится в тлен фальшь жестоких теорий. Но чего это будет стоить нашим неутешным матерям и покалеченным народам?..

Под однообразный перестук колес болезненно бьется мысль, и ничто теперь не может успокоить сердце: ни тихий синий вечер, который медленно приближается к тебе, ни вздохи колоса, который пугливо сторонится колес, ни потемневшие степные буераки, ни те пруды, где васильковая сон-вода купает вечернюю звезду, ни те первые жницы, что жнут недозревшую рожь и слезой провожают бойцов. Ох, эти женские слезы на снопах... Да только ли на снопах?.. Не думать бы, не думать об этом, но нельзя не думать, пока ты живой.

За черным паровозом «Е» громыхают, вздрагивают, по-

стукивают колесами две обычные платформы с необычным грузом — взрывчаткой, толовыми шашками, глицерином, селитрой, зажигательными трубками. Сначала страшно было ехать с таким грузом, да человек привыкает ко всему, даже спать на мешках со взрывчаткой. Вот и сейчас бойцы ложатся на смерть, кое-как прикрытую грубым брезентом, и только возле зеленых спаренных пулеметов, словно аисты, дежурят пулеметчики. Уже не первый раз на них оседают утренние росы и свинцовая роса войны. Поначалу, увидев, как на тебя пикирует вражеский самолет, хотелось на полном ходу соскочить с платформы, а теперь свыклись.

И снова жницы глядят из-под руки и слезами провожают их. И ни одного мужчины на полях. Вон только под двумя снопами краснеет из краснотала колыбель — может, хоть в ней под колосом растет будущий пахарь. «Дитя спит, а доля его растет». Какой же будет твоя доля, дитя?..

Чьи-то пальцы осторожно ложатся Данилу на плечо, и по телу проходит дрожь: сразу припомнился тот гнусный случай во дворе военкомата. Неужели и теперь Степочка? Да, это он, только нет уже в его руке и на лице былого нахальства.

— Чего тебе? — сбрасывает с плеча руку и хмуро смотрит на Степочку.

— Да ничего,— вздыхает тот и опускается на сундучок с толом.— Грустно стало на душе, и вообче. Вот и думаю: пойду к земляку, а то к кому здесь пойдешь, если все чужие? Еще не ложитесь?

— Как видишь.

— И я никак не могу заснуть, так как смерть витает и сверху, и под боком, и в изголовье! Вот имеем соседство — хуже, чем на кладбище.

— Привыкай.

— Легко сказать «привыкай»! — надулся Степочка и ткнул пальцем в сундучок: — Один запах тола убивает душу кислятиной. Думаю, вы тоже не очень привыкли к нему. Не дай бог детонация, так и клочка тряпья, не то что тела, со всех нас не соберут, и вообче.

— Зачем, Степочка, думать о худшем?

— А где, за какие деньги теперь возьмешь лучшее? — И понизил голос до шепота: — Слыхали же?

— Что?

— Наши оставили Львов. Фашисты там, как капусту, шинкуют людей. Так разве это война?

— А что же это?

— Одно самоубийство. Где же та чужая территория, на которой мы должны бить врага?

— Будет и эта территория!

— Но когда же она, спрашивается в задачке, будет? Когда нас не будет?

— И такое может случиться. На то и война.

Лицо Степочки болезненно скривилось, и он безнадежно махнул рукой.

— Я, Данило Максимович, надеялся утешение какое-нибудь услышать, а вы тоже словно политрук. Вот и мы уже завтра полезем в пасть смерти...

— А как же иначе?

— Вот я и думаю: а как же иначе? — что-то говорит, да чего-то не договаривает Степочка.— Уже Львов сдали...

— Не паникуй, Степочка, не паникуй,— хочет как-то успокоить его.— Увидишь, еще изменится фортуна войны.

— Если бы это увидеть, но что-то другое видится, не к тому идет. А потому закрываю язык на два замка — за губы и зубы. И спокойной ночи, хотя где теперь та спокойная ночь? Впереди или позади?..

Степочка, так и не договорив чего-то, запер язык на два замка и пошел спать. Он долго возился на мешке с селитрой, а в это время от спаренных пулеметов тихо послышался голос пулеметчика Ивана Перепелюка:

— Василь, ты спишь?

— Уже дремлю.

— А у тебя нет чего-нибудь поесть?

— О господи, неужели у тебя сейчас еда в голове? — поднялся со своего ложа веселогубый, с копной кудрей, сержант Василь Мирошник.

— Я всегда, когда волнуюсь, очень есть хочу. Такая уж у меня душа.

Мирошник тихо засмеялся:

— Душа или желудок?

— И то, и другое,— ничуточки не смущается Перепелюк.— Как-то, когда умирал мой дед пасечник, я, сидя возле него, каждый раз съедал по миске меда.

— Миске?! — не поверив, прыснул Мирошник.— И что потом было?

— Потом мой скуповатый дед, глядя, как я уплетаю его мед, от переживаний за убытки выздоровел, а я немного заболел. Так есть у тебя что-нибудь?

— Нет. Вот лучше споем.— Мирошник тряхнул копной кудрей и подошел к Перепелюку.

— Так спят же солдаты,— заколебался пулеметчик, у которого был незаурядный тенор.

— А мы так будем петь, чтобы не разбудить, а усыпить их. Споем нашу любимую — «Зоре моя вечірняя».

— Где там наши вечерние зори и зироньки? — даже вздохнул Перепелюк и оглянулся на те дали, которые покидали они.— Стоят себе дивчата где-то под вербами, и нигде тебе ни одного хлопца. Вот бы положить руку на грудь своей зироньке и услыхать от нее: «Только без рук»... Что ж, начнем.

И тихо-тихо, то ли от житечка, то ли житечку встрепенулась песня, в лад полились два голоса:

Зоре моя вечірняя,
Зійди над горою...

Да не угадали хлопцы, что их не услышат. То тут, то там с ящичков и мешков взрывчатки начали подниматься бойцы и присоединять свои голоса к голосам пулеметчиков. Поднялся и коренастый, круглолицый лейтенант Виктор Кириленко. Он хотел прикрикнуть на певцов, но передумал и сам густой октавой поддержал их голоса.

На каком-то уже разрушенном, без стекол, полустанке услыхала эту песню пожилая, в свитке, женщина, неизвестно кого высматривавшая из темноты, и сразу заплакала.

— Мамо, не плачьте! Мы вернемся! — улыбаясь, крикнул ей Мирошник.

— Ой, возвращайтесь, сыночки! Ой, возвращайтесь, родненькие! Как же нам жить без вас?..

— Он знает, что вернется,— пробубнил Степочка, который тоже подошел к певцам.— Не с богом ли советовался?

Мирошник, услыхав это, слегка, двумя пальцами, подергал Степочкино ухо:

— У тебя от страха заячьи уши растут.

— И ноги тоже,— уел Перепелюк.

За рекой уже спадал накал битвы. За рекой черными масляными огнями горели и догорали танки, немецкие и наши. За рекой, раскалывая небо и душу, дико визжали, падая на цель, штурмовики, только немецкие, и противно бухали минометы. Не плуги — бомбы, мины и снаряды вы-

соко поднимали прибрежную землю. Она, тяжело стеная, покрывалась воронками, и они тут же заполнялись черной водой. Кому и для кого захотелось вот так копать криницы, в которых оказывались мертвые и живые?

Это было за рекой. А над рекой, на железнодорожном мосту, тоже шла битва, безмолвная битва за время. По мосту с той стороны проходили и проезжали раненые, а под мостом и над мостом, стиснув зубы, бойцы лейтенанта Кириленко подвешивали к нижним и верхним поясам ферм квадратные пакеты взрывчатки, переплетали их детонирующим шнуром и скрепляли с электрокабелем, который уже был соединен с капсюлем-детонатором, что шел от толового колодца среднего быка к подрывной машинке. Эта небольшая машинка, от искры которой теперь зависела судьба и моста, и бойцов, смирным зверьком лежала на зеленом берегу реки, а возле нее, в окопчике, скрючившись, сидел молоденький русочубый сапер и, округлив глаза, напряженно ждал своего часа: он верил и не верил, что от одного движения его руки взлетит вверх такая громадина.

— Ты только погляди! — остановился возле него пораженный Иван Перепелюк.

— Что это? — испуганно поднялся сапер, которого бросило в дрожь, как от лихорадки.

— Не туда смотришь. Вон!

На том берегу из-за ивняка в заученном строю выходили оседланные кони, но ни одного всадника не было ни на них, ни возле них. Ни одного! Передние кони подошли к речке, остановились, а потом с тихим ржанием ступили в воду — и вплавь. Все они перебрались на этот берег и, позванивая стременами, понуро прошли мимо онемевших подрывников.

Вот и не стало уже всадников — кони пережили их...

По мосту пробежали пехотинцы. Пригибаясь от тяжести плит и стволов, прошли минометчики, проскочило несколько машин, на бешеном лету промчали на конях закопченные артиллеристы, потом прогромыхали броневик и два танка, от одного из них поднималась вверх угарная смолистая полоса огня. А через несколько минут из долины, нагнетая рокот, начали выползать немецкие темно-серые, с раздвоенными крестами танки. Из их вздрагивающих пушек вырывались и гасли снопы огня. За танками, держа на животах автоматы, бежали в землистых, с рожками касках автоматчики.

Побледнев, лейтенант Кириленко скатился с моста на берег, где возле машинки сидел все тот же молоденький

сапер. Увидев командира, он одну руку положил на машинку, другой взялся за ключ.

— Подожди!

Вот первые танки рванулись на мост.

— Давай!

Сапер повернул ключ один раз, и второй, и третий, потом с ужасом посмотрел на отверстия зажимов: не выскочили ли из них провода? Нет, не выскочили. И тогда к лейтенанту:

— Где-то осколок перебил кабель! Что делать?!

— Бери машинку — и к платформам!

Как ветром подхватило командира. Не чувствуя онемевшего сердца, он бросился к мосту, навстречу танкам. Пот отчаяния катился с его округлого побелевшего лица. Так по-глупому может погибнуть и его труд, и его взвод. Еще не добежав до первой, изогнутой, словно радуга, фермы, он заметил, как по мосту подползает к среднему быку сержант Василь Мирошник. Пилотка слетела с головы, и ветерок играл копной его кудрей... Увидев в руке бойца тлеющий пеньковый шнур, лейтенант понял все и невольно вздохнул. Но вот вздрогнул боец: гимнастерка его на плече начала пропитываться кровью.

Лейтенант упал на землю и тоже пополз к мосту.

— Товарищ сержант...

— Ничего, ничего,— поднял голову боец, даже улыбнулся и зачем-то показал командиру дымящийся шнур.— Возвращайтесь назад! Я сам... Отводите платформы.

Мирошник дополз до среднего быка, вцепился руками в железо фермы, нашел ногами отверстие толового колодца и осторожно опустился на смертоносный груз, который годами ждал своего часа. Тут боец вырвал уже ненужный электродетонатор, вместо него вставил обрывок бикфорда и, заколебавшись на мгновение, приложил к нему пеньковый шнур. Огненный глазок бикфорда смертью взглянул на хлопца. Он еще услыхал над собой рев и гудение вражеских танков, а со вчерашнего вечера прорвались слова песни: «Зоре моя вечірняя, зійди над горою». Вот и не взойдет больше над ним заря — оборвалась в восемнадцать неполных лет...

Блеснули молнии, содрогнулись земля и река, зловеще поднялся вверх средний бык, раздались в стороны железные фермы и настил моста, и только потом неистово прогрохотал взрыв...

На двух платформах, груженных толом, селитрой, глицерином, детонирующими шнурами, поднялись бойцы, сня-

ли пилотки, молча поклонились речке и своему товарищу.

И только один Степочка, уже надев пилотку, не выдержал:

— Вот и возвратился один сыночек...

— Замолчи, гад! — чуть не ударил его Данило.

Степочка смерил его ненавидящим взглядом, хотел сказать что-то язвительное, да передумал и только презрительно буркнул:

— Ох уж эти ученые. Жди от них добра...

IV

То приближаясь к самому пеклу фронта, то выскакивая из его огней и механизированных лапищ, неутомимо нес свою опасную службу взвод лейтенанта Кириленко. Взрывая мосты и станции, железнодорожные пути и телеграфные линии, взвод откатывался от ада войны, чернея от копоти взрывов и боли утрат.

Почернел, постарел за эти дни и Данило Бондаренко. От командования он имел уже две благодарности — первые благодарности за разрушения. Думалось ли когда-нибудь о таком человеку, который жил зелеными всходами, белым цветом и отяжелевшим колосом своей доброй, спокойной земли? А теперь он взрывчаткой вздыбливает, обжигает ее, как кирпич, и несет пережженную пыль не только в волосах, но и в самой душе.

Сегодня тоже довелось...

Утро началось почти так, как начинались все утра этих дней. Где-то в самом небе, отрывая его от земли, бушевали пушечные громы и молнии, под небом захлебывались от перенапряжения бомбовозы, а тут, за обезлюдевшим, разрушенным полустанком, бойцы колдовали возле громоздкой, сваренной из кусков рельсов петли Червякова. Вот ее, неуклюжую, подвели под разрушенную колею, лейтенант дал знак машинисту, паровоз двинулся — и петля начала с мясом вырывать и разбрасывать по сторонам рельсы, шпалы, костыли. Работа была непосильной для железа: металл, вырывая металл, издавал скрежет и визг, затем петля начинала раскаляться и где-то на двенадцатом — пятнадцатом километре разламывалась. После этого надо было ехать в депо, снова сваривать рельсы и все начинать сначала.

Именно тогда, когда треснула петля, к лейтенанту Кириленко на коне без седла прискакал связист из батальона и подал пакет.

По лицу командира бойцы поняли, что ничего утешительного в том пакете не было.

— По коням! — махнул рукой лейтенант, а сам быстро подошел к запыленному машинисту, который, словно скворец из скворечни, выглядывал из своего оконца.

— В депо? — спросил тот.

— Нет, немного ближе,— показал кружочек на карте.— Гоните как только можно!..

— Есть гнать как только можно! — по-военному ответил машинист, хотя был сугубо штатским человеком.

Степная станция встретила их зеленым шумом молодых осокорей и красным цветом мальвы. Начальник станции, прочитав приказ, побледнел, почему-то скинул картуз и побежал выводить своих подчиненных из помещения станции. А бойцы Кириленко не мешкая стали ее минировать. Потом наступила очередь большого каменного зернохранилища, что стояло за дорогой. По обеим сторонам от нее бежали к блестящим нитям колеи вспышки цветущих мальв, а за колеей, на обсаженной акациями дороге, беспокойно топтались четверо оседланных коней.

Когда Данило со взрывчаткой на плечах вошел в зернохранилище, его поразило отборное золото пшеницы, которое поднималось чуть ли не под самую крышу.

«Вся сортовая»,— подумал он и вздохнул, не отваживаясь сбросить на это богатство смертоносный груз.

— Жаль превращать пшеницу в пепел? — тихо спросил лейтенант Кириленко, который тоже вышел из хлеборобского рода.

— Еще как жаль. Я этой пшеницей все поле до самого неба засеял бы.

— А мы до самого неба поднимем дым пожарища.— Лейтенант зачерпнул горсть зерна.— Когда-то в этой пшенице перепелка птенцов выводила...— И горько усмехнулся: — Ох, эти крестьянские горести...

— Прорвались немцы?

— Прорвались... Делайте ямки! — приказал бойцам.

Солдаты руками выгребли в пшенице ямки, поставили в них смертоносные мешки, немного присыпали их и начали соединять детонирующим шнуром. Когда все было готово, лейтенант еще раз с грустью окинул взором горы золотой пшеницы и спросил Данила:

— Подожжешь? Не дрогнет рука?

— Тут и каменная рука дрогнула бы... Но должен поджечь.

— Смотри.

— Лучше было бы не смотреть на такое.

Данило вытянул из кармана обрывок пенькового шнура, зажег, дунул на него и, увязая в пшенице, подошел к тому мешку, к которому была прилажена зажигательная трубка. Поднеси огонь к ней — и весь человеческий труд станет тленом. Никогда в жизни не приходилось ему бросать на ветер хотя бы горсть зерна, а сейчас он предавал огню сотни тысяч пудов... Ох, эти крестьянские горести...

Когда из зернохранилища повыскакивали бойцы, Данило поднес огонь к зажигательной трубке и бросился бежать от того обреченного золота, которое уже не порадует землю, человека и птицу. Данила, выбежавшего из темноты, ослепило солнце и цвет мальвы, в глазах задрожали слезы. Но не так понял эти слезы лейтенант Кириленко.

— Терпи, казак, атаманом будешь.

— Не много ли теперь появится атаманов?..— Данило в напряжении обернулся к зернохранилищу, с опаской глядя на него. Вот оно стремительно поднялось вверх, на миг застыло, словно остановилось в воздухе, и, окутываясь пылью, начало разваливаться. И только после этого прогремел взрыв. Теперь поднявшийся дым и огонь сразу начали пожирать и отравлять людской труд.

— Вот и все. Ни себе, ни людям,— хмуро сказал лейтенант.— На конях умеешь ездить?

— Почему же не умею?

— Тогда с Ромашовым и Магазанником оставайтесь на станции.— И пошел отдавать приказ, чтобы весь взвод ехал в депо, где теперь расположился батальон.

Когда паровоз, набирая скорость, исчез за кромкой леса, лейтенант велел Ромашову и Магазаннику взобраться на крышу станции и следить за всем, что происходит вокруг. Данила он оставил на перроне, а сам пошел в комнату начальника станции.

Собираясь лезть на крышу, Степочка, отупевший за эти дни то ли от взрывов, то ли от потаенных мыслей, спросил Данила:

— Долго ли мы будем уничтожать все на земле?

— Разве это мы уничтожаем? Это беда наша орудует.

— Не думал я, что вы пустите под огонь эту пшеницу,— показал рукой на пожарище, от которого сладковато веяло дымом и тоской святого хлеба.

— Я тоже не думал,— тихо ответил Данило, не в силах оторвать взгляд от руин, сотворенных его же руками.— Лезь на крышу!

— Бондаренко, ничего не видно? — высунул голову из окна лейтенант.

Данило пристально оглядел все пространство, которое сизо дозревало в трепетном мареве лета.

— Ничего, только пшеница горит.

— А не слышишь — будто пушки ближе бьют?

— Будто ближе.— И вдруг в дальних полях он увидел, как из-под знойной мглы вырвалось несколько танков.— На западе появились танки.

— Танки! — крикнул с крыши Ромашов.

— Наши?

— Не видать. Кажется, немецкие.

Лейтенант выскочил из дома, подбежал к Данилу, поднял к глазам бинокль.

— Немецкие.

— К нам идут. Надо скорее по коням — и драпать! — заметался на крыше Степочка.

— Помолчи немного! — обозлился Ромашов. Он первый заметил, как на проселочную дорогу выскочили три пушечные упряжки, развернулись и с ходу ударили по танкам. Один из них клюнул пушкой книзу и остановился.

— Прощай, жизнь,— сказал Степочка.

— Чего ты раскис? Со страху зубы застучали? — вытаращился на него всегда спокойный Ромашов.

— Тю на тебя! Это ж я не о себе, а о тех пушках-сорокапятках. Разве не знаешь, что их прозвали «Прощай, жизнь»? О, а танки повернули от них. Диво!

Вправду, танки, отстреливаясь, повернули назад, но не растаяли вдали, а через какое-то время растянулись цепочкой у самого небосклона.

— Как там? — обратился к Ромашову лейтенант.

— Танки идут стороной.

— Ох, как бы не отрезали нас,— заскулил Степочка.

Лейтенант через окно вскочил в комнату начальника станции, позвонил и, подавляя раздражение, положил трубку.

— Что батальон? — спросил Данило.

Горькие складки задрожали возле губ лейтенанта.

— Сказали, чтобы не паниковать... Это мы паникуем!..

В это время со стороны небольшой пристанционной площади Данило услыхал скрип возов и тихое понукание:

— Гей-гей, волы! Гей-гей!

Когда он взглянул за линию осокорей, то сначала не поверил своим глазам: с обсаженной мальвами улицы к зернохранилищу тянулось до двадцати подвод, запряжен-

ных большерогими степными волами. Возле них в белых полотняных сорочках медленно, словно в вечность, шли седоглавые деды. И так они шли, что это уже казалось не действительностью, а кадрами необычного фильма, экраном для которго стала вся земля и все небо.

Вереница приближалась к пожарищу, и теперь тяжело заревели волы, боясь подойти к огню. Деды начали словом и руками успокаивать их, потом взяли рядна с возов, подошли к пшенице и вдруг, словно сговорившись, бросили рядна, упали на них и стали срывать с зерна обугленную корку. Через какое-то время на солнце, дымясь, блеснула пшеница.

Данило кинулся к пожарищу.

— Люди добрые! — крикнул изо всех сил.

Перед ним медленно поднимались деды, бросали на него тусклые от лет и горя взгляды.

— Чего тебе?

— Езжайте скорее от этих развалин. Уже вот-вот немцы подойдут! Слышите стрельбу? — махнул рукой в даль, которую потрясали взрывы.

И тогда к нему подошел величавый, с высоким, вдоль и поперек перепаханным морщинами лбом дед, на одной брови у него темнела пыльца сожженного зерна, на другой держалась солнечная пыльца мальвы. Он успокаивающе посмотрел на Данила:

— Ты не тревожься, сыну. Они себе стреляют, потому как такая их собачья служба, а нам надо поле сеять: земля теперь переходит в наши руки.

— Так могут же убить!..

— Это мы тоже знаем: время такое — кровопролитное. Потому все в белые сорочки оделись! К богу надо в белой сорочке идти.— Старик глянул на небо, что, верно, ждало его, зачерпнул ведром продымленной пшеницы и понес к своему возу, где беспокойно стояли степные косоокие волы. На их лоснящихся рогах отражался отблеск пожарища, на их губах от перепуга выступили капельки пота.

V

Курилась, горела пшеница, поскрипывая ярмами, ревели круторогие волы, чернели красные мальвы, чернели седые деды, и неотвратимость приближалась к станции. Печально постанывая, словно не они несли смерть, а сами были ранены, пролетали снаряды, впереди и позади раз-

давались и раздавались взрывы. Пора бы взрывать станцию — и к своим. Но командир батальона снова сказал лейтенанту:

— Не паникуйте.

На что он только надеялся?

— Товарищ капитан, но немецкие танки от нас уже в каком-нибудь километре!

А в ответ насмешливый голос:

— У вас страх глотает километры?

— Правду говорю — километр, от силы полтора.

— Станцию не обстреливают?

— Нет.

— Ждите приказа до последней минуты!

— Есть ждать приказа до последней минуты!

«Кто только определит эту последнюю минуту? Ох, не научились мы еще воевать».

Недобрые предчувствия охватывают лейтенанта, но о них не скажешь командиру. Кириленко выскакивает через окно на перрон, удрученно смотрит на запад.

В золотом разливе подсолнухов, подминая их, ломаной линией шли, покачивались громады танков, жерла их пушек, ощупывая долину, раз за разом выбрасывали огонь. Танки били куда-то дальше, за станцию, в ту трепетную тополиную песню, к которой в белых сорочках жались перепуганные хаты и над которой всплывали барочные купола старой церкви. Оттуда ударил в набат колокол, взрывы снарядов приглушили стон меди, но он снова и снова поднимался вверх, напрасно моля о спасении. Опережая танки, на распятие степных дорог, словно куклы, выскочили мотоциклисты, неистовый грохот и пыль раскололи степь, раскололи голову.

— Слезайте — и по коням! — мрачнея, резко крикнул лейтенант Ромашову и Магазаннику и растерянно посмотрел на Бондаренко: — Что же делать, председатель?

Данило, словно ото сна, оторвал взгляд от битой дороги, взглянул на станцию.

— Взрывать! Немедля!

— Без приказа?

— Уже поздно ждать его.— Еще раз взглянув на поднятую пыль, в которой расплывчато мелькали мотоциклисты, вздымая ее впереди и позади себя, Данило метнулся к станции, чтобы поджечь бикфордов шнур. И только огонь зарделся в руке, как ноющая неуверенность охватила человека: «А что, если каким-то чудом наши отгонят фашистов? Тогда тебе и припомнят все...»

Он подавил страх, грустно посмотрел на дорогу. Она катила к нему темный, как туча, вихрь пыли, которую перегоняли и перегнать не могли мотоциклисты-автоматчики.

«Теперь вряд ли успею проскочить к коням»,— взглянул Данило за колею, что плавилась на солнце, приложил пеньковый шнур к бикфордову и, когда тот покрылся разгорающимся огнем, метнулся по перрону к коням, к которым как раз добежали Кириленко, Ромашов и Степочка. Вот они уже схватились за поводья, отвязывая их. Лейтенант махнул ему рукой: мол, скорее беги!

И в это время:

— Хальт! Хальт! Хальт!

Скошенным от напряжения глазом Данило уже видит на перроне запыленных, потных, с закатанными рукавами мотоциклистов, что мчат прямо на него. И даже «хальт» они кричат не грозно, а весело: куда же деться их добыче?

«Опоздал! — сжимает холод голову.— И не дождется тебя твой конь. Что будет, то и будет...»

Не останавливаясь, Данило из-за пояса вырвал гранату, зубами сорвал кольцо и швырнул ее в автоматчиков. И еще он заметил, как их веселые лица сразу вытянулись от страха, как бешено покатились от него врассыпную колеса и усеченные мордочки пулеметов, как что-то с грохотом взлетело с перрона и раздался неистовый крик. Но взрыва своей гранаты не услыхал: именно в это мгновение громыхнула взрывчатка — и облако дыма и огня отделило его от немцев, а позади оборвался отчаянный рев волов. Охваченный тошнотворно-сладковатым угаром, он соскакивает на полотно железной дороги и, неся в распухших ушах тяжесть взрыва, петляет к своим.

Когда Данило добежал до лесной полосы, лейтенант Ромашов и Магазанник уже сидели на норовистых конях. Выворачивая влажные, с кровавыми прожилками белки, кони становились на дыбы и перепуганно ржали. Одним взмахом ножа он перерезал повод и вскочил на гривастого гнедка. И только теперь со станции по ним брызнули автоматные очереди, на дорогу упали сбитые ветки и кора.

— Аллюр три креста! — крикнул лейтенант и во весь карьер пустил своего вороного.

Припав к коням, слившись с ними, они помчались под густыми ветвями акации, которая безжалостно рвала их одежду и тело. И какой только умник придумал сажать акацию там, где нет засухи?

Из посадки выскочили в чистое поле, оно встретило их тишиной, настоянной на красной пшенице, розовой гречихе и златочубых подсолнухах. «Курлы-юрлы, курлы-юрлы»,— по-журавлиному пели копыта коней, и от бешеного лёта вздрагивал на горячих волнах небосклон, вздрагивало солнце на пшенице, с гречихи взлетали пчелы, и отклонялись желтые головки подсолнухов. Перегоняйте, кони, смерть, перегоняйте! Да вот она снова подала голос позади. Подкосив тишину, отозвалась трескотней мотоциклов.

Скачите, кони, убегайте от смерти! И белая пена клочьями летела на розовую гречиху, на красную пшеницу, на черную дорогу. А смерть приближалась! Механические кони догоняли живых, целились в них тупоносыми мордочками пулеметов. Но автоматчики еще почему-то не стреляли.

— Капут нам! — обернувшись, пробормотал Степочка, и лицо его покрылось испариной.

— Замолчи, трус! — оборвал его Кириленко, остановив своего норовистого жеребца, смерив расстояние до мотоциклистов.— На конях не убежим.

— Конечно, не убежим.— Степочка первым соскочил на землю, выпустил повод из руки. Вороной, почуяв волю, крутнулся и, сам не зная куда, помчался по загустевшим волнам гречихи.

— Быстро в поля! — приказал лейтенант.— Тут как-нибудь оторвемся от них.

Пригнувшись, они вбежали в пьянящую жарынь пшеницы, и теперь их стало настигать проклятое «хальт», а потом — автоматные очереди. Затрепетали подкошенные стебли, но не падали на землю — их, словно раненых, удерживали усатые колоски.

То ли с перепугу, то ли споткнувшись, Степочка упал, запыхавшись, выругался и снова через несколько шагов упал.

— Не отставай! — перегоняя его, крикнул Данило.

Усевшись на землю, Степочка зло скривился и как-то неуверенно ответил:

— Сейчас. Только сапоги сброшу, трут, заразы.

Данило подбежал к неглубокой, словно челн, лощинке, посреди которой стояла прибитая грозой дикая груша, оглянулся — и не поверил себе: посреди моря красной пшеницы, клешнеобразно подняв руки, одиноко ковылял к немцам Степочка. Недалеко от него, у дороги, кучкой останавливались мотоциклисты.

«Измена! Изменник! Вот и проходит душа проверку...» Данило в ярости сорвал винтовку, приложил к плечу, прицелился, выстрелил. У Степочки, будто у куклы, дернулась голова, дернулась рука, он быстрым движением прилепил ее к шее, оглянулся и скачками подался к немцам. Куда и хромота девалась!

— Бондаренко, не отставать!

— Я еще раз...

— Черт с ним... Вон немцы...

В пшенице зашуршали пули, по пшенице прошла дрожь.

На узкую полевую дорогу выезжали мотоциклисты, и теперь надо было брать левее, ближе к шоссе, которое, наверное, тоже топтало чужое войско. Тяжело дыша, они побежали по пшенице, надеясь, что мотоциклисты не смогут въехать в нее.

Через какое-то время автоматчики прекратили преследование, и они, усталые, вспотевшие, изнеможенно, как в марево, упали в горячее золото пшеницы, которой, казалось, не было конца-края... Дремота ли становится шепотом колосьев, или шепот колосьев становится дремотой, и все-все, даже смерть, отдаляется от тебя, ибо есть возле тебя земля, а над тобой — колыбельная колоса. Колыбельная!

— Вот как оно, братцы,— наконец подал голос лейтенант.— Выходит, выскочили.

— Может, и выскочили.

— А вода у кого-нибудь есть?

— Нет ни капельки.

И только теперь они почувствовали, что умирают от жажды.

Данило поднялся, огляделся вокруг. Всюду виднелись знойные плесы пшеницы да седая, перестоявшая рожь, что начала осыпаться. Есть ли где-нибудь на свете вода? А ноги от усталости гудят, словно колокола в непогоду, и внутри все пересохло, жаждет воды, хотя бы стоячей, хотя бы заплесневелой... Только где ее достать? Он бьет рукой по горячей фляжке, но выбивает из нее только сухой шепот металла...

На золотые невода полей вечер опускает синий сон. Тихо-тихо стекает на землю зерно — перестоявшие слезы степей, тихо-тихо бредут на восток солдаты, прислушиваясь, не подаст ли где-нибудь целительного голоса вода. Но не она, а только далекие моторы подают голоса — и на земле, и в небе. Как хотелось верить, что по шляху идут

наши машины. И они добрались до шляха, но по нему шли и шли чужеземцы, лязгали гусеницы танков, тяжело подминали землю десятитонные «хеншели», что-то безмятежное играли чужие гармошки, резко перекликались чужие голоса, вспыхивали чужие огни.

— Даже фар не гасят.

— Где же теперь наши? — неизвестно кого спросил лейтенант.— Не молчите, хлопцы!

— А что скажешь, если от жары даже язык шелестит?

— Воды бы хоть глоток...

Они свернули от шляха, который все еще рычал чужим железом. И снова поля пшеницы, только не красной — черной, обугленной. И хотя бы капелька влаги на них. Как же тут живет перепелка, что вон подает голос: «Спать пойдем, спать пойдем»? Говорят, птица росу пьет. Но где же она? Или теперь и роса чурается земли?

Отяжелевшие ноги заплетаются в хлебах, трескаются губы, и густой зной жжет голову, жжет внутри. Хотя бы глоток воды! А где-то же есть и степные колодцы, и степные озерки, и печальный крик чаек над ними. Если бы только дойти... Передвигаешь ноги, словно колоды. И кажется, даже они, опухая, молят о воде.

Впереди зашелестели подсолнухи. И ночью они, как люди, смотрели на восток.

— Живем, братцы! — сразу повеселел голос лейтенанта.

— Воду почуяли? — с надеждой спросил Ромашов.

— Нет, подсолнухи!

— А что же у них?

— Что-то похожее на воду! — Лейтенант пригнул к себе голову подсолнуха, который и в темноте светился мягким золотом, провел рукой, вырвал несколько молодых зерен и бросил в рот.— И в сердцевине тоже есть вода. Блаженствуйте!

Они набросились на молоденькие семечки, на белую сердцевину подсолнухов, утоляя и не в силах утолить жажду. И все-таки наступило какое-то облегчение, а потом сон незаметно накрыл их своими руками.

И во сне они взрывали мосты и станции, отстреливались от врага, умирали и, умирая, слышали взрывы, рев волов. И во сне они страдали от жажды. От нее и проснулись на рассвете и увидели, что роса не чурается земли — она поблескивала в пазушках листьев подсолнухов и синей мглой дрожала над розовыми нивами.

— Где же теперь наши?..

И все трое молчаливо поглядели на полосу придорожных лип, из которых уже прорывался грохот машин.

Обессиленные, отупевшие от жары, подавленные угаром и ревом чужих машин, они только в сумерках выбрались из неводов степи в луга, по которым бежали волны нескошенной пересохшей травы. И хоть бы тебе один стог или копенка! Далеко на той стороне, под Чумацким Шляхом, как на забытой картине, из синего вечера прорастает одинокая хата-белянка, а возле нее дремлют несколько тополей и высокий колодезный журавль. Лишь молодого месяца не хватает над ними.

— Наконец! Вот где мы вволю напьемся! — хрипло вырвалось у лейтенанта, и, не ища тропинки, он напрямик пошел к хате, однако через какую-то минуту остановился возле высокого куста калины, пригнулся, повел ноздрями.— Водой пахнет!

Пригнулись и Данило с Ромашовым.

— Вот она, долгожданная! — даже засмеялся лейтенант. Он бросил на траву фуражку, лег ничком и припал поудобнее к луговой криничке, в глубь которой Чумацкий Шлях стряхнул одну-единственную звездочку. Кириленко спугнул ее и жадно, даже покряхтывая и постанывая от наслаждения, начал пить. Сейчас человек, кажется, забыл обо всем на свете, кроме воды. Изредка он отклонял голову от нее, чтобы перевести дыхание, и снова, захлебываясь, пил.

— Так всю криничку можно высосать,— подмигнул Данилу Ромашов, снимая с плеча винтовку.

— Хватит, товарищ лейтенант. Передохните.

В ответ только что-то забулькало.

Данило тоже положил винтовку на покос, готовясь припасть к криничке, и вдруг с удивлением и даже со страхом заметил, сколько Кириленко вобрал в себя воды: его тело, как на подушке, лежало на переполненном животе.

— Так и заболеть можно.— Он плечом оттер лейтенанта от кринички. Тот блаженно засмеялся, перевернулся на спину и снова засмеялся.

Пили бойцы и напиться не могли. Когда же наконец полностью утолили жажду, то почувствовали, что будто опьянели. А после этого опьянения заговорил и голод.

— Немного отдохнем и потихоньку потопаем к хате. А там люди добрые сразу же метнутся к печи, к посудни-

ку, угостят вечерей — свежим хлебом, поставят на стол борщ да кашу. И мы ударим ложками в миски, как в бубны,— продолжал шутливо болтать Кириленко, поднимаясь и снова падая на траву.

— А может, там возле хаты или в хате фашист отлеживает бока и нам во весь дух придется драпать в степь,— в тон лейтенанту отвечает Ромашов, привлекательное, с девичьим румянцем, лицо которого даже зной и война не опалили.

— И это может быть,— уже хмуро соглашается Кириленко, порывисто выпрямляется и смотрит на другую сторону луга.— Если там будет несколько машин, то наделаем шуму! Подъем!

Поднялись, проверили винтовки и, пригибаясь, осторожно пошли низинкой, что, казалось, вобрала вместе все запахи луга и степи.

Вот сбоку, на невидимой воде, послышалось трепетанье птичьих крыльев, и стало тихо-тихо, будто и не было, будто и нет войны на земле. Почему же какой-то кучке ненавистных и жадных ко всему так хочется чьей-то смерти? За это все равно догонит своя, и скорее, чем могла бы догнать.

И снова трепетанье птичьих крыльев и шуршание перестоявшей травы, с которой соскакивают сонные кузнечики.

На глазах увеличиваются, вырастают тополя, и уже видно на хате гнездо аиста. На дороге нет следов машин, поэтому Данило смелее подходит к воротам. На просторном подворье возле приколодезного желоба стоит телега, возле нее жуют траву длинногривые лошаденки, а с желоба по капле стекает вода.

— Кажется, нигде никого,— шепнул Ромашов и вдруг встрепенулся, схватился за винтовку, а потом тихо засмеялся: это на хате поднялся сторожкий аист, завозились в гнезде аистята, но встать на ноги поленились.

— А что я вам говорил? — подходя к бойцам, посмеивается лейтенант.— Метнутся люди добрые к печи, к посуднику — и мы ударим ложками в миски, как в бубны,— и даже рукой показал, как он ударит ложкой.

— И откуда это видно, что тут живут добрые люди? — будто сомневается Ромашов, хотя ему так хочется верить в слова лейтенанта.

— Аист возле плохого человека не поселится,— уверенно отвечает Кириленко и открывает калитку.

Во двор они входят спокойно, даже почему-то просветляются, когда перед порогом видят старый мельничный

круг, а на столбике с вбитыми колышками — надетые набекрень кринки.

— Выходит, и коровка тут есть.

— Вот жаль только будить людей,— вздыхает Кириленко, нерешительно берется за щеколду и клацает раз-другой, а потом ухом припадает к дверям.

Вскоре из хаты слышится какое-то шушуканье, обеспокоенный шепот, затем скрипят двери, и из сеней доносится неприветливый мужской голос:

— Кого там по ночам носит?

— Свои, человече добрый, свои,— вполголоса откликается Кириленко.

— Те свои, что по ночам коней уводят? — еще больше неприязни слышится в голосе хозяина.

Кириленко на эти слова усмехается дверям:

— Да ваши кони возле желоба стоят и траву жуют. Простите, что разбудили. Откройте, пожалуйста.

Хозяин еще что-то недовольно забубнил, закашлял, зашаркал ногами и наконец открыл двери. Это был высокий пожилой человек, который, казалось, поднял взъерошенную голову не с подушки, а с самой зимы. Он становится возле косяка, изгибается, словно седло, кривит измятые губы и сердито спрашивает:

— Чего вам?

— Добрый вечер,— продолжает улыбаться лейтенант.

— Кому вечер, а кому и ночь. Воры как раз в такую пору людей обкрадывают.

— Да вы что? — оторопел Кириленко.— Может, принимаете нас за разбойников?

— Ни за кого я вас не принимаю и никого ночью не пущу,— отрезал хозяин.— Идите себе откуда пришли и не беспокойте понапрасну людей.

Наступила тишина. И вдруг в ней тихо зазвучал насмешливый голос Ромашова:

— А люди добрые метнутся к печи, к посуднику, подадут на стол свежую паляницу, поставят борщ да кашу...

Лейтенант обернулся, сердито взглянул на бойца, а хозяин загнусавил свое:

— Вот и ищите себе таких добрых людей. Они вам к борщу и каше, может, и чарку поставят, а у меня ничегошеньки нет.

— А совесть у вас есть?! — не выдержал Кириленко.

— И совести нет,— подумав, ответил хозяин.— Теперь на всех ее не напасешься.

Клубок возмущения и обиды подступил к горлу простосердечного Кириленко, а его круглое лицо начало наливаться гневом, и он перешел на зловещий шепот:

— Так для нас в твоем змеином гнезде не хватает совести? А для фашистов хватает? И кто ты? Кулак, оборотень или церковный староста, что от тебя так воском несет? Думаешь, фашисты принесут тебе ладан и смирну? Хворобу и гибель принесут они вам, всем холуям и предателям!

И вдруг хозяин выпрямился, дружелюбно посмотрел на разъяренного командира, странно улыбнулся, а потом тихонько засмеялся. Это было так неожиданно, что Кириленко осекся, вытаращил глаза и чуть было не покрутил пальцем возле лба.

— Чего это вы, почтенный пан, так развеселились? — снова перешел на «вы».

— Потому что теперь вижу истинно своих. Добрый вечер, товарищ командир. Добрый вечер, хлопцы.

— А перед этим кого вы видели? — с недоумением спросил лейтенант.

— И не спрашивайте,— махнул костлявой рукой хозяин и снова нахмурился.— Сегодня утром прибились ко мне два верзилы с оружием при себе. Принял их как людей, накормил, напоил, торбы харчами набил, а они, песиголовцы, потом и придрались: почему я даю пристанище красным? «Мы тебя так припечем, что смалец закапает»,— вызверился один из пришельцев да начал меня куда-то тянуть со двора. Так старуха насилу слезами и харчами откупилась от них. Вот теперь я и подумал, что снова кого-то из своей шатии подослали. Пойдемте же в хату, перекусите, там найдется и хлеб, и борщ, и каша, и еще что-нибудь. И не гневайтесь на старика. И не кулак я, и не перевертыш, и не церковный староста. А воском пахну потому, что весь век возле пчел прожил...

В сенях что-то зашелестело. Лейтенант схватился за оружие, но сразу же и опустил руки: из темноты тихонько вышла невысокая босоногая женщина, черный скорбный платок покрывал ее печальное лицо.

— Сыночки, деточки...— зашептала со слезами в голосе. Она обвела всех взглядом и припала к Ромашову.— Такой молоденький, а уже должен воевать.

— Мне ведь, мама, скоро будет девятнадцать лет,— смущенно сказал Ромашов.

Женщина вздохнула:

— И моему самому младшему девятнадцать минуло на Купалу. Иваном его звать, Иваном Чернобривцем. Слу-

чайно не слыхали или не видели?..— и подняла руки, как подбитые крылья.

Данило вздрогнул: ему показалось, что он из прошлого услыхал голос своей матери, которая и на дорогах, и в спелом серебре жита, и возле бродов так же выспрашивала о своем муже... Когда это кончится на белом свете, на черной земле?

— Входите же, деточки, в хату, переоденетесь, повечеряете, а я вашу одежду постираю. Входите...— Она опустила голову, на ее хилых плечах вздрагивала скорбь.

VI

Не доезжая до лесничества, Магазанник поворачивает коней в березнячок, что по колени стоит в мягкой траве, распрягает их и уже в который раз думает: попасться ли на ясные очи лесничего или скрыться от них в каком-нибудь лесном закутке? Появишься — непременно найдется для тебя какое-то указание, а не появишься — как отбрешешься, коли сам лесной царь — Иван Соболь — застукает тебя?

Давно они недолюбливали друг друга, и давно бы лесник полетел вверх тормашками из леса, если бы не поддержка Ступача. А что ему будет за эту поддержку, если и сюда придут немцы? Разве ж знает человек, на чем может повиснуть его жизнь? Жил при большевиках — была одна стена страха, а теперь приближается другая, и мечется между ними нутро, словно затравленный заяц. Может, попроситься в эвакуацию? Так разве можно оставить, что нажил за всю жизнь и работой, и хитростями? Если бы ему кто-нибудь навеки подарил покой в этом мире, то он дал бы обет жить только возле золотой пчелы и никого не трогать даже в помыслах.

Только теперь он понял, почему в свою осень так увлекался пчелами его покойный отец. Разные могут быть безумства в жизни, да мудрость на безумстве не прорастет. Вот отхватить бы тот старый отцовский хуторок с шестью десятинами, поставить там пасеку, разыскать Марию и Оленку да и доживать с ними век на отшибе. Так на́ тебе — война и новые тревоги.

Неторопливо подойдя к стоячему, с карасями, ставку, где тростник вымахал метра на три, Магазанник не сворачивает к лесничеству, а спускается к воде, на которой дремлет полузатопленный, почерневший от времени челн.

Возле него звездой расцвела белая лилия, а на ней синяя стрекоза сушит прозрачные крылышки. Давно ли в таком челне он ребенком плескался в своем хуторском ставочке, где так хорошо лепетали, перечищались воды. Тогда к нему на берег выходила русоволосая мать, и тешилась, и боялась за свое дитя, и напевала себе: «Пливе човен, води повен». И куда теперь повернет твой неспокойный челн?

С маревом далеких лет Магазанник становится на челн, почти совсем потопляет его, для чего-то срывает лилию и вдруг застывает: далеко-далеко на западе слышится глухой гром.

Лесник еще не верит себе, испуганно, цветком вниз, бросает лилию, выскакивает на берег, оглядывается вокруг. Над лесами, исходя зноем, трепетала поблекшая голубизна неба, в которой таяли тонкие льдинки белых облачков. В воздухе и не пахло грозой: и небо, и леса застыли в дремотной передышке лета. Да снова где-то за казацким бродом прогремел гром, тот, что своими цепами безжалостно обмолачивает жизнь... Вот, считай, и переходишь ты во что-то иное, как на другую планету. И пусть сгорит теперь лесничество со всеми его заботами, со всеми начальниками и подначальниками! Хватит надрываться на них. Теперь надо подумать и о своей шкуре, ведь она у него одна.

Вытаптывая пестроту разнотравья и цветов, он, пригнувшись, добежал до коней, поправил на них упряжь и погнал во весь дух к своему лесному жилищу, а за плечами его все колыхался и колыхался тот страшный гром. За что же хвататься теперь? За припрятанное золото, или за свиней, что разбрелись по лесам, или за мед, что уже в третий раз надо качать? Когда только была такая пропасть меда?!

Между деревьями замаячила статная фигура с карабином на плече. Магазанник придержал коней и с удивлением узнал военкома Зиновия Сагайдака. Чего или кого он теперь ищет в дубравах? Лесник привстал и почтительно поклонился начальству.

— Может, подвезти, Зиновий Васильевич?

— Обойдется,— подходит к нему военком. Под черными ресницами его темнеет печаль, и Магазанник понимает: человек видит не его, а что-то иное, верно, то, что колобродится за лесами.

— Вы уже слыхали? — понижает голос и кивает головой на запад лесник.

— Слыхал,— отвечает военком не ему, а, должно быть, своим мыслям.

— И что вы скажете на это?

— Трудно что-нибудь на это сказать.

— Отобьем немца?

— Что отобьем, то отобьем...

— Только неизвестно где...— подсказывает Магазанник.— Говорят, страшной машинерией прет. От первого удара падают некоторые державы.

— Это правда, что машинерией прет. Чуть ли не вся Европа работает на него.— Сагайдак так смотрит на запад, будто хочет разгадать его неразгаданные судьбы.

«Да что ты разгадаешь? Когда-то перед саблей твоего казачества дрожал запад. А что теперь перед силой-силищей сабля или винтовка? Детская игрушка, да больше ничего. Проморгали что-то те, кто оружие кует».

И снова загремело вдали.

— Вот и подходит уже война к нашему порогу,— склонив голову, говорит Магазанник.— Садитесь, скорее домой доберетесь.

— Я не спешу домой: никто не ждет там — жены нет, а сыновья уже воюют,— и не прощаясь пошел в леса.

Только зачем они ему теперь? Правда, военком и раньше любил бродить по чернолесью: зимой приезжал на лыжах, весной приходил собирать подснежники, каких тут было как росы, а в осеннюю пору — грибы. Когда много было рыжиков и груздей, он солил их в кадушках лесника, а потом щедро делился с ним. Собирая грибы, военком был похож больше на доброго сельского учителя, чем на грозного вояку, что когда-то саблей с ходу мог врубиться во вражеские полки. А сабля у него — точно молния. Да, как ни удивительно, а настоящим воином был этот с виду спокойный человек. Когда-то ходила громкая слава о нем, а что теперь останется от нее? И все-таки зачем ему сейчас бродить в дебрях? Может, партизан собирает? Но что они против танков и всей дьявольской машинерии? Только игра в войну. Но если недоля погонит человека на такое дело, то должен и с винтовкой идти против танков. Такая уж у него планида... Да бог с ним, а то и от своих хлопот гудит голова, словно дуплянка.

За разными заботами, что терзали и тревожили его, Магазанник и не заметил, как кони дотрусили до низинки, отделявшей узкой полосой одно урочище леса от другого. Тут как раз белой волной сладко цвела гречиха, колыхая над собой или в себе теплую музыку лета. Теперь сюда за

взятком летят и его пчелы. Не первый мед, как делают другие пасечники, а вот этот да липовый оставит он пчелам и себе на зиму, а то в первый насекомые часто приносят медвяную росу.

Господи, о чем думает в такую годину и доживет ли еще он до зимы? И невольно повернул голову к западу: не услышит ли снова оттуда страшный гром? Да не услыхал — увидел: в гречихе, безбожно вытаптывая ее девичью красу, бродили чьи-то породистые, упитанные коровы. Нашли выпас! Магазанник за свою жизнь не раз видел, как скотина топтала молодое жито, пшеницу, овес, ячмень. Но даже самый отъявленный потравщик не загонял скотину в гречиху, так как что-то беззащитное и святое было в ее цветении. И вот теперь стадо коров пожирало, смешивало цвет с землей и оставляло после себя черные стежки. Вот таким было для него первое видение войны.

Магазанник догадался, откуда взялась эта приблудная скотина. Вчера, уже под вечер, фашистские самолеты пролетали над татарским бродом и ударили из пулеметов по стаду и гуртоправам, что как раз развели огонек у воды, собираясь варить ужин. Теперь там, где мерцал мирный огонек, чернеет могила, а раненая и уцелевшая скотина разбрелась во все стороны. Что же делать с этим стадом, которое забилось в гречиху и немилосердно вытаптывает ее?

Вдруг неожиданно воровская мысль перекосила лицо Магазанника: война приносит неисчислимые потери, так пусть принесет и какую-то прибыль. Вот он и загонит это стадо пока что к себе на скотный двор, напоит, а там видно будет: найдется хозяин — хорошо, не найдется — еще лучше.

Лесник повернул коней в лес, распряг, спутал их и вошел в гречиху, брызнувшую роем пчел. Даже теперь жаль было вытаптывать нежные стебли и цветы. На его шаги и голос коровы подымали головы и, будто что-то припомнив, начинали реветь. А у некоторых коров на гречиху даже сочилось невыдоенное молоко. Кое-как он собрал стадо в одном месте и быстро погнал на свое подворье.

Еще не кончилась гречиха, как его встретил рыжеватый Влас Кундрик, тот, что чуть ли не всю жизнь торговал в соседнем селе. Был он таким изворотливым в накопительстве, что мог даже решетом воду носить. И не только в торговле соображал проходимец — умел складно выступать на разных собраниях и празднествах, умел всюду так ввернуть свое слово, чтобы и о его заслугах не забыли, ведь

в гражданскую и он, рискуя жизнью, помогал партизанам. Правда, злые языки болтали, что в революцию Кундрик служил и нашим, и вашим, и еще чьим-то, но с трибуны разглагольствовали не они, а красноречивый Влас, который тоже знал, кого и чем можно взять за печенку или селезенку.

Лавочник увидел лесника, поглядел лукаво на стадо коров, что-то прикинул всей паутиной морщин своего лица, и изгиб притворной улыбки заиграл на его спесивых губах, у носа и в бороздках возле глаз. Остановившись, он, усмехаясь, спросил:

— Так что, дорогой Семен, уже втихаря подрабатываешь на людском горе? Не слишком ли рано?

Магазанника даже затрясло. Кто бы уж говорил ему о честности, только не этот брехун, бабник и гешефтмахер, который пальцы протер на скользком рубле. Набычившись, лесник молча выходит из гречихи на выбеленную, как полотно, стежку и наотмашь бьет лавочника словами:

— На это, недорогой, на твою болтовню, я могу сказать только одно: не запускай с наскока свои когти в чужую печенку. Вот бери мой кнут и, если совсем не обленился, скорехонько гони скотину в село, а то у меня и без того хватает военных хлопот по линии лесничества. Вот и мотай отсюда к ста ветрам!

На лицо Кундрика сразу легла пелена обиды, а на мясистом, с горбинкой носу выбились две ямки — ни у кого Магазанник не видел на носу таких ямок.

— С тобой, вижу, и пошутить нельзя,— наконец как-то неуверенно обороняется торгаш и укоризненно покачивает головой.

— Даже теперь тебя сдуру на шутки тянет? Разве не слыхал, что делается там? — И Магазанник повел глазами на запад.

— Почему не слыхал? — не очень предается печали Кундрик.— Неужели дойдут до нас?

— Чего не знаю, того не знаю, только в душе и глазах померкло — людоед не пожалеет нас,— умышленно говорит так, для Кундрика.— А ты чего в лесах шатаешься? Дома или в лавке работы нет?

— Помолчим о работе, когда война на дворе,— растерянно ответил Кундрик.

— Потому и решил прогуляться тут? Не маевки ли вспомнил? — добивает язвительностью продавца.

— Тебя только зацепи,— не знает, что сказать, Кундрик.— Шипишь, как сало на сковороде.

— А может, ты здесь партизанить собрался? Что-то я краем уха слыхал об этом.

Кундрик встревожился:

— Какое уж там партизанство, если нет мочи даже на любовь.

— Выходит, молодому коню — к бою, а старому — к гною? — подсмеивается лесник.— Что ж, может, хоть поможешь загнать стадо в стойло? А там пусть уже забирают его власти,— отводит от себя всякое подозрение.

И знает лавочник, что хитрит лесник, и знает лесник, что не верит ему лавочник, но упорно сохраняют на лице видимость чистой правды.

— Какие же славные коровы были у людей,— погодя говорит Кундрик.— Вон у той вымя словно квашня.

— До самой земли отвисло, молоко само сочится. Природа! — внимательно вслушивается лесник в слова Кундрика и уже догадывается, куда клонит тот.

— Вот мне бы заиметь такую коровку, а то у моей только рога красивые.

Магазанник делает вид, что ничего не понимает.

— И я не отказался бы от такой.

— Так в чем же дело? — не выдерживает лавочник и ощупывает лесника жадным взглядом.— Загони самую лучшую молочную корову в глухомань, где какой-нибудь ручеек журчит, обей деревья жердями, пусть там постоит несколько дней, да и попивай молочко на здоровье.

— Оно бы и можно, а если дознается кто? Я дал себе зарок не трогать чужого,— внешне мрачнеет, а про себя посмеивается Магазанник. Разве ж у него на уме одна корова? Он цену прикинул и всему стаду.

— Кто теперь будет горевать по корове, если уже и по людям не горюют? Может, Семен, и мне по знакомству одну коровку отпустил бы? Окажи услугу.

Магазанник как бы заколебался, покряхтывая, полез рукой к жирному затылку.

— Соблазняешь ты меня, Влас, в грех вводишь. Недаром говорят: где поп с крестом, там и черт с хвостом.

Лавочник не рассердился, а засмеялся:

— Вот не знаю, кто из нас с крестом, а кто с хвостом. Так отпустишь одну коровку? Вот хотя бы эту, что молоком брызжет? — подставил руку под соски, потом лизнул молоко.— Жирность-то какая!

— Искуситель и лиходей ты, Влас,— еще будто колеблется Магазанник.— И тебя жаль, и своего огузка жаль, а то перепадет ему в военное время.

— Чего ты, дорогонький Семен, сомневаешься, если уже гремит над нами? — прикидывается преданным другом продавец.— Какие ни были года, а тебя никогда не подводил,— и кладет руку на кошелек.

— Года — как вода: прошли — и нет,— загрустил Магазанник.— Что ж, бери, Влас, коровку, за бесценок бери, упрячь где-нибудь подальше от людского ока, а мне привези из своей лавки соли: по всему видать, туго будет с ней. Мы же с тобой хорошо знаем, как жить без соли.

— Запас никогда не помешает,— согласился Кундрик.

— Тогда я сейчас и смотаюсь за ней.

На западе снова глухо заговорили пушки, и даже коровы подняли головы на тот далекий гром.

— Вот как оно...— не знает, что сказать, Магазанник.— Так погоним коров.

— Ты уж сам орудуй, а я на твоих ветроногих крутнусь за солью. Зачем тратить время попусту?

— И то дело,— согласился лесник.— Только не перегони скотину на мыло. С солью ж езжай не к хате, а в сад — теперь лучше подальше от лишних глаз.

— Верно, Семен,— чему-то обрадовался Кундрик, видно, и ему теперь хотелось забиться в какой-то закуток.

Через пару часов лавочник привез шесть мешков соли, привез и две бутылки горилки. Лесник собрал в саду кое-какой ужин и сел с гостем побаловать душу горилкой,— зачем заранее сушить мозги, что будет, то и будет, а живой должен думать о живом и посматривать по сторонам.

Кундрик, прислушиваясь к лесу, налил чарки, полушепотом сказал:

— Твое здоровье, Семен!

— И твое.— Правой рукой поднимает чарку, а ухом прислушивается к вечерней тишине: что только может проклюнуться из нее? — А зачем, Влас, ты бродил по лесам?

— Опять двадцать пять. От твоих слов и горилка, и закуска вкус потеряют.

— Если не хочешь, не говори. Я тут кроме тебя и Сагайдака видел.

— Давно? — встревожился Кундрик.

— Еще днем. Почему-то с карабином был... Слышишь, как ревут коровы!

— Молоко горит. Может, они тоже войну чуют? Земля горит, и молоко горит,— словно затужил продавец, да сразу же грусть перебилась торгашеством: — Поделить бы их

втихаря — тебе бо́льшая часть, мне меньшая. А соли я тебе еще привезу.

— Будут из тебя, нечестивец, черти в пекле сало топить,— крутит головой и посмеивается лесник.

— Это уж их служба,— не унывает лавочник и лезет рукой к покрасневшему уху, похожему на кошелек.— Так как ты насчет коров?

— Не подбивай меня на мародерство. Не хочу я брать на душу грех или страх,— поучительно говорит Магазанник, поднимает стакан под болезненный рев скотины и неожиданно как молотом бьет продавца: — Так, выходит, попрощался с партизанами?

И Кундрик завертелся, словно в кипяток попал:

— И что ты только мелешь?! Зачем практичному человеку партизаны? Это пусть разные желторотые и очень идейные партизанят. Умоляю тебя, не терзай мою душу.

— Коли она у тебя есть, то не буду,— косится Магазанник одним глазом на продавца, а другим на леса.

VII

Неподалеку от лесного, наполовину пересохшего болотца пучком пламени проскочила лиса, ровно держа длинный красный хвост. Уже не первый раз Зиновий Сагайдак встречает в этом месте остромордую. Наверное, где-то поблизости у нее есть своя нора, свои детки. Значит, место для базы неплохое. Хотя какая это, в сущности, база? Восемь небольших ям, в которых запрятано несколько десятков пар сапог, ватники, штаны, шапки-ушанки, немного соли, муки, сала, сахара, пшена, крупы, патронов и аммонала.

Из-за той спешки, которую вызвало неожиданно быстрое продвижение немцев, не успели взять и части добра из магазинов райпотребсоюза. Теперь оно сегодня или завтра попадет к тем, у кого не очень стыдливые глаза и руки.

Но не это тревожило Сагайдака, ох, не это. Куда же делись те, что должны были наладить подполье? Как он их ждал! До самого первого пушечного грома ждал — и не дождался. Что же с ними? Уже пушки молотят окрест его района, а он и представления не имеет о своих будущих помощниках. Неужели попали в лапы врага?

Тревожило и другое: правильно ли они делают, что сегодня, когда немцы подошли к их местности, расходятся по своим домам и конспиративным квартирам? Он настаи-

вал, чтобы партизаны уже сейчас были в лесах, но победила иная, осторожная мысль: прокатится фашистский вал — и уже тогда начнут действовать народные мстители. Может, эта осторожность и необходима. А что, если она пагубно повлияет на некоторых слабовольных? Нет, если он партизан настоящий, то свою судьбу должен встречать не в хате, а в лесу. Но что решено, то решено, и он сегодня тоже пойдет на свою конспиративную квартиру.

Еще раз осмотрев ямы, поправив свеженарезанный дерн на них, он перепрыгивает через голубой, словно цвет сон-травы, ручеек и вскоре останавливается на пригорке, который стал местом их собраний. Тут, на траве возле старого, в три обхвата, дуба, его уже ждут партизаны. Зиновий Васильевич здоровается, пересчитывает их глазами и настораживается:

— А почему я не вижу Власа Кундрика?

— Опасаюсь, что мы и не увидим Кундрика,— после долгого молчания отвечает учитель Марко Ярошенко, который так просился и все почему-то боялся, что его не возьмут в партизаны. Еще со школьной скамьи жил партизанской романтикой и теперь вне партизанской борьбы не видел смысла жизни.

— Почему вы так думаете?

— Потому что мы немного знаем Кундрика,— медленно, будто нехотя, откликается невозмутимый силач Петро Саламаха, над которым подсмеиваются, что с тех пор, как он женился, так все и носит жену на руках.— Кундрик, думается, из той гнусной породы, которая все хочет взять от жизни, но ничего не хочет дать ей.

— Проверим,— неизвестно для чего бросает Сагайдак шаблонное слово. Разве не становится проверкой эта тяжкая година? Будет она проверять всех его хлопцев и голодом, и холодом, и огнем, и свинцом. Никто еще из них не знает, что такое война. А в книжках не вычитаешь о том, что везет она на своих стальных конях и как расправляется в своих застенках.

Вот и загоревал он над судьбой побратимов, только о себе не горевал, так как все испытал в свое время: и под расстрелами стоял, и с эскадроном врезался в полки, и, окровавленный, с мертвыми отходил на тот свет, и снова отчаянно мчался на коне, открывая саблей новые миры.

Прошли годы, как вешние воды, и снова будто юность смотрит тебе в глаза глазами молодых побратимов. Один только есть среди них пожилой человек — непоседливый завхоз, который правдой и неправдой вырывал что-нибудь

для партизан и вырвать не мог, так как почти никто из хозяйственников не поддержал его, а некоторые возмущались: как это можно без законных оснований и бумаг взять что-то со складов? Сегодня, наверное, и они нашли бы закон, да уже поздно.

Даль снова прогрохотала пушечными громами. Партизаны молча переглянулись, молча потянулись к кисетам, а на их лицах отразилось раздумье. И все равно еще верилось и не верилось, что это уже смерть становится на их порог. Сгинь, проклятая...

«Недалеко, где-то у водораздела»,— прикидывал Марко Ярошенко, который знает каждое урочище, каждую речечку своего района...

— Может, у кого-нибудь есть вопросы? — погодя спрашивает Зиновий Васильевич.

— Пока что нет, но, видно, будут...— многозначительно промолвил чернобровый весельчак Демко Бойко, и у всех появились улыбки. С чего бы это?

И это порадовало командира. Славные подобрались хлопцы у него. Славные! Такие и в червонных казаках вырывали долю из лапищ недоли.

— Так что ж, товарищи, послушали чужого грому — и к своему дому. А ровно через восемь дней собираемся тут. Если что-нибудь изменится, связные дадут знать.

— Не выкопать ли на всякий случай землянку? Лопаты у нас есть, и даже отточенные,— полушутя-полусерьезно говорит приземистый Михайло Чигирин, который и теперь сушит голову хозяйственными заботами.

— Оно бы и можно было, да подождем.

— Зачем же, Зиновий Васильевич, ждать?

— Чтобы кто-нибудь не наскочил на землянку и не устроил засаду.

— И это может быть,— посетовал Чигирин,— теперь не знаешь, с какой стороны ждет тебя лихо. Ой, не знаешь...

Грустную речь завел завхоз, да не печалятся хлопцы, блестят глаза у близнецов Гримичей, даже подсмеиваются они над своим запасливым дедом-морозом, как прозвали в отряде Чигирина, и это радует командира.

— А теперь песню на дорогу.

— Какую же? — встрепенулся веселогубый Демко Бойко, у которого был не голос, а голосина.

— Да нашу же: «Ой, пущу я кониченька в саду».

И тихо-тихо зазвучала старинная песня, в которой был совет отца-матери молодому воину, где войско запорожское шло, хоругви реяли, а впереди музыканты играли...

И хотя гремят сейчас чужие громы, но еще будут реять наши хоругви, где и не реяли — будут реять!..

По-братски обнимаются партизаны, а то кто знает, какой будет эта неделя, и исчезают за молчаливыми, разомлевшими высокими дубами; среди них в розовых платьицах стоят черешни, у которых больше ягод, чем листьев.

«Всего уродило в этом году».

Возле командира остаются только Роман и Василь Гримичи да Петро Саламаха. Под черными козырьками бровей тракториста таится тревога.

— Что вас беспокоит, Петро?

Саламаха невозмутимо смотрит на командира.

— Все он, бесов Кундрик. За таким и чистая вода замутится.

— Пустите нас к лавочнику! — одновременно тряхнули огнистыми чубами горбоносые, крепкотелые, словно из меди отлитые, близнецы.

— И что вы думаете делать с ним?

— Поговорим. А если надо, тряхнем душу, как грушу.

— А если он заболел?

— Только хитростью,— уверенно ответил Саламаха.— Это скользкий человек. Он, когда я шел сюда, таился или вертелся в лесах, но к нам не пришел, на каких-то весах взвешивал день сегодняшний и день завтрашний. А Кундрик взвешивать научился и мерить тоже.

— А разве раньше об этом нельзя было сказать? — нахмурился Сагайдак. До этого времени он Кундрика почти не знал, слышал только, что тот всегда был под крылышком у председателя райпотребсоюза. «Сам, дьявол, не помог партизанам, а Кундрика подбросил, как кукушка яйцо».

Саламаха отвел взгляд в сторону.

— Об этом шальном скажи, а не то будешь полвека оправдываться, ибо кто не знает горлопанства его.— И вовторых, подумалось: в такое время отлетит погань даже от Кундрика. Да, видать, не отлетела...

Сагайдак повел плечом и сам себя спросил:

— Тогда не знаю, почему он так настойчиво просился в партизаны?

— Тоже искал выгоды: чтобы в армию не взяли. Кундрик без выгоды шага не сделает. А вот услыхал, что гремит,— и в нору. И еще неизвестно, каким он будет, когда вылезет из норы.

— Боитесь? — И сам боится высказать то, что внезапно пронзило,— мысль об измене.

— Опасаюсь оподлившегося. Пойти к нему? — И Саламаха сжал кулаки, и еще больше изогнулись темные навесы бровей.

— Подождите. Еще подумаем над этим.

— Лишь бы потом, Зиновий Васильевич, не было поздно,— нахмурились близнецы.

Что им сказать, молодым, зеленым?

— Я сам наведаюсь к нему.

— Вам виднее.

Обнявшись, они прощаются. Близнецы и Саламаха поворачивают на дорогу, а Сагайдак еще долго провожает их взглядом.

Вот и крути мозги да просеивай догадки: кто же этот Кундрик? Трус, который потихоньку запрячется в уголок, или негодяй, который может продать всех? Вот и мотай к нему, будто у тебя нет других забот. И Сагайдак легким, охотничьим шагом идет лесами, переходит через потравленную скотиной гречиху, минует Магазанниково жилище и выходит на шлях. Мимо него проскочило несколько машин с пехотинцами. Это к фронту. А от фронта прошла санитарная, в которой лежали и сидели раненые бойцы, и кровь чернела на их свежих бинтах, и боль застыла на их юных лицах.

В селе Балин Зиновий Васильевич, расспрашивая людей, добрался до жилища Кундрика. В огороженном жердями садике он увидел девушку, у которой на смуглом лице так неожиданно сияли выразительные серые глаза; у чернявой на ногах были легкие сморщенные постолы, а на голове какая-то цветастая косынка. Что-то трогательное было во всей ее тонкой ладной фигуре, в обиженных припухших губах, во взгляде, в котором чередовались задумчивость и печаль.

— Здравствуй, девушка.

— Здравствуйте и вам,— поклонилась, подошла к ограде чернявая.— Вы к нам? Тогда заходите во двор.

— Если так просишь...— улыбнулся Сагайдак, открыл калитку и зашел на широкое подворье, где все — и большая, под цинковой крышей, хата, и клуня, и конюшня, и амбар, и сытое хрюканье в хлеву — говорило о достатке.— А где твой батько?

— Вы кого спрашиваете? — почему-то всполошились ресницы, всполошились ямки на округлом лице.

— Власа Кундрика.

— Это мой муж,— стыдливо вспыхнула темным румянцем смуглянка.

— Муж? Да не может быть! — растерялся Зиновий Васильевич.

— Да... Я у него третья жена,— грустно, вполголоса сказала она и скинула с головы свою яркую шелковую косынку. («Не этим ли или иным тряпьем соблазнил твою молодость затасканный черт?») — И не думайте, что я такая молодая,— мне уже двадцать четыре года.

— Вот никогда не сказал бы!

Кто-то прошел по улице, узнал товарища военкома, поздоровался и позавидовал Ольге, что у нее такой гость.

— Вы товарищ военком?! — удивилась хозяйка, всплеснула руками.— А где же тогда мой?..

— Об этом я и хотел у тебя дознаться,— пристально смотрит на молодицу, которую и молодицей трудно еще назвать.

— Так он сказал, что пошел к вам в леса. Попрощался со мной, словно на фронт собрался, даже глаза рукой потер.

— Я не дождался его.

— Ой, лишенько, каким же он путем пошел в такое время? — И лицо молодицы стало жалостливым.— Не случилось ли чего? Или, может быть, по дороге встрял в какую-нибудь коммерцию? Ведь если она, подлая, случается, он, чтобы кого-то околпачить, забывает все на свете. Заходите же в хату, подождите его. Если он был в лесах, то приплетется домой. Я вам поесть приготовлю.

Зиновий Васильевич с сочувствием посмотрел на Ольгу:

— Хоть жалеет он, помогает тебе?

— Такое скажете! — снова вспыхнула молодица.— Разве он, ворчун, может что-то? Он только и знает, что привередничать да колоть глаза тем, как ему готовили первая жена да вторая.— И передразнила голосом Кундрика: — «Первая лучше тебя готовила борщ, лапшу и все из белого теста, а вторая, как для царя, жарила индюшку и утятину с яблоками».

«Да, не знала ты, кому принести свою молодость и красу».

— Выходит, искалечила жизнь? — спросил Сагайдак с сочувствием.

— Искалечила,— потупилась Ольга.— Не жаль было бы жизни, если бы он не был с головы до ног торгашом. Я ведь поверила ему такому, каким он был на трибуне, но не знала, какой он без трибуны. Уже совсем вознамерилась бросить его, так вот же война началась, а он сказал, что в партизаны пойдет. И снова жаль стало его, кру-

ченого да верченого.— И вековая женская мудрость, мудрость сострадания, жертвенности, выразилась на ее опечаленном лице. Откуда только это и берется у женщин?

— Какая ты хорошая, Ольга,— коснулся он рукой ее тугого плеча, и у молодицы беспомощно задрожали длинные полукружья ресниц. Наверное, она давно уже не слыхала доброго слова.

— Пойдемте же в хату.

В хате его поразила картина, на которой ветер росисто вихрился и взрывался в утренних клубах ивняка и верб, за которыми вставала на дыбы потемневшая вода. Ветер был выписан так, что казалось — его можно было взять в охапку.

— Откуда у вас такое диво?

— Кундрик когда-то обменял эту картину на десять фунтов муки... Я тогда еще не знала его.

И замолчали оба. От картины Ольга метнулась к печи, выхватила ухватом один и другой горшок, налив борща в миску, на ободке которой неровным письмом кто-то молил, чтобы бог дал счастья людям.

— Вам поперчить?

— Перчи так, чтобы язык три дня вертелся во рту, как вьюн.

— Такое скажете.— Ольга поставила миску на стол, отхватила несколько косарских ломтей душистого хлеба и села у края стола, по-матерински глядя на гостя.

— Почему же ты не обедаешь?

— Спасибо. Я уже.

— Ох, и вкусный борщ у тебя!

— Правда? — уже по-детски улыбнулась она, потом что-то вспомнила, опрометью выбежала из хаты и не скоро пришла, смущенная, грустная.

— Что с тобой, добрая душа?

— Ничего,— поставила на стол горилку.— Вот забежала в лавку, а сторож сказал, что приезжал верченый, нагрузил подводу солью и куда-то подался. Видать, на спекуляцию. Перекати-поле, не знает, что такое настоящий корень. Брошу его, обманщика, хоть и война...

VIII

Солнце уже начало спускаться по ветвям старой раскидистой яблони, когда Сагайдак поднялся со скамьи, над которой все бушевал и бушевал живописный ветер.

— Я пойду, Ольга. Пора.

— И я тоже! — Решительность и волнение выразились на лице молодицы.

— Куда?

— К своей маме. Пропади он пропадом со своим добром, со всеми хитростями! — Она бросилась к сундуку, выхватила оттуда полинявший, еще, видно, девичий платок, повязалась им, засуетилась по хате, собирая свою одежду.— Говорили мне сестры: «Не выходи за него», а я глупая...

— Какие сестры? — удивился, даже насторожился Зиновий Васильевич, так как перед тем Ольга сказала, что у нее никого нет, кроме матери.

— В больнице. Только я начала работать сестрой, как туда привезли Кундрика с аппендицитом. Кем он только не прикидывался тогда передо мной, чтобы обмануть, и все-таки обманул.— Она тоскливым взглядом окинула хату.— Вот, кажется, и все. Ничего не взяла его. Пусть теперь ищет себе четвертую жену.

Что сказать на это, Сагайдак не знал. Жаль было этой едва расцветшей юности, попавшей в лапы торгаша и не познавшей хоть сколько-нибудь женского счастья. А недоброе предчувствие томило и томило, ведь от Кундрика, верно, всего можно ожидать. Как часто нас предают те, что вертятся на виду да нашептывают о ком-то и взглядом недоверия ощупывают весь мир. Было это прежде, есть это и теперь. И он когда-то знал такого же кундрика, который еще в червонном казачестве все не доверял ему. А потом, когда в молодой ржи стоял перед смертью, увидел того Кундрика среди своих палачей.

— А вы чего опечалились? — спросила и доверчиво подошла к нему Ольга.— Это я вас огорчила?

— Все, зиронька, все понемногу,— невольно привлек к себе женщину, которую и назвать женщиной нельзя было, сама молодость дышала в ней.

Она всхлипнула, а он успокаивающе положил руку на ее плечо, как положил бы своему ребенку. Жаль все же, что у него не было дочки.

— Вы, Зиновий Васильевич, снова пойдете в лес? — из-под влажных ресниц глянула на него.

— Да.

— Так я вам покажу свою хату. Может, придется когда-нибудь забежать. Мы бы вам белье постирали. А то как же там без наших рук? — уже заговорила по-женски рассудительно.

— Спасибо, Ольга.

— Не забудете нас и фамилии нашей — Ткачуки?

— Не забуду. А ты как сестра, когда сможешь, раздобудь бинтов, йода — первую помощь партизанам. Дать тебе денег?

— Нет, нет. Я сегодня же сбегаю в нашу аптеку — там моя подруга работает.— И еще раз взглядом прощания обвела жилье.— Ничего не жаль, жаль только бросать здесь эту картину.

— Так забери с собой.

— А потом Кундрик будет трясти мою душу.

— Я напишу ему записку, что картину взял себе,— и начал вынимать из рамы бушующий ветер.— Если прибежит за ней, уплачу десять фунтов муки...

Ольгина хата стояла на юру возле низинного луга, поросшего осокой, ивняком и кустистыми ольхами. За лугом начиналось то гнилое болото, где он не раз охотился на птицу. Иногда тут и зимовали утки, сбившись на болотном озерке. А как пройти к этому забытому озерку, его научили Стах Артеменко и златочубый Миколка, у которого были синие, со степной задумчивостью глаза. И откуда такое у ребенка?

Они остановились возле стареньких ворот, точнехонько такие были и у Данилы Бондаренко. Где он теперь?

Ольга открыла калитку:

— Зайдите хоть на минутку к нам.

— Не могу.

— Непременно зайдите, а то я загадала,— по-детски умоляло все ее лицо.

— Коль загадала, то что поделаешь,— развел руками Зиновий Васильевич и, пройдя мимо огороженного цветничка, подошел к порогу, перед которым лежал старый мельничный круг, из середины его выбился куст метлицы и сиротливого цветка ромашки. Вот где нашла себе кров!

Ольга настежь отворила двери.

В сенях его удивил новый сак, выглядывавший из проема, ведущего на чердак.

— Это кто же у вас ловит рыбу?

— Я,— смутилась Ольга.— Когда была малая, то целые дни плескалась в воде, а как подросла, то только вечерами, чтобы люди не смеялись. Мать называла меня заправским рыбаком.

Он заходит в обычное крестьянское жилище с татарским зельем на глиняном полу, со скамьями вдоль стен, с

ржаным хлебом и солонкой на столе, с рушником и старыми иконами в углу. Матери не было дома.

— Она в колхозе дояркой работает. Уже и стада угнали на восток, а мать все ходит к коровам, которых нет,— сказала Ольга, бросилась в маленькую комнатку и вскоре вернулась с туго набитой полотняной торбой.— Тут вам на дорогу две буханки хлеба, кусок сала и несколько сушеных карасей. Хлеб я сама пекла.

— Не надо, Ольга.

— И не говорите такое...

— Спасибо, милая.— Он поцеловал ее в щеку, а она снова всхлипнула.

— Неужели вы нас оставите фашисту? — И такая печаль была в ее голосе, что и у него задрожали ресницы, и он на себе ощутил тяжесть вины. Сдерживая боль, поклонился женщине, поклонился жилью или святому хлебу, что лежал на столе, и быстро вышел на улицу. Когда оглянулся, увидел Ольгу. Она махнула рукой и тоскливо припала грудью к воротам, и они тут же отозвались стоном. Такой и осталась в его памяти, а в душу заронила печаль.

За мостиком, по обе стороны которого стояли старые развесистые вербы, Сагайдак свернул в пшеницу, что вот-вот должна была дождаться косарей. Кого ты дождешься теперь? И ячмень уже склонил свои золотые перунские усы, только овес не печалился, непоколебимо держа колокольчики метелок. Какая жуткая тишина стояла на полях! Нигде ни души, даже перепелка не подаст голоса — тоже, наверное, чует лихо. Никогда бы нам не знать такой жатвы, такой страды...

Вечер уже сменил синюю кирею на темную, когда Зиновий Васильевич добрался до своего нового жилья, что не знало, куда ему приткнуться — к селу, или к дубраве, или к лугу, за которым вздыхала пригасшая речка. Возле хаты стоял рядок плакучих берез, опустивших ветви на изгородь, хата же имела два выхода: один на подворье, другой на улицу. Он зашел на заросший зеленым спорышем двор, где возле дровяника лежал старый вербовый челн, в расщелинах которого засыхала какая-то неприхотливая травка. На речке шлепнуло весло, испуганно пискнул кулик, а над головой, прямо к вечерней звезде, пролетела стайка уток.

Тихо-тихо к земле подкрадывался сон, а что будет завтра с тобой?

С огорода бесшумно вышла еще не старая женщина с кошелкой в натруженной руке. В кошелке краснела молодая картошка, ершились первые белоносые огурчики. Так

когда-то выходила с огорода и его мать, радуясь первой картошечке, первым огурчикам.

— Пришел? Устал с дороги? — спросила, как близкого человека, скорбно улыбнулась увядшими губами, вздохнула, и вздохнула за вербами уже невидимая вода. То ли человек вздыхает, как речка, то ли речка — как человек?

— Пришел, Ганна Ивановна. Не прогоните?

— Вдвоем будет веселее, хотя теперь не до веселья. Садись на завалинку, отдохни, а хочешь — в хату иди. Я сейчас картошечки со шкварками приготовлю.

Наглядевшись на подсолнухи, что только-только раскрыли золото цвета, он походил по огороду, потом подался на луг, запоминая все ходы к лесу. Темная безлунная ночь опустилась на чернолесье и село. А завтра в эту пору прорежется молодой месяц. И где, тут ли, в лесах ли, он увидит этот молодой месяц?

Тревожась, прислушивался к западу, но там было тихо, только в небе изредка, задыхаясь от натуги, тяжело дышали бомбовозы. Кому они через какой-то час принесут смерть? Выпустил ее, бесноватую, бесноватый... Но что потом будешь делать, когда она повернет глазницы на тебя? А ведь повернет же, повернет!

— Иди вечерять, сынок,— встала на пороге Ганна Ивановна.

Как давно его никто не называл сынком, как давно нет у него отца-матери, уже нет и жены, а будто и не жил еще на белом свете. Только все собирался жить, но за битвами, за восстановлениями, за перестройками не было времени, а время уже и сорок лет отмерило ему и морщинами легло вокруг уст.

После немудреной крестьянской вечери, за которой вспоминалась и его тихая мать, Сагайдак ушел спать в другую комнату, откуда дверь выходила прямо на улицу. Положив под голову пистолет «ТТ» и две лимонки, он никак не мог заснуть. Думалось об ужасах войны, о кровавой резне в старинном Львове, которую учинили фашисты и националисты. Думалось и о своих друзьях: как они встретят суровые испытания? Болело сердце и о детях, что добровольцами попросились на фронт. О себе же меньше беспокоился, ведь не раз смотрел смерти в глаза. На дворе запели, захлопали крыльями петухи, предвещая новый день. Каким он будет, этот день?

Ходит по лесам уже седой Михайло Чигирин, и одолевает его не одна забота: в который раз обдумывает одно и

то же — чем он будет кормить лесную семейку? Война войной, а есть надо! Как ни подкатывался к председателю райпотребсоюза, да разве у него что-нибудь выклянчишь без денег? Даже над казаном дрожал, словно родного отца отдавал. Вот и поблагодарят тебя, дурня, не партизаны, а фашисты. Буйная у тебя чуприна, да разум лысый. Наел на казенных харчах ряшку величиной с колесо, а ума и росинки не упало на твои бараньи мозги.

Не доругался Чигирин с глуповатым в его кабинете, так теперь молча доругивал в лесу и даже кулак показывал, а потом спохватился. Так-то оно так, да где бы напасть на какой-нибудь запасец? Невольно вспомнишь песню: «Коли б я був полтавським соцьким...»

Из синих одежек неба уже выпадала роса, когда он дошел до Магазанниковых владений и с удивлением остановился,— весь загон лесника был забит породистым скотом, на белой шерсти которого чуть ли не позванивали золотые заплаты. Откуда же у этого свиноподобного черта набралось столько добра? Не из вчерашнего ли стада, которое бомбили немцы? Конечно, из этого стада — по всему видно. Вот чертов Магазанник и наскочил на него, он нигде не упустит ни своего, ни чужого. Тогда и мы не упустим.

Оглядевшись вокруг, Чигирин начал кружить, все ближе и ближе, вокруг загона; так помаленьку докружил и до сада, откуда услыхал пьяные голоса Магазанника и какого-то беса. Кому война, а у них, бессовестных, на уме один торг. Не испортить ли вам его?

Чигирин даже повеселел, подумав, чем кончится торг хитрецов, и сторожко направился к загону. Из изгороди вынул две жердины и потихоньку начал выгонять скот. Видно, теперь не придется ему идти домой. Кто же присмотрит за коровами? Да как-нибудь неделю перебьемся в лесах, и не такое бывало в жизни,— и Чигирин пускает улыбку в седые усы. Вот жаль только жену. Она же его ждет сегодня. Не дождется до позднего часа, да и начнет убиваться. Станет выходить на подворье, к двум тополям у ворот, и снова плакать, как и в двадцатом году, когда он, прибегая из лесов, еще напевал ей, что она самая красивая...

И очарование тех далеких лет нахлынуло на Чигирина, когда шел он, словно пастух, за отбитым скотом...

В позднюю вечернюю пору подвыпившие Магазанник и Кундрик подошли к загону и остолбенели — хотя бы один хвост остался на развод.

— Вот так диво! Что ты скажешь на это?! — первым пришел в себя Магазанник и подозрительно смерил взглядом пронырливого торгаша: не из его ли подручных кто-то угнал коров? Недаром даже два пол-литра привез. Расщедрился!

Кундрик тоже с недоверием взирал на лесника: он и не такую подлость может сделать, а потом еще и подсмеиваться будет, как над последним дурнем.

— Вот это да! — сверлит лавочник перекошенными от злобы глазами лесника.

— Эге ж, так, а не иначе,— ощупывает его с возмущением Магазанник.— Что ж теперь делать?

— Надо по следу идти.

— Нападешь на тот след ночью. Вот нашлись разбойники...

— Кто ж это мог нас так объегорить? — не верит Кундрик ни одному слову Магазанника.— И корова пропала, и, считай, соль корова языком слизала.

— Да ты что?

— Да я ничего. Вот что ты?..

— Поймал бы — размозжил голову.

— Только ж кому ее размозжить?..

Злые, как черти, они готовы были вцепиться друг в друга, но что это даст?

— Спасибо тебе, Семен, за гостеприимство,— наконец выдавливает Кундрик.— Как все случилось, не знаю, а деньги за соль отдай.

Магазанник вспыхнул, но сдержал себя, махнул рукой, а то кто его знает, что завтра будет.

— Хорошую имею коммерцию кое с кем.

— Вот так и я.

Они снова возвратились в сад, тут Магазанник на минутку зажег свечу, вынул из кошелька деньги и, жуя губами, рассчитался с Кундриком; не денег, а пощечин бы надавать ему, чтобы в голове зажужжали шмели.

Подминая траву и туман да распекая в мыслях лесника, лавочник подался в свое село. На шляху в темноте урчали наши машины, а в небе гудели чужие самолеты. Чьи же машины пойдут завтра по шляху? Ох, суета сует... И хоть человечество стало рабом войны, да каждому человеку надо как-то жить, хоть в норе, а жить.

Добравшись до села, Кундрик пошел не к своему дому, а в лавку, отпер ее и только тут почувствовал себя в привычной обстановке. От тяжелых забот лавочника отвлек дух селедок, ремней, печенья, конфет, смолы — всего того,

во что он врастал десятки лет. Вон те деревья за окнами врастали в землю, а он — в запахи деревенской лавчонки. Что ж теперь из ее утробы перетащить домой? По всему видно, что завтра сюда явятся новые хозяева. Сила силу ломит! Задумался Кундрик, но тут же его осенила мысль: а ведь гитлеровцы наверняка восстановят частную собственность, так почему бы и ему не открыть частную лавку? Тут он показал бы свои способности, ибо при большевиках все время приходилось дрожать над копейкой, добытой хитростями. Что только Ольга запоет? Сразу же уест: «Перекати-поле не знает настоящего корня...» А затем начнет собираться к матери. Нет ничего горше, чем идейная жена в доме.

IX

На рассвете с речки надвинулся такой туман, хоть ножом режь, и заскрипели под его тяжестью старые косточки вдовьего крыльца. А может, это беда уже подбиралась к жилью? С этой тревожной мыслью Сагайдак и погрузился в сон, и к нему снова вернулась молодость, и те дороги, и те кони, которых уже нет,— на них он с саблей в руке проскакал от Донца до Збруча.

Когда Зиновий Васильевич проснулся, в его комнате стояла белая как полотно Ганна Ивановна. От отчаяния кривились морщины на ее лице, вздрагивали обескровленные губы.

— Что?! — вскрикнул, вскочив с кровати, Сагайдак.

— Немцы проехали селом. На мотоциклах...— и заплакала.

— Сами видели?

— Сама. Веселые такие, что-то кричат, на губных гармошках играют. Смеясь, настреляли с десяток кур и поехали дальше. Что же мы теперь будем делать?

— Недолго будет веселиться наш враг. А вас, Ганна Ивановна, я попрошу дома теперь не ночевать.

— Это ж почему?

— Воевал я и в гражданскую, знаю, сколько выпало горя на долю тех людей, которые помогали нам. Так вот, днем вы хозяйничайте себе, вечером — к дочери.

— А что же я скажу ей?

— Скажите, что теперь боитесь одна ночевать.

— Пусть будет по-твоему. Пойду-ка еще на разведку, пусть бы никому не приходилось в нее ходить.— Открыв

двери, она настороженно остановилась на пороге.— Слышишь, как гудит на шляху? Даже земле тяжко. Это уже пушки или танки пошли.

Замерев, он услыхал рокотанье чужих машин, но все равно не мог поверить, что отныне его земля становится пленницей, что враги пришли отобрать у людей неотъемлемое. И застонала его душа от тоски и бессилия.

Так прошла страшная неделя, когда день не был днем, а ночь — ночью. Но Сагайдак должен был ждать своего часа. По ночам он все порывался уйти в леса, а днем метался по жилью, как в клетке, не находя себе места от уныния и горьких мыслей.

И вот наступила новая неделя. Вечером Ганна Ивановна ушла ночевать к дочери, а он как неприкаянный слонялся от окна к окну, припадал горячей головой к стеклам, приглядывался к молодому месяцу и снова мерил шагами свою комнату. Пора бы уже и спать, да не приходит к нему сон, как приходил в гражданскую войну. Тогда он мог заснуть и в седле, и под дождем, и в снегу. Что значит молодость!

Вдруг послышалось гудение мотора. Сагайдак сразу схватился за оружие, сунул в карманы лимонки и прикипел к окну. К дому юрко подкатила темная машина, почти уперлась в ворота и остановилась. Хлопнули дверцы, из них выскочили четыре фигуры — трое военных в высоких фуражках, четвертый — в штатском.

«Измена!» — как молотком ударило в голову единственное слово. И не испуг, а страшное негодование охватило Сагайдака. Он немного отвел голову от окна, пристально следя за тем, что делалось на улице.

Без суеты трое, пригнувшись, вошли на подворье, а четвертый с автоматом направился к дверям, что выходили к лесу. Этого он не тронет: если попытается уйти, тот сразу же скосит его из автомата. А трое уже встали на пороге и прикладами так начали колотить в дверь, что в хате задребезжали стекла.

— Открывай, партизан! Открывай!

«Измена!» — снова ударило в голову то же самое слово.

Однако спокойно, на удивление спокойно, он встал в сенях слева от дверей и ждал, когда они слетят с петель; пальцы до боли впились в рукоятку пистолета.

Еще удар. На него посыпалась штукатурка. Сагайдак наклонил голову, чтобы не запорошило глаза. Вот хрястнул, сломался деревянный засов, отскочили двери, и в рам-

ке косяка метнулся серп луны, зашевелились три фигуры, две — с автоматами.

Почти не целясь, Сагайдак всадил в них всю обойму. Послышался стон, ругань, вопли, глухой шум падения тел. Он перескакивает через них, цепляется за чью-то фуражку, чуть не падает, потом наталкивается на старый челн и бросается в огородик, за которым спросонья вздыхает вода. Позади раздается автоматная очередь, а затем отчаянный крик. Наверное, тот, четвертый, увидел своих.

Сагайдак останавливается возле подсолнухов, переводит дух. И только теперь его пронизывает холод страха: а что же с остальными? И за ними вот так охотятся, как за ним? И ничем же, ничем он не может помочь... Нет, может! Должен! Знает же он адреса некоторых партизан. Немедленно к ним! Ближе всех отсюда к учителю Ярошенко. Так вот к нему.

Через пару часов Зиновий Васильевич добрался до небольшого, разбросанного на глинистых холмах села, которое славилось яблоневыми садами. Мертвая тишина стояла вокруг: ни тебе людского голоса, ни песни, ни даже собачьего лая. Только возле плотины несмело журчала вода, будто и она боялась кого-то.

С пригорка в овраг, из оврага на пригорок шел он к школе, где жил Ярошенко. Вот и школьное подворье, и четырехугольник молодых тополей, и пришкольный дом для учителей... и неутешное женское рыдание.

«Измена... Кундрик...»

Неужели на белом свете нет больше красавца Марка Ярошенко, что так грезил партизанской героикой? Да не с героикой, а с черной изменой встретился ты. Забирала она лучших людей когда-то, забирает и теперь.

Все уже было понятно, но все равно он подходит к учительскому дому и в двух окнах видит тусклый свет. В комнате мигает свечечка, а за столом надрывно плачут две женщины — старая и молодая. И никто уже не утешит их, никто, только, может быть, время как-нибудь зарубцует боль.

Поклонившись женщинам, Зиновий Васильевич рукою вытер глаза и повернул со школьного подворья. И снова — с пригорка в овраг, а из оврага на пригорок, и с той же ношей горя, которой бы никому не носить.

И хотя уже звенел рассвет, он все же направился туда, где жил Демко Бойко. Не скрываясь войдет в село. Он понимал, что не должен рисковать, понимал — и шел навстречу опасности.

Никто его не встретил на краю села,— видно, новая власть еще не успела выставить своих полицаев. Уже взошло солнце, когда он подошел к дому Бойко. Открыл калитку и заметил под навесом седого-седого, словно вышедшего из какой-то сказки, деда. Сделал несколько шагов и тяжело остановился — старик с фуганком в руках подравнивал посизевший, бог знает когда сделанный гроб.

Неимоверным усилием Сагайдак оторвал ноги от земли и пошел к деду. В гробу кроме стружек он увидел зерна жита. Очевидно, гроб когда-то был сделан для старика, а пока он жил, в нем, по давнему обычаю, лежало зерно для нищих и обездоленных людей.

Дед услыхал шаги, оглянулся, в выцветших глазах, в морщинах, в позеленевшей бороде его стоял печальный сумрак. Он положил потемневший от времени фуганок на скамейку, пристально посмотрел на Зиновия Васильевича, вздохнул.

— Ты к моему Демку пришел?

— К Демку,— снял фуражку Сагайдак.

— А его уже нет! И не будет никогда! Сегодня фашисты убили... И песню его убили. Думалось, похоронит Демко меня, а должен хоронить его я. Так разве есть правда на свете? — Старик тихо заплакал, слезы его беззвучно падали на бороду и в гроб, на зернышки жита, которые тоже пойдут в могилу.

Молча заплакал и Сагайдак, чувствуя, как адский мороз начинает сковывать его сердце и голову. Даже солнце не могло вышибить из него холода. Что-то надо было сказать, чем-то утешить старика, но бессильно слово утешения в час скорби, в час прощания. Да и уста не слушались его — холод льдом лег на них. Он обнял старика, припал к его сединам, ощутил их влажность и быстро пошел огородом, где буйно зеленели и цвели печальные купальские цветы.

Неужели страшная измена погубила всех его побратимов, неужели он не увидит больше ни мудрого Чигирина, ни пылких близнецов Гримичей, ни озорного Бересклета, ни невозмутимого Саламаху? Нет, нет! Кто-то из них должен спастись. Спокойного Чигирина не так легко обмануть, а Гримичи собирались в эти дни раздобыть коней, тачанку и станковый пулемет... Сагайдак запускает руку в чуприну, хочет отогнать туман, холод, а в мозгу в который раз стучит одно и то же слово: «Кундрик! Кундрик!» Сегодня же он доберется до него. Сегодня. Но не Кундрика, а опеча-

ленную Ольгу видит перед собой. Тоже судьба — не позавидуешь...

С огородов Сагайдак выбрался в поля, отыскал в высокой ржи стежку и под дремлющими колосьями пошел к дубраве, чтобы оттуда добраться до того села, которое, как рана, вызывало теперь в нем боль и смотрело на него женской скорбью. Колоски касались его плеч, лица, словно хотели и не могли утихомирить страдания человека.

Через дорогу прошли две женщины с серпами на плечах, потом проехала немецкая машина, в которой на досках сидело несколько солдат с автоматами на груди. За чьим добром или за чьей душой торопитесь вы? А дальше виднелась и та дорога, что вела к Ольгиной хате.

Вот уже и зазеленел тот низинный луг, за которым начиналось гнилое болото, вот показался и деревянный мостик, по обе стороны которого стояли раскидистые старые вербы. Но почему так беспокойно кружит над ними воронье? Сагайдак настороженно остановился на краю поля, приглядываясь и к мостику, и к вербам, и к пересохшей дороге. Как будто нигде никого. А что это за нарост на крайнем, с сухой верхушкой, дереве? Еще прошел несколько шагов. Неужели это человек, привязанный к стволу? Так оно и есть.

Не доходя до мостика, он, пораженный, остановился: к старой, суховерхой, с потрескавшейся полусорванной корой вербе был привязан мертвый Кундрик. Из его обезображенного рта торчал кусок грязной тряпки, а с шеи свисала в рамочке под стеклом какая-то бумажка. Выходит, кто-то разобрался в темных делах торгаша. Но кто? Сагайдак еще ближе подошел к лавочнику, который ботинками упирался в корневище дерева, вот только голова не имела опоры и упала на грудь. Сагайдак старается не смотреть, чтобы не видеть обезображенного лица и грязной тряпки. Но в глаза бросаются буквы — наши и немецкие. Так это же разрешение, выданное новой властью Кундрику на право держать частную лавку. «Частную! Вот за какую плату ты загубил людей!» — ложится тень на лицо Сагайдака.

Позади послышался простуженный хрип или клекот. Сагайдак обернулся. На краю мостика стоял, опираясь на палку, в высокой бараньей шапке и пожелтевших сапогах сухощавый, хилый дедок, один из тех, которые жизнь провели чабанами в степях. У него были выразительные влажные глаза, а поверх его легкой, с проседью бороды красиво лежали еще темноватые корешки усов.

— Смотришь на грех? — спросил старик.

— На страшный,— кивнул головой Сагайдак.

— Вправду страшный,—и повел палкой в сторону Кундрика.— Всю жизнь хитрил, мошенничал, наживался да поедом ел людей. Но всему конец приходит, настигла и его кара. Поделом извергу.

— Дедусь, не знаете, кто его?

— Спрашиваешь, кто его порешил? — пристально-пристально посмотрел на Сагайдака.— Об этом уже все село знает... Сегодня, как только солнышко взошло, открыл Кундрик собственную лавку. Дождался своего при Гитлере. Вот торгует, аспид, вьюном извивается между людьми, задабривает краденым товаром, даже в долг дает, а должников в толстую книгу записывает. Как вдруг к его лавке нагрянула новенькая тачанка, а из нее соскочили двое — око в око, чуб в чуб — одинаковых парня, и при оружии, да и сразу к Кундрику. Увидел он их — и челюсть отвалилась, задрожал, дьявол, да и наутек через черный ход. Да там его хлопцы в четыре руки перехватили, скрутили, потащили в лавку и начали вытряхивать карманы.

«Не ищите денег, они там»,— показывает взглядом Кундрик на прилавок.

Да, видать, не деньги нужны были хлопцам. Вот они вытянули из его кармана какой-то документик, развернули, глянули на него, осатанели и ткнули Кундрику в морду.

«Иуда!» — и снова в морду, которая сразу начала распухать.

Лавочник только взвыл и мешком повалился хлопцам в ноги. Те со всей силой оттолкнули его от себя сапогами, а всем, кто был в лавке, показали страшную бумагу:

«Люди, это удостоверение темного агента гестапо».

— Тайного,— вздрогнул Сагайдак.

— Эге ж, эге ж, тайного. Значит, за эту иудину бумажку и за лавку Кундрик, сказывают, продал партизан. Люди закричали: «Смерть ему!»

А подлец ноги хлопцам начал обнимать и голосить: «Простите и помилуйте. Не по своей воле вышло у меня, ой, не по своей...»

«Говори, по чьей! Пусть послушают все».

На коленях Кундрик стал бормотать:

«Приехали за мной гестаповцы на машине да и повезли к себе. Бросили там в какую-то пустую комнату, заперли, а сами куда-то ушли. Стою я, словно в огне, новую решетку осматриваю. И вдруг из подземелья слышу такие стоны, такие вопли, что все во мне оборвалось.

И только погодя, когда я по горло наглотался страха, из подземного застенка открылись двери и вышли те же гестаповцы с каким-то чином, у которого на груди был черный крест».

«С вами будет говорить шеф гестапо,— объявил мне переводчик.— Если скажете хоть слово неправды, окажетесь там,— и ткнул пальцем в пол.— Туда приходят, но оттуда не возвращаются».

Глянул я на шефа гестапо — и чуть было не умер: его сапоги были забрызганы каплями свежей крови. Она и доконала меня... Под страхом смерти и вытянули из меня все».

«И агентом гестапо стал со страху?»

«Я из тех, кого раздавил страх. Простите и помилуйте, что я струсил и отдался врагу. Я еще пригожусь вам. Все мое добро забирайте даром...»

И тогда люди снова сказали:

«Смерть ему».

Как падаль, выволокли хлопцы торгаша за руки и за ноги из лавки, раскачали, бросили на тачанку, а тут и порешили его.

«Близнецы Гримичи судили изменника! Выходит, живы хлопцы!»

— Дедусь, а куда же те отчаянные делись?

— А кто их знает? Но думается — помчались карать врагов. Как ветры, полетели... А ты ж, сыну, издалека?

— Издалека, дедусь.

— Теперь столько ходит народу. Если нет пристанища, заходи ко мне. Мы тебе со старухой чабанских галушек наварим, а потом отдыхай в хате или в клуне на сене, как раз привез его с раскорчеванной лесной делянки — земляникой и ромашкой на всю улицу пахнет.

— Спасибо, дедусь. А вы Ольгу, что за Кундриком, знаете?

— Почему не знать. Славное, доброе дитя. Билась, билась, как рыба об лед, с этим Кундриком и бросила его. Да разве ж у нас может любовь ужиться с ненасытством? Так пошли ко мне, к моим галушкам, к моим целебным травам. Я тоже трех сыновей на войну отдал. Теперь только и слышу плач невесток.

— Дедусь, а как вас звать-величать?

— Зовут меня Миколай, а фамилия с деда-прадеда — Чабан. Вот искони и на веки вечные мы чабаны.

— Почему же на веки вечные? — удивился Сагайдак.

— Потому что пока светит солнце в небе, должен быть и чабан на земле,— поучающе сказал старик.— И хотя мой старший сын стал уже ученым, но и поныне не забывает ни отца-матери, ни степей, ни чабанов.

X

С раннего утра и до вечерней зори гудит, прогибается, стонет черный шлях. На восток торопится чужое войско, чужая песня, чужое железо. Наделали же его тьму-тьмущую, да все на погибель людям.

Выйдет осторожно из леса Семен Магазанник, глянет, что делается на шляху, да так и не найдет себе покоя; не знает, где ему теперь жить — в лесу, в селе или перебраться на старый хутор, где и до сих пор плодоносят наполовину выродившиеся яблони и напевно перечищаются воды. В лесах теперь страшно, с хутора могут прогнать, а жить в селе — на виду — тоже малое утешение. Что теперь будет с нами, грешными, и с обездоленной землей? Если бы хоть одним глазом можно было заглянуть в то время, что придет. У всякого о нем свои догадки, всякий по нему сеет свои думы и надежды, только ни мудрец, ни дурень не знают, кто станет жнецом.

Вот недавно заезжал в леса один такой исполненный злобы, спешил скорее захватить должность начальника районной вспомогательной полиции. Предаваясь обжорству, он поучал двух своих приспешников и хозяина, что теперь пришло время сильных и беспощадных варягов.

Тебе, прислужнику и вешателю, может, и нужны сильные варяги, а мне они ни к чему: уже видел, как эти грабители с гиком охотились на кур и из автоматов стреляли в самый большой улей с роем-ссыпчаком. Вот и пришлось пасеку перевезти в лес, к бортям, кур спрятать в сушилке, а коров и телок загнать в чащу. Да спрячешь ли все? Не было покоя при большевиках, нет его и при новой власти. Это только шляхетный огарок Безбородько все свои надежды возлагает на фюрера. Его же, Магазанника, надежды давно развеялись. И верит он теперь не людям и не властям, а только тем деньгам, из которых и время не вышибет золотой души. Вот и все, что светит ему теперь. Видать, года!

На западе предвечерье одевается в зеленовато-золотые ризы, а на шляху еще грохочут и грохочут машины, даже земле тяжко — и от колес, и от гусениц, и от чада.

«Освободители! — с насмешкой и в то же время со страхом говорит про себя лесник.— А где ваши отцы, которые «освобождали» Украину в восемнадцатом году? И они, и вы дали такую волю смерти, что и сами от нее не отделаетесь. Так оно всегда было. Но что теперь делать с собой? Что?.. Пора, пора, человече, отшельником забиваться в уединение, на пасеку, присматривать за пчелой да ставить свечку перед богом за отпущение грехов, а то, как видно, не для твоей головы этот вертёж... Вот только за какие деньги теперь продавать мед? За бумажные — ненадежно, а золотых почти ни у кого не осталось. И над этим, пока живешь, надо ломать голову».

На подворье заскулил пес,— верно, кто-то из своих зашел. Только кто? Бросает отяжелевший взгляд на дорогу, прораставшую синевой.

Из сумерек тихо выходит его давняя утеха Василина; не спеша несет свою высокую утихомирившуюся грудь — то искушение, без которого тоже не проживет человек. Вот с кем он проведет вечер, прислушиваясь к ставшему теперь чужим шляху и к своей тревоге.

— Что тебе, Василина? — приглядываясь к подернутому печалью лицу, спрашивает постаревшим голосом.

— Тяжко, Семен,— вздыхает женщина, вздыхает тяжесть ее груди, на которой не почивало ни одно дитя, а почивали, наверное, только чубы мужчин, хотя и божится молодица, что, кроме него, ни с кем не греховодничала. Так он и поверил, если один соблазн всегда проглядывал с ее округлого и до сих пор красивого лица, если в низком голосе таилась одна жажда утехи.— Тяжко,— снова вздохнула Василина.

Лесник скривил губы и не подумав ляпнул:

— С чего бы это и тебе тяжко? Твоих же детей нет на войне.

— Постылый! Так людские же есть! — неожиданно вспыхнула Василина, круто повернулась и быстро пошла не к лесниковой хате, а назад, к селу.

— Куда же ты на ночь глядя?! Что за чушь взбрела тебе в голову? — удивляясь, возмутился Магазанник. И, не услыхав ответа, бросился вдогонку за женщиной. На поляне остановил ее и, запыхавшись, спросил: — Зачем тебе эта ссора?

И впервые непримиримость и презрение к нему блеснули в тех глазах, в которых всегда были то загадочность, то хмель любви.

— Прочь с дороги, постылый! — мотнула, зашелестела юбками и обошла его, словно зачумленного.

— И почему ты такой занозистой стала? — все еще хочет остановить ее.

— А потому! Как был ты Чертом со свечечкой, так им и остался! — в сердцах отрезала уже через плечо и гордо пронесла между деревьев и гнев, и злость — но не любовь!

Эти слова о Черте со свечечкой оглушили Магазанника. Разумеется, он знал о своем прозвище, но чтобы услыхать его от полюбовницы — такого еще не бывало. Вскоре шаги Василины затихают, но не затихают внутри обида и беспокойство.

И здесь, в разомлевших лесах, где еще не онемели чужие машины, он снова вспомнил зеленые глаза Марии и своей дочки. «Где они теперь? Разыскать бы их да и забраться втроем в уютный уголок, подальше от войны, от грызни, от политики. Так разве ж после всего пойдет ко мне Мария? Тоже отрежет тебе, что и черт на старости лет идет в монахи. Вот если война убьет ее мужа, тогда беда и поможет мне». От этой мысли невольно вздрогнул,— и вправду, так может подумать только дьявол.

С поляны Магазанник переходит в урочище, где живут барсуки. Тут в голодный год он закопал большие тысячи, которые наторговал за картошку. Потом на эти тысячи потихоньку накупил золотых червонцев, которые тоже запрятал возле барсуков. Еще есть у него тайник там, где недавно стояла пасека, а третий скрыт в древесине хаты, что в селе. Для него теперь надо найти другое место — долго ли в такое время хате стать пепелищем? Эх, суета сует, а покоя и до сих пор не знает мир...

Потом он остановился под вековой липой — тихо гудела старая борть. Война войной, а пчела и ночью работает...

Когда лесник подходил к своему жилью, на дубу, примащиваясь на ночь, простуженно каркнул старый хромоногий ворон. Надоел он, особенно в предгрозье, раздражая своим скрипучим голосом, но и убивать его тоже не хотелось — на рассвете не петухи, а этот старый вещун всегда будил Магазанника.

Опустелым теперь стало его жилье. Даже старик Гордий не остается тут на ночь, хоть и давал ему для ночлега другую половину хаты. То в клуне маялся, а сейчас и в хате не хочет отдыхать. И, будто в ответ на его мысли, из леса донесся низкий голос деда Гордия:

— Семен, ты уже ложишься?

— Да, собираюсь. Как это, наконец, вы решились на ночь глядя прийти?— насмешливо отвечает Магазанник.

— Разве ж новая власть не заставит? — Белея полотняной одеждой, старик подходит к леснику, протягивает тяжелую, натруженную руку, кожа на ней твердая, шершавая, как кора на дереве, а пахнет земляникой.

— Новая власть вас послала? — удивляется и настораживается Магазанник.

— Вот именно. Дожился, что и борща нечем посолить. Потому и притащился к тебе. Отпусти немного соли, ты же запасся ею.

— Придется отпустить. Вы сегодня уж ночуйте у меня — половина хаты пустует.

— Теперь, наверное, полмира пустует,— вздохнул старик.— Да когда-нибудь и хата Гитлера опустеет.

И хотя вокруг никого нет, но лесник оглядывается — у него новые страхи на душе.

— Вы уже вечеряли?

— Вечерял.— Гордий посмотрел на небо — какую погоду оно предвещает? — Я еще пойду к лошадям, а потом спать.

— На Степочкиной кровати ложитесь, двери не закрывайте.

— Хорошо.

Вечер снимал с окон сизую краску, и они темнели, словно крылья грачей. Магазанник прикрыл их толстыми ставнями, прижатыми прогонычами, болты которых проходили через косяки оконных рам и для безопасности изнутри завинчивались гайками.

Тихо и уныло в его жилище, где по всем углам таится одиночество. «Хотя бы Степочка поболтал со мной или Василина зашелестела смехом и юбками. И какая муха ее укусила теперь, когда так не хватает ее успокаивающего слова и соблазна?» Магазанник подходит к посуднику, чиркает спичкой, зажигает свечи в разрисованном подсвечнике: может, хоть святой воск отгонит от него недоброе предчувствие и страхи. Что ж, человече, таился ты в лесах, а теперь хватит, время переезжать в ту хату, где и до сих пор в непогоду стонут половецкие и скифские каменные бабы.

С подсвечником он подходит к зеркалу, в глубине его видит какие-то странные, словно чужие, глаза, странный отблеск горькой улыбки и неровно пропаханный годами лоб — в морщины уже и сеять можно. Эта мысль страшит

лесника; чтобы отогнать ее, он быстро идет к старинному, красного дерева, шкафу: здесь тесно сбилась людская мудрость. Вот что только выбрать из нее? Может, Библию? Да, верно, и допотопное писание не успокоит сейчас смятения души. Или лучше того чудака, что Дон-Кихотом зовется? Время уже всюду остановило твои ветряки, а ты и до сих пор живешь в памяти людской. И королей, и царей обскакал на своей сухопарой кляче, и фюрера обскачешь.

Лесник вытянул зачитанную книгу, подошел к свече, но в это время во дворе люто залаяла овчарка, потом звонко забухали копыта, заскрипели колеса, загалдели чьи-то голоса. Несет каких-то приблудных на ужин или ночевку. Магазанник бросил книгу на стол, схватил дробовик, отодвинул железные засовы сеней и осторожно вышел из хаты.

— Кто там на ночь глядя притащился?

У ворот зашевелились две фигуры, немного далее серебристо позванивали упряжью кони, и еще кто-то качался за ними, пронизывая темень дулом ружья.

— Пан и благодетель, привяжи своего волкодава, а то навеки уложим его!

Магазанник удивился не угрозе, а этому «пан». Уже и с ним на панство переходят?

— Кто же вы будете, такие проворные?

— Полиция!

Вот и приплелась новая власть. Чего ей только надо? Магазанник привязал овчарку, которая начала почему-то скулить и повизгивать. Потом пошел к калитке, ее ногой уже недовольно открывал полицай с дряблым и круглым, как решето, лицом, сплошь изрытым оспой, тоже словно решетина. За ним настороженно, с винтовкой наготове, стоял чахлый лопоухий недомерок, его продолговатая башка была чем-то средним между лошадиной головой и кувшином.

— У тебя, пан, никого нет из чужих? — подозрительно прохрипел решетоликий, в настороженных буркалах которого стояла одна злоба.

— Нет.— «Ну и мордоворот! Хотя бы ночью не приснился!»

— А кроме тебя кто-нибудь есть?

— Только старик.

— Смотри мне! — изобразил всем своим дряблым решетом недоверие.— Если что не так, сразу вырвем душу — тут ей и каюк!

Угрозы полицая возмутили Магазанника:

— Смерть у каждого за плечами ходит.

— Перед глазами тоже! — брякнул кувшинообразный недомерок.

И на это лесник как можно спокойнее сказал:

— Никто не знает, сколько нам бог продлит веку.

От этих слов полицаи притихли, а потом решетоликий примирительно промолвил:

— Прошу, пан, веди в свою берлогу.

В сопровождении двух пришельцев лесник не спеша пошел к хате. И только тут он увидел, что новоиспеченные полицаи одеты не в форму, а в какое-то рванье, лишь на рукавах свежие повязки с надписью «шуцманшафт». Бдительные гости обыскали и одну, и другую половину хаты, обшарили каморку, даже посмотрели под печь, а потом молча вышли на подворье. Через какую-то минуту в хату ввалились и стали на пороге двое в штатском: один —высокий и носатый здоровила — даже пригнулся, чтобы не набить косяком шишку на лбу, а другой худющий, с запавшим ртом и такой густой сеткой морщин, что казалось, не помирившись с лицом, она словно отделялась от него.

Глянул Магазанник на здоровилу в новом, с искрой, костюме, в свежей украинской сорочке-чумачке и не поверил своим глазам — перед ним вымытый, подстриженный, надушенный крепкими духами, прищурив глаз, картинно стоял и улыбался синими губами Оникий Безбородько. Откуда ты взялся, зловещий?

— Узнал, пан и благодетель высокоуважаемый? — словно в дубовые заслонки забил смехом: — Го-го-го...

— Оникий! — выдохнул хозяин. Не взяли-таки черти своего плута, с помощью которого еще в ту войну началось его грехопадение и охота за грешной копейкой. Снова завьюжили в голове все давно прошедшие ужасы: и виселицы, у которых стояли в очереди обреченные, и свечи на поминальном хлебе старика Човняра, и мать с ребенком. В горле застряли слова, и он только смог повторить: — Оникий...

— Оникий Иванович,— с гонором поправил Безбородько: пусть мелкота не ведет себя с ним запанибрата. Он подошел к растерянному леснику, протянул волосатую лопату руки.— Здорово, здорово, пан и благодетель. Как теперь поживаешь? Подскакиваешь или притих?

— Э, живем, лишь бы день дотянуть до вечера,— неопределенно пробормотал Магазанник.

— Чего это такую унылую завел в год воскрешения Меркурия?

— Мне бы лучше иметь год не Меркурия, а тех святых, что умеют торговать. Не дурень какой-то выдумал, что жизнь — это торжище.

Безбородько показал в усмешке пожелтевшие бобины зубов.

— Хорошо, хорошо сказал. А мы к тебе, высокоуважаемый пан и благодетель, с официальным визитом.

— Даже с официальным? — не знает лесник, что ответить нежданному гостю, крепко вцепившемуся в его ладонь. Вот так и в душу вцепится.

— Эге ж! Прежде всего знакомься.— Безбородько кивнул головой на спутника с тусклыми глазами, в чуприне которого поблескивал иней: — Крайсагроном Гаврило Рогиня.

— Гавриил Рогиня,— скривился, словно от зубной боли, крайсагроном,— видно, не любил, когда так искажали его имя.

— Не помер Данило, так болячка задавила! — снова ударил в заслонки смеха Безбородько и нацелился взглядом, источавшим один елей, на лесника.— А я теперь председатель украинской районной управы, то есть в чине, если перевести на большевистский, председателя райисполкома.

— Председатель райуправы?! А почему же не начальник полиции? — невольно вырвалось у Магазанника.

— Опоздал я, братец, на эту должность, опоздал всего на два дня,— с сожалением сказал Безбородько.— И теперь имею честь работать с бывшим уголовником Квасюком. А как ты? И до сих пор скряжничаешь, отшельником в лесах живешь?

— У нас говорят так: старую лису не выведешь из лесу.

— Теперь мы тебе жить отшельником не дадим! — решительно изрек Безбородько.

— С чего б это?

— При новой власти твоя голова будет дороже цениться в селе.

Магазанник насупился:

— Уже оценили и мою голову?

— И мы, и герр крайсландвирт, и экономкомендант! — торжественно провозгласил Безбородько.

— Эге ж,— наконец насмешливо глянул на лесника агроном и пересохшими навесами ресниц пригасил презрение.

— А почему я не вижу у тебя ни богов, ни святых? — спросил Безбородько, неодобрительно покачал перестоявшей шерстью на голове, а потом полез рукой во внутренний карман пиджака, вынул оттуда пачку денег и торжественно положил их на стол, между подсвечником и «Дон-Кихотом».— Это, Семен, мой долг. Возьми.

— Какой долг?

Безбородько усмехнулся:

— Помнишь ту тысячу, с которой несколько лет тому назад так не хотела расставаться твоя жадность? Возвращаю тебе оккупационными марками, так как ни перед кем не хочу быть в долгу. А кто должен мне, тоже сдеру, с кожей сдеру! Бери свое.

— Спасибо за память. Я давно на этом долге крест поставил. Может, перекусите с дороги? — Магазанник глянул на кипу оккупационных денег, бросил их на постель и засуетился.

— Можно и повечерять,— великодушно согласился Безбородько.— Винопития и церковь не запрещает. А тот окорок, с дымком и слезой, найдется у тебя?

— Найдется и окорок, и скобленка, и имбировка. От нас голодными и трезвыми не уйдете,— сказал те самые слова, которые когда-то очень нравились Ступачу.— Так садитесь за стол.— «Чтоб вы в огонь сели».

— Украинское гостеприимство, Гавриил! Набивай желудок да вспоминай поучение профессора-жизнелюба: «Ни один из органов не приносит человеку так много, а главное — так регулярно, наслаждения, как желудок. Бойтесь погубить его».

На померкшем лице и в потускневших глазах крайсагронома заколебалось чувство удовлетворения. Такому, видать, сам Гнатко Беспятко [1] из пекла не угодит. Вот послал бог гостей глядя на ночь! Но должен угождать им, как чирьям.

Когда на столе появились свежий хлеб, и окорок, и творог, и масло, и мед, и горилка, Безбородько сам взялся за старинную, зеленого стекла, бутылку, которую почему-то называл коновкой, наполнил чарки, выгнул гусеницы бровей и заговорщицки изрек:

— Вот и встретились, пан, в желанное время!

«В бойню, а не в желанное время»,— хотел ответить Магазанник, но промолчал, так как на морде и синих гу-

---

[1] Гнатко Беспятко — черт, персонаж украинского фольклора.

бах нового правителя было столько злобного самодовольства, что не дай бог задеть его.

Безбородько, чокаясь, провозгласил:

— Опрокинем же, паны, эту отраву за нового старосту.

— За какого старосту? — оторопел лесник в недобром предчувствии: беды не ищут — она сама тебя находит.

— За тебя же, за тебя, пан и высокоуважаемый благодетель! — засмеялся Безбородько.— Разве мы не знаем, как старое веретено умеет пряжу прясть?

Страх сразу приморозил Магазаннику лицо и нутро. Вот и попала душа на чертовы жернова.

— Что-то я не помню, когда меня избирали старостой.

Оникий не заметил, как помрачнел хозяин, подбадривающе хлопнул его по плечу:

— Так завтрашний день запомнишь — на сходе изберем тебя старостой! Дождались-таки своего! Постарались и дождались! Как оно теперь на душе?

Лесник, давясь словами, умоляюще взглянул на Безбородько.

— А что, Оникий Иванович, если я не хочу быть старостой?

— Ты не хочешь быть старостой?! — Между облысевшими веками с удивлением и раздражением округлились глаза змееяда.— Это, пан Семен, не послышалось мне?

— Не послышалось,— ответил тот тверже.

Безбородько надулся, как индюк, поднялся из-за стола, бросил свою тень на Магазанника и выкатил из груди клубок возмущения:

— А кем же ты, пан и благодетель, хочешь быть в теперешнюю завируху? Какие у тебя замыслы и намерения?

— Хочу быть обычным пасечником, каким и мой отец был. Мне и пчела может дать пропитание.

— Пасечником! — зазмеилась язвительность на синих губах Безбородько.— Он впал в детство, хочет теперь жить отшельником, как во пне. Не выйдет, голубчик, сиднем сидеть и лежнем лежать! Не то время! — так и пышет угрозой его разбойничье лицо.

— Угу,— подал голос и крайсагроном, что даже пыхтел, безбожно уплетая окорок; где только у него, обжоры, помещается он? Вот так и разделает все до косточки.

— Почему же не выйдет?

В голосе Безбородько заклокотала желчь:

— Еще не догадываешься? А кто должен быть помощником немецкой власти? Ты подумал над этим своими вер-

чеными мозгами? Не Дон-Кихот ли заморочил их? — ткнул пальцем-обрубком в книгу.

— Пусть те, кто помоложе, помогают новой власти, а меня уже хвори одолели.

— Что ты вздор несешь? С молодицами заигрывать он еще здоров, а тут... И куда твоя былая нахрапистость подевалась?

— Время и война надломили ее,— и так и сяк упирается и отговаривается лесник.— Время и камень точит.

— Время, какое оно ни на есть, летит на крыльях — лебединых или вороньих — и на плечи человека сбрасывает не перья, а тяжелую ношу,— пробубнил чьи-то чужие слова Рогиня; все на нем и в нем выражало безнадежность, только одни зубы вспыхивали золотым огоньком.

— Что, Семен, тебя лихорадит? — малость поостыв, что-то прикинул Безбородько.— Крестьянская осторожность или страх?

— Хотя бы и страх.

— О былой фортуне войны вспоминаешь?

— И от нее осталась память: еще и до сих пор ее колокола гудят в ушах.

— И напрасно. Кайзеровскую ошибку Германия не повторит. Неужели ты не видишь, как теперь текут политические воды и какую силу имеет Гитлер? Вся Европа уже дрожит перед ним, а он не только на Москву, но даже на Индию нацелил глаза и танки. Ему история записала на своих скрижалях победу. Вот закуем большевиков, и ты за усердную работу на немцев заграбастаешь хутор своего отца. Герасимом Калиткой, правда, и при немцах не станешь, но хутор добудешь. Тогда можешь днем пасечничать, а ночью досматривать мужицкие сны.

— Не хочу я ни хутора, ни должности старосты.

— Угу! — уже с любопытством взглянул на Магазанника Рогиня, у которого работали не только челюсти, но и ежик щетинистого, подбитого сединой подбородка.

Безбородько на минуту умолк, нацелил на лесника свои шершни и ударил, как ножом:

— Постой, постой, старая лиса! А тебя, умника, случайно большевики не оставили в подполье? Если так, я сам намылю петлю и заарканю твою шею. Помнишь, как это делалось при Скоропадском в державной страже?

Страшная угроза и воспоминания о прошлом выжали на лбу Магазанника холодный пот. Хотелось бросить в глаза шляхетному выродку: «Ешьте, жрите, гости, мой окорок, но не торгуйте моей жизнью». Но, склонив голо-

ву, сдержал себя, зная жестокосердие Безбородько. Верно, навсегда связал их черт своей веревочкой.

Не дождавшись ответа, Безбородько зловеще понизил голос:

— Видно, ты недаром когда-то обозвал Гитлера таким словом, за которое теперь гестапо растерзало бы тебя в кровавые клочья.

Магазанник, ужасаясь, вспомнил это слово, мерзкий испуг змеей прополз по спине и, кажется, вконец доконал его. Не отрешившись от страха минувшего, он, как в черную воду, входил в новый и чувствовал, что уже нет ему спасения. Вот так и принимаешь в себя вторую душу, чтобы лишиться единственной... Ох, как тяжело, словно они стали каменными, поднимал в мольбе глаза на своего гостя и палача: не говори, не говори такое при свидетелях.

Безбородько, кажется, понял его и уже спокойнее спросил:

— Служишь большевикам в подполье?

Лесник рукавом вытер со лба холодный пот.

— Так бы они и доверили мне. У них сейчас в подполье или в партизанах служит военком Зиновий Сагайдак.

— Где он? — хищно встрепенулся Безбородько и поглядел на закрытые ставнями окна.

— Это уж пусть ваша полиция и гестапо разнюхивают. В моих лесах его не было,— соврал, не моргнув глазом: зачем иметь лишние заботы да хлопоты?

— Появится — сразу же дай знать! — наморщил лоб Безбородько.— А это случайно не тот Сагайдак, который был в червонных казаках?

— Тот самый.

— Тогда птица времени снова сводит меня с ним,— и заважничал, что ввернул такое слово.— Дай боже хоть теперь сломать ему саблю и шею. Так вот, следи и готовься стать старостой.

Магазанник нехотя выдавил:

— Не хочет петух на чужую свадьбу, да несут...

— Если бы ты был умнее, то я назвал бы тебя дураком, а теперь не знаю, как назвать. А править должен по совести. Знаешь, почему погибла наша империя?

— Нет.

— Потому что ее последний император царствовал без веры, любви и увлечения.

— Ему ни вера, ни надежда, ни любовь не помогли бы,— давясь окороком, сам себе сказал Гавриил Рогиня.

— Вот тип! — брезгливо покосился на него Безбородько.— Сделали этого низкопробного мумиеведа крайсагрономом, а он все недоволен. Тоже с какой-то копотью в голове.— И снова к Магазаннику: — Так вот, еще по полной, а то времени у нас мало, да сядем на мою телегу и помчимся к вашему попу.

— Зачем же нам, грешникам, к попу? — удивился Магазанник.— Замаливать грехи?

— Глупый ты еси. Прикажем попу: пусть он завтра при всей общине отслужит панихиду по погибшим немецким воинам. Потом не где-нибудь, а возле церкви выберем тебя старостой, и снова в церковь — отслужим молебен за спокойствие души нашего пророка. Чтобы все было для не зараженных большевизмом мужиков хитро-мудро, державно и по-божьему.

Лесник выпил имбировку, словно яд, и еще потянулся к бутылке: может, подпоить этих гостей, да и...

— Хватит набрасываться на горилку! Нагостевались,— поднялся из-за стола Безбородько.— Поехали.

И Магазанник заплетающимися ногами пошел за своими новыми правителями. Чтоб их пораспирало от его харчей!

Когда он встал на порог, его плеча осторожно коснулась рука деда Гордия, она и теперь пахла земляникой.

Магазанник вздрогнул:

— Чего вам?.. Хату закройте изнутри.

— Разве теперь о хате, о душе надо думать,— зашептал старик и потянул его в сени.— У тебя же есть ум в голове. Опомнись. Не продавайся выродкам, не поддавайся их наущению. Слышишь?

— Как будто я этого хочу! Тянут насильно, как на аркане,— и тоскливо вздохнул.

— Беги, Семен, от них. Потом будешь каяться, да поздно будет.

Магазанник печально покачал головой:

— И вы, дед, кинулись в политику?

— Какая же это политика? Одна беда. Беги от нее.

— Как же, вы думаете, можно убежать?

— Если нет смелости, то убегай зайцем — и не оглядывайся.

— Уже не те ноги у меня.

— Тогда деньгами откупись. Не пожалей даже проклятого золота. Сыпни им хоть в горло червонцев. Не суй свою голову в чужой котел.

Магазанник снова вздрогнул, а от ворот его окликнул Безбородько.

— Уже зовут.

— Это зовущие на тот свет.

Старый Гордий махнул рукой, вышел из сеней и повернул в леса.

— Дед, а ночевать?

— У тебя и днем страшно,— отозвался из темноты непримиримый голос.

Над лесом уже роились звезды петровок, и им не было никакого дела до людской ничтожности, что когтями хваталась за видимость власти и за чьи-то души. Чьи-то души ему ни к чему. А вот хуторок может пригодиться. Только бы скорее закончилась военная вьюга... Это ж подумать только, какая сила у Гитлера,— даже на Индию нацелился.

Когда Магазанник стукнул воротами, на дубе спросонок каркнул тот ворон, у которого была простуда в голосе и хромота в ногах.

«Чур меня, поганец! Неужели ты и ночью почуял чью-то кровь?»

«Кр!» — ответил на его немой вопрос ворон, по-змеиному зашипел крыльями и пролетел над головами гостей.

«Чтоб ты сдох еще до утра! А не сдохнешь — застрелю».

Они подошли к фаэтону, в фонариках которого слепо горели свечи.

«Словно за упокой души»,— полоснул Магазанника суеверный страх.

Не успели рассесться на мягких сиденьях, как решетоликий полицай гикнул, свистнул и кони, мотнув гривами, полетели на проезжую дорогу, по обе стороны которой зашевелилась темень, зашелестели дубы, что держали на своих руках столетия и звезды.

Через час въехали в онемевшее село и, минуя церковь, свернули к жилищу отца Бориса, который уже с полвека был тут попом. Он и крестил, и венчал Магазанника, наверное, раз наступила такая жизнь, и хоронить будет. Лесник с сожалением подумал о ненадежности своей жизни и перекрестился.

— Угу,— насмешливо сказал на это крайсагроном и зевнул.

В хате отца Бориса еще светилось окно. Он сам со све-

чой в руке открыл пересохшую дверь, пропустил в дом непрошеных гостей, поставил свечу перед образом спасителя, который держал в руке землю. Удержит ли теперь? Сгорбленный, припорошенный снегом седины, священник остановил большие, затуманенные годами глаза на Безбородько, и тот, взглянув на подсвечники с литыми узорами, поклонился ему:

— Доброго здоровья вам, отец.

Не зная, что за гости у него, старик ответил уклончиво и мудро:

— Дай, боже, хлебу урожай, а людям здоровья.

Магазанника ошеломило это приветствие: не отделяет ли батюшка их от людей?

— Извините, отче, что мы так поздно приехали к вам,— начинает уже гневаться Безбородько, так как священник, стоя возле образов, увитых виноградной лозой, и не думает приглашать их садиться.— Новая районная власть просит вас завтра в траурной ризе отслужить панихиду по павшим немецким воинам.

Священник вздохнул, вплел в сизую прозелень бороды повосковевшую руку, посмотрел поверх новой районной власти.

— Не могу.

— Почему же не можете? — и снова шершни пробились из глаз Безбородько.

— Потому что эти вояки не нашей веры.

— И за многолетие и покой души нашего правителя и пророка не отправите богослужение?

— За покой души нашего правителя и пророка? — удивленно переспросил отец Борис.— Это какой у нас пророк объявился?

— Адольф Гитлер! — вытянулся Безбородько и рванул правую руку вверх.

— За него тоже не могу.

— И напрасно, батюшка! — зашипел тот угрозой.— А вот его преосвященство епископ Эммануил [1] отслужил и за немецких воинов, и за Гитлера.

---

[1] Владимиро-Волынский и Ковельский епископ Эммануил проявил себя не столько проповедями Священного писания, сколько прислужничеством перед гитлеровцами. Вот, например, одно из его обращений к «пастве» в фашистской прессе: «Украинцы! Обращается к вам украинский архипастырь, верный сын матушки Украины. Обращается к вам преданный церковному делу епископ с призывом: не дайте втянуть себя в сети красных агентов, не верьте большевистской агитации. Почему большевистские агенты

Презрение легло на поблекшие губы отца Бориса.

— Тогда и поезжайте к епископу Эммануилу.

Глаза Безбородько оледенели, и он, словно плетью, ударил старика угрозой:

— Отче, а не думаете ли вы, что за эти слова мы тут же можем выпустить из вас душу?

Старик вздрогнул, прикрыл глаза, с презрением посмотрел на проходимца и твердо ответил:

— Кто загубил свою душу, завещав ее нечистому, загубит и еще чью-то. И еще одно тебе скажу: садясь на ханство, думай о двух карах — небесной и земной!

— Если бы вы были не таким старым...— Безбородько захлебнулся ненавистью,— сам бы вас подвесил в застенке на крюки.

Отец Борис отшатнулся, уперся седой головой в святых и, непримиримо взглянув на Безбородько, изрек:

— Сколько живу, а такого палача вижу впервые. Не из пекла ли ты родом? Изыди, порождение ехидны, изыди, мелкотравчатый умишко! Изыди, чернозрячий!

Безбородько осатанел, сунул руку в оттопыренный карман, но передумал, обернулся и, пригибаясь, выскочил из дома.

— Угу,— не то ему, не то патриарху, изображенному с панагией и патерицей, пробормотал крайсагроном, безнадежно покачал омертвелой головой и зашелестел словами, словно сухими листьями: — У меня отец тоже был батюшкой.

— Не верю, чадо! — обрезал старик.

— Почему же?

— А ты подумай, если у тебя мозги не вывихнуты, и вырви из нутра нечестивость. Лучше калекой стать, чем пойти за такими,— и кивнул головой на дверь.

Сожаление о чем-то утраченном промелькнуло на померкшем лице Рогини. И даже ежик на подбородке подернулся печалью.

— Наложите, отче, епитимью на погубленную душу,— коснулся рукой своей щетины.

так легко взбунтовали вас? Подумайте, сколько народов, как, например, бельгийцы, голландцы, французы, норвежцы, народы Балканского полуострова и другие, работают рука об руку с немецким народом в сознании, что после уничтожения нашего общего врага они получат право занять надлежащее место на карте Европы. А мы как поступаем? Мы вступаем в ряды врагов строя и порядка, задерживаем рыцарское немецкое войско на пути к победе. Опомнитесь, пока есть время! Будем же сотрудничать, чтобы отдохнуть, наконец, от военных бурь».

— Придешь в другой раз,— на что-то намекнул старик и положил руку на серебряные застежки закрытой Библии.

Назад они возвращались будто с похорон.

— Ох, и попа имеем,— никак не мог успокоиться Безбородько,— такой и в подполье может пойти. Забыл я попугать его приказом начальника штаба верховного главнокомандования вооруженных сил Германии Кейтеля. Слыхал о нем?

— О Кейтеле слыхал, а о приказе не знаю.

— Так слушай, что там черным по белому написано. Я это выучил наизусть. Немцам, значит, наличных вооруженных сил для поддержания безопасности хватит только тогда, когда всякое сопротивление будет караться не судом, а системой террора, которая будет достаточной для того, чтобы уничтожить в населении все попытки сопротивления. Командиры должны найти способы для исполнения этого приказа путем драконовских казней. Слышите — драконовских!

— Драконовская порода,— неопределенно, будто сквозь дремоту, сказал Рогиня.

— Ты о чем?! — зазвучала угроза в голосе Безбородько.

— О том, что вы читали, как стихотворение.

Когда доехали до двора лесника, Безбородько хмуро изрек:

— Так вот, Семен, принимай на ночлег. Полицаи пусть спят в клуне, а мы — в хате.

— Ночуйте,— безучастно ответил лесник, понимая, что гибнет его доля: за полцены или задаром продал ее.— Только часового поставьте.

— Поставлю. Эх, и ночь! — глянул на небо Безбородько.— Забраться бы к какой-нибудь потаскушке да и заснуть у нее под боком.

На эти слова Рогиня скривился и с отвращением отвернулся от Безбородько.

В хате гости снова набросились на еду и на горилку, но теперь больше всех пил лесник, чувствуя, как в голове начинает кружиться ярмарка. Безбородько смотрел на него, смотрел и наконец не выдержал:

— Ты что, Семен, так заливаешь мокрухой? Страх?

— Нет, не страх, а безволие и то, что осталось во мне от человека. Ибо что наша жизнь? Один обман, одно лицемерие...

— Во всем? — резко спросил Безбородько, сжимая в руке стакан с горилкой.

— Считайте, во всем, кроме женщин. Если бы не женская верность, то не было бы у нашей души ни одного доброго пристанища,— снова вспомнил свою недостижимую мечту, которая навеки пренебрегла им. Может быть, с нею и его жизнь не попала бы в такие тиски.

Безбородько не ожидал такое услышать от Магазанника, который смолоду был падок на девушек и молодиц. Что же это означает? Запоздалое раскаяние или тоску по той добродетели, что миновала его?

— Это тебя всенощные сантименты карают?

— Почему же сантименты? — глухо возмутился Магазанник.

— Потому что уже настало время, когда в других странах даже писатели не вспоминают о женской верности. Скоро и у нас по ней справят поминки. Время высокой техники и чистогана растлевает все, и женщину тоже. Недаром кто-то сказал: красоту даже ум не может одолеть, а деньги могут.

— Философия завсегдатаев борделей,— не выдержал Рогиня и, презрительно оглядев Безбородько, поплелся спать в каморку.

Председатель районной управы взглянул на лесника и бросил вслед агроному:

— Тип! Не из тех ли, что сюда — гавкнет, а туда — тявкнет?

Магазанник тоже захорохорился:

— Что-то вам сегодня никто не может угодить, даже женщины. А что вы о своей бывшей жене можете сказать? Вы ведь так искали ее, а теперь забыли? — вспомнил ту чернявую, что когда-то так поразила его.

— Не забыл,— неожиданно погрустнели Безбородьковы клейма глаз.— Когда приехал сюда, сразу же бросился разыскивать. Хозяйку ее квартиры мои полицаи шомполами секли, время от времени отдыхая, кровь аж на стены летела, и она наконец созналась, что моя не поехала в эвакуацию, а осталась тут — или в партизанах, или в подполье.

— Еще по знакомству и в вас пулю влепит.

— Не шути так страшно,— повторил слова, когда-то сказанные лесником.— Я весь район, как стожок, перетряхну, а ее найду. Вот и поговорили, а теперь пора спать.

— Пора.

— Только посмотрю, стоит ли часовой...

Когда Магазанник проснулся и с шомполкой вышел на подворье, солнце в лесах уже расплетало косу. Так о небесном светиле когда-то говорила его тихая жена. Но не она, а черное всклокоченное гнездо ворона привлекло его внимание. Лесник приложил к плечу ружье, прицелился. Грянул выстрел, вздрогнуло вороново гнездо, из него посыпались обломки веток и черные перья, но ворона в гнезде не оказалось.

Между деревьями качнулась кряжистая фигура Безбородько.

— Ты с кем воюешь, Семен?

— С вороном.

— Суеверия?

— Может, и так.

— А почему проспал?

— Это хмель во мне проспал. Мы вчера не поскупились на него.

— Особенно ты. А куда же делись твои ульи? — кивнул головой на опустевшую пасеку.

— Должен был спрятать от разбоя.

— Ты еще возьми да при немцах брякни такое, тогда вволю хлебнешь лиха.

— Кто теперь не хлебнет лиха? Чем будем завтракать?

— Окороком, пан и благодетель высокоуважаемый, его слезы и сейчас стоят у меня перед глазами, женские так не стояли,— засмеялся Безбородько.— А с чего ты начнешь свою работу как староста?

— Убегу из леса, чтобы не оставить тут голову.

— Только прошу тебя: перед бегством приготовь хороший ужин барону.

— Какому барону?

— Ты ж, верно, слыхал, что в наши края из Верхней Померании приехал на постоянное жительство барон? Он сейчас подбирает себе такие земли, чтоб был и тучный чернозем, и речка, и луг, и лесок. Уже будто и нашел возле водочного завода. А строиться хочет там, где когда-то был замок, чтобы стариной пахло.

— Зачем ему эта развалина?

— Верно, лишние деньги натирают карман и мозги.

— Может, он и завод намеревается прихватить?

— Ты угадал. Его родня когда-то владела на Подольщине пивоваренными заводами, а теперь барон будет водочную слезу перегонять на золотую.

Глаза Магазанника затуманились, а лицо покрылось сеткой морщин. Исподлобья глянул он на мглистый утрен-

ний лес, а увидел и водочный завод у речки, и в золотом да сизом дыхании чернозем, к которому уже дотянулись цепкие руки именитого отпрыска пивоваров. «Чего тебя, приблуда, занесло сюда? Коли захотелось перегонять водочную слезу на золотую — перегоняй у себя».

— Большой надел собирается отхватить барон?

— Баронский! У вас, как поется, просторы необозримые.

У лесника прорвалось невнятное «так-так». Вишь, его собственным хуторком только манят, а просторы какой-то пришелец отхватит, сто чертей тебе в самую печенку.

Безбородько пристально взглянул на лесника, словно отгадал его мысли, засмеялся:

— Не пробудилась ли у кого-то жажда Герасима Калитки?

Магазанник недовольно махнул рукой.

— Э-э, да что там говорить.

— Вероятно, так,— после молчания невесело согласился Безбородько и попрекнул себя за глупо-раскатистый смех, ибо вспомнилось прошлое, в его тумане заколыхались и свои поля, и свои дубравы, и свои лужки, на которых весной женщины так хорошо расстилали полотна. Теперь это все тоже может отхватить какой-то барон или гауптман, а ты довольствуйся только службой... собачьей службой. Была она и при гетмане, но тогда чувствовал за спиной помещичьи имения, а перед глазами видел по меньшей мере кресло губернского старосты.

А теперь, считай, ничего нет ни за спиной, ни перед глазами. И сразу же отпала охота угождать барону. Да что поделаешь? Коли бегал за возом — побежишь и за санками.

— И вы, наверное, свою землю вспомнили,— не выдержал Магазанник.

— Да что там говорить,— ответил его же словами, а мучительные боли сдавили внутри так, как давно уже не давили.— Ты же, Семен, достойно приготовься. Какие ни на есть гости, а перед ними шапку должны снимать.

— С бароном будет охрана?

— Небольшая. А до этого со мной приедет крайсландвирт.

— На моем мосту тройственные гости. Чем же я буду угощать таких важных чинов? Какими напитками да яствами ублажу их?

— Окороком, свежим медом в сотах, чтобы даже пчела по ним ползала, варениками с вишнями и сметаной. Барон

охотник и любит, чтоб за столом все было просто, как в лесу. Потому окорок кромсай кусками, соты клади нерезанными в корыта, вареники ставь в макитре.

— Кто же теперь налепит их?

— А Василина? — вспомнил старую историю и тряхнул своими волосами, которые припорошили снегом года.

— Ее теперь и золотым калачом не заманишь в лес.

— Тогда я из ресторана пришлю на помощь такую молодайку, которая и спереду и сзаду хорошего складу. Глаза у нее, лукавой, не глаза, а стрелы: одной попадает в ухажера, а другой — в его добро.

— Лучше бы она была одноглазой. А борщ с голубятиной будет есть барон?

— Какой это борщ с голубятиной? — не понял Безбородько.

— С голубями, с лесными вяхирями.

— Так это ж экзотика? Бой вяхирей!

— Я знаю, где они гнездятся. И поджаренные вяхири, верно, ублажат вашего барона. А пить что будут гости?

— О выпивке не беспокойся, сами привезем. Своей же, настоянной на корнях, не ставь: барон к чужому зелью имеет дурное подозрение. Вот будто и все. А после бегства из леса что будешь делать?

— Я еще не думал над этим.

— Так вот тебе мой совет: завтра же возьми мастеров и посреди площади построй виселицу, чтобы каждый чувствовал руку новой власти. А какая должна быть виселица, ты по скоропадчине знаешь, только мы ее механизируем блоками Крупа: пальцем дернешь веревочку — и человек уже несет голову под самую перекладину.

Снова ужасы восемнадцатого года подступили к леснику. Он даже покачнулся, услыхав, как на плечах скоропадчиков шелестели шлыки, а на виселицах — молодые чубы.

— Нет, я виселицу делать не буду.

Безбородько пристально взглянул на него, насмешливо скривил синюшные губы.

— Не суй мне под нос свою строптивость, а руби под корень всякие сомнения, а то они до добра не доведут. О Донцове слыхал?

— Это тот, что из самостийников? Чернокнижник?

— Пусть будет по-твоему. Запомни его слова: «Только жестокость, террор и страх могут принести нам власть. Народ был рабом и будет рабом». А чтобы раб не взбунто-

вался, перед его глазами надо поставить виселицу. Раскумекал?

— Кто же у кого учился — Кейтель у Донцова или Донцов у Кейтеля?

— А это уже материя не для твоего ума, не касайся ее своим языком,— недовольно отрезал Безбородько.

XI

Оксана спросонок соскакивает с кровати на земляной пол. Он и трава на нем холодят ноги, а в сон ее, в тело ее гвоздями вбивается таинственный стук. Кто ж это в заполуночную пору? Не черное ли воронье? Такое теперь время. Женщина пугается и стука, и холода, который сковал ее. Что же делать? Что?.. Но кто-то снова стучит в наружную дверь. Растерянная Оксана припадает к постели, будит мужа:

— Сташе, проснись! Слышишь, Сташе! Кто-то стучит к нам. Слышишь?

— Что?.. Это ты, Оксана? — со сна, не раскрывая глаз, улыбается муж, тянется руками к ее голове, к ее волосам, к ее сорочке, от которой всегда пахнет татарской травой, лугом или степью.

Удивительно, но и до сих пор Стаху не верилось, что Оксана его. Потому и хлопотал, как мог, возле нее, стараясь не отпускать жену от себя. Пойдет она в поле, к картошке или льну, а ему уже кажется — пошла за тридевять земель, вот и найдет какую-нибудь причину, чтобы самому притащиться.

— Чего тебе? — и таит улыбку, и сердится: разве ж он не знает, что скажут болтливые женщины?

А он, винясь, пробубнит тихо то ли земле, то ли певучим, с золотыми головками, снопикам льна:

— Вот глянув одним краешком глаза на тебя, на твою красу, и пойду потихоньку к своей работе. Разве ж я виноват, что ты меня словно приворожила? Эге ж, не виноват?

— Сташе, не дури мне голову, слышишь же, как сзади нас посмеиваются?

— Неизвестно, кто кому навеки задурил голову,— ответит да и пойдет не спеша. А она еще долго будет смотреть ему вслед, приложив ладони к глазам...

— Сташе, проснись,— уже начинает трясти его плечо, чтобы стряхнуть сон.

— Ты чего? — со сна ничего не может понять муж, перебирая рукой пахучие волны ее волос. Вот жаль только, что в них начинают влетать паутинки «бабьего лета». Давно ли он встречал ее девушкой возле татарского брода. Кому она тогда несла вечерю?.. Э-хе-хе, как быстро пролетели годы...

В каморку вдруг открылась дверь, и послышался перепуганный голос Миколки:

— К нам какой-то человек просится. Прижался к косяку и стучит.

И только теперь Стах подхватывается с постели, тянется всем телом на стук. В дверь снова дятлом застучали чьи-то пальцы. Сна как и не бывало.

— Кто же это, Сташе? Не полиция? — и даже в потемках он видит побледневшее лицо жены.

— Чего ей к нам? — Прислушиваясь, второпях одевается, кладет руку на шелковые кудри Миколки, прижимает его к себе и собирается выйти из каморки.

— Подожди, Сташе, лучше я,— крестом стала на пороге Оксана и не пускает Стаха.— Ты окно открой: может, бежать придется.

— Оксана,— уже улыбается ей,— ты не очень того, пугайся. Это, верно, наши.

— Какие наши? — не сходит она с порога.

— Вот сейчас увидишь. Только не дрожи,— успокаивающе касается ее плеча, на котором повис надломленный стебель травы, так как до поздней осени на Оксаниной постели лежит лесное сено с ромашкой, деревеем, пижмой.

Оксана, веря и не веря, смотрит на Стаха.

— Правда наши?

Стах все еще прислушивается.

— Говорю же тебе. Это условный знак.

— Почему же ты скрывал от меня? — Оксана сторонится и все равно со страхом смотрит на двери сеней, к которым прямо с постели, босой, подходит муж. Теперь всего можно ожидать. Вон и Гримичи сколько пережили, когда полиция приехала за Романом и Василем.

Стах останавливается перед дверью и тихо спрашивает:

— Это вы?

— Я.

И сразу гора сваливается с Оксаниных плеч.

Словно выстрел, отдался в ее ушах стук засова, и в сени вошел неизвестный. Стах то ли придерживает, то ли обнимает его, и так они стоят минуту, не говоря ни слова.

— Зиновий Васильевич! — вскрикивает и прикладывает руку к губам Миколка.— Заходите же.

— Сейчас, Миколка, зайду,— хрипло говорит Сагайдак, закрывая двери, и, пошатываясь, направляется к каморке.— О, тут вся семья... Здравствуйте, Оксана, здравствуй, Миколка. Как ты?

— Плохо, Зиновий Васильевич,— опустил голову хлопец.— Кругом плохо.

— От Владимира весточки нет?

— Нет,— вздыхает Оксана. И только сейчас набрасывает на голову платок.— Поехал со своим техникумом, а доехал ли?

— Будем надеяться...

Оксана торопливо, кое-как застилает кровать, одеялом занавешивает единственное окно каморки, в которой теперь почему-то норовит спать муж, зажигает убогий, по теперешнему времени, свет, ибо что говорить об электричестве в селе, когда его и в районе нет. Слабый огонек покачивает тени, освещает чистое золото Миколкиных кудрей, печальное лицо Оксаны, задумчивое Стаха и измученное Сагайдака. Морщины горечи, морщины утрат както сразу подсекли его губы, небрежно избороздили высокий лоб.

— Вы, наверное, голодны?

— Голоден, Оксаночка, как волк в лютую зиму,— пытается улыбнуться Сагайдак.

Он снимает фуражку, и три пары глаз изумленно смотрят на него.

— Чего вы? Чего? — с удивлением спрашивает и оглядывается вокруг: что же они увидели такое странное?

— Ничего, ничего,— первой приходит в себя Оксана, хотя в голосе ее еще дрожит печаль.

Зиновий Васильевич растерянно обводит всех взглядом:

— Что с вами, люди добрые? Какая-нибудь беда? Может, мне лучше уйти от вас?

— Нет, нет, дядя! — льнет к его рукаву Миколка.— Побудьте с нами.

— И не подумайте куда-то уходить,— грустно говорит Стах,—а то ведь скоро уже начнет рассветать. Раздевайтесь. А ты, Оксана, иди к печи, если там что-нибудь есть.

— Так что же, наконец, с вами?

— Это не с нами,— не знает, что сказать, Стах.— Это вас вон среди лета снегом занесло.

— Снегом? — не понимает человек и невольно подходит к небольшому зеркалу. В нем тускло заколебалось осу-

нувшееся лицо. Но не оно поражает, а чуприна, в которую так неожиданно вплелась седина. Он провел по ней рукой, однако изморозь не осыпалась— вечной стала. Как видно, не прошел даром тот холод, что бил его на подворье Бойков. Вот и прощай лето — зима сразу упала на голову, верно, для того, чтобы по гроб жизни не забывал тех, кто уже никогда не вернется. Память переносит его к Бойкам, где старость оплакивала молодость и где в гробу лежали те зернышки жита, что пойдут в землю и никогда не взойдут на ней.

Он отгоняет от себя видения, оборачивается к Стаху, Оксане, Миколке и на их печаль отвечает словами старинной песни:

— «Як упала зима біла — голівонька моя бідна...» Мой отец поседел в шестьдесят с гаком, его сын в сорок... Да если бы только печали, что эта.

— И то правда... На каждую голову рано или поздно приходит своя метель. Подавай, жена, вечерю или завтрак.

Оксана и Миколка вышли из каморки, а Сагайдак стал против своего связного.

— Ты знаешь о нашем горе, о черной измене?

Стах вздрогнул.

— Немного знаю. И колокола по убиенным слыхал в окрестных селах,— прислушался к предрассветной тишине, словно в ней и до сих пор таился похоронный звон.— Беда никогда не ходит одна,— и провел рукой по лбу и глазам.

— Это правда, беда никогда не ходит одна — немало у нее подручных есть.

— На одного уже меньше стало,— намекнул Стах на казнь Кундрика.

— Как Гримичи?

— Позавчера ночью к ним ворвалась полиция, обыскала хату, амбар и клуню, даже в сено из винтовок стреляли. Но, к счастью, Романа и Василя не было дома.

— Догадался шепнуть Лаврину, чтобы хлопцы не наведывались в приселок?

— Сказал,— коротко ответил Стах и вздохнул.— Тетка Олена с горя словно тронутой стала, я сегодня в сумерках видел ее возле ворот. А Яринка приходила ко мне и про вас допытывалась, да я ничего не мог ей сказать. Тогда она обозвала меня бессовестным и злая, как огонь, вылетела из хаты. Такой я ее никогда не видел.

— Чего ей? — забеспокоился Сагайдак.

— С Мирославой Сердюк намерилась идти в партизаны, а близнецы подняли сестру на смех: мол, там только такой болтливой не хватало. И впервые Ярина поссорилась с Романом и Василем, назвала их бестолковыми и расплакалась.

— А о других что-нибудь слыхал?

— Только о Петре Саламахе,— и даже почему-то усмехнулся.— Недаром о нем говорят: если он руки осмолит, то и черта словит... Схватили его полицаи на рассвете в родной хате, а Петро, попрощавшись с женой, только об одном попросил их, чтобы позволили взять с собой четверть горилки. Те обрадовались, рассмеялись, посоветовали еще и закуску прихватить. Вот человек по дороге и начал потихоньку прикладываться к бутыли и словно бы забывать обо всем на свете. Не выдержали полицаи, остановились в лесу позавтракать, еще и Петра подняли на смех, что, мол, нализался натощак, и тоже начали причащаться бесовским зельем. А Петро выждал благоприятный момент, да и улизнул в лес. Только и видели его. Пришлось им за это оплеух в райполиции нахватать. Квасюк на это мастак.

— Где же теперь искать Петра?

— Это же самое он, верно, думает и о вас, кружа по лесам.

— Теперь, Сташе, ко мне на старое место пока не приходи — и его продали.

— Выходит, нет базы?

— Нет, с корнями вырвали. Все, все надо начинать сначала.— Сагайдак помолчал, твердо взглянул на связного.— Может, после этого будешь чураться меня?

Стах сразу нахмурился, сгорбился, собрал морщины на лбу и у переносицы.

— Вы, Зиновий Васильевич, засомневались? Боитесь за меня?

— Не боюсь, человече. Но, может, ты после всего, что случилось у нас и в отряде, растерялся? Может, веру на неверие поменял?

У Стаха беспокойно зашевелились руки, он их сжал до боли, а затем полез за кисетом.

— Почему же молчишь?

— Что мне говорить, если у вас зароились такие мысли? — горечь скрытой обиды прозвучала в голосе Стаха.

— А ты не удивляйся: такое время. Я уже не одного видел растерянного и изверившегося. Потому прямо, как на суде, и спросил.

Стах обиделся:

— К чему разговоры о суде? Разве эта война не суд для каждого? Разве она не разделила все на грешное и праведное? — и замолчал.

Сагайдак понял, что его неосторожное слово ранило душу человека. Как мы часто в суете сует не замечаем этих ран!

— Если я что-то не так сказал, то прости. Но все равно ты должен сказать то, что надо сказать. Говори!

Стах сосредоточенно посмотрел на Сагайдака.

— Тогда скажу, и столько, сколько никогда не говорил. Так слушайте. Я вас тоже спрошу, как на суде, прямо: а кто из нас вот тут, при чужой власти, при сатанинских виселицах, при драконовских приказах, где только и слышишь о расстрелах и смерти, не растерялся? У кого из нас не болит и не плачет душа? Разве ж она знала когда-нибудь такую боль? Но это одно дело, а вера — другое. И если меня сейчас потянут на виселицу с крупповскими блоками, которая уже стоит в нашем селе, если сейчас распнут на гестаповских крюках,— все равно веры моей не распнут, пока я человек, а не требуха. Я могу до поры до времени затаиться, но не покорюсь неволе. Если же вы засомневались во мне, если хотите, чтобы мы пошли с вами вразброд, тогда накормим вас, дадим на дорогу хлеба, дадим самосада — да и бывайте здоровы. А сами тоже начнем думать, куда деваться в эту бешеную годину. Хотя я и мягкий человек, но ни воском, ни глиной не стану в чужих руках, а сам чужие руки буду укорачивать. Вот, к примеру, приехал к нам какой-то вельможный барон и вынюхивает наилучшие земли для своего имения. Так думаете, мы, хотя и растерялись, будем его хлебом-солью встречать? Тогда плохо вы нас знаете. Вот так, Зиновий Васильевич, и не иначе. Одно только и до войны не раз меня обижало: почему некоторые, например, из района, считают — если ты живешь в селе, то уже меньше любишь свою землю, меньше уважаешь революцию и непременно должен быть глупее или непременно с каким-то пережитком? Вот же некоторые, слишком мудрые, назвали нашего украинского хлебороба «хитрым дядькой», еще и радуются, как они умно окрестили его. Не в ту сторону, в какую надо, рос у этих кумовьев ум, так он и черт знает во что может перерасти. Только кому же это, каким радетелям, и для чего необходимо?

— Прости, Старше, проклятые нервы заговорили,— Зиновий Васильевич обхватил связного руками, поцело-

вал, а сам себя выругал в мыслях: как мы мало знаем тех, чей огонь годами горит для добрых людей, и как часто хитромудрые советчики бросают тень или подозрение на человека, который молчаливо и верно идет за своим плугом!

— Такой уж я хороший? — удивился, смущенно улыбаясь, Стах.

— Хороший — не то слово! Красавец!

Стах покачал взъерошенной со сна головой:

— Своей матери и я казался красавцем, а вот девушкам — не очень. Так не увольняете меня со службы, за которую буду иметь целых тридцать дней тревог в один месяц?

— Не увольняю, дорогой человек. И каюсь, что о таком заговорил с тобой.

— Может, так оно и надо,— неуверенно сказал Стах,— чтобы потом не было накриво, ведь не одного теперь напугали те мундиры с черепами и скрещенными костями. Да только мертвые черепа и кости, на которые смотреть противно, не одолеют живых людей.

В каморку со сковородкой и хлебом вошла Оксана, а Миколка принес тарелки и ложки. Стах из какого-то закутка достал бочоночек с вишневкой.

— Не попробуем ли этого прошлогоднего зелья? Оно еще в мирное время настаивалось.

— Не стóит,— ответил Зиновий Васильевич.

— Может, и не стóит. Но я сегодня выпил бы,— на что-то намекнул Стах. А на что — Сагайдак догадался. И как у него вырвалось глупое слово о суде?

— Тогда наливай.

Хозяин поднял бочонок и налил вишневки в кувшин, затем разлил в стаканы, чокнулся с женой и гостем.

— За веру, чтоб сгинуло неверие и недоверие!

— За веру!..— и Сагайдак дружелюбно взглянул на Оксану: — Перепугал тебя, красавица?

Тени пробежали по ее лицу.

— Напугали-таки.

— Что поделаешь? Такое настало время. Да, глядя на тебя, и теперь спросишь: откуда только берется женская красота? Даже опечаленная.

— Ой, не говорите такое...

— Ну, не буду,— и тут вспомнилась ему Ольга и минута прощания с ней возле ворот... Как она там?

Когда Оксана и Миколка вышли из каморки, Стах спросил:

— Где же вас теперь разыскивать, если старое место провалилось?

Сагайдак вздохнул:

— Вот и я думаю над этим. Думок много, а толку пока что мало.

Они помолчали, потянулись к куреву. Погодя Стах посоветовал:

— А что, если вам на какое-то время перебраться на болота? Там в древности и от орды прятались люди. В этом гиблом месте я нашел бы сухие островки, куда прежде на лето прилетали журавли.

— Ты еще помнишь их?

— Помню. Это красивая и осторожная птица.

Сагайдак подумал, вспомнил болота, вспомнил и журавлей еще по двадцатому году, и снова на ум пришла Ольга. Не потому ли, что ее хата стоит неподалеку от болота?

— Что ж, ищи, Сташе, сухие островки. Там, верно, будет хорошее убежище для раненых. А нам надо в лесах искать себе место, чтобы врага бить. Мы не имеем права прятаться в болотах.

— И то правда,— сразу согласился Стах.— Я сегодня пойду с Миколкой на болото.

Зиновий Васильевич забеспокоился:

— Не надо с Миколкой. Иди один.

— А все-таки лучше с Миколкой. Жизнь есть жизнь: не станет меня — дите заменит. И когда задождит, то добраться туда сможет только подросток.

— Не знаю, что и сказать на это.

— Ничего не надо говорить. Миколка тоже собирается биться с фашистами: уже две винтовки с патронами есть.

И в это время из полуоткрытых дверей послышался тихий шепот:

— Уже три, тату. Третья — немецкая.

Стах возмутился:

— Третья!.. Как тебе, сыну, не стыдно подслушивать нас?

Миколка начал оправдываться:

— Тато, я и не думал подслушивать. Я хотел хоть немного побыть с Зиновием Васильевичем... Честное пионерское.

Сагайдак грустно улыбнулся.

— Иди сюда, Миколка. Почему же ты хотел побыть со мной?

Мальчик тихонько, виновато переступил порог и стал возле него.

— Я думал, Зиновий Васильевич, спросить вас: не понадобятся ли мои винтовки?

— Понадобятся, сынок, еще как понадобятся.— Военком положил руку на Миколкину кудрявую голову и загрустил. Никому бы не знать этих войн! Да не минуют они ни старых, ни малых. Сагайдак протянул руку Стаху: — А теперь прощайте.

— Куда же вы? — с тревогой спросил Стах.

— Искать своих да что-то делать.

— Так вот-вот забрезжит рассвет. Перебудьте у нас.

— До утра еще проскочу в леса.

— Смотрите. Душе виднее, чем глазам.

Сагайдак попрощался с Миколкой, Оксаной и за Стахом вышел из хаты. Уже на пороге про себя с удивлением сказал:

— Это ж подумать — Миколка три винтовки нашел.

— Тут, верно, есть и моя вина,— прошептал Стах.

— Какая?

— Вот сейчас.

Стах обошел подворье, постоял у ворот, потом подошел к Зиновию Васильевичу и повел его в клуню. Он долго возился возле дверей, которые были закрыты на два засова.

— Не золото ли прячешь в клуне? — усмехнулся Сагайдак, входя в настой лугового сена и снопов.

— Увидите,— коротко ответил Стах и начал разбрасывать снопы, что в беспорядке лежали на току. Потом он взял за руку Сагайдака.— Вот потрогайте.

Сагайдак дотронулся до металла и не поверил себе:

— Что это, Сташе? Неужели пушка?

— Она, правда, маленькая, да большей не нашел. Притащил на всякий случай. Думаю, не пригодится вам, так пригодится мне.

— А для чего же тебе?

— Разве нельзя выждать удобный момент и ударить из нее по какой-нибудь машине или по колокольне, которую осквернили полицаи?

— А стрелять ты умеешь?

На это Стах рассудительно ответил:

— Если есть из чего стрелять, то найдется и кому стрелять.

— Спасибо, Сташе! Твоя пушка очень пригодится нам.

Сагайдак один вышел на подворье, огляделся вокруг. На востоке у самого горизонта пробивался уже из темени ночи рассвет, и нигде ни шороха — даже вода в броде заснула, только еще более резкими стали запахи татарской травы, маттиолы и увлажненной ржи с ее вдовьей грустью.

Выскользнув на улицу, он осторожно пошел по-над тынами, что держали над собой росистые платки вишен и золотую стражу подсолнухов. И вдруг Сагайдак остановился: у самых ворот Гримичей увидел женскую фигуру. Не Олена ли Петровна высматривает своих близнецов? Так оно и есть. Он подходит ближе, тихо здоровается с женщиной, а та в мольбе и надежде раскрывает трепетные ресницы, под которыми слились и боль, и печаль.

— Зиновий Васильевич, не видали моих Василя и Романа?

Это было так сказано — не голосом, а исстрадавшейся душой,— что не отважился Сагайдак еще больше опечалить женщину.

— Видел, Олена Петровна.

— И когда? — даже застонала и потянулась к нему.

— Вчера.

— Живы-здоровы? — тревожится женщина.

— Живы-здоровы, Олена Петровна. Идите и отдыхайте.

— Какой теперь отдых? Спасибо вам, дорогой человек... Спасибо.

Вот и получил благодарность за вранье; не раз мы им утешаем женщин, не думая, что будет потом.

— А как дядько Лаврин?

— Утешает меня, а сам тоже грустит и от печали или причуды собирается раскапывать старый курган.

Сагайдак быстро прощается, идет приселком, а в ушах еще долго-долго звучат горестные слова женщины.

За приселком, недалеко от шоссе, тихонько поскрипывал старыми крыльями ветряк, словно жаловался полям на одиночество — покинули теперь его и мельник и помольщики. Хорошо, что хоть тут не угнездилась полиция, как угнездилась с пулеметом на колокольне, днюет и ночует там воронье — так приказал жандармский начальник.

Уже совсем рассвело, когда Сагайдак вошел в леса, что по колено стояли в тумане. Леса, леса! Сколько же вы спасли людей в гражданскую и сколько спасете теперь! Из ваших зеленых глубин выйдем и ударим по врагу, ибо

скорбь скорбью, а борьба борьбой. Скорее же за святое дело, чтобы сгинуло грешное!

Он перебирает в памяти имена тех, к кому наведается на днях, с кем пойдет в первые засады, а сам все больше и больше начинает волноваться: приближается к тому глухому месту, которое он облюбовал для партизан. Найдет ли кого-нибудь из них? Близнецы должны быть тут. Да и Петро Саламаха...

Что-то треснуло впереди. Сагайдак выхватывает из кармана пистолет, приглядывается к зарослям, откуда послышался треск, и вскоре замечет корову, что пасется неподалеку от того ручейка, который должен был поить водой его отряд. Вон другая корова, третья. Откуда же они взялись в этой чаще? Еще несколько шагов, и он видит седую охапку бороды, коренастую фигуру и широкую, до ушей, улыбку Михайла Чигирина, что стоит в утреннем тумане, как добрый сон.

— Михайло Иванович?! — не верит своим глазам Сагайдак.

— Угадали, Зиновий Васильевич! — Движением широких плеч старик сбрасывает кирею и спешит навстречу командиру.

Они бросаются друг другу в объятия, целуются и улыбаются.

— Наконец дождались вас. Чего только не передумали,— радость звучит в голосе Чигирина.— Вашу конспиративную хату сожгли каратели.

— А что с Ганной Ивановной? — с тревогой спрашивает Сагайдак.

— Ее не было дома, вот и осталась живой.

— Как вы тут?..

Старик становится сосредоточенным и даже немного торжественным.

— Пока помаленьку, не торопясь. Вот стадом и тремя парами коней да тремя возами разжился. И санки одни есть.

— Санки? — не поверил Сагайдак.

— А чего ж, зима еще придет,— спокойно ответил Чигирин.— Также восемь цинковых сундучков с патронами захватили. А из села притащил пилу, три топора, несколько мисок и немного муки, ведь и есть что-то надо. Коржи печем, а хлеба нет. Да и с солью туго. Непременно надо наведаться к немцам на продовольственный склад.

— Кто из наших прибыл? — и Сагайдак замер в тревоге.

— Первыми, известно, Гримичи прилетели. Вот уж сорвиголовы — настоящие партизаны. Они где-то и пулемет «максим» добыли, они же и Кундрика порешили. Только после этого два дня ничего есть не могли — все мутило хлопцев. И Петро Саламаха вырвался из лап полицаев. И Мирон Бересклет с младшим братом вчера пришел, с тем, что в окружение попал. Боевой, не с пустыми руками, а с немецким автоматом явился. Это надо понимать... Все мы так вас ждали.

— Не упали духом наши хлопцы после того, что произошло?..

— Как вам сказать? — задумывается Чигирин и еще больше становится похожим на гриб боровик.— Горестей у нас много, а ненависти еще больше — все хлебнули лиха. Пошли будить партизанскую семью?

— Подождем немного, подумаем, как новый день встретить.

Лицо старика прояснилось: он сразу догадался, какой у них будет разговор,— и все равно потихоньку спросил:

— Что будем делать?

— Дракону зубы рвать! С корнями!

— Зуб зубу неровня: есть передние, есть и коренные,— хитро щурится Чигирин.— Так с каких начнем?

— С передних! Надо подбить хоть какую-нибудь вражескую машину, как только вырвется вперед. У всякого дела должно быть начало.

— Верно! — охотно соглашается Чигирин.— Надо, чтобы люди услыхали о нас... Вот пойдемте посмотрим, какую мы землянку сделали, даже что-то вроде печки слепили. Теперь и о бане, и о конюшне надо подумать.

На эти слова Сагайдак только усмехнулся: кто бы, слушая о хозяйственных хлопотах Чигирина, мог подумать, что в гражданскую войну он был грозой контрреволюции?.. А как однажды он обманул скоропадчиков! Когда метель под самые крыши занесла хаты, Чигирин из лесов приехал к своей Марине. Кто-то выследил его, донес в державную стражу, а та всей сворой влетела в село, чтобы наконец живьем взять партизана. Только домчали они к подворью Чигирина, как тот с гребня хаты швырнул в них несколько гранат, а потом с другой стороны вырвал из кровли десятка два снопиков соломы и сбросил на землю, свел по ним с чердака коня, вскочил на него и подался в леса. Сколько тогда разговоров было в селе, а кое-кто никак не мог поверить, что без нечистого можно было спрятать на чердаке коня.

Со временем кое-кто из суеверных, набравшись за чаркой смелости, спросил об этом Чигирина. А он, пригасив усмешку, так начал отнекиваться, что всякому стало ясно: он знаком с теми, кто за плотиной и в болоте сидит.

— Расскажи, Михайло, все начисто, как было,— чуть не со слезами попросил страшно верующий во всякую чертовщину Гнат Кирилец.— Пособлял тебе хоть немного нечистый?

И тогда Чигирин, оглядевшись вокруг себя и нагоняя страху, зашептал:

— Пособлял, Гнат. И не один, аж двое их было тогда: один возле крыши возился, а второй, постарше, подлез под коня, взял его на плечи и, задыхаясь и валясь с копыт, потащил на чердак. Думал, надорвется нечистая сила, но и до сих пор не надорвалась...

Забытая лесная просека, где между колеями дружно поднялась шелковистая трава, а в ней нашли приют ромашки, деревей и тысячелистник. Сквозь деревья на дорогу падают предвечерние солнечные блики, а даль так и играет чистым барвинковым небом. И нигде ни души.

Но вот на просеку выскакивают тачанка и две подводы. На тачанке рядом с близнецами сидит Сагайдак, на подводе правит лошадьми невозмутимый Саламаха, а позади с братьями Бересклетами — седой и мудрый Чигирин. Старыми узковатыми глазками он первым замечает между деревьями какую-то фигуру, неторопливо прикладывает к плечу винтовку и тут же опускает.

— О! Да это же Гордий Горбенко! — узнает Чигирин своего старого знакомого.

Теперь все замечают старика, а он с кувшином в руке смущенно подходит ближе к просеке, чтобы не подумали о нем недоброго.

— Дед, чего бродите тут? — соскакивает с тачанки Сагайдак.

— Лес большой, вот и брожу.— И уже приветливо улыбается Чигирину: — Добрый день, человече.

— И тебе добрый. Землянику собираешь?

— Да нет, перевозил в село Магазанниково добро, а вам, оглашенным, тайком сбросил мешок соли,— может, пригодится. Только это погнало меня к лесной хате песиголовца.

— Вот спасибо, Гордий. Где же она?

— Шагах в двадцати от вас, под теми тремя березами, что из одного корня выросли.

— Дед, откуда же вы знаете и о нас, и о соли? — удивляется Сагайдак.

— Потому что на этих днях я с Михайлом Ивановичем встретился в лесах, когда он еще один на бесхлебье да на бессолье пас коров. Вот и бывайте зодоровы.

Чигирин дотронулся рукой до плеча Горбенко:

— Гордий, а ты не сможешь раздобыть для нас коней, чтобы были словно ветер?

— Помозгую, оглашенный.

Партизаны прощаются со стариком и трогают коней. «Кто только вернется из них, ибо что может сделать эта горсточка смельчаков против нашествия Гитлера? Да, видно, по доброй воле идут на смерть. Пусть фортунит вам. И пусть вас бог найдет на небе...» И привидилось старику, как в раю, где не отцветает гречка, сам бог и первоапостолы Петр и Павел почтительно встречают партизан. Видишь, что может случиться с душой.

Старик, грустно покачав головой, поворачивается к жилищу Магазанника, а партизаны направляются к опушке леса, ближе к той дороге, которая через каких-то полтора-два километра выходит на шоссе; туда теперь не сунешься — там и камень утомился от чужого железа, на дороге же можно подстеречь одну-другую машину. Тут не столько едут войска, сколько шныряют любители чужого добра.

Возле густого березняка, что островком подходит к дороге, партизаны останавливают коней. Гримичи мигом снимают с тачанки «максим», пристраиваются возле него в ложбинке, а слева и справа залегают братья Бересклеты и Чигирин. Все это делается в полной тишине, словно не люди, а тени упали на землю. Первый урок получили побратимы. Жаль, что так мало у него бойцов.

Сагайдак подсаживается к близнецам.

— Все чин чином,— шепотом успокаивает его Роман,— патроны подравняли, чтобы не было перекоса...

— И вода в кожухе ключевая — хоть сам пей, хоть гостей угощай,— скрывая волнение, усмехается Василь.

Хороши хлопцы, не зря он взял их в отряд. Обойдя всех, Сагайдак подходит ближе к дороге, что одной стороной притерлась к лесным теням, а другой — к задумчивым колоскам, и прислушивается, как уходит день. Попадется ли кто-нибудь?..

И, словно отвечая на его мысли, на шляху заклубилась пыль. Сагайдак подносит к глазам бинокль. Нет, это не те, кого он ожидает: по дороге трусят низкорослые лошаденки, а на возу подскакивает несколько ржаных снопов и сидит чернявая молодица, в одной руке у нее вожжи, а другая придерживает возле груди младенца. Вот уже и плач его слышен. А мать, склонившись, то агукает ему, то понукает неторопливых лошаденок, которые тянутся к колосьям. Вот молодица придержала гнедых, прижала к себе младенца, и этот белый сверток, припав к груди, сразу успокоился, а на смуглом лице матери мелькнула печальная улыбка, да тут же и исчезла — сзади заурчала грузовая машина.

Партизаны прикипели к земле, пулемет и винтовки повернули на цель.

— Отставить! — тихо приказывает Сагайдак: ведь впереди едет мать с ребенком — пусть до самого твоего дома, пусть всю жизнь шумит тебе пшеница. И вздыхает: если бы оно так было в этом мире, в котором не всем хватает разума для жизни...

Машина, выбрасывая из-под себя клубы пыли, обгоняет воз. Из окна кабины высовывается голова немолодого солдата, он машет рукой женщине, на ходу что-то весело кричит ей и исчезает, не подозревая, кто сейчас спас его от смерти.

И снова тревожное и напряженное ожидание. По капельке дремотно вырастают тени, по капельке дремотно течет время, по капельке точат душу сомнения: надо ли было пропускать ту, первую, машину? Наверное, не надо.

Уже сумерки из леса наплыли на поля и погасили багрянец пшеницы, когда на дорогу горделиво, красуясь своей щеголеватостью, выскочил новенький, словно только что родившийся «дюзенберг». Какого высокого чина убаюкиваешь ты на пыльном подольском шляху? Не того ли барона, что приехал мерить тучный чернозем для своего имения?

Вот она и наступила — первая встреча с врагом. Ты, как клещ, вгрызаешься в чужую землю — так ее отмерят тебе!

Когда машина почти поравнялась с Сагайдаком, он махнул рукой близнецам. Роман сразу так нажал на гашетки, что даже пальцы побелели. Задрожал пулемет, задрожал и пулеметчик, бешеными мотыльками вокруг дула заметался огонь.

В машине зазвенело стекло, и, неестественно крутнувшись, она с дороги влетела в пшеницу и остановилась.

Хлопают дверцы, из них опрометью выскакивают двое военных в черном и толстяк в штатском. Он, как пловец, вытянув руки, ныряет в пшеницу, а военные, быстро сориентировавшись, привычно прикладывают к животам автоматы и веерами вгоняют очереди в лес, из которого выбегают партизаны. Еще две очереди, затем свист пуль, перестук «максима» и отчаянный вскрик падающих гитлеровцев. Чигирин первым наклоняется к убитому, поднимает перегретый автомат и видит, как у вояки ниже ломаных молний на петлицах медленно стекает кровь.

А штатский все еще, будто утопающий, барахтается в пшеничных волнах и не может выбраться. Но и он, истошно завопив, клонится, оседает в колосья, а руками намертво зажимает две горсти пшеничных стеблей.

— Вот и есть начало! — говорит Сагайдак, медленно подходя к убитому, и покачивает головой: надо же было тебе из-за этих двух горстей пшеницы тащиться в такую даль...

Партизаны, кроме близнецов, оставшихся около пулемета, бросаются к машине, где, свесив голову, лежит, тоже в черном, водитель. Льняная чуприна закрыла его лицо, закрыла для него мир. Саламаха из-под носа у Ивана Бересклета выхватывает новенький парабеллум, что лежал на переднем сиденье.

— Нечестно так,— недовольно говорит Бересклет и вытягивает из машины огромный, с медными замками, портфель.— Меняю не глядя.

— Нашел глупее себя. То кусок разукрашенной кожи, а это оружие!

— Что же в нем? — не терпится младшему брату Максиму.

Иван щелкает замками, достает плотные, с гербами, бумаги и удивляется:

— Смотри, баронские! И духи есть, французские!

— Скорее в лес! — торопит Сагайдак.

На небе прорезается вечерняя заря, и вечер не торопясь начинает кропить росою землю. И сегодня, впервые за все эти дни, Сагайдак чувствует какое-то облегчение и от вечерней зари, и от росы, что и теперь не забывает обездоленную землю. Что ж, начало есть начало, теперь должен думать о большем. Людей, людей надо собирать. А где достать мины, взрывчатку, детонаторы? Тогда и черный

шлях, и железную дорогу можно было бы взять под партизанское наблюдение.

— Скорее, хлопцы в лес! — торопит Сагайдак.

— Хотя бы машину осмотреть и что-то решить с нею,— с сожалением говорит Саламаха.

— Может, на баронскую кожаную подушку позарился? — насмехается цыганистый Иван Бересклет.

— Мне и на торбе с травой хорошо спится.

Партизаны влетают в лес, где их нетерпеливо ждут Роман и Василь. Саламаха великодушно протягивает им флакон с духами:

— На двоих. Французские! Именно вот такие и любили в нашем селе.

Близнецы пренебрежительно отмахиваются от духов, хватаются за пулемет и вмиг забрасывают его на тачанку.

— Молодцы, хлопцы, хорошо поработали!— хвалит их Сагайдак, прислушиваясь к онемевшей дороге.— А сейчас правьте к вашему приселку.

— Это ж зачем к приселку? — забеспокоился Чигирин и бросил взгляд на звездное небо.— До утра не успеем заскочить в леса.

— Должны опередить время и успеть! — твердо говорит Сагайдак.

— Зачем же такая спешка?

— Из приселка надо прихватить пушку, а то, чего доброго, ее хозяин сам начнет попусту тратить снаряды. А нам они вот как нужны. Завтра гитлеровцы будут заняты похоронами барона, послезавтра непременно нагрянут в леса.

— Да, наверняка полезут,— соглашается Чигирин.— Тогда пушка и пригодится нам. Хотя бы для переполоха.

— Вот и я думал о переполохе,— насмешливо хмыкнул Сагайдак.

— По коням! — махнул рукой Чигирин, думая уже и о первой партизанской пушке, и о встрече с врагом или со смертью. И даже почему-то пришли на память страшные слова: «У смерти нет одежды, а только коса»... Отойди, шальная.

— Разрешите нам махнуть вперед! — молодцевато вытянулся перед командиром Роман Гримич и кивнул на Василя:— Мы знаем, в чьей клуне ночует та пушечка, вот и прихватим ее до вашего приезда.

— Мотайте! — залюбовался парнями Сагайдак и словно увидел свою молодость в червонном казачестве. Эх, пролетели твои весны, и уже седина, как спелое жито, нис-

падает на глаза. А кажется, и не нажился... Нашел время для грусти. Фашиста надо бить! Еще Геродот писал о скифах: «Ни одному врагу, напавшему на их край, они не дали спастись». Вот так-то.

Через минуту ударили копыта, заскрипели колеса, замелькали гривы коней, и партизаны под Чумацким Шляхом помчались к броду.

Обогнав всех, не выехала — вылетела тачанка близнецов, которую партизаны прозвали колесницей Ильи-пророка.

— Вот едут, даже оси горят! — позавидовал Иван Бересклет.— Не я буду, если не разживусь такими лошадьми! Слышишь, брат?

Теперь Сагайдак и Чигирин, свесив ноги с грядки, сидят плечом к плечу на возу невозмутимого Саламахи и вполголоса советуются, как им послезавтра встретить врага.

— Дорогу к лесу надо заминировать,— говорит Сагайдак.

— Да, надо,— соглашается Чигирин и кресалом высекает из кремня огонь.— Только чем?

— Хотя бы обманом,— подсмеивается Сагайдак.— Как ты на это?

— Обманом? — взвешивает и в мыслях, и рукой это слово Чигирин.— Сколько мы знаем друг друга, не слыхал от тебя об обмане. Говори, что придумал.

— Сделать видимость, что дороги заминированы.

— И это дело при нашей бедности,— не торопит Чигирин и снова высекает из кремня искры.— Какой вечер хороший.

— Славный. Земля и небо дымят, а звезды светят.

— Да, светят,— даже вздохнул почему-то Чигирин.— А житечко осыпается. И доля чья-то осыпается... С чем только послезавтра столкнется наша судьба?..— словно сам с собою беседует он.— Три дороги ведут к лесу. По двум не везде пройдут машины, значит, пойдут они по средней. Вот там, возле впадины, притаившись в лесу, и встретить бы фашистов.

— Как совпадают наши мысли,— будто удивился Сагайдак.— Рисуй дальше картину.

— Рисую. Каким-нибудь пеньком «минируем» дорогу, протянем пару проволочек,— кто будет ехать, остановится. Потом, может, и столпятся все возле нашей выдумки, а мы из засады и чесанем, чем сможем. Главное тут — внезапность. Вот и выбрал я наилучший вариант.

— А второй какой? — повеселели глаза Сагайдака.

— Снова надо внезапность брать в союзники. Не остановятся фашисты возле нашей «мины», пропустим их вперед и ударим с тыла. А пока они придут в себя, скроемся в лесах. Вот и ищи ветра в поле. Какую же ты пушку нашел?

— Малого калибра.

— Тоже хорошо. А есть еще один ход...

— Может, даже придется подпустить фашистов к нашему Копайгородку и там их накрыть огнем,— тихо сказал Сагайдак, а сам подумал: «Какое несоответствие между этим вечером и послезавтрашним, который унесет не одну жизнь...» — Лучше не допустить до Копайгородка. Сила же сейчас в районе не очень, чтобы очень.

— Однако сила.

— Внезапностью, только внезапностью надо хотя бы оглушить их.

— Вот и ду́май, дума́й, как переплыть Дунай.— Сагайдак подымает глаза на заречье, где синий сон купает звезду. Как хорошо жить на свете, а должен думать о смерти. Где же «обойти» перекрестную дорогу, а где поставить близнецов с «максимом»? А может, иной дорогой двинут фашисты? С тыла не зайдут — там болото...

Перед самым приселком близнецы придержали своих златогривых, по теням деревьев и колодезных журавлей подъехали к Оксаниной хате. Василь на ходу соскочил с тачанки, сразу же шмыгнул во двор, обошел дом с торца и постучал в окошечко боковушки. Вскоре из него высунулась взлохмаченная голова Стаха.

— Недосмотрели сна, дядько? — тихо засмеялся парубок.

— А-а, это ты, ветровей! — усмехнулся человек.— Чего тебе на ночь глядя?

— Одолжите, дядько, свою пушку, мы на ней сыграем польку фашистам.

— Тоже мне музыканты! Сагайдак прислал?

— Эге ж. Так где ваша Василиса Прекрасная? В сене или в соломе?

Стах покосился на двери боковушки, из оконца выскочил в огород и осторожно пошел с Василем в старую клуню. Раскрыв ворота, они быстро освободили пушку от соломы и уже вместе с Романом выкатили на подворье. Тут Стах посмотрел в даль, освещенную лунным светом, и вздохнул.

— Чего вы, дядько, загрустили? Жаль чужое добро отдавать? — прыснул Роман.

— Вот бы сейчас, хлопцы, из этой бандуры ахнуть по тем полицаям, что на колокольне засели!

У Романа сразу же загорелись глаза.

— Вот и ахнем прямой наводкой! Не пожалеем выродков! — И даже на цыпочки поднялся, всматриваясь в колокольню.

— Жаль только колоколов,— тоже поглядел вдаль Василь.

Неожиданно их остановил голос Оксаны, что неведомо когда вышла из хаты и притаилась в вишняке:

— Что у малого, то и у старого — один ум. А вы подумали, что потом из-за каких-то двоих придурковатых полицаев весь приселок сожгут дотла?

— Вот так,— сокрушенно сказал Стах.— И почему ты не спишь?

— Эге ж, эге ж,— закивали чубами близнецы.

Потом Роман широко улыбнулся Оксане:

— Это ж мы, тетушка, пошутили, а вы уж и переживаете.— И начал носовым платком вытирать утомленным коням вспотевшие уши.

— И я так подумала, что вы шутя запруду делаете,— насмешливо ответила Оксана и вышла из вишняка.

Когда на подворье появились Сагайдак и Чигирин, близнецы предупреждающе подняли на нее глаза.

Оксана молча кивнула им головой.

— Какая вы, тетушка, хорошая,— благодарно шепнул ей Роман.

Женщина только вздохнула, поглядела на колокольню, и тени давних лет подошли к ней.

Сагайдак, осматривая пушку, погладил ее руками, проверил замок и тихо сказал ей:

— Выручай.

После этого слова даже близнецы притихли, ступив на межу перед своим первым боем. Каким только он будет? Они не пожалеют свинца для фашистов, а те не пожалеют его для них.

— Чего вы, хлопцы? — словно заглянув в их души, опечаленно спросила Оксана.

— И какая же вы, тетушка, хорошая,— понял ее печаль Роман.

— Хоть к матери на минуту заскочите.

— Теперь некогда, рассвет начал сеять утреннюю росу.

А в это время в лесном жилище Магазанника стол ломился от яств и вин. Да почему-то тревога все сильнее и сильнее сковывала лицо Безбородько и крайсландвирта. Сначала они только бросали взгляды на окна, а теперь не сводят с них глаза. Но безмолвствует под июльскими звездами лес, лишь в хате тихо потрескивают в подсвечниках зеленые с золотой спиралью восковые свечи. Магазанник заменяет их новыми и думает: не поминальными ли станут они, как и эта вечеря? Никто не знает, кому теперь придется кланяться, не жалея загривка, барону или сырой земле.

Сегодня у коменданта Шульца препаршивое настроение: не в чьем-то, а именно в его крайсе убили барона. Потому и не перестает дребезжать телефон на столе, чуть не подпрыгивает, проклятущий, и стегает кнутами тех слов, которых всегда хватает у начальников, чтобы унизить подчиненных. Даже сам командующий карательными войсками на Украине распекал его, как новобранца. Во-вторых, из-за жары останки барона нельзя везти в Верхнюю Померанию, а надо хоронить здесь. Вот только в каком месте? На старом православном кладбище не похоронишь, да там и могилы, покрытые дерном, переплелись барвинком, в беспорядке срослись одна с другой, а открывать новое кладбще для одного барона нет смысла.

Задали же хлопот партизаны. Начальник гестапо заверял, что их осталось не более пяти-шести. А вот эта горстка фанатиков бросает вызов непобедимой армии фюрера. Черт знает что! Сидели бы себе тихонько в лесах, и лучше было бы и им, и ему. Против этих пяти-шести безумцев он должен посылать машину с солдатами гарнизонной команды, вторую — с жандармами и две — с полицаями бандюги Квасюка, который при большевиках не вылезал из тюрем.

Разумеется, сегодня от партизан, если они не сбежали куда-нибудь, не останется и следа. Но поможет ли это ему, если уже третий раз сегодня звонил шеф полиции бригаденфюрер Краузе? Думалось: тут, в глухом закутке Подольщины, с почестями встретит он свое пятидесятилетие и как-то пересидит войну. Да откуда-то взялся на его голову тот надутый, словно индюк, барон. Захотелось ему иметь тысячу гектаров чернозема, а получил два метра...

В передней слышны чьи-то осторожные шаги, потом — приглушенный разговор, словно в этом кабинете хозяйничает не он, а покойник. Комендант, прислушиваясь, узнает голос Оникия Безбородько. Чего же он медлит? Или и

его душу терзает страх? Осторожно полуоткрываются тяжелые, обитые кованым железом двери, и заглядывает секретарша, у которой вся фигура, нос и глаза как у встревоженной цапли. Кто только посмотрит на эти кости и веснушки, что, словно тля, облепили узкое лицо фрау? Когда она смеется, то с нее сыплются и пудра и веснушки. Покачивая высокой, словно кудель, взлохмаченной прической, она оттопыривает губы и пренебрежительно бросает:

— Пан председатель...

— Просите,— нетерпеливо перебивает секретаршу.

— Заходите, пан председатель.

Безбородько, кланяясь, несет к нему свои семь пудов живого веса, почтительно склоняет голову, надушенную крепкими духами, от которых в кабинет вселяется запах старой парикмахерской.

— Нашли наконец место для барона? — строго спрашивает комендант и выбивает костлявыми пальцами дробь.

— Наконец нашли,— запинаясь, отвечает председатель и морщится, словно от зубной боли.— Но...

— Какое еще у вас «но»? — коменданта почти всегда нервирует этот нескладный Оникий, особенно его уши: кажется, из них торчат не волосы, а пауки.

— Место, можно сказать, всем хорошее, просторное. И недалеко от кладбища. Но там когда-то в старину суеверные дядьки хоронили ведьм и оборотней.

— Ведьм и оборотней?! — от раздражения у Шульца даже задрожали ресницы. И хотя он сейчас до предела измотан хлопотами, однако вспоминает вычитанное из старых книг, которые второпях листал, собираясь на Украину.— А это правда, что в них вбивали осиновые колья?

— К сожалению, правда. Суеверия...

— И когда это было у вас?

— Давно. Еще до революции. Об этом только очень старые люди помнят.

— Похороним в этом месте барона, тогда все вспомнят, кого там хоронили. Надо искать что-то другое.

Безбородько беспомощно разводит своими ручищами-оглоблями:

— Ничего другого, герр гауптман, не могу придумать. Ничегошеньки!

— А может, в самом городе похороним?

Безбородько снова морщится:

— Боюсь, что тогда горожане выбросят останки из могилы. Вечной же охраны не поставим возле нее?

— Вечной не поставим,— соглашается комендант и застывает в напряжении: снова звонит телефон. Шульц какую-то минуту смотрит на него как на врага, но трубку берет. Она трещит, шипит, выбрасывает смесь глупых слов:

— Пан гауптман! Пан гауптман! Их ист... Парфен Квасюк. Битте, герр комендант, к трубке шпрехен фрау Анит.

— Швайне,— тихо говорит комендант и передает трубку Оникию Безбородько.— Поговорите с этим болваном и спросите, почему он не в лесу, почему не ловит партизан!

Председатель управы осторожно, словно она стеклянная, берет из руки коменданта потную трубку, прижимает к волосатому уху.

— Алло! Пан Квасюк, вас слушает председатель районной управы.

— Пан Безбородько?! Это хорошо...

— Неужели вы до сих пор не обложили партизан? — перебивает его Безбородько.

— Да видите, Оникий Иванович, такая случилась напасть, что и не говорите.

— Какая еще напасть?! — злится Безбородько, и становятся злыми его синие губы.— Нализались по дороге ваши глуповатые полицаи?

— Еще хуже... Видите...

— Не жуйте слова, как сено. Говорите!

— Так вот, пан председатель, когда мы доехали до леса, немцы пропустили наши машины вперед...

— Потому что знают, какие вы трусливые.

— Пропустили нас вперед и ударили наугад по лесу из пушек. А потом мы снова поехали и за хатой лесника заметили, что дорога будто подкопана. «Заминировано!» — крикнул кто-то. Мы остановились, соскочили на землю, и в это время спереди и с флангов партизаны сыпанули огнем. Мы, пан председатель, попали в чертов треугольник. Можно сказать, переполовинили они и нас, и немцев.

— А потом, потом что?! — задыхается от возмущения Безбородько.

— А потом все бросились врассыпную, так как иного выхода не было. Даже убитых не успели захватить.

— Сколько же там было партизан?

— За деревьями не видно. Но, наверное, много, потому что треугольник устроили.

— Подождите, я доложу пану коменданту,— с трубкой в руке Безбородько коротко рассказал о разгроме карательного отряда.

Герр комендант молча слушал, а с его лица, начиная со скул, отливала и отливала кровь. Не партизаны, не леса стояли перед его глазами, а страшные картины передовой. И первые вымученные слова коменданта удивили председателя управы:

— Теперь будет кого хоронить там, где когда-то хоронили ведьм и оборотней.

XII

На хуторе догорает летний день, а вокруг гаснут бронзовые поля перезрелой пшеницы.

Из леса в широких киреях выходят вечер и туман. Они останавливаются на опушке и думают: куда бы это пойти? Потом туман сворачивает налево и сивым дедом бредет по долине к ставку, а вечер крадется к хутору, чтобы послушать, как, заблудившись в вишняке и гречихе, затихают одинокая хата и ульи. Вот здесь он верным любовником дождется ночи, подарит ей перстень луны и исчезнет в вербах да ивняке над ставочком, возле которого пара лошадок, раздвигая кусты калины, блаженствует в молоденькой отаве и настороженно замирает, когда небо наполняется гулом бомбовозов.

С пасеки к жилищу идет старый Гримич. Медовый цвет гречихи ласкает его отяжелевшие руки, снимает и не может снять усталость. Что ни говори, а от старости и на ярмарке не избавишься — нет покупателя на нее. Вот только девчата теперь хотят постарше выглядеть, чтобы не впивались в них злые буркалы.

Возле новой, с отесанной корой, изгороди пасечник останавливается, и под его кустистыми бровями сразу яснеют глаза: из вишняка навстречу ему появилась та непоседа, та метелица, тот щебет, та усмешка и насмешка, что зовется Яринкою. Вот какую внучку послала ему доля, да не угадала, когда ей появиться на свет. Старик невесело улыбается Яринке и говорит только одно слово:

— Завечерело.

— Завечерело, дедушка,— повела черными бровями, меж которыми трогательно дрожат ямочки. Ишь где нашли себе местечко.— Вы пчелу вытряхните из бороды.

— А она мне не мешает.— Однако обеими руками шевелит седую чащу, а из нее с жужжанием освобождается пчелка.

Над поникшей хатой, овдовевшей теперь, пролетают черные крестики диких уток и падают на ставок; сначала крылья звонко бьют по воде, затем затихают, и уж потом тремя нотами откликнется ручей, что из леса течет в ставок и вытекает из него, касаясь ножек незабудок и чистяка.

— Печалишься, дитя? — кладет старик руку на плечо Ярине.

— Журюсь,— вздыхает девушка, что притихла теперь, словно она — и не она.

— Шла бы себе домой, пока не наступила полуночная пора.

— Там тоже нет утешения. У матери даже глаза от слез распухли.

— По слезам да по крови теперь пошло время. А для скольких оно уже остановилось...

Ярина смотрит на дедуся, приникает к нему головой и не знает, что сказать. А тот, уходя от тяжелых мыслей, говорит уже о будничном:

— Ты, может, и вечерю приготовила?

— Приготовила, а как же.

— Вот и пошли.— И старик медленно идет к хате.

Там, возле завалинки, на вбитом в землю столбике накрыт столик, на нем свежая паляничка, мед в кувшинчике, тарелки и ложки. Яринка выносит из хаты завернутый в полотно горшок и быстро разливает по тарелкам галушки, от которых идет пар.

— Хорошая вечеря. Вот если бы бог послал еще и доброго гостя,— садится дед к столу.

Девушка снова вздохнула. Сколько к ним раньше приходило добрых людей, сколько хороших разговоров, и смеха, и пересмешек, и песен кружило над широким ясеневым столом. А когда хмель разбирал отцовскую компанию, она огородом кралась к татарскому броду, где ее на челне ожидал Ивась Лимаренко. Где он теперь, в эти черные дни? Не раз она по вечерам выбегала к броду, да не было на нем ни вербового челна, ни яворового весла, с которого так певуче скапывала вода. А глупое сердце все ждет и ждет и челн, и весло, и те кудри, что падали на ее плечи. Неужели это было? Или только виделось во сне?.. Ой, броде татарский...

Старик, положив ложку, дремотно смотрит на внучку, покачивает головой:

— Не знаешь, что делать с собой?

Ярина даже вздрогнула: будто в самую душу заглянул дедусь, ибо не знает она, ох не знает, что теперь делать с собой. Можно бы и ей спрятаться на хуторе, до которого еще не дотянулись лапищи войны, можно, присматривая за дедусем, тишком сидеть на пасеке или в ивняке возле ставка и засыпать под жужжание пчел и бомбовозов. Но разве это жизнь? И разве только о себе думает она? Сказала братьям, чтобы взяли ее в леса, так они сначала хохотали до слез, а потом пояснили, что у них нет там ни детсада, ни гуляний. Тогда она в сердцах прикрикнула на них, а сама побежала к Мирославе и у нее выплакалась вволю. И хотя она и обиделась на братьев, да все равно ждет не дождется их. Может быть, поумнеют они? Улыбнулась, снова загрустила и сквозь тишину, что даже звенела в ушах, услыхала вдали, как шлепнуло весло. Предчувствие или что?

На ставке встревожились дикие утки, зашелестели крылья, потом на стежке послышались чьи-то шаги. Только чьи?

— Иди, Яринка, за омшаник, а то кто знает, кого принес вечер.

Девушка проворно убрала со стола свою тарелку и ложку и исчезла в сумерках, а пасечник все еще спокойно вечерял, покачивая заснеженной головой. Какие только вьюги не обрушивались на эту голову, да не выветрили из нее ни человечности, ни гордости,— одни их ненавидят, а другие побаиваются.

Звякнула калитка, на заросшее, незаезженное подворье не вошел, а вбежал человечек с винтовкой, не оглядываясь, он сапогом распахнул калитку и тут же торопливо затопотал подборами, словно копытами.

— Здравствуйте, дед Ярослав! Здравствуйте вам! — затараторил человечек, засеменил к столу, заглянул одним глазом в тарелку, и его лицо хитренького черта прояснилось.— Наварили галушек на три пяди в длину?

— Это, Кирюша, может, у вас в полиции такие варят галушки, а у нас обычные щипанцы,— тихо ответил старик, не глядя на полицая.

— А кто же их щипал? Не Яринка? — и Кирюша во все стороны бросает взгляды, в его буркалах мечутся меленькие, как головастики, зрачки.— Вот с кем бы я хотел повидаться да поговорить.

— Не трогай ее, она теперь не расстается с печалью.

— А может, я и развеселю ее каким-нибудь кругленьким словцом? — потирает Кирюша руки, но лицо его отражает неуверенность.

— Жаль твоего времени, Кирюша,— словно сочувствует ему старик.— Вот лучше садись к галушкам.

— И сел бы на дармовщину, да уже вечерял,— насупился Кирюша, а глазами снова зыркает по всем уголкам.— Это уже из муки нового урожая?

— Из нового. На жерновах немного растер пшеницы, а то окаменели теперь и ветряки.

— Уродило же в этом году,— немного смягчилось лицо полицая, на которое надвинулись острия ушей.

— Уродило, да радости нет. Как твоя новая служба?

Кирюша собирает морщины на лбу и не знает, бодриться ему или сказать так, как есть. Наконец машет рукой и говорит правду:

— Ко всем чертям такую службу. Сегодня, к примеру, был у нас двойной мордобой — и от начальника полиции, и от крайсландвирта.

Пасечник ресницами прикрывает глаза.

— И кто же лучше мордует?

Кирюша не улавливает насмешки и со злостью отвечает:

— Крайсландвирт! У него руки в кольцах с драгоценными камнями, а бьет наотмашь, вот и оставляет на наших рожах дорогие следы. А потом при нас вытирает камушки носовым платком. Культура! — Он повел плечом, на котором висела винтовка.— Так что нечем похвалиться мне.

— Эге ж,— соглашается старик,— даже черт не хвалится регами.

Кирюша встрепенулся: не насмехаются ли над ним? Вроде нет, только кто разберет этого деда? И в старой печи огонь тлеет.

— Дед, только о моей службе никому ни звука... А как вы посмотрите на то, чтобы... одолжить мне какой-нибудь бочоночек меда? Люблю сладкое дело,— поворачивает голову к ульям, что и сейчас звучат пчелиным гудением.

— Не рассчитывай, Кирюша, на этот мед, у него есть хозяин. Лучше сходи в лес и поищи там дикую борть.

— Это ж почему в лес? — оторопел Кирюша. Он сразу вспоминает, как убегал от партизан, и по его спине змеится страх.— Разве ж у меня три головы на плечах?

— Чего не знаю, того не знаю,— рассудительно отвечает дед.— Раньше у тебя была одна голова, а теперь, как пошел ты в полицию, не ведаю, чем там разжился.

— Разжился девятьюстами марками, что лежат недалеко от смерти.— Печаль и досада пробежали по лицу Кирюши и смыли с него всю хитроватость.— Никогда еще не было такого кровопролития, как теперь.

— Так зачем же ты записался к тем, кто нашу кровь проливает?

— Приневолили, дед, приневолили.

— У кого нет своей воли, того приневоливают,— снова будто спокойно говорит старик, а Кирюша склоняет голову — что-то и в ней тревожное блуждает,— потом искоса глянул на свою полицейскую повязку, подергал ее, проклятую, скривился.

— То-то и оно,— сам себе говорит Гримич, и Кирюша чувствует и свою провинность, и приговор над собой.

— Ваши внуки умнее — подались в леса, а меня подвела безвыходность.

— Кто куда пошел, я не знаю. Сейчас у людей доро́г вроде больше стало, а жизни и хлеба меньше. Каждый посвоему зарабатывает хлеб — кто насущный, кто кровавый.— Пасечник поднимается с завалинки, идет к амбару и выносит оттуда небольшую, ладно запечатанную долбленочку.— Бери, Кирюша. Это из моего улья.

Теперь темные сжатые губы Кирюши улыбаются.

— Умные вы, дед, да все равно не умеете жить на этом этапе. Я на вашем месте, живя пчелами, такую бы сладкую развел коммерцию, что святые Зосим и Савватий в самом раю позавидовали бы мне.

— Тогда становись на мое место, а мы посмотрим на твою торговлю и барыши.

Кирюша неодобрительно хмыкнул, глянул в лес, кивнул головой старику и, размахивая долбленочкой, словно кадилом, засеменил со двора, да все корил себя по дороге: и на какую-то бочечку меда не разжился, и Яринки не увидел. А голос ее будто слышал. Эх, Кирюшка, Кирюшка — ни рыба ни юшка. А разве ж не так?

К дедушке подошла Ярина:

— Чего приходил этот собачник?

— Кто его знает? Зацепился за меня, а думал о тебе. Очень хотел встретиться.

— Пусть он с лихой годиной встречается.

В далеком поле неохотно поднимается еще дремотный месяц и начинает выбеливать облака, что уснули на краю

земли. В стороне снова натужно загудели бомбовозы, а возле ставка заржали кони.

— Иди, дитя, домой, потому что уже смеркает.

— Почему вы меня гоните? Может, кто-то должен прийти к вам?

— Не прийти, а приехать.

Ярина встрепенулась:

— А кто — тайна? Уже и со мной вы начали скрытничать. Может, партизаны?

Старик смотрит на луну и неохотно отвечает:

— Не такая и тайна для своих, но тебе не надо быть здесь. Приедут люди вывозить ульи. Завтра на пасеке не останется ни одного пня. Теперь поняла, что оно и к чему?

— Не совсем.

— Беда принуждает что-то делать. Так вот и отдам ульи под расписку надежным людям, а когда вернутся наши, тогда снова соберем пасеку. Вот и все мои тайны.

— А вам за это ничего не будет?

— Поживем — увидим.

— Ой...

Яринка обеими руками обхватила дедуся, прижалась к нему.

— Чего ты, маленькая? — большой рукой прикрывает ее плечо, на котором дремлет вышитая калина.

— Берегите себя, дедусь.

— Постараюсь. Хотя и хорошее место облюбовал себе на кладбище, да не очень тороплюсь туда. Беги, вон уже в долине подводы скрипят. Это ко мне.

Когда Яринка выбежала на стежку, что вела к приселку, пасечник вынес из хаты тетрадь и карандаш, потом засветил самодельную свечку, прилепил ее к столу и стал терпеливо ожидать гостей. Пусть разведут они пчелиную семейку, чтобы не погубили ее песиголовцы. Надо не забыть окропить водой тех пчел, которые ночуют в летках. В зной и насекомым хочется быть на дворе. Учинит ли завтра скандал Магазанник или притворится, что ничего не заметил? И хитрый, и сметливый, и даже умный он, да рубль раскроил и ум его, и душу.

Старик не спеша идет на пасеку, чтобы попрощаться с пчелами. Что ни говори, а печали без них больше. Гречиха снова касается его натруженных рук, а усталость забрела в самое сердце и качает его, как поплавок. С подворья уже слышится тревожный зов:

— Эй, дед, вы живы?

«Тоже мне вопросик. Хотя никогда не мешает проверить, живой ты или нет».

Возле самого хутора заскрипели колеса, как скрипели они ему всю жизнь. Он и сам умел их делать — и из ясеня, и из дуба. А березовые спицы и ступицы вымачивал в колодце, над которым стояла яблоня, потому вода весною пахла березовым соком, а осенью — яблоками.

И снова курлыкнули колеса. Старик оглянулся, но не увидел ни коней, ни подвод, только возле хаты мерцал отсвет одинокой свечи...

Добежав до приселка, Яринка остановилась возле своих ворот, прислушалась к хате и к клуне — не стоят ли там кони,— а потом пошла к броду; в глубине его купались месяц, звезды и печаль. И такое отчаяние охватило девушку, что даже почувствовала, как сникла вся. Большой свет, а куда денешься? Надеялась на братьев, а они подкосили надежду, словно травинку. Бессовестные...

Съежившись, опустилась на вербовый пень, думая все о том же: как им с Мирославой попасть к Сагайдаку? Или он послушается братьев? Вот если бы в отряде был Ивась Лимаренко, тот бы заступился за нее. Где он теперь, в какой стороне?

И вдруг на татарском броде послышался всплеск весла. Кто это такой поздний?! Она вскочила на ноги, не снимая обуви, вошла в воду, всматриваясь в синюю даль и синюю воду, в которой когда-то у берега ладонями ловила свою звезду. Снова всплеснуло весло. Нет, Ивась не так гребет. Но что это? Неужели его челн? Или только кажется? Нет, так и есть, Ивась! Но почему бухает, а не выпевает или не вздыхает весло? Вот челн скрылся в камыше, вот появился недалеко от нее. Теперь видно — в нем сидит не Ивась, а незнакомый парубок. Ярина торопливо вышла на берег, и тут ее догнал тихий голос:

— Подожди, девушка. Не бойся.

Она остановилась, челн, раздвигая осоку, уткнулся в берег, а из него выскочил чернявый, стройный, с изогнутыми бровями парубок и дружески улыбнулся.

— Ты случайно не Ярина Гримич? Правда, Ярина? — улыбается, а смолистые брови как бы обдаются искорками.

— Ярина,— удивленно прошептала она.

— Вот видишь, как легко угадать красу! Приворожить ее тяжелее. А я Дмитро Лелека. Слыхала о таком?

— Слыхала,— чуть не вскрикнула, потому что о Леле-

ке не раз вспоминал Ивась.— А где же?..— спрашивает и не решается спросить.

— Послал меня сказать тебе, что живой. Вот я и говорю это,— полушутя поклонился девушке.

— Что с ним?

Парубок стал серьезнее:

— Ранен, Яринка. Рана неопасная, но пока что к тебе приехать не сможет. А жаль.

— Тогда я к нему!

— Когда же?

— Сейчас же! Сейчас! Садись, Дмитро, в челн. Я спихну его и сама буду грести.

— А почему не я?

— Я буду грести тише. Куда его ранило?

— В ногу. Садись. Челн все же я спихну.

Через минуту Ярина так гребла, что челн рыбиной летел по воде, а за веслом разбивалось и кружило звездное крошево...

«Звездное крошево, золотая пыльца, золотые медуницы»,— это то, что все время слышишь от дедуся, научившего своих внуков не только присматривать за пчелами, но и любить их... Чего это я сейчас о нем, чего это я о них, когда так сковывает холодина? Выходит, и в петровку может быть мороз.

«Пливе чевен, води повен. Ох, не воды, а тревоги, болью ты полон». И девушка отбрасывает и отбрасывает пенистые волны, но не может стряхнуть и росинки скорби. Что же я так? Дмитро сказал: рана не опасная. Но кто нас не утешает в годину печали? Годину печали... Вот протяни руку и коснешься ее.

Из двух стен камыша, где испуганно перекликаются птицы, челн выскочил на чистоводье, и Ярина чуть было не вскрикнула: на ее пути покачивалась лодка, а на ней, перегнувшись, вытягивал сети Семен Магазанник. Это ж надо! И уже некуда юркнуть от него, и некуда сбросить ледяную одежду, которая обвивает не только все тело, но и душу.

Зашевелился, забеспокоился Дмитро, осторожно сунул руку в карман; забеспокоился и Магазанник, не зная, что делать со своей снастью, на которой повисло несколько рыбин. Но вот староста узнает девушку, облегченно переводит дух.

— Это ж куда, Ярина?

— Вентерь вытряхивать. Мы с отцом их на Казачьем броде поставили, вот там, где в водяных лилиях роско-

шествуют лини.— Девушка даже головой мотнула туда, где могли быть эти лилии. И ни одна черточка страха не отразилась на лице Ярины, только под бровями показались те ямки, которые то удивляют, то веселят ее братьев. Где они теперь? Может, и домой заскочили из леса?

— Не рано ли едешь? — И нет в голосе старосты ни строгости, ни подозрений. Что это с ним сегодня?..

— Может, и рановато,— соглашается Ярина и бросает взгляд на луну.— Да у меня ныне работы до самой субботы.

«Теперь ее хватает на все руки»,— подумал про свое Магазанник, насупился.— А это кто с тобой?

— Гость из Красного. Вернулся недавно и к родне заглянул, чтобы хоть потужить вместе, а то же...

— А моего все нет. Каждый день жду его и каждый день, как умею, готовлю для него,— покачал головой Магазанник, сделал вид, что поверил, а может, и на самом деле поверил Ярине, и продолжал далее вытягивать сети.— Вот так — ни рыбьего ока, ни чешуи тебе.

— У вас, вижу, есть и то, и другое,— будто весело ответила девушка и уже не спеша гребнула веслом, на котором леденели руки, хоть дыши на них. А краешком глаза еще видела, словно опечаленное или измученное лицо Магазанника. Что же с ним?..

Гей-гей, откуда было знать девушке, что сейчас на бездорожье обреченных он вложил душу в свое старостование и в то же время справлял поминки по ней. «Не ты носишь корни — корни носят тебя. Вот и принесли. И все равно ты должен тянуть обкорнанную связку дней, пока кто-то не оборвет ее. И ничего, ничегошеньки не оставишь на земле, только пригоршню золота в земле. Так стоило ли из-за золота промотать, развеять годы, жизнь? Даже очи тебе не закроют этим золотом, а может, и пятаками не закроют — разве он не знает, что такое бездорожье обреченных?»

В сетях встрепенулась рыба, и Магазанник потянулся к ней. Даром, что и сам был в сетях шайтана.

Когда немного отплыли, Дмитро спросил:

— Кто этот рыбак?

— Новоиспеченный староста нашего села.

— Ты гляди и подумай! А кажется, будто... человек.

— Мог бы, разумеется, быть человеком, но разными хитросплетениями в черта перешерстился.

— Чего не бывает в подлунном мире,— по-философски, языком стариков, сказал парубок, а потом, когда

Ярина оглянулась на удалившуюся лодку, по-доброму, тихонько усмехнулся:

— Теперь я, дивчина, знаю, почему кто-то умирает по тебе. Если бы и мне в каком-то поле или на какой-то золотой тропке встретить такое чудо.

— Ой, такое ты скажешь...— И омраченное «чудо» замигало ресницами; их уже подмывала горячая влага, а это не часто бывало у Ярины.

Старый ветряк, покряхтывая от натуги, невесть каким чудом крутил огромное колесо, взъерошенные охапки пены и шумы.

— Это уже наш старикан,— подал голос Дмитро.— Теперь только ночью украдкой старается людям на хлеб.

— Лихой глаз не заглядывает сюда?

— А у нас, как у чумаков, ночью стоит стража. Поворачивай, Яриночка, к берегу.

Вот и Ивасив берег, и огород его с кучкой маковок, похожих на школьниц, с густым каждением конопли да с подсолнухами, что склонились в человеческой скорби.

Под звездами, разгребая не разгребая половодье печали, идет или бредет девушка и не знает, что делается с нею и что делать ей. Будто кто-то вынул душу, а вместо нее бросил кусок льда, вот так и живешь — не живешь, словно пересаженное дерево. И чувствует девушка на себе тяжесть лет, тяжесть той печали, что была у наших матерей в прошлом, есть она и теперь. Когда же сгинут все эти нелюди, которым так хочется жить на озерах, на бродах крови людской? Что она даст вашим озлобленным, растерзанным душам, если они есть у вас?..

Вот и садочек, и хата-белянка, безмолвно воркующая с луной да двумя тополями. Где же ей стать, пока Дмитро разбудит Ивася: у ворот или у тополей? А если проснутся отец-мать? От стыда сгоришь вся. И широко открытыми глазами смотрит на окна: не следит ли кто-то за ней.

Дмитро направляется не к хате, а поворачивает к горбатой клуне, перед воротами которой стоя позасыпали ржаные снопы. Житечко наше, жито,— доля крестьянская,— седая, как вечность, седая, как мать.

— Подожди меня, Яринка. Страшно? — заговорщицки поглядывает на нее парубок.

— Ох, страшно.

— Успокойся, не дрожи. А я схожу к Ивасю.

Ярина будто застыла возле снопов, стряхивает и не может стряхнуть с плеч невидимую пелену холода, а хлопец торопливо отворяет калитку и, пригибаясь, исчезает

в клуне. Сначала она слышит шепот, потом вскрик, затем какую-то возню, и вот уже на подворье выскакивает улыбающийся Дмитро.

— Ох, и перепугал же твоего Ивася! Не поверил и до сих пор не верит, что ты приехала. Так прошу в гости. Вот тут хорошенько пригнись, а то шишку себе набьешь.

Девушка переступает порог и останавливается. Ее озноб, ее страх окутывает теплое дыхание сена, снопов, зерна.

— Ярина!

К ней из темноты, словно из прошлого, словно из давних лет, словно из глубины веков, ковыляет на костылях ее радость, ее печаль, ее боль, ее счастье. Правда ли это?

— Ивась! — встрепенулась, подошла ближе, дотронулась до него, а на ее плечи уже падают его кудри. Недаром о них думалось сегодня на пасеке.— Ивась...

— Яринка! — Он бросает один костыль на ток и освободившейся рукой привлекает ее к себе.— Никогда бы не поверил, никогда... Наваждение или ты?

— Наваждение,— не знает что сказать девушка, а льдинка в душе начинает оттаивать.— Как ты, Ивась? Как твоя ноженька? — И Яринка вытирает глаза.

Он беззаботно усмехается:

— Пока ковыляю на трех, а скоро буду бегать на двух.

— Утешаешь меня? — верит и не верит Яринка.

— Сущую правду говорю. Садись за мой стол. Вот Дмитро сейчас дыню разрежет. Яринка, это ты?

— Уже и сама не знаю.

— Вот как можно умно разговаривать! — поперхнулся смехом Дмитро и бросился на подворье.

Привыкнув к скупому лунному свету, что просачивался сквозь щель, она видит на току стол и несколько обрубков, что служат вместо стульев, и сено, накрытое рядном и одеялом.

— Ты, Ивась, вот тут и ночуешь?

— Вот тут и ночую.

— А почему же не в хате?

— Видишь...— И он запинается.

— С родителями поссорился или тайна?

Ивась понизил голос:

— Нет у меня, Яринка, и не будет от тебя никаких тайн. Это я тут поселился, чтобы удобнее было встречаться с молодежью. Мы тоже о чем-то думаем в такую годину. Не будем же сидмя сидеть, лежмя лежать!

— Ой, Ивась!

— Что, любимая, что, милая, что, самая лучшая на свете? — снова одной рукой привлекает к себе.

— Не забудь: я тоже не хочу ни сиднем сидеть, ни лежмя лежать.

— Да разве я тебя не знаю? — И поцеловал ее волосы.— Это ты.

— Опять умно заговорил, как заметил твой Лелека.— И усмехнулась, полностью высвобождаясь из пелены холода.— Садись же, а то тебе трудно ковылять.

Уже утренняя звезда вышла из татарского брода, когда Ярина, крадучись, пошла берегом к своей хате. Неожиданно возле копанки, куда вскочили и тонконогие испуганные незабудки и где одичавшие ирисы держали над водой оранжевые блики цвета, ее встретили насупленные мрачные братья.

— Так что, девушка, скажешь нам? — сразу же грозно спросил Роман.

— А что вам, братики, надо сказать? — беззаботно ответила Ярина.

— Ты смотри,— глянул Роман на Василя.— Она где-то пробегала всю ночь, надорвала нам печенки, селезенки и все внутренности заодно,— и не печалится. Вот зельечко!

— Правда, Ярина, где ты могла целую ночь блуждать? — грустно смотрит на нее Василь.— Такого никогда не водилось за тобой.

— Так война, братья. Я не думаю сидмя сидеть или лежмя лежать,— посмотрела вдаль и чему-то усмехнулась.

— Ты нам не морочь голову хоть войною, а скажи, где была! — даже огрызнулся Роман.

— И скажу, только не закачайтесь от этого дива! — решила схитрить Ярина.— Не я ли просила вас взять меня в партизанский отряд? А вы не нашли ничего более умного, как высмеять меня.

— Уже слыхали это не раз, скажи что-нибудь другое,— гаркнул Роман.

— Вот и добираюсь до того, что ты хочешь, только не греми. Нашла я себе пристанище в другом месте.

— Это ж где? — разом вскрикнули братья, а Роман добавил: — Совсем отбилась от рук девушка. Что значит — нет нас дома.

— Так вот, братики любимые, сядем да попрощаемся перед дорогой. Вы в одну сторону, а я в другую, вы на конях, а я пешей.

— Это ж, наверное, ее Ивась объявился,— догадался

Роман, тряхнул брату чубом, а Ярине приказал: — Подожди нас немного.

Они отошли от копанки, стали на огороде возле высокой кукурузы, замахали руками, как ветряки, словно рассердились поначалу, а потом снова, уже не такими насупленными подошли к ней.

— Так вот, зельечко розмай[1], или любистка, или венок из крапивы,— решительно сказал Роман,— никуда мы тебя не пустим от нас. Как это можно одну семью делить на две части? Если уж так захотелось, вот сейчас и махнем в леса. Коня тоже добудем тебе.

— Да я с вами, братики, хоть на край света.

— Будет тебе и край света, лишь бы только не было конца его,— не с легким сердцем согласился Роман взять с собой сестру. А возьмешь ее, то и Мирославу придется брать. Вот будет у них и писку и визгу, а у нас забот. И все из-за этого зельечка. А оно уже, вишь, прижимается да ластится к Василю...

XIII

И снова зной и золотое томление степей.

На зачерствелых, потрескавшихся ладонях земля протянула человеку щедрую чашу урожая и уже притомилась держать ее; притомился и колос, не дождавшись жатвы, в печали начал накрапывать слезой. Давно уж так не встречались колос и человек.

Сколько ни идешь — и впереди тебя, и позади плачут степи.

Даже страшно подумать, что это уже степи неволи... Изредка блеснет на них серп-другой, мелькнет женский платок, одиноко завиднеется полукопна — и снова печаль колосьев, печаль метелок и дремлющие ресницы подсолнухов. Стоят они плечом к плечу, держат в своих пазухах детские головки и смотрят только на восток.

И они, словно подсолнухи, смотрят и идут только на восток, прислушиваясь ко всем сторонам света.

— Какой урожай повсюду! Море! — останавливается Кириленко, погружает руку в пшеницу, припадает к колосьям осунувшимся, измученным лицом, а затем спрашивает Данила: — Видишь, председатель?

— Кто же этого не видит? Разве что только война.

---

[1] **Розмай** — цветок любви *(фольк.)*.

— Потому что она слепая,— в раздумье говорит Ромашов и перебирает пальцами синие огоньки — цветы цикория. Такая жара, а ему хоть бы что.

Кириленко выпрямился, бросил взгляд вперед:

— А вон, председатель, двух красавиц с серпами заметил? Или тебе как женатому это ни к чему?

Данило еще в железнодорожном полку сказал, что он женат,— это для того, чтобы не надоедали ему легкомысленными разговорами да историйками о девчатах, молодицах.

— И девчат с серпами приметил. Не девчата — топольки.

— Не одна теперь в одиночестве станет тополем, когда перебьют нашего брата в этой проклятой войне...— нахмурился Кириленко, хотя и не принадлежал к тем, кого называют кислями.

Потом с узкой полевой дороги он поворачивает на стерню к двум молоденьким жницам, у которых красивый, чуть-чуть раскосый разрез глаз, вскинутые от удивления брови и свежие пунцовые губы. И ни жара, ни война не иссушили их.

— Здравствуйте, сестрички! — приветливо здоровается Кириленко.

У девчат вздрагивают губы, вздрагивает солнце на серпах.

— Здравствуйте и вам,— выпрямляются, поправляют волосы и пытаются улыбнуться, да их улыбки сразу же гаснут в тенях печалей. У кого их только нет теперь?

— Жнете?

— Не жнем — мучаемся,— говорит старшая. Она кладет серп на плечо, так ярко вышитое красными цветами, что кажется, из них вот-вот капнет кровь.

— Мучаетесь? — неведомо зачем переспрашивает Кириленко и тоже становится печальным.

— А как же иначе, когда такое творится... Когда столько людей не вернется с войны и когда вдовеют наши села. Видать, все доброе на свете покинуло нас,— задрожал голос, задрожал и серп на цветах, и капля крови будто отделилась от них.

— Все хорошее еще вернется к нам, непременно вернется,— хочет как-то утешить сестер Данило.

— Если бы так,— верит и не верит девушка, и такая невыразимая тоска стоит в ее глазах-васильках, словно их изнутри коснулся серп и бросил на синь сивину отцветания.

Ох, эти встречи-прощания да женская и девичья тоска сорок первого года! Когда еще она была такой? Не забудь ее, не забудь ее...

— До вашего села далеко? — со скрытой надеждой спрашивает Кириленко и перекладывает с плеча на плечо винтовку.

— Километра четыре будет,— запинаясь, отвечает младшенькая и стыдливо прикрывает рукой разрез блузки, которую слегка поднимает девичья грудь.

— Немцы стоят в селе?

— Стоять-то не стоят, а заскакивать заскакивают за харчами... Они из чужого амбара хлеба не жалеют.

— Если бы только хлеба...

— У вас водичка есть? Дайте напиться.

Старшая сестра, стройная, и вправду как тополь, идет к полукопне, достает из затененного места косарский кувшин, заткнутый не затычкой, а яблоком, достает белый узелок с харчами и несет бойцам.

— Пейте. А это возьмите на дорогу. Знали бы, что встретим вас, прихватили бы из дома чего-нибудь повкуснее.

— Спасибо, милые.— Кириленко вдруг настороженно поворачивает голову: впереди заскрипели колеса.

— Это, кажется, Евдоким Гуржий куда-то спешит,— привстав на цыпочки, узнает односельчанина младшая сестра, у которой на точеных икрах стерня оставила царапины и капельки крови.

На дорогу выезжает скрипучий пароконный воз, на нем покачивается костлявый дядько; года пригнули его плечи и пеплом седины пригасили свешенный огонек бородки. Увидев военных, дядько поднимает над головой соломенный брыль, придерживает коней и хмуро здоровается. На возу нет ни косы, ни жерди, ни веревок,— видно, не на жатву собрался.

— Далеко, дядечка? — спрашивают девчата.

— Куда в такое время далеко заедешь? Разве что к безносой,— словно сам себе говорит человек.— Так до нее теперь и рукой подать. Соседями стали, можно сказать.— На его желтых белках лихорадятся зеленые яблочки глаз.— В город, на базар, погнала жена. Хотя какой теперь базар? Дурная баба, дурная и песня ее. Вот так. Но должен слушать, если у тебя в хате не хозяйка, а гвалт на все село и два хутора.

Девчата многозначительно переглянулись между собой, а дядько Евдоким продолжает:

— Это у запасливых жен что-нибудь да есть в доме, а у моей всегда в хате ненасытное помело подметает добро. Вот и сейчас — хотя бы тебе щепотка соли была. А как без нее проживешь? Так вот и послала моя бестолковая в город искать какого-то солеторговца.— Затем рукой дотягивается до затылка и говорит: — При новой власти совсем без соли живем. Вот так. А кое-кто додумался минеральные удобрения разводить в воде и этой водой заправлять еду.

— Это правда? — с удивлением вырвалось у Данила.

— А зачем же мне врать? Я же не какой-то... истинную правду говорю.

— Так это ж отрава!

— Если нет соли, то и отрава пойдет в ход. Вот так.

— Как оно в селе? — спрашивает Кириленко.— Не трогает новая власть?

В неспокойных глазах дядьки Евдокима отразился испуг, но пригасил его выгоревшими ресницами.

— Да еще не трогают. Мы никому ничего, так и нам пока что ничего. Вот оно как.

— Так вы никому ничего?..— от неожиданности даже растерялся лейтенант.

— А что мы можем сделать, коли так подешевела жизнь: что тьфу, что жизнь — все равно? — Дядько Евдоким не то тьфукает, не то вздыхает и уже начинает будто оправдываться: — Если бы у меня было хоть три головы, то меньше думал бы об одной. Эге ж! Ибо какое теперь время? Бога бойся, а черта опасайся. Но-о! — И тут же бросает через плечо: — А вам, хлопцы, не советую при оружии идти — ведь теперь недолго и до греха. Кидайте свои железяки и где-нибудь приставайте в примаки, а то оно уже так... Но-о!

— «Мы никому ничего...» — оторопело и возмущенно повторяет Кириленко слова дядьки. Или хитрит этот осторожненький, или так и думает прожить, как жук в трухлявом пне?

— Его нелегко раскусить: он всегда такой, крученый-верченый... Вот так,— насмешливо повела взглядом старшая сестра.— А теперь прямо трясется от страха. Вы в село не идите, а то сейчас все может быть.

— Эге ж, не идите,— с грустью повторила младшая, зарделась и веночками ресниц прикрыла глаза, потому что с нее не сводит зачарованного взгляда притихший Ромашов.

— Как тебя, девушка, зовут? — наконец не голосом, а одними губами спрашивает он.

— Олесей,— еще больше пламенеет девушка.— Олесей Заднепровской.

— Если останусь живым, непременно возвращусь в ваше село.

— Возвращайтесь... Мы вас будем ждать,— и вздохнула, и смущенно поглядела на сестру: не услыхала ли та ее первых слов, сказанных парню?

Они прощаются со жницами и снова глухими дорогами идут на восток, идут золотом степей, в печаль пшениц, в перезвон подсолнухов и седую безнадежность полыни. Когда же отзовется хотя бы пушечный гром? Но вместо него откуда-то послышался свиной визг.

— Тоже кто-то в город базаровать едет,— говорит Ромашов. Он остановился, зачем-то оглянулся, и добрая улыбка затрепетала на его потрескавшихся губах.

— Кого же это вспоминает хлопец? — добродушно шпыняет Кириленко.— Ее или наваждение?

— Наваждение.

— Славная доля кому-то растет, если не обездолит ее время...

И вдруг за наклонной стеной высоких подсолнухов они наталкиваются на немцев, тут же примостивших свою машину. Двое из них весело возятся возле забитого поросенка, а третий, с автоматом на шее, расстилает пестрый брезент, который должен послужить столом.

Это было так неожиданно, что на какое-то мгновение все окаменели.

Потом Данило и автоматчик одновременно ухватились за оружие, одиночный выстрел слился с очередью, и немец, застонав, выпустил автомат из рук, упал на брезент, а Данило, еще слыша над самой головой свист пуль, дослал в патронник патрон. В разные стороны бросились те, что возились возле поросенка, и замертво попадали на землю.

Все это произошло в одно мгновение,— не успели даже развеяться сизые винтовочные дымки.

— Вот и все! — словно не веря себе, сказал Кириленко, губы его еще дергались, будто их била лихорадка; сдерживая волнение, он подошел к брезенту и поднял автомат.— А теперь дай, боже, заячьи ноги.

И, пригибаясь, придерживая оружие, они побежали от тех мирных подсолнухов, под которыми могли бы остаться навсегда.

Уже на другой дороге лейтенант положил руку на плечо Данилу, прищурил глаз:

— А ты, председатель, молодец!

— Это почему же? — Данило еще чувствует, как дрожь ходит по его телу, еще слышит над головой свист.

— Не растерялся.— И, словно винясь, добавил: — Обманул меня тот поросячий визг — свинью подложил.

Как долго тянется жатвенный день в степях! Тяжелеют ноги, тяжелеет тело, трескаются от жажды губы, а в голове слышится шорох колосков, будто и там осыпаются они. Вот бы дойти до речки, припасть к воде, смыть истому, что уже выжимает из тела не пот, а соль. Но нет речки, есть жито, пшеница, овес, подсолнухи, горох, картофель — все то, чему радовалась всегда душа хлебороба. Есть и села, да в них теперь днем страшнее заходить, чем ночью.

Наконец с солнца осыпается венок, оно крепким щитом погружается в хлеба и на чьи-то свадьбы или поминки передает небу багрянцем вытканные рушники.

— А вон и хуторок тополя выставил,— оживляется голос Ромашова.— До поздних сумерек доберемся.

— Только бы там чужих не было.

— И чтоб реченька да криниченька были,— и Кириленко красиво вывел начало песни о криниченьке и сразу же оборвал ее.— Сдерживайте ноги да навострите уши.

Обычный хуторок в степи, тополиная стража, вишневый сон вокруг белых хат, месяц над хатами и дремота деревянных журавлей. Хотя бы какой-нибудь голос послышался, или ребенок заплакал, или дым поднялся над трубой. Словно вымерли жилища, только месяц ставит на окна свои печати.

Тихо-тихо, с оружием наготове входят они в вишневый сон, останавливаются возле плетня, у перелаза, и неожиданно слышат испуганный крик:

— О майн гот! — А потом: — Хальт! Хальт!

И вмиг пропал вишневый сон.

Данило ощутил, как пронизывающий холод обжег его. Почти не целясь, он выстрелил в часового, тут же застрочил из автомата лейтенант. За хатой затопали чьи-то шаги, зашелестела ракета, и в мертвенном, потустороннем свете выступил весь хуторок, а в нем заколебались то ли тени, то ли люди. Данило еще раз выстрелил в босого, полураздетого солдата с автоматом, что припал к воротам,

и вдруг какая-то страшная сила ударила в грудь, обдала его огнем. Хуторок, и журавли, и месяц над ним пошли кувырком, а из-под ног начала уходить земля. Он упал на ее горячее лоно, на ее горячую пшеницу, на горячее марево, а перед самыми глазами у него поплыла кровавая пелена.

«Неужели так и приходит смерть?..»

И на меже, где сходятся жизнь и небытие, он услышал отчаянный рев волов, то ли здесь, на хуторе, то ли возле той пшеницы, которую спасали деды.

Какая-то непостижимая, бесконечная темень и томящая слабость, а из них вырываются вздохи волны. С какого же она брода — с татарского, казацкого, журавлиного или девичьего? И где он, и что делается с ним? Будто он есть и будто его нет. Хотя бы немного раздвинуть эту темень, что словно разметала тело и сжала голову. Он так обессилел, что не может поднять руки. Это, верно, сон, дурной сон. Вот выйдет из него и снова увидит... Что увидит?..

Темень не дала додумать, придавила и его, и мысли. А потом снова, будто из глубины, он выбрался из нее и услыхал два голоса — девичий и старческий. Даже улыбнуться захотелось, ведь так давно не слыхал людских голосов, только ощущал горячие и холодные волны темноты. С большим усилием приоткрыл тяжелые, точно кем-то склепанные, веки,— и мерцание дня омывает их, наполняет глаза, память.

На белом потолке дремлет гроздь солнечных зайчиков, как давно-давно дремала в детстве, когда мать лечила его распаренным зерном... Только вишня да крест в изголовье остались от нее. Как же это он, идя на войну, не простился с ними, с ней?..

А куда же подевались голоса — девичий и старческий? И как он очутился здесь? Вдруг память, словно вспышка молнии, высветила вечерний хуторок и вишневый сон вокруг белых хат, и как он стрелял, и как в него стреляли.

Где же он теперь — у чужих или у своих?

Данило шевельнулся, застонал, а рядом тихо, будто журавль над колодцем, заскрипел старческий голос:

— Вот и хорошо, хлопче, что выкарабкался с того света. Теперь будешь жить, если не умрешь,— и ему ласково улыбнулось старческое лицо с седыми остриями бровей и редким клинышком бородки.

— Кто вы? — Данило хочет приподняться, но его мгновенно прожигает боль.

— Лежи тихонько. А если тебя интересуют анкетные данные, то я сельский врач Приходько.

— Где я?

— У добрых людей. Вот твоя хозяюшка — Ганнуся Ворожба.

К нему подошла тоненькая, как горсточка конопли, девушка лет шестнадцати. Под черными, словно рисованными, дугами бровей светятся и печалятся большие, подведенные синевой карие глаза, печалятся и уста; они трепетно уголками поднимаются кверху, а у подбородка одиноко выделяется крохотная ямочка, которая где-то потеряла свою пару. Данилу стало легче, когда взглянул на эту доверчивость, на это сочувствие, на эту красу. Кого же ты приворожишь, Ганнуся Ворожба? Хозяюшка улыбнулась, вздохнула, и на ее груди покачнулась коса.

— А теперь отдыхай, хлопче,— и ни слова.

Ганнуся осторожно поправляет постель раненого, он еще хочет о чем-то спросить, да усталость смежает веки и погружает его в темноту.

Просыпается он в ранние сумерки от шума ветра и рева коров, возвращающихся из стада. В такую пору коровы, что пасутся в лесах, пахнут земляникой, и молоко тоже. Данило ясно чувствует запах земляники. Да это на скамеечке, застланной полотняной скатеркой, лежат в лукошке лесные ягоды. Не Ганнуся ли собирала их?

А за окнами в кустах калины все сильнее шумит и шумит ветер, и красные гроздья стучат в стекла.

Калиновый ветер! Как любили они с Мирославой прислушиваться к нему возле татарского брода! Блеснула молния, и на калиновый ветер упали первые капли дождя.

Данило хотел подняться, но со стоном упал на постель. В это время открылась дверь и в комнату, смахивая с ресниц дождевые капли, вошла Ганнуся.

— Как вы? — ласково и грустно улыбаясь, спрашивает она.— Вот я сейчас подою корову и принесу вам парного молока. Будете пить?

— Ганнусенько, дивчинонько, я сейчас даже коня с копытами съел бы.

— Такое скажете! — расплывается в улыбке лицо девушки.

— Кажется, никогда не был таким голодным.

— Потому что вы столько постились.

— А сколько?
— Уже вторая неделя пошла.
— Вторая неделя? — удивился, не поверил Данило.
— Правда... Вы очень много крови потеряли. Но все пройдет. Это так наш врач сказал. А он человек знающий.
— Хороший ваш врач?
— Очень славный. Уже сорок лет в нашем селе лечит людей, но немного странный.— Девушка поправляет косу, которая пахнет дождем, и прислушивается, как за окнами бушует непогодь.
— Чем же он странный?
— Всегда, с самой ранней весны и до снега, ходит только босиком. Толстовец. И все чего-то раньше ворчал да сетовал на власти. А теперь, когда пришли фашисты, то уже иное говорит: «Советская власть — это люди!»
— Ганнуся, как я попал к вам?
— Хватит уже говорить, еще завтра день будет.
— Только это скажи.
— Вас, раненого, принесли двое военных к моим родственникам, а те привезли ко мне, потому что я сейчас одна-одинешенька. А теперь молчите,— приложила палец к губам, мотнула косой, мотнула голубой юбчонкой и легко зашуршала босыми ножками по земляному полу.
«Как сама юность»,— подумал Данило, вспомнил свою Мирославу и снова начал прислушиваться к дождю и калиновому ветру.

XIV

День сложил свои белые крылья, а ночь подняла черные и послала на землю сон. Когда-то он ходил по своей улочке в полотняной рубашонке, а теперь на этой улице, как сыч, торчит полицай. Потому и обходит улицы и улочки своего села Михайло Чигирин. Лощинами да левадками, где сизая трава дышит туманом, петляет он к огородам и между стенами кукурузы и конопли, между картофелем, просом и лапчатой тыквенной ботвой сторожко пробирается к своему жилью, которое высматривало его и в гражданскую войну, высматривает и теперь. Тогда его ноги носили, словно в них дневал и ночевал ветер, а теперь отяжелели, и руки отяжелели, наверное, потому, что столько жил выбилось на них — хоть веревки вей. Года!
Вот он ныряет в волны духмяной конопли и останав-

ливается возле изгороди, которая отделяет огород от подворья. Будто ничего не изменилось здесь. Так же над улицами тянутся в небо высокие ясени, так же вишни нависают над стрехой его постаревшей хаты-белянки, так же в окна ее заглядывают бессонные мальвы и звезды. И как в то же время изменилось все! Даже в эту тихую хату с чужих дорог уже прилетало воронье вырвать и его постаревшую душу. Сколько намучилась и еще намучится Марина! Вот уж чьей доле никак не позавидуешь! И помрачнел Михайло, думая о своей верной жене, с которой за всю жизнь даже поссориться не сумел. А сколько же из-за него пришлось выгореваться ей? Как она только терпела его?

Пройдя немного вдоль изгороди, на которой еще не высохла живица, Михайло видит возле угла хаты столб с наискось вбитыми в него колышками, на которые надето с полдесятка кринок, и облегченно переводит дыхание: значит, дома чужих нет. Тогда он тихонько подбирается к боковой стене с нависшей на огород стрехой. Раздвинул руками мальвы, стряхнул с их бокалов росу, разбудил шмеля, стукнул в увлажненную ночью крестовину рамы и замер с той неуверенной улыбкой, что всегда перекашивала его губы, когда он вот так встречался со своей кареглазой Мариной. Верно, сама судьба послала ему такую жену — любящую, сердечную, с этим приветливым смуглым лицом, на котором так хорошо играют неровные брови, улыбка и насмешка.

Через какое-то мгновение в окне показалась Марина. Даже спросонья она успела набросить на голову темный платок. Но почему темный?

Жена приникла к стеклу и вдруг, чего никогда не бывало, отшатнулась, тихо ойкнула, взмахнула рукавами, затем исчезла, но вскоре снова появилась, оперлась на подоконник и снова вгляделась в окно. Что же сталось с нею или, может, с ним? Отчего так испугалась она? Чигирин на всякий случай хватается за автомат и так прислушивается к тишине, что она, кажется, бьет колоколами. А Марина тем временем начала возиться с окном, не в силах раскрыть его. Задвижки, видно, заело. Наконец открыла, все еще как-то странно приглядываясь к Чигирину. Не узнает, что ли?

— Это ты, Михайло? — спросила неуверенно, не голосом — одной болью.

— Разве я теперь на кого-то другого похож? — прошептал он, подходя к самой завалинке.

— Ой, Михайло, это ж ты!..— будто наконец узнала, и от рыданий затряслись ее плечи.

— Да что с тобой? — коснулся Михайло руками ее черного платка, который Марина носила только в дни печали.

— Ничего, ничего,— темными цветами рукава вытирает жена слезы и уже будто спокойнее спрашивает: — Пришел?

Так спрашивают матери детей, которые сильно провинились.

— Пришел,— и склоняет седую голову: разве он не виноват перед нею? Ведь это из-за него не было ей ни минуты спокойной жизни — ни при панской экономии, ни в войну с немцами, ни при скоропадчиках, ни при деникинцах, ни при бандитизме. Стреляли по ночам в него, стреляли и в нее; не находили его — допрашивали ее. И до сих пор на плечах своих носит она синие полосы от шомполов, что рвали на куски рубашку, и тело.

Вот только когда отстреливался он из хаты, тут она не помогала, а шептала свою молитву, моля бога отца и сына и божью матерь защитить неразумную голову ее мужа. О нем всегда она больше думала, чем о себе...

А ему хоть бы что. Только выскочит из беды и уже начинает подсмеиваться: «Не надо, жена, столько плакать, а то твоими слезами можно всю историю описа́ть». И припадал Михайло своей головой к ее плечам, к ее груди, утешал, обещая, что они еще с самим счастьем встретятся.

— Дури, дури мне голову,— вздыхала Марина.— Хотя бы ребенок остался живым, а мне бы не овдоветь. Это бы и было все наше счастье,— и подходила к вербовой колыбели, которую привычно качала ногой, а руками все пряла бесконечную нить.

Когда покончили с войной, начали угрожать ему разные недобитки. А далее пошли коллективизация, борьба за хлеб, за урожай, за стройки и перестройки, чтобы потом встретиться с самим счастьем.

Как-то при гостях, когда муж уже был председателем колхоза, Марина коснулась его чуба и грустно сказала:

— Вот и не заметила, как ты поседел, верно, потому, что затемно уходил, а возвращался в полночь.

Это правда, в работе он никогда не жалел себя, ибо, как подсмеивались соседи, родился двужильным — после гражданской приходилось и в плуг, и в бороны впрягать-

ся. Нелегким был его хлеб, да легкого он и не искал, даже когда его каким-то начальником выбрали.

— Скоро ли мы с самим счастьем встретимся? — с укором спрашивала жена, если он из-за разных работ в хату почти не заглядывал.

— Погоди немного, Марина. Больше ждали. Счастье еще растет, словно девушка.

— И знаю, что снова дуришь мне голову, а верю,— поведет Марина неровными дугами бровей, словно крыльями, кротко улыбнется, и все укоры отойдут от его шальной макитры.

С той поры, кажется, минул целый век...

— Ты не иди к дверям, в окно лезь,— и Марина берет из его руки чужеземное горбатое оружие. Какое только не побывало в руках Михайла! И английское, и французское, и австрийское, и немецкое, и еще царское. Но не по оружию, а по чернозему, по зерну тосковала душа ее мужа. Лучшего сеятеля, верно, не было в селе. А как он любил возиться с пчелами и плодоносным деревом! Даже дички прививал в лесах, чтобы чем-то порадовать, удивить человека.

Через какую-то минутку Михайло, подшучивая сам над собой, влезает в хату, обнимает свою Марину и, как может, успокаивает ее и движением рук, и шепотом, и поцелуями.

— Любимая моя, любимая...

— Господи, значит, ты? — снова будто верит и не верит она.

— Какое диво сегодня с тобой? Спишь ли ты или проснулась? — начинает подтрунивать муж.— Неужели и теперь не веришь, что это я?

— И ты бы не верил...— в голосе жены прорвались слезы.— Позавчера ведь по твоей душе заупокойную звонил колокол.

— Это с какой же радости?! — возмутился он.— У кого-то в дурной голове бомкало?

— Потому что передали люди: убит Чигирин — снаряд настиг в лесах. Оплакивала я тебя, глаза опухли от горя и слез.

— А я за это время исхудал на бесхлебье,— прыснул он со смеху так, что слезы ее понемногу начали отступать.

— Все-таки обошлось, Михайло? — И Марина касается его лба, бороды, в которой утонуть можно.

— Выходит, обошлось, хотя и нелегко было,— не договаривает он, так как не любил все выкладывать о себе.

Марина знает об этом и не торопится расспрашивать: придет время — сам расскажет, еще будет и подтрунивать над собой, словно это случилось не с ним, а с кем-то другим.

— Ты уже с автоматом пришел?

— С автоматом.

— Скоро, наверное, и с пушкой притащишься?

— С пушкой — вряд ли,— успокоил ее муж.— Это уж наш Григорий где-то с нею днюет и ночует.

— Хотя бы живым вернулся,— и все материнские тревоги-печали проснулись в душе Марины.

И успокоить ее нечем: правды не знаешь, а врать не станешь. Чигирин, как в давние года, устами касается ее бровей, ресниц, а руками успокаивает ослабевшие плечи, которые выдержали все на себе, но начали сгибаться.

— Не надо, жена, не надо.

— Он же у нас единственный.

— И ты у меня одна-единственная с первого и до последнего дня. Помнишь, как мы ранней-ранней весной встретились в монастырском лесу? Тогда пробивались подснежники. И парочку их я тебе вплел в косу...

Как марево где-то на краю земли, заколебалось прошлое с нераспустившимися подснежниками, которые все же цвели для них и в памяти не осыпались.

— Не забыл их? — И Марина как будто вошла в тот туманный лес, где встретились их молодость и любовь.

— Не забыл, потому что они, считай, были твоими чарами,— снова подсмеивается муж.

— Господи, как это давно было: и молодость, и подснежники, и твое лукавое слово, будто я самая красивая.

— И поныне ты самая красивая для меня, хоть и до сих пор не распрямила бровей. У тебя, когда не сердишься, ни одной морщинки не найдешь, а я уже весь седой, словно дед-мороз: так меня теперь и называют партизаны.

— Что же это приготовить моему деду-морозу? — Маринин голос зазвучал теми бархатными тонами, которые он так любил.

— Ничего не готовь, ведь скоро уходить.

— Но ты зачем-то пришел?

Чигирин хмыкнул:

— Чтобы тебя увидеть...

— И чего-нибудь взять,— насмешливо подсказала Марина, разве ж она не знает своего мужа?

— И чего-нибудь взять,— соглашается он.— Но главное — это на тебя поглядеть. Веришь, никогда, даже в молодости, не скучал по тебе, как теперь.

— Ври, ври! Разве мне впервой такое слышать? Что-нибудь другое придумал бы,— еще больше успокаивается жена, разве ж ее лукавый муж не знает, как успокоить? — Чего тебе надо?

— Хлеба нет у нас, а у тебя, слышу, свежим пахнет.

И Марина снова загрустила:

— Напекла же вам хлеба, со слезами напекла. Думаю: тебя уже нет, а кто-нибудь из партизан все равно наведается. И свечку зажгла на твоем хлебе... Это вы подбили машину с тем бароном, что приехал землю себе отмеривать?

— Выходит, мы.

— И ничего вам после этого?

— После этого ринулись в леса каратели на четырех машинах с двумя пушками.

— И как же? — затаив дыхание, прижалась к своему такому родному и такому чудно́му мужу. Разве ж она нажилась вдосталь с ним? Вот нагореваться нагоревалась.

— Встретили их как надо. Возвращались они уже на одной машине.

— Много у них машинерии, много,— и перед ее глазами проходит то чужое железо, которое несет только смерть.

— Однако скоро поменьше станет у них и машинерии, и еще чего-то; когда идешь за чужой головой, неси и свою.

И замолчали. Он еще раз увидел последнюю стычку с карателями, еще раз прикинул в мыслях, где и как достать взрывчатку, детонаторы. А Марина с грустью думала: разменял муж шестой десяток, а покоя не имел и недели. Другие, смотри, молодые, здоровые, отлеживают себе бока в теплых углах, а этот нигде не согреет места.

— Чего же тебе поесть дать?

— Какого-нибудь борща, хоть оскомистого, подогрей, а я на минутку сбегаю к Владимиру. Как он там?

— Все еще в кузнице возится. Только зачем тебе ночью тащиться и людей беспокоить?

— Дело есть. Я скоренько. Готовь борщ и не унывай.— Подошел к окну и, покряхтывая, начал выбираться из хаты. Что ты сделаешь с оглашенным?

Подворье младшего брата Владимира было рядом с его

двором. И вот, не выходя на улицу, он перелез через плетень и огородом добрался до опрятной, как будто в беленькой сорочке, хаты. Спросонья гавкнул Рябко, но, узнав голос Чигирина, замолк, ударив хвостом о пересохшую конуру. Настежь распахнулось окно.

— Кто там по ночам шатается? — густым басом спросил Владимир, который, видно, еще не спал.

— Это я.

— Ты? — удивился брат, высунув в окно не меньшую, чем у Михайла, бороду,— и уже радостно: — Воскрес?

— Как видишь.

— Так заходи скорее.

Еще на пороге Владимир могучими ручищами молотобойца сжал в объятиях брата, поцеловал и потащил в дом, где в темноте одевалась его жена.

— Жинка, слышишь — Михайло снова обманул костлявую! — И к брату: — Это в который же раз ты воскресаешь?

— А я не считал,— улыбнулся Чигирин.

— Пожалуй, в пятый? Вот давай напомню, если ты забыл.

— Что ты мелешь, Владимир! — возмутилась Христина. Одевшись, она подошла к деверю, прижалась к нему, вытирая рукой ресницы.— Уж мы с Мариной наплакались и в твоей, и в нашей хате... Ой, Михайло, Михайло...

— Еще и до сих пор у нее под глазами слезы не высохли,— сострил Владимир и начал раздувать в печи огонь.— Вечерять будешь?

— Спасибо.

— Так зачем же тогда пришел ночью? Только хату нахолодить? Чтобы только разбудить нас?

— Владимир, как тебе не совестно! — чуть не застонала Христина. Она все еще не могла привыкнуть к таким разговорам братьев.

— Не слушай, жинка, его, а сразу жарь яичницу прямо из целого яйца.

— Что ни слово, то золото. Вот по ком плачет кино горькими слезами.— Христина поставила каганчик на стол и начала поправлять одеяла на окнах. Потом, опечаленная, стала против деверя.— Как же ты, Михайло, в такое время?

— Часом с квасом, а порой с водой.

— А больше всего с бедой,— помрачнело ее доброе лицо, ее добрые очи.— Воюешь?

— А он иначе не может, чтобы не умирать и не воскресать,— снова не выдержал Владимир.— Христос один раз воскрес, а он — пять раз, потому что техника теперь иная. Ставь, жена, четверть на стол.

— Не надо, Владимир, мне ведь скоро идти.

— Тогда зачем было приходить? — будто шутит, а на самом деле печалится брат.

— Чтобы ты мне сковал одну штуковину. Такого кузнеца, как ты, надо поискать.

— Если сумею, скую,— усаживает брата за стол.— Железа теперь хватает. Что там у тебя?

— Надо смастерить такую лапу, чтобы костыли вытаскивала на железной дороге. Знаешь, какую?

— Отчего не знать? — и Владимир подвинулся поближе к брату, понизил голос: — А ты думаешь, что наши все-таки победят фашистов, даже со всей их техникой?

Чигирин глянул, казалось, не в глаза, а в душу брата:

— Победим! Непременно победим! Сломаем и проклятый фашизм, и его окаянную машинерию.

— А я, брат, не верю в это... Сам подумай: что ваша лапа против такой страшной силы? Да и немцы уже трубят, что они до самой Москвы докатились.

Придерживая бороду рукой, Владимир поднялся, вышел из хаты и через какую-то минуту вернулся с двумя увесистыми самодельными лапами.

— Тебе такие нужны?

Михайло удивился:

— Где ты их, такие хорошие, достал?

— Спасибо, что похвалил. Приходили такие ж, как ты, из соседнего района. Левка Биленка помнишь?

— Помню.

— Вот он как-то прибился с напарником ко мне. Тоже партизанит.

— А где? — Михайло так и потянулся с надеждой к брату.

— Разве он об этом скажет? Но думаю — в монастырском лесу — проговорился о парной. Ведь она там стояла. Сковал я им две лапы, а потом еще две: думаю, может, и моему старшему брату они на что-нибудь сгодятся.

Старший покачал головой:

— Так ты ж не веришь, что мы победим?

И тогда Владимир строго ответил:

— Верить не верю, это правда, а жить должен честно и умереть должен честно.

Михайло обнял брата, потом его жену и тихо вышел из хаты. Марина уже ждала мужа возле ясеней. Услыхав его шаги, вздохнула, открыла дверь.

— Иди, а то уж и борщ остыл. А ты какими-то железяками разжился?

— Да, разжился.

И только они сели за стол, как кто-то тихо стукнул в окно.

— Ой, лишенько! — вскрикнула Марина, а Михайло схватился за автомат.— Что же делать?

— Подожди немного,— успокоил ее муж.— Может, это Владимир еще какую-нибудь железяку несет?

И снова стук в раму.

Михайло сделал шаг к окну, но Марина порывисто стала напротив него.

— Не ходи! Лучше я гляну.— Она подошла к окну, вглядываясь в темень, наклонилась к подоконнику — и застонала.

— Что там? — быстро поднял автомат Михайло.

— Ой! Григорий!

— Какой Григорий? — не может сразу понять он.

— Наш! — И Марина не идет, бежит в сени, открывает наружную дверь, всхлипывает и заходит в хату, припадая к плечу Григория.— Ой, сыну, дитя мое! Как же ты?

— Вот видите — живым добрался до вас.— Григорий снял с плеча винтовку, поставил в угол и, как отец, добавил: — Не плачьте, не надо.

И Чигирин, волнуясь, сделал шаг вперед.

— Здорово, сынок.

— О, и тато наш есть!

— А отчего это мне не быть? — обнимается и целуется с сыном.

— Думалось, что вы или в эвакуации, а скорей в партизанах.

— Он и есть в партизанах,— с гордостью подтвердила Марина.— Вот только что из леса пришел за харчами. Все до макового зернышка повытаскает, помяни мое слово.

— А вот макового зернышка и не трону. А ты как, сыну? Бежал, только пятки сверкали?

— Не бежал, тато,— серьезно ответил Григорий.— Бился, как вы меня учили, до последнего. При отступлении мою пушку оставили немцев задерживать. И мы держались, пока от пушки не остались одни обломки, а накатник не испустил последний дух. Так что, батько, не смейтесь.

— Это ж он испытывает тебя. А только сейчас тосковал по тебе. Садись, сыну, вечерять,— и Марина кинулась к посуднику.

— Как хорошо повечерять вместе,— садится за стол хозяин.

— Хорошо, муженек,— согласно кивнула Марина.

И впервые за все это время она радостно улыбнулась своему сыну, своему мужу, не зная, где их посадить и чем угощать. Но и улыбкой нельзя было скрыть неуверенности и страха, потому и прислушивалась ко всему на дворе.

После ужина старый Чигирин, прощаясь, положил руки на плечи жены и, отведя от нее глаза, сказал Григорию:

— Целуй, сынок, мать, да будем собираться в леса.

Марина оторопела, задыхаясь, как рыба на берегу, глотнула воздуха, схватилась за сердце:

— Что ты говоришь?.. Как это — в леса?

И муж твердо ответил:

— Ногами, жена, ногами, машины пока еще нет.

Горячие волны зашумели в голове матери, потекли по ее лицу, по незаметным ранее морщинам.

— Бездушный ты! Я ж и насмотреться не успела на свое дитя!

— Еще насмотришься,— неопределенно пообещал Чигирин.— А сейчас надо идти.

— Пусть хоть один день побудет со мной,— в очах Марины сверкнули слезы.— Только один день молю у тебя.

— Не дало нам время этого дня,— уже хмурится старый.— Еще кто-нибудь ввалится в хату.

— Тогда пусть Григорий к моей маме пойдет, хоть день перебудет.

— Не шути, Марина, потому что лихо не шутит.

Женщина окаменела.

— Лучше бы ты, оглашенный, и не приходил сегодня.

Но это мужа не рассердило, он только пожал плечами:

— Не знаю, кто из нас оглашенный,— и снова коснулся рукой плеча жены.— Не надо, слышишь, не надо.

— В самом деле, мама, не надо,— отозвался и Григорий.

— И ты заодно с этим оглашенным?

— Моим отцом и вашим мужем, мама,— улыбнулся Григорий.

Марина припала к сыну:

— Ты смотри за собой и за ним, у него и до сих пор разум детский.

— Если жена добралась до разума, значит, и вправду пора идти,— рассудительно сказал Чигирин и начал укладывать в торбу хлеб.

— Ирод! — отрубила Марина, пошла в чуланчик и вынесла сала на дорогу.— Положи сверху.

— Ирод сала не ел,— буркнул в бороду муж.

— Ой, Михайло, Михайло...— Начала завязывать торбу — и уже совсем тихо: — Откуда ты, хлопот, взялся на мою голову со своими подснежниками? И как я из-за тебя еще не побелела, словно те подснежники?

— Это я твою седину забрал себе... И не очень убивайся. Мы к тебе будем наведываться.

Вскоре отец и сын вышли со двора, нырнули в терпкую волну конопли, а из открытого окна вослед им донеслось до них горькое всхлипывание.

— Бабы,— крякнул Чигирин,— если бы собрать их слезы, то всех лиходеев можно было бы утопить.

XV

Там, где предвечерний лес бросал свои тени под колеса чужих поездов, близнецы сторожко остановились, замерли. Роман держит в руках лопату, а Василь — мешочек как будто с каким-то инструментом. Хлопцы сейчас похожи на рабочих, ремонтирующих железнодорожное полотно. Но напрасно так таились они: сколько ни окинешь взглядом, нигде никого, только тени, как самоубийцы, лежат на колесе да порой в лесу, усаживаясь на ночь, пискнет пичужка.

Тишина и покой царят тут, хотя отсюда до станции рукой подать. Еще ни один паровоз не сломал себе шеи на этом месте, еще ни один мост не взлетел на воздух, еще ни один патруль, падая на рельсы, не разбил о них каску или голову. Потому чужие колеса беспечно режут тени, а чужие окна выплескивают из вагонов музыку, смех и голоса самоуверенных правителей.

— Тут, пожалуй, можно и днем расшивать полотно,— прикидывает сразу Роман, присматриваясь к просмоленным шпалам и заржавевшим костылям.

— Можно и днем, только не всегда,— щурится Василь, именно сейчас заметивший на придорожной тропинке женскую фигуру.— Вон, видишь, кто идет?

— Красавица с узелком или ведьма с помелом,— скалит зубы Роман.

— Спрячемся в лесу или постоим тут?

— Чего это нам красивой опасаться? — Роману не терпится поговорить с девушкой, и он деланно вздыхает. Парень не столько засматривается на девчат, сколько любит поболтать о них.

И вот в легоньком цветастом платьице, в невесомом, цвета весенней травы, платочке к ним подходит стройная белянка с черными ресницами чародейки, в ее руке покачивается узелок с глиняными горшками-близнецами.

— Борщ и каша? — усмехаются братья.

— Борщ и каша. Здравствуйте,— певуче здоровается девушка и осуждающе поглядывает на парней.

— Сама варила, ясочка? — улыбается Роман.

— Сама... Стараетесь немцам дорогу исправить?

— Стараемся, зиронько.

— Хороший паек за это получаете?

— Да получаем. А что?

— Ничего... Вот отец мой отказался от такого пайка, заболел или прикинулся больным. А вам, видно, силы не занимать и... ума тоже.

— Что уж есть, то есть,— боясь прыснуть, загадочно говорит Василь.

Между шпалами стоит девушка и, опустив глаза, невинно спрашивает:

— Это вы на смену Макогоненко пришли?

— Не знаем. А что с Макогоненко?

— Какие-то хлопцы хорошенько отдубасили его, чтобы не очень старался работать на чужих,— прикрывает глаза длинными ресницами и ровной походкой уходит от них.

Василь обернулся к брату, засмеялся.

— Как тебе твоя ясочка?

— Умница и к тому же красивая! — снова, но уже не деланно вздыхает Роман.— А как она хорошо несет цветы на своем платьице!

— И косы тоже. Уродились они у нее, как жито в этом году.

— Уродились,— и еще более пристально оглядывает даль: не появится ли кто-нибудь на полотне? — Знаешь, брат, что люди говорят о близнецах?

— Говори — узнаю.

— Поговаривают, что им не очень везет в любви —

чаще всего они влюбляются в одну девушку, а это до добра не доводит.

— Глупости мелешь.

— А может, и правду говорят люди? — продолжает свое Роман и задумывается.— Видишь, мы до сих пор ни по ком не сохли, вот и прилипло к нам — «старые парубки».

— Так это ж Яринка когда-то в сердцах влепила такое гадкое словцо... Вот оно и пристало к нам. Нелегко ей с Мирославой в лесах.

— Но еще тяжелее нашей матери: теперь она каждый вечер выстаивает у ворот и высматривает нас. А татарский брод все шумит и шумит да напоминает ей, как мы родились в челне. И тато горюет. Только нет девчат, которые бы грустили по нас, а жаль. Оно как-то легче, когда знаешь, что кто-то думает о тебе.

— Нашел время для грусти,— собрал губы в оборочку Василь, а перед ним засияли очи той девушки, которой и слова не сказал, а теперь уже и не скажет. Лишь только один раз он увидел ее на свадьбе, когда она метелицей кружилась в танце и так кружилась, что даже подковки звенели. Это была первая метелица в его жизни. Да тут же, на свадьбе, с огорчением и доведался, что у нее уже есть жених. Он стоял неподалеку от нареченной, в плотном кожухе, невысокий, тоже плотный, и плевался тыквенными семечками. Неужели эта метелица попадет в его коротковатые и грубые руки?..

— Чего, брат, затосковал?

— Жизнь.

— Теперь, можно сказать, не жизнь, а полжизни.— Роман приглядывается, как предвечерье меняет голубой наряд на синий. Еще один день ушел на отдых, и начинается рабочая партизанская ночь.

Над лесом, мягко-мягко помахивая крыльями, проплыла сова, и сразу же раздался отчаянный писк какой-то пташки.

— Вот и нет чьей-то жизни,— грустно покачал головой Василь, еще раз поглядел вдаль, снова, как в тумане, увидел свою первую метелицу. Была она или не была?

Со станции донеслась медь колокола, а потом загудел поезд. Братья спускаются с насыпи, на всякий случай отходят к опушке, прислоняются к елям, что и сейчас еще пышут теплынью погожего дня.

Вскоре загудели рельсы, блеснули лучистые глаза паровоза, загрохотали колеса, и из вагонов, набитых солдат-

ней и офицерней, выплеснулись чужая речь, чужая музыка, чужая радость.

Роман чуть не застонал:

— Вот бы рвануть его, чтобы и до Калиновки не доехал, не то что до Киева.

— Если бы нас вчера послали в разведку, то сегодня по нему был бы похоронный звон. А ты видел в окне тушу, разукрашенную наградами и позументами? На Геринга похож.

— Наверное, генерал.

— Были бы у нас лапы, сами бы что-нибудь придумали.

Когда темень проглотила красные огоньки последнего вагона, Роман, чтобы как-то развлечь себя и брата, с чувством сказал:

— Чужие вагоны, чужие поезда, а я тебе прочитаю о наших. Никто в мире об этом так хорошо не написал, как Владимир Сосюра.

— Поглядим еще, а потом читай.

Они поднялись на насыпь — и снова нигде никого. И в тиши зазвучал голос Романа.

Коли потяг у даль загуркоче,
Пригадаються знову мені
Дзвін гітари у місячні ночі,
Поцілунки й жоржини сумні...

— «Коли потяг у даль загуркоче»,— повторил Василь.— А дождемся ли мы, брат, своих поездов? Чтобы вот так сесть в Виннице — и прямо в Москву. А потом во Владивосток, на Сахалин, и по дороге все наши песни добрым людям петь. Знаешь, с какой бы я начал?

— С какой?

Ой у полі криниченька,
Там холодна водиченька,
Ой там Роман воли пасе,
А дівчина воду несе.

— Может, наша дивчина и принесет нам воду, если не подкосит ее война,— погрустнел отчаянный Роман.

— Будем надеяться, что принесет, будем думать о любви! — как заклинание повторил Василь, тряхнул буйным чубом, положил руку на плечо брата.— Так потопали к коням?

— Подождем: поздний час нечистую силу выводит.

На темно-синий бархат неба выкатывается полнолицая луна, и снова тени леса жертвенно кладут свои головы на рельсы. Вот они проснулись, и по ним тихо, без огней,

проскочила дрезина; вел ее штатский, но рядом с ним сидел солдат с ручным пулеметом.

— Поздний час в самом деле выводит нечистую силу,— повторил Василь слова брата.

А после одиннадцати на полотне блеснул огонек, и в его лучах очертились две головы в касках. Это, закуривая, остановился патруль. Шаркая тяжелыми ботинками, солдаты молча прошли возле близнецов, а потом появились минут через двадцать — двадцать пять.

— Днем тут спокойнее,— шепчет Василь.

— А патрульных хоть сейчас голыми руками бери. Чесанем, брат?

— Шальной! Тогда Сагайдак никогда не пустит нас в разведку.

Еще подождали с полчаса, но патруль больше не появлялся.

— Пошли отлеживать бока. Распустились, будто у тещи. Что ж, и нам пора домой.

Близнецы, словно в дремотные волны, ныряют в лес, на полянке находят своих красногривых, отвязывают поводья и мигом вскакивают в седла. На дороге застоявшиеся кони переходят в галоп и будят пугливое эхо.

— Не видится ли тебе то, что будет завтра? — спрашивает Роман.

— Видится. Вот если бы каким-то чудом возвратился поезд с тем генералом! Хотел бы я посмотреть, куда полетели бы его кресты. И есть хочется.

— Может, захотелось того борща и каши, что девушка варила?

— Молчи, брат, а то в животе контрреволюция просыпается, еще подорвет силы партизана.

Вот и молчаливое жилище Магазанника. Как в похоронном саване, стоит мертвая хата, не капает слезой прикованная железом к журавлю бадья, не скрипят раскрытые ворота. Не слышно и дыхания скотины, только со старых-старых дверей скита, которые забыли вывезти в село, одиноко глядит потрескавшийся, постаревший ангел.

— Удрал черт от ангела,— со злостью процедил Роман и остановил буланого возле желоба.— Напоим коней.

Заскрипел журавль, плеснулась вода в желобе, и кажется, на мгновение проснулось подворье да и снова погрузилось в сон.

— Гонялся человек за живой копейкой, а все стало

мертвым,— входит Роман в сад, где когда-то стояла пасека. Вместо нее он видит в закутке старый одинокий улей.

— Поедем к себе,— тихо говорит Василь.

— Погоди, взгляну на улей,— вдруг заговорила в Романе душа пасечника. Он подходит к улью, прикладывает к нему ухо и дивится: изнутри едва-едва отзывается тревожное жужжание. Что ж это такое? Ведь не так гомонит пчелиная семья? Роман поднимает крышку улья, потом осторожно вынимает темную, изъеденную рамку, на которой едва шевелится обессиленная матка.— Вот же проклятущий Магазанник!

— Что там, Роман?

— Вот чертов жадюга! Чтобы иметь больше меда, значит, чтобы не сеялись в медосбор личинки, он посадил в тюрьму матку и, видно, забыл о ней или побоялся приехать сюда. Этот нечестивец не только пчелиную матку засадит в тюрьму.

Роман раскрыл улей и с рамкой в руках быстро пошел из пчельника на подворье. Тут он положил изъеденные соты на краешек желоба, и матка медленно потянулась к воде.

Неожиданно братья слышат то ли вскрик, то ли всхлип, хватаются за оружие, но тут же и опускают его — от ворот, мотая косами, бежит к ним очень знакомая фигура.

— Шальная! — удивляется и улыбается Василь.

— Полоумная! — бормочет Роман.

А «полоумная», смеясь и ойкая, падает сначала в объятия одного брата, потом другого.

— Откуда ты взялась, умница?

— О, сначала «полоумная», а теперь «умница». Тогда уж найдите что-нибудь среднее.— Яринка от радости щурится, поправляет карабин, косы и одной любовью смотрит на братьев.

— Лебедушка ты наша,— тормошит ее Василь.

— И языкастая тоже.

— Осунулась наша сестричка, осунулась.

— Ой, братики, как я соскучилась по вас,— льнет к братьям Яринка.— Пошли вы на эту железную дорогу, а мое сердце как тисками кто-то сжал. Места себе не находила.

— А потом нашла помело и неведомо зачем полетела ночью.

— Не ночью, а днем, и не болтай, Роман. Ведь все равно любишь сестричку.

— Было бы кого. И как этот Ивась Лимаренко выдерживает твой характер?

Яринка сразу вспыхнула, но сдержала себя и повела глазами, верно, туда, где жил ее Ивась.

— Расскажи, Роман, как вам работалось на железной дороге.

— Видели там зельечко, похожее на тебя.

— И только?

— Нет, не только это.

— Так завтра пойдем на железную дорогу?

— Наверное, пойдем. Только ты, Яринко, не просись с нами,— грустнеет Роман.

— Ой, Романочку,— замигала глазами Яринка,— разве ж я могу оставаться без вас?

— Попробуй. Вечерю приготовишь для нашей семьи. И как ты не побоялась ночью искать нас?

— А разве мне не у кого смелости занять? У своих братьев-соколов.

— Какая ты хорошая сегодня,— и Василь влепил в щеку сестры поцелуй.

— Это можно было бы и раньше сделать,— не растерялась Яринка и подставила вторую щеку Роману.

— Как мед, так ложкой,— фыркнул тот.— Зельечко языкастое и вездесущее.

А «зельечко» подошло к воротам, ввело на подворье своего кроткого коня и прикипело глазами к дверям скитка, на котором журился забытый ангел.

Через какую-то минуту к Ярине подъехали братья. Василь подал ей баклагу с водой.

— Окропи душу свеженькой, да и пойдем в свои леса.

— Давайте сядем сейчас на коней и хоть на минутку заедем домой.

— Чего захотела! — покачал головой Василь.— У нас уже, наверное, начинают цвести чернобривцы.

— И мать называет Яринку своим чернобривцем. А нам, видишь, не пожалели рыжей краски.

— Золотой, Роман! А теперь, братики, по коням... до калинового моста... Когда это мы доберемся до него?

— Доберемся, сестра! — Глаза Романа блеснули задором, рука легла на автомат.

А Ярина головой прижалась к плечу брата.

— Тихо в лесах, даже слышно, как роса падает. Вот было бы так и в мире.

— Если бы в нем не было сатанаилов и ведьмаков,— отозвался Василь, который знал наизусть до сотни ска-

зок. А самая страшная, уже не сказка, а быль с сатанаилами, вызывала у него всегда одно непреклонное желание — косить их из автомата. И косил он их упорно, без озлобления, даже с усмешкой в уголках губ. Это даже смельчака Романа удивляло, у которого в бою темнели глаза и тяжелел взгляд.

Вдруг Роман насторожился, предупреждающе поднял руку, стал прислушиваться к шляху. Он первым услыхал урчание моторов, многозначительно переглянулся с Василем, а Ярине приказал:

— Садись, любимая сестра, на своего коня и что есть духу мчись к Андреевой сторожке. Мы тебя догоним.

Ярина побледнела, умоляюще посмотрела на брата.

— И не проси и не моли. Беги к коню!

У Ярины задрожали губы:

— Без вас я никуда не поеду. Никуда!

— Я что, языкастая, сказал тебе?! — грозно поднял брови Роман.

— Слыхала. Может, повторить? — И такое упрямство выразилось на ее точеном лице, на лепных дугах бровей, на припухлых губах, что Роман только пронзил ее гневным взглядом и чертыхнулся.— Откуда ты, баламутная, взялась на мою голову?! Мало у нас без тебя хлопот?

Тогда Яринка неожиданно подошла к нему, и в голосе ее зазвучали слезы:

— Романочку, не злись, не чертыхайся, разве ж я у тебя такая плохая? А без вас я не могу... Потому что люблю вас,— и обеими руками вцепилась в карабин.

— Пригаси, девушка, свой жар, а то и нас сожжешь,— только это и сказал Роман и улыбнулся «язычнице».— А теперь к коням. Проверьте седла!

От коней, пригнувшись, с оружием в руках, крадучись подошли они ближе к шляху и застыли в ожидании под старыми деревьями. Из долины накатывался и накатывался густой гул моторов. Вот и фары блеснули, залили светом придорожные деревья.

— Колонна идет,— недовольно прошептал Роман.— Почему бы судьбе не послать хоть какой-нибудь легковушки? Яринка, ноги не дрожат?

— Ноги — нет, а руки подрагивают, не привыкли к карабину.

— Карабин не ухват. И не вздумай без команды стрелять.

— Не вздумаю,— ответила Яринка, желая как-то задобрить брата. А холод и жар бродили по ее телу, как им

хотелось. «Чего вам надо от меня?» — успокаивала их и успокоить не могла.

Гул все нарастал, на шляху, слившись с лунной грустью, уже пританцовывал мертвенный свет фар, а в нем барахтались и гибли космы испарений и тумана. Как-то сразу выросли громады грузовых, покрытых брезентом машин; обдав партизан пылью и дымом, тяжелые «хеншели» проскочили мимо них, и выровнялись неровные тени, и зашумел листьями напуганный лес.

— Вот и все,— вздохнул Роман. Он мог бы вогнать очередь в какую-нибудь машину, но сейчас с ним была сестра, то созданьице, над которым все время то он насмехался, то она придиралась к нему. И такая бывает любовь.

Вздохнул и Василь, который, верно, был больше лириком в душе, чем Роман, и, вглядываясь в машины, что двигались вдали, спросил сам себя:

— Доля, где ты?

Доля, наверное, услыхала партизана, потому что опушка снова откликнулась натужным урчанием. Но это уже шла не колонна, а одиночная машина, что отбилась почему-то от нее.

— Наша! — прошептал Роман.— Мы с Яриной бьем в мотор, а Василь по кабине. Яринка, у тебя зажигательные? — спросил, чтобы успокоить сестру: чувствовал, что она волновалась.

— Зажигательные, Романочку.

— Тогда в бак стреляй. Знаешь, где он?

— Знаю.

И они замерли у деревьев, будто вросли в них, а руки точно вросли в оружие. Вот свет закачался на шляху, снова ломая тени, ударил в глаза, и в то же мгновение ударили автоматы.

Машина задрожала, взвизгнула, крутнулась, повернула в лес на партизан, над ней и под нею зазмеились зеленые огоньки; не перескочив придорожный ров, она завалилась набок и взорвалась; разорвалась ночь, пламя языками взвилось чуть ли не до самых верхушек деревьев. Яринка вскрикнула.

— Это бензобак разлетелся,— успокоил ее Роман.

На шляху снова блеснули фары.

— Скорее по коням! — Уже вскочив на своего красногривого красавца, Роман увидел на ресницах Яринка слезы и спустя некоторое время с сочувствием спросил: — Испугалась, маленькая?

— Эге ж...

— И когда же именно?

— Когда машина двинулась на нас. Такая громада! Казалось, она все сокрушит. И страшно, и бежать боюсь, чтобы потом ты не насмехался.

— В такой момент смело занимай у зайца ноги,— великодушно разрешил Роман и положил руку на плечо сестры, а та склонилась к нему.

— Ой, Романочку...

— Волосы поправь. А то на коня посвисали.

— Придется подрезать их.

— Ты не вздумай стричься,— отозвался Василь.— Волосы у тебя такие красивые, особенно когда танцуешь.

— Да в лесу они мешают. Что там делается позади? — Ярина оглянулась, но уже за стеной дубравы ничего не увидела. Только в глазах и до сих пор вытанцовывало безумие ломаных теней деревьев и огненные языки, рвущиеся из середины машины.

— Видно, шлях широкий,— словно окунулся в ее мысли Василь.— Привыкай и к этому.— И умолк, думая о сестре, и уже по-другому спросил: «Доля, где ты?» Сказал это, чтобы доля была милосердной к Яринке. Видишь, и в лесах от ее кос пахнет чернобривцами, пижмой, а она хочет обрезать их.

«Доля, где ты?..»

— А есть так хочется! Сейчас бы и ежа с иголками съел,— перебил мысли Роман.

— Бедные ежи, не знают, кто их страшный враг,— прыснула Ярина.

— Нашла чему смеяться. Ты часом не захватила ломоть какого-нибудь коржа?

— Не было сегодня у нас и коржа. У меня только комочек соли есть в торбочке.

— Партизанские пожитки,— по-доброму усмехнулся Василий, хотя голод бродил по всему телу хлопца.— А может, в Андрееву сторожку заглянет?

— Заманчиво! Хотя кто там теперь есть? — засомневался Роман.

— Может, и никого, а возле сторожки и до сих пор буйствует картофель. Накопаем, сварим, вот и будет у нас роскошный ужин!

— Убедил, брат! Гулять так гулять — и наварим, и напечем картошки, еще и городской солью приправим!

— Сельской комковатой,— уточнила Ярина, еще веря и не веря, что и она сегодня подбивала машину. Вот толь-

ко чего это братья придираются, когда она хочет быть с ними? И славные, и добрые, и отчаянные ее соколики, но куда подевалась та неразлейвода, которая объединяла их троих?

Вскоре подъехали к сторожке, примыкающей к дубраве и садику. Роман первый соскочил с коня.

— Следите! — бросил лишь одно слово, широко открыл ворота и, крадучись, закружил по подворью.

Здесь плечом к плечу стояли высокие стожки лесного сена; потом заглянул в отяжелевший от урожая сад, где голубело несколько ульев. Они, видно, и на зимовье останутся, если не уничтожат их нелюди. А вон какие крупные красноватые плоды лежат под раскидистой яблоней! Но ни одного не взял — чтобы руки были свободными. Осмотрев сад, подошел к незапертой хате. Сначала постучал в дверь, потом в окно, еще и позвал:

— Дядько Андрий! Дядько Андрий!

Да молчит жилище, словно кто заколдовал его, только и есть живого — лунное марево на окнах. А может, внутри кто-то сторожит их? Хотя вряд ли.

Отскочили и сенные, и хатные двери, жилище будто вздохнуло и снова впало в сновидение. Роман обшарил одну, потом другую половину хаты, не обошел и кладовой, и лишь после этого засветил крохотную лампу, что стояла на столе.

Унылое зрелище — покинутое жилище, оголенные стены, оголенная кровать и холодная, без запаха пищи печь. А еще более унылым кажется покинутое лесное жилье, в которое заглядывает немая печаль, таится неуверенность или страх. И неожиданно в углу застрекотал сверчок. Роман даже засмеялся от этого дива.

— Чему радуешься, брат? — стали на порог Василь и Ярина.

— Вот послушайте! Даже сверчок может порадовать человека.

— И напомнить ему детство.— Прислушиваясь к однообразной мелодии, Ярина стала искать все, что понадобится, чтобы приготовить ужин. В подпечье остались чугуны, а в посудинке обливные тарелки и деревянные ложки, ручки которых украшены вырезанными рыбками. Это лесник такими ложками радовал сначала детей, а потом внучат.

Вскоре Роман принес целых полведра красной картошки, несколько огурцов, даже пучок укропа, да и пошел на дежурство. Василь приволок дрова, стал возиться у печи,

еще и замурлыкал что-то бессвязное, чтобы как-то развлечь опечаленную сестру.

Нещаслива моя доля —
Не вкипіла бараболя,
А тим вона не вкипіла,
Що я черний, а ти біла,
Що я черний, а ти біла —
Бараболя не вкипіла.

Ярина, чистя картошку, не улыбнулась, а вздохнула.

— Чего ты, сестра? — сочувственно спросил разгоряченный от огня Василь.— Устала душой или все еще от переживаний не остыла? — Тряхнул чубом на окна, на леса и даже на тот шлях, где Ярина впервые с глазу на глаз встретилась со смертью.

— Нет, брат, не то,— одной скорбью взглянула на него.

— Что же оно, и к чему оно, и зачем оно?

— Вот сейчас поставлю чугун в печь и услышишь... Давно я хотела тебя что-то спросить, да боюсь: даже ты, видно, не скажешь настоящей правды.

— Ты когда-нибудь слыхала от меня неправду? Зачем такое выдумывать?! — аж вскрикнул хлопец.

— Слыхала и от тебя, а потом заливалась слезами, хоть и ненавижу их,— снова вздохнула Ярина.

— Ничего не понимаю,— обиделся Василь.— Да я за тебя, лебедушка моя, душу отдал бы!

— Вот в этом я ни капельки не сомневаюсь.

— Тогда говори до конца. Что тебя гложет или мучит?

— Скажу, Василь. Мучит твое и Романа пренебрежение.

— Пренебрежение?! Это ж надо так укусить,— даже остолбенел хлопец.

— Не горячись, если хочешь слушать до конца. Будто ты не видел моих слез, когда вы не только не пускали меня к партизанам, а еще и насмехались надо мною? Я только заикнусь, чтоб вы взяли меня на какую-нибудь операцию, так и получаю очень умные отповеди: «О, захотела баба выдры» или «Куда конь с копытом, туда и рак с клешней». Не знаю, когда это я вам клешней стала? А что только сегодня Роман ни вытворял, чтобы не пустить сюда? И ты тоже хорош, не заступился за меня.

— Вот ты почему зажурилась! — сказал с облегчением Василь.— А я уж не знал, что думать да гадать.

— Тебе и этого, вижу, мало. Справедливых имею братиков.

— Бей свой своего, чтобы чужой боялся! Мы же хотели как лучше...

— Здорово это «как лучше» выискиваете для меня!

— Как умеем.— Василь почему-то огляделся, даже в сени заглянул, и, понизив голос, сказал: — Мы с Романом вот так решили: сколько сможем, столько будем оберегать свою сестру от войны — ведь на тебе должен держаться наш род и родословная. Кто знает, что с нами будет, а ты должна рожать на свет белый детей, чтобы нашему роду не было переводу.

— Ох, какие же вы славные и чудные у меня.— Ярина растроганно прижалась головой к плечу брата. Как далеко вперед заглянули, даже не по себе стало.— Неужели это будет когда-нибудь?.. Но думая про наш род, должны думать прежде всего про свою землю, а то что мы без нее? Так вот не давайте мне, братики, послабления, не пренебрегайте своей сестрой.

— Теперь я уже и не знаю, что тебе и сказать,— покачал головой Василь.— Наверное, все мы понемногу сумасшедшие.

Неожиданно в дверь просунулся коренастый лесник Андрий, у которого была седая голова, седая борода и черные брови. Даже не поздоровавшись, приветливо спросил:

— А меня, дети, пригласите на вечерю?

— Пригласим, пригласим.— И незаметно вытерев слезинку, Яринка бросилась к старику.

— Тогда возьмите мой пай,— протянул лесник торбу.— Там есть и хлеб, и кусок сала, и бутылочка масла, и комочек сыра.

В сенях весело зазвенел голос Романа:

— Вот спасибо, что пришли к нам!

— Я к вам или вы ко мне? — поднял старик молодецкие брови на лоб, и все засмеялись.— Напугали ж вы меня поначалу, ох, и напугали. Долго я приглядывался — кто заглянул в мои хоромы.

— Где же вы скрывались?

— В лесу, в сарае. Там я и ночую, так как в хате страшно. Яринка, вынимай картошку, а то разварится и станет кашей.

— Так будем иметь два блюда,— аж причмокнул Роман.— А сало у вас какое?

— Из дикого кабана, лечебное.

— Недаром моя душа поспешала сюда.

— Не так душа, как живот,— уточнил Василь, то тем, то этим помогая Ярине.

— Сядем, дети, за один стол,— торжественно сказал лесник. И все вспомнили мирное время, все невольно поглядели на окна и помрачнели. Один лишь сверчок весело вел свою песенку...

После ужина партизаны поклонились леснику, попрощались и пошли к коням, что паслись тут же на подворье.

— Вы ж, если заскочите, то заглядывайте в сарай: там у меня будет лежать для вас кое-какой припасец,— провожал их до ворот старик Андрий и все горевал, что сейчас, кроме бутылочки подсолнечного масла, ничего у него не было.

— Зато масло какое! — похваливал Роман.— Маковое! Да из такого мака, что не всякий за всю свою жизнь увидит. Даже Яринка краснеет от него!

— Это ж надо такое выдумать! — засмеялся лесник и долго еще стоял возле ворот, пока из глаз не исчезли всадники.

— Какая сегодня хорошая ночь,— посматривая на небо, сам себе сказал Василь и шепотом спросил Яринку: — Что тебе больше всего запомнилось нынче? Машина?

Ответ Ярины удивил его:

— Не так машина, как покинутый ангел на подворье Магазанника. И святым тяжко быть без людей...

Когда близнецы, махнув руками Яринке, подъехали к штабной землянке, их первым встретил Иван Бересклет, что как раз стоял на посту.

— Как оно, хлопцы? — спросил с надеждой, ибо ему очень не терпелось скорее выйти на железную дорогу и поднять там шум.

— Есть порядок в партизанских войсках! — весело ответил Роман.— А что у вас?

— Богатеем, деньги считаем только тысячами,— засмеялся Иван.

— Какие деньги?

— Под вечер к нам прибились начфин дивизии с двумя бойцами и принесли два ранца, набитых деньгой.

— Ври больше,— пренебрежительно махнул рукой Василь и постучал в дверь землянки.

Вскоре им открыл двери старый Чигирин. Хлопцы почтительно поклонились ему.

— Заходите!

— А-а-а, братья Кирилл и Мефодий! — поднялся из-за стола Сагайдак.

За ним встал худощавый военный. На петлицах его гимнастерки выделялись кубики старшего лейтенанта. Он приветливо улыбнулся близнецам.

— Кто же из вас, просветителей, Кирилл, а кто Мефодий?

— Теперь я буду Кириллом, а он Мефодием,— не растерялся Роман.

Сагайдак и Чигирин засмеялись. Старший лейтенант удивился:

— Как это понимать, что вы теперь Кирилл?

— Мы так похожи, что часто и отец путает нас, а мы только иногда сбиваемся,— плутовато смотрит Роман то на старшего лейтенанта, то на стол, заваленный деньгами.

— Неугомонный! — смеется Сагайдак.— Он и родился не с плачем, а с шуткой.— И уже серьезно спросил: — Как на железной дороге?

— Тихо, будто в ухе. Охрана совсем обленилась, и поезд даже утром можно сбросить с копыт.— И глядит на стол.— А денег наберется с миллион?

— Немного меньше.

— Вот жаль. Хотя бы раз в жизни увидеть миллион, чтобы было чем похвалиться. Так я к этим деньгам немного добавлю своих.

— И в самом деле озорник,— теперь засмеялся старший лейтенант.

— Еще у нас случилось приключение,— смотрит на командира с опаской Роман, и смотреть побаивается, но и сказать надо, и похвалиться хочется.— Ненароком сожгли фашистскую машину, ей-богу, ненароком.

— Как это ненароком? — нахмурился Сагайдак.

— Душа не выдержала,— развел руками Роман.— Это уже после разведки на железной дороге.

— Я вам что говорил?!

— Не ввязываться...

— А вы что?

— Так мы же и не ввязывались, пока не собрали данных,— будто пристыженно промолвил Роман.

— Три дня будете молоть на жерновах, чтобы все видели, какие вы есть...

— А что будем молоть — жито или гречку? — деловито лукавит Роман.

— Какое это имеет значение?

— Большое. Возле гречки, зная, что она пойдет на блины, не переутомишься.

Сагайдак только руками развел и ресницами погасил усмешку.

— Значит, сожгли машину. А что дальше?

— Бежали, аж подковы дымились у коней.

Услыхав такой ответ, командир рассмеялся, а у Романа по всему лицу зашевелились хитринки:

— Так, может, мы свою норму смелем не на жерновах, а на ветряке? Ведь у него явный перевес над человеком.

— Какой это у него перевес? — удивился Чигирин.

— Самый обыкновенный: у ветряка четыре крыла, а у человека только два, и то не у каждого.

На этот ответ Сагайдак так рассмеялся, что даже слезы выступили на глазах, а близнецы хотя и притихли, но уже знали, что гроза обошла их чубатые головы...

И снова предвечерний лес, и тени деревьев на рельсах, и партизаны возле железнодорожного полотна, мелькающие, словно тени. Теперь Василь и Роман притаились в засаде ближе к станции, а на полотне, возле стыков рельсов, орудуют старый Чигирин и Иван Бересклет. Вывернув болты из накладок, что соединяют рельсы, они сползают с насыпи, а на полотно с лапами поднимаются Петро Саламаха и Григорий Чигирин.

— «Эй, ухнем»,— тихо говорит Саламаха и лапой приподнимает железо. У него костыли выскакивают, как грибы, и он изредка насмешливо глядит на Григория, который начинает пыхтеть.— Хлопче, может, поменяемся местами, а то у тебя, видно, дерево более твердое?

— Обойдется. Вот отдышусь и догоню хвастуна.

Вглядываясь в даль, волнуется Сагайдак, тревожится, а на память неизвестно почему навертываются только два слова: «Остановись, мгновение», «Остановись, мгновение». Это в том смысле, чтобы все остановилось, что может помешать им.

На станции раздался гудок паровоза. Неужели наш? Неужели наш?

Сагайдак, пригнувшись, взбирается на насыпь, показывает Саламахе и Чигирину, на сколько надо раздвинуть концы рельсов. Партизаны приподняли их лапами и отвели в стороны — вот и вся техника. Вот и вся. А в голове уже отдается стук колес еще невидимого поезда. А теперь — в леса!

Бежит по рельсам дрожь, нервно, наперегонки скачут по ним лучики, и уже, чихая па́ром, разбрызгивая искры, надвигается темная громада. И вдруг с разгона оседает паровоз, бешено вгрызается в насыпь и черт знает как переворачивается, а на него с неистовым треском, скрежетом и визгом наскакивают, разламываясь и громоздясь, вагоны. Из их разверзшихся внутренностей клубами вырываются белые облака.

— Газы! Газы! — испуганно крикнул Иван Бересклет и затопал своими сапожищами в глубину леса.

За ним бросаются несколько партизан, подхватывается с земли и Василь, да Роман властно придерживает его рукой.

— Не беги, брат. Если умирать, то не трусом.

В лесу, видно, кто-то остановил Бересклета, так как тот снова завел свое:

— Это же газы! Наверное, баллоны полопались.

— Тю на тебя, дурень! — спокойно отозвался старый Чигирин.— Это не газы, а мука. Завтра из нее коржей испечем.

— Опять коржей! —с огорчением пробормотал молчаливый Саламаха.

И хохот покрыл его слова. А Чигирин недовольно забубнил:

— Ишь, им, макоцветным, коржи не по вкусу. Может, оладьев с медом захотелось?

XVI

Посоветовавшись с Сагайдаком, Чигирин утром начал собираться в монастырский лес, который назывался еще Синявой, ибо и летом и зимой стоял в такой голубизне, словно ее в погожие дни стряхнуло на него барвинковое небо.

Смазав коломазью колеса, Чигирин бросил на воз торбочку с коржом, отбитую косу, грабли и начал запрягать коней. Недалеко на дубе стонали дикие голуби, напоминая ему молодые годы, что прошли в лесах.

— Дядько Михайло, куда это вы собрались, на косовицу? — посмеиваясь, подходят к нему чубатые близнецы, которые любили покрасоваться своими копнами волос и даже в лесах, не обращая внимания на насмешки, мыли их в щелоке с мятой.— Разве вам тут мало травы?

— Дядьку Михайлу шелковая нужна под бока: он же ранен осколком снаряда и на жесткой траве не улежит теперь,— будто всерьез поясняет Роман, и Василь прыскает в кулак.

Чигирин прищуривает глаз и весело спрашивает «старых парубков»:

— У вас, чубатые, на чем работают языки — на шарнирах или на шарикоподшипниках?

— Мать говорила, что на коловоротах,— гогочет Роман и пальцем тычет в грядку телеги: — Зачем вам трястись на этих ребрах? Перебазируйтесь с вашей таратайки на нашу тачанку, мы задаром прокатим вас с пулеметной музыкой и ветерком.

— С тем ветерком, что не выветрился из ваших голов?

— И его не пожалеем для хорошего человека,— великодушно соглашается Роман и играет гранатами, прицепленными к поясу. То же самое начинает делать и Василь.

Чигирин смотрит на близнецов и удивляется:

— И откуда вы, такие убаюканные, взялись?

— Мать же не где-то, а в челне родила, потому и до сих пор нас покачивает,— показывает все зубы Роман.

— Снова врешь?

— Нет, дядько Михайло, что правда то правда,— становится серьезнее парубок.— В самом деле, в челне на татарском броде мы родились. Не успела мать вовремя добраться до хаты с полоски, которую жала. Тот челн и до сих пор лежит у нас, опрокинутый вверх дном, на погребе. Хороша была первая колыбель?

— Да по тебе видно — хорошая,— кивает головой Чигирин.— Вы же, хлопцы, присмотрите за моим Григорием, ведь он еще не знает, что такое лесная жизнь.

— За нами дело не станет. А вы, по секрету, далеко собрались на своем одре?

Чигирин щурится:

— А вы угадали — косить шелковую траву под бока.

— Суду все ясно,— хохочут сорвиголовы и деликатно подкалывают дядько Михайла: — Если по хозяйственной линии гоните коней, то прихватите где-нибудь квашню с закваской, чтобы и мы разжились хлебом, а то из-за этих коржей и луна уже кажется коржом.

— Вы еще не знаете, почем фунт лиха,— хмурится Чигирин.— Вишь, им коржи не нравятся. Вот вам пока что ножницы — укоротите махновские патлы хотя бы на семьдесят пять процентов.

— А что же нам осталось, кроме патл? Нет тебе ни белявой, ни чернявой, ни вечернего свиданьица, ни утреннего расставаньица. Хоть бы раз тут девичьи ножки по травке протопали,— будто вздыхает Роман, а в глазах так и скачут озорные бесики.

Что значит молодость! И Чигирин невольно залюбовался удальцами. Ведь и он когда-то был таким.

От лесной дороги что есть духу бежит по росе Иван Бересклет, пот заливает его смуглое, как у цыгана, лицо, что так и пышет радостью.

— Михайло Иванович, где товарищ командир? — тяжело дыша, останавливается он возле телеги.

— Что там у вас в дозоре? Снова газы или что-нибудь хорошее?

— Да, хорошее! Остановили четырех окруженцев, они прослышали, что мы разбили карателей, и сразу начали разыскивать нас. Как вы на это?

— Весть вроде добрая,— спокойно говорит Чигирин и быстро идет к штабной землянке, в которой еще нет начальника штаба. Но будет и начальник штаба, и сила, и все будет, когда по-настоящему начнем бить врага.

Вот и штабная землянка. Небольшой стол, застланный картой-трехверсткой, обычный дощатый пол, очаг, одно узенькое оконце да два автомата на стене.

— Что там, Михайло Иванович? — поднимается из-за стола Сагайдак.

— Первое пополнение пришло.

— Вот и дождались! — Сагайдак взял автомат и вышел из землянки.

Вскоре он и Чигирин подошли к своим дозорным, которые разговаривали с четырьмя заросшими, почерневшими, измученными бойцами, двое из них были с винтовками, а двое без оружия.

Увидев майора, красноармейцы вытянулись, поправили гимнастерки.

— Добрый день, товарищи,— поздоровался Сагайдак.— К нам пришли?

— К вам, товарищ майор,— отвечает невысокий широкоплечий боец со шрамом на щеке.

Его независимый вид сразу заинтересовал Сагайдака.

— Кто же вы будете?

— Мы трое артиллеристы. Воевать начали у самой границы. Затем попали в окружение, пробивались к своим, но не пробились. По дороге к нам присоединился боец Антоненко,— показал глазами на высокого пухлогубого солдата

без оружия. — Вчера мы прослышали, как вы отколошматили карателей, и начали искать вас. Примите в отряд.

— Оружие есть?

— Пистолет.

— Документы?

— Тоже есть,— и вынимает из кармана партбилет.

Сагайдак раскрывает его, переводит глаза с фотографии на бойца и дружелюбно улыбается.

— Значит, товарищ Грицай, будем бить фашиста?

— Только бить! — твердо бросает Грицай и облегченно вздыхает: видно, немало пришлось пережить на дорогах войны.

— А у вас, товарищ Антоненко, есть оружие?

— Нет,— беспомощно разводит длинными руками высокий боец.

— Куда же вы его дели? И известно ли вам, что у нас нет цейхгауза?

Антоненко краснеет, хлопает длинными девичьими ресницами.

— Так уж оно вышло, товарищ майор, ведь мы сразу попали в пекло. Но одну штукенцию я все же вынес.

— Что же это за штукенция?

— Труба, товарищ майор.

— Какая труба? — удивляется Сагайдак: насмешка это или у парня не все дома?

— Вот я сейчас.— Антоненко поспешно отходит к старой, полузасохшей осине, снимает с сучка медную трубу, по которой пробегают сполохи утра.— Вот мой инструмент. Я, товарищ майор, в некотором роде музыкант. Еще с отцом и братьями играл на крестинах, свадьбах и разных праздниках, потому и губы у меня разношены, словно лапти.

Сагайдак невольно усмехнулся, присматриваясь к полным губам музыканта, и взглянул на Чигирина.

— Такой инструмент в отряде пригодится,— тихо сказал тот.— Это же труба!

— Что ж, товарищ Антоненко, придется принять вас в отряд и с таким оружием. Сберегите его до нашей победы и тогда трубите на весь мир!

— Я буду стараться, чтобы на весь мир! — На радостях Антоненко поднял трубу, приложил мундштук к вспухшим губам, и торжественная мелодия прорезала тишину, подняла в небо диких голубей, что до этого стонали и стонали в кроне могучего дуба.

Возле землянки Чигирин попрощался с Сагайдаком, Григорием и близнецами, поправил упряжь, сел на телегу, тронул коней и сразу стал самым обыкновенным, придавленным годами и недолей дедом.

— Артист! — невесело улыбнулся Сагайдак.

— Кем ему не приходилось быть, и артистом тоже,— погрустнел Григорий, провожая взглядом отца.

Лесами да перелесками, оврагами и забытыми дорогами добирается Чигирин до Синявы, где еще подростком с отцом расчищал, пилил и складывал в сажени монастырский лес. За это он получал в день пятнадцать — двадцать копеек. А когда начал шпунтовать гонт, то уже и полтинник зарабатывал. В этих же лесах он и встретил свою судьбу — свою с беспокойными бровями Марину — и привлек ее к себе то ли искренним словом, то ли теми нераспустившимися подснежниками, которые ему и теперь кажутся самыми лучшими цветами на земле. Это ж только подумать: еще заморозки потрескивают в лесах, еще ноздреватый снег скрипит, как сорока, а этот цветок одной нежностью пробивается на свет и по-девичьи трогательно смотрит в глаза человеку — с мартом, с весной тебя!

По дороге невозмутимые, как идолы, мчатся на мотоциклах немецкие полевые жандармы, на груди у них покачиваюся и поблескивают полумесяцы блях. Как по команде, они повернули головы, ощупали взглядами деда и махнули дальше. Неужели это не сон? И заныла душа человека. Да что наши печали в годину лихолетья?

Чигирин въезжает в леса, минует старую запруду, которую подмывает темная от торфа вода, поворачивает к бывшей парной, где хозяйственный управляющий графа закладывал сразу по четыреста шпон для колес. Сложили тогда головы все ясени, все вязы, потом исчезли и дубы. Теперь чрево парильни и ее обвалившиеся бока поросли ежевичником да боярышником, а там, где стояли круги, на которых рабочие гнули ободья, вырос густой дубняк.

Словно по памяти лет, приезжает Чигирин из одного урочица в другое — и нигде никого, только солнце пригоршнями просеивает сквозь листву золотую дрему. А вот и садик, и густой малинник, и хата лесника Мирона Козуба, который был у него шафером на свадьбе. Где же теперь Мирон — в лесах или перебрался в село? На траве свежий след колес,— выходит, кто-то тут живет. Если чужой, то скажет, что приехал к Мирону накосить копенку

сена. Чигирин остановил коней перед воротами, что покрылись грибками и печатями лишайников, соскочил с воза, заглянул на заросшее травой и ромашкой подворье. Тут стоят опрятные, высокие стога лесного сена, а в тени возле них копошатся обессиленные от зноя куры. Значит, немцы еще не добрались сюда. И совсем неожиданно из леса его окликнули:

— Михайло!

Даже вздрогнул от неожиданности:

— Мирон?

— Кто бы еще теперь бродил в этих лесах? — подходит приземистый лесник, на голове у которого уже пышно буйствует белый цвет, а усы распушились сизым степным ковылем. Мирон обнимает Михайла, тянет в жилище и все удивляется, каким образом он оказался тут.

— Да приехал проведать тебя, травы лесной накосить.

— Говори-рассказывай, так я и поверил твоему слову,— посмеивается Мирон, посмеиваются и одутловатые щеки, меж которых притаился лисий нос.— Что, припекло?

— Кого сейчас не печет? Такое время настало. Кому теперь служишь, Мирон?

— Лесник всегда служит немного людям, немного себе, а еще больше скотине — коням, коровам и даже зайцам да косулям,— хитрит Мирон.— Вот и ты, вижу, о скотинке думаешь — с косой, с граблями приехал ко мне. Да заходи в хату, гостем будешь. Вот так и выходит: люди поговаривают, что Михайло Чигирин партизанит, а он себе о сене заботится,— и смеется такими глазами, которые видят человека насквозь.

— Мирон, может, ты бы не криводушничал? Или уже и мне не веришь?

— Тебе, Михайло, верю,— становится серьезнее лесник и открывает двери.— Заходи, садись, я сейчас что-нибудь сварганю. Как уже оно выйдет у меня, извини, потому что жена теперь не наведывается в лес, без нее и куры одичали, но пока еще яйца несут. Зажарить какого-нибудь петушка?

— Можно и петушка. Как раз за этим я и приехал.

Мирон взглядом простреливает гостя:

— Так кто криводушничает? Говори, что у тебя?

— У нас пошли слухи, что в твоей Синяве партизанит Левко Биленко,— и Чигирин с надеждой посмотрел на лесника.— Не видел его?

— Нет, не видел,— прикрыл ресницами глаза Мирон, и его лицо сразу помрачнело.— Лес большой, всего даже лесник не увидит. А слыхать о Левке слыхал.

— Слыхал или видал? — пристально смотрит на Мирона Чигирин.

— Говорю, слыхал,— почему-то скисает хозяин.— Тебе встретиться с ним надо?

— Очень. И неужели никто из его хлопцев не наведывался к тебе?

— Да было,— неохотно сказал лесник.— Пришли ночью, взяли немного харчей и ушли. А куда — они не говорили, я не спрашивал.— И глянул в окно.— Вишь, твои кони и до сих пор стоят, будто на выставке. Заведу их во двор и пойду ловить петушка.

Чигирин насупился, поднялся со скамьи.

— Не буду лакомиться твоим петушком, пусть еще бегает, может, вырастет таким хитрецом, как его хозяин. Да и все на этом слове — бывай здоров.

На щеках пристыженного лесника сразу вспыхнул румянец.

— Чего ты, Михайло, так? Разве я что?

— Теперь догадываюсь, что ты. До сих пор верил тебе, потому и приехал в нелегкую годину, да, вижу, ошибся. Был ты у меня когда-то шафером, а кем стал теперь, не знаю,— и пошел к дверям.

Мирон растерянно бросился к гостю, удержал его:

— Богом прошу, Михайло, останься. Вспомним хоть нашу молодость, если о нынешнем нечего говорить. И не держи гнева ни на меня, ни на моего петушка. Посиди немного один, отдохни или разведи огонь в печи,— лесник спрометью выскочил из хаты.

Вскоре послышалось громыхание проехавшей подводы, и все стихло. Чигирин поглядел-поглядел в окно, но не увидел Мирона и от нечего делать начал возиться у печи. Когда огонь горячими петухами забился в устье трубы, в хату с сотами и горлачом в руках вошел Мирон; косясь на гостя, он смущенно развел руками:

— Вот беда — никак не мог поймать петушка, разбежались чертовы птицы из задворка в лес. Так мы сварим молоденькой картошки, сжарим яичницу, а мед на закуску. Что ты на это скажешь?

— Погляжу, на какие хитрости ты еще способен,— буркнул Чигирин.— Это у тебя получается.

Лесник только покачал головой, потом рогулиной поправил дрова в печи и начал возиться с картошкой, а ког-

да поставил горшок на огонь, бросился в каморку за ка ким-то запасцем.

Невеселым был обед старых друзей. Чигирин даже не пригубил чарку, больше ни о чем не говорил и не спрашивал Мирона. Однако у лесника нет-нет да и запрыгают под ресницами бесовские огоньки. С чего бы это? Что он был хитрецом, это всякий знал, а теперь, может, и в плута перешерстился? Вот кто бы подумал, что затурканный Рогиня, который больше всего интересовался тем, что было несколько тысяч лет тому назад, сейчас станет крайсагрономом? А на какую должность метит Мирон? Может, на лесничего?

На двери осторожно звякнула щеколда.

— Кто это?!

Лесник пожал плечами, а Чигирин выскочил из-за стола и выхватил из кармана браунинг.

— Что ты, Михайло! — побледнел Мирон.— Это свои. Чужие не так врываются.

— Отойди!

Открылась дверь хаты, и в рамке косяка, улыбаясь, встал плечистый, коренастый Левко Биленко. Он глянул на Чигирина, на его оружие, похлопал пятерней по карману, где, верно, тоже такое добро лежало, и рассыпал на пороге смех.

— Вот как теперь встречаются председатели передовых колхозов.

— Потому что твой помощник хитрил со мной, как цыган на ярмарке,— погрозил Чигирин браунингом леснику.

Бывшие председатели обнялись, расцеловались и весело сели за стол.

— А теперь и по чарке можно! — обрадовался Козуб.— Жаль, что петушок убежал.

— Издалека лисий дух учуял,— кольнул Чигирин.

— Пойду я чего-нибудь коням подкинуть,— деликатно оставляет их лесник.

И только он перешагнул порог, волоокий Биленко пытливо поглядел на Чигирина:

— Что у вас, Михайло Иванович? Партизанские или какие-то другие дела?

— Партизанские, Левко. Как живешь?

— Тяжко, Михайло Иванович,— посуровел Левко.

— С подпольным райкомом или обкомом есть какие-то связи?

— Если бы были! А как у вас?

— Тоже невесело. Ты Сагайдака знаешь?

— Почему не знать? Не раз в области в президиумах рядом сидели. Бывало такое время. Это вы карателей колошматили? Говорят, больше сотни их легло костьми?

— Это уж люди преувеличили, но было и крику, и шуму, и писку. А как у вас?

— Еще нечем хвалиться. Только полицаев в одном селе утихомирили. Сил пока еще мало.

— Так вот, чтобы умножить их, Сагайдак предлагает нам объединиться.

Левко зябко повел плечами и сразу насупился, взгляд его серых глаз стал жестче, тверже стали и уста, замкнув слово.

— Чего же ты молчишь?

Командир отрицательно покачал головой и, не глядя на Чигирина, глухо сказал:

— Передайте Сагайдаку, что мы ни с кем объединяться не будем. Вы партизаны одного района, мы — другого, и каждый должен думать о своем.

Чигирин оторопел:

— А не кажется ли тебе, Левко, что все мы и каждый в отдельности теперь должны думать не о своем, а о нашем, о всенародном?

Левко упрямо уставился на Чигирина:

— Когда я думаю о своем, то есть о делах своего района, то я думаю и о всенародном.

— Неужели это твое последнее слово?

— Последнее,— твердо сказал Биленко.

Чигирин, и возмущаясь, и удивляясь, спросил:

— Чего же ты боишься? Командирскую славу или свой гонор потерять?

— Не то, Михайло Иванович,— поморщился Левко.— Боюсь одного — измены. Разве вы из истории не знаете, сколько погибло лучших людей из-за предательства? Да и случай с Кундриком кое о чем говорит. Потому я ни к кому не пойду и никого к себе не приму, если он непроверенный, то есть если он не из нашего района.

Чигирин поднялся из-за стола, гневно бросил Левку:

— Не знал я, что председатель колхоза так быстро может стать единоличником.

Левко тоже вспыхнул:

— Думайте себе как хотите.

— Я-то думаю. А как ты будешь держать слово перед партией, перед народом?

— Это уже покажет время.— Биленко тут же поднялся, глянул на лес, на солнце, что с ветки на ветку опускалось в предвечерье.

— Наконец, Левко, на какую-то операцию мы смогли бы объединиться? Например, в подходящее время совместно напасть на районный центр?

— И на операцию не будем объединяться. Живите вы сами по себе, а мы сами по себе.

«Пропащий день»,— тоскливо подумал Чигирин. Жаль было потерянного времени, жаль было и этого красавца, у которого не хватало клепки в голове и который сам себе готовит поражение. Недаром же его за упрямый характер когда-то прозвали Дундуком.

Хмуро попрощались бывшие председатели. Левко, избегая взгляда Чигирина, собрал вместе серпики бровей, в раздумье вышел на подворье, что-то сказал Мирону, который вертелся между стогами и воротами, да и исчез в лесах.

Через какую-то минуту в жилище вошел смущенный лесник, он с сожалением развел руками— что, мол, поделаешь с этим Левком — и сказал только одно слово:

— Бывает.

— Да, бывает.

— Он еще наберется ума.

— Будем надеяться.

— Может, тебе, Михайло, пару петушков бросить на дорогу?

— Если поймаешь, не откажусь от такой роскоши. А лучше всего было бы, если бы ты дал квашню с закваской для теста.

— Квашню? — удивился Мирон, и его лисий нос усеяла лукавая сеточка морщин.— Чего я только не воровал у своей жены, а вот квашни не крал. Благодаря тебе придется и эту практику пройти...

XVII

— Куда же вы такой, больной и перебинтованный? Побудьте у нас еще денек,— жалостливо затрепетали девичьи ресницы.— Слышите?

— Спасибо, Ганнуся. Побреду уж как-нибудь, а если не смогу, так поковыляю, словно бедняга рак.— Данило пальцами показал, как он будет ковылять, и Ганнуся улыбнулась, но сразу и загрустила.— Чего ты, доченька? Чего, маленькая? Чего, ласковая?

— Грустно мне будет без вас,— потупилась девушка.

— Почему же, Ганнуся?

— Батько пошел на войну, вот и вы пойдете, а я снова останусь одна-одинешенька на свете.

— Почему же одна? А челн на речке? — хочет как-то развлечь ее Данило.

— Вот разве что челн да весло. Но теперь и на нем далеко не уедешь — полиция следит. Сейчас хотите идти?

— Сейчас, а то ноги уже сами просятся в дорогу.

— Не так ноги, как душа,— понимающе покачала головой девушка, затем подошла к сундуку, подняла тяжелую дубовую крышку, достала из-под каких-то одежонок бобриковое пальто.— Тогда возьмите отцовское, ведь по ночам уже на пáру приходят туман и холод.

— Чем я смогу отблагодарить тебя?

— Если живы будете, то хоть напишите. Только непременно оставайтесь живым!

— Постараюсь, Ганнуся.— Данило невольно потянулся к девушке, погладил, как гладят детей, ее головку, толстую косу. Невыразимые жалость и тревога за судьбу этого доверия и красоты, что молча стояли возле него, уже не надеясь на свое счастье, охватили его душу. Закончилась бы война, пришел бы с войны ее отец — вот все ее счастье. Да будет ли такое?

Ганнуся неожиданно вздрогнула, отпрянула, настороженно повернулась к окну.

— Что там?

— Кажется, кто-то скрипнул воротами. Кого-то несет нелегкая — к крыльцу идет. Прячьтесь в каморку.

Данило метнулся в каморку, а в это время по-стариковски закряхтели, заскрипели высохшие половицы крыльца и кто-то тихо постучал в дверь.

— Кто там?! — испуганно откликнулась Ганнуся.

Снаружи послышался приглушенный смех:

— А это я. Не узнаешь?

— Юрий?

— Он самый!

— Сумасшедший! Чего ты по ночам шатаешься и пугаешь людей?

«Сумасшедший» снова засмеялся:

— Открой, Ганнуся, тогда скажу на ухо.

— Эге, так и открою кому-то!

— А я думал, тебе со мной веселее будет.

— Что-то не ко времени ты веселым стал.

— Ганнуся, разве тебе еще не пора гулять? Или ты, может, примака приняла?

— Известно, приняла — не ждать же тебя.

Но Юрко и от этого не унывает:

— Дай хоть погляжу на этого приблудного: похож ли он на человека?

— Завтра приходи. И завтра я расскажу твоим родителям, как ты людям спать не даешь.

— Не будь, Ганнуся, привиредницей, и ведьмочкой вместе: ведь тебе, когда подрастешь, еще и замуж надо выйти. Вот лучше открой.

— Когда выйдешь за ворота, тогда открою.

— А кто же меня своим зельем приворожил?

— Иди, хлопче, не морочь голову.

Юрий, что-то недовольно бормоча, потоптался на крыльце и пошел от дверей. Девушка погодя открыла их, посмотрела на луга, выглянула на улицу, а потом выпустила из каморки Данила.

— Это кто, Ганнуся, увивается за тобой?

Девушка отмахнулась рукой:

— Есть такой ветрогон на нашей улице — один утопленник.

— Что-что?!

— Утопленник, говорю. Плавать не умеет, хоть и возле речки живет, а купаться лезет на глубокое. Вот и утонул было в прошлом году. Намучилась я, руки надорвала, пока вытащила его на берег. Чуть было и меня не утопил. Так и нашла теперь мороку на свою голову,— будто сетует на кого-то, а по губам пробегает тень загадочной улыбки.

— А может, это любовь?

Ганнуся покраснела:

— Да он трубит о ней, научился у кого-то. А разве ж о любви трубят?! Так идете?

— Иду.

Девушка снова юркнула в каморку и вскоре вынесла оттуда торбу, завязанную шерстяной веревочкой, связанные концы которой сунула в руки Данила.

— Если уж так решили, то возьмите этот сидор, в дороге пригодится.

— Я, Ганнуся, становлюсь твоим вечным должником.

— И не говорите такого... умного.

Они молча выходят на подворье, за которым спускаются к речке некошеные луга. Тут на предосенних травах лежали звезды, под травами, ожидая рассвета, дремал туман. Теперь, когда угасала жизнь корней, туман каждую

ночь отлеживался на них, а потом, прихрамывая, поднимал над землей холодок скошенной мяты и влажность затопленных лилий... Лилией называли до замужества и его сестру Оксану. Как она там? На темном полотне вечера память начала воскрешать женский образ, большие ласковые глаза, подведенные предосенней грустью. И дети Оксаны, и Мирослава, и Стах, и дядько Лаврин со всей семьей, и дед Гримич, что так хорошо пел о Морозенко, сразу вспомнились, подступили к нему. Живы ли? Живы ли?

Он стоял перед пойменными лугами, сверкающими росой и звездами, над которыми серпик луны рассеивал нити серебра, а в мыслях уже был возле татарского брода, там, где кони топтали ярую мяту и туман, а теперь нынешние ордынцы топчут жизнь. Но не вытоптать ее нелюдям с их бесноватым фюрером. И у Данила невольно сжались кулаки.

— Вы уже там, возле своих? — легонько коснулась его руки Ганнуся.

— Там, серденько, там, ясочко.

— И кто-то там ждет вас?

— Наверное, ждет, если война не скосила.

Девушка приумолкла, взяла весло, что лежало около ограды, и они по росе пошли лугами к речке, что тихо убаюкивала берег, и челны на берегу, и вербы над берегом. Неподалеку всплеснула рыба, это напугало Данила. Теперь можно и рыбы, и волны испугаться. Пригнувшись, он спустил на воду вербовый челн — Ганнусино приданое, как шутил ее отец.

— Садитесь. Повезу вас по нашим звездам,— грустно сказала девушка.

— Может, я погребу?

— Еще перевернетесь на этой душегубке.— Ганнуся тихо махнула веслом, и челн вправду пошел по звездам, пугая и кроша их.

С кем же он когда-то плыл вот так ночью? Да это мать перевозила его, малого, через татарский брод. Тогда в челне лежали татарское зелье и аистов огонь. А теперь не аистов, а адский огонь пошел по всему миру, выйдет ли из него, и выйдет ли из него эта пригожая девушка?

Не повезло ему в первые дни войны. А если повезет теперь, то до последнего будет биться с недолей, чтобы хоть немного поубавилось горя у людей. Погрузившись в мысли о своем селе, о своих лесах, он уже не видел, как на ресницах девушки задрожали две слезинки.

Челн мягко коснулся берега, тут, обнявшись, как в песне, печалились предосеньем три вербы. Данило соскочил на влажный песок, подал Ганнусе руку, и девушка легко спрыгнула на берег.

— Как ваша рана? Не дает о себе знать?

— Нет.

— И нисколечко не болит?

— Как же она может болеть, если ты лечила меня? Спасибо тебе, доченька, за все.

Ганнуся всхлипнула.

— Ты чего?

— Кто же меня теперь доченькой назовет? Вот скажете вы так, а я тату вижу. Он даже похож на вас, только вы чуть выше его.

Данило обнял девушку, она встала на цыпочки, неумело поцеловала его, потом вытерла ресницы, и руки ее упали, словно неживые. Он взял их в свои и неожиданно заметил, что карман Ганнусиной жакетки оттопыривается.

— Что там у тебя?

— Ой...

— Говори, говори.

— Бельгийский браунинг второй номер,— сказала она, волнуясь, вынула пистолет, взвесила его на руке.

— Где ты взяла его?! — удивился и обрадовался Данило.

— Да...— не знает, что сказать, и собирает морщинки на невысоком лбу.

— Если не хочешь, то не говори.

— Один хлопец принес... подарок на именины.

— Хорошие тебе подарки приносят.

На это Ганнуся серьезно ответила:

— Какое время, такие и подарки.

— А того хлопца случайно не Юрком зовут?

— Юрком.

— Где же он его раздобыл?

— Говорил, что немного наворовал у гитлеровцев.

— Ганнуся, подари мне это оружие — ведь я иду домой безоружным, с одной душой.

Девушка грустно глянула на Данила.

— Если вам очень надо, возьмите. Я же знаю, что вы пойдете в партизаны.

— Почему ты так думаешь?

— По всему видно. А когда станете командиром, тогда заедете за мной. Я вашим партизанам обед буду варить. Заедете?

— Непременно.

Девушка вздохнула:

— Все равно обманете.

— Зачем ты, Ганнуся?

И уже не доверие во взгляде, а вековой женский укор обжигает его.

— Потому что мужчины всегда обманывают нас.

Данило удивленно посмотрел на девушку:

— Откуда ты знаешь?

— Мои тетки так говорили. И взрослые девушки это говорят... Так заедете?

— Непременно! Вот увидишь, доченька!

— Я буду ждать вас. Не забудьте...

И такая была у нее вера, что грех было бы хоть чем-то обидеть девушку.

На том берегу послышался всплеск весла, раз и второй. Данило насторожился:

— Кто бы это мог быть?

— Юрко! — уверенно ответила девушка, и в уголках ее губ пробилось превосходство.

— Откуда ты знаешь?

— А он тихо не умеет — так гребет, словно мешки бросает, не знает, куда силу девать.— Челн выплыл на середину речки, и теперь Ганнуся спросила: — Юрий, это ты?

— А как ты меня узнала? — радостно откликнулся ломающийся юношеский голос.

— Орлиный клекот даже из-под тучи слышно,— насмешливо ответила девушка.

— Не будь, Ганнуся, ведьмочкой.— Юрий снова гребнул, словно мешок бросил в воду, и вскоре его челн с разгона врезался в берег.

Теперь Ганнуся гордо выпрямилась и стала сама неприступность. Откуда она только взялась у нее? А юноша, шурша отавой, уже осторожно подходит к ним. Поздоровавшись, он деланно веселым голосом заговорил с Ганнусей:

— Вот не ожидал встретить тебя с кем-нибудь.

— Как ты догадался приехать сюда?

— Посмотрел, что нет твоего челна, да и встревожился.

— Ты даже встревожиться можешь? — насмешкой донимает хлопца Ганнуся.

— Вот и встревожился, хотя и не о ком было,— не остается в долгу Юрий.— Я догадывался, что у тебя кто-то есть,— однажды вечером видел, как шел с твоего двора врач.

— Какой ты догадливый у нас. И что из тебя будет, когда подрастешь?

Данило с удивлением прислушивался к их перепалке и все больше убеждался, что Юрий по уши влюблен в Ганнусю. Да и она, видно, клонится к нему душой. Но привередничает, как умеют привередничать девушки, когда чувствуют свое превосходство. Только где же и когда могло взяться такое у этой лозинки, что одной правдивостью смотрит на мир? Ох, эти девушки и молодицы, ох, это Евино сластие, как говорил о женщинах один дьяк-приблуда...

— Ганнусенька, так я пошел.

— А мы вас проводим с Юрком, ведь мы знаем тут все тропинки.

— Конечно, проводим,— голубем заворковал паренек и радостно посмотрел на Ганнусю, свою любовь и свою ведьмочку.

XVIII

Данило прошел, наверное, километров пятнадцать, и такая слабость охватила его, такое изнеможение, что земля начала уплывать из-под ног, а из глаз посыпались искры. В груди не хватало воздуха, дышать становилось все труднее и труднее. Неужели паршивый кусок металла навеки отнял у него здоровье? Вздор! Все, и здоровье, вернется к нему, чтобы мог он бить врага, чтобы мог сокрушать недолю. Отяжелевшей ладонью он вытер пот со лба, посмотрел на небо, на горизонт, заметил в поле темные очертания скирд и по высохшей стерне направился к ним.

Вокруг тихо шуршала высокая пшеничная стерня, дробя на своих срезах слабый отблеск звезд. Что-то зашевелилось возле скирд, настороживло его, но он тут же понял, что опасаться нечего. Данило сделал еще несколько шагов, услыхал испуганное «скир-гик», и вверх с фурчанием брызнула стайка птиц. Они перелетели через скирду и снова упали на землю. Да это же куропатки — добрая птица его детства, которая и зимой не покидает нас, ночуя не в гнездах, а прямо в снежных ямках, где застают ее сумерки и непогода. Данило не раз находил куропаток на заснеженной озими. А как-то и домой принес отощавших, полузамерзших птиц, выходил их в тепле, да и вывез на озимь. Долго потом посмеивался Семен Магазанник: «Даже куропаточье мясо не угодило нашему председателю».

Где он теперь и какое мясо ест? Тьфу, нашел о ком тужить. Лучше подумай о том, как прожить сегодняшний день.

Скирды выросли перед ним, словно темные громады пароходов. Где-то в самом низу пискнула мышь, повеяло прелью: снопы сложены не по-хозяйски — не на соломенной подстилке, а на земле. Снова вспомнился колхоз, былые заботы председателя! Данило, прислушиваясь к рассвету, пошел вдоль скирды — не притаилась ли тут какая-нибудь напасть? — снова вспугнул куропаток, которые крыльями уже разбивали темень. Впереди, как на запотевшем стекле, начали вырастать деревья — не вербы ли? — за ними, верно, протекает речка, ибо оттуда тянет утренней прохладой. А где же теперь Галпуся, ее челн и весло? И где тот озорной паренек, который хоть шутя и называет девушку ведьмочкой, да все равно побаивается ее? О чем-то и он уже подумывает: и его карман оттягивает пистолет.

Обойдя скирды, Данило на всякий случай спрятал браунинг в сноп, еще обвел взглядом рассвет и, тревожась, улегся на отдых. Теперь до его ушей доносились неясные шорохи — то со стерни, то из скирды, то откуда-то сверху. Он еще услышал, как над ним, посвистывая крыльями, пролетели чирки, улыбнулся им и с ними вошел в неспокойный сон, где были и лунная ночь, и водная гладь на болоте, и те лысухи, что ногами и крыльями отрывались и оторваться не могли от воды...

Кто-то осторожно коснулся его плеча. Неужели снова Степочка? Он, чувствуя боль в груди, срывается с земли, вглядывается в рассветную даль, видит незнакомую женскую фигуру, а рука сама ищет тот сноп, где лежит оружие.

— Не пугайся, сыну,— слышит такой добрый голос, будто он звучит из его детства.

— Кто вы, тетушка? — наконец стряхивает с себя сон и внимательно смотрит на грустное лицо женщины.

— Я тетка Мария, а скоро буду бабой Марией: дочка моя уже на сносях. Война войной, а дети должны рождаться,— говорит так, чтобы успокоить его.— Тут, над речкой, я присматриваю за утками. Их у нас раньше было море. А на рассвете и увидела человека, что кружил возле скирд.

— Это меня?

— Какой ты догадливый,— усмехнулась снова для того, чтобы успокоить его.— Вот я и подумала: может, это хороший человек ищет себе пристанища от лихого ока и не

знает, что сегодня приедут с общественного хозяйства молотить скирды. Правда, ты не знал об этом?

— Известно, не знал.

— Тогда тебе надо отсюда уходить. Зачем встречаться с бедой?

— Куда же теперь идти?

— Немецкой справочки у тебя нет?

— Откуда ей взяться?

Тетка Мария подперла щеку рукой, посмотрела на вербы, за которыми виднелось продолговатое строение.

— Не знаю, как ты, а можно было бы пересидеть день в птичнике. Там у меня есть каморка. Я ее запру, пойду на речку к уткам, а ты отдыхай.

— Никто не заглянет в вашу каморку?

— Недобрый человек не заглянет. А если придет мой старик, то только потужит, что ничего не слышно о сыновьях. Вот и собирайся помаленьку, а то уже совсем светает.

Лощинкой они направились в долину, к тихим вербам, что по-стариковски гнулись над самой водой. Потом тетка Мария немного повернула вправо — перед ними, уткнувшись головой в землю, лежала мертвая сухорогая корова.

— Позавчера на мине подорвалась. Упала, горемычная, а из нее текут и кровь, и молоко.

Данило глянул на корову и вздрогнул: ее рога уже были затянуты паутиной, а на ней, распластавшись, притаился раскормленный паучище. На темном горбу у него вырисовывался большой, похожий на свастику крест... Вот это и есть война.

Они дошли до птичника, от которого вилась тропинка к неширокой речке, где уже плавали белыми и серыми островками утки. Синее безмолвие колыхалось над лугами и речкой, и синяя грусть колыхалась под ресницами тетки Марии, что думала и о дочке, и о сыновьях, и о нем, и обо всем мире, который непонятно почему стал таким страшным и жестоким. В птичнике тетка Мария ввела его в небольшой загончик.

— Тут я держу маленьких утят,— и улыбнулась.— Ты видел, как спит утенок?

— Нет.

— Смешно и потешно так. Глаза закроет, одну ножку откинет в сторону, еще и крылышком прикроет, чтобы теплее было. Вот мы и дома,— открыла дверь, обрызганную застывшей живицей.

На стенах светлой, опрятной комнатки висели обычные плакаты с улыбающимися женщинами и породистыми птицами. Но даже эта простая, наглядная агитация, еще не сорванная рукой чужеземца, теперь растрогала его.

Тетка Мария бросилась к маленькой, какие бывают в каморках, печи, вытащила оттуда сковороду с жареной рыбой, поставила на крохотный столик.

— Вот перекуси немного, да и ложись отдыхать. А придет старик, он тебе на берегу уху сварит.

Постелив немудреную постель, женщина вышла из каморки, заперла ее на ключ и стала спускаться к воде, на которой покачивался свежий, непросмоленный челн. С детства волновали Данила эти вербовые челны, что спокойно проплывали в погожие и туманные утра и гудели бубнами в непогоду. От верб к челну подошел седой, сгорбленный человек с увесистой трубкой в зубах.

С ним о чем-то заговорила тетка Мария. Человек молча выслушал ее, поглядел на птичник и, не вынимая трубки изо рта, отвязал от вербового пня челн, сел в него и вскоре исчез за тихими вербами и ивняком.

Данило проснулся от легонького стука в дверь.

— К тебе можно? — послышался голос тетки Марии.

— Заходите, заходите.

— Я не одна, с мужем.

Открылась дверь, в комнату первым с дымящимся казанком в руках вошел муж Марии. И теперь у него в зубах покачивалась и дымила трубка.

— Это вот вам Григорий ухи наварил. У нас ее никто так не приготовит, хоть и не рыбак, а мельник он. Отобедайте чем бог да речка послали.

Дядько Григорий смущенно улыбнулся на слова жены, поставил казанок, сел на скамью и молча начал сосать трубку, а тетка Мария бросила в миску рыбу, налила ухи и пригласила Данила и мужа к столу. За обедом говорили только Данило и тетка Мария, а дядько Григорий хотя бы слово промолвил.

— Может, ты о чем-нибудь спросил бы гостя? — наконец не выдержала женщина.

— Не обо всем надо спрашивать,— спокойно ответил дядько Григорий и окутался облаком дыма.— Если у человека есть что сказать, надейся, скажет, а если нет, то лучше и помолчать.— Да и снова припал к трубке, но вдруг настороженно поднял голову.— Марийко, от стогов кто-то идет к тебе. Выйди навстречу.

Женщина метнулась из комнаты, но вскоре вернулась.

— Это Христине и Ольге захотелось свеженькой водички.

— Что же теперь делается на свете? — спросил Данило дядька Григория.

— А кто его знает. Живем сейчас как в дупле. Хвалится фашист, что уже Москву обложил, да мало кто, кроме прихвостней, верит такому. А ты что думаешь?

— Москва еще себя покажет, дядько Григорий. Слишком рано радуются враг и некоторые нестойкие.

Уже прощаясь, дядько Григорий сказал Данилу:

— Побудь, хлопче, хоть пару дней возле нашей речки, ведь видно же, что ты болен. Тут пока еще спокойно: утке выпала лучшая доля, чем курице. Могу тебя и на мельницу взять — там на мельника вода работает, вот и будем оба богаты шумом.

— Не тот теперь шум, чтобы мне муку молоть. Это в спокойное время охотно поселился бы в мельнице,— печально поглядел на старика.

— Тогда смотри,— одобрительно кивнул головой дядько Григорий.— Видать, мой старый ум отстал от молодого. Еще могу тебя к брату в Лысогорку отвезти на челне. Побудешь там какой-нибудь денек.

— А дорога на Лысогорку ведет к шоссе или от шоссе?

— От шоссе.

— Выходит, не по пути.

— Тебе виднее,— седой мудростью поглядел на Данила, подал натруженную руку.— Пусть тебя доля хранит от недоли.

И, посасывая трубку, пошел. Вот так он, верно, и к самому богу пойдет, неторопливый, молчаливый, мудрый. А попадет в рай — и там наварит ухи для добрых людей, да и сядет где-нибудь в сторонке, молча прислушиваясь к чьим-то словам и сожалея, что тут нельзя закурить трубку...

За вторую ночь Данило прошел больше, а когда забрезжил рассвет, перебрался через сонную речушку, берега которой соединяла вывороченная верба, и очутился на топком месте, где стояли небольшие стога осоки. К таким стогам только зимой, когда все подмерзнет, приезжают люди. Найдя шест, он кое-как взобрался на стог, оттуда блеснуло зеркало седого плеса, а за ним в долине, в рассветной синеве, виднелось небольшое село. На плесе уже темнели и исчезали в воде нырки, которых неизвестно почему называли здесь попелюхами. Затем из камышей показался челн, и Данило забеспокоился, не заметил ли

его рыбак. Да человеку, видимо, было не до него: вот он, приглядываясь к воде, остановился, а потом начал что-то вытягивать обеими руками. Вскоре на поверхности появилась плетеная верша. Старик бросил ее в челн и стал из горловины доставать рыбу. Так он вытянул еще три верши и, не поворачивая челн к селу, направил его к ближнему мыску. Тут он выбрался на берег, внимательно огляделся вокруг и пошел к стогу, где спал Данило.

«Кто же ты, рыбак? И только ли рыбу ловишь?»

Старик, медленно шлепая по болоту, подошел к стогу, задрал голову и насмешливо спросил:

— Человече, ты, может, тут навсегда поселился?

— А что? — приподнявшись, Данило пристально всматривается в загорелое продолговатое лицо с вислым носом.

— Да ничего. Только очень уж беспечно ты шел к стогам. Наверное, документы у тебя в порядке.

— Где там!

Рыбак неодобрительно покачал головой, посмотрел на ставок, а потом спросил:

— Может, ты голодный? Так у меня есть кусок хлеба с салом. Подкрепись немного.

— Спасибо, дядько, не знаю, как вас зовут.

— Панасом,— вздохнул рыбак.— Взял бы тебя к себе в село, да уже погань повылазила из щелей — полиция, значит. Вот я тебе хлебца оставляю возле стога — поешь и отдыхай. А я буду охранять тебя на плесе — береженого и бог бережет.

Данило по шесту спустился на землю, обнял, поцеловал старика, а тот только глазами захлопал.

— Вот так, может, и мой где-нибудь скитается. В артиллерии служил. В первые дни войны его батарея проезжала прямо через наше село. Тогда пробыл с нами сынок ровно полчаса и дальше поехал. А назад уже его батарея не возвращалась: или разбили ее, или прошла другой стороной. Отдыхай,— и дядько Панас снова пошлепал по трясине к челну.

Данило еще долго смотрел, как рыбак кружил и кружил на плесе, сходил на берег и снова садился в свой утлый, старенький челн. Вверху раздался крик журавлей, которые, взяв лето на крылья, летели с ним в далекие теплые края. Под их «кру-кру» Данило уснул с мыслью: пока будут на земле такие люди, как Ганнуся, тетка Мария, дядько Григорий, Панас, мы не пропадем.

Проснувшись, долго не мог понять, куда он попал. Но, увидев плес и одинокий челн на нем, сразу же припомнил

все. Уже смеркалось. От воды в поля потянулась дикая птица. Он спустился на трясину, подошел ближе к плесу и молча поклонился рыбаку. Тот кивнул ему головой и только теперь повернул челн к селу.

Данило пошел к шляху, зажатому четырьмя рядами лип. Но не шляхом, а то полями, то обочинами пробирается он, прислушиваясь к каждому шороху земли, деревьев и дороги. На ней иногда блеснут фары, прогудят машины, да все чужие, все чужие.

Иногда за раздумьями или усталостью Данило впадал в забытье. Тогда и чужие машины, и его странствия казались лишь дурным сном: проснешься — и все рассеется. Но это были только минуты забытья...

И снова туманный рассвет в поле, где еще остались озерки проса и зеленела редко посеянная рожь. Но что это виднеется на сером предутреннем полотне рядом с деревьями, что так и тянутся верхушками в небо?

Крадучись Данило идет вперед, к каким-то странным, безмолвным гигантам, что застыли в угарном рассвете. Да это же трубы и печи! Голые, потрескавшиеся, обгорелые печи! Села не было, не было ни одной хаты-белянки, стояли только печи, как проклятья фашистским извергам. Словно по мертвой планете идет Данило пожарищем, где все стало черным — и улицы, и дворы, и садочки, и криницы. И вдруг неожиданный женский голос:

— Данилко, ты пришел?

Он испуганно оглянулся. Кто же тут знает его? Из узкого переулка, над которым потрескивали и крошились обгоревшие вербы, бежала к нему смуглая то ли от рождения, то ли от пожарища девушка.

— Данилко, ты пришел? — еще раз спросила, остановилась и вздохнула: — Нет, это не Данило.— В девичьих глазах стояли слезы и немое исступление.

Скорбь и боль сжали сердце Данила. Опустив голову, он стоял перед изувеченной красой и ничем не мог помочь ей. Из того же переулка вышел, опираясь на палку, высокий, надломленный в плечах дед, на щеках его дотлевал неровный румянец. Сизыми от старости глазами пристально оглядел Данила и позвал девушку:

— Лариса, дитя, иди сюда. Это не твой Данило.

— Не он, дедусь,— согласилась несчастная, стоя на месте. Теперь она уже смотрела не на Данила, а куда-то вдаль, кого-то высматривая в ней.

Старик подошел к ним, поздоровался с Данилом, взял за руку девушку и тихо сказал:

— Одна беда, человече.

— Что же у вас, дедусь, стряслось?

Старик огляделся и, не повышая голоса, начал рассказывать:

— Зверствовали фашисты в селе. Что им стоит пролить невинную кровь! Расстреляли людей, а потом сожгли хаты. А перед их приходом моей внучке,— кивнул на девушку,— как раз справляли свадьбу, которую откладывать нельзя было. Зашли фашисты на подворье, а моя дочь, мать Ларисы, с перепугу пригласила их по чарке выпить. Выпили они горилку, а потом ударили из автоматов. Первой упала моя дочь, попадали и гости, и музыканты, и жених, прикрыв собой невесту. Только и остались она да я из всех, кто был на свадьбе, да, вишь, лишилась разума. И все ждет своего Данила.

Бондаренко взглянул на несчастную, вздохнул:

— За что же они так лютовали?

— За партизан. Пойдем, дитя.

— Я, дедусь, буду Данилку ждать. Он всегда с этой улицы приходил ко мне.

Измученный душевной болью, шел Данило по пожарищу, что когда-то называлось селом, а перед глазами все стоял образ той изувеченной красоты, что ждет и никогда не дождется своего Данила. За горестями, за дурманящим запахом опустошенной земли, за печалью он забыл об осторожности и, когда уже миновал последние печи, неожиданно услыхал:

— Стой! Руки вверх! — Возле обгоревшей вербы стоял кривоногий полицай, совсем молодой парень; на его широком лице выделялись раздутые ноздри и вмятая переносица.

— Чего тебе надо? — растерянно пожал плечами Данило.— Я домой добираюсь.

«И надо же так по-глупому попасться!»

— Не разговаривать! Руки вверх! — выкрикнул полицай, приложил винтовку к животу, как прикладывают немцы автомат, и щелкнул затвором.

Данило, темнея от гнева, вынужден был поднять руки.

— Вот так! — сказал удовлетворенно прихвостень и подошел ближе.— Документы есть?

— Есть.

— Вынимай, чтобы дома не журились,— даже шутить начал оборотень, и его колючие глаза немного прояснились.

Данило вынул красноармейскую книжку, протянул полицаю.

— И снова руки вверх! — приказал тот, приставил винтовку к ноге, развернул документ и презрительно скривил тонкую черточку шершавых губ.— Что это ты мне тычешь под нос? Немецким документиком не запасся?

— Еще не успел.

— А жаль. Тогда потопаешь со мной в полицию.

— Зачем же в полицию?

— Там тебе скажут зачем,— и усмехнулся.— Там есть мастера, художники своего дела, которые у всякого выбьют и слезы, а если надо, и душу.

— Я ж, хлопче, домой иду.

— Какой я тебе «хлопче»?! — окрысился полицай.— Бери свою бумажку, и пойдем.

Данило потянулся к книжечке и вдруг молниеносным движением обеих рук схватил полицая за горло, рванул его к себе, подставил ему ногу, повалил на опалину и услыхал противный хрип.

— Пу-у-сти-и,— прохрипел полицай, а из-под ресниц у него покатились слезы.

— Вот я из тебя, гитлеровский прихвостень, выпущу поганую кровь,— придавливая полицая коленом, Данило выхватил из кармана браунинг.

— Не убивайте, дядько,— захныкал полицай.— Ей-богу, меня заставили пойти в полицию. Ей-богу.

— Кто тебя, очумелого, заставил? — поднялся Данило с земли.

— Староста и начальник полиции, потому что мой родной брат в партизанах,— вытер слезы оборотень.— Они сказали: если не пойдешь в полицию, то тебе сразу же в тюрьме выдадут банку консервов и буханку хлеба.

— Это что означает?

Полицай скривился, вздохнул.

— В тюрьме тому, кого должны расстрелять, говорят, что переводят в концентрационный лагерь, и выдают на дорогу банку консервов и буханку хлеба. В лесу арестованного убивают, а хлеб и консервы привозят для другого смертника. Вот со страху я и стал полицаем. Если отпустите, пойду в леса искать брата.

— Не врешь?

— Вот увидите, что пойду.

— Давай документы и повязку.

На лице полицая блеснула надежда. Не вставая, он вынул из кармана пиджака две какие-то бумажки, отце-

нил от рукава полицейскую повязку, протянул Данилу. Тот развернул примятую бумажку, на ней большими буквами было напечатано:

ЛИЧНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
ГРАЖДАНИН ХАРИТОН ЗАИКА ИМЕЕТ ПРАВО
ПРОЖИВАНИЯ В СЕЛЕ ЖОВНИНО...
Шеф-комендант Короид

Внизу стояла печать. На первом ее полукруге выделялись немецкие буквы, а на втором стояло по-украински: «Самостийна Украина».

Данило спрятал документы, поднял с земли винтовку и, морщась, нацепил на рукав повязку.

— Вот это правильно,— повеселел полицай.— Теперь не таясь можете добираться домой. И еще если курите, то возьмите у меня папиросы «заудеген».

— Вставай, и пойдем вдоль дороги к лесу.

Полицая сразу затрясло:

— Зачем же в лес?

— Чтобы тебе ближе было к брату.

— А вы там не убьете меня?

— Посмотрим. Иди.

Пригнувшись, словно стыдясь своего роста, полицай лихорадочно семенил к лесу, который заманчиво играл густой синевой. На опушке они остановились.

— Не убивайте меня! — уже в отчаянии заскулил Харитон.

«Что же делать, дуралей, с тобой? Поумнеешь ли ты хоть немного или снова начнешь перехватывать своих?»

— Не убивайте, дядько...

— Прощаю тебе, глупый, на этот раз, хотя и не стоило бы. Но если снова вернешься в полицию, даже кровавыми зарыдаешь, не поможет...

— Спасибо вам, спасибо, дядечка,— не знает полицай, как и благодарить, да все сгибается и разгибается перед ним.

— Иди к брату и не позорь больше своего рода!

Лицо полицая перекосила улыбка, веря и не веря, он шагнул назад, потом прыгнул в кусты и, петляя, побежал куда глаза глядят. Куда же ты направишь свою извилистую долю?

Данило повернулся и пошел лесом, прислушиваясь и к нему, и к дороге, что гудела проезжавшими машинами. Пройдя километров пять, услыхал на лесной дороге перестук копыт, колес и пустых бидонов. Притаившись под

деревьями, он вскоре увидел пароконную, с бидонами из-под молока подводу; на ней неуклюже сидел возница с серым лицом, на котором выделялись отвисшие мешки под глазами, что подрагивали на ухабах, сапожком торчащий нос и метелки усов. Печать застарелого недовольства и зла гнездилась на его широком лбу, на морщинистых веках и перекошенных губах. Один уголок их был закруглен, а другой такой острый, словно все время пытался дальше разрезать щеку.

«Так и до уха доползет. Не дай боже встретиться с таким молоковозом в ночную пору».

Данило вышел на переплетенную корнями дорогу, властно остановил коней. Молоковоз самой злостью уставился на него:

— Какого тебе черта надо, хотя ты вроде и полицай? — заскрипел голос, как пересохшая дверь.

— Хорошо встречаете людей.

— Как они меня, так и я их. Что такое люди? Большая толпа, в которой каждый думает только о своей шкуре.

— Подвезите, если не жаль коней.

— Если бы они были мои, то жалел бы. Садись где-нибудь сбоку. Откуда идешь?

— Из крайса.

Молоковоз краешком глаза глянул на Данила, перекошенными губами выжал насмешку:

— И там полицаи в тряпье, без формы, ходят?

— Скоро и форма будет. А вы чего такой, словно на весь мир озлились?

Молоковоз бросил на Данила затуманенный злобой взгляд, тронул коней, потом вынул из-за пазухи туго набитый кисет, расшнуровал его.

— Бери задарма. Дьявольскую силу имеет.

— Спасибо, я не употребляю этого зелья.

— Тогда хорошо горилку тянешь?

— Не без того.

— На это вы мастаки. А вот помочь бедному человеку некому.— Его одутловатое лицо дышало злобой и отчаянием, даже плечи поникли.

— Это кто, вы — бедный человек? — не поверил, ухмыльнулся Данило.

— Верь или не верь, а таки я, ибо в жизни оно так: кому-то перепадает простое, а то и райское дерево, а кому-то одни щепки,— хрипло вздохнул молоковоз, да и бросил взгляд в леса или в прошлое.— Вот послушай. Был когда-

то Хома Кошиль хозяином на всю губу, на весь уезд. Земелька у него была черная, словно вороново крыло, а волы такие, что ни один батрак не мог дотянуться до рогов, и медаль царскую, как радость, на шее носил. Да большевики оттяпали у Хомы земельку, подрезали крылья еще в двадцатом году, а та медаль на шее чуть было не стала петлей. А когда начал подступать тридцатый год, сообразил я, куда вода течет, разделил свое имущество между детьми, взял себе только тройку коней и серым волком махнул из села работать где на капитализм, где на социализм. Да, черные были мои дни, и черной была тоска. Только в один из дней развеселился, когда услыхал о раскулачивании — перехитрил-таки я, обскакал наших дурней богатеев... Носило меня и по Днепрогэсам, и по Турксибам. Оно и там, кто был с головой, без копейки не сидел. Да деньги — полова, а земля — святыня. И мечтал я о своей земельке во всех до единого снах. А когда услыхал о войне, бросил квартиру со своей потаскухой — сразу же сюда. Люди на восток да на восток — в эвакуацию, а я с востока, как тот бродяга, что судьбу проклинает. Считай, с немцами в один день прибился к своему селу: немцы с запада, а я с востока. Обошел всю свою земельку, вбил в нее свежие вербовые колья, чтобы межевыми вербами стали, а сам собирался стать старостой. Да что-то оно не туда повернуло, люди и власть поставили старостой моего бывшего батрака Ивана Гнатюка, который был — кем бы ты думал? — самим председателем колхоза! «Что вы, люди, делаете? — крикнул я на сходке.— Он же стопроцентный большевик!» Но меня тогда, на сходке, слышишь, чуть было не пришибли. И что страшнее всего — свои дети отреклись от отца, назвали меня стопроцентным иродом. А потом этот самый Гнатюк в насмешку поставил меня молоковозом. Вот и снова, погоняя чужих коней, нелюдем становлюсь. Да что же это делается на свете? И зачем я так поспешил к своей земельке?

— Не дали вам ее?

— Дали надел только под огород. Я уже и к начальнику полиции ездил.

— А он что?

— За каждого партизана, говорит, будем наделять двумя гектарами земли. И тут нет правды, ведь на Полтавщине, слыхал, за пойманного партизана дают целых пять гектаров, а за командира еще добавляют пять коров, десять литров горилки и тридцать пачек махорки. Наверное, придется махнуть туда.

— Так что же вас держит здесь? — спросил Данило, едва сдерживая ярость.

Кошиль понизил голос:

— Разве еще не догадался?

— Нет.

— Держит меня проклятый Иван Гнатюк.

— Он не пускает вас на Полтавщину?

— Нет, это я хочу подстеречь его, на горячем поймать, ибо чует моя душа — не новой власти служит он, а снова же большевикам.

Данило вырвал из руки молоковоза кнут, соскочил на землю и что есть силы стеганул им по широкой спине.

— За что?! — взвизгнул, вытаращив глаза, Кошиль и, проворно спрыгнув на землю, стиснул волосатые кулачищи.

Данило стегнул его и второй, и третий раз.

— За то, что перехитрил сам себя и уже шпионишь за добрыми людьми. Сейчас же поворачивай коней в крайс! Я тебя сдам своему начальнику! — и снова стеганул кнутом.

Хома вдруг обмяк, опустил руки и забормотал:

— Помилуйте, пан полицай... Я же думал да гадал, как лучше угодить вам.

— Не угождай, если впал в детство. Поворачивай к крайсу! Вишь за кем он следит!

— Пан полицай, богом прошу, помилосердствуйте. Я вам даже, коли позволите, откупного дам.

— Откупного?..— будто задумался.— Давай! Черт с тобой!

Кошиль полез в карман, вынул кошелек, подобный тем, что колыхались у него под глазами, и протянул Даниле:

— Здесь на хороший магарыч хватит. Бери мои заработки на чужом молоке.

— Пусть это тебе будет наукой, чтобы не подличал и не наговаривал на добрых людей.— Данило небрежно засунул кошелек в карман.— Если же мы хоть слово услышим от тебя об Иване Гнатюке, то заранее готовь торбу и суши сухари.

— Вот так и должны мы чувствовать твердость власти,— глубокомысленно изрек Кошиль, только сейчас поняв, в какую беду он попал из-за своей дурости.

Данило сбросил вожжи и шлею с пристяжного вороного, вскочил на него и насмешливо бросил молоковозу:

— Передайте привет Ивану Гнатюку. А что стегал вас, можете не говорить.

Но Кошиль ничего не ответил на это, теперь все его

мысли кружились вокруг одного: как ему помириться со старостой своего села, у которого вон какие есть защитники? Он трижды широко перекрестился на солнце, что играло между деревьями, но и солнце не смогло выбить из его взгляда холодных сумерек.

То дубравами, то полями, то дорогой Данило к вечеру отмерил, верно, километров тридцать и смело въехал в какое-то село, разделенное надвое неширокой речечкой. Тут возле левадок стояли нарядные хатки, к каждой из них от речки тянулись два ровика. Это удивило Данила, и, встретив на берегу женщину с бельем на коромысле, он спросил, что это и к чему.

— У нас так испокон веку заведено,— покачивая коромыслом и станом, ответила женщина.— Возле каждой хаты есть копанка, в ней держим рыбу — карасей, линей, карпов и вьюнов. А чтобы у них всегда была свежая вода, впускаем и выпускаем ее по этим ровикам. А ты ж откуда будешь, такой проворный?

— Издалека, тетушка.

— Да вижу, что издалека,— буркнула тетушка, осуждающе оглядывая его.

— По чему же вы видите?

— По твоей тряпочке,— неприязненно ткнула в полицейскую повязку.

— Разве у вас таких нет?

— Таких нет. Кого записали в полицию, все разбежались, кроме придурковатого Вавилы, у которого отроду босая голова. Говорят, теперь откуда-то чужих подлецов нагонят. Ты случайно не из этих торопливых?

— Не из этих, тетушка.

— А если не из этих бесчестных,— оглянулась женщина,— то скорее прячь свою тряпицу и тикай отсюда. Тут легкой поживы не найдешь.

Данило засмеялся от таких слов, что были для него как музыка.

— Ты чему же радуешься? — удивилась женщина и подозрительно посмотрела на него: не такой ли этот бродяга придурковатый, как их Вавило?

— Как видно, тут хорошие люди живут.

— Какие ни живут, а у собаки глаз не занимают,— качнула коромыслом и, изгибая тонкий стан и поблескивая икрами, красиво пошла тропинкой к своей хате.

— Тетушка, а где ваш староста живет?

Женщина остановилась, рукой показала на левадку, обсаженную красноталом.

— Вон видишь усача в сермяге, что корову возле садика пасет? Это и есть наш староста Микола Андриенко.

— Староста — и корову пасет?

— А он у нас не супостат и не сребролюбец. И в трудное время не перешерстился,— сердито ответила женщина.

Ведя коня по-над красноталом, Данило подошел к старосте, который еще издали приглядывался к нему. Был это человек лет шестидесяти с лицом цвета и сухости грецкого ореха, на голове у него красовался самодельный соломенный брыль, и потому начальство было похоже на обычного сельского пасечника. Это сходство подчеркивали старые дуплянки и ульи, которые хорошо вплетались в камышовый плетень.

— Здравствуйте, пан староста,— поклонился не чину, а его годам Данило.

— Здравствуйте, пан полицай,— прижмурил глаз старик, а в голосе у него прозвучала скрытая насмешка.

— Как оно у вас, пан староста?

— Ничего у нас, пан полицай,— и пустил усмешку по морщинам и усам.

— Чего же вы смеетесь?

— А как же не смеяться? Вот один пан пасет корову, а другой пан пришел к нему задарма чем-то поживиться. Разве не разгадал один пан другого пана?

— Так вы ясновидец, пан староста!

Старик нахмурился:

— Может, ясновидец, но не вельможа. Вот такие паны, как ты, и заезжие лоботрясы объели меня, словно гусеницы. Обобрали до нитки. Но если очень голоден, иди, пока не поздно, ищи приюта и харчей.

— Куда же мне прикажете идти?

— Спроси у полицая Вавилы.

— К этому придурковатому посылаете?! — возмутился Данило.

Староста что-то прикинул на всех своих морщинах, пытливее поглядел на непрошеного гостя:

— А ты откуда знаешь, что он придурковатый?

— Так кто же этого не знает?

— Вон как,— еще что-то прикинул старик, повел бровью и усами.— А ну-ка, давай свои документы.

Данило достал бумажки, которые забрал у полицая, протянул их старосте, тот достал из кармана старенькие очки, нацепил их на нос и стал похожим на дятла, оглядывающего перед работой ствол дерева.

— «Лич-но-е удо-сто-ве-ре-ние»,— по складам читает староста, потом останавливается и таращит глаза на гостя: — Так это ты будешь Харитоном Заикой?

Данило заколебался: а что, если этот Заика натворил бог знает чего и об этом слыхали тут?

— Говори, пан полицай,— уже приказывает староста,— это ты Харитон Заика?

— Я.

И вдруг староста расхохотался, хватаясь руками за живот. Насмеявшись, он снова вытаращил глаза на Данила.

— Ты, хлопче, не морочь мне ни головы, ни того, что пониже спины. Всех Заик я знаю как облупленных. Говори по правде: кто ты будешь, как твоя фамилия и зачем притащился на своем прихваченном? Если за душой старика, то можешь брать ее — не заплáчу перед вами, песиголовцами.

— Что вы, дед! — по-сыновьи положил свои руки на руки старика.— Живите подольше, ведь вы, вижу, человек!

— А кто же будешь ты? Говори настоящую фамилию!

— Зовут меня Данилом Бондаренко...

— Данилом Бондаренко? — не поверил староста.— Снова обмануть собираешься?

— Вправду я Бондаренко.

— А как тебя величают по отчеству?

— Максимовичем.

— Погоди, погоди! Ты случайно, не тот садовник, о котором в газете писали перед самой войной?

— Тот самый.

— И как же ты до этого дошел? — глянул на полицейскую повязку.

— Разве вы не видите, что горе заставило?

— Наверное, так,— согласился старик.— Так вот ты какой, коли не врешь! А какие в твоем саду были зимние сорта яблок?

— Зачем это вам?

— Отвечай, если спрашивают старшие.

— Кальвиль снежный, золотой ранет, ранет Симиренко, тиролька, джонатан, пепин лондонский. Хватит вам?

— А вот это ж какое? — махнул рукой на раскидистую яблоню.

— Штрейфлинг.

— А какое яблоко может лежать два года?

— Ранет шампанский.

— Что правда, то правда,— и староста отдал Данилу удостоверение.— А куда же Харитона девал?

— Завел в лес и отпустил. Говорил, что пойдет к брату в партизаны.

— Может и пойти, так как в полиции очутился он не по своей воле, а по принуждению и от страха. Куда тебя доля или недоля ведет?

— Домой.

— Отчаянный ты, при чужих документах и коне,— и староста пустил усмешку по усам.— Что ж, пан полицай, пойдем ко мне на ужин.

— Так вас же, пан староста, объели разные, словно гусеницы?

— Пан для пана не старался бы, а пасечник для садовода всегда постарается.— И застучал разношенными сапогами.— Вот мы сейчас из копанки карася и вьюнка вытащим, а на закуску меду принесем, накормим тебя, да и уложим спать, а то ты едва на ногах стоишь.— И старик подвел Данила к копанке, где росли и татарское зелье, и камыш и где через два ровика перечищалась вода.

— Хорошо обладили этот уголок.— Данило вспомнил копанку на огороде Гримичей.— Как они теперь?

— Да вроде ничего,— согласился старик.— Есть рыбий хвост и теперь, и осенью, и зимой.— Он подошел к плетеному желтым и красным верболозом тыну, снял небольшую с ручкой топтуху.— А теперь посмотрим, что есть в воде и сможет ли волк хвостом наловить рыбы.

Старик, пригнувшись, погрузил топтуху в копанку, протянул ее по дну, быстро поднял, и все, что было в ней, вытрусил на берег. На зеленой мураве затрепетали караси, запетляли вьюны.

— Ого! — удивился Данило.— И вправду тут и волк мог бы наловить карасей.

— Если бы волк, то еще ничего...— тут же помрачнел старик.

XIX

И вот долгожданный татарский брод с осколком луны посередине, и молчаливый приселок, что уткнулся в неровный берег, как младенец в материнскую грудь, и тревога птичьего грая в небе, и тихое всхлипывание склонившихся верб, и дремота вербовых челнов, привязанных к комлям.

Конь остановился, время остановилось, только в груди так стучит сердце, словно хочет разбудить уснувший приселок.

«Чего ты? Чего? Пора бы уж огрубеть, покрыться корой». Да не покрывается оно корой, и даже в такую годину его волнуют сон этого забытого приселка, полусон реки и дрема простых челнов, что с берега на берег перевозили его детство, а потом любовь. Где она и что с нею теперь?

Данило соскакивает с коня в заросли краснотала, прислушивается к ночи, к берегам, к хатам-белянкам: в одной из них, верно, отдыхает Мирослава. И снова под тучами печалится птичий грай и подает голос ему из приселка одинокая журавлиная труба. Это отзывается тоска подбитого журавля, который второй год живет у Ярослава Гримича. Август — пора перелета, самый тяжелый для него месяц. А для человека теперь стали тяжелыми все месяцы. Все!

Всплеснула рыба на быстрине, и ёкнуло в груди, а ведь он так спешил сюда: и к той вишне, под которой вечным сном почила его мать, и к тому жилью, где дозревают пшеничные волосы его Мирославы, и к тем людям, с которыми должен быть всегда вместе...

Сначала Данило добрался до кладбища — чувствовал за собой вину, что не поклонился могиле матери, уходя на фронт. Нашел то дерево, которое выросло у ее изголовья, и только коснулся его рукой, как на землю посыпались перезревшие вишни. И птица не склевала их,— наверное, и ее меньше стало в войну...

Из-за деревьев, раздвигая туман, вышел сгорбленный, облитый сединой кладбищенский сторож, который полвека встречал гробы и жил среди могил и крестов, в старой, похожей на гриб часовенке. Он не узнал Данила, потому что в безумной круговерти времени померк его разум. Приглядываясь побелевшими глазами к путнику, скорбно спросил:

— Ты ж, человече, не из тутошних?

— Из тутошних, дед.

— А я что-то не узнаю тебя. Стариков всех узнаю, а на молодых не хватает памяти.

— Почему же вы, дед, в селе, среди людей, не живете?

— Как же мне жить дома, если старуха вот тут под барвинком почивает, а всех сыновей и внуков забрала война? Вот и остались в хате одни слезы невесток. Может, нарвешь себе яблок или грушек? Уродило их в этом году, даже ветки ломятся. Слышишь?

И Данило правда услыхал, как недалеко застучала плодами отломившаяся ветка. А старик все стоял возле него.

— Ты ж из войны вырвался?

— Из войны.

— А о моих детях и внуках нет ни слуху, ни полслуху. Такого кровопролития, как теперь, и при татарщине не было.

На глаза навернулись старческие слезы, и он понес их с блестками луны в часовню, где все ночи оберегает постаревших святых, которые должны были оберегать и предостерегать людей. Скрипнули пересохшие двери часовни, и Данила насквозь пронзили не то тяжелые стоны, не то всхлипывания:

— Деточки мои, дети, где же вы теперь?

То не боги скорбели, а человек, который весь век прожил с молчаливыми богами...

Заросшей кладбищенской дорогой, на которую с могил выбились низкорослые петушки и мята, Данило направился на прикладбищенскую леваду, где пустил коня пастись. Но что это? Неподалеку от его воронка в высокой шапке стоял как столб дородный мужчина. «Откуда ты взялся, такой проворный?» И выхватил из кармана пистолет.

Человек обернулся к нему, поднял руку и тихо пробасил:

— Не бойтесь, Данило Максимович, это я, Волошин.

— Поликарп Андреевич? — удивился Данило.

— Эге ж, эге ж,— закивал головой здоровяк и как-то неровно пошел к Данилу, нерешительно остановился перед ним, не зная, что делать: подать руку или не подавать? И такой тоской были наполнены его глаза, что даже при луне тяжело было глядеть в них. Какое же горе так мучает тебя, человече?

Данило хорошо знал Поликарпа Волошина, который в тридцатом году попал под раскулачивание. Собираясь в Сибирь, он по-хозяйски отобрал лучшее зерно, уговорил милогубую кареглазую жену не ехать с ним, да и подался туда, где тоже есть люди и земля. Обрабатывать же ее он умел с детства. Вот только будет ли в холодном краю родить гречиха?

А в тридцать шестом году Волошин возвратился из далеких краев; там также не гуляли его руки, и он с исправными документами приехал к своей Ганне, на волосы которой уже лег осенний туманец.

На следующий день, еще на рассвете, человек пришел к Данилу, вынул из кармана пиджака беленькую тряпочку, в которую были завернуты его характеристики, и, не садясь, спросил:

— Примете в колхоз, или мне на стороне искать работу?

— А что вы с теткой Ганной надумали делать?

Волошин невесело улыбнулся в ржаные серпастые усы:

— Не хочу сползать с земли, не хочу на ней быть и перекати-полем. Если не желаете, чтобы работал вместе со всеми, то я могу в смолокурне чуметь, могу и за рыбой в прудах присматривать — у меня легкая рука.

— Что ж, если легкая, то становитесь старшим по рыбе.

И тогда задрожали и ресницы, и веки, и усы у человека. Он вздохнул и уже с облегчением спросил:

— Значит, верите мне?

— Верю, Поликарп Андреевич.

— Спасибо за доверие! — растрогался Волошин.— Когда-то у меня не было его к людям, а только к зерну и к скотине, да и сам, считайте, был полускотом. Какими уж трудными ни были мои последние годы, а не проклинаю их, потому что среди людей начал обретать веру...

Эти слова надолго остались в памяти Данила. А Волошин ни в чем не подвел ни его, ни людей...

Это было тогда. А что теперь тебя измучило?..

— К матери ходили? — неожиданно спросил Волошин и, сняв шапку, повел поседевшей головой в сторону кладбища.

— К матери,— вздрогнул Данило.

— И до сих пор помню ее голос — она же с моей Ганной была в девушках. Вместе пели: «Розлилися воды на чотыри броди...» А теперь разлилась кровь на все броды. И нигде нет человеку теперь пристанища.

— Что с вами, Поликарп Андреевич?

— Коварство судьбы,— тоскливо вздохнул человек.— Послушаете?

— Говорите.

— Оно бы лучше повернуть на мое подворье, чтобы никакой черт из тех, кого язык брехней да доносом кормит, не встретился.

И хоть как тихо они ни подходили к заросшему спорышем подворью Волошина, все же их услыхала тетка Ганна, вышла из хаты, узнав Данила, вскрикнула чайкой и бросилась к нему с распростертыми объятиями.

— Данилко, дитя! Живой?!

— Живой, тетка Ганна.

— Так пойдемте же в хату. Какой же ты изморенный...

Да все-таки живой. А мы живем и не живем... Рассказывал тебе? — со слезами глянула на мужа.

— Молчи, старая. Вот сейчас обо всем, как на духу, поведаю. Дай только в хату войти.

В хате тетка Ганна сразу же кинулась к печи, а Поликарп Андреевич начал свой нелегкий рассказ.

— Не знаю, будешь ли теперь есть у меня, когда скажу, что я стал председателем общественного хозяйства.

— И как это вас туда занесло? — насторожился Данило.

— Новая власть мне как раскулаченному доверила это хозяйство. Я всячески уклонялся да отнекивался, но люди стали уговаривать, потому что могут ведь какого-нибудь дьявола назначить. И все-таки приневолили меня. Вот и живу теперь так, будто мою душу в колее раздавили.

— И как же вы хозяйничаете?

— Что можно было припрятать — припрятали, а хлеб и скотину втихую раздаю, чтобы как можно меньше поживы фашистам досталось. Начал со свинофермы. Ни одного свиного хвоста не досталось людоедам. Захотела новая власть толкнуть меня на подлость, но ничего из этого не выйдет, то, верно, на виселицу пошлет. А если выживу, тоже радости мало: что скажут наши, когда возвратятся? Вот это больше всего меня и мучает. Видишь, как попусту растратил я время из-за моей глупой головы.— И снова вздохнул.— Скажи по правде: осуждаешь меня?

— Нет, Поликарп Андреевич... Только не забудьте вдов и сирот.

— Он, Данилко, им раньше других хлеб завез. У тебя же науку проходил,— отозвалась тетка Ганна, ставя на стол тарелки. В лунном свете на ее ресницах заблестели слезы.

Данило наклонился к ней, поцеловал в щеку.

— Спасибо, дитя,— женщина грустно улыбнулась и рукой вытерла глаза...

Конь по колено зашел в брод, мягко начал перебирать губами подсвеченную воду, потом заржал, и тогда с того берега, с низины, тоже послышалось ржание; оно словно подхлестнуло вороного, разбивая волночки и облака в них, он пошел, пошел вперед, потом, вытягивая шею и вздыхая, как человек, поплыл на тот берег. Данило даже руку приложил к глазам: вспомнил бой возле речки и то, как ее переплывали оседланные кони, что пережили всад-

ников. А тем временем вороной выбрался на сухое, отряхнулся, мотнул гривой, захватил в нее свет луны и со ржанием помчался к своим собратьям.

Возле старой, с выжженной сердцевиной, вербы Данило увидел непривязанный челн, потянул его к воде, тут же нашел шест, которым рыбаки крепят сети, и тихо-тихо, как во сне, поплыл к тому берегу, к своей любви, к своей Мирославе.

А может, и в самом деле он заплывает в сон? Потому что чудодейственную силу превращений имеют наши вечерние реки и броды, когда в них тонет и не тонет луна, когда в таинственных зарослях камышей затихает птица, когда клочья туманов, словно деды, не знают, где найти пристанище, когда возле прибрежных жилищ, отделяя их от огородов, не плетни стоят, а висят ветхие рыбацкие сети, когда на подворьях в почете доживают свой век старые челны. Сколько же доброго, прекрасного, великого и величественного на свете! Так почему же безумие обрекает человека на ненасытность, бессмысленную смерть, тлен?.. Вот и пропал сон, что на минутку убаюкал его.

Вытянув челн на песок, вышитый крестиками птичьих следов, Данило снял с плеча винтовку, проверил, есть ли в патроннике патрон, осторожно пошел тропинкой, над которой нависали платки верб. Неужели осталось лишь каких-то триста шагов до Мирославы? Как она встретит его? Так ли зазвучит ее низкий голос, как звучал в предчувствии материнства? И подарка у него никакого нет. Все это будет потом, если останется он в живых.

Вот и хата ее, вот и старые сети вместо плетня, и не рыба, а живые цветы попали в их ячеи да и цветут себе, покоряясь ночью духу маттиолы — цветку их первой встречи. Держась тени, держась поклеванных воробьями подсолнухов, он подходит к жилью и с удивлением замечает на завалинке новенькие, ушками вверх, женские чеботки — как раз по ноге Мирославы. Почему же они ночью стоят тут? Данило поднял их, и каблуки блеснули подковками. По всему видно, что хороший сапожник сделал их. Не старик ли Гримич? Этот из тех, которые все умеют.

Данило поставил чеботки на завалинку, стукнул в окно, но в хате ни звука. Он стукнул второй, третий раз и, страшась тишины, припал головой к окну, затем бросился к порогу, нечаянно задел чеботки, они упали с завалинки. Снова поставил их на место, под дощечкой нашел деревянный ключ, торопливо открыл дверь, остановился, прислушиваясь, в сенях, а потом вошел в горницу, в которой гул-

ко отдавались его шаги. Дойдя до дерюжки, что лежала посреди хаты, он остановился, огляделся и понял, что тут никого нет. Вот и добрался до своей грустной любви. Только где она? Куда ее занесло это лихое время?

Данило вдруг почувствовал себя таким разбитым, усталым, одиноким, что от стона содрогнулось все его тело. Словно лунатик, начал шарить по хате, чтобы понять, ощутить, давно ли ее оставила Мирослава. В доме теперь не было ни хлеба, ни к хлебу, и остывшая печь уже не держала в себе духа черешневых дров. Значит, Мирославы давно не было тут. Но почему на завалинке стоят ее чеботки? Он вышел во двор, прислушиваясь к тишине, к татарскому броду.

Безмолвие, одно безмолвие вокруг. Снова взял в руки ту немудреную деревенскую обувку, что спасает нас в ненастье на черноземье. Теперь на сапожках лежала роса. «В первый или последний раз? Какие только мысли не лезут в голову!» Он свои первые покупные сапоги, когда ложился спать, клал под голову: боялся, что могут исчезнуть ночью. А куда же девать эти? Пусть стоят на завалинке, как стояли. Нестерпимая боль терзает грудь, ослепляюще бьет луна в глаза, а Чумацкий Шлях, предвещая непогоду, окутывается серебристой мглой. Может, пойти к Оксане? Так перепугает же всех. Лучше на рассвете постучать к ним. И он снова идет в хату.

Вздыхают сени, вздыхает хата, вздыхает за камышами невидимый брод, а тут, на передней части печи, обрызганной луной, ожидают рассвета круглоокие красные петухи. Что будет, то будет, а он отсюда не уйдет: раз есть загадка, то, может, дождется и разгадки. Как ошалелый, послонявшись из угла в угол, Данило ставит возле кровати винтовку, на всякий случай немного открывает окна, потом снимает сапоги и, не раздеваясь, ложится на застланную постель: так если и заснет, то меньше будет спать. Он еще прислушивается, что делается во дворе, приглядываясь к луне, что повисла над бродом, с грустью в полусне думает о Мирославе. А в это время неожиданно оживают нарисованные петухи: встрепенулись, захлопали крыльями, стряхнули лунную росу и запели. Рассвет у нас всегда встречают петухи, а утро — голуби. Ожило и само жилище, качнулось в одну сторону, качнулось в другую, как пароход, поплыло по огородам, по лугам, по речке, и в него начали набиваться бойцы его взвода, да все с винтовками, с автоматами, с пулеметами, с гранатами «РГД» и «Ф-1», с противотанковыми минами, с мешками взрывчатки. Ага,

им же надо заминировать мост. Вот он металлическими радугами ферм соединил берега и тихо уткнулся в красные гроздья калины. И вдруг откуда-то сбоку донеслись голоса Ярины и Мирославы.

Ярина. Смотри, какие у тебя хорошие чеботки!

Мирослава. В самом деле хорошие. Спасибо твоему дедусю.

Ярина. Вот и прощай, сестра. Не знаю, скоро ли увидимся.

Мирослава. Как жаль, Яринка, что тебя посылают в город.

Ярина. Такая уж моя доля. До свидания, если еще увидимся.

Мирослава. Ой... Подожди, я одна боюсь заходить в хату.

Ярина. Тоже мне партизанка! — и послышался грустный смех, какого никогда никто не слыхал от Яринки.

Сухо, как аист клювом, щелкнула щеколда, отскочили наружные двери, и Данило приподнялся на локте, еще не в силах отделить сон от яви. Он слышит в сенях шуршание, затем распахнулась дверь и в хату вошли две женские фигуры. Данило хочет окликнуть их, но что-то перехватило дыхание, отняло речь, и только мысленно обращается он к ним и ощущает, как радость охватывает его: в лунном сиянии увидел те волосы, что дозревали на его руке.

— Посидим, Яринка, перед дорогой,— сказала Мирослава и села возле окна.— Как-то тебе будет в том городе?

— Завтрашний день покажет. Сагайдак сказал, что в управе есть верный человек. Вот если все обойдется, стану я и хозяйкой кафе, и шинкаркой в нем.

— Ой, как это страшно,— вздохнула Мирослава.— Мы будем среди своих, а ты среди чужих.— И вдруг испуганно поднялась.— Вроде кто-то приходил сюда.

— Наверное, мой дедусь.

— Так почему же он поставил чеботки на завалинке?

— Мирослава, не бойся, это я.— Данило так тихо сказал, что и сам едва расслышал свой голос.

— Ой! — одновременно вскрикнули Мирослава и Яринка, рванулись к двери и остановились.— Кто это?

— Не узнали? — хочет усмехнуться Данило, да что-то и усмешку, и голос сдавило ему.

— Данило! Данилко! — вскрикнула Мирослава и, не то смеясь, не то плача, бросилась к нему.

— Неожиданно, зато эффектно,— вставила Яринка, блеснув своими театральными познаниями, засмеялась, подошла поздороваться к Данилу, а потом произнесла известную реплику: — Мавр сделал свое дело — мавр может уйти,— и выскользнула из хаты, неизвестно почему вытирая рукой ресницы.

Данило обнимает Мирославу, подводит ее ближе к залитому лунным светом окну.

— Ты? — и сам понимает, что трудно задать более нелепый вопрос.

— Я, Данилко,— улыбается, и вздыхает, и всхлипывает одновременно Мирослава.— Пришел?

— Пришел. Сколько думалось об этой минуте,— и поднимает ее на руки, прижимает к себе.

— А сколько дней и ночей я высматривала тебя и возле хаты, и возле брода.

— Но где ты ходишь по ночам? Так перепугала.

— Вправду? — тихонько, по-детски, засмеялась Мирослава.— Тебя — и перепугала?

— Ну да. Так где бродишь по ночам, да еще с карабином?

— Мы только что из партизанского отряда Сагайдака. Опусти на пол, тебе тяжело.

— Так ты партизанка?!

— А почему это тебя удивляет?

— Как-то не думал об этом.

— Так сама жизнь рассудила.

— Кто-нибудь еще, кроме вас, есть там из женщин?

— Пока что нет, да и Яринка, наверное, уйдет от нас. Нам отдельную землянку оборудовали, печь из железной бочки поставили, а в гильзах от снарядов горит огонек и стоят цветы... Данило, родной! Никак не верится. Похудел, побледнел. Верно, был ранен?

— Да был.

— И куда? — вскрикнула Мирослава.

— В одно счастливое место — недалеко от сердца.

— Он еще и смеется.

— Потому что уже прошло. А как ты чувствуешь себя? — Спросил, тревожась, думая о той тайне, которая волнует каждого отца.

— Мы хорошо чувствуем себя,— и уткнулась головой в его грудь.

— Спасибо, милая, спасибо, любимая,— целует ее, целует ее пшеничный сноп, который теперь пахнет не маттиолой, а лесом и дымом.

На какое-то мгновение она замерла возле него, а потом, встрепенувшись, глянула в окно.

— Светает, Данилко, нам скоро надо в леса. Я пришла за одеждой и сапогами.

— Меня возьмешь с собой?

— А как же! Сагайдак будет рад.

— Ты откуда знаешь?

— Потому что он несколько раз спрашивал и говорил о тебе. У тебя есть какое-нибудь оружие, потому что у нас без него не принимают в отряд?

— Вот так и говорили они о любви,— печально улыбнулся Данило.

— Что поделаешь, любимый, если война... Собирайся, Данилко, а то уже просыпается калиновый ветер...

— И в броде утки расклевывают ночь,— повторил Данило те слова, которыми Мирослава часто встречала их рассветы...

XX

Утренний лес, утренние клубы шумов, утренние нетронутые слезы росы, что в предосенье пахнут вином, и первый всполох солнца на косах Мирославы, и стучащее сердце: а как его встретят здесь? В тревоге сходится и расходится водоворот мыслей, они то поднимают тебя на крыльях, то жалят, словно шершни.

— Волнуешься? — догадывается Мирослава, что беспокоит Данила, и слегка прижимается к нему плечом, в которое вдавился ремень карабина.

— Беспокоюсь.

— Все, любимый, будет хорошо,— осветила его таким взглядом, какого, верно, ни у кого в мире нет.

Вот тебе и хрупкая вербочка с карабином на плече, вот тебе твоя верная судьба.

— Было бы это к добру.— Данило невесело подсмеивается над собой, а в мыслях то встречается с Сагайдаком, то сражается с врагами, ведь для этого и в снах, и наяву спешил сюда. Тут он не пожалеет ни своих сил, ни фашиста, будь проклят он!

— Вот и подошли к нашему жилью! — остановилась, повернулась к нему Мирослава.— Я к своей землянке сразу привыкла. И днем, и ночью лес наполняет ее своим шумом. Проснешься от него — да и вспомнишь и свои поля, и татарский брод, и калиновый ветер.

Данило улыбнулся.

— Ты и сейчас такая, будто из калинового ветра вышла.

— Нравлюсь тебе? — спросила будто с насмешкой и потянулась к нему.

— Самая лучшая в мире.

— Не разбрасывайся так мирами... Нам близнецы в землянку петуха бросили, не петух, а пучок огня. Ему не с кем драться, так он вскидывается на каждый звук лесной птицы.

Неожиданно тихий оклик:

— Стой! Руки вверх! — и сразу же веселый смех.

Из-за деревьев плечом к плечу выходят с оружием в руках Роман и Василь, высокие, стройные, буйночубые, они идут между деревьями, как боги леса, а за ними двумя тропинками темнеет трава, стряхнувшая росу.

— Вот же зловредные, непременно надо им напугать! — деланно хмурится Мирослава.— И кто вас научил так маскироваться?

— Секрет партизанской фирмы.— Близнецы здороваются с Мирославой и Данилом.— Вот и вы прибились к нам.

— Прибился,— волнуется и даже завидует близнецам Данило.— Не прогоните?

— Такое скажете в воскресенье! — искренне удивляется Роман, которого Василь почему-то называет старшим.— Побудьте тут, я пойду к Сагайдаку, потому как порядок есть порядок.

Он незаметно исчезает в тенях, в шумах, в деревьях, а за ним идет Мирослава — даже ей нельзя стоять возле дозорного.

— У нас командир не терпит беспорядка,— поясняет Василь, приглядываясь к лесу и дороге, которая и в колеях уже заросла травой — давно, видно, не ездили по ней.— Попытался кое-кто своевольничать, да потом краснел, как рак, перед всем отрядом. А одного индивидуума, что очень рвался к власти, выгнали из отряда. И недаром — он уже пристроился в церкви дьячком. Святые куличи, говорит, брюха не разрывают. Что вы на это скажете?

Данило слушает и не слушает Василя: мысли идут вразброд, а минуты тянутся, словно вечность. Кажется, не дни, а годы ждал он часа этой встречи. А разве не годы? Ведь еще с детства, живя романтикой книг и живых рас-

сказов, не раз видел себя партизаном. Вот и должен теперь делом доказать, на что способен.

Между кудрявыми дубами показались Сагайдак и Чигирин. Забывая все, Данило на какое-то мгновение застыл, а потом бегом бросился к ним и растерянно остановился.

— Проворный! — приветливо улыбается ему Чигирин.

— А он всегда был проворным,— Сагайдак говорит так, будто они расстались вчера, и обнимает Данила.— Здравствуй, здравствуй, голуба.

— Доброго утра вам! Доброго утра! — переводит дух Данило и чувствует, как защипало в глазах.

— Будто обрадовался? — лукавит Сагайдак и, подбадривая, хлопает его рукой по плечам, сбрасывая с них какую-то часть тревог.

— Обрадовался, Зиновий Васильевич. Так думалось об этой встрече, так хотелось найти партизан.

— Вот и нашел — и партизан, и... партизанку. Ты к нам в гости или насовсем?

— Насовсем, коли примете.

— Примем, если будешь бить фашиста, а не отсиживаться в лихую годину,— сказал Сагайдак то ли в шутку, то ли всерьез.

— Буду бить, Зиновий Васильевич! Хоть сейчас в самое пекло посылайте.

— Не спеши, будет еще и пекло. Теперь оно не сказка,— нахмурился, насупил брови командир.— Бил Марко [1] чертей в пекле, должны и мы бить. Что же, пойдем в наше жилище. Вижу, ранен был?

— Уже поправился. Руки-ноги со мной.

— Ноги у нас нужно иметь заячьи, а душу орлиную,— щурится Чигирин.

В землянке все трое сели за стол, покрытый не скатертью, а немецкой картой с нанесенными на ней какими-то знаками. Данило сразу нашел на ней и свой райцентр, и свое село, и леса, и болото, в центре которого также было обозначение. Не там ли, где когда-то ночью ему послышалась журавлиная труба? Чем же заинтересовало болото Сагайдака? Не знал Данило, что там Стах Артеменко уже оборудовал землянку для раненых партизан. Сагайдак, глянув на облезлую винтовку Данила, неодобрительно покачал головой, а затем спросил:

— Как воевал в армии? Какую имеешь специальность?

---

[1] Марко — персонаж украинского фольклора.

— Моя специальность — подрывать железные дороги, станции, мосты.

— Даже мосты?! — оживился и будто не поверил Сагайдак.— Вот именно над этим мы больше всего и мозгуем,— и положил руку на плечо Чигирина.— Да великую бедность испытываем — взрывчатки нет, детонаторов тоже. Два поезда кое-как пустили под откос голыми руками.

— Как это голыми руками? — не поверил Данило.

— Самодельными лапами посрывали костыли, немного раздвинули рельсы — вот и вся наша техника. Что ты скажешь на это? — И с надеждой посмотрел на Данила.

— Сказать можно только одно: эту технику надо усовершенствовать.

— Но как? — Чигирин даже поднялся с чурбана, на котором сидел.— Нет у нас ни грамма взрывчатки.

— Может, где-нибудь поблизости видели невзорвавшуюся авиабомбу?

— Такое лихо найдется! — обрадовался Чигирин.— Одна под самой дубравой хвост показывает. Только как ты доберешься до ее внутренностей?

— Это дело немудрое: вывернем капсюль-детонатор, обшивку разгрызем зубилом, и тогда можно спокойно резать тол для самодельной мины.

— Все это так,— закивал головой Чигирин.— А она, подлая, под зубилом не взорвется?

— И такое может быть. Все в руках божьих,— усмехнулся Данило.

— Он еще и посмеивается,— и Чигирин вытер рукой лицо.— Даже в жар бросило. Наша техника была очень отсталой, а твоя страшная.

— Пока другой не имеем.

— Вот и ду́май, дума́й, как переплыть Дунай,— тряхнул седыми кудрями Сагайдак и словно с сожалением посмотрел на Данила.— Уже будто и запахло взрывчаткой. А где теперь достать детонаторы?

— Чего не знаю, того не знаю. Правда, у меня случайно сохранилась одна запальная трубка, самодельная.

— Как это самодельная? — оживился Сагайдак.

— Мы так делали у себя: в детонатор вставляли кусок бикфордова шнура, для надежности зажимали плоскогубцами, потом к бикфордову шнуру еще привязывали кусочек пенькового. Вот поглядите,— и Данило вынул из торбочки запальную трубку.

Сагайдак взял ее так, будто это была драгоценность, пристально осмотрел ее, покрутил в руках и вернул Данилу.

— Что ж, помогай, доля, да защити от недоли. Спасибо, хоть это добро завалялось. Голодный?

— Нет.

— Тогда сразу же за авиабомбой!

— Может, хоть позавтракаем? Как же натощак ехать? — возмутился Чигирин.

— Легче будет коням и колесам.

— Ну, Тарас Бульба! Если ехать, так ехать! Что, Данило Максимович, надо брать с собой?

— Добрых коней, лопаты, веревки, плоскогубцы, напильник, зубило и молоток. Кажется, все,— обрадовался Данило, что сразу же для него нашлась партизанская работа. Хотя, если подумать, невелика эта радость — возиться с бомбой. И как об этом сказать Мирославе? Оно бы лучше не говорить о таком, зачем вызывать тревогу и слезы? А если случится с ним непоправимое? Может, сегодня и дыма не останется от тебя... И жаль стало вдруг белого света, своей жизни.

Он нашел Мирославу возле девичьей землянки. «Как, милый?» — не голосом — глазами спросила и потянулась к нему.

— Все хорошо. Уже и дело есть.

Мирослава грустно посмотрела на него:

— Нелегкое?

— Чтобы очень, так не очень...— «Все-таки нашел, как сказать»,— и рукой бережно коснулся ее стана.

Но Мирослава что-то почувствовала, и голос ее стал по-матерински низким, как в час их первого прощания:

— Береги себя, Данилко, береги...

— Постараюсь,— с беззаботным видом ответил Данило.— Как потяжелели твои волосы.

— Потому что выпала роса,— покачала головой Мирослава.— Роса войны.

Данило же снова вспомнил о своем:

— Вот так они и говорили о любви...

По самый стабилизатор вошла в землю та бомба, которой целились в дорогу. Упала она недалеко от нее, возле дубравы. Данило и близнецы покружили возле бомбы и взялись за лопаты. Чернозем с травой полетел во все стороны, обнажая металлическое тело.

— Тучная у нас свинка,— пошлепал рукой бомбу Василь.

— Летела она вниз, а не полетим ли теперь с нею вверх? — шутит Роман и пристально смотрит на Данила.

А разве он знает, что будет потом? Однако успокаивает хлопцев:

— От ее начинки полетят в преисподнюю враги,— и приникает ухом к обшивке.

— Что ж она может сказать?

— Многое может сказать, если в ней лежит чертова машинка.

Василь бледнеет, а Роман улыбается. С чего бы?

Когда бомбу сообща повернули набок, Данило отогнал подальше от ямы близнецов, а сам примостился возле нее и принялся вывинчивать капсюль-детонатор. В ход пошли напильник и плоскогубцы. Обезвредить бомбу удалось быстрее, чем ожидали, и он начал заарканивать ее веревками. Затем Данило выскочил из ямы, кликнул близнецов, чтобы привели коней. Братья подъехали на своих красногривых, осадили их назад, к бомбе, и проворно начали крепить веревки, что тянулись от бомбы до валька. Ретивые кони выхватили смертоносный груз и, перекатывая его по траве, потащили в лес. На поляне бомбу освободили от веревок. Данило подошел к возу, на котором сидели Сагайдак и Чигирин, взял из сундучка молоток, зубило и сказал:

— А теперь на всякий случай отъезжайте подальше от нашей игрушки.

— Только осторожнее, хлопче,— умоляюще посмотрел на него Чигирин.

— Буду стараться.

Данило подошел к близнецам, которые уже уселись на бомбе, словно на бревне, и курили самодельные цигарки.

— И вы, хлопцы, подальше от этой беды.

— Как это подальше? — удивился Роман.— А кто же у вас будет молотобойцем?

— Я,— коротко ответил Данило.

— Но для чего вам столько славы? Примите меня хоть поденщиком к ней,— и в улыбке показал все зубы.

— Иди, Роман, не морочь голову.

— Вот уж такого никогда не ожидал от вас. Пойду жаловаться Мирославе.

Когда близнецы отошли к возу, где сидели Сагайдак и Чигирин, Данило приложил зубило к бомбе, чтобы разрубить ее поперек, и слегка ударил молотком. Зубило

скользнуло, а на железе остался шрам. «Молчишь?» — прислушался к бомбе. Еще удар, еще сильнее — и зубило пробивает металлическую обшивку. Неуверенная улыбка пробежала по его лицу. Теперь легче было распарывать одежду бомбы, увереннее действовали и молоток, и зубило, а крошки тола начали высыпаться на траву. Вот что им сейчас дороже золота! За работой Данило не заметил, как к нему подошли Сагайдак, Чигирин и близнецы.

— Как оно? — спросил Сагайдак.

— Скоро из одной бомбы будем иметь две миски с толом,— ответил Данило и вытер со лба капли пота.

Сагайдак присел на корточки возле бомбы, нашел на траве сухую ветку, разломил ее на четыре части — три воткнул в землю, подравнял, а четвертой накрыл их и покосился на Данила.

— Догадываешься, хлопче, куда вода течет?

— Вода, наверное, течет под мост,— в тон ему ответил Данило.

— Догадливый! Так вот, этот мост не дает мне покоя.

— Все человеку не дает покоя,— осуждающе заметил Чигирин.— И черный шлях, и железная дорога, и мост, и ненавистный Безбородько, и круговая оборона возле землянок. Ночью тайком сам берется за лопату.

— Хватит уже, Михайло Иванович,— поморщился Сагайдак.

Данило улыбнулся ему:

— Мы, товарищ командир, позаботимся о вашем покое.

— Вот в это «мы» и меня потихоньку всуньте,— напомнил о себе Роман.

Тихо-тихо поскрипывают колеса, тихо-тихо снуют возле коней да возов партизаны. Уже отлетели от них лесные шумы, приближаются говор речки, шелест камышей, тревога дикой птицы и калиновый ветер. Данило в темноте находит калиновую гроздь, засовывает за ремешок картуза — пусть будет вместо партизанской ленточки.

Раздвигая кусты ивняка и калины, кони входят в брод, припадают к воде, а люди торопливо снимают с воза и осторожно опускают на речку небольшой плот, на самый его край ставят самодельную мину, прижимают ее доской и крепко скрепляют с плотом, будто это придаст бо́льшую силу взрыву. Лучше было бы знать, в каком быке имеется толовая ниша, тогда бы сработала детонация, но, не зная

этого, приходится действовать наугад. Данило еще раз проверяет, как прикреплена мина, поднимается и шепотом говорит Сагайдаку:

— Кажется, все в порядке.

— Ну, счастливо вам!

Даже в темноте заметно волнение на лице командира. Сагайдак обнимает Данила и Романа, а те осторожно выталкивают плот на более глубокое место. Вода набирается в сапоги, обжигает тело, дрожью подкатывается под самое сердце.

— Не только душу, но и сапоги лихорадит. Душа еще выдержит, а сапоги, наверное, порвутся,— улыбаясь, шепчет Роман.

— Если кирзовые, порвутся, юфтевые — выдержат,— в тон ему отвечает Данило, и у Романа еще шире растягивается рот.

Под звездами тихо всхлипывает вода и корешком вьюнится за плотом. Спросонок откликнулись утки, всплеснула рыба, остался в стороне куст, от которого повеяло татарским зельем. От холода сводит тело и зубы отбивают чечетку. Не догадались, глупые, выканючить у Чигирина чарку первача. Вот и очертания моста, что повис над рекой и останавливает туман. Глубоко ли у среднего быка? Как бешеный, рассыпая искры, по мосту прогрохотал поезд, и снова всхлип воды, и дремота клочьев тумана, и лихорадка во всем теле.

На мосту послышались шаги. Две тени сошлись посередине, постояли и разошлись. Роман с головой бултыхнулся в воду, всплыл, отплевался и уже улыбается Данилу: «Помыл и голову». Откуда у него и теперь берется сила для усмешек?

Из нависшего тумана они подходят к среднему быку. Под ними бурлит стремнина, над ними грузно топают сапоги охранников. Роман двумя веревками крепко привязывает плот к быку. Данило склоняет голову над плотом, снимает картуз, осторожно вынимает из него пришпиленную запальную трубку, на ощупь вставляет в гнездышко мины капсюль-детонатор, берет из рук Романа кремень, кресало и трут.

— Плыви, Роман. Я теперь один справлюсь.

Хлопец отрицательно покачал головой:

— Только вместе. Зажигайте.

Снова на мосту сошлись охранники, перемолвились несколькими словами и начали расходиться. Пригнувшись, чтобы телом прикрыть крохотный огонек, Данило ударил

кресалом о кремень раз и другой. Брызнули искры, затлелся, медово запа́х трут. Партизан тут же приложил его к пеньковому шнуру и погасил. Огонь охватил десятки волоконец пеньки, а подрывники, стуча зубами от холода, тихо поплыли на левый берег. Но не успели они добраться до него, как их настигла гигантская вспышка, а потом неистовый гром подхватил могучими руками и люто швырнул в воду. Обессиленные, оглушенные взрывом и резким запахом перегорелого тола, они, пошатываясь, побрели к берегу и упали на него. Из кустов ивняка и калины к ним бросились побратимы, поднимая и целуя их.

— Молодцы, хлопцы, молодцы,— смеется, обнимает Данила и Романа Сагайдак.

С их одежды стекает вода, а они только глазами водят и подставляют то одно, то другое ухо, не в силах ничего понять.

— Что с вами?!

— Не слышим, ничего не слышим,— невнятно шевелит непослушными губами Данило, но не печаль, а радость, радость исполненного долга ощущает в себе, еще и подшучивает над собой: «Вот дурень, всадил весь тол в одну мину. Его бы, верно, и на два моста хватило».

— Уши словно лепешки стали. Была бы начинка, можно и вареники лепить,— объясняет Роман Саламахе, который подает ему сухую одежду.

— Сделано хорошее дело! — садясь на воз, весело говорит Сагайдак Чигирину.— Теперь Данило начнет сколачивать подрывную группу. Тол уже есть, а вот где разжиться детонаторами?..

Детонаторы же как по заказу появились в отряде — и раньше, чем думалось. На следующий день под вечер к партизанам на конях примчались хлопцы из подпольной группы села Красное. Дольше оставаться в селе хлопцам было небезопасно. Сагайдак поздоровался с ними и, как всегда в таких случаях, задал первый вопрос:

— Оружие есть?

— Есть,— ответил руководитель подпольной группы Ивась Лимаренко, у которого чуб поднимался на ветру, словно крылья. Из кармана он вынул наган, а из торбы ящичек, который внутри был, будто соты, наполнен детонаторами.

— Так это же сокровище! — Сагайдак взвесил ящичек на руке со шрамом, даже для чего-то понюхал детонаторы.

— Кому сокровище, а кому смерть,— тряхнул чубом Ивась Лимаренко, а его хлопцы радостно улыбнулись.

Сагайдак прищурившись посмотрел на них, на лошадей, на которых прискакали хлопцы, и, не то подбадривая, не то подсмеиваясь, сказал:

— Орлы, ничего не скажешь,— и покачал головой.

А «орлы» и не знают, гордиться им или смущаться. Чувствуя, что Сагайдак что-то таит за похвалой, Лимаренко гордо, с вызовом посмотрел на него:

— Хлопцы славные, на деле проверенные.

— Я тоже так думаю,— согласился Сагайдак.— И хлопцы хорошие, и чубы у всех словно аистиные гнезда, и ноги обуты, а вот кони босые. Может, потому, что у них не копыта, а ступы? Помню, хороши были скакуны в Красном, да, верно, гарцуют на них полицаи и староста.

Хлопцы сразу поскучнели, а Лимаренко заволновался:

— Мы взяли, что было под рукой.

— Эге ж, эге ж,— снова согласился Сагайдак.— Но лучше было бы брать то, что должно быть под ногой, тогда можно было бы и врагов догонять, и, когда надо, отрываться от них, а не плестись в обозе.

— Не смейся, батько! — как Остап в прославленном произведении Гоголя, бросил Лимаренко, поднял голову на своих орлов и подмигнул им.

Хлопцы метнулись, вскочили на своих непородистых, гикнули, свистнули и помчали из леса.

— Ненормальные! Куда же вы?! — крикнул старый Чигирин.

Ивась Лимаренко вздыбил своего коня и насмешливо бросил:

— За подковами и гвоздями-ухналями.

А Сагайдак, усмехаясь, повторил его слова:

— Хлопцы славные, боевые, проверенные. С такими не замерзнешь!

XXI

В предвечерье туманилось дремотное солнце, туманились сентябрьские васильковые дали, а тут, на заброшенном хуторке, падали в траву яблоки и опоясанный стрелами камыша ставок ярился вишневыми красками увядания. В камышах плескались утки, на плесе всплескивала рыба, над плесом сновали крестики толкунчиков, а за плесом журчал невидимый ручеек. Как и прежде, падают яблоки, всплескивает рыба, покоем дышит сентябрь, очищаются воды.

Ничто на хуторе не напоминало о войне, о человеческих страданиях. Вот если выйдет, как задумал, здесь он и поселится — перевезет хату из села, только оставит на старом месте скифских да половецких каменных баб: пусть кому-то воют. И почему они озлились на него? Может, потому, что перебил им туловища и ноги? Тьфу! Как можно поверить, что и камень живет. А возле хаты он построит хмелярню, потому что хмель при всех властях хоть и дурманит головы, а в цене не падает.

Еще раз оглянувшись на село — нет ли посыльных из управы,— Магазанник ставит ногу на гнилое бревно, по нему добирается до крохотного вербового челна, разматывает удочку, поглядывает на желтое взлохмаченное солнце, а сам все думает о хуторке, что стоит обметанный прозолотью верб, зеленым дыханием отавы и «бабьим летом». Тут хорошо растут трава и отава. Вот бы, забыв все войны, пройтись с косой, услыхать звон и перезвон ее, наметать душистых копен, набрести на шмелиный мед и усталым прийти домой — не грешником, а хозяином, которого ждут женская верность и доброта. Да все это уже не для него: попался в чертову упряжь, как жаба в тенета,— ни взад, ни вперед... И тут, на хуторке, страх догнал его, хотя и убегал Семен от него из села.

Вздохнув, наживил крючок кусочком вареной картошки и забросил удочку под стрелы камыша, которые и не журились, что уже миновали проводы лета. Поселись здесь и живи в одиночестве, как отшельник. Он нисколечко не боялся одиночества, пугали только бешеные весы войны: что они отвесят каждому из нас?

Теперь взгляд и мысли Магазанника останавливаются на белом, из гусиного пера, поплавке, который тоже может дать какую-то отраду и усыпить невеселые мысли.

Над самой водой пролетел белобровый перевозчик, а из камышей тихо-тихо выплыла молодая утка; она настороженно повела точеной головкой, успокоилась и вышла на чистоводье; за ней, будто намалеванные, вьюнятся вишневые волночки. Через год эта утка прилетит из дальних теплых стран на этот же самый ставок, снесет с десяток зеленоватых яиц, выведет утят... А что через год будет с тобой? Тьфу! Только одно и долбит мозг, знать, повернуло время не на жизнь, а на смерть.

«Зи-зи!» — пискнул перевозчик, перелетая с одного берега на другой. На темных крыльях птицы четко выделялись белые полоски. А вот «векнул» бекас и стремительно взлетел вверх. Когда-то, еще при жизни его отца, тут иног-

да и зимовали эти длинноносые птицы. Какого только дива нет в природе! Вот недавно Рогиня, что под пьяную руку проклинает свою новую должность, Безбородько, а заодно и судьбу, рассказал, как один старый врач лечит безнадежно больных раком. И чем? Осенним потаенным грибом; показывается он из земли только на один день, а возвращает человеку годы...

«Зи-зи!» — снова пропищал перевозчик.

Что ты перевозишь с берега на берег и понимаешь ли хоть что-нибудь в теперешних сумерках?

Качнулся — дерг-дерг — поплавок и вдруг, обрывая что-то возле сердца, исчез в вишневой воде. От неожиданности Магазанник забыл подсечь, просто дернул удилище — и сразу почувствовал вес рыбины, которая рванулась к камышам. Погоди, погоди! Так ты сразу порвешь леску! Староста осторожно выводит рыбину на чистоводье, изматывает ее и немного погодя подводит к челну. «Жаль, что не захватил сачка. Кто бы мог подумать, что в таком ставочке неистовый Бондаренко разведет вон каких карпов. Где он теперь — воюет или, может, отвоевался?..» Еще движение руки — и из воды поднимается трепетный золотой слиток. Ей-богу, пара килограммов будет! Сорвется или не сорвется? Пружинит, в дугу гнется гибкая орешина и опускает рыбу в челн. Словно хищник на свою жертву, набрасывается на нее Магазанник. Темным, со скрытым солнцем, укором смотрит на него рыбина и задыхается в сильных руках.

Возле камышей встрепенулась, взлетела в небо уточка, за камышами забулькал довольный смешок:

— Пофортунило, пан староста!

— Пофортунило-таки,— разгибается Магазанник, сначала ловит взглядом серые птичьи крылья, а затем брюквоподобную голову жуликоватого полицая Терешко, который раскорячился на опрокинутом челне и посмеивается. Губы у него лоснящиеся, толстые; от него всегда смердит самогоном, ведь при новой власти Терешко не протрезвляется.

— А тут, пан староста, еще и покрупнее есть карпы. Даже десятифунтовики! — лениво усмехается и лениво покачивается выпивоха.

— Десятифунтовики? — отцепляет Магазанник карпа, тот напрасно трепещет золотом чешуи и звонко бьет хвостом по влажному днищу челна.— Ты откуда же знаешь?

— Ловил втихую в мирное время. Поймаешь в сумерках такого красавца — и поплетешься к своей полюбовни-

цо. А та уже знает дело,— гогочет Терешко, раскачивая лодку и живот.

— Теперь не ловишь?

— Сейчас нет интереса ждать ее на крючок, потому как можно толом или гранатой глушить, вставишь запал — и рви! Премилое дело — убивает все до макового зернышка. Как вы на это?

Магазанник обозлился:

— Я тебя, неотесанное бревно, как глушану по огузку, так сам оглохнешь! Гляди мне!

Но Терешко не очень пугается угрозы и снова гогочет. «Дурня и по смеху узнаешь».

— Не думаете ли, пан староста, этот ставочек к своим рукам прибрать?

— Таки думаю.

— Тогда надо партизанскую голову искать, теперь они как раз в цене,— скалит выщербленные зубы Терешко.

— А ты откуда же такой веселый свалился? Опять волочишься за какой-нибудь молодухой?

— Да нет, из крайса приплелся. Ходил за семь верст киселя хлебать.

— Что-нибудь новое есть?

— В крайсе или... вообче? — нарочно вставляет то словцо, которое прилепилось к Магазанникову Стёпочке.

— И вообще, и в крайсе.

Терешко пятерней стирает с лица веселость, оттопыривает губы.

— Возле девичьего брода Лаврин Гримич уже который день раскапывает старинный курган. И что вы думаете? Нашел-таки в нем не только черепки, но и какие-то украшения и даже золото.

— Правда? — застывает Магазанник, а в мыслях начинает ругать себя: «Ты тут, дурень, на карпиков позарился, а кто-то золотом разживается».

— Правда. Сам видел эту диковину.

— А чьи же головы были на червонцах — нашего или не нашего царя?

— Чужого, древнего, с бараньими кудрями.

— Тогда на них и цена должна быть меньше.

— Это уж какой покупатель случится.

Зависть омрачает лицо Магазанника.

— Почему это Лаврин золото добывает, а не в общественном хозяйстве работает? Или он делает подношения его председателю?

— Видать, чем-то задобрил того норовистого. Спросил его об этом, а он и уел меня: «Лаврин из могил выкапывает добро, а кое-кто закапывает в могилы людей». Поговорите после этого вы с ним, научите его уму-разуму.

— Наверное, придется-таки. А что слышно в крайсе?

— Есть новые бумаги гебитскомиссара и начальника полиции Блюма о партизанах. Надо расклеить в селе на видном месте. Только боюсь, как бы не вышло посмешища из-за бумаг Блюма.

— Людям теперь как раз до смеху,— наживляет Магазанник крючок.— А ну, почитай.

Терешко вытирает рукой губы, будто с них можно стереть водочный перегар, вынимает из командирского планшета какие-то бумажки, подходит ближе к старосте.

— Вот послушайте эту диковину,— и заранее начинает давиться смехом.

— Так смешно?

— А думаете, нет? Так я читаю: «Обращение! Со всей ответственностью обращаюсь к партизанам, что действуют в нашей области, и призываю их, пока не поздно, взяться за ум: сложить оружие и сдаться. За это мы даем гарантию, что никого не тронем, всех устроим на службу с большой оплатой. Кроме денег, каждому партизану ежедневно будем выдавать 50 граммов масла, 4 яйца и по одному килограмму хлеба. Начальник полиции Блюм». Га-га-га!..— и у Терешко от смеха затряслись щеки и живот.

— Ты чего гогочешь?

— А какой же дурак за четыре яйца подставит свою шкуру? И сам не знаю, как вешать эту срамоту.

Магазанник долго смотрит на Терешко, а потом осаживает его:

— Буйная у тебя чуприна, да ум лысый. Ты спрячь свое недомыслие в такой закоулок, чтобы и сам завтра не нашел. Услышит кто-нибудь твою болтовню, так сразу загремишь в гестапо в гости. Там уже будет не до шуток.

Веселость сошла с лица полицая, и оно затвердело, как кора.

— Что же сразу умолк?

— Да разве ж я не знаю, кому что сказать? — отвечает Терешко с угодливостью подлизы.— А перед кем-то и помолчу, потому как теперь главное — день передневать. А что присматриваете себе хуторок, за то хвалю. Это состояние! Взять бы его в старых межах вербовым плетнем, поставить хоромы, почистить сад, привезти ульи — и живи кум королю: занимайся пасекой да на уху приглашай хо-

роших гостей. Я вам, если захотите, плетень словно вышивкой разошью,— так и стелется перед ним хитрец.

Магазанник помрачнел:

— Это все хорошо было бы, Терешко, если бы не война.

— О! А вам чего сушить голову войной, если немцы уже хвалятся, что Москву взяли? Это нам, полицаям, хуже, потому что нас жандармский мотовзвод на партизан гонит. Вот на той неделе пришлось удирать от них так, что чуть было пятки не потеряли,— помрачнел Терешко, и помрачнел хмель в его буркалах.

И хоть какой недалекий Терешко, да его разговоры были той последней каплей, что до конца размыла сомнения Магазанника. Нет уже на свете силы, которая победила бы немецкое войско... Вишь, оно уже и на Индию нацелилось!.. А что с нами будет потом!

Ох эти тревожные мысли! Магазаннику уже и рыбу ловить расхотелось: нигде теперь не скроешься от дьявольского времени. Он еще раз поглядел на хуторок, на отаву, что начала прорастать холодом, вздохнул. Вовремя бы сюда перебраться. Так и старосте не дадут такой дармовщины! Теперь только за пойманных партизан наделяют землей. Магазанник бросает взгляд вдаль, где тополя врастают в небо и вечер опускается на землю, прикидывает: засветло ли идти домой или дождаться темноты и заглянуть к какой-нибудь крале. Примет или не примет, попытаться можно.

— А не прочитать ли вам, пан староста, объявление гебитскомиссара? — хочет как-то подластиться Терешко и снова лезет в планшетку.

— Читай, если есть охота.

Полицай вынимает смятую бумажку, откашливается, морщит лоб:

— «Параграф первый. Каждый бургомистр, то есть староста села, обязан арестовать через местную полицию и передать полиции СД каждую мужскую особу из чужой местности.

Параграф второй. Всем местным особам запрещается давать приют или скрывать мужские особы из чужих местностей.

Параграф третий. В каждом случае, если обнаружится, что какая-то мужская особа находится без разрешения, вся семья, что дает таким приют, будет караться смертью.

Параграф четвертый. Это же самое наказание будет применено к тому бургомистру — старосте села, который не последует немедленно требованию параграфа первого».

— Утешил,— насупился Магазанник.

— Утешения тут мало,— согласился Терешко,— но в голове эту бумажку надо держать, так как чужие мужские особы у нас тоже есть.

— А где их теперь нет?

— И это правда,— морщится Терешко и лезет рукой к затылку, а погодя кланяется: — Так бывайте.— Он с почтением поднимает картуз, а из-под него рассыпается лохматая чуприна.

— Куда же ты? На колокольню?

— Да нет, к своей полюбовнице. На отдых, а то из-за глупой головы три ночи подряд не спал.

К ставочку с лопатой на плече подошел Стах Артеменко. Он хотел миновать старосту и полицая, но Магазанник, о чем-то подумав, вылез из челна и остановил его:

— Откуда, Сташе?

— Откуда же? Картошку копал до изнурения.

— Свою?

— Да нет, общественного хозяйства,— вздохнул тот.

В глазах старосты вспыхнуло подозрение:

— Слушай, а почему тебя красные не взяли в армию?

Стах удивленно таращит глаза на старосту:

— Разве вы не знаете?

Магазанник недоверчиво смотрит на него:

— Не знаю, а думаю разное.

— Вольному воля, а спасенному рай.

— Так почему?

— А кто же меня когда-то ни за что ни про что в тюрьму запрятал? — злится Стах.— Вот из-за этой тюрьмы и не стало ко мне доверия. Еще есть вопросы?

— Тогда, выходит, ты мне должен быть даже благодарен за прошлое,— успокаивается староста.— Кто знает, где бы ты скитался теперь, если бы не я?

Стах что-то буркнул, повернулся и быстро пошел к селу. Рассердился. Только с чего бы? Магазанник снова берется за удочку, а в это время на дороге появляются с лопатами и кошелками женщины, которые тоже копали картофель. Магазанник равнодушно поглядывает на них, и неожиданно испуг и удивление пронзают его. Не привиделось ли? Он замигал глазами, вскинул брови на середину лба, но видение не исчезло: в толпе с женщинами почему-то шла Мария, держа за руку Оленку. Как они и почему появились тут? Староста бросает удилище и быстро, не спуская глаз с Марии, направляется к женщинам.

— Добрый вечер вам.

— Кому добрый, а нам нет,— отозвался из середины чей-то голос.

— Закончили копать? — пытается Магазанник перехватить взгляд Марии и наконец перехватывает зеленые лезвия презрения и ненависти. Даже жутко стало: откуда столько злобы в таких привлекательных глазах?

Он остановился на краю дороги, а женщины, сторонясь его, молча пошли полем, что уже облачалось в вечерний наряд. Была когда-то у человека любовь, а теперь осталась одна ненависть. В прескверном настроении он подходит к челну, сматывает удочку, прячет ее в камыше, бросает в торбу карпа и быстро направляется в повечеревшее село. Можно было бы наведаться к Лаврину, да кто знает, что ждет в той хате, из которой подались в партизаны близнецы. Еще нос к носу встретишься с ними.

Большое у них село, да некуда деть себя, свои терзания и распри с самим собой, не с кем заглушить их горилкой или любовью. Никто раньше не мог успокоить его лучше, чем Василина, которая в последние годы была для него советчицей и отрадой. Но после того вечера в лесу, после той ссоры, Василина сторонится его и тоже под ресницами держит одну злость. Да время и поладить с нею.

В селе, хотя оно и улеглось на ночь, Магазанник уже не улицами, а огородами да задворками крадется в тот закоулок, где живет Василина, и все думает, как улестить ее. Вот зайдет, поклонится ей, сердечно улыбнется, бросит карпа на скамью и скажет:

«Прости, Василина, если еще гневаешься за глупое слово, а я пришел просить прощения: очень соскучился по тебе, будто целый век не видел».

«И в старой печи черти дымят?» — насмешливо поведет глазами она, просветлеет, зальется обольстительным смехом, зашелестит юбками и горячими устами растопит сумятицу и тревоги... И почему ж он эти уста бросил?

Уже совсем стемнело, когда Магазанник вошел на сонное подворье Василины. Не часто он сюда заглядывал — Василина больше ласкала его в лесах, которые любила во все времена года, даже когда вьюга вышибала из них стоны. А как-то в марте нашла двух зайчат, что замерзали в снегу под кустом. За пазухой принесла их к леснику, бросила за печку, палила в черепок молока. И все-таки выходила их, а потом выпустила на волю. Верно, если нет материнства, то ко всему живому пробуждается любовь.

Он тихо стучит в окно, как и прежде стучал. Но безмолвствует хата и все вокруг нее. Еще сильнее стучат

пальцы по стеклам, отражающим осеннюю печаль. А он и теперь даже кончиками пальцев чувствует жажду встреч. Ох, женщины, женщины, из самого пекла вынесли вы сладкий огонь обольщения. Как только не казнятся из-за него мужчины, казнятся, но не зарекаются.

Наконец к окну припадает искаженное испугом лицо женщины.

— Кто там? — зазвучала дрожь в ее голосе, и задрожали стекла в окне.

— Это я, Василина.

— Чего вам, пан староста, в такую пору? — немного отошла женщина.

— Пусти в хату.

— Я ночью никого не пускаю.

— Какая же теперь ночь? Только стемнело.

— Эге, стемнело! Люди уже давно отдыхают.

— И долго мы через окно будем говорить? — начинает сердиться Магазанник.— Открывай двери!

— Идите, пан староста, домой, все равно в хату не пущу.

— Пустишь! Дело есть! — уже бесится Магазанник и бьет кулаком по раме.— Я тебе сейчас и окна, и двери высажу.

— Будь ты неладен, оглашенный! Как только отделаться от тебя... Сейчас открою.— Василина бежит к дверям, грохает ими, а затем, на пороге, внимательно присматривается к нему и начинает совестить: — Хоть бы людей постыдились. Вон на ваш грохот соседи каганцы зажигают.

— А что мне твои соседи? — у Магазанника сразу спадает гнев, и он обеими руками тянется к женщине, к ее соблазнительно полной груди, что приподнимает белую сорочку.

Но женщина бьет его по рукам и отступает в сени.

— Чего вам?

— Соскучился по тебе, словно вечность не видал.

Василина почему-то облегченно вздыхает и, шелестя юбкой, заходит в хату.

— Чего же ты молчишь?

— Не верится, чтобы вы могли по ком-то соскучиться.

— Если ты прогневалась за какое-то неразумное слово, то извини,— хочет обнять Василину, но она ускользает из его объятий и становится еще желаннее.

— Идите, Семен, домой, не дурите, — выпроваживает она.— Наше уже миновало.

— Почему же это миновало? — Магазанник ошеломленно остановился посреди хаты.

— Потому что все проходит. Был когда-то угар, а теперь развеялся.

— Так, может, хоть повечеряем вместе? Я вот хорошего карпа принес.

— И вечерять не будем, — глянула на него не глазами, а кругами темени.— Отвечерялось наше.

— Ты, может, примака или постояльца приняла? Так и говори! — гневаясь, Магазанник вынимает из кармана свечечку, зажигает ее и настороженно присматривается к женщине: что теперь отражается на ее лукавом лице? Да смотрит он не на лицо, а на волны волос, что обвивались вокруг женского стана; ни у кого он не видел такой роскоши, что соединила колера и ранней, и поздней осени. И зачем он снова потянулся к ней, как в тот давний петровчанский вечер? Так, может, любовь, перегорая, и находит свой запоздалый берег, свои косы, где, подобно разливу, гуляет многоцветье осенних красок и пробивается запах душицы. А как ей хотелось стать матерью, да он опасался колыбели больше, чем могилы... Вот всматривайся в женские соблазны и думай о чем-то недодуманном, ибо и твои года уже предчувствуют свою межу... На каких только весах взвесить все?.. И, наконец, нужны ли весы твоей осени? Да еще такой страшной осени?..

— Не сверлите меня глазами, как буравчиками,— недовольно сказала Василина и погасила трепетный огонек свечечки.

Магазанник встрепенулся, подавил неожиданные сантименты, но в душе так и не нашел путного слова.

— Так есть у тебя примак или полюбовник?

— Не мелите, Семен, глупостей, не сваливайте своих грехов на других.— И насмешка прорвалась в ее словах: — Не потому ли пришли ко мне, что нет теперь охочих навещать старосту?..

— Что ты мне этим старостой глаза колешь? Неужели забыла все, что было между нами?

В голосе Василины послышалось глубокое возмущение:

— А что у нас было, кроме угара и срамоты? Разве ж вы хоть немного любили меня? Только груди каждый раз калечили мне,— коснулась их рукой.— Уходите!

— Пойду, не выпроваживай так скоро,— вспыхнул Магазанник.— Еще гляну, что у тебя на другой половине хаты делается.

— Там только овощи и квашенина.

— А если кого-то скрываешь?
— Придете днем — и осмотрите хату.
Василина не может подавить своей тревоги, а старосту мучает подозрение: что же она скрывает от него? Ох, этот ведьмовский род! Кого он только не обманывал, начиная с Адама...
— Так показывай вторую половину.
— Соленых огурцов да помидоров не видели?
— Посмотрим, посмотрим, какие у тебя помидоры.
— Еще кур прячу в соломеннике.
— В соломеннике? Это ж почему им такая честь?
— Чтобы собачники не добрались до них.
Неожиданно откуда-то, не с чердака ли, послышался протяжный стон. Магазанник вздрогнул, мгновенно выхватил из кармана пистолет, а хозяйка замерла на месте.
— Кто там у тебя?! Кто?!
Василина задрожала.
— Никого нет.
— Не ври хоть теперь! Признавайся! А ну, пойдем в сени.
— Не надо, Семен,— мольба прозвучала в ее низком голосе...— Вот я лучше вечерю приготовлю.
— Вишь когда про вечерю вспомнила! — приходит в бешенство Магазанник.— Теперь обойдемся без нее. Кто у тебя? Комиссар, партизан?
— Разве я знаю?
— А кто тебе подсунул его?
— Сам ночью по огородам приполз. Он тяжело ранен в руку и в грудь.
— В грудь? Вот заберем его в крайс, а там уже разберутся.
— Ой, не надо, Семен! Умоляю тебя, не надо! — заплакала Василина и руками и станом припала к нему.
— Так что ты хочешь? Чтобы твои соседи донесли на меня и я из-за кого-то на виселице качался? — Он оттолкнул женщину, быстро вышел в сени, снова зажег свечку и приказал Василине: — Лезь первая.
— Одумайся, Семен. Зачем тебе этот грех?
— Лезь!
Причитая, вытирая платком слезы, женщина начала подниматься на чердак. На верхних ступеньках остановилась:
— Опомнись, Семен. Не охоться за чужой душой, если и твою могут убить.

— Умной ты очень стала,— подсвечивает ее голые ноги свечечкой.— Вот из-за тебя и не стало бы моей души.

— Кому она, гадостная, нужна,— всхлипывает женщина, поднимается на чердак и уже кому-то несет свои слезы и причитания: — Прости меня, добрый человек, что не спасла тебя... Прощай и прости... Прощай и прости...

Магазанник услыхал чей-то слабый успокаивающий голос и, щурясь, влез на чердак, который, казалось, весь качался в неровном свете восковой свечечки. И лучше бы он не видел того, что увидел: сверла страха сразу вбуравились в его мозг, в нутро, и страшные минувшие годы глянули на него глазами раненого, который лежал, скрестив руки на груди.

Неужели так могло сместиться время?! Из метелей восемнадцатого вышел зимний день, когда державная стража вешала молодого командира с такой красивой фамилией и такими глазами, что, наверное, и в снах не забываются. И, идя на казнь, они ясно улыбались людям, словно и не тужили о жизни. И вот теперь, через двадцать три года, на Магазанника снова смотрел Човняр, словно он и не прощался с белым светом.

— Ты кто?! — вскрикнул он.

И той же самой, знакомой с восемнадцатого года усмешкой перечеркнул, раскроил его раненый.

— Человек! А ты кто? Правнук Иуды? Или пособник смерти?.. Не плачьте, тетка Василина. Пусть он, грешный, плачет, что не человеком, а фашистским прихвостнем стал.

И тогда женщина начала проклинать Магазанника:

— Будь ты навеки проклят, Черт со свечечкой! Чтоб твои глаза и утра не дождались! Чтоб тебя настигло возмездие как палача! Чтоб мои слезы пришибли тебя!

Магазанник отмахнулся рукой от проклятий и, уже не допытываясь, кто он — командир, комиссар или партизан, хрипло спросил:

— Твоя фамилия? — и застыл в нечеловеческом напряжении.

— Човняр,— насмешливо ответил раненый, что горел как в огне или догорал болезненным румянцем.

Магазаннику не хватало воздуха, он пошатнулся от ужаса, от кого-то отмахнулся, нащупал ногой лестницу и быстро начал спускаться с чердака.

Господи, неужели это возможно? Неужели так могут сойтись годы? Неужели он под корень должен подрубить

чей-то род? Неужели он и теперь должен стать пособником смерти?.. И зачем ему было приходить к этой шальной бабе? Лучше бы поплелся к Лаврину и его мертвому золоту... А может, он никому не скажет, что увидел тут? Да, так и сделает, если никто не проследил за ним, когда он шел к Василине.

Решив так, Магазанник на какое-то мгновение почувствовал облегчение, вытер пот со лба и украдкой вышел из жилища, которого лучше бы никогда и не знать.

В соседней хате светился огонек. Не услыхал ли кто-нибудь их разговор на чердаке? Прислушиваясь, подошел к плетню, над которым покачивались темные листья вишняка. Будто никого нет. Еще постоял возле плетня, повернул к воротам и как вкопанный остановился: против него с винтовкой в руках стоял какой-то человек.

— Кто это?! — вскрикнул Магазанник, шарахаясь в сторону.

Человек шевельнулся, засмеялся:

— Не узнали, пан староста? Это я, Терешко. Стою себе возле ворот, а прислушиваюсь к хате — подозрение есть у меня. Что там у Василины на чердаке делается?

Снова сверла страха пронзили Магазанника, а мысль заметалась, словно в западне. Так и приходит неминуемое: не ты кого-нибудь, так кто-нибудь тебя. Сжавшись от безвыходности и холода, сказал чужим голосом:

— У Василины на чердаке лежит ваша добыча.

Терешко встрепенулся:

— Партизан?

— Это уже сами дознавайтесь.

— Так я сейчас!..— Полицай, как ошпаренный, крутнулся и побежал за подмогой.

И, уже повернув на другую улицу, Магазанник тоскливо подумал: «И почему было не сказать, что это примак Василины, и пойти с Терешко пьянствовать, чтобы залить ему мозги?»

Да было уже поздно, торги с совестью закончены. Страх начинал их, страх и закончил. Какая это адская сила! Господи, если бы можно было снова начать жизнь!

В тишине Магазанник слышал, как бухал сапогами Терешко, а перед собой видел глаза раненого, и заснеженные челны на подворье старого Човняра, и тот челн на хуторском ставке, где всегда очищается вода. Да не всегда очищается наша душа. Ох, не всегда...

XXII

Когда время поворачивает на осень, то и утро, словно дитя, не спешит выпростаться из пеленок тумана.

Стоит Лаврин Гримич возле раскидистой яблони, что нависает над криницей и тыном, вглядывается печальным взором в ту желтую латку неба, за которой угадывается печать солнца, и не думает вовсе, что в хату надо принести воды. На щеках Лаврина еще веснушками гуляет лето, а в чуб уже забрела осень: как начали чужеземцы охотиться за его сыновьями, так и присыпало изморозью голову человека. Вон и с Яринкой бог знает что творится: стоит в городе за шинкарской стойкой и не журится. Кто бы мог подумать о таком безобразии? Да и сам Лаврин начал что-то скрывать от жены. Соберется на рассвете раскапывать курган, а еды наберет полнехонькую торбу.

— Это ж для кого, муженек? — наконец начала приставать Олена.

— Для себя,— неохотно пробормочет Лаврин, а лицо его сразу скисает: мол, нашла о чем говорить.

— Что-то ты никогда столько не ел.

— У войны широкий рот,— смежит золото ресниц и, недовольный, поплетется из хаты, задребезжит в сенях своими причиндалами, да и махнет к девичьему броду, к тому кургану, что, как скорбь, седеет в степях.

Девичий брод так девичий, но не заходит ли Лаврин к какой-нибудь вдовице? Хоть и рыжий, и долговязый, и не очень разговорчивый ее муж, да женщины что-то находят в нем. Только что?

— Цибулю,— пожимал на это плечами Лаврин, у которого был настоящий талант огородника.— И сеяпую, и дымку-одногодку.

Нет, все-таки что-то происходит с ее мужем: уже дважды и ночевать не приходил домой.

— Задержался, потому и переночевал в степи, возле кургана, чтобы какой-нибудь трупоед с перепугу не подстрелил.

Оно, может, и так, а может, и не так! И когда недавно Лаврин до полуночи не вернулся домой, Олена, замирая от страха, пошла в степь, к тому кургану, который раскапывал ее муж.

Задворками да огородами она выбралась в тихую задумчивость склонившейся отавы и верб, что стояли по-над бродом, как женщины в прощанье, и плакали тоже, будто женщины. А может, они и были когда-то женщинами? Из

девичьей красоты выросла калина, так могла и верба вырасти из материнской боли... Сыны мои, сыночки, где вы? На земле или в земле?

Плачут печальные вербы, молча плачут, будто матери, и молча плачет мать, как верба, хотя ей порой и кажется, что идет она не тропинками боли, а тропинками сна. Оборвется он — и все изменится в мире: из лесов промчатся ее горбоносые красавцы, из старости выйдут помолодевшие вербы, и месяц набросит им, как девчатам, на плечи платки голубого шелка, да и она станет моложе под цветом молодых очей, под вечерним влюбленным воркованием, которое должно прийти к ее сыновьям.

Где-то за речкой раздался выстрел, чей-то голос неистово крикнул: «Хальт!» Полицаи! Из какой норы повыползали вы, изуверы и предатели, и почему вас так потянуло на кровь людскую, на жизнь людскую?

Вот и девичий брод дохнул прохладой, сонно зашуршал стрелами камышей и саблями татарского зелья, а вода отозвалась всхлипыванием; вот и бывший сторожевой курган показался. И страшно-страшно стало женщине в опустевшей степи, над которой одиноко стоял обведенный золотым сиянием месяц; он уже обошел все небо и спускался с него в свой предутренний сон или покой, какого теперь не было у людей.

Подойдя к заросшему полынью кургану, Олена остановилась и тихонько позвала:

— Лаврин, где ты?

Но никто не откликнулся. Ни на кургане, ни в раскопанной глубине не было мужа, только лопата, ломик, длинный странный нож, молоток, скребок и круглая щетка лежали на сухой пыли, хранившей следы человека.

— Лаврин! — крикнула она в отчаянье, и мир темноты закружился вокруг нее. Горькая тоска лезвиями безнадежности пронзила женщину, и она, обессиленная, протянула руки к степному мареву и упала на курган. Никогда Олена не плакала по своему мужу, а теперь не выдержала. Бессовестный, в такое тяжелое время покинул свою жену на произвол судьбы, а сам где-то погуливаешь! Завтра же бросит это чудовище — пусть ему остается и огородная цибуля, и раскопанное золото, а она перейдет жить к матери.

И даже теперь Олена не очень ругала своего Лаврина, а все проклятия посылала на голову неведомой колдуньи, которая сумела соблазнить ее доверчивого мужа: ведь он такой, что и в спокойное время ленился приглядываться

к ведьмовскому отродью. Кажется, даже к ней, когда была девушкой, не очень присматривался. Бывало, притащится к ее садочку, нависнет над ней своими рыжими усищами и молчит, как гриб в траве,— то ли мысли, то ли золото усов взвешивает. Столб с глазами, да и только.

И она не выдерживает:

— Чего ты молчишь, Лаврин?

— А я звезды считаю,— улыбнется ласково-ласково и поднимет голову к небу.

— Кто-то считает деньги, а ты — звезды?

— Каждому свое,— бережно обнимет руками ее плечи да и снова молчит. Вот будет кому-то с таким скуки на весь век. Тогда и в мыслях у нее не было, что выйдет за Лаврина.

А время шло. Отскрипела возами осень, на санях уехала зима, и вербовым челном к их бродам прибилась весна. А весной, отваживая других хлопцев, к ней каждый вечер начал приходить Лаврин. И надо было бы прогнать его, да почему-то жаль было обидеть молчуна, вот и выстаивала в садочке за полночь, посмеиваясь над ним и удивляясь себе: весело проводит время.

Однажды вечером, когда уже зацвели сады, сорвался бешеный ветер и вишневый цвет, выкупанный в лунном мерцании, закружился вокруг них.

— Метель,— прошептал Лаврин и впервые несмело обнял ее.

— Какая метель? — хотела освободиться она из его объятий, но почему-то застыла, как завороженная.

— Метель вишневого цвету.

— Как ты хорошо сказал! — удивилась она. Словно по-писаному.

— Я еще лучше могу сказать,— почему-то глухо пробормотал Лаврин.

— Да? — не поверила она.

— Вправду могу.

— Так скажи, Лаврин...— замерла в его объятиях.

Надо было бы оттолкнуть парня, да куда-то подевалась сила в разомлевших руках...

И тогда, весь усыпанный вишневым цветом, он наклонился к ее устам, коснулся их и тихо пробормотал:

— Выходи за меня, Олена, а то не могу больше смотреть, как возле тебя дурни вьются. Так, чтобы не пришлось считать кому-нибудь ребра, выходи.

Она хотела отшутиться, как часто отшучивалась от парней, но вдруг почувствовала, что куда-то подевались и

ее шутки, и голос, а что-то пугающее и сладкое волнами начало затоплять ее. Не метель ли вишневого цвету?..

Теперь уже Лаврин спросил ее, как не раз она спрашивала его:

— Чего же ты молчишь?

Она только вздохнула, не понимая, что творится с нею и что делать ей, а он руками потянулся к девичьему стану.

Стыд и страх охватили ее. Неужели вот так и приходит судьба?..

— Какие у тебя груди красивые,— проворковал Лаврин и поцеловал распадинку между ними.— И вся ты очень славная. Ни у кого нет такой привлекательности.

Верно, это и доконало ее. Вдоволь не нагулявшись, она уже будет принадлежать ему.

— Лаврин, родной... мой...— тихо прожурчала, вверяя ему свое девичество, свои дни, что прошли и что придут.

Тогда парень выпрямился, крепко обнял ее и прошептал:

— Еще раз скажи это.

Она выскользнула из его объятий:

— Что, Лаврин, сказать?

— Что я родной... твой. Это так хорошо.

— Родной, мой... Правда же мой? — и впервые доверчиво склонилась к его груди. И откуда он взялся на ее голову, и откуда взялась та метель вишневого цвету?..

«Господи, почему же я не проклинаю ту метель, и Лаврина, и те усы, в которые до сих пор не заглядывала осень? Идол ты, идол, и больше ничего. Хотя бы детей постыдился!»

Вспомнив близнецов, Яринку, еще горше затужила женщина, забывая о грехе мужа. Да через некоторое время она услыхала от брода топот копыт. Вытирая платком лицо, Олена приподнялась и увидела, что к кургану приближается всадник. Кого это по ночам носит в степи? Не полицию ли? И каково же было ее удивление и возмущение, когда она узнала своего Лаврина. Вишь, едет от полюбовницы, курит трубку, еще и мурлычет что-то себе под нос. Злость сразу высушила женские слезы. И когда конь приблизился к кургану, Олена, злая, как само лихо, вскочила на ноги:

— Так где ты, греховодник, время проводишь?! Только не ври мне!

— Олена?! — Да не может быть?! — удивленно вытаращил глаза Лаврин, словно увидел жену на помеле, а за-

тем тихо засмеялся, вынул изо рта свою трубку и соскочил с коня.

— Так весело у той полюбовницы было? — становится Олена против мужа, готовая выцарапать ему глаза.

— Подожди, подожди, не тарахти, как соломорезка. У какой полюбовницы? — удивляется муж.

— У той, с которой почуешь, лучше бы ты в этом кургане ночевал.

— Тю на тебя, сумасшедшая,— не рассердился, а добродушно рассыпал из-под идольских усищ смех и капельки луны.— Вот кино на старости лет.

— На старости, на старости! — передразнила Олена.— А где же ты погуливаешь в заполуночную пору? Так захотелось тебе стать людским посмешищем?

— Все вы, бабы, одним миром мазаны,— безнадежно махнул рукой Лаврин.— Это ж надо — из-за глупых ревностей глухой ночью притащиться в степь. И кроволюбов не побоялась!

— Не заговаривай мне зубы этими кроволюбами! Говори, где был! Чего молчишь?

— Не все и жене можно сказать,— уже посмеиваясь, рассудительно ответил Лаврин.

— Тогда приводи свою задрипанную не только для спанья, но и для работы,— и Олена крутнулась от мужа, чтобы идти в село.

— Да угомонись наконец! Чего так раскипятилась? — Лаврин сжал руку жены.

— Если не скажешь, где был, только и видел меня! — пылала она гневом, а в глазах вместо нежного бархата метались осы.

— Да скажу, сумасшедшая,— повел плечом Лаврин.— Вытаращилась ты на милю, а не видишь и на пядь. Неужели вправду глупая ревность одурманила твою умную макитру? — и снова усмехнулся той усмешкой, что так волновала женщин.

— Говори, не тяни!

— Так вот, был я на болотах. Видишь, как промочил одежду?

— На болотах? Зачем тебя туда черти носили? Там же курганов нет!

— Еду носил раненым.

— Раненым? — и женщина почувствовала, как с нее начал слетать гнев, а вместо него проснулось к кому-то, и даже к Лаврину, сочувствие.— Почему же они на болотах?

— Подожди немного. Зиновия Сагайдака знаешь?

— Почему ж не знать, если наши сыновья у него.

— Вот он и нашел на болотах безопасное место для раненых.

— И ты тоже с Сагайдаком знаешься? — уже начинает догадываться и боится своей догадки Олена.

— Выходит, знаюсь.

— Так ты, Лаврин, тоже партизан?! — вскрикнула Олена. Разве ж можно было подумать, чтобы такой мирный человек стал партизаном?!

— Партизан или не партизан, а что-то такое есть,— и улыбка заиграла под усами мужа.— Теперь, может, завяжешь в узелок свою ревность?

— Ой, Лаврин, Лаврин, зачем тебе это партизанство? Пусть уж дети там...— Олена сделала шаг, обхватила руками мужа и снова заплакала.— Может, пока не поздно, отступился бы от Сагайдака?

— За кого же ты меня принимаешь? — рассердился он.— Хочешь как в дупле жить? Не такое теперь время!

А если уж сказал Лаврин, то никакими доводами не переубедишь его.

— Это я с перепугу, Лаврин,— и она вытерла слезы, уже готовясь к своей новой судьбе.— Так это и за тобой могут охотиться гитлеряки?

— Если дознаются, то могут. Теперь подорожают и моя цибуля, и моя голова,— усмехнулся Лаврин. Было бы чему усмехаться.

— Ой, муженек, муженек...— припала к его груди, всхлипывая.

Лаврин успокаивающе положил руку ей на голову.

— Да не раскисай ты, Олена. В этой метели и мы можем на что-то пригодиться.

— Я же думала, что в партизаны одни верховоды идут, а оказывается, и ты...

— Такова жизнь, жена. Я бы вот теперь немного поспал у тебя под боком. Как ты на это смотришь?

— Идол ты... Идол!..— не нашла ничего лучшего сказать Олена.— Всегда обманывал меня.

— Только один раз было такое,— добродушно прищурился Лаврин.

— Когда же это?

— Когда была метель вишневого цвету.

— А была ли она? Сошли года, словно вода, да и к войне прибились...

Вспомнив все это, Олена выходит из хаты и идет к кринице, где как вкопанный стоит ее муж.

— Ты все еще не набрал воды?

— А у тебя что, горит? — Лаврин начинает вытягивать утопленную клюку, затем снимает с нее ведро, в котором плавают два краснобоких яблока. Каждый год до самой зимы он вытаскивал их из криницы, а доживет ли теперь до зимы? И жаль ему стало своих грядущих дней, в которые он заглядывал и заглядывать боялся. Вышли бы из войны его сыновья, дочка — и не надо большего счастья. Расплескивая воду, он направляется в хату, а за ним, как тень, идет Олена. И жена у него, хотя и любит поворчать, славная и до недавнего времени любила играть глазами, да и было чем играть.

Он поглядел на гнездо аистов, которое увенчивало хату, вздохнул: улетели до весны птицы, улетели и их аистята. Если бы только до весны...

— Сегодня не идешь к девичьему броду? — уже в хате спросила Олена.

Лаврин наморщил лоб.

— И пошел бы, да с чертовым Магазанником надо встретиться.

— Вызывал он тебя?

— Нет.

— Так зачем же тогда?

— Будешь много знать — скоро состаришься.

— Кто же старит жену, если не годы и не муж? Говори уж.

— Вот видишь, шкуродеры, полицаи значит, схватили раненого командира — у Василины на чердаке нашли. Так надо как-то подговорить Магазанника, чтобы не торопился отвозить его в крайс. А как сунешься с таким делом к черту? И с чего начинать разговор?

Олена задумалась, подперла щеку рукой и сразу будто постарела.

— А может, Лаврин, возьмешь какой-нибудь вырытый талер или полталера и пойдешь к Магазаннику за солью — он же втихую торгует ею. Прицепишься, поторгуешься, а далее видно будет.

— И то правда.— Лаврин удивленно глянул на жену, хмыкнул и полез в сундук, где ждали своего времени его сокровища. Вот он развернул белую тряпицу с древними монетами, и на его руке блеснула червонным золотом узкоглазая княжна или королева, которую не состарили и

века. Это ж надо — столько лет копаться в курганах и только теперь, в войну, найти вот такую красу!

— Ты ж не вздумай понести ее Магазаннику, а то не отцепится от тебя, — предостерегает Олена, приглядываясь к женской красоте...

Смежив ресницы, стоит в раздумье осеннее утро, прислушивается, как на огородах шуршат подсохшие подсолнухи и маковки, как в садах падают яблоки, как на речке и лугах тревожится перелетная птица. Да что теперь эта птичья тревога против людской?! Разве для того родители растили детей, чтобы они снопами лежали на полях или истекали слезами и кровью в застенках? И как земля, что родит святой хлеб, женскую красоту, красную яблоню, золотой подсолнух, может породить таких людоедов, как Гитлер?

Вот так, думая о своих и чужих болях, Лаврин и подходит к подворью Магазанника, на которое столетними ветвями свисает с огорода грецкий орех. Говорят, что ему двести лет, но и сейчас он все еще роняет на землю свои последние плоды.

Не успел Лаврин коснуться калитки, как на подворье завизжала проволока и клубками шерсти и злости завертелись бешеные волкодавы, те, о которых говорят, что они и черта разорвут, и ведьму задушат. Да не ловят, а стерегут черта эти волкодавы. Из хаты вышел взлохмаченный, хмурый хозяин, глянул на Лаврина — подобрел.

— Вот кого не ждал, так не ждал!

— Да где уж вам, начальству, думать о нас.

Магазанник скривился:

— Эх, помолчи, не донимай этим начальством. У тебя есть что-то ко мне?

— Да, выходит, есть.

— Тогда заходи.— Староста прикрикнул на волкодавов, и они неохотно потянули в новые конуры визжание проволоки, ощетинившуюся шерсть и злость.— Как у тебя чеснок, цибуля?

— Уродили, но вам они, верно, не нужны для торга.

— Теперь не нужны,— даже будто помрачнел Магазанник, вспоминая былую торговлю.

В хате Магазанник бросился к печи, к посуднику и начал собирать на стол еду и ставить напитки.

Лаврин удивляется, догадываясь, почему так засуетился пан староста, и молча вполглаза следит за ним.

— Садись, человече, потрапезуем, пропустим по чароч-

ке,— растягивает уста в доброжелательной улыбке.— У меня горилка сварена с хмелем.

— Вот так с утра и пить?

— Когда ее теперь не пьют? Тяжелое время настало.— Староста садится под строгими и печальными богами, которые заняли в хате целых две стены.

— Неужели и для вас тяжелое время? — снимает Лаврин кирею.

— И для меня,— чокается Магазанник и одним духом выпивает сивуху.— Лучше б я в Сибирь твой чеснок возил, чем угождать чужой власти.

— Это тоже правда,— верит и не верит Лаврин, а сам думает: будто за одним столом сидим, а живем как на двух концах света.

— Что же тебя привело ко мне?

— Соль. Хотел бы обменять на чеснок, цибулю или купить за марки.

— Почему ж за марки? — снова чокается Магазанник.— На тебя, говорят, золотой дождь обрушился?

— Так золото — за соль? — притворно удивляется Лаврин.

— А нашел что-нибудь?

— Кто ищет, тот иногда находит,— нехотя отвечает Лаврин.

— Хоть покажи,— печать жадности пробивается на лице Магазанника.

— Придете ко мне, покажу.— И не выдерживает, чтобы не похвалиться: — Такую княжну или королеву откопал, что ей только в музеях красоваться.

— Золотую или глиняную?

— Из чистого золота.

— Пофартило тебе, Лаврин. Что же ты хочешь за царевну?

— Разве ж красота продается?

— И красоту за деньги можно купить,— нахально усмехнулся Магазанник.

— Не красоту, а распутство,— насупился Лаврин.

— Что же ты с этой королевой будешь делать?

— Дождусь наших, да и сдам в музей.

Теперь нахмурился староста:

— Дождешься ли, когда немцы уже захватили Москву?

— Хвалилась овца, что у нее хвост как у жеребца.— Презрение заиграло на губах и на всех веснушках Лаврина.— Так что вы зря впутались в старосты, нелегко вам будет выпутаться из этой западни.

Магазанник рассердился:

— Ты меня учить пришел?

— Нет, соли купить,— спокойно ответил Лаврин.

— Хороший покупатель. А помимо королевы ты каких-нибудь побрякушек не выкопал?

— И их нашел: пару золотых украшений с солнцем, что называются по-ученому фаларами, и несколько кругленьких.— Лаврин вынул из кармана потертый кожаный кошелек, покопался в нем и бросил на стол золотую монету с кудрявой головой какого-то древнего царя.

Магазанник бережно берет золото, присматривается к нему, взвешивает в руке, потом кидает на стол, чтобы по звону распознать, не фальшивое ли оно.

— Этого царя на все зубы хватило бы. Что тебе за него дать?

— Не продается.

— А ты подумай, человече,— неспокойными пальцами ощупывает голову царя Магазанник.

Лаврин решительно взглянул на старосту и прожег его неожиданным словом:

— Берите этого царя и отдайте селу красного командира, которого у Василины нашли.

Лицо Магазанника свела судорога, монета выпала из руки, покатилась по столу. Он накрыл золото ладонью и отдернул ее, будто за это время металл раскалился.

— Ты что? Тоже ударился в политику?

— Если спасать людей — политика, то и я за политику,— не спускает Лаврин глаз со старосты.

— Зачем тебе этот командир?

— Живое должно жить. Пусть его вылечат люди.— И ткнул пальцем в монету: — У меня еще есть это мертвое золото, забирайте его, а живую душу спасите.

Староста угрюмо глянул на нежданного гостя:

— Не шути, Лаврин, с недолей, когда есть у тебя хоть какая-то доля.

И Лаврин, не моргнув глазом, тоже перешел на «ты»:

— А ты, Семен, тоже подумай о главном — не подмени своей доли чужой. Тогда уже ничто не спасет тебя. Были у тебя нетрудовые деньги — понахватал их сверх меры на темных торгах,— а долей не торгуй! Говорят, убежать от себя невозможно. Но теперь такое время, что тебе надо убежать от себя, вылущиться из шкуры перебежчика.

— Ты кто такой?! — Хмель улетучился из головы старосты, и он уже со страхом посмотрел на Лаврина.— Кто ты такой?

— Человек,— как-то странно улыбнулся гость, а потом спросил: — Так отдашь людям красного командира?

— Уже не могу — он у полицаев.

— А ты выхвати его оттуда.

— Не могу...

— Теперь и через «не могу» надо переступить. Это если твоя совесть навеки не уснула.

Староста сомкнул глаза и сжал губы, а потом рубанул:

— Так за это, если я скажу хоть одно слово, не дойти тебе до твоего брода.

А Лаврину хоть бы что. Он снова усмехнулся, гордо поднялся из-за стола:

— Не пугай меня смертью. По-разному умирают птица и хорек... Да, идя за чужой головой, думай и о своей. И не советую тебе соваться на наш брод. А почему? Так, верно, сам догадываешься,— и он спокойно, неторопливо вышел из хаты, еще и дверью хлопнул.

И тогда страшная мысль забрела в голову старосты: если даже такие, как Лаврин, ударились в политику, то скоро настанет Судный день и для Гитлера, хотя тот уже и на Индию нацелился.

XXIII

Ох и день же сегодня выдался, чтоб он в вековечные дебри да болота провалился!

Не успел Магазанник проводить Лаврина, как к воротам нечистая сила приперла бричку с крайсагрономом Гавриилом Рогиней. Этот ненасытный пока свое «угу» скажет,— полкабана с копытами съест: наверное, у него из живота дно выпало. И сам черт не разберет, чем дышит человек, которого Безбородько называет то мумиеведом, то латинистом.

Вот он, высокий, сухопарый, обметанный морщинами, которые увядшим укропом лежали даже на веках, поднимается в бричке, отряхивает ладонями и манжетами со своей костляной фигуры пыль осени и стропилом становится на землю, потом неторопливо подходит к калитке, обеими руками повисает на ней. Калитка трещит, волкодавы беснуются, а Рогиня, ожидая Магазанника, хранит на потускневшем лице бремя поминок. Кого же он похоронил или, может, кто хоронит его? Это теперь, при новой власти, стало обычным делом. Хозяин, приглядываясь к флегматичному гостю, встречает его со смешанным чувст-

вом угодливости и скрытой насмешки и принюхивается, не имел ли уже гость зубополоскания.

— А вы, пан, никак с гулянки едете?

— С похорон, пан, с похорон,— хмуро говорит крайсагроном и так вперяет взгляд под ноги, словно всматривается в могильную яму.

— С чьих похорон, пан?

— Со своих, с твоих и всех поганых панов, какими теперь стали мы,— неожиданно разговорился агроном. С белой горячки, что ли?

— Такое вы скажете страшное,— попытался успокоить его Магазанник.

— То и говорю сегодня, что будет завтра,— поплелся к хате Рогиня. Тут он перекрестился на золотую и серебряную пену образов, примостился у края стола, взглянул на Магазанника одной безнадежностью.— Нет ли у тебя, пан староста, какой-нибудь бешеной горилочки, чтобы приглушить дурной ум? — и постучал кулаком по тому месту, где его глупую голову прикрыли редко посеянные волосы.

— Это зелье найдется. Только зачем вам горилкой туманить разум?

Рогиня болезненно скривился.

— А что теперь, пан староста, остается делать, если все ходим под властью Люцифера?

— Не знаю.

— И я не знаю. За чечевичную похлебку пошли мы, отступники, на каинову службу к фашистам. А они, знаешь, что пишут о нас: «Сейчас настало время биологического истребления славян». Слышишь: уничтожения не большевиков, не партийцев, не комиссаров, а всех славян! Вот на что замахнулись! — Рогиня рванул из кармана смятую газету и бросил ее на скамью.— Еще не победив славян в бою, фашисты уже думают об их физическом истреблении, только нас, пресмыкающихся дурней и разную труху, сегодня еще панами величают. А завтра и из этих панов кишки выпустят.

Магазанник, побледнев, оторопело слушал агронома.

— Когда вы узнали об этом?

— Вчера. Нацеди своего дурмана.

Рогиня сразу опрокинул чарку горилки и заговорил, обращаясь то ли к старосте, то ли к бутылке:

— Понимаешь теперь, староста, что такое баранья порода? Нас какие-то мелкие боли, мизерные обиды или выгоды ослепили, и мы стали обреченными баранами. Вот и погибнем, как бараны.

— Но ведь Безбородько говорил, что Украине немцы пожалуют протекторат, как Богемии или Моравии, и не тронут ее, пока она будет хлебным амбаром.

— Твой Безбородько — паршивый нечестивец, которому только хвоста не хватает, и запомни: кто черту служит, тому дьявол платит. Безбородько — это хитрец, который и на чужом, даже змеином, яйце сидеть будет. Он с националистами и протекторатом довольствовался бы, но дудки — фигу получит, а не протекторат. Почему тебе этот людоед не сказал, что говорят об Украине Гиммлер и Кох?

— А что говорит рейхскомиссар?

— Налей еще горилки.

Рогиня чокнулся с бутылкой, криво усмехнулся: «Пейте, жилы, пока живы», опрокинул чарку, потом достал из кармана записную книжечку, тряхнул ею, и из нее выпал густо исписанный листок.

— Вот послушай, пан, что глаголил недавно Кох своему отродью: «Ныне над Германией реет знамя вечной Германии. И Украина не плацдарм для романтических экспериментов, о которых еще сегодня мечтают фантазеры без почвы и некоторые полуживые эмигранты. На Украине нет места для диспутов теоретиков о государственном праве, так как нет самой Украины: это название сохранилось только на старых географических картах мира, которые мы властно перекраиваем своим мечом. Вместо Украины будет жизненное пространство, неотъемлемая часть немецкого рейха, которая должна стать житницей великой Германии. И нет украинцев. Есть туземцы. Они должны удобрить своими трупами эту землю или работать на этой земле на своих господ и повелителей, пока не придет время их полного уничтожения...

Всем могуществом нашей немецкой энергии мы раз и навсегда должны заглушить бандуру Шевченко. Железом и кровью обязаны мы утвердить наше господство. В бессловесный рабочий скот, в рабов, что дрожат от страха, мы должны превратить тех, кому пока что дарована жизнь...» Кажется, и дьявол не сказал бы такого.

— Вот это да,— съежился, растерянно пробормотал Магазанник и почувствовал, как на лбу, в бороздках морщин, едко пощипывает пот.— Пришли властители мира и освободители!

— Да они из тех, кто душу от тела освобождает! А тут еще и мы, безмозглая труха, безмозглое панство, впряглись помогать погонщикам смерти.

— За кого же вы теперь? — не знает, что и подумать, староста.

— А думаешь, ведаю, за кого? После этих слов Коха я уже, считай, фашистам не служака, а к большевикам страшно вернуться — ведь не поверят. Так и повисла грешная душа без пристанища между небом и землей,— хмельные горести зашевелились на измятой сетке морщин и в пригасших глазах.— Нелегко мне было и в прежние дни сносить обиды — кто только не колол мне глаза поповством,— а сейчас, даже не моргнув глазом, отдал бы жизнь за былые годы, только кому она теперь нужна? Налей, да выпьем еще за наши глупые головы, что сами полезли в петлю. Однако, когда придет мой Судный день, одно смогу честно сказать людям: на моих руках нет и не будет ни одной капли чужой крови.

Жутко стало Магазаннику от этой страшной исповеди. А может, Рогиня узнал об аресте Човняра? И снова сквозь него прошли давние годы, а перед глазами встали Човняры — отец и сын. Он торопливо хлебнул самогона, остановил взгляд на Рогине, и вдруг зловещая догадка пронзила мозг: а что, если агроном стал провокатором и проверяет его? Теперь все может быть в этом злобном, исковерканном мире, теперь невзвешенное слово забирает жизнь.

— Растревожили вы меня на весь день. И зачем вы это рассказали мне?

Рогиня словно заглянул ему в душу:

— Ты, пан староста, принюхиваешься, не выведываю ли у тебя? Не опасайся. Видел при первой встрече, что ты не по доброй воле согласился стать старостой, вот и доверился тебе, а теперь тоже мозгую, не продашь ли меня. Видишь, какая жизнь настала. Сидим мы, двое сычей, которые почему-то не смирились с большевиками, не знаем, куда себя девать, а в это время не кто-нибудь, а те же большевики кладут головы, воюя с душегубами... Безбородько же о нашем разговоре ни гугу... У тебя найдется, где проспаться от хмеля и тумана в голове?

— Разве что в другой половине хаты — в маленькой комнатке душно будет. Вам сена или пуховик под бока?

— Теперь сена, а потом — земли, а то люди пожалеют для нас досок на гробы. И правильно сделают.

Магазанник обозлился: «Вишь когда совесть заговорила. Видать, накаркаешь смерть на свою и чью-то голову. Не потому ли тебя и прозвали мумиеведом?»

Пошатываясь, Рогиня пошел на другую половину хаты, где под скамьями, кроватью и столом желтели покрытые

жесткой скорлупой грецкие орехи и улеживались груши-дички. По ним сонно ползали горячие, как на огне кованные, осы. Крайсагроном уставился в окно и вдруг с удивлением сказал:

— О, да к тебе, пан староста, красавица идет! Неужели и теперь может быть такое диво?

Глянул Магазанник — и не поверил своим глазам: у ворот стояла, как осенний луч, опечаленная Оксана, а к ней от проволоки тянулись и дотянуться не могли волкодавы. Почему он их не закрыл в конурах? И стыдно стало перед Оксаной за этих псов, что охраняли его, да и за свою жизнь, что как была, так и осталась бесплодной, словно горсть песка.

Магазанник провел ладонью по щекам, чтобы разровнять морщины, выскочил из хаты, цыкнул на волкодавов и пошел к воротам.

— Добрый день, Оксана!

— Нет теперь добрых дней,—даже не взглянула на него.

— Добрый потому, что ты пришла.

— Это горе мое пришло,— вздохнула Оксана, ожидая, пока он откроет калитку.

— Что там у тебя? — искренне забеспокоился Магазанник.— Не корову ли забрали?

— Если бы корову, дядько.

— И до сих пор это «дядько» не перегорело?

— Тогда — пан староста.

— Еще лучше! — насупился Магазанник.— Заходи, не часто у нас такой праздник бывает.

Женщина только плечами пожала и молча направилась к жилью. Вот впервые пришла к нему Оксана, а тут черт знает что делается: в хате не убрано, самогон и цибуля воняют, а на другой половине что-то бормочет тот бесов мумиевед. Хороши гости, да не ко времени! Это ж надо было ждать Оксану столько лет, чтобы вот так встретить.

— Ты извини за непорядок — принимал из крайса одного пропойцу, который безбожно хлещет все, кроме кипящей смолы. Один может бутыль самогона выдуть. У меня французское вино есть, может, пригубишь? — посуетившись, Магазанник с бутылкой становится против женщины, а та одним укором прожигает его:

— Неужели вам, дядько, в такое время до напитков и закусок?

— А почему? Война, прости, не укорачивает живот ни мужчинам, ни даже женщинам. Садись.

— Я и постою.

— Боишься хату пересидеть? — «Боже, что я только плету?»

— Вашу хату никто не пересидит, она ведь на каменных бабах поставлена.— И словно ножом пронзает его: — Может, поэтому и все здесь каменным стало?

— Вон как ты заговорила! — зловеще понизил голос Магазанник.— Так можно не только до сердца, но и до чьих-то печенок добраться.

— И это может быть.

— Добирайся, добирайся. За этим и пришла?

— Нет, не за этим,— строго взглянула на него.

— Говори.

— Разные вы брали, дядько, грехи на душу, но не берите последнего.

— Это ж какого?

— Смерти командира. Отпустите его. За это вам многое простится.

— Кто тебя послал ко мне?! — вскрикнул Магазанник.— Подполье?

Презрение обметало лицо Оксаны:

— Не слишком ли много хочется знать вашей голове?

Магазанник уже спокойнее сказал:

— Не играй, Оксана, с огнем, ты, кажется, и до сих пор не знаешь, что такое жизнь.

— А вы будто знаете? Разве жизнь вас погнала в старосты?

«Вот тебе и встреча со своей недоступной...» Магазанник хмуро глянул на Оксану:

— А знаешь ли, молодица, что за такие идеи в гестапо и красоту бросают солдатам на подстилку? Тогда горькими слезами зарыдаешь, да не поможет.

Оксана вздрогнула, но сразу же овладела собой:

— Тогда бегите, пока ноги есть, в гестапо. Там наградят и за командира, и за меня. Глядишь, за нашу кровь и хуторок вам достанется.

— Как ты говоришь?!

— Как умею.

— Ох, и ведьмочка же ты! Такое сказать! — напрасно хочет заметить во взгляде Оксаны хоть капельку тепла. Неужели и в ней война сожгла его?

— Еще раз и я, и женщины наши просим вас — отпустите несчастного. Подумайте и отпустите.

Она спокойно вышла из хаты, а он, проклиная сегодняшний день, бросился за ней, чтобы защитить от волкодавов.

— Оксана, подожди... Поговорим. Столько не виделись.

Но больше он не услышал от женщины ни слова.

С улицы Оксана повернула на огород, и он еще долго видел, как она шла между зеленой коноплей и последним золотом подсолнухов. Вот дошла она огородами до самой церкви и до той колокольни, где хотела приворожить Ярослава. Теперь тут два полицая, высунув из окон головы, лузгают семечки, пока не увидят жандармского обер-ефрейтора, который муштрует их. Тогда ухватятся за винтовки, и одна бдительность застынет в их буркалах, да все равно от обер-ефрейтора получат свое «швайне».

Через какое-то время, после тяжелых раздумий, Магазанник все же поплелся в полицию, решив сдать Човняра кому-нибудь на лечение. А там пусть и выкрадут его. Но было поздно: полицаи как раз уложили на воз раненого командира, готовясь везти его в крайс.

«Последний грех»,— вспомнил староста слова Оксаны. И почему он так сплоховал, когда увидел командира на чердаке у Василины? Разве нельзя было заговорить зубы глупому Терешко?

— Чего вы так спешите с ним? — как бы равнодушно спросил коменданта полиции, который не очень твердо держался на ногах.

— Квасюк нас в шею гонит, говорит, этот командир даже в окружении подбивал немецкие машины. Раненый подбивал! Есть же такие неистовые...

Очнувшись ото сна, Рогиня в раздумье долго мерил костистыми ногами жилище Магазанника, где тихо жужжали осы, влезая по самые крылышки в тело лежалых, потемневших груш. Иногда он останавливался перед окном и грустно посматривал на раскидистый грецкий орех, что и до сих пор кое-где на ветвях держал сухие плоды.

Несколько таких деревьев было и у его отца — сельского попа, который добросовестно крестил, исповедовал, причащал, хоронил, не очень домогаясь платы за требы, и сокрушенно покачивал головой, когда видел красивых молодиц, ибо его матушка к тридцати годам уже так раздалась, что, задыхаясь, останавливалась через шаг. У отца была хорошая для того времени библиотека, где каждый шкаф тщательно запирался на ключ: тут были не только романы и природоведческие книги, но и альбомы с такими красавицами, при виде которых всегда гневалась матушка.

— Господи, не можешь ли ты каким-то чудом повернуть колесницу времени и перенести в тот уютный кабинет с протлевшими украшениями древности на барокковых шкафах, с пожелтевшими книгами в шкафах, с извечными рушниками над потемневшими строгоокими святыми, которые тревожили, но, и как поучал отец, и облагораживали душу. Вот здесь, вдыхая настой высохшей душицы, калуфера, пижмы и воска, до полуночной поры погружался он в какое-то глаголицей вязанное сочинение или в тайны антропологии. Из-за нее и принадлежности к поповскому званию у Рогини было больше, чем надо, и огорчений, и насмешек. Да все это ничто по сравнению с тем, что происходит теперь. Страх и слабоволие бросили его в пасть фашистского змия, и уже хоть локти кусай, но возврата назад нет. Думалось приглушить все самогоном, который нынче гонят из чего только могут и приправляют чем только могут. Хлестал его, как воду, да не смог утопить в нем того, что называется совестью. Ну, а теперь, когда слова фашистских правителей жгут, как огонь, он должен что-то сделать. Только что? Кто ему сейчас поверит? Послушают рассказ и подумают, что он подсадная утка. Эх, да все равно, что будет, то будет, а делать что-то надо. Может, к Лаврину Гримичу заехать? Это праведное семейство — все дети пошли в партизаны. Как бедная мать горюет и сокрушается по ним...

Рогиня долго умывается над светлой, душицей пропаренной бадьей, затем перед потускневшим зеркалом ножницами подправляет похожую на ежа бороду и выходит во двор. Грецкий орех встречает его запахами детства и печалями опадания.

— Уже проснулись? — озабоченно окликает его из амбара Магазанник. Он тут же выходит из добротной постройки и запирает двери на замок, чтобы гостю не вздумалось разглядывать чужое добро.

— Проснулся.

— Тогда, может, по единой на дорожку?

— Обойдется.

— Вот тебе и нá! — удивился Магазанник.— Как же это так? Не захворали случайно?

— Поправляюсь от недуга,— неохотно буркнул Рогиня.

На это староста только изумленно повел головой, а крайсагрономом пошел запрягать лошадей, потом молча подготовил бричку, молча раскрыл ворота.

«Что это с ним? — забеспокоился Магазанник.— И уго-

щал как начальство, и лишним словом не обмолвился. Неужели фашистская писанина так поразила его?»

Когда агроном взобрался на передок брички, староста тихо спросил:

— Может, что-нибудь на дорогу дать? Знаю ведь ваши холостяцкие достатки, от них и живот подведет. Нашли бы себе если не жену, то хоть кралю.

— Кому нужны мои кости? На них и волк не позарится.

Магазанник окинул взглядом улицу и перешел на шепот:

— Я, кажется, догадываюсь, почему вы расстроились. Думаете, мне легко в этой бойне?

— А нам уже и не может быть легко.

— Это ж почему? — растерялся староста.

— Да потому: кто продал свою жизнь, тот уже вековечный грешник и должен ждать Страшного суда.

Магазанник по-своему понял эти слова:

— Так вы полагаете, что большевики разобьют Гитлера?

— Никто не знает, чье будет завтра,— тоскливо ответил Рогиня и выехал со двора, покинув там встревоженного старосту.

«А если вправду разобьют? Как же мне вернуться к прежней жизни? Воистину она течет, словно вода в речке, и назад не возвращается...»

В небольшом селе у долины, что отгородилось от мира петлями извилистой речки, болотами и топями, Рогиня разузнал, где живет кладовщик перевалочного пункта Махтей Боденька. Наружные двери его громоздкой, покрытой дранкой хаты были окованы железными полосами, в них чернели отверстия для ключей.

«Верно, Боденька прячет краденое за семью замками».

Рогиня поставил незапряженных коней под свежий навес и еще раз насмешливо покосился на клепанные-переклепанные железными листами двери. Когда он переступил порог жилища, он увидел нависшую над столом голову кладовщика, который жадно, со смаком, уписывал за обе щеки жареную курятину, прислушиваясь к шипению старинных настенных часов.

— О, пан крайсагроном! — радостно воскликнул хозяин, выронив почти полкурицы на скатерть. Затем он вытер пальцы о чуприну, выскочил из-за стола и, сверкая пронырливыми глазами, бросился распростертыми руками-обрубками обнимать начальство.

Рогиня скривился от этих объятий, насмешливо хмыкнул и какую-то минуту с удивлением разглядывал фигуру хитрющего пролазы, который, верно, и в самом пекле не расстанется с ключами от кладовой. Ох, и фигура!

Если на задние ноги откормленного кабана поставить кадку, а на нее положить сычуг, да еще и прикрыть его сорочьим гнездом, вот это и было бы подобие Махтея Боденьки. Все в нем было укороченным и, верно, потому стремилось раздаться вширь. Но Махтея вовсе не беспокоил излишек ни жира, ни веса. Для него главное — знать вес товара на своей службе: принимаешь добро — осторожненько записывай меньше, выдаешь — еще осторожнее записывай больше и лишек долго не держи на складе, а то есть на свете такие скверные вещи, как переучет и ревизия. Правда, в последнее время Боденьке изменило чувство меры, ибо никогда столько всякой всячины не проходило через его руки.

— Спасибо, спасибо вам, осчастливили мою хату, осчастливили меня, грешного,— притворно радуется Махтей, а внутри чего-то тревожится.— Да садитесь к столу, мы вас курятиной и свежей рыбкой угостим. Карасики вот только-только подскакивали на сковородке,— завертелся по хате кладовщик.— Жена, видишь, кого дождались?! — крикнул привядшей тонкостанной молодице, глаза и лицо которой так и брызжут презрением к мужу.

— Не беспокойся обо мне,— строго сказал Рогиня.

— Как не беспокоиться о таком госте? — причмокивал толстыми губами Махтей.— Жена, ставь на стол чарку, тарелку, а вилки не клади — курятину лучше есть руками. Да и сама садись с нами, выпьем веселухи.

— Отравы бы ты напился,— тихо, только для мужа, прошипела молодица, однако поставила на стол то, что надо для гостя, и вышла из хаты.

— Все наветы,— повел короткими бровями кладовщик.— А у моей такой язык, что даже на брачном ложе нашли время поссориться. Женился, можно сказать, на четырех ветрах.

— Угу,— невыразительно молвил Рогиня, не притрагиваясь ни к чарке, ни к еде.— Чего это у тебя живот растет, как ростовщический процент?

— Потому что гостей часто принимаю. С гостями ж не будешь кисляк хлебать. А почему вы такие грустные да невеселые, словно сотник Забрёха? [1] — вспомнил кладов-

[1] Сотник Забрёха — персонаж из повести Г. Квитки-Основьяненко «Конотопская ведьма».

щик классику, ему больше всего нравилось, как сотник с писарем поедают сначала борщ горячий со всякой мелкой рыбешкой, пшенную кашу с подсолнечным маслом, а затем — холодный борщ с линями, потом уху с налимами и пшеничными галушечками да печеных карасей и дуют горилку. Умели же люди жить!

Все это привычно протараторил Боденька и снова пригласил агронома угощаться: ведь на столе стоят жаренные в сметане карасики, которые всего лишь час тому назад вольно плавали в речке.

— Вот жаль только, что вы запоздали на королевскую уху,— причмокнул кладовщик.— Кто же ее так приготовит, как не ваш покорный слуга! Сначала беру ершей или носарей непотрошеных, с чешуей, прополаскиваю их — и в кипяток, повертятся они в нем несколько минут — и процеживай первый отвар, а рыбку выбрасывай. Потом подходит черед окуньков-матросиков. Из них я вынимаю только внутренности, а чешую не трогаю. Так и бросаю их в первый отвар вместе с лучком, петрушкой и специями. Все это варится с полчаса, потом отвар снова процеживается, и уже в него бросаю хорошую рыбу — потрошеных окуней, красноперку, густерку, и непременно с кровью. Дурень тот, кто смывает ее! Господи, какая же это уха! И до чего же она вкусна! — И Боденька поднял глаза к потолку.— Прости меня, боже, люблю, грешный, поесть! Ох, недаром говорят: было бы здоровье, а грехи будут... Так начинайте с карасиков, они тоже стоят внимания... Да и пирожки с яйцом, капустой и укропом сами в рот просятся. А какой на них соблазнительный румянец! Милости просим!

И негаданно, будто гром с ясного неба, его оглушил ответ:

— Вотще, Махтей, оставь свои старания, все равно нынче есть у тебя я не буду.

— За что же это мне такое унижение?! — даже подскочил пройдоха, подскочили его щеки, мешки под глазами и шапка запущенных волос.— Чем же так провинился несчастный Махтей?

— Таки провинился! — обрезал Рогиня.— И тебя уже надо судить. А как фашисты судят за воровство, хорошо знаешь.

От лица кладовщика сразу же отлила кровь, а толстые губы задергались, оголяя зеленоватые, изъеденные зубы.

— Господи, за что же постигло меня такое лихо? — и он поднял к невидимому богу глаза и руки.

— За то, что забыл меру в воровстве,— сурово сказал Рогиня, глядя через голову кладовщика.— Теперь за ночь, если сможешь, замаскируй свое паскудство в кладовой, а утром встречай ревизию.

Полная фигура Боденьки осела, как перестоявшая квашня, а глаза опустились книзу, будто хотели спрятаться в измятых мешочках.

— Гавриил Алексеевич, что же я смогу сделать за одну-единственную ночь? А еще если пан директор наскочит на мое старание? Он хоть тоже ворует, но все равно свинья. Шепнули бы, к кому попали мои бумаги. Тогда я, может, вскочу на коней и махну с приношением. И вам лучше будет, если Боденька будет вертеться в кладовой, а не на веревке. Сделайте такое одолжение.

Рогиня вроде бы поколебался, посмотрел по сторонам и вдруг спросил:

— А какие же будут твои приношения?

— Все найдется, кроме птичьего молока, но мы его можем заменить спиртом.— И на обескровленном лице кладовщика появилась надежда: — Неужели, дорогой мой Гавриил Алексеевич, бумаги попали к вам?!

— Пока что ко мне, но...

— О господи! Есть же справедливость на свете! — ожил кладовщик.— Я же знаю, вы не утопите меня. Это и вам ни к чему, да и мне. Вот дайте пару деньков, и я выползу из беды — в кладовой будет полный ажур.

Наконец Рогиня язвительно усмехнулся:

— Что, даже у полюбовницы заберешь бочонок меда?

— И об этом написали?! — возмущенно выкрикнул Боденька и осекся, глянул на окна, словно его могла услыхать жена.

— Написали, даже с некоторыми небезынтересными подробностями.

Махтей мрачно глянул на Рогиню:

— Это, верно, сочиняли такие кривосудцы, что сами ходят к женщинам с пустыми руками. А кто же примет с пустыми руками кладовщика?

На такую сентенцию Рогиня чуть было не рассмеялся. Кладовщик сразу заметил смену настроения у начальства, хотя оно до сих пор тайком подшучивало над ним, и начал мозговать, какими подношениями умиротворить его. Можно бы и пару золотых побрякушек дать на зубы, но как бы ненароком не вляпаться в беду. Жирами тоже как-то неудобно подкупать, хотя они и могли бы оживить эту немощную кожу, которую оттопыривают мослаки. Вот ме-

дом и к святому, и к грешному можно подкатиться — это не взятка, а лекарство. Но сколько ему дать? И Махтею вдруг почему-то стало жаль себя: дерут-дерут его, будто петуха, а не знают, что и цыпленок хочет жить. И невольно прошептал: «Цыпленок жареный...» Вот чувствительная когда-то песня была! Что ни говорите, а Махтей коечто кумекал в литературе, особенно в той, где говорится о съестном.

Сокрушенно покачав головой, он провел ладонью по редковатым ресницам, вытер лицо об отворот пиджака и тоскливо поднял глаза на Рогиню:

— Так спасете, Гавриил Алексеевич, мою великогрешную душу? Небольшой будет на ней заработок: где же вы видели кладовщика, которому не приходилось бы хитрить или которого не щиплют!

— И сам не знаю, что делать с таким греховодником? — заколебался Рогиня.— Вытянешь тебя из болота — сам увязнешь в нем.

— Помилуйте и воспрепятствуйте навету. Я же не советское, а чужое понемногу растаскивал...— и запнулся: не сболтнул ли чего лишнего? А теперь слово не воробей.— Ради уважения к вам дозвольте мне, недостойному, положить вам в бричку бочоночек святого меда — самого лучшего, лечебного. Сегодня мы с бондарем так прочно вставили дно, что можно везти мед хоть на край света.

И вместо отнекивания он услыхал:

— Если этот мед лечебный, то не поскупись на два бочонка. Может, они помогут моим болезням и худобе.

— Вот это разговор! — заискивающе заиграл глазами Махтей, сразу сбросил с души все тревоги, выскочил из-за стола, на ощупь сорвал с придверного колышка связку ключей и, чуть не высадив дверь, бросился в кладовку. Там что-то забряцало, забухало, загремело, и вскоре Рогиня в окно увидел, как осчастливленный Махтей нес на животе завернутый в холстину бочонок с медом. Точно так же пронес и второй, да и, пригнувшись, вернулся в жилище. На пороге он почтительно поклонился начальству и заворковал прерывистым от волнения голосом:

— Еще раз кланяюсь вашей мудрости. А может, и вы, дорогенький Гавриил Алексеевич, если жалуетесь на какие-то хвори, поплескались бы в моей ароматической ванне: это такая роскошь и лечение заодно. Почему, думаете, у Махтея при его весе ноги жеребенка, да еще и засматривается на соблазнительниц? Зелье, целебное зелье, дает

силу нижним конечностям и даже, простите, тому чугунку, который называется головой.

— Оно и видно! — хмыкнул Рогиня. — Какие же ты чары бросаешь в свои ароматические ванны?

— Самые обычные: роевик, душицу, полынь, деревей и татарскую траву. То как вы на это посмотрите да рассудите?

— В следующий раз заскочу на такую роскошь.

— Тогда заблаговременно дайте знать, а Махтей подготовит аж королевскую купель. Ей-богу, правду говорю. А сейчас как испокон веку заведено — на коня, на серебряные стремена да на золотую уздечку.

Уже под вечер Рогиня выехал из усадьбы растроганного кладовщика, который, похваливая начальство, никак не мог распрощаться с ним и все что-то подсовывал да подсовывал в бричку, так как деньги теперь полова, а человеку нужно пропитание.

Когда бричка выбралась за ворота, Махтей рысцой выбежал на улицу и долго-долго махал руками, будто распухший, укороченный ветрячок. Ох, эти укороченные хитростями ветрячки, что не мелют, а только пожирают...

На подворье Гримичей стоял дух чернобривцев и лесного сена, того, в котором дремлет настой дикой земляники, чебреца, душицы и приворота к детской присказке: «Ой, коте-котино, поїдем по сіно, я буду воли пасти, ти будешь сіно класти».

Два высоких опрятных стожка стояли перед окнами хаты, верно напоминая Лаврину его близнецов.

Рогиня, как грешник, вошел в осеннее раздумье двора, постоял возле стожков, к которым приткнулся вербовый челн, прислушался к тишине, а затем, раскрыв ворота, подвел коней к сену. Старый конь задел копытом челн, и тот отозвался низким гудением. Потом с яблони упало яблоко, вздохнул спросонья татарский брод, а из-за тучи оторопело выкатился месяц, и на подворье ожили тени, ожили чернобривцы, кусты георгинов и кринки, с которых на землю скапывала роса. Господи, чего бы он только не дал, чтобы у него был такой двор с челном, стожками, чернобривцами, а не проклятая крайсагрономия...

Недели две тому назад встретился он с Гримичем в поле. После разных недомолвок Лаврин и подкосил его:

— Не думал я, Гавриил Алексеевич, что вы способны так низко пасть. Я не удивляюсь таким дурням, как поли-

цай Терешко, у них из-за брюха и головы не видно. А вы же в науке были, высшее образование имеете, и получили его не от кого-нибудь, а от советской власти. Она за это не взяла с вас ни копейки. Так почему же вы так потянулись к чужим сребреникам? Не честолюбие ли заело вас? Не захотелось быть только агрономом? Так это честолюбие скорее всего и загоняет человека в гробовые доски.

Откуда ж такое понимание у простого крестьянина? А простого ли? Он ведь тоже не в одну книжку заглядывал, не раз ездил в музеи, советовался с учеными, а о его хорошем хлеборобском труде даже в газетах писали.

Что же теперь Лаврин скажет ему? Выслушает молча, да и покажет на дверь? Вот так и четвертуют тебя слова добрых людей и нечисти тоже. Преодолевая смятение, боль, Рогиня открывает входные двери и стучит в горницу.

— Заходите! — отвечает звонкий голос.

Неловко пригнувшись, он переступает порог. В глаза ему сразу бьет пламя из печи, а уже потом он видит склонившуюся фигуру Ярины, что усердно вымешивает в квашне тесто; оно и сопротивляется, и попискивает под ее руками.

«Почему ж Ярина дома, а не в лесах? И кто рисовал ее личико и брови?» — теряется старость перед молодостью и тоскливо вздыхает.

— О, это вы! — вдруг смутилась, будто растерялась девушка и вытянула из квашни руки.

— Таки я,— невесело здоровается агроном.

— А у меня такой беспорядок,— кивнула на квашню, на скамью, застланную холстиной.

— Где же отец-мать?

— Они ушли кумовать на крестины. Не все же смерть должна ходить по селу.— Ярина освободила руки от теста, пригласила Рогиню сесть, а сама бросилась к деревянному самодельному умывальнику.— Вам что-нибудь надо?

— Хотел поговорить с отцом.

— О курганах? — И так и сяк проверяет его глазами, в которых таится и беспокойство, и презрение.

— О жизни.

— Долго вам придется ожидать его. Какое-то неотложное дело или, может, печаль привели к нам?

Рогиня догадался, что Лаврин рассказал дочке о нем.

— Ты угадала, Яринко, горькая печаль пригнала к вам. Раз нет отца, доверюсь тебе: знаю и тебя, и ваш род. Попал я при новой власти, как жаба в тенета. Что будет дальше, не ведаю, а хочу хоть как-то пособить партизанам.

— Доброе дело сделаете,— насмешливо сказала Ярина.— Так почему же вы приехали к нам, а не к партизанам?

— Будто я знаю, где они. Думал, что отец или ты что-то подскажете мне.

— Вот тебе и на́! — удивленно воскликнула девушка.— Откуда же нам знать такие небезопасные вещи?!

Теперь удивляется Рогиня:

— Разве Роман и Василь не наведываются к вам?

— Еще чего! Как ушли в армию, так и нет от них ни слуху ни духу.

— Вот не сказал бы этого,— покачивает головой Рогиня.

— Почему? — настораживается Ярина.

— Потому что только позавчера вечером видел их.

— Позавчера?! — не верит девушка.— Где же вы могли их видеть?

— На Лучанщине. Еду это рысцой поздненько кружным путем домой, поглядываю то на лес, то в низинку. Вдруг слышу — возле озерца так смачно шаркает коса. Подъезжаю ближе, оказывается, неподалеку от дороги стоит воз, запряженный лошадьми, возле них похаживает человек с автоматом, а другой косит отаву. Да как косит! Узнал я твоих братьев, только не рассмотрел, кто косил — Роман или Василь, так они похожи друг на друга.

— И это правда, что вы их видели? — словно верит и не верит Яринка.

— Клянусь крестом.

— Вот спасибо за добрую весть. Порадую родителей, а то они уже на одной печали живут.

И знает Рогиня, что лукавит девушка, и знает девушка, что не верит ей агроном, да иначе говорить не может.

— Что-нибудь вам приготовить на вечерю?

— Спасибо, Яринка. Понимаю, что ты не веришь мне, ибо такое время и я будто стою на другом берегу. Но мои слова и мое раскаяние передашь отцу.

— Зачем это мне? Я еще могу что-то не так сказать. Лучше вы завтра сами поговорите с ним.

— Кто знает, как сложится это завтра. Наведаются братья — передай им два бочонка меда и скажи, что моя заблудшая душа ищет покаяния. Я могу подсказать, где и что лежит на перевалочном пункте...

— Это дело не моего ума,— пожала плечами девушка.— А вот мед я у вас куплю, если продадите по сходной цене.

— Оба бочонка? — удивился Рогиня.

— А как же! Вот пойдемте, гляну на них.— Она проворно выскочила из хаты, нашла на бричке под сеном бочонки, потрогала их, засмеялась.— Словно близнецы лежат,— и схватила за руку растерявшегося Рогиню.— Покупаю оба. Даю пятьсот рублей.

У Рогини задергались сморщенные веки.

— Зачем тебе столько меду? И откуда у тебя такие деньги?

— Как откуда? Я же теперь при коммерции.

— Не дури голову, Яринка. При какой ты коммерции?

— Работаю в привокзальном кафе. Заходите когда-нибудь.

— Ты — и работаешь в кафе?! — и удивился, и глухо возмутился Рогиня.

— А почему вас это удивляет? У вас теперь свежая копейка в управе, а у меня в кафе. Вот завтра же и повезу туда и свежие пирожки, и ваш мед.

— Бросай к черту это кафе! — рассердился Рогиня.— Разве для тебя эта работа? Там каждый проходимец будет пялить глаза на твое личико.

— Если найду лучшую службу, тогда брошу,— беззаботно ответила Яринка.

«Неужели копейка или какой-то дьявол сбил ее с панталыку? И кто только разберется в этом Евином отродье и из чего высучено оно?»

А Яринка, вдруг забывая обо всем, радостно потянулась и руками, и станом вверх:

— Гуси летят! Гуси-гусенята, возьмите меня на крылята...

И что-то по-детски трогательное было в ее освещенной луной фигуре, что потянулась к небу; вначале оно отозвалось птичьим граем, а потом — гулом бомбовозов, отчего руки девушки опустились и сжались кулаки...

Утром Яринку повезла в город с затуманенными от слез глазами Василина Голубь. В шестнадцать лет ее, батрачку, вытолкнули замуж за того, кто людей подстерегал с обрезом, а жену на всякий случай и кнутом стегал, и нагайкой. Был он из тех жестокосердных, которые придерживались дикого старинного поверья: если муж жену не бьет, то у нее утроба гниет. Когда он подходил к хате, Василина цепенела от страха.

В семнадцать лет Василина стала вдовой и снова понесла внаем и свои руки, и молодость, на которую уже за-

рилось не одно сластолюбивое око: ведь вдова же. Еще хорошо, что в своем бессчастье она обладала силой косаря и могла отбиваться от нечестивых ухажеров.

И только на хуторе старого Магазанника наступило для нее более спокойное время: все лето пчела покачивала цвет, напевно журчали воды и тихо-тихо сновали по ставку птицы, расклевывая вечернюю и утреннюю зарю. У Василины сердце замирало, когда из камышей выплывала какая-нибудь утка, а к ней пугливо жался, разбрызгиваясь и снова собираясь возле матери, мохнатенький, словно ветка вербового цвета, выводок. А как славно было сесть в челн и рукой грести к белым лилиям!

Вот так и проходила здесь ее загубленная, с тяпкой в руке, молодость, между скотиной, пчелой и перелетной птицей.

А молодые лета требовали своего, и уже по вечерам ей снова и снова мерещился скрип колыбели, и колыбелью покачивалась хата, погружаясь в сон, где тоже грезились детские голоса. Наверное, только поэтому, уже в безрассудстве, Василина чуть было не вышла замуж за проходимца из соседнего села. Дознавшись о его истинных намерениях, она впала в отчаяние и стала любовницей Семена Магазанника. Вдову безжалостно осуждали женщины, называя самыми язвительными словами, не щадя ее даже при детях. Для своего горького бесчестья она находила какое-то оправдание — только один у нее был за все годы, хотя даже он не верил в это.

Вот и выходит: пошатнется честь один раз, а потом ее постоянно будут топтать сапожищами да чесать про тебя языками. Наконец, и на это она бы махнула рукой, лишь бы дождаться ребенка. Но если не было счастья с детства, не будет его и до гроба...

А теперь, в душе, Василина оплакивала судьбу молодого командира. Она так горевала над ним, так ухаживала за его запущенными ранами, что через какое-то время он стал, казалось, для нее сыном, даже обращаться стала к нему с теми давними ласковыми словами: мое дитя...

И вот снова неутешное горе и у нее, и у его матери. Если б можно было, она отдала бы свою жизнь, чтобы спасти командира с такой хорошей фамилией — Човняр. Човняр! И перед ее мысленным взором неожиданно качнулся челн и тот ставочек из давнего, где очищались воды, а камыш покрывался туманом. На ресницах Василины задрожали слезы, она смахнула их и повернула коней в лес, где дремали тени и сизо дымилась ежевика.

— Куда вы, тетушка? — удивилась Ярина, удивились и ямочки под ее бровями.

— Подожди, скажу,— едва слышно ответила Василина. Она соскочила с воза и стала снимать шлею с притихшего коня, а на ее сморщенных устах дрожала скорбь.

«Что ж это такое?» — забеспокоилась девушка, приглядываясь и к Василине, и к лошадям, а потом тоже соскочила на землю.

Женщина подошла к ней и посмотрела таким горестным взглядом выплаканных очей, словно добиралась и боялась добраться до тайн души.

— Яринка, ты, верно, и не знаешь, что я тебя когда-то носила на руках?

— Не знаю.

— А теперь уже и твои руки должны кого-то носить.

— Ой, тетушка, не надо об этом,— вспыхнула девушка.

— Не буду,— согласилась Василина.— Только скажи: это правда, что ты должна стать или стала уже шинкаркой?

— Правда, тетушка.

Ужас блеснул в глазах женщины.

— А ты о своем завтрашнем дне подумала?

— Зачем вам об этом думать...— прячет глаза девушка.

Василина запнулась, сетка морщин возле уст задергалась, но она сдержала себя и уже одной болью спросила:

— Ты знаешь, какими словами и до сих пор обзывают меня из-за проклятого Магазанника? Знаешь?

— Знаю,— прошептала Ярина и вздрогнула.

— Так зачем же ты идешь в кабак, да еще чужеземный? Что он, гибельный, тебе даст? Грешный рубль? Сегодня ты станешь там прислугой, и сегодня же тебя обзовут самыми гадкими словами, которых не смоешь до смерти. Ко мне давно пристали эти вековечные позорные клейма, но не хочу, чтобы ты их носила. Так вот, дитя, опомнись и, пока не поздно, возвращайся домой.

— Нельзя, тетушка,— с горечью сказала Яринка, беспомощно опустила руки и краешком глаза увидела, как на паутине, что охватила куст барбариса, высыхает роса.

— Сейчас еще можно, дитя,— убеждает ее женщина.— А потом — и не попадайся на глаза людям, на людской суд. Чего тебя тянет туда?

— Так надо,— не нашла ничего лучшего ответить девушка.

Василина встрепенулась, морщины собрались на ее лбу, надежда загорелась во взгляде.

— Так надо, говоришь?
— Эге ж...
— Верить тебе? — спросила, уже поверив.
— Верьте.
— Взяла ношу на плечи?
— Взяла.
Василина печально покачала головой.
— Тогда больше ни о чем не спрашиваю, только каждый день буду думать о тебе, о твоей святой душе.
У Ярины задрожали, забились ресницы.
— Думайте, тетушка, а то даже мама и та только ругала да проклинала меня.
И обе заплакали — Василина из жалости к тому, что выпало на долю девушке, а та из жалости к обкраденной женской доле.

XXIV

Каким глуповатым ни был Терешко, а сообразил все же сказать в крайсе, что не он, а староста поймал Човняра, и уже через несколько дней за голову Човняра Магазанник получил желанный хуторок с садочком, сенокосом и ставком. Это был первый выданный немцами надел земли. Ох как не хотелось, чтобы люди знали, какой ценой достался ему хутор! Но тут уже верховодил не кто-нибудь, а сам Оникий Безбородько, который поклялся выкорчевать в своем крайсе и корни, и семена «социалистического евангелия». А чем же его можно корчевать, если не оружием и частной собственностью? Сама история записала на своих скрижалях, что за святую земельку крестьянин... и родному брату проламывал голову. Вот за эту же земельку не пожалеет он теперь головы партизана или подпольщика. Так думал и так всюду говорил Безбородько, сожалея, что новая власть положила малую цену за большевистские головы — от тысячи оккупационных марок до шести гектаров земли.
А Магазаннику Безбородько вырвал хуторок у самого гебитсландвирта. Вручали ему грамоту на владение землей публично, чтобы еще кому-нибудь захотелось стать хуторянином. Село на сходку сзывали десятские и звоном колоколов. Ох, эти колокола старой звонницы, что и до сих пор пахнет зерном и воском. Не радость, а смятение и страх вселяли они в растревоженную душу старосты. Зачем вся эта комедия? Дали бы втихомолку хуторок, да и

будь здоров. Ан нет, надо выставить тебя на людское бесчестие, чтобы кто-нибудь потом и угостил свинцом.

Получая грамоту от самого гебитсландвирта, возле которого неподвижным идолом стоял комендант гестапо, Магазанник прятал от людей глаза, но не мог спрятать ушей и несколько раз слыхал, как шелестела молчаливая сходка страшным словом: «Иуда... Иуда... Иуда...»

Такого позора и срама он еще не знал.

И тогда вдруг вспомнился рассказ церковных нищих об Иуде, Люцифера верном сыне, что сидит у него на коленях, а свой кошелек с тридцатью сребрениками держит в руке. И страх прошлого, и страх настоящего тисками сжали его сердце, а со лба начал скатываться холодный пот: и он не хотел держаться на новоиспеченном хуторянине. В оцепенении, словно сквозь вьюгу, доносились до него разглагольствования Безбородько, что теперь священный долг крестьянина — производить как можно больше хлеба и других сельскохозяйственных продуктов для нужд немецкой армии.

— Те общественные хозяйства, которые докажут нам свою надежность и трудовую честь, немецкое сельскохозяйственное управление превратит в хлеборобские союзы. А далее уже прямой путь к вековечной крестьянской мечте — к собственному наделу.

И на это тут же откликнулся чей-то знакомый голос:

— Дождешься, полоумный, два метра личного надела.

«Кто же это? Неужели Лаврин Гримич?» Староста поворачивает отяжелевшую голову и встречает полный презрения и ненависти взгляд скирдоправа. Господи, откуда столько неистовства появилось в глазах такого смирного человека?

После сходки гебитсландвирт, крайсландвирт и комендант гестапо сразу же уехали в крайс, а с Магазанником остался Безбородько и весь незваный сброд, что притащился с ним на гульбище. Все они, кроме Рогини, которого насильно затащили на обед, шумно поздравляли хуторянина, желали ему богатства с земли, с росы да с воды, а хуторянину думалось об одном: рассеял он свои дни, как темную росу, и залез в петлю.

В хате шла гулянка, а в душе — похороны, и нельзя было их утопить ни в заморских винах, ни в домашнем самогоне. Вот бы забраться куда-нибудь, хоть на край света, чтобы забылось все...

Когда сытость смягчила жестокосердие начальника вспомогательной полиции Квасюка, он под грохот печной

заслонки, валька и скалки станцевал трепака, а затем, поблескивая двумя обоймами металлических зубов, начал просить Безбородько, чтобы тот спел лирницкую, как когда-то, при большевиках, распевал на ярмарках и базарах. Проголодавшийся Безбородько, стараясь возле телятины, отмахнулся от приставалы, даже блеснул ученостью:

— Мой желудок, наверное, желудок орла, ибо он больше всего любит мясо ягненка. Так говорил Заратустра.

— Так дайте работу не только желудку, но и голосу,— домогался своего начальник полиции.

Тогда Безбородько расстегнул суконную, с кожаной мережкой куртку, чтобы все видели орден «За храбрость и заслуги», внимательно обвел желтыми печатями глаз сборище, взмахнул руками так, словно он держит лиру, сгорбился и низким басом умело повел старинное слово, которое сразу же запало печалью в пропащие души:

Зійшла зоря посеред моря —
Ой то не зоря, лишь свята Варвара.

До неї сам хруль залицяв,
Святій Варварі подарунок обіцяв.

І казав він слугам злотá накопати,
Святій Варварі подарунок післати.

Свята Варвара подарунка не брала,
Бо йому жоною бути не гадала.

А круль сказав слугам срібла накопати,
Святій Варварі подарунок післати.

Свята Варвара срібла-золота не брала,
Бо йому жоною бути не гадала.

А круль сказав слугам скла надробити
І святій Варварі по тім склі ходити.

— Господи милостивий, стань мені до поруки,
Не дай терпіти невиннії муки.

Зіслав господь янгола з неба:
— Уступай, Варваро, на те скло, бо треба.

Свята Варвара на скло наступила,
А жодної краплі крові не вронила...

И вдруг мертвую тишину, которая воцарилась в доме, разорвало надрывное всхлипывание крайсагронома Рогини.

— Очнитесь, пан. Отчего вы так расстроились? — растерянно спросил его Магазанник.

— Варвары мы, богом и людьми проклятые варвары! — вытирал рукой потускневшие глаза Рогиня.— Измученная Варвара ни одной капли крови не уронила. Мы же эту кровь ежедневно квартами цедим, а мозги заливаем вонючим самогоном. Так кто мы после этого?

— Скажи, скажи, злоязычник, кто мы такие?! — окрысился на него начальник вспомогательной полиции с приплюснутыми ушами и с плоским лбом, на котором сразу же от бровей ботвой топорщились волосы.

— Не клади руку на смерть, она сама положит на тебя свою,— не испугался Рогиня, когда полицай рванулся пятерней к кобуре.— А кто мы, скажу. Начну с тебя. Должен был ты, страшилище, родиться человеком, а вылупился чертом.

— Замолчи, отступник, а то навеки заснешь! А перед этим и сукровицей зарыдаешь! — Квасюковой крови стало тесно в жилах, и они, набухая, начали пауками пробиваться на лице.

— А я не хочу молчать,— очнулся, словно из оцепенения вышел, Рогиня.— Потому что страшны в мире тревоги и страшны печали.

— Вот сейчас ты и увидишь эти печали,— вытаращив свои косые студенистые глазки, Квасюк схватил агронома за шиворот и потащил из хаты.— Вот сейчас и узнаем, чей черт старше.

Рогиня, упираясь, не молчал, а еще и угрожал:

— Ты, ублюдок окаянный, думаешь заслужить серебряный крест второго класса? Заработаешь, только дубовый.

— Я тебе дам и дубовый, и осиновый! До седьмого колена вырежу твое отродье...— Осатаневший Квасюк вырвал из кобуры пистолет с инкрустированной рукояткой.

Но за Рогиню вступился Безбородько, не столько из любви к крайсагроному, сколько из ненависти к начальнику полиции, что перехватил у него место.

Пирушка была испорчена. Приспешники перессорились, переругались и вскоре уехали в город, оставив в хате чад табака, пота и поганых слов.

Вот и есть у тебя, хозяин, долгожданный хуторок. Не пойти ли хоть сейчас туда, а то завтра можешь опоздать. И, наверное, пошел бы, если бы не побоялся темноты и глаз Човняра, что всюду преследовали его. Не зная, куда девать себя, Магазанник послонялся по подворью, заглянул в просторную клуню, где на току, словно деды, си-

вели тяжелые снопы жита, которые завтра лягут под цепы; пальцами прикоснулся к колоскам, нашел между ними крохотную головку дикого мака, которая уже рассеяла свои семена, и вспомнил давний сочельник и опечаленного отца и услыхал его необычные слова: не утерял ли сын любви к житу, к красному маку в нем? И вдруг страшные цепы неотвратимости забесновались над Магазанником. Он вцепился обеими руками в один, в другой, в третий сноп, словно они могли вернуть ему то, что было навеки утрачено, а потом выскочил из клуни и, забыв запереть жилище, отправился к отцу Борису.

Неласковым взглядом встретил его старый батюшка, который, возвратившись с церковной службы, уткнулся не в священное писание, а в какую-то житейскую книгу. Вдыхая застоявшийся дух ладана, Магазанник растерянно остановился в дверях.

— Я к вам, отче.

— Чего вам, пан староста? Подати или налоги привели?

Это раньше он был для батюшки ребенком, отроком, юношей, Семеном, а теперь стал паном старостой. Даже поп отделяет его от людей.

— Прошу вас, преподобный отче, отслужить панихиду...— запнулся Магазанник.

— Панихиду? По кому? Неужели по сыну? — смягчился воск старческого лица.

— Да нет, не по сыну... По одному человеку... По Човняру.

— По Човняру? Которого ты отдал за хуторок?

Магазанник безнадежно махнул рукой:

— Так уж случилось, батюшка. Не ты носишь корни — корни носят тебя...

— А кто-нибудь и подрубает корни людские,— снова уткнулся старик в книгу.

— Вот вам деньги за панихиду,— и Магазанник положил на стол чужие бумажки.

— Забери свои деньги, пан староста.

— Это почему же?

— Забери!

— Но...

— Забери! — как заклинание, в третий раз сказал отец Борис.

И Магазанник должен был забрать деньги.

— А как с богослужением?

— Отслужу.

Магазанник еще помялся возле стола:

— Вы, батюшка, презираете меня?

— Ты спроси у сельчан: кто теперь не презирает тебя? Дети наши бьются с василиском, со скорпиею, а ты на торжищах житейских душегубством да обманом наживаешь землю. Не уродит она тебе ничего, кроме лиха.

У Магазанника пересохло во рту, пересохло и внутри. И тут наглотался позора под самую завязку.

— И что вы посоветуете?

— Почему же ты, пан староста, раньше у меня совета не спрашивал? А теперь скажу одно: сколько ни старайся, а вчерашний день не вернешь. И вчерашней воды не догонишь — со всеми грабителями и даже с самим Гитлером не догонишь.

Еще сентябрь мало думает об осени — под старыми придорожными липами жаром пышут золотые короны девясила, а в дуплах лип не поселились ветры. Вот только на сенокосах и в низинах скошенные отавы пахнут не столько травой, сколько свезенным сеном. Этим, верно, осень и похожа на старость: дух прожитого более властно колышется над ней, чем дух нынешнего дня.

Как сама старость, идет себе шляхом отец Борис, прощается с летом или с летами и все же несет в торбе целительные травы, ибо кто теперь достанет людям лекарства? В молодости отец Борис мечтал стать лекарем, но родители силком заставили единственное чадо пойти в попы. Вот и прошел его век между церковью и кладбищем, и только целебные травы теперь утешают старческие руки, напоминают о тех далеких годах, когда мечталось сделать людям больше добра, чем сделано.

Слева блеснула петляющая речечка, возле нее на лугу, в отаве пасется старый, отработавший свое конь; услыхав шаги, он подымает рябую голову и синим глазом, в котором залегла умная, прощающая человека печаль, смотрит на старика, потом, вздохнув, снова склоняется к отаве, что пахнет свезенным сеном. Позади затарахтела подвода, на ней неподвижно сидит Семен Магазанник. Вот с кем не хотелось бы встречаться ни на этом, ни на том свете.

— Садитесь, батюшка, подвезу! — еще издалека крикнул он.

— Тебе же не с руки.

— Ну и что?

— Езжай уж, пан староста, куда собрался.

— Пренебрегаете мной?

Старик помолчал и только теперь заметил, что в зеленоватых глазах Магазанника еще больше стало серого песчаника — тоже к осени идет. Уже миновав батюшку, староста вдруг остановил коней и ткнул кнутом в сторону притихшего хуторка:

— Батюшка, а что, если я отпишу хуторок церкви? Возьмете?

— Нет, пан староста, не возьму.

В голосе Магазанника зазвучала угроза:

— Смотрите, батюшка, чтобы не каялись потом!

— А ты не стращай меня,— чуть слышно ответил старик,— у меня уже вечереет в глазах, я прожил свой век и ничего не боюсь, кроме бога. Себя стращай и сам страшись.

— На что же вы надеетесь, батюшка, сегодня? — с нажимом вымолвил Магазанник последнее слово.

— Один бог знает, что будет завтра,— ответил на его слова отец Борис.— Ты лучше подумай, как в теле душу от черного духа спасти.

Староста еще что-то хотел сказать, но передумал, люто стеганул кнутом коня и исчез, словно черт, в облаке пыли.

Вот и его хуторок, его садочек, его ставок и отава. Стучат, падая на землю, яблоки, и стучит его растревоженное сердце, а сам он не знает, на каких жерновах, на каких мельницах можно размолоть свои грехи.

Когда-то давно такой сентябрьской порой он провожал на хутор отца. Тот медленно шел возле старых печальнооких волов с полыми рогами, что гудели в непогоду. Эту скотину уже давно надо было продать мясникам, но Мирону жаль было ее: она ж работала на хлеб. Старик, покачивая седой головой, прислушивался к тихим звукам предвечерья, к скрипу колес, к скрипу нагруженного на воз домашнего скарба и невесело радовался, что будет жить подальше от сына и его хитростей.

«И пусть живет отшельником — не будет каждый день мозолить глаза».

Из свежевыбеленной, что аж смеялась, хаты навстречу им выбежала разгоряченная от работы и печи Василина: молодость и задор чувствовались в каждом ее движении, а вокруг ее тугого стана вытанцовывала клетчатая юбка, и вытанцовывала возле нее молодая, с желтыми кукушкиными черевичками, отава. С головы молодицы соскользнул платок, и теперь затанцевали ее вьющиеся волосы золотой и поздней осени.

Василина недружелюбно покосилась на Семена и весело защебетала возле отца:

— Вот хорошо, что вы засветло приехали. Снимайте с волов ярма — да и к столу. Я уже вам чумацкую вечерю приготовила...

Для отца было кому приготовить и обычную, и чумацкую вечерю, а тебе теперь никто не приготовит; возись сам возле печи, как черт в пекле, толки беспрестанно страх в своей ступе, что когда-то была умной. Да куда подевался тот ум, погнавшись за лукавой копейкой?.. Раньше он не раз подсмеивался или насмехался над теми, кто жил хлебом насущным, трудами праведными да разными, как ему казалось, устаревшими добродетелями и не имел за душой ни копейки. И вот наконец что же вышло из его насмешек? Если бы только можно было вернуть утраченное время, вернуть отца, Василину — считай, и не надо ничего больше. А теперь хоть плыви, хоть бреди — все равно берега спасения нет.

Синей-синей чашей упал в глубину долины ставок, а в нем расцвели по-весеннему белые облака. Из камыша выплыла та самая уточка, за нею завьюнился тихий след. А вот какой след оставишь ты? Не слишком ли поздно начинает человек думать об этом?..

В селе, как с того света, глухо ударил колокол. Кого и для чего сзывает или по ком печалится он? И пусть печалится с теми, кто в селе, а ему хочется побыть наедине с самим собой, с тишиной, с последним стрекотом кузнечиков. Сейчас распряжет коней, достанет удочку, да и сядет в маленький челн, что словно выплыл из детства. От этой мысли даже полегчало внутри.

И вот уже торчком на воде стоит поплавок, и в камыши уплывает уточка, и за камышами стрекочут кузнечики, а из села, как с того света, все еще выплескивается медь колокола. Чего тебе, неугомонный? Кого ты хоронишь?

Зашевелился поплавок и пошел, и пошел, и пошел по воде! Магазанник дернул удилище — и в воздухе чистым серебром блеснула увесистая красноперка. А потом началось что-то неимоверное: только закинешь немудреную снасть — так и тянешь или карпика, или красноперку, или плотву. Ох, и выдался же день! И уже не слышно ни стрекотанья кузнечиков, ни медной печали колоколов, ни пофыркиванья коней, а только раздается посвист орехового удилища.

— Пан староста! Пан староста! — запыхавшись, кричит позади него полицай Терешко.

Магазанник сначала бросает в челн рыбину, а потом неохотно оборачивается к верному служаке.

— Что там у тебя, придурковатый, горит?

— Пан староста, ой, пан староста...— словно раздувая мехи, тяжело дышит Терешко и пятерней размазывает на лице пот.

— Чего ты одним словом подавился? Говори же что-нибудь!

— Пан староста, горит ваша хата!

— Ты что?! — сразу оторопел Магазанник, бросая взгляд то на Терешко, то вдаль, а ноги сами хотят бежать и не могут.

— Ей-богу, правду говорю.

— Какая же хата? — не может оторвать ног от челна.— В лесу или в селе?

— В селе.

Господи! А там же под подоконником, в стене, схоронено его золото. Хотя бы только крыша сгорела.

И лишь теперь Магазанник выскакивает из челна на берег, вглядывается в ту сторону, где между деревьями пробивается дым. У Магазанника от страха онемело сердце и застучали зубы.

— Кто же это мог сделать?

— Было бы добро, а поджигатель найдется,— и неожиданно Терешко по-глупому усмехнулся.— Вот ведь когда бежал к вам, слыхал, что говорили старые бабы. Кто-то из них своими глазами видел, как из трубы вашей хаты сначала клубами повалила черная пылища, из нее на огненном помеле вылетела молодая ведьма, а уже потом загорелась крыша.

— Бежим, Терешко!.. Кто-нибудь спасает хату?

— Считайте, что никто,— сами знаете, не доведи господь, какой пошел теперь народ,— сказал он, подминая сапогами самосейное жито.

Никогда в жизни Магазанник не видел такого пожара. Пылала хата, пылал возле нее орех, но никто из людей, кроме жандарма и трех полицаев, не прибежал на пожарище. Вот так, на безлюдье, и сгорело жилье, сгорели и те дубы, которые должны были выстоять два века.

Долго, до самой ночи, Магазанник, вороша железным прутом свое пожарище, даже приподымал с земли покалеченных, почерневших скифских и половецких баб. Но спрятанного так и не нашел: или кто-то из полицаев выхватил его, или оно стекло в огне золотой слезой...

XXV

Весь в пыли и копоти, обессиленный и озлобленный, Магазанник одиноко плетется с пожарища на дворик соседки серпастобровой Одарки, что овдовела молодой и всю свою нежность и любовь перенесла на чужих детей. С тех пор, как в селе открыли детский сад, в нем сияют и тревожатся карие, в золотой оправе, глаза вдовы. А захворает какой-нибудь малыш,— Одарка и днюет и ночует возле него, и что ей тогда своя хата, свой неухоженный огород, если надо облегчить чьи-то страдания?

Добротой ее бессовестно пользовались нечестивцы, и не раз бывало так, что к весне вдова оставалась не только без хлеба, но даже и без картофеля. Ну и что за беда?

— Бестолочь я,— посетует на себя, грустно усмехнется, да и снова к детям — несет им и радость, и заботу, и бархатный голос, что не только «Люлі, люлі» или «Журавку» выводит. Как запоет Одарка, бывало, на какой-нибудь гулянке «На добраніч та всім на ніч» или «Там на горі в Почаєві зоря ясна стала», так и старые, и малые заслушаются. Но и обрезать и взглядом, и словом могла, как бритвой, особенно некоторых назойливых. Тогда в ее глазах сверкала такая цыганская ярость, что и самым отчаянным становилось не по себе.

Сватались к вдове добрые люди, да она зареклась больше не выходить замуж, считая, что человек один раз рождается, один раз и любить должен. Любила она — света не видела, и весь мир льнул к ней, когда был жив Петро Раздольский. А не стало Петра, осталась верной его памяти.

«Каких только причуд не бывает у женщин: одна всю жизнь верна мертвому, а другая всю жизнь обманывает живого»,— черт знает что лезет в очумелую от чада голову Магазанника. Подойдя к хате вдовы, он несколько раз клацнул щеколдой.

Одарка, очевидно, уже спала, так как не скоро зашаркала по хате, застучала дверью и испуганно спросила из сеней:

— Кто там?

— Твой сосед. Открой, Одарка,— устало попросил Магазанник.

— Пан староста? — удивление и насмешка сливаются в ее голосе.— Чего вам ночью?

— Откроешь, тогда скажу.

Вдова отодвинула засов, открыла двери и стала на пороге. От расплетенных кос, что рассыпались вокруг жен-

ского стана, повеяло теплом сна или снотворным зельем. И хоть в темноте не было видно Одаркиных очей, но он все равно видел ее дугастые брови чародейки. Да жаль, линяют они.

— Смелая же ты. Видно, нет страха в душе, и никого не прячешь у себя.

— А вы, пан староста, ко мне на разведку пришли? — с издевкой спросила вдова. Куда и девался бархат ее голоса.— Чего вам?

— Какие-то злодеи сожгли мою хату,— начал говорить так, словно Одарка ничего не знала о пожаре.

— Огонь находит свое место,— загадочно сказала вдова.— Так чего вам?

— Разве не догадываешься? Хочу переночевать у тебя, а то куда мне деваться теперь?

Одарка ужаснулась:

— Что вы, пан староста, говорите! Разве ж можно вам остаться у меня?

Магазанник едва сдержал злость:

— Почему ж нельзя? Жалеешь свой топчан? Кровати уж не прошу.

— А вы подумали, какая обо мне завтра дурная слава пойдет?

— Одарко, мы же соседи с тобой! Да и кто о тебе скажет плохое слово?

— Сразу же найдутся такие песиголовцы, что начнут глумиться. Ведь что для злого языка женская честь? Идите, пан староста.

Магазанник понимает, почему чурается его Одарка, однако еще спрашивает ее:

— Так, значит, не пустишь на ночлег?

— До конца своей жизни!

И староста вспыхивает:

— А я, чумовая, кому-нибудь укорочу и жизнь, и язык. Сто болячек тебе!

— Болячки могут вскочить у того, кто ими разбрасывается,— ответила Одарка, крутнулась перед самым носом старосты, хлопнула дверью, грохнула засовом, и ее шаги затихли в хате.

«Погоди, ведьма ротатая! Ты, видно, из-за своего нрава и дитятем не разрешилась. Завтра дождешься от меня отплаты! По-иному запоешь, когда погонят твою коровушку в крайс»,— лютуя, он выходит на улицу, обходит свое пожарище, минует потревоженных каменных баб, что пахнут паленым, и не знает, к кому постучать; мало у него было

приязни к людям, не было ее к нему и у них. Вот разве что зайти к деду Гордию? Тот, душа сговорчивая, и кого надо, и кого не надо приютит, даже цыгана ярмарочного.

Старик, не допытываясь, кто стучит, быстро открыл двери, белея полотняной одеждой, стал на пороге.

— О, это ты, пан староста?

У Магазанника шевельнулось подозрение:

— А вы, дед, кого-то ждали?

Старик вздохнул:

— Ждал и не ждал, пан староста.

Магазанник не выдержал:

— Дед, какой я вам пан староста?

— Как и всем,— понуро ответил старик.

— А кого вы ждали?

— Да вот передавали люди, что внук Василь в лагере от истощения доходит. Так жена подалась туда выкупить его, может, он и донесет свою душу домой. А ты с какой же стати ночей недосыпаешь?

Магазанник почувствовал в голосе старика скрытую насмешку.

— Пришел вот к вам ночь досыпать.

— Это ж как? — насторожился дед.

— Просто мне теперь негде переночевать. Пустите?

— Нет, не пущу, пан староста,— решительно сказал старик.

— Почему же?!

— Потому, прости, что негде. У нас кровать стоит для старухи, топчанчик для меня, а тебя ж на полу, да еще и на лежалой соломе, не положишь, ведь ты пан староста.

— Я могу и на полу. Бросите камыша или соломы, застелете рядном...

— Эге, а что потом твое начальство скажет? Зачем мне из-за этого ссориться с ним? Иди уж к кому-нибудь другому.

— Я пойду, но завтра вы придете ко мне в управу,— угрозой зазвучало каждое слово.— А не придете, насильно приведут.

И вдруг, совсем неожиданно, Гордий попросил:

— Сними-ка, Семен, сапоги.

— Это ж для чего? — вытаращился Магазанник.

— Когда снимешь сапоги, я гляну, что у тебя, ступни или копыта.

Мотнув полотняным одеянием, старик исчезает в сенях, а Магазанник еще какую-то минуту стоит у порога.

Ненависть волнами разливается по его телу, туманит голову, и к нему по-кошачьи крадется испуг. Что же случилось за эти дни?..

Он хорошо знает: село еще и до сих пор не оправилось от страха. Подавленное, ошеломленное фашистским нашествием, оно теперь сторонилось всех и всего, и, кажется, каждый живет в нем сам по себе. Наверное, так и надо фашисту: жестокостью и страхом загнать каждого в собственное дупло, чтоб не роилось общественное. Разве не помнит он, как люди выбирали его старостой? Молча, без единого слова, словно это были тени, а не люди. А вот выдал он Човняра — и тени начали оживать. Выходит, и у страха есть свои границы и свой конец.

Магазанник медленно ковыляет из Гордиева подворья на улицу. Он снова подходит к пожарищу, бьет сапогом ненавистных каменных баб, ворошит головешки и неожиданно слышит, как что-то зазвенело. Господи, неужели это нашлось его золото? Согнувшись, он запускает руку в пепел, но находит не золото, а обгоревший кусок цепи. Только цепи и не хватало ему!

От пожарища он медленно идет к своему дубовому рубленому амбару. Тут возле порога стоят новые, еще не окованные колеса, а под стрехой сушатся связки отборной кукурузы. Она тоже пропахла дымом. Мамалыги из нее уже не сваришь. При воспоминании о мамалыге ему сразу захотелось есть. Он отпирает дверь и входит в привычную теплоту амбара, в котором кроме жита-пшеницы хранятся невыделанные кожи, свежие семена конопли, мака, льна и стоит несколько оплетенных лозой бутылей с подсолнечным маслом.

Когда-то, еще в молодости, бывали у него в этом амбаре по вечерам и волнения, и хмель любви. Тогда тут с девичьих кос опадали цветы подснежника, ромашки, чернобривцев — это уж какая пора стояла на дворе. Эх, давно выветрился запах тех подснежников, той ромашки, чернобривцев, а сейчас слышен только дух подсолнечного масла, что пойдет на продажу.

Может, снова, как когда-то, переночевать здесь и хоть во сне вернуться в далекие годы? А кто-нибудь запрет снаружи амбар и подожжет тебя и твой запасец? На ум некстати приходят полузабытые слова: «И нет злому на всей земле бесконечной веселого дома». Ох, уж эта литература и все ее сантименты! А разве не злые властвуют сейчас во всем мире? Если же у тебя пустота в душе, и вся земля становится пустыней.

Магазанник на всякий случай внес в амбар колеса, запер его и огородом подался к сапожнику Максиму Калюжному, который никогда не вылезал из долгов. Как прижмешь его, он рысцой побежит из хаты в хату собирать новый долг, чтобы отдать старый. И до сих пор Максим должен ему триста рублей за телку, которую взял под залог. Но разве вчерашние триста рублей сравнишь с сегодняшними?

Еще со двора Магазанник слышит в хате Калюжного приглушенный гомон. Он осторожно подкрадывается к оконцу каморки и сквозь него чует запах дыма и горилки. Так и есть, глупый голоштанник Калюжный гонит самогон, который ждет уже целая капелла.

— Ваше здоровье, люди добрые,— дрожит приятный тенорок мягкосердечного Максима.— Хоть и теплый он, но настоящий.

— Память им отшибешь, так все меньше будут жать...

— Пейте, кум, без политики, а то политика пропащее дело.

— Какая же это политика? Вот сказал один дядько при немце, думая, что он не понимает по-нашему: «Ох и жмут так жмут!» А немец и окрысился на него: «Кто тебя жмет? Новая власть?» — «Нет, новые сапоги»,— ответил дядько. «Так ты же босой!» — «Потому и босой, что жмут»,— вовремя спохватился дядько.

— Ха-ха-ха!

— Выпьем же, люди, как на сочельник, за тех, кто в дороге. Пусть им легонько икнется.

— Господи, когда только возвратятся они?! — невыразимой тоской зазвучал женский, со слезой, голос.

— Не надо, жена. В слезах горя не утопишь.

Зазвенели чарки, и тишина надолго воцарилась в каморке: видно, каждый думал о своих сыновьях. Магазанник подошел к дверям, постучал раз, второй, третий, и только тогда откликнулся дрожащий тенорок Максима:

— Это кто так поздно?

— Я, Максим.

— Кто «я»?

— Семен Магазанник. Уже не узнаешь?

— Теперь и родного батьку не узнаешь. Такое время... Чего вам?

— Так и будем разговаривать через дверь?

Максим вздохнул, что-то тихонько сказал в каморку и начал открывать двери. Вот он и стоит против Магазанника, низенький, взлохмаченный, сникший.

— Не думалось и не гадалось, чтобы ко мне так поздно сам пан староста заглянул.

— Почему же не прийти к хорошему человеку? Как тебе живется?

— Да...— не знает, что ответить, хозяин.— Уже и не сапожничаю. Вот сегодня подпорками укрепил хату, а то в лес теперь не сунешься.

— Ну, а капает хорошо?

— Вы откуда знаете? — еще больше смущается Максим.— Наверное, полицай Терешко пронюхал. Он, бисова душа, почему-то придирается и придирается ко мне. Может, и вы первачка хлебнете?

— Спасибо, попробую твоего добра. А я пришел к тебе переночевать.

— Переночевать?! — даже глаза вылупил Максим.— Как же это?

— А так, как слышишь, потому что нет у меня уже хаты. Найдется у тебя какой-нибудь топчан?

— Я, пан староста, и не против, да ко мне как раз родня наехала, по доброй чарке выпили и тоже ночевать устраиваются,— явно врет и даже не заикается Максим.

— Зачем же родня съехалась к тебе?

— А кто же им смастерит постолы, как не я?

— Загордился ты, загордился.

— Такое выдумаете. А ночлег поищите где-нибудь в другом месте, такое уж дело с родней вышло.

— И где ты посоветуешь поискать этот ночлег? — едва сдерживает злость Магазанник.

— Где? Да хотя бы у Терешко. У него места много: и жена сбежала от него, и винтовка при нем. Да и вы уже будто родней стали при новой власти.

— Я тебе, голодранец, припомню и ночлег, и родню, да так припомню, что ты и детям закажешь насмехаться. А пока что утром принеси свой долг. Смотри, только утром, а то днем будет поздно! Слышишь?

— Не оглох еще! — так наершился должник, словно кто-то подменил его.— Не оглох! — и закрыл двери.

Надо же такого дождаться от какого-то злыдня! И снова Магазанник идет мертвыми улицами и огородами, на которых пробивается осень. Проходя мимо колокольни, он слышит, как скрипят от ветра ее косточки, как тихой жалобой на кого-то звенят колокола, и второй раз думает о похоронном звоне по своей душе.

Позади послышались шаги: кто-то догоняет его. Мага-

занник прижался к чьему-то опутанному огородными плетьми тыну, выхватил пистолет.

— Пан староста, это я,— запыхавшись, задребезжал голос Максима, и Магазанник остановился.

— Чего тебе?

— Вот вам долг! — и Калюжный презрительно протянул руку, в которой сжимал несколько бумажек.

— Где так быстро наскреб денег? — удивился и даже растерялся Магазанник.

— Люди скинулись в шапку, то есть родня моя.

Магазанник сердито засовывает деньги в карман и молча удаляется в темноту.

Подвыпивший, с засаленными губами Терешко, что как раз уплетал поросенка, и вправду встречает Магазанника словно родню, только удивляется, почему пан староста не пошел ночевать к Одарке.

— Не пустила.

— Не пустила?! — выпучил глаза Терешко.— Вас — и не пустила?

— Еще и норов показала. Завтра надо забрать ее корову за неуплату податей.

— Утром я возьмусь за нее, анафемскую! Я ей пришью и прилатаю. Дешево не откупится она,— веселится Терешко, который почему-то имеет зуб на вдову, и ставит на стол бутыль с самогоном, режет свежую грудинку, хлеб, сам жарит яичницу и все горюет, что не напали на след поджигателя.— Я бы его живого освежевал. Поднимаю чарку за то, чтобы утихли все ваши боли.

— А не слишком ли много ты этого пития уничтожаешь?

— При нашем деле иначе нельзя,— потупил хмельное око Терешко в чарку.— То ты идешь в гости, то сам гостей встречаешь, то за партизанами охотишься, то допрашиваешь какого-нибудь типа до полусмерти. А что же за допрос без горилки? И чью-то кровь надо залить горилкой, чтобы не стояла в глазах...— И с опаской взглянул на искривленные с кровавыми отблесками окна и на сморщенные стены, где вырисовывались то химеры, то лица истязаемых пытками.

Утром Магазанник проснулся от нестерпимого зуда. Закатав рукава, он увидел на руках пятнистую россыпь красных бугорков.

— Почесуха,— сразу определил Терешко.— Видать, на нервной почве. Начешетесь теперь вволю.

— А чем ее можно лечить?

— Лекарств много, только толку мало,— и Терешко снова начал ставить на стол бутыль, чарки, миски с салом, огурцами и капустой.— Извините, что у меня по-простому, никаких сластей нет, потому как жена сбесилась и сбежала к родителям, не хочет с полицаем жить. Еще и она, дуреха, в политику лезет. Вот и кручусь одиноким. Вы и на обед приходите. Я из общественного хозяйства притащу кабанчика, вот и полакомимся свежениной.— Чавкая, Терешко приглядывается не столько к старосте, сколько к горилке.

Не успели выпить по второй, как на крыльце забухали шаги, затем открылись двери и в хату вошел хмурый, с десятизарядкой на плече, полицай. Магазанник, не веря своим глазам, поднялся и не то вскрикнул, не то застонал:

— Степочка!

Перед ним стоял его сын, с обветренным лицом, злой и постаревший. На шее у него морщинился шрам.

— Сам, своей собственной персоной, добрел до вас,— невесело заиграл мельничками ресниц Степочка.— Так мы, тато, стали погорельцами, и вообче?

— Беда! — вздохнул Магазанник, обнял сына, посадил за стол.— Видишь, у чужих людей уже ночую.

— И не нашли поджигателей?

— Нет.

— Сегодня же перетряхнем все село, как пучок соломы, и у кого-нибудь заиграет шкура, словно бубен! — хищным стало лицо Степочки.

— Что верно, то верно,— охотно согласился Терешко.— Так я пошел организовывать нашу братву.

Когда Терешко вышел, Степочка настороженно поглядел на отца:

— Кроме домашней утвари, у нас ничего не пропало?

— Если бы так...— перешел на шепот Магазанник.— Все золото погибло.

— Все?! — даже замер Степочка и недоверчиво поглядел на отца.— И то, что возле барсуков закопали?

— И то...— Магазанник уронил голову на руки, словно в отчаянии, в то же время думая, какой у него пронырливый сын: все-таки выследил один тайник.

— Тато, выходит, вы не рассовали золото по разным тайникам?

— Рассовал было, а потом собрал вместе в хате. Лучше бы и я с ним сгорел. Всю жизнь собирал тебе копеечку.

— Не надо так убиваться.— Степочка верит, а больше не верит отцу, потому что знает, какой тот хитрец и ску-

пердяй: всегда таился от него с богатством.— А вы хорошо переворошили пепелище?

— Целый день, до самой ночи ковырялся.

— Поковыряюсь и я. А потом, тато, надо снова нацеливаться на золото, ведь при любой власти оно капитал.

— Как же ты думаешь нацеливаться?

— Способы найдутся, пока мы у власти, и вообче.

«Степочка у власти»,— с интересом, по-иному, взглянул Магазанник на сына, который в это время набивал рот едой и работал челюстями, как жерновами. Что-то новое, нетерпеливое, жадное появилось на его лице, а жидковатая синька глаз стала более хищной. Да кто не становится хищным из тех, кто хочет разжиться золотом?

— А как ты, сыну, в полиции оказался?

— Бежал от дыма, а попал в полымя,— презрительно махнул рукой Степочка, но погодя добавил: — И, думаю, правильно сделал, а то самого бы полиция затаскала как бывшего активиста. Когда принимали на новую службу, сказал, сколько сотворил бумаг в тридцать седьмом году.

Магазанник скривился: был у Степочки не ум, а умишко, умишко и остался.

— Вот этого и не надо было говорить: что родилось в темноте, пусть и погибнет в темноте.

— Не бойтесь, тато, надо показать свои заслуги перед новой властью. Немцы такое любят. Ну, так пошли в старостат?

— А что у тебя на шее?

Степочка сразу скривил рот:

— Это у меня память от Бондаренко, уже, слава богу, подсохло. Еще где-нибудь встретимся с ним.

Когда Магазанники вышли на Терешково подворье, к ним бросилась взволнованная Одарка:

— Пан староста, у меня полицаи корову забрали. За что такая напасть?

— Вот тебе нá! Почему же они у тебя забрали корову? — Семен делает вид, что ничего не знает.

— За невыполненные поставки.

Магазанник беспомощно развел руками:

— Тогда ничем помочь не могу.

— Но еще ни у кого не брали.

— С кого-то надо начинать, хотя бы в назидание, ведь немецкая власть дело серьезное.

— Так я выполню свое. Заберите подтелка.

— Об этом надо было раньше думать,— и Магазанник выходит на улицу, отмахиваясь рукой от женщины.

Степочка, остановившись, придерживает вдову возле калитки, воровато оглядывается, подмигивает и поучающе говорит:

— Хоть перед богом рыдай, но и он знает, что слезы — вода. Сама виновата, получила за свою гордость. Теперь главное: сгибайся, тогда не сломишься, и вообче. А чтобы облегчить свою долю, сейчас же рассчитайся с податями да еще отцу какую-нибудь взятку принеси. Вот тогда и будешь пить молочко.

Он спокойно кладет пятерню на блузку женщины, та бьет его по руке, шипит: «Жеребец». Но полицай, не сердясь, гогочет, греховно ощупывает женщину глазами.

— Чего, бестолковый, вытаращился? — переходит в ярость Одарка, вспыхивает ее острый цыганский взгляд.— На какую-нибудь уличную таращи буркалы!

— Не будь, Одарко, такой привередливой, в войну и на женскую красоту упала цена. А ты, если подумать, не нагулялась в девках, и вообче... Бросай свой мороку да прижмись к моему боку.

— Паскуда! Каков отец, таков и сын, из черта черт и вылупится.

И вдруг на жидкую синьку Степочкиных зенок наползла сизость злости.

— Замолчи, горластая!

Он отступил, сорвал с плеча винтовку. Одарка вскрикнула, отскочила к воротам. Прогремел выстрел. На придорожной вербе застрекотала сорока и, теряя перья, начала падать на землю.

— Вот, запомни: первый раз бью по стрекотливой, а второй — по горластой! — злобно поглядел на женщину, повернулся, хлопнул калиткой и подался догонять отца, который видел и заигрывания, и гнев сына.

«Степочка у власти...»

XXVI

Если сам Гитлер обозвал всемогущего Германа Геринга свиньей, то почему жандармский обер-ефрейтор Ганс Шпекман должен церемониться с туземцами-полицаями, которые так и норовят вместо службы что-то стащить или надуться самогона? Потому полицаи только и слышат от него «швайне» и еще раз «швайне», а иногда и исковерканный мат, который у них вызывает не страх, а добродушный хохот. За постоянное «швайне» полицаи прозвали

Шпекмана Кабанусом, в чем, может, и был какой-то смысл, так как, лютуя, обер-ефрейтор истекал слюной, как вышеозначенный вид парнокопытных.

Неведомо почему обер-ефрейтор во вверенном ему селе и до сих пор держит полицейскую стражу под куполом колокольни. Чего он боится, если немцы, как заверяет радио, уже подошли к Москве? Полицаям на колокольне тоскливо до чертиков: там не с кем перемолвиться словом, негде размять ноги, нельзя и в дурака сыграть, и чарку выпить, чтобы не схватить от обер-ефрейтора резиновой дубинки. Единственное развлечение — семечки. Потому на окружающих огородах и откручены головы чуть ли не у всех подсолнухов. Если же какая-нибудь хозяйка поднимет шум, ее сразу успокаивают Терешковым словом:

— Нечего жалеть подсолнухов, лучше пожалей глупую голову, ибо она у тебя одна.

Хозяйка что-то проворчит — и скорей в хату.

Вот и сейчас торчат двое служак на галерее колокольни и в руках держат не винтовки, а головы подсолнухов. По улице проходит молодица, и полицай полицая толкает локтем под бок:

— Посмотри, Калистрат, какие ножки!

— Это, Мусий, только нам и остается, что смотреть на чужие ножки,— вздыхает гусаковатый Калистрат, у которого сморщенные губы и отвисший, словно лежалое яйцо, подбородок.

— Отчего же так мало?

— А разве ж теперь хоть одна девушка захочет постоять с нами?

— Пожалуй, нет,— соглашается Калистрат.— Были мы когда-то для них парубками, а стали головорезами. И что имеем за это? Удары дубинкой и «швайне» от обер-ефрейтора. И зачем мы пошли в полицаи своего хлеба искать? О, кажется, несут черти обера!

Полицаи мгновенно бросают прямо на землю головы подсолнухов, хватаются за оружие и становятся с ним возле окна, приглядываясь к улице, по которой, поблескивая полумесяцем бляхи, на трехколесном мотоцикле мчит с переводчиком обер-ефрейтор. Вот он поворачивает свою таратайку к погосту, останавливает ее у дверей колокольни и по пересохшим ступенькам топает к полицаям, за ним осторожно плетется желторотый, с петушиной шеей переводчик Ксянда, который где-то научился болтать по-немецки и так густо одеколонит свои прилизанные волосы, что даже полицаи чумеют от этого.

— Гутен таг! — переводит дух обер-ефрейтор; взойдя на верхнюю ступеньку, он поправляет свою бляху, с которой напрасно пытается взлететь вдавленный в нее орел.

— Вам обер-ефрейтор говорит «добрый день»,— черт знает для чего переводит Ксянда и широко расставляет палки ног, чтобы быть похожим на своего повелителя.

Полицаи по-ефрейторски, винтовками, приветствуют насупленное начальство, и оно остается довольным, что-то говорит Ксянде, а тот сразу же по-воробьиному чирикает:

— Герр обер-ефрейтор спрашивает — не было ли чего-нибудь заслуживающего внимания на вашем посту?

— Ничего такого, извините, не было на нашем высоком посту,— отвечает Калистрат,— а вот на земле мужики, извините, не хотят идти на работу.

Ксянда переводит, обер-ефрейтор брезгливо морщится, едва перебрасывает слова через отвислую губу:

— Пусть крайсландвирт меньше сидит в своем кабинете да меньше интересуется картинами.

Этих слов Ксянда не переводит полицаям, а только лихо поправляет немецкий высокий картуз. Вот если бы еще серебряные позументы к нему, то и Ксянда сошел бы за начальство: вся одежда у него ненашенская, и даже кобуру он носит на впалом животе, как пан обер-ефрейтор. Обер-ефрейтор подходит к окну, еще шире расставляет упитанные ноги, а к вечно недовольным глазам прикладывает массивный бинокль. К нему приближаются безграничные поля этих скифов, которые должны покориться рейху. А потом всех их надо поставить подряд и одному рубить голову, а другого оставлять живым, иначе из них не выкорчуешь большевизма. Что такое большевизм, Ганс Шпекман не очень понимает, но знает, что население большевистской страны надо уничтожить наполовину, даже этих полицаев нужно стрелять через одного, чтобы остальные верно служили.

Второе окно приблизило лес, но обер-ефрейтор недолго смотрел на него, так как недавно едва унес голову из этого проклятого места. Из-за него три дня животом болел,— и невольно коснулся рукой ремня, стягивавшего живот.

А из третьего окна увидел болото, куда еще надо поехать поохотиться на уток. В прошлый раз он целую коляску настрелял их, пришлось Ксянде пешком идти в крайс. И вдруг обер-ефрейтор забеспокоился, повторяя одно и то же слово:

— Миколка! Миколка! — и передал бинокль Калистрату.

Тот приложил его к глазам, покрутил колесики, удивился:

— Правда, Оксанин Миколка.

— Зачем он там снова ходит? — начинает гневаться обер-ефрейтор.

— Наверное, извините, корову пасет — он же подпасок.

— Корову! Корову! — передразнивает обер-ефрейтор.— Свиньи вы! Я и на охоте видел его с полной торбой, и теперь с полной. Что там может быть?

— Извините, наверное, харчи,— разводит Калистрат клешнеобразными руками.

— Этих харчей на десять человек хватит. Он, свинья, наверное, партизанам еду носит.

— Ворон ло́вите! — ругнул полицаев и Ксянда.

— Сейчас же к нему! Догоняйте нас на конях! — и обер-ефрейтор так и загромыхал по ступенькам, а за ним никак не мог угнаться тщедушный Ксянда.

Пыльными дорогами они доехали до татарского брода, на пароме переплыли на другую сторону, а потом по лугам да низинам добрались до краешка болота. Дальше ехать было небезопасно. Соскочив на землю, начали внимательно осматривать местность, а Миколка будто сквозь землю провалился. Подъехали на конях и полицаи. Они тоже не увидели мальчика.

— Где же его корова?! — набросился на них обер-ефрейтор.— Свиньи вы, пьяные свиньи и еще раз свиньи! Вот здесь будете ждать его хоть неделю. Должен же он выйти из болота!

— Извините, наверное, выйдет,— глубокомысленно изрек Калистрат.— А если попадет в трясину, то не выйдет.

Замаскировав мотоцикл под кустом волчьих ягод, оберефрейтор выбрался на более сухое место и приказал полицаям подстелить ему осоки из одинокой копенки, а сообразительный Ксянда догадался даже примоститься на ней: тут он не проворонит мальчика, если только тот появится. И не прозевал: часа через два на болоте появилась фигура Миколки. Мальчик осторожно петлял между кустами ольхи, крушины и зарослями болотной травы. Ксянда довольно хихикнул, так как он, а не полицаи, первым увидел мальчика, еще и заметил, что торба теперь была пустая. Куда же он девал харчи? Неужели и вправду на болоте скрываются партизаны? Ксянда еще раз хихикнул, на сухощавом огузке съехал с копны, лег животом на землю и торопливо пополз к своему начальству, от которого тоже не раз схватывал «швайне». Он так привык к этому

слову, что ему и свинья теперь стала казаться благородным животным.

— Пан обер-ефрейтор, преступник идет прямехонько в ваши руки,— ткнул пальцем вперед и вытянул из кобуры пистолет, которым наловчился владеть.

Обер-ефрейтор поднялся, увидел Миколку и упал на землю, схватившись руками за автомат. Потом Ксянда передал приказ жандарма полицаям, и те поползли по траве, чтобы отрезать Миколке путь к отступлению.

А мальчонка идет себе, глядя под ноги, и не догадывается, какая опасность подстерегает его. Вот уже закончилось гиблое место. Миколка усмехнулся, рукавом вытер лоб, снял картузик, и золотистые кудри зашевелились под солнцем. А в это время возле него словно из-под земли выросли забрызганные грязью, измотанные полицаи:

— Руки вверх!

Миколка вскрикнул, рванулся назад, в болото, но было поздно — через мгновение он птицей забился в сильных руках полицаев, а к нему уже шли и обер-ефрейтор, и Ксянда с пистолетом в руке. Крепко держа мальчика за плечи, полицаи поставили его перед обер-ефрейтором. Вперед, пряча пистолет в кобуру, вышел Ксянда. У предателя от радости вздрагивали ноздри и странные губы — одна навеки подскочила до самого носа, а вторая, разгневавшись, вывернулась книзу. Он вытаращился на Миколку точнехонько так, как обер-ефрейтор таращился на полицаев.

— Куда ходил? Говори одну правду! Мы все знаем,— и наступил ботинком Миколке на ногу: надо сразу выжать показания.

Мальчик не по-детски сурово посмотрел на прислужника, не по-детски ответил:

— Чего ж говорить, если вы все знаете? Не наступайте, дядько, на ногу, ведь и ваша не вечная.

— Подлец! — сразу возмутился и покраснел Ксянда.— Как ты, мерзавец, со старшими разговариваешь? Где был?!

— На болоте.

— А кому еду носил? Партизанам?

— А разве партизаны в болоте сидят? Они в лесу орудуют.

Ксянда перевел слова Миколки обер-ефрейтору. Тот взвился и ударил мальчика по щеке. С уголка рта Миколки потекла кровь.

— Говори, где партизаны?

Миколка презрительно взглянул на своего мучителя.

— Я ничего не знаю.

Обер-ефрейтор еще раз ударил Миколку по лицу, а потом заорал на полицаев:

— На колокольню, свиньи!

Таща Миколку за руки, он метнулся к мотоциклу, втолкнул мальчика в коляску, а потом туда забрался Ксянда, намертво обхватив Миколку руками. Обер-ефрейтор тут же погнал мотоцикл к татарскому броду, а за ним на конях помчались полицаи.

В приселке Миколку с жандармами и Ксяндой увидела тетка Олена и оцепенела возле плетня.

— Тетушка, скажите маме, что меня поймали на болоте! — крикнул мальчик.

Ксянда ударил его и закрыл рот руками, что тоже нестерпимо пахли дешевыми духами...

Над селом зазвонил большой колокол, а по улицам забегали полицаи, созывая людей на сходку. Когда погост заполнили мужчины и женщины, на галерею колокольни, держа за руку окровавленного, в изорванной одежде Миколку, вышли Ксянда и обер-ефрейтор, за ними из дверей выглядывали притихшие Калистрат и Мусий. Жандарм платочком вытер ладонь и, разъяренный, выкрикнул какие-то гневные слова, из которых люди поняли только одно: «швайне».

Ксянда начал переводить, уменьшив при этом количество свиней:

— Паны хлеборобы, сегодня наш обер-ефрейтор поймал на болоте преступника, который имеет связь с партизанами, но не хочет в этом сознаться, как мы его ни допрашивали и на болоте, и вот здесь, на колокольне, возле святых колоколов. Поэтому обращаемся к вам: скажите, где скрываются партизаны. Если не скажете, обер-ефрейтор сам сбросит преступника с колокольни, а уже внизу и костей его никто не соберет. Приговор герра обер-ефрейтора твердый и окончательный.

Толпа вздрогнула, заплакали, заголосили женщины, а жандарм еще что-то гаркнул и взглянул на часы.

— Наш высокоуважаемый обер-ефрейтор сказал, что он ждет ровно десять минут. Люди, не проявляйте легкомыслия, спасайте мальчика, он ведь малый, глупый. Мать его, значит, Оксана Артеменко, тут есть?

В толпе послышался вскрик:

— Я скажу!

Люди расступились, давая дорогу побелевшей, как снег, Оксане.

— Мама!..— закричал Миколка, бросаясь к поручням галереи, но Ксянда рванул его к себе и обеими руками зажал мальчику рот.

Словно тронутая, бежала и падала на ступеньки колокольни Оксана. День померк в ее глазах, на них наплывали и наплывали тени, она все наталкивалась то на стены колокольни, то на перила. В изнеможении поднялась к колоколам, возвела на них померкшие глаза и увидела тот колокол, который когда-то напоминал ей деда Корния. Нет уже деда, нет Ярослава, уже и ее час пришел.

— Какая красивая женщина! — удивился обер-ефрейтор, даже немного вытянулся, что-то прикинул в уме и снова начал платочком вытирать руки, которые щемило после пыток Миколки.

— За беззаконие ее можно законно и в крайс отправить,— угодливо и цинично улыбнулся жабьим ртом Ксянда.

Пошатываясь, Оксана подошла к Миколке, обняла его, крепко прижала к себе, и мальчик ощутил все материнское горе, боль, любовь, отчаяние и словно забыл о себе.

— Не надо, мама, не надо! Молчите, мама, вы же такая хорошая у меня,— уткнулся в ее грудь и заплакал.

— Ой, дитя мое, хоть ты не добивай меня. Пусть эти убьют... Прощай, сыну,— опустила голову на его кудри.— Беги домой, беги к тате, иначе нельзя...— Она толкнула сына к ступенькам, и он застучал по ним вниз. Обер-ефрейтор рванулся за Миколкой, но передумал, прогибая доски галереи, подошел к женщине и спросил:

— Я понял, что пани нам скажет, где партизаны?

— Герр обер-ефрейтор спрашивает: не покажешь ли ты место, где скрываются партизаны?

Оксана, не помня себя, поднимает голову, взгляд ее ищет и не находит Миколки.

— Слышишь, что говорит обер-ефрейтор?

— Чего тебе, ублюдочный? — с болью спросила одними губами.

Ксянда вспыхнул, но сдержал себя.

— Спрашивают: не покажешь ли место, где партизаны?

— Должна показать.

— Много их там? — встрепенулся Ксянда.

— Двое, и те раненые.

— Почему же ты раньше об этом не сказала полиции?

Ксянда перевел обер-ефрейтору, тот быстро затараторил, показал пальцем на проем, из которого начинались ступеньки.

— Веди!

— Веди! — повторил Ксянда.

Оксана вытерла слезы, подошла к ступенькам и, держась за поручни, падая на них, начала спускаться вниз. За ней по пересохшим ступенькам бухал сапожищами обер-ефрейтор, за ним спускался клешненогий Ксянда, а потом помрачневшие полицаи. Старая колокольня вздрагивала от их шагов и потрескивала ветхими бревнами, а из глубинных отсеков ее пахло застарелым воском и зерном, как и тогда, когда был жив Ярослав...

И две ночи, как два крыла, налетели, обвили Оксану: первая ночь встречи, а вторая — прощания... Разве жизнь наша не встречи и прощания?

На челне принесли его в ту страшную ночь, а теперь пришел страшный день, вгоняющий ее в дерево колокольни, а потом — в сухой исшарканный грунт кладбища. Людские глаза вскинулись на женщину, следили за ней, а ей хотелось упасть на землю, заголосить, зарыдать на весь мир. Да что наши слезы в час прощания?..

Запекшиеся уста сами прошептали: «Деточки мои, дети», а глаза искали Миколку, Стаха, хотя уже не узнавали никого. Только шумом отозвались ей кладбищенские деревья, что вырастают из праха людей...

Дойдя до болота, Оксана оглянулась на приселок, на село и ничего, кроме колокольни, не увидела. Обер-ефрейтор приказал ей идти впереди, сам с автоматом в руках шагал за нею, далее семенил Ксянда, а позади неохотно плелись полицаи, ибо понимали, что настанет час — и их спросят, за кем они охотились.

— Там ведь только раненые. Зачем они вам? — еще раз попыталась вымолить чью-то долю Оксана и в ответ услыхала то же самое:

— Веди. Раненые и к нераненым приведут.

Топкая земля сначала дурманила голову запахами болотных трав, потом зачавкала, покрываясь то желтой, то черной водой, потом начала расползаться и стонать изнутри. Казалось, что это подавали голоса те, что нашли себе тут могилу. Теперь даже проворный Ксянда притих, отстал от полицаев, с огорчением приглядываясь к забрызганным сапогам и щеголеватым, из чужого сукна, штанам. А Оксана шла, пошатываясь от горя, изредка оборачивалась, рукой показывала, где надо обойти опасное место.

И это вызывало не только удивление, но и доверие. Если они найдут партизан, то не покарают ни ее, ни ее ребенка.

Вдруг Ксянда вскрикнул, по пояс погрузившись в болото. Полицаи выхватили его и наорали: какого черта отошел от следа!

—Так надо ж было...— тихо пояснил им Ксянда.

— Прислушивайся, дурень, как смертью чавкает болото.

Через какое-то время вышли на более сухое место, с крохотными рахитичными ростками ольхи, и у всех притупилось чувство опасности. Теперь обер-ефрейтор повесил автомат на шею и пошел за Оксаной.

— Еще далеко? — задыхаясь, спросил обер-ефрейтор и надушенным носовым платком начал вытирать пот со лба.

— Еще далеко? — перевел Ксянда, удрученно глядя на свою обувь и одежду.

Оксана молча шла дальше, обходя провисшие прогалинки топей и кое-как залатанные зелеными нитями полыньи смерти, над которыми даже комары не мельтешили.

— Еще далеко? — повторил жандарм, уже ошалевший от дурманящих испарений топей.

— Успеешь,— не оборачиваясь бросила Оксана.

Вот на нее с ярко-зеленой скатерти мха голубыми глазами глянули незабудки. Женщина будто хотела нагнуться к ним, но внезапно отступила в сторону, а обер-ефрейтор шагнул прямо. И вдруг неистовый крик разорвал тишину над болотом. Провалился мох, на котором выросли незабудки, провалились и незабудки, жирно чавкнула черная, как деготь, грязь и жадно начала засасывать жандарма. Он руками хватался за края своей могилы и с визгом умолял «свиней», чтобы они спасали его. Трухлявый торфяник обваливался под руками, и полицаи не решались подойти к своему начальнику, не подошел и Ксянда. И последним словом обер-ефрейтора было: «Свиньи!» Только теперь, когда над трясиной, поглотившей жандарма, осталась лишь его фуражка, спохватившись, полицаи увидели, как удаляется от них Оксана. Ксянда первым крикнул:

— Стреляйте, стреляйте! — и выхватил из кобуры пистолет.

Полицаи, подняв винтовки, выстрелили вверх, да не вверх выстрелил Ксянда. Оксана вскрикнула, обернулась к приселку, к селу, к своим бродам, но не их увидела она, а только верхушку колокольни, на которую почему-то падало солнце. Затем и солнце, и день померкли в ее глазах...

XXVII

Два дня над лесами кружила «рама», ощупывая их светом ракет. Два дня длился ожесточенный бой партизан с карателями. Два дня не было покоя ни деревьям, ни людям, ни коням. Мучительнее всего умирали кони: на их молчаливые слезы не могли смотреть и бывалые воины, которые не раз глядели смерти в лицо.

За эти дни карателям удалось гаубицами и пушками искалечить немало леса и добраться до линии обороны, которая окружала партизанский лагерь. И тогда внезапно им в спину ударили из «максима» близнецы Гримичи и те засады, которые устроил Сагайдак со стороны заболоченной местности, куда не решился полезть враг. Попав между двух огней, каратели заметались, разбились на группы и, оставляя на поле боя оружие и убитых, бросились на опушку. Не спасли их и танки, которые двинулись было вперед: самодельная мина системы «ДБ» (Данило Бондаренко) порвала первому траки, и очумевшие танкисты, открыв люк, начали из дыма и чада прыгать на землю. Тут они и нашли свою смерть.

В этом бою уцелели только автомашины, которые не сунулись в леса, а стояли в поле по обе стороны дороги. На них живые положили мертвых и, съежившись под дождем, помчались в крайс. Нелегко было, особенно молодым солдатам, смотреть на убитых, лежавших в кузовах. Их подбрасывало на выбоинах, и они, казалось, оживали и разбрызгивали из глазниц слезы дождя.

— Это Германия плачет,— обхватив голову грязными руками, пробормотал молоденький сизоглазый фаненюнкер.

— Замолчи, ты, баба! — И кулак лейтенанта поднял ему голову, да не вышиб растерянности из души фаненюнкера.

— Это Германия плачет,— снова повторил он, и теперь лейтенанту стало жутко от этих слов. А может, и вправду Германия плачет по своим сынам, которые неведомо зачем пришли сюда? И он испуганно оглянулся: не догадался ли кто-нибудь, о чем он подумал?..

А в это время партизаны, простившись с товарищами, что полегли в бою, выстроились на поляне, недалеко от землянок. На правом фланге под красным знаменем стоял Михайло Чигирин, за ним вытянулись бойцы с автоматами, ручными пулеметами, винтовками — своими и трофейными; у одних вместо поясов были пулеметные ленты, у

других с ремней свисали гроздья гранат, с которых падали и падали капли дождя. А заключала строй одинокая девичья фигура Мирославы Сердюк с карабином на плече и санитарной сумкой за плечами. Губы ее припухли, а ресницы и до сих пор не просохли от слез: сегодня впервые на ее руках умирали раненые, то шептавшие ей «сестричка», то просившие воды. Но какая она сестра, если только и умеет что забинтовать или смазать йодом рану.

В тишине взволнованно звучит первое слово Сагайдака: «Товарищи!» И замирает строй, особенно те, что недавно пришли из сел и города, где паскудное «пан» и «герр» отравляло душу.

— Спасибо вам, что так мужественно держались в этом бою, где на одного партизана шло десять карателей. Я верил, мы под прикрытием леса проучим их, но и побаивался, что кто-нибудь из новеньких может растеряться и с перепугу занять у зайца ноги. Все вы, все как один выдержали испытание. Мать Родина, люди, дети и внуки ваши будут гордиться вами. Вечная слава тем, кто отдал жизнь за Отчизну. Слава и вам, верные побратимы!..

Возле командирской землянки устанавливается знамя партизанского отряда, напоминая всем о боях. Отсюда, из глубины леса, отправляются дозоры на опушку, а партизаны разводят костры и вешают на сошки таганы, а вот там тихо-тихо, словно реквием из души самого леса, встрепенулась песня про того партизана, что навеки заснул под дубом.

Сагайдак и Чигирин обошли все заставы, все подразделения и постучали в дверь девичьей землянки. Через какую-то минуту отозвался голос Мирославы:

— Кто там?

— Это мы, доченька,— тихо сказал Чигирин.— Не спишь еще?

Застучал деревянный засов, Мирослава открыла дверь и пригласила к себе поздних гостей. В ее жилье не пахло ни землей, ни табаком, ни сыростью, в нем поселился дух тысячелистника и пижмы.

— Ждешь Данила?

— Жду, Зиновий Васильевич. Как ему там, на железной дороге?

— Будем надеяться на партизанское счастье,— сказал Сагайдак и поморщился.

— Рука? — сочувственно спросила Мирослава.

— Она. Эти дни было не до нее, вот и начала капризничать.

— Дайте хоть перебинтую.

— Да мы с Михайлом Ивановичем сами поколдуем возле нее.

— Послушай девушку! — хмурится Чигирин и продолжает уже с сожалением: — За боями забылось о ранении.

— Раздевайтесь,— приказала Мирослава.

Сагайдак снял китель, закатал рукава нижней сорочки. Мирослава осторожно размотала бинт, и Чигирина и ее сразу же встревожили подозрительные пятна вокруг раны.

— Как оно? — с надеждой спросил Сагайдак.

— Немедля же надо ехать за хирургом,— испуганно сказала Мирослава.— Немедля!

— Где же его взять, того хирурга? — задумался Сагайдак, искоса поглядывая на руку: «Вот напасть с тобою».

— Надо проскочить в район, к Попову. Это человек! — поглядел вдаль Чигирин.

— Кто же сможет проскочить сейчас?

— Только близнецы. Им удальства и находчивости не занимать.

— Пусть будет по-твоему,— махнул раненой рукой Сагайдак и снова поморщился...

Вскоре, чертыхаясь, Роман и Василь нацепили на рукава полицейские повязки, вскочили на тачанку, и добрые кони пошли размашистой рысью. За какие-то час-два близнецы домчались до шлагбаума, который преградил дорогу в темный, без единого огонька, город.

— Поднимайте, служивые, свою дубину! — крикнул Роман, размахивая кнутом.

Из будки, подняв фонарь, вышел полицай, за ним, позевывая, появился и второй.

— Кто там такой нетерпеливый? — поднял выше фонарь.

— Полицаи из Майдана.

— Пароль.

— Зад твой непоротый! — рассердился Роман.— Какой же дурень дает в села городской пароль? Хочешь, чтобы партизаны перехватили его? Пропускай без проволочки!

Это объяснение вполне удовлетворило полицая, он развязал веревку на конце шлагбаума, поднял его и, выворачивая челюсти от зевоты, поинтересовался:

— Куда же вас черти несут?

— Именно черти,— согласился Василь.— Нужен доктор, потому что такое дело...— И погнал коней к первому перекрестку, от которого вела дорога к больнице и к одноэтажному дому для врачей.

Василь и Роман знали, где живет знаменитый на всю округу хирург Попов, который лет двадцать уже работал в их районе. И кто и когда бы ни стучал в его дверь или окно, он сразу спешил на помощь.

Подъехав к оштукатуренному дому, Василь вожжами остановил коней, соскочил на землю, подошел к знакомому боковому окну и на миг заколебался: жаль было сна, а может, и жизни доктора. Но что делать? На его стук долго никто не отвечал. Это не похоже было на чуткого врача, который сразу же подымался с кровати. Да вот наконец в окне мелькнула тень, испуганный женский голос спросил:

— Кто там?

— К Александру Ивановичу приехали. Просим помочь больному.

— Александра Ивановича нет,— сквозь слезы ответила женщина.

— Где же он?

— Позавчера гестапо арестовало,— и залилась слезами...

На рассвете близнецы приехали в отряд и, решив не будить Сагайдака, прождали возле командирской землянки, пока из нее не вышел Чигирин. Он по лицам хлопцев понял, что их постигла неудача.

— Не захотел ехать к нам хирург?

— Хуже, Михайло Иванович: его арестовали.

К разговору присоединился Сагайдак. Он молча выслушал Романа, вздохнул, о чем-то подумал и сказал:

— Придется вам, хлопцы, вечером ехать в Балин.

— В Балин! — даже замутило близнецов — вспомнили историю с паскудным Кундриком. Очень-то им нужен этот Балин!

А Сагайдак спокойно продолжал:

— Там, за мостиком, на краю села, возле самого луга, одиноко стоит хата Ткачуков, в ней живут мать и дочь, Ольга. Она медсестра. Скажите, что я прошу ее приехать в отряд. К ним лучше подъехать с луга, через ворота, что выходят на выгон.

Близнецы только сокрушенно переглянулись и, нахмурившись, пошли к лесному озерку.

В сумерках они неохотно выехали на розыски какой-то загадочной медсестры. Им снова придется проезжать через мостик, за которым стоит та верба, где они покарали гнусного предателя.

— Погоняй, брат, погоняй, ничего не поделаешь,— под-

бадривал Василь Романа, который всегда любил ездить так, чтобы вожжи горели в руках.

— Нужен нам этот Балин, как зайцу бубен,— буркнул Роман и тронул коней.

По обе стороны дороги пролетали деревья, которые так хорошо просеивали осенними решетами крон серебро месяца. А вот и поля закачались, и к притихшей дороге подошла вся в чистом золоте дикая груша. А может, это сама осень остановилась в своих невеселых мыслях? Вот бы приехать домой, к отцу-матери, поставить лошадей в конюшню — и мигом на вечернюю улицу. Неужели это будет когда-нибудь? Неужели и к ним, «старым парубкам», прильнет девичье доверие и звездами засияют чьи-то очи? Глупые же они глупые, что до этого времени не познали тех чар, которые дарит только молодость... Нашел время думать о таком! Василь завозился возле пулемета и не заметил, как они подъехали к селу. Правда, близнецы не ожидали встречи с полицией: несколько дней тому назад их отряд разгромил группу полицаев, в которую входили и полицаи Балина. Во время этой операции шальная пуля и ранила Сагайдака. Видать, хуже стало человеку.

Под колесами прогремел старый деревянный мостик, под ним отдалось эхо и покатилось в сторону, а глаза и душу начали тревожить старые вербы; среди них была и та, что на всю жизнь запомнилась им.

Увидев одинокую хату, Роман повернул на луговую дорогу и по ней подъехал к подгнившим воротам, выходившим на выгон, раскрыл их, и тачанка легко подкатила к стожку сена, игравшему с луной и ветерком. Тут близнецы настороженно осмотрелись и плечом к плечу подошли к окну. На их стук не скоро отозвался перепуганный женский голос:

— Ой, кто это?

— От Зиновия Сагайдака.

— Правда, от Сагайдака?

— Ну конечно.

Вот заскрипели двери, стрельнула деревянная задвижка на дверях сеней, и на пороге встала немолодая женщина, из-под ее платка выбивался вечный снег. Она пристально посмотрела на близнецов, на тачанку и, будто давно знакомым, сказала:

— Заходите в хату, а я у коней постою.

Близнецы на ощупь нашли щеколду, открыли двери и, пораженные, остановились у косяка: к ним то ли из сна,

то ли из сказки, оберегая подсвеченной рукой шаткий лепесток огонька, шла не девушка, а сама краса. Как она глянула на них, как повела испуганными ресницами, как заиграли ямочки на смуглых щеках! А они, олухи, еще не хотели ехать сюда! Близнецы переглянулись и, растеряв все слова, снова вперили глаза в молодую хозяйку, которая босиком идет к ним и идти опасается.

— Здравствуйте вам,— вполголоса поздоровалась она, вскинула на хлопцев доверчивые глаза, остановилась, оберегая уже не лепесток огня, а разрез сорочки.— Так вы от Зиновия Васильевича? Ему что-то нужно?

— Наш командир просит, чтобы вы приехали в леса и осмотрели его рану,— насилу выдавил Роман.

— Зиновий Васильевич ранен?! — вскрикнула Ольга.— И тяжело?

— Наверное.

— А куда?

— В руку.

— Так я сейчас оденусь.

Ольга поставила каганчик на шесток, а сама, засуетившись, бросилась в каморку, там оделась-обулась и быстро вернулась в хату. А братья следили за каждым ее движением и изредка переглядывались между собой да покачивали чубатыми головами. Наконец Ольга вынула из сундука две сумки с медикаментами и сказала:

— Теперь можно ехать.— Взглядом прощания она окинула свое жилище и первой вышла из него, во дворе она поклонилась порогу так низко, что волосы ее коснулись мельничного круга.

— Судьба! — вздохнул Роман.

— Судьба! — согласился Василь.

Возле тачанки мать простилась с дочкой, всхлипнула и попросила близнецов:

— Вы ж смотрите, дети, за ней, ведь она у меня одна-единственная,— и перекрестила их, и коней, и тачанку, и даже пулемет.

Близнецы наклонились к матери, один поцеловал ее в одну щеку, другой в другую, вскочили на тачанку, на которой уже сидела поникшая Ольга.

— Прощайте, мама!

Тачанка потянула за собой материнский вопль и начала наматывать на колеса раздавленную росу, увлажненную пыль и лунную грусть.

За всю дорогу лишь несколькими словами перемолвились близнецы с Ольгой, веря и не веря, что они везут ее

в леса. А слово «судьба» звучало и звучало в душе и Романа, и Василя. Это ж надо вот так неожиданно!..

На рассвете утомленные кони подъехали к командирской землянке, возле которой, сгорбившись, сидел старый Чигирин. Недоброе предчувствие не давало ему спать, а в глазах стояли те зловещие пятна, которые видел он на руке Сагайдака. Поддерживая Ольгу, Чигирин осторожно спустился с нею в землянку, где возле стола уже сидел осунувшийся Сагайдак. Увидев Ольгу, он поднялся, радостно улыбнулся.

— Спасибо, доченька, что не побоялась ехать сюда.

А у Ольги даже слезы задрожали на ресницах: так поразила ее ранняя седина Сагайдака.

— Я же сама набивалась к вам,— прошептала побелевшими устами.— Как ваша рука?

— Да не очень чтобы очень. Видно, соскучилась по медицине. Так поколдуй мне,— сказал смущенно, будто провинился в чем-то.

Ольга сдержала вздох, незаметно вытерла слезы и начала раскладывать свои медицинские принадлежности. Затем тщательно вымыла руки, протерла хлорамином и осторожно стала разматывать бинты на руке Сагайдака. Вот и упали они на стол, оголив рану и зловещие красно-синие пятна. Глянул на них Сагайдак и поднял глаза на Ольгу. Та, кусая губы, ответила на немой вопрос:

— Гангрена. Надо немедленно...— И затихла, сдавленная болью и страхом.

— Что надо? Немедленно ампутировать? — глухо сказал то, что не могла сказать Ольга.

— Да.— И к Чигирину: — Как же привезти сюда хирурга?

— Нет его у нас и не знаем, где взять,— каменел Чигирин и каменело его слово.— Придется тебе самой стать хирургом.

— Какой же из меня хирург?! — вскрикнула Ольга.— Я только сестра, самая обыкновенная сестра...

Под глазами Чигирина задрожали веера морщин. Он переглянулся с командиром и одной печалью сказал Ольге:

— Хоть ты и самая обыкновенная сестра, а должна стать хирургом. Такое время.

— Не говорите так страшно. У меня... и никакого же у меня инструмента нет.

Сагайдак положил здоровую руку на плечо Ольги:

— Крепись, дочка, крепись! И, если нет другого спасения,— режь руку,— уже взглянул на нее, как на свою и

не свою.— Выходит, отработала она, что могла отработать.— И какие только горести, и какие только годы не всплыли в памяти и не промчались за какое-то мгновение, которое небольшой выбор тянуло за собой: увечье или небытие. «Сыны мои, сыны...» — только и сказал сам себе.

— Чем же, Зиновий Васильевич, оперировать?..— задрожала, заплакала Ольга, а волосы ее, где дремал сон, упали на карту, что зеленела на столе.

Сагайдак подумал, отогнал свои видения, внимательно посмотрел на нее.

— Если сможешь, орудуй обыкновенной ножовкой. Протри ее чем надо и пили. А мне, чтобы легче было, Михайло Иванович отпустит из своих запасов стакан горилки. Только плакать не надо — ты уже партизанка. Михайло Иванович, принесите ножовку.

Чигирин, согнувшись, вышел из землянки, и караульный с удивлением заметил, что он почему-то прикрывает рукой глаза...

Прошло несколько дней. Роман ночью охранял командирскую землянку, из которой теперь почти не выходила Ольга. После дежурства он пошел не в свое лесное жилье, а стал бродить по дубравам. Неподалеку от озерка его разыскал Василь и удивился, и встревожился: таким сникшим и осунувшимся он никогда не видел брата.

— Что с тобой, Роман? Может, захворал?

— Эх, лучше не спрашивай.

— Может, что-то с Ольгой?

— С Ольгой.

— Говори, брат.

— Что ж говорить? — чуть не застонал Роман.

— Все.

— Сегодня она призналась Сагайдаку, что любит его. Это ж надо, чтобы я такое услыхал...

После долгого молчания Василь глухо спросил:

— А как на это командир?

— Он назвал ее маленькой и сказал, что это у нее не любовь, а великодушная женская жалость, что не меньше стоит, чем любовь.

— Нелегкие он весы нашел для нас и для себя.

— А ей, думаешь, легче?.. Вот и разберись теперь, что такое судьба.

— Не разберешься, брат.

— И все равно мы ее будем любить...

Не отставая друг от друга, они уже молча брели по

опавшим листьям и примятым травам. На них обрушивались и обрушивались лесные шумы и стоны деревьев, обрушивалось золото солнца и осени. Да светило братьям не золото осени, а просвечивало из темени то трепетное, прикрытое женской рукой зернышко огня, с которым босиком шла к ним Ольга. И откуда ты взялась на нашу беду? И все равно мы будем любить тебя... Да нужна ли ей наша любовь?

А зернышко огонька колеблется и колеблется и уже, кажется, поднимается из лесной земли, словно цветок папоротника. И что этот цветок папоротника и все сокровища под ним против испуганных ресниц, которые оберегают женскую тайну, женскую привлекательность? И откуда ты взялась на нашу беду?..

Неожиданно близнецы натолкнулись на Данила Бондаренко, который с поникшей головой сидел на вырванном буреломом дереве. Что это с ним? Не случилось ли чего-нибудь с Мирославой?

Данило, увидев близнецов, медленно, словно после болезни, поднялся с дерева, молча кивнул братьям примятым чубом, в котором дрожал сухой листок.

— Что с вами, Данило Максимович?

— Не спрашивайте, хлопцы,— поморщился и с отвращением отпихнул от себя носком черную полицейскую шинель, которая почему-то лежала у его ног.

— Как же не спрашивать, когда печаль съедает вас?

— Не ест — пожирает. Такой еще не было. Вы знаете, была у меня злая година, а сейчас еще горше...— И умолк.

— Рассказывайте! — забеспокоились братья и стали с двух сторон возле Данила.

— О чем же рассказывать?! — вдруг на кого-то обозлился человек и снова сапогом пнул полицейскую одежду.— Ведь я должен напялить на себя чертову шкуру и стать полицаем. Весело?!

— Не очень,— переглянулись братья.— За что же вам такое наказание?

— Спросите у Сагайдака. Он заварил эту кашу. Лежит, со смертью борется, а всякую всячину выдумывает.

— Если сказал Сагайдак, то, выходит, так надо,— потупились братья.

— А мне легче от этого «надо»? Я лучше бы в самое пекло пошел драться с чертями, лишь бы только не надевать чертовской шкуры. Как на меня в ней посмотрят и что подумают люди?

— Да хорошего не подумают,— согласился Роман, перед глазами которого и до сих пор не гасло зернышко огня.— И все равно хорошо, что посылают вас, а не нас.

— Вот так так! — даже вздрогнул Данило и уже въедливо добавил: — Благодарю за искренность.

— Да вы не так нас поняли,— заволновался Василь.— Мы бы тоже пошли, если бы нас послали, но от этого было бы меньше толку: увидели бы какого-нибудь фашистского чина и сразу бы вогнали в него порцию свинца. А вы человек с выдержкой, вы скорее сжуете этот свинец, чем прежде времени выпустите его. Сагайдак — голова.

— Спасибо и за это,— не прояснилось лицо Данила.— Вы ж... невыдержанные, когда буду возвращаться в леса, смотрите не изрешетите эту чертову шкуру, которую мне сейчас надо натягивать на плечи. Пособляйте, хлопцы, а то сам не смогу.

— Очень нам нужны эти хлопоты,— будто недовольно забубнил Роман.— Давайте сожжем чертову шкуру.

— Как сожжем? — удивился Данило.

— Обыкновенно,— прячет глаза от него Роман.— Я разведу костер, Василь бросит в него это тряпье, а вы будете зрителем.

— Что же потом зрителю скажет Сагайдак?

— А это уже его дело. Мы сожжем, а вы отчитаетесь.

— Болтун! — махнул рукой Данило и наконец улыбнулся и снова нахмурился: — Все равно пойду сейчас к нему.

— Если не жалеете ног и гонора, то идите,— деланно вздохнул Роман.— Но уже ничто не поможет вам. Как мы только не просили не посылать Яринку в ту задрипанную корчму, все равно ничего, кроме стыда, не вышло.

— Чему быть, того не миновать, а худшего не прибавится,— и Данило, махнув рукой, пошел к землянке Сагайдака.

— А шинель? — крикнули близнецы.

Данило обернулся, с ненавистью глянул на черный, с раскинутыми рукавами ком.

— Пусть лежит, окаянная.

Возле землянки Сагайдака его радостно встретил Петро Саламаха, обхватил ручищами.

— Что такой веселый? — буркнул Данило.

— Потому что привез полную подводу мин,— Саламаха глазами показал на крытую лубом повозку, где из-под сена выглядывали противотанковые мины.— Когда вез по

бездорожью, душа дрожала, как заячий хвост, ибо, не зная, думалось: стоит одной из этих жестянок проснуться — и разнесет она Петра на кусочки. А ведь у меня женушка словно солнышко. Я ее дома на руках ношу.

— Такими ручищами и повредить можно.

— Вот не думал такое услышать от вас. А вы меня персонально уважать должны!

— Это ж по какому случаю даже персонально?

— Потому что я скоро буду вас как пана старшего полицая возить на мотоцикле!

— Вот как! Когда же это «скоро» будет?

— Как только раздобудут по мне полицейскую шинель, пока на мои плечи ни одна не налазит.

— Это все выдумки Сагайдака?

— А чьи же! Вот голова у человека! Так что, Данило Максимович, погуляем по тылам! Да как погуляем! — радостно улыбнулся Саламаха.

После этого у Данила сразу отпала охота идти к Сагайдаку, однако в сердцах он кольнул Саламаху:

— Погулять-то мы погуляем, а как же быть с твоей женушкой?

— Ну что ж, подождет немного. А может, когда-нибудь ночью и прибьемся к ней. Вот будет и писку, и визгу! — и засмеялся.

XXVIII

С железной дороги Михайло Чигирин возвратился не скоро, так как своего поезда партизаны дождались только на рассвете, когда туман из невидимых кувшинов затопил молоком и долину, и лес. Это одно. А другое — хотелось выхватить из горящих обломков железа и дерева какие-то трофеи, а главное — оружие. Но с оружием не повезло — со станции, рассекая прожекторами туман, против них шел бронепоезд, и уже под его огнем Чигирин наскочил на ящички с душистым, как мед, табаком. Ох, и обрадовались хлопцы, что разжились такой роскошью, а не каким-то там эрзацем, и сразу же, под обстрелом шрапнелью, закурили длиннющие цигарки.

В лагере Сагайдак поблагодарил всех подрывников, а Григорий Чигирин расцеловал отца, но потом все же не выдержал характера, тряхнул кучерявым снопом гороха, что буйно разросся на его голове, прищурил глаз и съязвил:

— И так уж вам, тато, не терпелось в ваши лета на железную дорогу топать?

— Я не топал, а ехал на возу, потому что жаль было своих сапог. И не делай меня таким старым. После войны сделаешь. Это тогда я буду отлеживать бока на печке и командовать мамой, чтобы она проворней из печки подавала на стол. Как тебе нравится такое благоденствие?

Григорий засмеялся, снова тряхнул всеми стручками своего гороха:

— Да уж вы как раз из тех, кто улежит на печке! Сразу броситесь в огонь — в председатели.

— Если доживу, то пойду,— согласился старик,— кто же должен землю поднимать, как не мы? — И обернулся к той призакатной стороне, где лежало его село. Отсеялось ли оно старыми руками? Да какой теперь сев? На левом плече мешок с зерном, бери зерно в правую руку — и сейся, родись, жито-пшеница, как сто лет тому. Такой сев из сентября перевалит на октябрь, а поздний ничего не родит, только зря хлеб изводит.

Григорий, верно, понял, что колобродит в голове отца, пригасил свои насмешечки.

— Вы, тато, сейчас отдыхайте да сил набирайтесь. Я тоже скоро пойду в землянку, а то вечером у меня работа,— и поклонился, то ли в шутку, то ли всерьез.

Старший Чигирин ласково посмотрел на сына.

— Не могу я днем заснуть, не научился за свой век. А вечером должен навестить маму.

— Снова чего-нибудь цыганить? — И Григорий показал в улыбке все свои зубы и щербинку.

— Без этого не обойдешься, интендантов у нас нет.

Легкая грусть легла на загорелое лицо Григория. Он оглянулся вокруг и тихо сказал:

— Вы поцелуйте маму. Скажите, что мы ее очень любим. И пусть не горюет без нас.

— Так она и послушает тебя,— хмыкнул Чигирин.— Еще мало ты знаешь нашу матерь.— И пошел в леса, в которых уже играли осенние шумы. А больше всего нравилось им разгуливать в осиннике, где каждый лист теперь чеканился, как золотой дукат.

Под стволами осин то тут то там красовались бархатные, подернутые свежей влагой шапки подосиновиков, а по пням венками высыпали первые опята; они, как детвора, были густо усыпаны мелкими веснушками. Значит, завтра можно сварить хлопцам суп с опятами. Не забыть

бы взять перцу у Марины. Как она там? — вздохнул Михайло.

Пройдя осинник, Чигирин, изумленный, остановился возле кудрявых дубков, между которыми ровно горели свечки берез: он увидел с десяток подснежников, которые наклонили к земле задумчивые головки. Из-под их верхней одежки проглядывали нижние, с зеленой подбивкой, рубашечки. Что-то трепетно-беззащитное было в этом весеннем цветке, который неведомо почему расцвел осенью.

«К счастью»,— говорят о таком позднем цветении люди. Да разве ж можно даже подумать о счастье в эту осень и зиму?

Эти осенние подснежники перенесли Чигирина к тем далеким весенним, когда он впервые встретился с Мариной. И защемило сердце у него, как в молодости щемит. Вот он нынче и принесет их своей жене.

Небо сегодня целый день терпеливо держало в своих торбах отяжелевшие тучи и только под самый вечер лениво начало рассеивать из них мелкий дождь. Да это даже и к лучшему: меньше будет разной погани слоняться по селу.

Снова лощинками, левадками да огородами пробирается Михайло Чигирин к своей хате, к своей Марине, которой несет небольшой букетик осенних подснежников. Как, наверное, удивится она, ведь мало кому приходится в сентябре видеть этих первенцев весны.

Вот уже и конопля их кадит терпким настоем, вот и изгородь, на которой от дождя раскисла привянувшая живица, вот и столб с надетыми на него кринками — они словно радуются, что в хате нет никого чужого.

Чигирин осторожно подходит к окну боковой стены, рукой успокаивает колотящееся сердце, прикасается к подснежникам, а потом той же рукой стучит в окно. Как долго тянется минута ожидания! Пора бы уже услыхать шорох Марининых ног, увидеть платок на ее и теперь еще черных волосах.

Да не слышно шагов в хате, нет и платка в окне. Верно, намаялась за день, крепко уснула. Он снова стучит в окно. И снова молчит хата, а в сердце змеей вползает недоброе предчувствие. И на третий зов жилище не ответило.

Не зная, что и думать, Чигирин пошел вдоль завалинки к дверям, осторожно коснулся щеколды — дверь сразу открылась. Он сначала испугался, а потом обрадовался: значит, Марина дома. Но почему она не заперлась на ночь?

Мертвая тишина стоит в хате.

— Марина, Марина! — зовет он, потом подходит к постели жены, на которой чуть ли не до потолка поднимаются подушки, тут же лежит темный платок.

В отчаянии Чигирин бросается в другую половину хаты, но и там никого нет, только старые кадушки тихим гулом отзываются на его голос.

«Что же случилось?!»

Страх охватил Чигирина, но тут же блеснула крохотная надежда: не ушла ли Марина почевать к матери? Может, захворала старуха, так кому же присмотреть за нею?

Заглянув еще в сарай, Чигирин снова огородами пробирается к тещиной хате, которая когда-то была похожа на веселое ласточкино гнездо. Здесь, радуясь, жили приветливые, добрые люди, и добрыми, красивыми и благожелательными были их дети, любящие труд и песню.

Чигирин долго прислушивается и присматривается, потом подходит к тому оконцу, возле которого когда-то стояла девичья кровать Марины, и трижды стучит в окно. Тут он сразу услыхал чьи-то шаги, потом, приподняв одеяло, к окну приникла старая Докия. Чигирин удивился: почему это из хаты пробивается свет? Что они так поздно делают? Мать как-то безнадежно кивнула ему головой и пошла открывать двери. На пороге он обнял старуху и шепотом спросил:

— Мама, Марина у вас?

— Ой, у меня, сыну,— зашлась она в рыданиях.— У меня и уже не у меня.

— Что с нею?! — От ужаса холодом сжало его сердце.

Докия на это ничего не ответила, а пропустила его в хату, где тусклый свет тревожно сходился с тьмой, в которой виднелось несколько женщин со скорбными лицами.

И тут Михайло увидел свою Марину. Она лежала в свежей темной одеже на двух рядом поставленных лавках, а у ее изголовья и на скрещенных руках горели восковые свечи.

Какая-то невидимая сила, темнота ударили Чигирина в грудь раз и другой. Он пошатнулся, застонал, впервые в жизни у него подкосились ноги, потому и не поднял рук к глазам, а опустил их к коленям. Прихрамывая, пошатываясь, он с трудом подошел к скамьям.

Вечный покой застыл на смуглом лице его жены, смерть выровняла ее неровные брови, под которыми залегла печаль. И вдруг в волосах жены он увидел седину, которой не было еще несколько дней тому назад. Выходит, не всю ее он забрал себе.

За окнами шелестел дождь, и, как дождь, падали слезы и слова матери:

— Приехали сегодня каратели из крайса. Ворвались в хату, схватили Марину и начали о тебе допрашивать. А она и не вздрогнула, и не заплакала; только одно им сказала: «Вы, изверги, такие мне ненавистные, что ничего не услышите от меня». Тогда фашист с бляхой на груди и застрелил ее из автомата. А поседела она уже мертвой, на моих руках...

Кусая губы, чтобы не заплакать, Чигирин поцеловал жену, поцеловал мать, припал головой к столу и, сдерживая стон, прижал руку к сердцу. Тут пальцы коснулись чего-то нежного, беззащитного. Это были осенние подснежники. Он вынул их из кармана, наклонился над Мариной, а с них на лицо ее слезой упала капля дождя или росы.

XXIX

Сегодня крайсландвирт Вернер Биркамп созвал на ужин одних туземцев. Это слово он очень любил повторять в своем кругу, так как взял его из лексикона самого фюрера: тот теперь часто говорил об Украине со своими приближенными.

В подогретом добрыми старыми винами мозгу крайсландвирта, кичившегося своей незаурядной памятью, проросли обрывки тех поучений, которыми за обедами Гитлер угощал свою верную элиту. Чего только не касался он! И войны, и политики, и искусства, и музыки, и архитектуры, и образа арийского Христа, и образа святого Павла, которого почему-то называл большевистским, и фараонов, и судьбы инков, и как готовить спартанский суп. Разумеется, все это надо помнить крайсландвирту, что вот-вот по милости генерал-комиссара получит должность гебитсландвирта. Но сейчас он прежде всего должен знать, что думает фюрер об Украине, потому что «нет другой страны, которая могла бы так снабдить всем Европу». Запомните — всем! «Где есть территория, на которой было бы железо такого качества? Где можно найти больше никеля, больше марганца, больше молибдена? На Украине есть такой марганец, какого нет даже в Америке».

— За ваше здоровье, достопочтенный пан крайсландвирт! — подобострастно подходит к нему тот семипудовый верзила, что зовется Оникием Безбородько, и хочет чокнуться.

Но хозяин движением руки, движением глаз, которые были устремлены в переносицу, и тонкой ниточкой насмешки дает понять Безбородько, что ему не по нраву восточные обычаи. Поднимай свой бокал, пей из него напиток, а не стучи музейным стеклом о стекло, ведь это портит ценности.

Безбородько покраснел, как рак, растерянно поглядел на начальников вспомогательной полиции и тюрьмы, но они, поглощенные едой и выпивкой, ничего не видели, даже тех украденных картин, на которых полуобнаженные женщины услаждают своими формами взоры мужчин.

«Чем же ты кичишься, пожирая не свой хлеб и присваивая чужое искусство? В старинных покоях моего отца томились красавицы не хуже! И кто, наконец, привез тебе воск на свечи, что так таинственно раздвигают полумрак твоей то ли резиденции, то ли музея? Или в твоей родословной больше поколений знатных предков? Тоже вряд ли!..» — И упрямая неподвижность застыла на лице Безбородько.

Герр крайсландвирт понял, что с этой тушей надо обращаться по-иному, чем с начальниками полиции и тюрьмы, и вот уже на его привянувшие веки и губы ложится подобие приязни.

— За вас, пан председатель, за вашу неутомимость. Как вам нравится моя Морена? — бросает взгляд на то краденое полотно, где на узкое женское лицо падала тень смерти.

Безбородько и хмельными глазами и чаркой потянулся к Морене, покачал головой:

— Мне не нравится этот запоздалый декаданс.

— Почему же? — удивился крайсландвирт, и превосходство отразилось в закруглениях его губ.

Безбородько заметил это и, не вдаваясь в тонкости искусства, ответил грубо, будто своим подчиненным:

— Потому что у этой Морены нет никаких женских прелестей, она такая истощенная, словно неделю не ела хлеба.

На эти слова крайсландвирт только безнадежно махнул рукой, а в голове его снова всплыли слова фюрера: «Мы будем снабжать хлебом Украины всех тех в Европе, кто будет нуждаться в нем. Крым даст нам цитрусовые, фрукты, хлопок и резину. Припятские топи будут снабжать тростником для бумаги. А за это украинцы получат цветастые шарфы, стеклянные бусы и все то, что любят колониальные народы. Немцы — это главное — будут здесь

составлять замкнутое общество, словно крепость. Даже наши конюхи должны быть выше, чем туземцы».

Так-так, если другим европейским странам фюрер дает права послушных вассалов, то Украина должна стать колонией, где поселятся двадцать миллионов хозяев из Германии, Голландии, Швеции, Норвегии и Дании.

Теперь крайсландвирту становится жалко украинской земли даже для голландцев, шведов, норвежцев и датчан. Обойдемся без них. Разве мало людского материала на Украине? Наоборот, его надо наполовину уничтожить, чтобы оставшихся держать в полной покорности. Тут земля должна принадлежать только немцам, а работать будут украинцы, да и то не все. Как об этом сказал фюрер?

Его мысли перебил низкорослый скуластый начальник вспомогательной полиции. Он порывисто поднялся с кресла в стиле барокко, преданно поклонился и преданно блеснул раскосыми глазами и двумя обоймами металлических зубов.

— Удостойте недостойного! — И обратился к гостям: — За мудрость нашего любимого герра крайсландвирта!

— За ваше здоровье, глубокоуважаемый пан,— на безукоризненном украинском языке ответил хозяин, а сам подумал: «Вот такой антропологический типаж прежде всего должен пойти в землю. На Украине должны остаться только те синеглазые туземцы, которые внешне будут похожи на арийцев. Думая о будущем великой Германии, уже сейчас надо работать над отбором людского материала на Украине». Он со смаком опрокинул чарку, поставил ее на антикварный, уставленный закусками столик.

А в это время гости, которые, побаиваясь хозяина, не решались вволю ни напиться, ни наесться, потихоньку подсмеивались над крайсландвиртом.

— Чарки-то какие! Больше по стеклу растечется, чем в рот попадет,— корчил рожу пучеглазый, с округлым синим румянцем на щеках начальник тюрьмы. Он и на ужин пришел с запасными тюремными ключами, чем немало порадовал крайсландвирта.

— Привыкай к культуре да сильнее зашнуровывай рот,— шипел, как рак в торбе, начальник биржи труда и кивал на Рогиню: — Вот кто навеки исхудает после такого ужина.

— На поминках больше пьют,— подкинул и свое словцо Безбородько.— Если тебя не веселит хмель, то не зови на него других.

— И сколько того хмеля? — недовольно поглядел Квасюк на служанку, которая из фарфорового кофейника уже начала разливать кофе.

— После этого давайте ко мне, там хоть подкидной и настоянная на укропе горилка развеселят нас,— шепчет начальник тюрьмы, которого за глаза справедливо называют и картежником, и кошатником.

Попрощавшись с гостями, крайсландвирт дружеским жестом руки задержал Рогиню:

— Пожалуйста, если возможно, останьтесь на минутку.

Крайсагроном удивленно взглянул на желтое дынеобразное лицо с отвислой челюстью и подошел ближе к Морене, что мертвым взглядом и всеми своими потусторонними красками кому-то предвещала небытие. Откуда ты, такая зловещая, появилась?

За гостями закрылись двери, и теперь крайсландвирт, улыбаясь Морене, вполглаза посмотрел на Рогиню:

— Хороша?

После молчания крайсагроном ответил:

— Страшная. Смерть напоминает.

Ответ удовлетворил Биркампа, он одобрительно кивнул головой.

— Людям и надо чаще напоминать о смерти: тогда они лучше будут исполнять свои обязанности.

— Кто его знает,— помрачнел Рогиня.— Обязанности на людей накладывает жизнь, и грех посвящать искусство смерти.

— О, да вы и философ! — вскинул брови на лоб крайсландвирт и посадил агронома за свой инкрустированный столик, налил рейнского, даже чокнулся. Через какое-то мгновение хозяин спросил: — Как вам, пан, живется, работается?

— Езжу из села в село,— неопределенно ответил агроном и насторожился: не узнал ли крайсландвирт, что он тайно переправил в леса еще несколько подвод хлеба? Этот поступок хоть немного успокаивал его заблудшую душу.

— Что-то вас, вижу, ни горилка, ни вино не развеселили.

— Такой уж у меня характер.— Рогиня, как сыч, втянул голову в плечи.

Крайсландвирт расстегнул тугой, из добротной серой шерсти, китель, бережно повесил его на спинку старинного кресла.

— Не хотят работать дядьки?

— Не хотят... такое время.

— Меня тоже удивляет непостижимое в поведении украинского хлебороба. Я тут жил несколько лет до первой войны, видел, как не только душой, но и зубами держался хлебороб за собственность, за землю. Большевики отобрали ее у него, мы же хотим осчастливить его собственностью, а он саботирует все наши мероприятия и даже идет в партизаны. Как это прикажете понимать?

— Нашего крестьянина не очень легко понять...— осторожно ответил крайсагроном и прикрыл насмешку веками.

— Пусть так. Но его немедленно надо заставить работать, иначе и он, и великая Германия останутся без хлеба.

— И это может быть,— согласился Рогиня, а сам усмехнулся в душе; разве он не знает, что крестьяне в его районе, кто как, а больше всего втихую, припасли себе хлебца? А фашистская Германия им до одного места.

— Я знаю, пан Рогиня, что вы ученый человек, знаю, что раньше не ценили вас, посмеивались над вашим увлечением антропологией и этнографией.

— Были и такие,— не очень охотно сказал Рогиня,— да и кому, кроме ученых, антропология не кажется причудой?

— Нет, нет, это высокая наука,— возразил крайсландвирт.— Я сам увлекался ею.

— Вы? — не поверил Рогиня.

— Пусть это вас не удивляет. Я даже штудировал труды некоторых, как у вас говорили, украинских буржуазных ученых и не без интереса узнал, что ваш антропологический тип близок нордическому.

Рогиня поднял довольно тяжелую для его тонкой шеи голову, пристально взглянул на крайсландвирта и, собравшись с духом, с достоинством сказал:

— Это, пан, тенденциозные утверждения, которые не имеют под собой серьезной научной основы.

Холеное лицо хозяина выразило и удивление, и злость одновременно. Он никак не ожидал, что этот молчаливый, сломленный жизнью человек осмелится возражать ему.

— Вы не ошибаетесь?

— Нет, не ошибаюсь,— мрачно ответил Рогиня.— Я ведь штудировал не только те труды, которые подгоняют науку под чужие догмы.— И горько улыбнулся.— Видно, не напрасно пан Безбородько называет меня мумиеведом.

— Мы с вами стоим на противоположных полюсах,— после недолгого молчания сказал крайсландвирт.— А вам никогда не хотелось увидеть свой народ здоровым, красивым?

— Я и сейчас вижу свой народ здоровым, красивым, умным.

— Но в нем же есть и чужая кровь.

Рогиня пожал плечами:

— Пока что настоящая наука не знает такого народа, у которого не было бы примесей другой крови, так как жизнь ни одного народа не протекает в исторической изоляции.

— Пан Рогиня, не забывайте об исключительной чистоте нордической расы,— строго сказал крайсландвирт, потом взглянул на часы.— Сегодня мы не будем продолжать теоретическую дискуссию, для нее еще найдем время. Мне хотелось сказать вам другое. Вы ежедневно бываете в общественных хозяйствах нашего крайса. Я вас обязываю в каждом селе взять на учет всех светловолосых и голубоглазых детей, юношей и женатых до тридцати пяти лет. Разумеется, вы сюда не включаете тех, у которых широкие скулы.

Ужас охватил Рогиню. Он понял то, что не было досказано, и невольно схватился рукой за сердце.

— Вы слышали, что я сказал?

— Слышал, пан крайсландвирт. Слышал. Но простите, я этих списочков делать не буду.

— Как? Вы не хотите заботиться о будущем своей расы? Это вам столько даст!

«Много обещает черт, а забирает все».

— Так вот, хотите не хотите, а списочки составьте. Это будет вашей служебной обязанностью.

— Нет! Нет! — задрожали руки агронома, отстранявшего от себя невидимые списочки.

В нордических глазах крайсландвирта вспыхнула злость. К черту вежливость! Он сейчас же проучит этого мумиеведа, что не умеет подавить свою строптивость.

И в это время кто-то постучал в дверь. Крайсландвирт стремительно поднялся, подошел к порогу, посмотрел в стеклянный глазок, открыл дверь. В комнату, вытянувшись, вошел незаменимый Ганс, который самоотверженно служил ему и пером, и автоматом, и мозгами, которые больше всего были нацелены на музейные сокровища и украинский чернозем. После тщательных анализов он даже замерил те площади, с которых надо вывезти землю в рейх.

— Что тебе, Ганс?

— Простите, пан крайсландвирт, но к вам очень добиваются те голландцы, что собираются осесть на Украине,— почему-то растерянно заговорил Ганс, переминаясь с ноги на ногу на поблекшем коврике. Что же его так встревожило?

— Так поздно? Скажи, пусть завтра приходят. Спокойной ночи, Ганс.

— Видите ли, им сегодня надо,— вытягивается в струнку Ганс, словно хочет свои сто восемьдесят пять сантиметров дотянуть до двух метров. В его присутствии герр крайсландвирт почти всегда с огорчением думает о своей фигуре, которая, к сожалению, раздается вширь. Вот бы занять у Ганса каких-нибудь лишних десять сантиметров роста да Гансовыми патлами прикрыть кружок лысины, что так похожа на ксендзовскую тонзуру.

— Почему же сегодня? К чему такая спешка?

— Они ехали сюда,— нерешительно говорит Ганс,— а их встретили партизаны.

— Партизаны?!

— Да, пан крайсландвирт. Думаю, это работа Сагайдака.

— И что же дальше?

— Партизаны проверили документы будущих колонистов и хотели их расстрелять.

— За что?

— Они нашли у них инструкцию о постепенной стерилизации украинцев мужского пола. Это их очень возмутило.

— Дураки! — выкрикнул крайсландвирт.— Такие инструкции, отправляясь на разведку или на поселение, надо держать в голове, а не в кармане. И что потом?

— Потом партизаны смилостивились, забрали только подводы и коней, а самим голландцам приказали раздеться.

— Так они пришли сюда совсем голые или как?

— Не совсем голые...— кривит усмешку Ганс.— Партизаны оставили им трусы.

Крайсландвирт брезгливо поморщился, потом его губы выдавили убийственную иронию:

— Так и по городу шли в трусах?

— А что же им оставалось делать? Пришлось выдержать и позор, и насмешки.

— Веди их сюда.

Ганс вышел, а через минуту в комнату начали заходить

перепуганные и жалкие колонисты, одни из них держались за головы, другие — за трусы. Вот один из них прижался плечами к золотистому ковру из мастерской Данила Апостола и начал подтягивать свое жалкое прикрытие.

Герр крайсландвирт хотел и лицом, и всей осанкой изобразить глубокое сочувствие, но не выдержал, рассмеялся, а кто-то из слабонервных колонистов заплакал и припал к Морене — богине небытия.

XXX

Раньше скотину гнали пастухи, а теперь полицаи. Одни из них люто переругивались с женщинами, а другие молча проклинали свою судьбу, что сделала их погонщиками зла.

— Куда же вы, окаянные, тянете ее? Погубить хотите моих малых деток? — припадала к своей кормилице молодая чернобровая женщина. В ее глазах стояли слезы, в глазах коровенки поблескивала влажная непостижимость.

— Отойди, отойди, плаксивая, а то размозжу тебе макитру! Как-нибудь обойдутся твои некрещеные без молока,— замахивался на женщину прикладом спившийся Терешко. И, нагоняя страху, вертел полтинниками буркал.

— Чтоб хоть один из вас еще до вечера отошел! Пан староста, вступитесь хоть вы! Прекратите это беззаконие!

— Вон лучше жандармам скажи! — Магазанник поднял голову на неподвижных, с бляхами на груди, жандармов, которые присматривались к стараниям полицая, потом, чтобы не слышать причитаний, переглянувшись с Терешко, пошел к сельской управе, а оттуда задворками выскользнул на другую улицу. Но и тут его догнал женский крик и плач. Да разве они теперь удивят кого-нибудь?

Проходя мимо виселицы, он брезгливо взглянул на нее и, пораженный, остановился: тут, наклонив голову, сидел его старый хромой ворон. Чего он прилетел из леса? Или виселица напомнила ему старое, или почуял чью-то смерть? Ворон, очевидно, узнал Магазанника, проржавленно каркнул и переставил хромые ноги.

Суеверный страх вцепился в пана старосту, он выхватил из кармана темный, как галка, пистолет и выстрелил в птицу. Та снова, но уже испуганно, каркнула, подняла крылья, черным шматком платка взлетела в небо и рас-

таяла в выси. Кому ты, вещун, понес недолю? Казалось бы, все это глупость, не стоящая никакого внимания, да еще для человека, который знает и вес жизни, и не в одну книгу заглядывал. Но суеверия еще держатся, чтобы неожиданно взбаламутить нутро или мозг.

В школе, куда теперь перебрались жить Магазанники, возле парты сидел Степочка и чистил разобранный затвор. И руки, и лицо Степочки лоснились от жира.

— Куда-то собираешься?

— В крайс, вызывает мой начальник.

— Не знаешь зачем?

— Слыхал краем уха, что хотят перебросить на железнодорожную станцию, поближе к бангофжандармерии.

— Эта бангофжандармерия и станция очень нужны тебе? И тут все есть для пропитания.

— Там, батько, шире размах: и склады разные, и люди разные. Там, поговаривают, за один день может приплыть в руки столько, что тут и за год не приплывет, а какой толк от моей зарплаты — от моих теперешних девятисот оккупационных марок? Это черепковые деньги.

«Это черепковые деньги» — даже скорчило старика: вспомнилось давнее поверье — пропащим грешным душам черт платит золотом, а оно потом становится углем или черепками. И не вся ли его жизнь пошла за черепковые деньги?

Даже Степочка что-то заметил.

— Что это вы сразу побледнели?

— Ничего, ничего,— отмахивался рукой.— Только ты ж на том вокзале остерегайся жадности. И упаси боже красть: у немцев за это сразу расстрел.

— Красть я не пойду, а культурненько брать можно, на станции полицаи словно пампушки в масле катаются.— Степочка тряхнул патлами, засмеялся. Смех у него теперь стал каким-то деревянным и неожиданно обрывался.— А я, тато, недавно видел на виселице нашего ворона. Верно, и ему скучно стало без нас.

— Несешь черт знает что,— буркнул Магазанник, а внутри снова болезненно отозвалось суеверие: ворон — это птица, которая крови жаждет.— Чего тебе, несчастный, аж на виселицу занесло? Ты когда же пойдешь в крайс?

— Завтра.

— Тогда я загляну на хутор. Может, какого-нибудь карпика поймаю на вечерю.

— Толом бы их наглушить и засолить в бочке на зиму.

— Подождем еще с толом.— Он подошел к сыну, положил ему руку на плечо.

— Чего это вы? — у Степочки удивленно затрепетали желтые ресницы.

— Не хочется, чтобы ты ехал на ту станцию. Вот проснусь ночью, услышу, что ты дышишь за стеной,— и уже как-то легче становится на душе.

— Видали! — не поверил Степочка.— Что-то такого никогда не замечал за вами.

— Года, Степочка, года.

— И, наверное, страх,— подумав, сказало чадо и успокоило отца: — Но бояться вам нечего. Москву уже немцы взяли, Ленинград тоже. Сам Гитлер сказал, что России... слышите — не Москвы, не Ленинграда,— России уже больше не существует.

Магазанник оглянулся, будто их кто-то мог подслушать.

— А это не брехня, Степочка?

— Разве ж вы газет не читаете?

— Никто так не распускает брехни, как газеты.— Семен вынул из внутреннего кармана вчетверо сложенную листовку, протянул сыну.

Степочка молча прочитал ее, разорвал на мелкие кусочки, бросил в печку.

— Вы, тато, осторожнее с такими документами. Никто ее не видел у вас?

— Никто.

— Теперь сам себя остерегайся и сам себе не верь. Вон какой ни придурковатый Терешко, а и тот следит за вами.

Эти слова ледяной волной обдали Магазанника.

— Сам догадался следить?

— Да нет, Безбородько приказал. А вы же, кажется, еще в гражданскую дружили с ним. Вот вам «пан» и «благодетель»,— передразнил председателя райуправы.

— Когда ты разузнал об этом?

— Вчера вечером. Сроду не поверил бы в такое, но это сказала Терешкина сестра.

— Она тебе нравится?

На губах Степочки обозначилась плутоватая улыбка.

— Я ей нравлюсь. Пристает, словно непутевая.

— Дела! И чем я ему не угодил? — как в тучу входит Магазанник.— Что ж, махну на хутор, хоть там отдохну от всякой суетни.

— Вы бы уже лес завозили туда,— посоветовал Сте-

почка,— ибо служба службой, а добро — добром. В лесничестве еще лежат подсохшие балки.

— Пожалуй, каменный дом будем строить. А тебя еще раз предупреждаю: не зарься на бешеные деньги — словом, и бога бойся, и черта остерегайся.

— Тоже верно говорится,— как бы рассуждая, согласился Степочка.— А вы, тато, не думали, что вам надо бы жениться? Одному и печь осточертеет топить, да и начальство без женских рук не задобришь. Как вы на это смотрите?

— Сдуру болтаешь несусветное.— Магазанник зябко повел крепким плечом, а вспомнилось вот то недосягаемое, что и до сих пор стоит перед глазами.

— Почему же несусветное? — Степочка тряпкой вытер руки, пристально посмотрел на отца, и видно было, как насмешка пробудилась в его котелке.

— Теперь у времени такие весы, что не знаешь, о каких надо думать свечах: о свадебных или погребальных.

— Весы — весами, а жить как-то надо,— теперь и Степочка сокрушенно покачал головой.

— Ты чего? — Магазанник подумал, что сын беспокоится о нем.

— Все одна и та же мысль то голову сушит, то нутро сжимает: как бы это пролезть на водочный завод. Тогда и Степочка стал бы кумом королю — сумел бы из водочной слезы что-то приполучить для себя.— И неуемное желание мелькнуло в глазах.

«Глуповатый у него сын, да не совсем...»

Сегодня солнце выспорило у осени еще один погожий день, и он не знал, куда ему унести серебряные паутинки «бабьего лета». Когда-то именно в такой день Магазанник в лесах встретился с Оксаной, которая собирала грибы, и пригласил ее к себе. Да мало было радости от той встречи. Обошла тебя краса, и все доброе обошло. А могло бы и по-иному быть!

«Не ты носишь корни, корни носят тебя»,— хотел утешить себя священным писанием, да ничего из этого не вышло. Могли бы еще утешить золотые тайники, но не будешь их теперь выкапывать. Может, один показать Степочке? Да успеется. Еще неизвестно, что ждет его на тех станциях, где соблазн и смерть на одних весах лежат. А деревья на хутор завозить надо...

Вот уже и ставочек поднял стрелы камыша, вот, цепляясь за корни ивняка, зазвенел ручей. Как в детстве, протекало время, очищались воды и наполнялись берега.

А как здесь когда-то по весне, красиво распустив крылья, падали и плыли дикие гуси! Теперь уже не садятся, стороной летят — боятся, да и все теперь как-то идет стороной...

Но кто это сидит в челне?

И почему-то холод пробежал по спине, и почему-то вспомнился ворон на виселице. Рванув рукой карман, где лежал пистолет, он пошел к ставку. Неизвестный медленно поднялся и соскочил с челна на берег. Магазанник с удивлением остановился — перед ним, сомкнув золото ресниц, стоял Лаврин Гримич. Но почему он такой хмурый, такой неприступный, чужой?

— Лаврин, ты что, рыбу ловишь?

— Нет, браконьеров,— хрипло ответил Лаврин, а его ресницы затрепетали.

— Каких браконьеров?

Лаврин полным ненависти взглядом смерил Магазанника:

— Тех браконьеров, которые подняли руку на людскую жизнь.

— Что-то ты очень умно начал говорить,— встревожился Магазанник и, услыхав сзади чьи-то шаги, обернулся. К нему подходил Стах Артеменко с наганом в руке.

— Ты чего, Сташе?! — не вскрикнул, а застонал, догадываясь о чем-то страшном.

— Ничего,— и Стах тут же намертво обхватил старосту могучими руками.

— Ты что делаешь?! — изо всех сил рванулся Магазанник.

— Ничего, это не работа,— и Стах выхватил у него «вальтер».— А теперь, пан староста, стань прямо перед людьми и послушай последнее слово.

Две стены страха стиснули, сжали, прошли сквозь Магазанника и сразу обескровили его лицо и, верно, вынули кости, так как тело начало оседать.

— Почему же последнее?! — с трудом выдавил, не в силах совладать со своими губами — они дергались и каменели одновременно.

— А что же ты думаешь, помилуем тебя? — спросил Лаврин, тот медлительный, добродушный Лаврин, который в своей жизни никого и пальцем не тронул.— Стой, если можешь, прямо.

И Магазанник, уже раздавленный страхом, стал прямо, только что-то внутри билось в нем и лихорадило его,

а веки начал жечь невидимый огонь или слезы. Неужели пришел тот час расплаты, о котором ему лет двадцать тому назад говорил отец? Магазанник глянул в свое далекое прошлое и затрясся мелкой дрожью.

Это, верно, разжалобило Лаврина, он опустил голову, а Стах стал перед старостой и словно по писаному огласил приговор:

— За измену Родине, за прислужничество фашистам, за выдачу полиции и гестапо командира Ивана Човняра партизанский отряд имени Котовского приговорил старосту Семена Магазанника к высшей мере наказания — расстрелу.

Магазанник непослушной рукой потянулся к глазам, которые жег невидимый огонь. Зная уже, что его расстреляют, он еще не мог понять, как упадет на эту осеннюю, с «бабьим летом», землю, как для него навсегда померкнет свет и не станет ни этого хутора, ни этого ставка, где и сейчас подает голос ручей, и полнятся берега, и перечищаются воды в берегах. Вот из камыша выплыла та самая уточка, которую он видел раньше. Неужели и ее никогда не увидит он? Что ж это делается на свете?

— Люди добрые, неужели вы отнимете у меня жизнь? — Семен вскинул побелевшие глаза на партизан.— Я еще, бросив все, могу вам послужить, ей-богу, могу...

— Поздно,— не глядя на него, сказал Лаврин.— Ты сам подменил свою судьбу. Может, что-то хочешь передать сыну или родне? Так мы передадим.

— Передать? — переспросил Магазанник, так как все медленно доходило до него. Он вынул из кармана печать, бросил ее на землю, потом достал кошелек, зачем-то взвесил его на помертвелой руке.— Если сможешь, Лаврин, передай Степочке. И скажи ему мое последнее слово: пусть выпишется из полиции. И скажи, чтоб он не забыл старое барсучье место.

— Это ж какое?

— Он знает.— Хотел еще напомнить о месте, где стоял угловой улей, но тогда бы все стало понятным. В мирное время Лаврин видел этот старый улей, что перешел к Магазаннику еще от его отца; когда-то ведь и он был ребенком. Господи, неужели он в самом деле был ребенком? Его что-то начало душить; расстегнув воротник, он ощутил на груди тельце золотого крестика и с силой, до боли в руке, ухватился за свое последнее золото, словно оно могло спасти его.

Лаврин поднял голову и глухо спросил:

— Может, имеешь последнее желание?

— Жить хочу, жить,— сказал безнадежно.

— Верю, Семен. Да об этом надо было раньше думать,— сурово ответил Лаврин.— Поднимайся на свой хутор.

И вот он, обессиленный, измученный страхом и болью, стал посреди той земли, которую ему нарезали за черную измену. Не зная, куда деть руки, сунул их в карманы и нащупал огарок самодельной восковой свечечки.

— Есть у меня, Лаврин, последнее...

— Что?

Магазанник вынул огарок.

— Пусть погорит святой воск за упокой души.

— Что ж, зажигай.

Магазанник зажег свою свечечку, но она выпала из непослушных рук раз и второй, тогда он воткнул ее в землю, и взгляды трех пар глаз скрестились на кротком огоньке, что и теперь пахнул медом и летом. Почему же судьба не сделала его пасечником хотя бы на это неспокойное время?.. И в последнюю свою минуту он винил не столько себя, сколько свою фортуну, хотя понимал, что не она виновата...

Когда свечечка догорела до половины, Магазанник снова взглянул на ставок, услыхал, как на берегу вдруг поосеннему зашумел камыш, услыхал говор воды, услыхал хлопанье птичьих крыльев. А далеко-далеко за ставком, где глубоко вдавилась в мягкую землю дорога, замаячила одинокая фигурка девочки. Она шла к ставочку и что-то раскачивала в белом платке. Вдруг он содрогнулся. Неужели это Оленка? Неужели это его Оленка?!

Он протянул руки к девочке, вскрикнул... И это был его последний крик.

XXXI

В декабре ударили такие морозы, что трескались деревья, трескалась земля и лед на реках и ставках, и замерзала вода в криницах. Даже у терпеливых, изморозью обвешенных верб обламывались руки, и тогда на старых ноздреватых стволах краснели промерзшие раны.

Из-за холодов прибавилось разного люда в пристанционной корчемке «фрейлейн» Ярины. Тут всегда можно было усладить душу ароматной сливянкой, бешеной горилкой, а закусить холодцом с хреном, крученикам и, до-

машним рубцом, кровяной колбасой, солониной и теми, с нежной корочкой, пампушками, что сами в рот просятся. Даже обычные, квашенные в рассоле листья капусты с подсолнечным маслом и тмином приносили похвалу приветливой хозяйке, на которую больше чем надо вытаращивались разные буркалы.

Но нынче ни один немец — ни «оседлый», ни «транзитный» — не заглянул в корчемку, что в патенте на торговлю, выданном городской управой, пышно именовалась «таверна». Да и на перроне сегодня фашисты растеряли чванливость и смех. То ли от холода, то ли по какой-то другой причине?

Охваченная неясными предчувствиями, Ярина выпроводила из кафе двух балагуров, которые не столько заглядывали в чарку, сколько ели глазами «фрейлейн», оставила сторожить по другую сторону дверей миловидную булочницу Зосю, а сама бросилась в чуланчик, где в квашне спрятан плохонький приемник и наушники. Но как раз в это время тетка Зося открыла дверь и кашлянула. Яринка выскочила из своего закутка, начала возиться возле осточертевшей стойки, что насквозь пропиталась водкой. Да тетка Зося уже через какую-то минутку успокаивающе посмотрела на нее, улыбнулась теми неспокойными губами, в уголках которых года обозначили гнездышки, покачала головой. Жаль этой Яринки, как своего дитяти. Разве ж девушка, когда пришла ее пора, должна угождать разным развращенным пьянчужкам, что только и видят в женщине вертихвостку? Яринке бы как раз слушать самые красивые слова о любви и на всю жизнь осчастливить суженого, что не сводил бы глаз ни с ее личика, ни с ее ножек. А как это бывает, тетка Зося хорошо знала. Да война не пощадила и ее семьи...

А как красиво на девушке расцветает черный, в ярких красках платок и красный кожушок! Его недавно принес из-за татарского брода дед Ярослав. Яринка долго хвалила работу старика, еще дольше о чем-то шепталась с ним, а он, зайдя за стойку, что-то осторожно высыпал из своей кобзы в торбу. Подумать только — из кобзы!

В корчемку стремительно входит раскрасневшийся, улыбающийся Ивась Лимаренко, у которого на голове не чуприна, а крылья.

«К кому они только прилетят?» — покачивает головой тетка Зося, переводит взгляд на Яринку и вздыхает.

Ивась молодцевато срывает с головы шапку, встряхивает чубом, кланяется хозяйкам:

— Добрый вечер, пани Закревская, добрый вечер, Яринка!

— Если я для тебя пани, то и Яринку называй панночкой,— с вызовом говорит тетка Зося и забивается в угол, чтобы молодята перебросились несколькими словами.

— Яринка! — сияя, подходит к девушке хлопец.— Яринка, милая! Любимая!

— Что у тебя?! — замерла она, так как еще не видела Ивася таким.— Что?

Он наклоняет к ней голову и шепчет:

— Наши разбили фашистов под Москвой. Слышишь?

— Правда?! — встрепенулась девушка, а глаза вспыхнули, как зарницы. Неужели пришло то, чего так долго ждали, на что так долго-долго надеялись?

— Истинная правда! Сам слышал, Яринка! Разбили и гонят на запад! Ты понимаешь, что это такое? — Он берет девушку за руки и прижимается к ней щекой.

— Спасибо, Ивась! — и Ярина тоже прильнула к нему, целует в щеку.

— Теперь я не буду семь дней умываться.

— Наконец-то...— вздыхает в углу тетка Зося, думая о своем.

— Тетушка Зося, просим к нам! По рюмочке поднимем! — радостно восклицает Яринка и рукой вытирает ресницы.

«Вот и дождалась девушка своего красавца!» — думает о том же тетка Зося и подходит к молодятам.

— Как я рада за вас.

Яринка наклоняется к ней:

— Тетушка, это радость для всех — наши под Москвой разгромили фашистов.

— Ой! — из натруженной руки женщины падает и разбивается рюмка.— Это на счастье, это на счастье! Святая дева Мария, так, может, и мой Станислав там бьет минами фашистов! Он же минометчик у меня,— в который раз рассказывает об этом и Яринке, и Ивасю.— Налей, дочка, в другую чарку самого крепкого спотыкача. Святая дева, есть-таки правда на свете.

А в это время за дверями бухают чьи-то сапоги и в корчемку сначала вваливаются полотняные торбы, потом голова нищего, а затем и он сам. В своих одеждах он похож на чучело с бахчи, однако глаза и язык у него далеко не дедовские. Тетка Зося сразу отворачивается от нищего: она чувствует, что в его слове таится гадина.

— Здравствуй, красавица, здравствуй, миленькая! — медово здоровается с Яринкой, а сам вскачь пускает взгляд по всей корчме. Так можно и глаза испортить.

— Здравствуйте, пан нищий,— сдержанно отвечает Ярина, ничем не обнаруживая своей неприязни к пришельцу.

— А я у тебя не первый раз вижу этого парнягу,— сверлит тот глазами Ивася.

— И он вас не впервые видит у меня. За чаркой разные гости сходятся.

— Эге-ге-ге! — так загоготал нищий, что аж содрогнулся и ходуном заходил у него широкий, жабий подбородок.— Умеешь ты, красавица, и сказать, и за напитки-паедки не заламывать. Тебе бы только в златоглавых да в сереброглавых венцах ходить. Может, к этим трем чаркам и четвертую поставишь?

— Эта горилка, пан нищий, вам будет не по вкусу.— Ивась опрокинул чарку и ринулся к дверям.

— А деньги! — кричит Ярина и незаметно перемигивается с теткой Зосей.

— Простите, с холода забыл.— Парень возвращается, вынимает кошелек, вытягивает оккупационные марки, а Ярина вполглаза поглядывает на нищего.

Когда за Ивасем закрылась дверь, нищий снова рассыпал по корчме свое «ге-ге-ге», оперся локтем о стойку.

— Какая забывчивая молодежь пошла, все на дурняка норовит! — и ласково смотрит на Ярину.— Налей мне, рыбонька, такой, чтобы в животе лягушки заквакали.— Выпил он и донышко чарки поцеловал.— Где ты ее только берешь? Я лишь один раз у партизан Сагайдака вот такое зелье пробовал.

— Пан нищий,— ужаснулась Яринка,— не говорите о партизанах, а то у меня сразу мороз по коже пошел.

Нищий понизил голос:

— Не такие они, голубушка, страшные, как их малюют фашисты.

— Пан нищий, не несите всякого вздора. Если вы еще будете болтать вот такое непотребное, я кликну старшего полицая Степочку, он тут недалеко ходит. И садитесь уже за столик. Что вам подать? Горилки? Солонины?

Старик укоризненно покачал головой:

— Неразумна ты еси. И тебе надо думать о спасении души не только перед богом, но и перед теми, кто придет после гитлеровцев. Постигни это душой.

И впервые у Яринки шевельнулось доверие к нищему.

А может, и вправду человек он, хотя у него и язык подозрительный, и сверла вместо глаз?

Тетка Зося поняла состояние Ярины и с гневом набросилась на нищего:

— Чего это кое-кто раззявил рот, как вершу? Чтоб ему язык из пасти выкрутило. Вишь какой праведник нашелся: то он у партизан горилку хлещет, то почему-то из полиции несется.

— Нищему всюду подают,— пронзил тот колючим взглядом свинцовых глаз женщину и так стиснул зубы, что на скулах вспухли желваки.— Чего ты с дурного ума обо всех языком трепешь? Или тебе помела не хватает?

— Того помела, что по спине шута и шептуна походило бы. Если побираешься, так побирайся, а язык держи в кармане, как кошелек. Или ты, изувер, онемечиться захотел? — Тетка Зося, косо поглядывая на бродягу, надела кожушок, повязалась платком, попрощалась с Яринкой и вышла из корчмы.

— Вот так лучше,— буркнул нищий.— Яринка, налей еще одну покропить душу.

Предостережение тетки Зоси насторожило девушку, и она уже спокойно ответила:

— Пан нищий, ваша душа пьяницей станет.

— Лучше пьяницей, чем изменником,— обиделся нищий и неожиданно спросил: — Ты сколько марок платишь за литр?

— Пан нищий хочет корчмарем стать? — удивляется Ярина, а в душе тревожиться: для чего это выпытывание?

— И сколько платишь за литр? — долбит, как дятел, нищий.

— Теперь пятнадцать марок, а осенью цены были ниже.

— Так-так,— что-то прикидывает на морщинах старикан.— Налей самой лучшей, бешеной,— я сегодня на радостях хочу напиться.

— Какие же у вас радости?

— Большие! — поднял вверх желтый, как свечка, палец.— Разве не знаешь: вчера на рассвете у самого моста слетел эшелон с танками. Это уже седьмой на счету у одного человека. Седьмой!

— Одного? — не поверила Яринка.

Нищий то ли с удивлением, то ли со скрытым подозрением посмотрел на девушку.

— Неужели ты не слыхала о партизане Морозенко?

— Не слыхала ни о морозенках, ни о холоденках и слышать о таком не хочу.

— Не похвально. Гляди, возвратятся наши, этого не простят кое-кому.

Яринка возмутилась:

— Пан нищий, не пугайте меня сегодня, а то я вас могу напугать завтра,— и взглянула на дверь.

Она тихонько-тихонько раскрылась и закрылась. И на пороге в клубах зимнего тумана вырос Степочка Магазанник; он теперь в форме шуцполицая, только на голове у него не гитлеровка, а баранья шапка размером с квашню — в ней утопиться можно. Степочка молча трет окоченевшие руки и прислушивается к разговору нищего и Ярины.

— Я не пугаю тебя,— тянет свою нитку нищий,— а учу, как кое-кому надо жить на свете, кое-кто о великом должен думать.

— Кое-кто доволен и малым: наливать горькую тем, для кого она сладкая. Еще одну?

— Еще одну за победу советских войск.

И тут Степочка рванул с плеча карабин, бросился к нищему.

— Руки вверх, старый дурак! Вишь, ничтожество, как разинул пасть, словно старую халяву! Увидим, как она затрясется в шуцманшафии.— Степочка схватил нищего за бороду, и неожиданно... она осталась в его руке.— Это что за обман и кино?! — оторопел Степочка, вытаращив глаза.— Ваши документы, и вообче.

— Молчать, бревно неотесанное! — Нищий гордо выпрямился, выхватил из кармана жетон агента тайной полиции, сунул его под нос растерянному Степочке, быстро пошел к дверям.

И только теперь очнулся полицай, что-то промычал, потянулся к нищему с его бородой в руке.

— Пан Басаврюк! Многоуважаемый пан...

«Пан Басаврюк! Сатана в людском обличье...— содрогаясь, Ярина вспомнила страшный гоголевский образ.— Был ты в черные дни прошлого, не сдох и до настоящего времени — фашистам пригодился».

— Возьмите, пан, свои вещественные доказательства...

Но разъяренный Басаврюк даже не оглянулся, сапогом открыл двери, а потом так хлопнул ими, что в корчемке задребезжали стекла. Степочка очумело посмотрел вслед нищему, затем безнадежно махнул рукой, понюхал бороду, поморщился:

— Эрзац...

— Степочка, кто же это? — удивляется и зябко пожимает плечами Ярина.

Полицай вытянул шею, которую подпирал высокий серый воротник шинели, оглянулся.

— О, это такой вездесущий губитель, от которого не только у меня становится темно в глазах. Чего он с эрзац-бородой вертелся возле тебя? Что у него на уме?

— Откуда же я знаю?

Степочка, что-то прикидывая, кривится, морщится, лезет рукой к кучерявому затылку, а потом пристально всматривается в дверь и бормочет неизвестно кому — дверям или Яринке:

— Налей мне чего-нибудь такого.

Девушка сердито бросает:

— Воды?

— Я воды не люблю ни в сапогах, ни в животе,— сразу отвечает Степочка.— Горилочки налей, холодца подай, свари что-нибудь, и вообче...

— Что тебе сварить: топор или зубило?

— Мяса,— насупился полицай и замигал мельничками век.— А что за невзгоды пекут тебя. Вишь, она мне топор или зубило тычет под нос. Смотри, чтобы я не ткнул кому-нибудь перекисших кислиц, и вообче.

— Очень ты храбрым стал, подержавшись за чужую бороду.

— Она даже мертвого может залихорадить.— И спросил сам себя: — Зачем и для чего пану Басаврюку понадобилось сменить бороду?

Ярина, покачав головой, подала ему графинчик с горилкой, чарку, тарелку холодца, хрен и вилку. Степочка со всем этим засеменил к столику, что стоял в самом углу, повернулся спиной к стойке и набросился на дармовщину, все думая об одном: чего тут появился бесов Басаврюк и что он имеет к Яринке? Не запахло ли в этой корчемке жареным? А? Надо-таки как-то выскользнуть отсюда и тихонько пробраться на водочный завод, там фортуна тоже не с пустыми руками прохаживается. Там не будешь просить чарку, как тут приходится просить. И из-за плеча глянул на Ярину.

А девушку охватила тревога: выходит, неспроста уже который раз к ней наведывается песиголовец в обличье нищего. Где же он, этот леший, служит? И что он пронюхал о Даниле Бондаренко, которого люди прозвали Морозенко? Надо, чтоб он больше не появлялся тут, да и самой

пришло время бросать эту чертову корчму, раз кому-то начала мозолить глаза.

Снова подошел Степочка с пустым графинчиком. Хмель уже выступил румянцем на его лице. Она молча налила ему, а он молча поблагодарил, подняв вверх большой палец — мол, все у тебя хорошо,— да и, пошатываясь, поплелся к своему стулу. Не горилки, а гноивки бы тебе! И снова мысли закружились вокруг Данила, Мирославы и всей партизанской родни, по которой так соскучилась она.

За своими мыслями и тревогой она не услыхала, как в корчму вошел заснеженный, окоченевший и оборванный человек. А когда он приблизился к стойке, Яринка узнала его — это был Ступач. Но как изменилось, состарилось его лицо, как резко обозначились морщины под глазами и устами. Видно, военное время и невзгоды не пощадили и его. Узнал и Ступач девушку, в изумлении остановился:

— Яринка, это ты?!

— Это я, пан Ступач.

Душевная горечь выразилась на озябшем лице Ступача.

— Какой я тебе, девушка, пан? Не называй меня таким паскудным словом.

— А разве вы не для панства остались тут?

— Злая судьба оставила меня: под Яготином в окружение попал. Вовек не забуду того яготинского болота и пекла заодно. Вот теперь и качусь, как перекати-поле, по свету. А как же ты очутилась здесь?

— Тоже злая доля заставила.

— А твоя подруга Мирослава жива?

— Жива.

Ступач хотел еще о чем-то спросить, но передумал, вздохнул, а в глазах проклюнулся голод.

— Кусок хлеба найдется у тебя?

— Найдется.

И в это время с пустым графином и тарелкой к ним подошел уже хорошо подвыпивший Степочка.

— С кем ты, Яринка, шепчешься? — И вдруг от удивления у него отвисла челюсть.— О-о-о! Кого я вижу! Пан Ступач! Наше вам, и вообче!

От неожиданности Ступач качнулся к дверям.

— Степочка! Ты — полицай?!

— Пан старший полицай! — даже каблуками стукнул и тихо засмеялся.— Это вас удивляет?

— Нет... Не удивляет. Я думал, ты выше поднялся,— и горькая морщина легла между бровей Ступача.

Степочка гордо усмехнулся:

— А я медленно, по ступенькам: сначала тут набью руку — и в гебитскомиссариат, набью там руку — и выше!

— Так и до виселицы можно подняться.

Чего-чего, а такого удара Степочка не ожидал. Он схватился рукой за карабин, но передумал и начал подбирать слова:

— Выходит, вы и до сих пор из товарища не превратились в пана? Ваши документы!

— Зачем они тебе, Степочка?

И полицай взорвался злостью:

— Я Степочка для своих любовниц, а для вас я пан старший полицай! Аусвайс!

— Нет у меня аусвайса.

— Тогда руки вверх! Выше, выше! Я должен обыскать вас, и вообче,— и начал не ощупывать, а выворачивать карманы Ступача.

Яринка не выдержала, возмущенно бросила:

— Зачем тебе, злоязыкий, обыскивать его?

— Это вопрос несведущей. Откуда я знаю, кто теперь этот оборванец, товарищ Ступач или партизан Морозенко, который целых семь эшелонов пустил под откос, а полиция успела сфотографировать только его плечи. Повернитесь!

Ступач повернулся. Степочка вынул фото, сличил его с плечами Ступача и остался недоволен.

А тем временем открылись двери и возле них остановился заснеженный Данило Бондаренко. Он тоже был в форме полицая. Глянула Яринка на Данила, испугалась, сделала какой-то знак рукой, да партизан не понял ее, улыбнулся и начал прислушиваться к словам Степочки.

— А ну, товарищ Ступач, садитесь вот здесь и хорошенько расскажите, как и откуда притопали на территорию рейха?

— Не скажу.

Степочка пренебрежительно оттопырил губы.

— Скажете! Если людскую душу поставить на колени, она все скажет!

Ступач с изумлением воскликнул:

— Мои слова!

— Теперь они мои, вашего ничего нет.— И тут Степочка увидел Данила, вытаращился на него.— А-а-а...

— Бе! — Бондаренко насмешливо взглянул на полицая.— Здорово, «венец природы». Узнал, может?

«Венец природы» скривился.

— Узнать узнал,— Степочка невольно коснулся рукой шеи,— но откуда ты взялся, как очутился в полиции, и вообче?.. Говори!

— Это у пана Ступача спроси — он мне помог.

У Степочки глаза полезли на лоб, он с перепугу сразу обмяк.

— Пан Ступач помог?.. Ой, простите, пан Ступач! Я так и догадывался, что вы в тайном начальстве, как пан Басаврюк, и вообче. Но по долгу службы должен был проверить даже вас. Простите, может, чарочку выпьем? Ярина, горилки на две персоны! Как вы гениально сыграли свою роль!

И Ступач не выдержал, с презрением глянул на полицая.

— Замолчи, шут гороховый, я был и до смерти останусь советским человеком.

Степочка сначала растерялся:

— Советским? Как это понимать?.. А-а-а! А ну, к двери! Увидим, как на допросах заиграет твоя шкура. Мы из тебя быстро сделаем тень! Видишь, немцы везут в Москву мрамор для монумента победителям и навалом везут железные кресты, а тут кто-то о советском думает.

Бондаренко насмешливо перебил Магазанника:

— Подожди о мраморе и крестах. А ты случайно не подумал, что я имею больше прав на Ступача?

— Э, нет, это мой трофей.

— Я тебе, Степочка, за этот трофей дам откупного. По рукам?

Полицай задумался, потом махнул рукой:

— Где уж мое не пропадало, давай тысячу и делай с этим приблудным что хочешь.

Но теперь завопил Ступач:

— Степочка, не отдавай мою душу ему! Ты знаешь, он без соли съест меня.

— А меня личные счеты не интересуют, я человек государственный.

Ступач в отчаянии обхватил руками голову, сел на стул, безысходность сгорбила его, как нищего. Бондаренко же вынул из кармана деньги, отдал их Степочке, и тот спокойно начал их пересчитывать.

— Все верно. И хорошо, что деньги новенькие. Так бывай. Яринка, я позже расплачусь с тобой.— И Степочка бесшумной походкой мелкого хищника вышел из корчемки.

Данило не то с сожалением, не то с насмешкой взглянул на того, кто искалечил его лучшие годы. Научила ли тебя хоть война чему-нибудь? Ступач поднял припухшие веки, под которыми вспыхивала ненависть.

— Теперь твоя взяла. Вот только жаль, что в свое время я не добрался до твоей души.

Данило поморщился, устало посмотрел на Ступача.

— Когда-то самодуром вы были, кем стали сейчас, не знаю. Идите с глаз долой.

— Как это идти?! — остолбенел, растерялся Ступач и поднялся со стула.— Куда идти?

— Хоть ко всем чертям, если не хватит ума найти лучшей дороги. Только таким, как Степочка, не попадайтесь. Идите!

Ступач вскрикнул, прикрыл рот рукой и будто сквозь туман посмотрел на Бондаренко:

— Данило Максимыч, так вы?..

— Так я... Идите! Тут небезопасно.

Ступач хотел броситься к Данилу, но засомневался, вздохнул, пошел к дверям и исчез за ними. А к Данилу приникла, уткнулась ему в грудь Яринка.

— Данило Маскимович, родной, бегите, а то здесь уже три раза был Басаврюк из тайной полиции.

— Басаврюк? — настороженно взглянул на дверь Данило.— Тогда, Яринка, сразу же уходи отсюда.

— Куда?

— К тетке Зосе и вместе с нею — к партизанам. Что-нибудь для меня есть?

Девушка бросилась в каморку, вынесла оттуда кожаный чемоданчик.

— Вот вам.

— А теперь беги. Я сам запру твою корчму. Ох, и ресницы у тебя, Яринка! От таких ресниц, верно, и векам тяжело.

— Нашли время подсмеиваться,— вздохнула девушка.

Они обнялись. Яринка второпях оделась, выбежала из корчмы и бросилась в пристанционную полутьму. Данило же подошел к дверям, над которыми висел пучок красной калины. Калина и тут напоминала Яринке и добрым людям о бессмертном красном знамени, под которым родилась их доля и доля их земли.

Погасив свет, Данило вышел из корчемки, запер ее и, пригибаясь от ударов ветра, заспешил к привокзальной площади, где стоял его мотоцикл. За станцией Данила догнала яркая вспышка, а затем и взрыв.

«Восьмой!» — обернувшись, сам себе сказал человек и быстрее пошел к мотоциклу, в коляске которого неподвижно сидел заснеженный Петро Саламаха.

— Слыхали? — повел тот шапкой и снегом в сторону станции и усмехнулся. У этого белявого великана с черными стрехами бровей была по-девичьи трогательная улыбка.

— Слыхал, Петро.

— Значит, не зря гнали ворованного «коня».— Саламаха пришлепнул снег на коляске и начал бережно вынимать из-под кожушка автомат.

Когда они, преодолевая черный ветер, выехали с площади, наперерез им бросились несколько железнодорожных жандармов, гестаповцев и полицаев с собаками, среди них были Степочка и какой-то нищий в лохмотьях.

Саламаха, почти не целясь, прострочил все это отродье очередью из автомата, а Данило выхватил из кармана гранату; как и в первый раз, возле далекой степной станции, зубами сорвал кольцо, и лимонка, разрывая смертоносную цепь, освободила дорогу. За спиной раздавались вопли и визг. На полном ходу они проскочили контрольно-пропускной пункт и, слыша за собой погоню, вырвались в поле, где еще сильнее бушевала непогодь. И тут, рассекая черный ветер, их начал догонять колеблющийся, неровный свет. Вот он уже захватил всю дорогу, вот уже засвистел свинец и возле них засновали красные, желтые и нежно-зеленые пунктиры трассирующих пуль.

Данило крикнул Саламахе:

— Наклони, Петро, голову!

Тот прижмурил глаза, усмехнулся:

— Не перед кем склонять голову. Летите!

— Лечу!

Запрыгали, словно хотели выскочить из своих гнезд, придорожные, с белыми рушниками на стволах деревья, из темноты вздыбливалась и с шумом отлетала заснеженная земля, а дорогу все рассекали и рассекали мечи погони. Навстречу тяжело поднималась грузовая машина. Когда она, ослепляя, поравнялась с ними, Саламах ударил из автомата: может, развернет ее на дороге. Наверное, развернуло, ибо на какое-то время прекратилось снование трассирующих пуль и мечи погони отстали, а потом снова начали прощупывать дорогу.

Но вот что-то ударило Данила между плеч, из груди пошла кровь. Он не мог остановить ее: надо было одолевать черный ветер, и Данило молча, без слов, без стона,

одолевал его, все ниже и ниже склоняя отяжелевшую голову к ручкам мотоцикла. Еще немного, еще немного — и он доберется до журавлиного брода, а потом устремится по льду на татарский. По льду немцы побоятся вести машины. А за татарским бродом уже и до леса рукой подать — до пшеничных волос Мирославы, до Сагайдака, до Чигирина, до близнецов, до всей доброй родни, среди которой прошли его годы. О чем-то заговорил Саламаха. Только о чем? Он хочет пересадить его в коляску? Так это ж займет, может, самую дорогую минуту...

Нельзя показывать, что бессилие уже входит в руки. Вот так и наступает неминуемое. Он почувствовал, как слабеет все его тело, и жаль стало тех дней, что не придут больше к нему, и того дела, что уже не сделает он... и любви жаль... Еще болезненно билась мысль, что кому-то он должен был помочь, но не помог. Но кому? Неожиданно почудился запах земляники, послышался девичий голос, и он вспомнил...

Когда мотоцикл вслепую проскочил через овраг и спустился к речке, Данило почувствовал какое-то облегчение. Он чуть повернул голову к Саламахе:

— Петро, мы должны были привезти в отряд Ганнусю Ворожбу. Теперь привезешь ее сам. Не забудешь?

— Не забуду,— вздохнул Саламаха и потер рукой глаза.

— Кажется, оторвались,— уже не сказал, а прошептал непослушными устами Данило.

Черный ветер сменился калиновым ветром, который, раскачивая, наклонял созревшие гроздья. А оттуда, где начинался или заканчивался калиновый ветер, вышла Мирослава с ребенком на руках. А они же и свадьбы своей не играли... И вот к нему начали приближаться, оживать свадебные рушники, что были развешаны на стволах деревьев, а из брода послышались песни подружек невесты:

Ой ду́май, дума́й,
Чи перепливеш Дунай...

У Данила еще хватило силы свернуть на журавлиный брод, хватило силы улыбнуться всему миру, ибо не зря жил в нем и, как мог, очень нелегко, но честно переплывал свой Дунай...

— Вот уже и татарский брод! — воскликнул Саламаха, чтобы как-то поддержать Данила.

Да, татарский. Тут осенью и зимой никогда не отдыхают ни продольные, ни поперечные ветры, тут весна бьет в бубны челнов, тут чистыми лилиями и девичьей красой

расцветает лето. А за татарским бродом кони топчут ярую мяту и туман. За татарским бродом из сивого жита, из алого мака рождается месяц, а на казачьем кургане, словно из поверья, как изваянный, встает старый ветряк, что весь век работал ради хлеба и добрых людей.

А возле брода на ладонях бережков подснежниками взошли хаты-белянки и ждут, и ждут, и ждут своих детей с войны и слезами матерей, и слезами поникших верб допытываются: когда же вернутся сыновья, ибо жизнь держится на сыновьях...

Ой, броде татарский, два берега, два солнца тут, а жизнь одна — да и та неполная. Почему же?

Почему?!

XXXII

«Разве это жизнь? Со страхом и болью ложишься, со страхом и болью встаешь, и даже во сне нет от них спасения».

Изменился мир, изменились и люди. Одних так прибило горе, что они стали словно тени в обличье людском: мы никому ничего... А другие, гляди, будто из-под грома да грозы вышли. Вот такими стали и ее дети, и ее спокойный Лаврин. Да что Лаврин? Он еще в германскую возле пулемета возился, привез ей с войны вместо подарка длинные пулеметные ленты. От этого подарка у нее закипели слезы, а он вытирал их и ворковал, что она горлинка, лебедушка и голубка вместе. От «голубки» и просветлела: знала же свой характер!..

Что уж говорить о муже, если даже у деда Ярослава есть своя тайна. Вот ведь недавно начал собираться вроде куда-то в гости. Олена принесла ему противень коржиков из пшеничной муки да кусок сала, завязала их в узелок, а старик взял кобзу, чтобы уложить ее в большую заплечную торбу. Олена заметила, что кобза стала тяжелее. А когда он поставил ее стоймя, из кобзы выскочило медное тельце патрона.

Старик нагнулся за ним и так, словно бы ничего и не случилось, снова бросил его в кобзу, а потом пристально посмотрел на Олену, да еще и усом повел.

— Видела?

— Видела,— покачала головой она.— И зачем это вам?

— Выходит, надо.

— Это и понесете в гости?

— Подарок неплохой.

— А почему вы его в кобзе прячете? — не нашла ничего лучшего спросить.

— Потому что полицаи еще не додумались обыскивать кобзы, а людей обыскивают,— добродушно улыбнулся и доконал ее ученым словом: — Конспирация!

— Ой, тато, тато,—опечалилась она,— весь наш род уже перешел на конспирацию, кроме меня. И все вы, даже Яринка, обманываете меня, будто маленькую.

— А ты для меня, доченька, и до сих пор маленькая,— неожиданно растрогался старик и прикрылил ее руками точнехонько так, как Лаврин в ту давнюю ночь вишневой метелицы. Не из поколения ли в поколение это у них передается? Да и была ли на самом деле та тревожная метелица вишневого цвету? Наверное, была. Потому что и свадьба, и крестины прошли после нее, потому что на чердаке и до сих пор лежат колыбели Ярины и близнецов. Только ни Ярины, ни близнецов нет возле нее. И будут ли? Какая теперь жизнь? И расплакалась она из жалости к ним, из жалости к себе.

— Вот чего не надо, того не надо,— начал ее успокаивать старик, затем подошел к сундуку, поднял крышку, и из-под рушников, сорочек, скатертей неожиданно вынул черный шерстяной платок в красных, с росой, розах, развернул его на узловатых руках.— Это ж я тебе, доченька, перед самой войной купил. Очень понравилась тут роса, хотел подарить в твои полные сорок пять лет.— Он платком вытер ее глаза.— Возьми и считай, что я первым тебя поздравил с днем рождения...

— Спасибо вам, тато, за платок... за росы. Только ж берегите свои лета. Пусть молодые ходят с патронами. Закопайте их в огороде.

— Придет, доченька, время — и саму смерть закопаем, но сначала ее надо сломать. Посидим перед дорогой,— сказал, да и сел под богами, седой, красивый в своей мудрой старости.

Потом поднялся, коснулся ее плеч высохшими руками и прямо и решительно пошел к кому-то в гости. Или туда, что назвал непонятным словом «конспирация»? А ей теперь придется ждать не только Лаврина, Яринку, Романа и Василя, но и старика. Не такой и малый у них род, а хата опустелой стоит; вот и говори теперь не с родом, а с немыми стенами и с припрятанным зерном, с подмороженными гроздьями калины под окнами, с голубями в соломенных голубятнях и думай о всех и вся...

С улицы послышался натужный скрип нагруженных

саней. Олена встрепенулась, подбежала к окну, полураздетая бросилась во двор и там облегченно вздохнула. По-над плетнем, держась за выбеленную инеем лошадь, медленно шел ее Лаврин, с его золотых усов свисали ледяные сосульки. Вот он остановился возле ворот, широко раскрыл их, и утомленная кляча втянула на подворье сани с голубым, как небо, срубленным грабом.

— Лаврин! — крикнула и бросилась к нему.

— И чего бы это раздетой выбегать на мороз? — усмехнулся тот, пошевелив клешнями льда, наросшими на усах.— Беги в хату.

— А детей ты видел? — понизила голос и замерла.

— Видел.

— Ой!

— Не ойкай, а беги в хату.

И она побежала, прикрывая рукой грудь.

Как же долго Лаврин распрягает да заводит в конюшню покалеченного войной коня, как медленно задает ему корм! Наконец с былинками сена на кирее муж идет в хату, а она открывает ему двери.

— Говори же, Лаврин, говори.

— Повремени минутку.— Он снимает шапку, рукавицы, кирею, ломает на усах льдинки и начинает мыть руки. И хотя бы в одном движении поторопился. Потом он вытирается красными петухами на рушнике и поеживается от холода.— Замерз. В лесу от мороза деревья так стреляют, будто тоже воюют с кем-то. Никак мороз не сдает.

— Говори же, Лаврин,— уже простонала она.

— Вот сейчас и начну,— становится напротив нее.— До леса доехал спокойно — ни полицаев, ни другой погани не встретил. А уже в лесу остановили партизаны и отправили к командиру. Поговорили с ним, затем сам Сагайдак повел меня к той землянке, где наши дети живут. Спустился я туда, а там железная, из бочки, печка топится, старый партизан дровишки в нее подбрасывает и что-то мурлычет под нос. Осматриваюсь, а на деревянном полу, разбросавшись, спят наши дети — ночью они в дозоре были. Сел я возле них на сундучок с патронами, смотрю, а они такие чубатые, такие молоденькие, такие красивые! И такая тоска меня взяла: разве ж мы для войны растили их? А тут шевельнулся Василь, приподнялся на локте и замер, а потом, не веря себе, спрашивает: «Это вы, тато, или сон?» — «Я, сыну. Вот приехал, сижу и насмотреться не могу на вас»,— сказал, да и лезу к торбе. Тогда он засмеялся, бросился меня обнимать и тут же о тебе спросил:

«Как наша мама?»

— Что значит меньшенький! — вздохнула и потянулась рукой к ресницам Олена.

А Лаврин только хмыкнул: странно делить близнецов на младшего и на старшего, да матери виднее.

— Говори же, Лаврин.

— Потом Василь разбудил Романа, сели они возле моих плеч, да и погомонили немного... Сказал им, что завтра пойдут на них каратели, а сыновья только усмехнулись: «Встретим как надо». И встретят... Очень хвалил их Сагайдак, благодарил и меня, и тебя...— и надолго задумался, не замечая, что с усов уже начала скапывать вода.

— О чем ты, Лаврин?

— Думаю себе.

— О них?

— О них и о нас. Что завтра будет?..—Человек смежил потемневшие от влаги ресницы, склонил голову к жене и сказал одно слово: — Жизнь...

Еще сизой изморозью лохматились-дымились по-над бродами яворы, вербы и калины, когда к лесу на танкетках, на бронемашинах, на грузовиках, на мотоциклах, на лыжах и даже на велосипедах двинулись каратели. И только одни полицаи с какими попало винтовками пешком догоняли и догнать не могли своих господ и начальников. Они в черных шинелях, словно воронье, неровной волной замыкали колонну гитлеровцев. Но почему они такие беспечные? Даже разведки нет впереди. Наверное, герр полковник и новый комендант города надеются одним ударом уничтожить партизан. Уже ведь пробовали так, правда, меньшими силами. А теперь, не полагаясь на отряды крайса, перебросили из области два армейских батальона.

Гулкое морозное утро еще долго доносило до татарского брода натужное урчание машин, фырканье коней, голоса карателей и лай собак. А когда студеное солнце разлило по снегам свою разреженную кровь, из лесов или возле лесов один за другим прогремело несколько взрывов.

«На мины напоролись!» — определил Лаврин, что теперь повис на воротах, прислушиваясь ко всему. Он видел, будто они были перед ним, все три дороги, что вели к лесам, видел на них чужие машины и чужих вояк, видел в густом молодняке, за которым начинался настоящий лес, заставы Сагайдака с пулеметами и автоматами и самого Сагайдака. Тяжело ему теперь орудовать одной рукой, по-

тому и заменил маузер на более легкий пистолет. И детей своих видел Лаврин: притаились где-то на фланге, чтобы в нужный момент ударить в лоб или в спину фашистам. Что ни говори, «максим» да добрые кони зимой — великое дело.

А вот после взрывов забухали пушки. Бухайте, бухайте, леса у нас большие.

— Лаврин! — позвала Олена, став возле порога на мельничный круг.

— Чего тебе?

Жена грустно посмотрела на него:

— Боюсь за тебя.

Он неохотно пошел в хату, сел возле окна и погрузился в свои мысли и раздумья, а через некоторое время снова надел кирею, надвинул шапку на лоб и вышел на подворье.

Издалека, уже от леса, заурчали машины. Вот они, буксуя, подъехали к приселку и начали поворачивать на лед. На них грудой лежали тела убитых фашистов. Затем заскрипели сани, они проехали мимо его хаты, на них корчились от холода и стонали кое-как перебинтованные солдаты. А за немцами, неся головы не на шеях, а на груди и скособоченных плечах, пошатываясь, горбясь, хромая и падая на снег, плелись раненые полицаи. Для них у господ и начальников не хватило ни машин, ни саней. Теперь изуродованные служаки проклинали свою судьбу, и немцев, и их сапоги с низким подъемом, что калечили ноги. В приселке наглухо начали закрывать ворота, калитки и двери. Чтобы не встретиться с фашистскими проклятыми и недобитками, люди даже затаились по клуням и амбарам.

Лаврин не стал прятаться, а все слонялся и слонялся по двору, прислушиваясь к отзвукам боя. Хотя бы одним глазом посмотреть, что там делается.

Несколько раз к Лаврину выбегала Олена, присматривалась к лесу и тянула мужа в хату. Он вроде бы и слушался ее, да через какую-то минуту снова оказывался во дворе, где с деревьев нависало голубое убранство инея. И снова в лесах бухали пушки, а на татарском броде трещал и трещал лед. Мороз! Хоть бы в этакую стужу не отказало оружие его сыновей, ведь такое случалось у него.

И только подумал об этом, как увидел на бездорожье, в полях, поднявшуюся снежную пыль. Облако, разбухая, приближалось к приселку. И защемило сердце у Лаврина. С чего бы это?

Вскоре из снежной пыли показались кони, их огненные

гривы взлетали, словно пламя. За лошадьми мчатся, раскачиваясь на ходу, легкие санки. Только почему же никого не видно на них? Вот кони исчезли в долинке, затем замелькали между деревьями, выскочили на улицу и, вырастая на глазах, понесли прямо на него взлохмаченные огни грив.

Что же это происходит?.. И Лаврин, ужаснувшись чего-то, отступает от ворот. А кони добегают до них, как вкопанные останавливаются и тревожно смотрят на человека покрасневшими глазами. Им очень хочется что-то сказать, но они не знают людской речи, а человек тоже забыл свою и только хватается рукой за грудь — разглядел уже, что на санях, уткнувшись головами в пулемет, лежат, припорошенные снежной пылью, его сыновья.

— Лаврин! — будто из далекой дали слышит он окрик Олены, но не оборачивается к ней, а, пошатываясь, идет к воротам.

Кони кладут ему головы на плечи, и за ними он уже не видит сыновей. Пригнувшись, руками и грудью он открывает ворота настежь.

— Лаврин!..

Сразу постарев, молчит муж, только рукой тянется к шапке, вытирает ею лицо.

Мимо него с пригасшими огнями грив проходят кони, поскрипывают сани, где голова к голове, чуб к чубу лежат его окровавленные дети. Потемнело у Лаврина в глазах, и теперь он не знает, где лежит Роман, а где Василь.

И вдруг страшный вопль разорвал тишину, приглушил далекий грохот пушек:

— Сыны мои, сыночки... Сыны мои, сыночки... Лебедята мои...

Рыдая, Олена крестом упала на детей, ища их руки, их головы, их чубы.

— Сыночки мои, сыночки...

Лаврин, как потерянный, какое-то время молча смотрел на детей, на жену, потом подошел к саням и начал от них и от детей отрывать Олену.

— Еще наголосишься в хате,— пробормотал он, кусая губы.— А детей надо занести в тепло.

Олена качнулась, головой упала на сани, а он бережно взял на руки Романа или Василя и, пошатываясь от этой самой тяжелой ноши, пошел в хату. Там положил свое дитя на широкий стол, за которым прежде сидело столько людей и все желали ему здоровья. Потом пошел за Василем или Романом — все теперь перепуталось в голове.

Под причитания Олены он снял с детей сапоги, кожушки, шапки, только не решился снять изморозь с их бровей и глаз. И впервые в его хате забилась жена, заголосила, все дотрагиваясь и дотрагиваясь до сыновей. А он молча стоял возле них и только изредка проводил рукой по глазам. И неожиданно спросил:

— Олена, где же Роман, а где Василь?

Сначала ужас мелькнул в глазах жены, да, поняв все, она положила полуживую руку на неживую.

— Вот старшенький наш,— и снова заголосила.

А в хату сквозь раскрытые двери прорывались и прорывались отзвуки битвы.

Лаврин слышал их, и душа его была не только возле детей, но и там, в лесах. Он вытер ладонью лицо, наклонился к столу, поцеловал Романа, потом Василя, поклонился им, положил отяжелевшие руки на плечи жены, поднял на нее дрожащие ресницы.

— Олена, родная, прости меня раз, и второй, и третий...

— Куда же ты, Лаврин?! — ужаснулась она.

Лаврин повел глазами на окна:

— Туда, где были наши дети. Еще раз прости. Иначе нельзя, иначе не могу.— Он обнял ее, три раза поцеловал запекшимися губами.

— Лаврин, а как же я? — воскликнула жена.— Ты подумал?..

— Подумал,— твердо сказал он.— Зови отца, зови людей, и ждите меня. Догорит бой —непременно приеду.— И вышел на подворье.

Тут он руками стер изморозь с коней, поправил упряжь, наклонился к пулемету, открыл крышку, проверил, нет ли перекоса, затем заглянул в коробку с патронами и только потом вскочил в сани. Стоя на них, выехал со двора. Еще кивнул головой Олене, что застыла на мельничном жернове, который словно ожил и перемалывал ее. Кони понеслись галопом и потянули за собой не только столб снежной пыли, но весь приселок, все броды, всю ее душу, всю ее жизнь.

Фигура Лаврина все уменьшалась и уменьшалась, пока ее не поглотила снежная пелена и даль.

Она в исступлении оглянулась и увидела возле изгороди старый заснеженный челн. Тот челн, в котором когда-то, не успев дойти с поля до дому, родила Романа и Василя, и ужаснулась: что их ждет сегодня?.. Неужели кладбищенская земля?.. И челн, и кладбищенские кресты, и вздыбленные броды — все пошло кругом...

Не ногами — одной болью, что терзала, разрывала, разламывала ее всю, она вошла в хату, в безысходности хотела опуститься перед детьми и вдруг увидела, что с ресниц Романа скатывается на висок слеза. Снег ли растаял, или это вправду живая слеза?

— Дитя мое! — вскрикнула она, тряся его плечо.

Слеза с виска Романа скатилась вниз, а на ресницах появилась вторая.

— Роман, Романочку мой...

И у старшенького едва-едва шевельнулись обмерзшие губы.

— Мама,— не сказал, а вздохнул.

И мать, припадая к сыну, так обхватила его, как обхватывала в грозу, когда он был еще маленький. А затем прикоснулась к Василю, вслепую ища его сердце. Отзовись же, сыну, заговори... И тебя, и долю твою умоляю — отзовись...

И она уже не слышала, как шло, останавливалось, каменело и снова просыпалось время; и не заметила, как стал оживать приселок, не видела, как его начали заполнять партизаны, как всюду заметались люди, открывая двери, ворота, как женщины, приникая к стременам, плакали и зазывали в жилища, почерневших от боя и мороза бойцов.

Вот и на ее подворье влетели кони с развевающимися огненными гривами. Позади Лаврина на легкокрылых санках сидела незнакомая девушка или молодица. Она первой соскочила на землю, придерживая рукой сумку с красным крестом, кинулась к жилищу, вдруг оступилась, поскользнувшись на мельничном жернове, и чайкой влетела в хату. То, что увидела она с порога, на какой-то миг остановило ее. Но вот она овладела собой, бросилась к близнецам, склонившись над Романом, пальцами сжала его запястье, стала прислушиваться к жизни или небытию. И вдруг ожили, от удивления поднялись брови партизана:

— Ольга... Оля... Это ты или сон?..

— Я, Романочку. Только молчи.

И тогда чуть-чуть улыбнулись его уста, прошептали:

— А кто же тогда скажет за меня, что мы тебя любим?

— Молчи, Роман.

— Уже молчу. Василя спасай, а я, наверное, сам оживу...

— Сыны мои... Сыночки...

Киев — Дяковцы — Ирпень
1961—1974

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ СТЕЛЬМАХ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В 5 ТОМАХ

Том 5

Редактор
И. Бадалбейли

Художественный редактор
С. Данилов

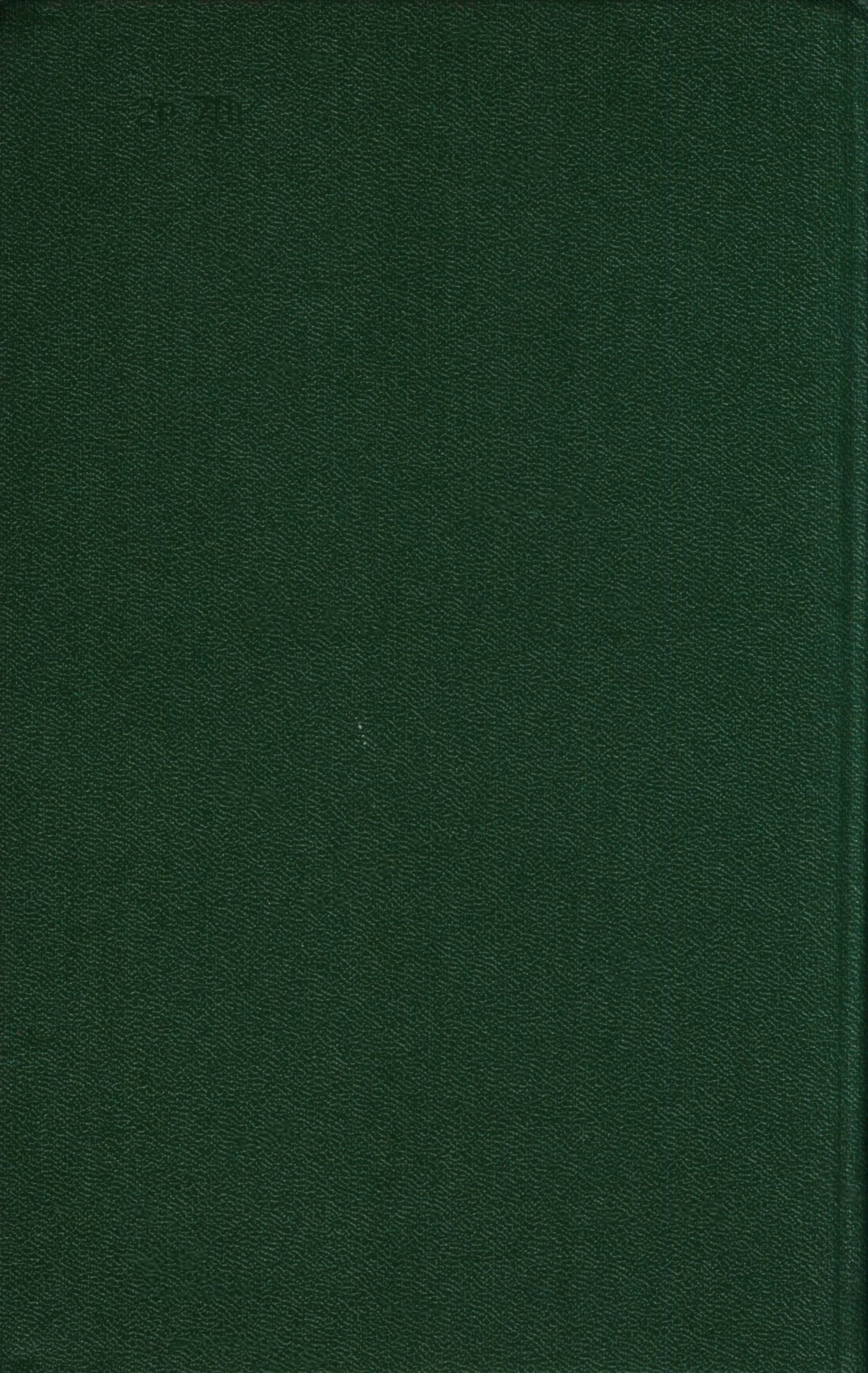
Технический редактор
Т. Фатюхина

Корректор *Б. Тумян*

ИБ № 3454

Сдано в набор 10.11.83. Подписано в печать 13.08.84. Формат $84 \times 108^1/_{32}$. Бумага типогр. № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л.31,92. Усл. кр.-отт. 31,92. Уч.-изд. л. 35,39. Тираж 100 000 экз. Изд. № IV-1599. Заказ № 4-434
Цена 2 р. 70 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19. Набрано и сматрицировано в ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени Первой Образцовой типографии имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 213054, Москва, Валовая, 28. Отпечатано на Киевской книжной фабрике республиканского объединения «Полиграфкнига» Госкомиздата УССР, ул. Воровского, 24.



МИХАЙЛО
СТЕЛЬМАХ
5

